М. О. МЕНЬШИКОВ

Письма к русской нации

ПУТИ РУССКОГО ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ

М. О. МЕНЬШИКОВ

Письма к русской нации

МОСКВА
1999

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МОСКВА»

Составитель серии М. Б. СМОЛИН

Меньшиков М. О.
Письма к русской нации / Вступ. статья и примечания М. Б. Смолина. — М.: Москва, 1999. — 560 с. — (Пути русского имперского сознания).

ISBN 5-89097-016-X

Книга составлена из лучших статей, выбранных из многочисленных фолиантов «Писем к ближним» Михаила Осиповича Меньшикова (1859 – 1918). На протяжении многих лет (с 1901 по 1917 год) он был ведущим политическим публицистом самой влиятельной русской газеты «Новое время». Будучи теоретиком национального пути, М. О. Меньшиков являлся идеологом и организатором «Всероссийского национального союза» — первой чисто националистической русской организации, целью которой являлось «восстановление русской национальности не только как главенствующей, но и государственно-творческой».

© Редакция журнала «Москва», 1999
© М. Б. Смолин. Составление, вступительная статья, примечания, 1999

ИМПЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ИМПЕРСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ М. О. МЕНЬШИКОВА

Все более современной становится мысль В. В. Розанова о том, что при демократическом принципе, завладевшем Россией, «"быть в оппозиции" — значит любить и уважать Государя...», а «"быть бунтовщиком" в России — значит пойти и отстоять обедню»*. Пусть же эта благородная «оппозиция» духу времени и духовный «бунт» против прививаемой демократией теплохладности будут нашими всегда возможными ответами на внутреннюю и внешнюю агрессию против Отечества.

Демократия облила грязью и опошлила многие глубокие русские традиционные воззрения. Сколь однозначно ругательным еще недавно было словосочетание **имперское мышление**. Демократические идеологи старались убедить великую нацию, что ей не нужно, неудобно, наконец, невыгодно быть имперской нацией, что ей будет легче и спокойнее жить мелочными проблемами, занимающими швейцарца или люксембуржца, проблемами биологического потребления, а не духа и творчества. Биологическое существование рефлексивно, несмело и творчески бесплодно; дух же всегда сознателен, дерзок и не может жить без творчества.

Почему же так боятся Империи?

Страшит врагов имя русское, чувствуют они, откуда может прийти им бесславный конец. Это слово несет опасность для демократии, поскольку потенциально может стать знаменем русского объединения. Империя несет современному распадающемуся русскому миру национальную концентрацию.

Каждая нация, доросшая до великой мировой роли, стремится построить свою Империю, свой мир, свою цивилизацию, которая

---

* Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 290.

предъявляется остальному миру как высшее развитие национально-государственного таланта. Империя развивает национальные идеалы до некоей универсальности, внутри которой могут свободно чувствовать себя и все другие народы. Имперское сознание вырабатывает особую ответственность перед Историей — ответственность хранителей идеалов христианской государственности и охранителей мира от всякого посягательства на тихое в нем житие во всяком благочестии и чистоте. Имперское сознание появляется как результат осознания нацией своей великодержавной миссии, то есть как осознание особой задачи нести миру свои государственные идеи, выраженные в идеалах правды, порядка и справедливого общежития.

«Нам же, — писал М. О. Меньшиков, — простым гражданам, несущим трудовою жизнью своей тяжесть государственности, нельзя не прислушиваться к вечным заветам. Мы хорошо знаем, что эта святыня народная — Родина — принадлежит не нам только, живым, но всему племени. Мы — всего лишь третья часть нации, притом наименьшая. Другая необъятная треть — в земле, третья — в небе, и так как те нравственно столь же живы, как и мы, то кворум всех решений принадлежит скорее им, а не нам. Мы лишь делегаты, так сказать, бывших и будущих людей, мы — их оживленное сознание, — следовательно, не наш эгоизм должен руководить нашей совестью, а нравственное благо всего племени»*.

Имперское мышление — русская консервативная традиция

Имперское мышление давно стало русской консервативной традицией, но как тип сознания оно изучено крайне слабо. Что же такое консерватизм и имперское мышление? Попробуем дать этим понятиям несколько определений.

Консерватизм может быть разным — как левым, так и правым. Всякая идея, положительно сформулированная, выраженная словами и ставшая традицией для ее приверженцев, формирует консервативное, или традиционное, восприятие этой идеи. Поэтому консерватизм сам по себе не несет ни положительного, ни отрицательного содержания. При рассуждении о консерватизме необходимо обращать большее внимание на ту базовую идею, традиционным пониманием которой он (консерватизм) является. В нашем случае мы говорим об **имперском консерватизме**, то есть о

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1913. С. 125.

сложившемся в дореволюционной публицистике традиционном понимании значения Империи и идеи империализма.

Консерватизм, как здоровый скепсис, всегда готов держаться за сложившуюся традицию до последнего, пока жизнь не докажет безусловной жизнеспособности нового или не отвергнет его. Консервативное сознание чистоплотно в мыслях, оно гарантирует обдуманность решения, сверенного с исторической традицией. Через него, как через сито, просеиваются в сознании людей все их помыслы и остается только ценное и весомое, а ненужное и вредное извергается вон.

Консерватизм имперского сознания, соответственно, оставляет в своем багаже все жизнеспособное, отвергая все жизнеразрушающее или не способное к жизни. **Имперское сознание является достоянием лишь великих наций, наций, осознающих и желающих являть миру свой национальный идеал справедливого государственного общежития.** Наличие подобного сознания есть положительный знак психологической зрелости нации, способной самостоятельно, часто вопреки всем жить так, как она считает правильным, и являть тот идеал правды, который лежит в основе всей системы жизнедеятельности народного организма.

Имперский консерватизм необходим для движения против течения, для создания почвы, на которой со временем могло бы вырасти здание Русского Дома; почвы, периодически уничтожаемой новыми социальными переворотами. Консерватизм — это устойчивость общества и государства во время социальных бурь, внутренняя защита государственного и общественного организма против проникающих в него разрушительных политических бактерий.

Консерватизм — это психологический элемент социального иммунитета любого государства, с потерей которого, как при СПИДе, обезоруженный государственный организм быстро хиреет и умирает в страшных муках, пораженный антителами.

Имперский консерватизм — это государственное и церковное единство, в противоположность республиканской федеральности; это борьба с любыми проявлениями распада и сепаратизма в обществе и государстве. Федерализм нисколько не спасает от сепаратизма, а дает этому движению дополнительные силы, вынашивая и растя новые расколы и будущие проблемы. Нет никакой другой возможности остановить этот процесс, кроме решительного перехода на имперский путь развития с его безусловной унитарностью в государственном строительстве.

Жить особо, по-своему, самобытно, самостоятельно, своим умом, дается не каждому. Легче всего пытаться скопировать соседа, жить чужим умом, не напрягая свои духовные силы, которые без подобного напряжения остаются неразвитыми и не способными на боль-

шие дела. При такой подражательности можно ли говорить о великой нации, можно ли вкладывать всю душу, всю энергию в такое нетворческое существование?

Отказ от самобытности является отказом от возможности называться и быть великой нацией, отказом от самого себя, предательством себя и продажей первородности, то есть того предназначения, которому должна служить каждая нация в этом разнообразном мире. Отказ от самобытности — это появление еще одного живого народного трупа, смоковницы, не приносящей положенного ей Богом плода. Это духовная смерть, смерть, с которой прекращается возможность для нации быть творцом своей жизни. Происходит превращение ее в биологический организм, со временем неизбежно становящийся удобрением для великих наций, не отказывающихся от дара творческой самобытности.

Наша современность расхолаживает, раскаляет (в противоположность закалке), расслабляет и пытается убедить в ненужности сопротивления течению дел. Зарабатывай и отдыхай, пей и веселись — вот ее лозунг!

«Новгородцы, по замечанию Костомарова, **пропили** свою республику. Афиняне **проели** свою. Едва ли не от той же причины пала величайшая из республик — Римская. Демократия начинает с требования свободы, равенства, братства, кончает же криком: хлеба и зрелищ! А там хоть трава не расти!»*

В этом нет ничего, что должно относиться к человеческой личности. **Человек — это творец, раскрывающий в своей жизни дары Божии.** Демократический идеал потребляющего человека выглядит мерзко и склоняется скорее к идеалу животного, а не богоподобного создания, каковым является человек. Человек же с большой буквы — это творец, в отличие от человека толпы, человека идеала демократически-мелочного и к творчеству не способного...

Духовные корни территориального сокращения России

Территория России сокращается, чахнут ее силы. А почему?

Не потому ли, что по свержении Монархии и разрушении Российской империи мы стали инертны и сами готовы сузить размеры своего влияния в стране и мире? Пока были Государи, которые вдохновляли, а порою и просто заставляли нацию энергично

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1910. С. 659.

бороться за свое существование, Империя росла и крепла, могла защищать свою Веру и братьев по крови. Не потому ли теперь Бог не дает нам сил, необходимых для широкого Возрождения Отечества, что не желает вливать драгоценное вино творчества и энергии в саморвущиеся мехи? Зачем давать дары тем, кто не ценит их и готов закопать в землю и имеющиеся уже таланты?

Только желающим много и со смыслом тратить могут даваться большие силы. Только тем, кто знает, на что их употребить, они нужны. От беспечных и не желающих нести тяготы, неизбежные при реализации большого дарования, таланты эти отнимаются и отдаются другим — более верным, жертвенным и рачительным. Необходимо быть готовым к большой отдаче сил, к жертвенности, которая одна только может способствовать получению нацией тех громадных сил, что необходимы для возвращения Имперской государственности и способности решать великие дела. **Кому много дается, с того много и спрашивается; кто на многое готов, тому многое и суждено совершить.**

Русские — прирожденные империалисты. Империя — традиция, хранящая в душах и сознании нации всегда возможный для реализации один из самых больших талантов русского народа — талант к государственному строительству. Талант, по своей силе редчайший в мире, — талант подчинения всех одной объединяющей цели и возможности отказа от свойственного всем (в большей или меньшей степени) эгоизма во имя блага ближних; талант, воспитанный и окрепший за века активной церковной и государственной жизни...

«Троноспособность» — основа имперского сознания

Можно не стремиться в Отечество Небесное, но тогда смерть духовная неизбежна; можно не делать ничего для своего Отечества земного, но тогда зачем нужен такой гражданин Отечеству Небесному?!

Как говорил один философ-романтик прошлого, «каждый человек должен быть троноспособным». Не в смысле повального самозваного стремления занять царский престол, а в смысле всегдашней готовности решать великие гражданские дела и нести государственные тяготы, которые в большом количестве внезапно могут падать на человека.

О мире окружающем человеку бессознательно дают информацию органы чувств и нервные окончания. На последующем же

этапе ум и сердце сознательно осмысливают полученные знания. Нация в мире живет бессознательно, как психологический тип, и сознательно осмысливает реалии этого мира через лучших своих сынов, вырабатывая осознанный тип поведения в той или иной ситуации. Без решающего влияния этих лучших людей на поведение нации она реагирует на предлагаемые миром раздражители реактивно, рефлекторно, бессознательно и бесцельно.

Имперское сознание несет то исцеление обществу, прошедшему через идеологический демократический пресс коммунизма и либерализма, которое можно уподобить лечению косоглазия, требующему от пациента много времени и большого напряжения. Лечение современного общества, политически косоглазого, через внедрение в его сознание текстов творцов русского самосознания потребует также много времени и напряжения, но при определенной последовательности лечения и тщательном отборе «идеологических препаратов» результат должен быть достигнут. Результат коррекции зрения должен дать выработку нового взгляда нации на окружающий мир и на саму себя. Необходимо взглянуть на многие вещи глазами людей, зрение которых было особенно напряженно, точно и совершенно.

Почему это важно? Взгляд человека из дореволюционного свободного русского мира на вещи непреходящие может быть наиболее точным в силу нескованности его мышления инородными идеологическими наслоениями или малой образованностью. У них была более высокая колокольня — Империя, с которой было дальше и глубже видно, в отличие от современного равнинного состояния России.

Национальное творчество — дело, не свободное от молчаливого требования предков следовать выработанной ими традиции миросозерцания. Мифотворчество современных неоязычников, сочиняющих завлекательные картины не существовавших никогда русских миров прошлого, не может утешать мыслящего человека. Им невозможно руководствоваться в реальной жизни. Одни фантомы быстро сменяют другие. В таком мире нет основания. Это своего рода виртуальная реальность, которая поддается командам человека, в ней находящегося, но в которой нельзя жить и тем более в ней нельзя ничего сотворить реального. Это наркотик для слабых натур, готовых скрыться от печального современного положения России в доисторические видения бойких неоязыческих рассказчиков, подавляющих способность критически осмыслить реальность и ловко держащих слушателей в своих руках.

Идея Империи — единственная идея, которая может противопоставляться в области политики таким разрушительным идеям, как демократия, революция и т. д. «Империя» — более вырази-

тельное слово, нежели «Монархия». Это то слово, которое может и должно стать знаковым словесным символом возрождения русской государственности.

В политике трудно представить принципиально недостижимые сугубо социальные цели. Волевое желание, любовь к идеальному может двигать горами, разрушать мифы демократии и строить великие империи.

«Империя, — писал Михаил Меньшиков, — как живое тело — не мир, а постоянная и неукротимая борьба за жизнь, причем победа дается сильным, а не слюнявым. **Русская империя** есть живое **царствование русского племени**, постоянное одоление нерусских элементов, постоянное и непрерывное подчинение себе национальностей, враждебных нам. Мало победить врага — нужно довести победу до конца, до полного исчезновения опасности, до претворения нерусских элементов в русские. На тех окраинах, где это считается недостижимым, лучше совсем отказаться от враждебных "членов семьи", лучше разграничиться с ними начисто»*.

В политике стушевался — значит, проиграл. Побеждает упорно твердящий свое, не сомневающийся и не позволяющий другим глубоко впадать в сомнения.

Ставь высшей целью достижение идеального и не бойся надорвать силы. Имперское величие, его почти недосягаемый идеал один может сохранять энергию стремления к возрождению Империи. Эту дорогу осилит лишь упорно идущий по ней вперед.

Что можно противопоставить демократии с ее идеей слепого **большинства** и разрушительного **федерализма**? Только идею Империи. Только Империя и Православная Церковь будут всегда препятствием к демократизации мира.

Если федерализм Швейцарии и США объединял разрозненные земли, то он нес в себе зерно государственного строительства. Федерализм же в России делит единое русское государственное тело между инородными местными центрами, а значит, несет антигосударственное, анархическое, сепаратистское, разрушительное начало. Федерализм погубил Россию в границах СССР, он погубит ее и в границах Российской Федерации, если не перестанет быть государственным догматом.

Демократии**, толпе, можно противопоставить только Монархию и олицетворяемую ею Личность. Только организовав нацию

---

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1911. С. 199.

** «Демократия, — писал Михаил Меньшиков, — в чистом виде — это слизняк» (Письма к ближним. СПб., 1913. С. 187).

в групповые профессиональные союзы, можно победить и переродить демократию толп в подчиненную власти наследственных Государей единую Империю русской нации.

Империя — это русская свобода. Свобода честного, законопослушного гражданина, которая противоположна демократическим свободам. «"Державы" иного, — писал М. О. Меньшиков, — более древнего, более близкого к природе типа, именно монархические, в состоянии гораздо легче, чем "республиканские штаты", регулировать бедность и богатство, защищая слабое и отставшее большинство подданных от слишком уж прогрессирующих по части кармана»*.

Среди прочих особенностей имперского сознания можно назвать стремление к **самодостаточности** русского мира без закрытости внутри него; **активность** русского «я» (имперского сознания) в самоопределении себя в человеческом мире; **противоположение** себя другим — в силу ощущения, что «мы» не «они». Ощущение, совершенно естественное человеческому сознанию, способному отличать родное от чужеродного.

Империя как вершина государственности — историческая награда русской нации за жертвенность в своем многовековом существовании, в развитии духовных сил и государственных дарований.

Государства — малые и средние — не способны к самостоятельности, к самостоятельному существованию в политике, и великие государства всегда навязывают им свою волю. Самостоятельность — привилегия сильного и смелого. Стать самостоятельным, развить до имперских масштабов свои силы — это подвиг, на который не многие решаются и достигают цели. Необходимо больше ценить и глубже осознавать призванность России к мировой деятельности и не стремиться к успокоенности и беспечному существованию.

«Если есть нравственное убеждение, — писал Л. А. Тихомиров, — **что присоединение к империи той или иной чуждой области определено необходимой силой обстоятельств, то вопрос о желании нашем взять ее или ее желании присоединяться имеет лишь второстепенное значение. Хотим или не хотим — должны быть вместе»**.

Это вопрос государственной целесообразности, а не вопрос прав нации на самоопределение; **нельзя, помня все время о свободе других наций, постоянно забывать о свободе своей.**

---

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1916. С. 105.
** Тихомиров Л. А. Критика демократии. М., 1997. С. 549.

Вообще, глупо и нерезультативно вспоминать о политике и о политическом образовании, когда уже стреляют танки. Об этом нужно задумываться значительно раньше, возможно, тогда и стрелять придется значительно меньше. Дурная голова в данном случае не дает спокойно лежать на складах оружию.

У русских людей еще слишком мало сил, чтобы и эту малость растрачивать, каждые несколько лет, в никуда. Идеология, формирование идей, вербовка соратников, политическое миссионерство должно предшествовать всяким решениям о политическом переустройстве.

Одновременно слишком соблазнительно и слишком глупо идти в лоб с незначительными силами на массивное препятствие. Надо менять тактику противодействия, перестраивать ряды последователей, изменять планы, точки своей обороны и более правильно оценивать силы противника.

Не надо смущаться малостью наших сил — сегодня это наше несчастье, завтра оно может постичь наших врагов. Надо научиться бороться — **живя.** Идеологическая борьба сродни партизанской: точечные удары, небольшие дела, борьба за выживание.

Настоящая русская трагедия в том, что каждое поколение современных русских мыслителей уподобляется человеку, ищущему цель своего пути, но не спрашивающего о ней ни у одного из встречаемых по дороге.

Вновь и вновь мы попадаем в тупики и принуждены возвращаться, искать заново верный путь. Благо если по этому пути никто до нас не хаживал, то и спрашивать было бы некого. Но ведь часто дело совсем не в этом, а в том, что мы не любознательны и поспешно проходим мимо тех русских мыслителей прошлого, которые много могли бы нам поведать о пути к цели и даже о самой цели Имперского пути.

Одним из этапов Имперского возрождения Отечества должно стать определение письменного корпуса материалов об имперском сознании, его идеологическое и историческое изучение. Необходимо стремиться быть созвучными предыдущим поколениям, развивавшим идеологические основы имперского сознания; прислушиваться к заданному ими тону размышлений, чтобы не звучать фальшиво самим.

Журнал «Москва» на страницах своих книжных приложений занимается подобной идеологической работой по выяснению и опубликованию наиболее интересных для современников текстов, могущих быть отнесенными к наследию имперского гражданского сознания...

Имперский национализм Михаила Меньшикова

Понятие нации крайне не разработано в русской литературе: доселе русским обществом было приложено слишком мало усилий, чтобы исследовать и понять самое себя. Это очень печально сказывается на современном сознании русских, не склонных уважать себя и свою нацию, которую не знают. Внимание русского человека никак не обращено на самого себя, на своих ближних, что неблагоприятно для формирования личности.

Самоуважение не может произойти откуда-нибудь извне, оно должно родиться из самоощущений, самоосознания. Мы построили самую большую государственность в мире и крайне плохо изучали и знали ее жизненные основы и в конце концов потеряли ее в 1917 году. Как бы то же самое (т. е. целостность нации, ее единство, существо) не потерять нам и в лице нации. Эта потеря будет такой же страшной. Если в государстве мы потеряли стальную оболочку, без которой в этом мире всеобщей борьбы всех против всех ни одна великая нация не может жить, то, потеряв национальные черты, наш народ превратится в толпу, безликое население без каких бы то ни было нравственных и психологических скреп, которые и делают из однородного населения нацию. С потерей чувства национальной родственности мы потеряем саму целостность нашего тела народного; разложение начнется уже на самом примитивном уровне — на уровне физически уничтожающейся материи.

Вот чтобы не допустить и этой психической катастрофы, нам необходимо изучать самих себя, исследовать свою национальную психологию. Это изучение поможет нам осознать наши национальные, характерные душевные особенности, которые и должен защищать всякий, любящий свой народ.

Что же такое национальное чувство и национальное самосознание? Дадим несколько формулировок, принадлежащих профессору психологии Павлу Ивановичу Ковалевскому: «**Национальное чувство** есть прирожденная принадлежность физической и душевной организации. Оно инстинктивно. Оно обязательно. Национальное чувство прирожденно так же, как и все другие чувствования — любви к родителям, любви к детям, голода, жажды и т. д.»; «**Национальное самосознание** есть акт мышления, в силу которого данная личность признает себя частью целого, идет под его защиту и несет себя саму на защиту своего родного целого, своей нации»*.

Национализм — это стремление к самопознанию, самораскры-

* Ковалевский П. И. Психология русской нации. СПб., 1915. С. 9, 10.

тию, анализ коллективного, народного «я». «Я», которое уже исторически родилось в незапамятном прошлом и которое сохранилось до наших дней неизменным в своей глубине. Русским и православным сегодня быть трудно, так же как трудно остаться добрым во все более озлобляющемся мире. Где еще осталась страна, где человек добрый не является синонимом глупого и где доброта и душевность ценятся выше интеллектуальности и деловитости?

Неужели действительно не интересно знать, что же это за психологический тип — русский человек? Ведь он, а не кто-нибудь другой делал Большую Историю последнего тысячелетия.

Именно народная психология, именно ее изучение может дать тот материал национальных особенностей, на котором и должно возводиться здание национализма. Недаром в начале XX века идеологами национализма были ученые-психологи (профессор И. А. Сикорский и профессор П. И. Ковалевский).

«Выше грубой силы, — писал И. А. Сикорский, — и выше коварной силы денег стоит **психическая сила** и великая **биологическая правда** — ими определяется будущность важнейших мировых событий. Народ или раса, которые довольно проницательны в этих душевных тонкостях, могут обеспечить себе дальнейшее верное существование и успехи»*.

Национализм творческий, жизнедеятельный — это охранительное движение, направленное на охранение своего мира и своего национального «я». Имперский национализм — это охранение своего национального господства в государстве.

Кроме религиозной и государственной самостоятельности необходима и самостоятельность национальная. Кроме религиозной и государственной свободы необходима и свобода национальная. Кроме борьбы за Православие и Империю необходимо жаждать и добиваться Русскости. Той особой душевной настроенности, при которой нация чувствует свое единство. Той Русскости, которая и создала для себя огромный мир — Русскую Империю.

Национальная свобода дается только сильным духом. Слабые духовно быстро хиреют и физически. Необходимо снять со своего тела разного рода инородческие «вьюнки», которые душат нацию и живут ее соками. При всей нашей величине (которая к тому же уже весьма сокращена с тех пор, как мы отдались во власть демократическому принципу) нам нужно более трезво смотреть на мир, в котором идет яростная борьба между нациями. Никто чужой нам не поможет, помогать друг другу должны мы сами.

Интернационализм — это потеря национальной самоидентификации, деградация, потеря чувства родства с предками.

---

* Сикорский И. А. О психологических основах национализма. Киев, 1910. С. 9.

Национализм — это здоровый народный эгоизм, желающий своим ближним лучшего развития. Ведь у национального государства крайне ограничено количество добытых народных благ, и если эти народные средства тратятся на развитие представителей других народов, то нация не движется в своем развитии, будь то духовная или экономическая сфера. Нация при неполном, недостаточном кровообращении (а именно с кровью можно сравнить национальное богатство) развивается ущербно, каждая струйка животворящего фермента национального роста, направляемая из русского тела в инородное, — это нежелательное, невосполнимое, часто насильственное «донорство». Такое «донорство», практиковавшееся и коммунистами, и современными демократами, — страшное преступление перед русской нацией, крайне ее ослабившее в XX столетии. Инородческое в значительной степени руководство нацией в этом веке прекратило рост наших сил и практически привело к частичной деградации национальной массы.

Управлять или участвовать в управлении страной с тысячелетними русскими корнями, будучи инородцем, — это всегда эгоизм, направленный против эгоизма русской нации. Инородческий эгоизм всегда отвод живительных сил государства от питания русского населения на питание чужих или других наций. Смотрите, как много вкладывается в инородческие области — Татарстан, Дагестан, Чечню и т. д.; сколь большие льготы (за счет русских сил) им выдают наши управленцы. Можно ли думать о наших управленцах, что они заботятся о русских силах и понимают, что жизненно-творческими силами государственности могут быть только русские? Многие ли нации считают Россию своей страной и будут отдавать ей столько же сил, сколь отдавали и отдают русские? На оба вопроса один ответ: нет и нет.

Управляющий слой государства должен быть русским, эгоистически русским, — только будучи таким, он сможет быть эффективным и целесообразным звеном национальной государственности, понимающим нужды и цели нации и ее Отечества. Русские должны господствовать в своем государстве, и господство это должно быть закреплено в Основных Законах этого государства. «Как бы ни были образованны, — писал Михаил Меньшиков, — и лояльны инородцы, они не могут не быть равнодушны к России. В самые важные, роковые моменты, когда должен заговорить дух расы, у инородцев едва ли проснется русский дух»*.

Вся наша «усталость», апатия, неуверенность в себе — продукт глубокого ощущения ненужности современному демократическому государству; продукт осознания великой нацией своего госу-

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1909. С. 83.

дарственного сиротства и потери контроля за своим государством и слоем управленцев. Нации определили лишь место работающей массы, которая должна много трудиться, параллельно периодически «подтягивая пояса» после всякого очередного банкротства демократической государственности. Нация устала жить не свойственной ей жизнью, выживать при постоянном ослаблении ее федеральным правительством. А ради чего терпеть эти мытарства?..

Никакая чужая национальная сила не сможет стать опорой для нашего тысячелетнего государства. Государство рождается из семьи и рода и, в свою очередь, формирует нацию. Государство — это мышцы, нервы, ткани нации; крушение его — мистическое разрушение тела нации. Внедрение в государственные ткани инородцев (не снаружи, а изнутри) создает внутренние болезни — ослабление национальных мышц, гибель нервных клеток, разрывы народных тканей. Результатом подобных внутренних болезней является психофизическая эпидемия, ослабление национального организма. Государство так же не может поменять мышцы, нервы и ткани, с которыми оно родилось и прожило не одно столетие, которые оно сформировало и развило в специфической исторической ситуации своего существования, на мышцы, нервы и ткани другой или других наций. Это неравноценная замена и даже вещь невозможная. Государство не сможет поменять своей психофизической ипостаси, оно может долго или же недолго болеть при внедрении чужеродных материй. **«Государственный наш быт сложен русскими, а потому и должен черпать свою завтрашнюю силу из того же начала**, оставаясь русским и устраняя из своих недр те течения, которые способны его привести к **разложению народности, или денационализации»***.

Трансплантация в государство других национальных органов и тканей вызывает не меньшее отторжение и даже смерть, чем это бывает при трансплантации человеку органов другого человека. Бывают удачные национальные трансплантации, но тогда рождается новая нация-гибрид, с новыми свойствами — либо ухудшенными, либо улучшенными. При трансплантационных операциях на человеке, для того чтобы не происходило отторжения, используют специальные препараты, которые как бы обманывают, заставляют тело человека принять чужой или чужие органы. Подобным «препаратом» в национальной политике коммунистов и демократов был **интернационализм**, которым постулировали миф о дружбе между народами, пытаясь убедить русское тело принять в себя, в свои национальные ткани инородные организмы как свои, уничтожая параллельно якобы вредные, больные русские члены (дворянство, духовенство, рус-

* Башмаков А. А. За смутные годы. СПб., 1906. С. 22.

ский образованный класс, крестьянство и т. д.). Туман интернационализма быстро рассеивается к концу XX века, поскольку действие всякого, даже и идеологического, лекарства — временно. Сознание нации становится более адекватным жизненной реальности: все меньше желающих быть безвозмездными «донорами».

Весь XX век над русским государством и над русским национальным телом проводили трансплантационные операции: пришивали чужие головы, отводили питательные каналы к другим телам, ампутировали разные части тела, пускали кровь, делали операции на мозге, вычищая (как убеждали) ненужное и вредное, пытались уничтожить душу, и если бы это было возможно сделать хирургическим способом, то непременно бы уничтожили.

Весь XX век мы (нация) лежали на «хирургическом столе», вставая с него только для того, чтобы воевать и трудиться; один за другим инородческие «хирурги» (политики, партийные деятели, экономисты и т. д.) делали нам операции по своему усмотрению. Мы же лежали под наркозом-гипнозом разных политических мифов, по-разному называемых: то демократия и интернационализм, то либерализм, то социализм и коммунизм и т. д.

Мы беспечно потеряли свою национальную свободу, сознательное национальное творчество, свободу воли к самостоятельному мышлению и самостоятельной жизнедеятельности. Мы так ослабли в духовном плане, что перестаем реагировать на окружающий мир, сопротивляться узурпации нашей собственности — государства и наших национальных богатств. Уменьшение реакций на внешний мир — верный признак ослабленной жизнедеятельности национального организма. «Коренному **русскому племени вовсе не все равно, остаться ли наверху или очутиться внизу»*** в государстве.

Нация должна быть свободна от инородческого засилья, от всевозможных пут. Все наши силы, много их или мало, должны тратиться только на свои цели и на своих людей. Никто не будет нас образовывать, кормить, защищать — все «чужаки» будут решать проблемы только своих. Если мы не будем иметь возможность все, что мы вырабатываем сами, то есть наш национальный продукт (интеллектуальный или материальный), пускать строго на прокорм, образование, защиту своих ближних, разве мы можем считать себя свободной нацией? Нет, конечно, нет. Мы — нация угнетаемая, угнетаемая нашим же ненациональным правительством и международными финансовыми институтами. Мы — гонимые и эксплуатируемые, но мы пока в большинстве в государстве и дол-

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1915. С. 187.

жны заставить считаться с нашими законными правами... «В широком смысле **национализм**, — писал один из творцов русского национализма профессор П. И. Ковалевский, — духовное веяние, течение, направление в данном народе, имеющее целью и задачею поднятие и совершенствование блага данной нации»*. Этот национализм он называл **массовым**, то есть тем, который должен проводиться всеми движениями, называющими себя национально-русскими.

Ф. М. Достоевский писал, что надо **стать** русским. Надо стать искренним и честным в отношении себя и нации, осмыслить себя как личность и нацию как общество — и тогда станешь русским, а значит, и националистом. Современному человеку стать не просто человеком, а русским человеком можно только сознательно и искренно. Среди многих определений понятия «национализм» выделяется определение М. О. Меньшикова. «Национализм, мне кажется, — писал он, — есть народная **искренность**, в отличие от притворства партий и всякого их кривляния и подражания. Есть люди искренние, которые не терпят, чтобы казаться чем-то другим, и которым хочется всегда быть лишь самими собой. Наоборот, есть люди, как бы боящиеся самих себя, внутренне не уважающие себя, которые готовы быть чем угодно, только не тем, что они есть. Эта странная трусость напоминает так называемый **миметизм** в природе, стремление слабых пород — особенно среди насекомых — подделывать свою наружность под окружающую среду, например принимать очертания и цвета растений. Чувство национальное обратно этому малодушному инстинкту. Национализм есть полное развитие личности и стойкое бережение всех особенностей, отличающих данный вид от смежных ему. Национализм есть не только полнота самосознания, но полнота **особенного** — творческого самосознания, а не подражательного. Национализм всегда чувствуется как высшее удовлетворение, как "любовь к отечеству и народная гордость". Нельзя любить и нельзя гордиться тем, что считаешь дурным. Стало быть, национализм предполагает полноту хороших качеств или тех, что кажутся хорошими. Национализм есть то редкое состояние, когда народ примиряется с самим собою, входит в полное согласие, в равновесие своего духа и в гармоническое удовлетворение самим собой»**.

Национальная психология — великая биологическая сила, выработанная веками исторической борьбы, побед и поражений. Нация — духовное единство в вере; нация — психологическое един-

---

* Ковалевский П. И. Основы русского национализма. СПб., 1912. С. 8–9.
** Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1911. С. 65.

ство в характере поведения; нация — душевное единство в культуре, языке; нация — физическое единство в кровном родстве.

Симпатии и антипатии — это психологические границы нации, которыми она оберегает себя от проникновения всего чуждого, воспринимая, напротив, в свое тело все близкое. Этими психологическими определениями **своего** и **чужого** нация как формирует саму себя, так и вырабатывает отношение к психологическим типам, не принадлежащим к своему. Симпатии и антипатии — это психологическое оружие национальной обороны. «**Антипатия**... есть оборотная сторона чувства самосохранения; она помогает народам крепче чувствовать себя и крепче держаться за свои духовные особенности, которые нередко могут быть и большими психологическими ценностями, недоступными для других и потому сугубо ценными для обладателя»*.

Итак, что же такое национализм?

Национализм — это философия господства на своей национальной территории, укрепление сознания русского народного единства.

Национализм может проявляться двояко: неосознанно — в национальном прирожденном чувстве и любви к своему народу и к своему месту рождения, и осознанно — в появлении национального самосознания, осмысленного сопричтения себя к своему народу и признании всех прав и обязанностей по отношению к своему национальному обществу.

Необходимость перехода к осознанному национализму требует изучения трудов теоретиков русского национализма. Оно, несомненно, необходимо современному русскому человеку — человеку, растерявшему многое из чувств и идей, **принадлежащих ему по праву рождения.** Одно из наиболее ярких имен в истории русского национализма — М. О. Меньшиков, великий публицист начала XX столетия, которым зачитывалась вся Россия...

Писательская биография

Михаил Осипович Меньшиков родился 25 сентября 1859 года в городе Новоржеве Псковской губернии. Отец происходил из священнической семьи, мать — из дворян. В 1873 году, окончив Опочецкое уездное училище, он поступает в Кронштадтское морское техническое училище, после окончания которого М. О. Меньшиков становится флотским офицером (флотским штурманом).

* Сикорский И. А. О психологических основах национализма. Киев, 1910. С. 5–6.

На его офицерскую долю выпало участвовать в нескольких дальних морских походах, писательским плодом которых явилась вышедшая в 1884 году первая книга очерков «По портам Европы».

Тогда же он, как военно-морской гидрограф, составляет несколько гидрографическо-штурманских сочинений: «Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных» (СПб., 1891) и «Лоция Абосских и восточной части Аландских шхер» (СПб., 1892).

Параллельно со службой во флоте молодой М. О. Меньшиков начинает сотрудничать в «Неделе» (с середины 1880-х годов), где вскоре становится ведущим сотрудником.

Поверив окончательно в свой писательский дар, М. О. Меньшиков подает в 1892 году в отставку в чине штабс-капитана и всецело посвящает себя публицистике. Будучи в то время под влиянием нравственных идей Толстого, публицистика М. О. Меньшикова была весьма морализаторского направления*.

После прекращения издания «Недели» А. С. Суворин приглашает М. О. Меньшикова к сотрудничеству в своей газете «Новое время». Здесь талант М. О. Меньшикова раскрылся с большей цельностью и остротой в его «Письмах к ближним», печатавшихся (две-три статьи в неделю) под этим общим названием вплоть до закрытия газеты в 1917 году.

М. О. Меньшиков придавал огромное значение публицистике, ее мощи и ее возможностям влиять на умы людей. Считая публицистику искусством, он утверждал крайнюю важность для общества в XX столетии иметь хорошую публицистику, упадок которой мог бы отразиться наиболее печально на сознании граждан. Считая ветхозаветных пророков первыми публицистами, М. О. Меньшиков явился в своей публицистике, в отношении судьбы России, также настоящим пророком. «России, — писал он, — как и огромному большинству ее соседей, вероятнее всего, придется пережить процесс, какой Иегова применил к развращенным евреям, вышедшим из плена. Никто из вышедших из Египта не вошел в обетованный Ханаан. Развращенное и порочное поколение сплошь вымерло. В новую жизнь вступило свежее, восстановленное в первобытных условиях пустыни, менее грешное поколение»**. Разве это не предсказание революции и дальнейшего нашего блуждания в поисках нашего Ханаана — возрожденной России?

В русской политической литературе можно выделить два рода писателей, одни из которых более чувствовали нацию, а другие —

---

* Статьи, печатавшиеся им в «Неделе», издавались отдельными книгами: «Думы о счастье» (СПб., 1899), «О писательстве» (СПб., 1899), «О любви» (СПб., 1899), «Критические очерки» (СПб., 1900), «Народные заступники» (СПб., 1900).

** Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1911. С. 21–22.

государство. В русской литературе часто тот, кто чувствует нацию, не особенно чувствует государственность. И. С. Аксаков и вообще славянофилы — безусловно националисты, или протонационалисты. Катков почти не писал об идее нации, Тихомиров писал о нации, но в контексте государственности. Есть как бы две взаимопереплетающиеся политические школы в русской публицистике. Одна говорила о нации, другая о государстве. Меньшиков безусловно националист и одновременно империалист, но на основе величия нации. Между этими двумя группами нет антагонизма, а есть лишь призванность одних к рассуждению о нации, а других — о государстве. Одни лучше чувствовали и могли глубже рассуждать о государстве, а другие о нации. Талант одних более располагал к изучению государственности, талант же других — к пониманию народности.

М. О. Меньшиков в таком делении, безусловно, имеет большее отношение к философии нации. Он считал, что именно народность — наиболее угрожаемый пункт в обороне Отечества. «Именно тут, — утверждал он, — идет подмен материи, тут фальсифицируется самая природа расы и нерусские племена неудержимо вытесняют русскую народность»*.

Консервативное сознание в его публицистике проявлялось в культивировании чувства **вечного**, которое в его время было подавлено борьбой между старым и новым. М. О. Меньшиков очень много писал, и в его статьях, к сожалению, можно найти немало спорного или скороспелого, в чересчур смелых обобщениях. Самым интересным у М. О. Меньшикова всегда были рассуждения о национальных проблемах, о русском национализме, поэтому и мы выбрали для публикации именно эти материалы. Его национализм — это национализм не агрессивный, национализм не захвата или насилия, а, как он выражался, национализм честного разграничения. Разграничения одних наций от других, при котором только и возможны хорошие отношения между нациями. Его национализм не собирался никого уничтожать, как это неоднократно ему приписывали различные недоброжелатели. Он лишь собирался оборонять свою нацию — действие совершенно законное и нравственно должное.

«Мы, — писал М. О. Меньшиков, — не восстаем против приезда к нам и даже против сожительства некоторого процента иноплеменников, давая им охотно среди себя почти все права гражданства. Мы восстаем лишь против массового их нашествия, против заполонения ими важнейших наших государственных и культурных позиций. Мы протестуем против идущего завоевания Рос-

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1910. С. 644.

сии нерусскими племенами, против постепенного отнятия у нас земли, веры и власти. Мирному наплыву чуждых рас мы хотели бы дать отпор, сосредоточив для этого всю энергию нашего когда-то победоносного народа...»*

Многие темы брались им штурмом, который не всегда был теоретически и фактически верным, оставаясь, однако, всегда талантливым по форме и всегда энергичным. Много горького говорил он в адрес русского народа и его истории, но делал это всегда искренне. Это тот случай, когда критика идет от лица любящего Родину, а не от безразличного критикана.

Писательство всегда было для него подвигом, оно стоило ему жизни, а при жизни было наполнено всевозможной на него клеветой и угрозами — поэтому к его словам надо относиться серьезно и с пониманием. «Что касается ругательных писем, — писал он, — то они, как и гнусные статьи в инородческой печати, мне доставляют удовлетворение стрелка, попавшего в цель. Именно в тех случаях, когда вы попадаете в яблоко, начинается шум: выскакивает заяц и бьет в барабан, или начинает играть шарманка. По количеству подметных писем и грязных статей публицист, защищающий интересы Родины, может убедиться, насколько действительна его работа. В таком серьезном и страшном деле, как политическая борьба, обращать внимание на раздраженные укоры врагов было бы так же странно, как солдату ждать из неприятельских окопов конфеты вместо пуль»**.

Великим талантом М. О. Меньшикова была политическая литература, боевая публицистика. Будем помнить во всех претензиях к М. О. Меньшикову, что он был расстрелян большевиками, расстрелян как опасный писатель.

Всероссийский национальный союз

Всероссийский национальный союз был организацией, рожденной не революционными событиями 1905 года, как большинство правомонархических организаций (кроме Русского собрания), а уже мирной жизнью, жизнью Государственной Думы и публицистикой М. О. Меньшикова. В него вошли умеренно-правые элементы образованного русского общества — национально настроенные профессора, военные в отставке, чиновники, публицисты, — объединенные общей идеей главенства народности в трехчленной русской формуле.

---

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1913. С. 123–124.
** Меньшиков М. О. Из писем к ближним. СПб., 1909. С. 130–131.

Союз русского народа был организацией массовой, народной, многочисленной — разные исследователи по-разному оценивают ее численность (от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов) — и был рожден как правая реакция на революцию 1905 года. Союз русского народа был агрессивен и простонароден в большинстве своем, тогда как Всероссийский национальный союз появился во времена столыпинского правления и работы III Государственной Думы как союз не приемлющих октябристских («второсортные кадеты», как называл их Меньшиков) дальнейших радикальных конституционных вожделений и отодвигания национальных вопросов на второй план (для националистов было важно незамедлительное решение еврейского вопроса), а также не согласных с крайне правыми в их отношении к Государственной Думе и нежелании выставлять народность впереди Православия и Самодержавия*. Для националистов и Православие, и Самодержавие вытекали из национальных особенностей, а не наоборот, как это считалось крайне правыми.

М. О. Меньшиков не во всем понимал позицию крайне правых, не разделял некоторые их положения, но он был честен по отношению к ним и признавал их заслуги перед Отечеством. «Непростительно забыть, — писал он в 1911 году, — какую роль сыграли, например, покойный Грингмут в Москве или Дубровин в Петербурге, Дубасов — в Москве или Дурново — в Петербурге, Семеновский полк в Москве или вся гвардия в Петербурге. Что главная осада власти и центральный штурм ее были в Петербурге и в Москве... Инородческая революция пыталась поразить империю в самом ее сердце — вот отчего в обе столицы понабилось столько мятежников и пристанодержателей бунта. Мы... не принадлежим к Союзу русского народа, но было бы или актом невежества, или черной неблагодарностью забыть, что наши **национальные** начала были провозглашены еще задолго до возникновения партии националистов — именно такими "черносотенными" организациями Петербурга, каково Русское собрание и союз г-д Дубровина и Пуришкевича. Если серьезно говорить о **борьбе** со смутой, **действительной** борьбе, не на живот, а

* Например, Л. А. Тихомиров писал следующее: «Основы давно сформулированы как "православие, самодержавие и народность". Но если к третьему пункту формулы возможно присоединиться при наблюдении русской истории, то исключительно как к выводу из первых двух пунктов, так как, в сущности, действительными принципами нашей истории являются только **православие** и **самодержавие**. Весь свой быт, все свои идеалы, все свои симпатии и антипатии русская "народность" почерпала из православной веры и политического самодержавия» (Критика демократии. М., 1997. С. 544).

на смерть, то вели ее не киевские националисты, а петербургские и московские монархисты»*.

Сущность национализма Всероссийского национального союза весьма точно выразил его председатель — Петр Николаевич Балашев (на 1-м собрании представителей Национального союза, проходившем в Санкт-Петербурге 19–21 февраля 1911 года). Во вступительной речи он сказал следующее: «Национализм есть стремление достичь наибольшего напряжения творческих сил данного народа в их чистейшем виде, как предпочтение своего заимствованному»**.

Членами Всероссийского национального союза были многие известные ученые, такие, как профессор Петр Яковлевич Армашевский, профессор Платон Андреевич Кулаковский, профессор Николай Осипович Куплевасский, профессор Павел Иванович Ковалевский, профессор Петр Евгеньевич Казанский и другие. В Главном совете Всероссийского национального союза состоял и Михаил Осипович Меньшиков, публицистические выступления которого в «Новом времени» во многом подготовили идеологическую (идейную) почву для появления союза.

Целями союза, по уставу, были исповедуемые им начала — единство и нераздельность Российской империи, ограждение во всех ее частях господства русской народности, укрепление сознания русского народного единства и упрочение русской государственности на началах самодержавной власти Царя в единении с законодательным народным представительством.

Слабость нашего национализма — это слабость нашей воли, столь же важной для гармонической личности, сколь и развитие чувств и умственных способностей. Без воли нет осознания необходимости планомерного стремления к цели. Появляется немощь перед перспективой действия. М. О. Меньшиков не страдал размягчением воли, он был всецело сконцентрирован на единственной цели — величии России, к которой стремился всю сознательную жизнь.

Февральская революция 1917 года закрыла газету «Новое время» и оставила М. О. Меньшикова без любимого дела. Октябрь же не дал М. О. Меньшикову прожить и года под своей властью.

Враги не простили М. О. Меньшикову ничего из его деятельности — ни искреннего национализма, ни талантливой публицистики, ни обличения неправды и изуверства...

Он был арестован на Валдае. 19 сентября 1918 года М. О. Меньшиков писал своей жене из заключения: «Члены и председатель чрезвычайной следственной Комиссии евреи и не скрывают, что

---

* Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1912. С.280.

** Всероссийский национальный союз. 1-е собрание представителей 19–21 февраля. СПб., 1912. С. 4.

арест мой и суд — месть за старые мои обличительные статьи против евреев»*. За день до расстрела он написал как бы в завещание своей жене и детям: **«Запомните** — умираю жертвой еврейской мести не за какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих пророков. Жаль, что не удалось еще пожить и полюбоваться на вас»**.

20 сентября 1918 года он был расстрелян чекистами за свои статьи.

Но идеи бессмертны и не теряют творческой силы после смерти своих носителей. После смерти М. О. Меньшикова осталась великая публицистика, девизом которой можно поставить такие его слова: **«Не раз великая Империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия»*****

Михаил СМОЛИН

---

* М. О. Меньшиков. Материалы к биографии // Российский архив. Вып. IV. М., 1993. С. 230.

** Там же. С. 232.

*** Меньшиков М. О. Письма к ближним. СПб., 1916. С. 401.

1907 год

СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ

12 августа

В истории революций нет интереснее той части, где описывается, как сама власть, точно ослепшая, подготовляла бунт, усердно работала над крушением общества, расшатывала устои — и вдруг тысячелетняя почва расседалась и в пропасть валились древние установления, пышные титулы и еще недавно твердые, как гранит, законы.

Наша революция не исключение. Она протекает, подобно холере или тифу, по строго определенным «кривым», давно установленным в науке. Все, кто читал Токвиля[1] или Тэна[2], поражаются, до какой степени великая революция пророчески предсказала нашу. Пятьдесят лет тому назад великодушный царь объявил дворянству, что лучше пусть революция будет сверху, чем снизу. Он не догадывался, что если в то время о революции снизу не было и намека, то «революция сверху» уже шла, бессознательно и безотчетно, движимая всесильным духом века, давлением идей, стремлением правительства отстоять порядок.

У нас, как и всюду в свете, ближайшим деятелем революции явилась интеллигенция — разночинный, междусословный класс, у которого историческое миросозерцание было заменено философским, притом дурного сорта. Поразительно видеть, до какой степени власть наша старалась о размножении интеллигенции, о демократизации знания, о принижении древнего сословного духа, который вынес Россию — как и другие страны — из средних веков.

В средние века европейское общество сложилось органически, как всякое живое тело, то есть по трудовому типу. Общество было сословно, но сословия были не пустые титулы, как теперь, совершенно бессмысленные, а живые и крепкие явления. Сословия были трудовыми профессиями, корпорациями весьма реального, необходимого всем труда. Дворянство было органом обороны народной, органом управления. Оно действительно воевало. Рождаясь для вой-

ны, оно часто умирало на войне. Духовенство действительно управляло духом народным; доказательство — глубокая религиозность того времени и уважение к священству. Купечество торговало и ничем другим не увлекалось, ремесленники занимались ремеслами, земледельцы — земледелием. Как живое тело, общество было строго разграничено на органы и ткани, и при всем невежестве и нищете, зависевших от других причин, этот порядок вещей дал возможность расцвести чудной цивилизации, при упадке которой мы присутствуем.

Упадок строения общественного начался очень давно. Почти за сто лет до революции рыцари и судьи народные превратились в придворных — трагическое призвание их подменилось светским распутством и бездельем. Духовенство потеряло веру в Бога. Среднее сословие, продолжавшее работать, выделило нерабочую корпорацию софистов, которые с Вольтером и Руссо во главе подожгли ветхую хоромину общества. Отказ столь важных органов от работы, извращение сословных функций повели к истощению самого туловища нации — крестьянства. Голодные ткани рассосали в себе атрофированные органы — вот сущность революции. Народ втянул в себя ненужные придатки и старается переварить их, чтобы создать новые. Разве не то же самое идет и у нас?

Что могло бы спасти Россию, это возвращение не к «старому порядку», каким мы его знаем, а к старому порядку, какого мы не знаем, но который был когда-то. Спасти Россию могло бы устройство общества по трудовому типу. Надо вернуть обществу органическое строение, ныне потерянное. Надо, чтобы трудовое правительство постоянно освежалось и регулировалось трудовым парламентом, то есть представительством трудовых сословий страны. Надо, чтобы нелепые нынешние сословия, фальшивые и бессмысленные, были заменены действительными сословиями, то есть, как некогда, трудовыми профессиями, и чтобы эти профессии — подобно органам и тканям живого тела — были по возможности замкнутыми. Необходимо всему народу расчлениться на трудовые слои и чтобы все отрасли труда были настолько независимыми, насколько требует природа каждого труда. Начинать нужно с главного очага революции — с бессословной школы.

Школа разврата

Я беру смелость высказать еретическое мнение, за которое часть публики предаст меня анафеме, а некоторые читатели, вникшие в дело, наверное, согласятся со мной. Мне кажется, анархия нашей

школы и главная причина того, что она нигилизирует умы, поджигает их к бунту, — это всесословность школы. Дети из семей разных профессий и разных культур, собираясь вместе, портят друг друга, расстраивают себя психически. Насколько сословность настраивает, настолько всесословность расстраивает — одинаково детей и взрослых. Попадите вы в какую-нибудь трудовую корпорацию. Вы тотчас почувствуете присутствие массовой души, огромной, захватывающей, регулирующей всех, дающей счастье общего понимания и единодушия. Нравственная атмосфера тут крепкая и здоровая — деловая. Попадите в толпу людей разных профессий — вы почувствуете, что вы в среде дилетантской, лишенной общего знания, общей какой-то веры. Такова наша интеллигенция с ее бесконечной способностью спорить не убеждая. Интеллигенция — продукт демократической, всесословной школы. Она уже страдает разнообразными психозами, описанными у Тургенева и у Чехова. Что касается детей, то психопатизм их бессословного воспитания невероятен.

Со школой, с приготовлением будущего человечества, у нас поступают куда нелепее, чем крестьяне — с культурой хлеба. Спросите крестьянина, хорошо ли сеять мешаный хлеб, то есть перемешать в одно рожь, гречиху, горох и т. п. Даже крестьянин понимает, что самая суть культуры в том, чтобы отобрать однородное, и в однородном — самое лучшее, и затем каждую породу, каждый сорт оберегать от смешения. Даже крестьянин знает, что дурная трава — из поля вон и что не только сорные травы губят благородный злак, но при чрезмерном стеснении сами злаки глушат друг друга, являются как бы сорной травой. Все это бесспорно в отношении животных и растений, но воспитание людей у нас (в бессословной школе) поставлено наперекор этим простейшим правилам. Вместо того чтобы оберегать детей от дурных влияний, мы собираем их в толпу, действующую как омут. Чуть не с приготовительного класса малыши узнают, что Бога нет, что есть удивительные вещи, которые можно достать у второклассников, именно фотографии голых людей. С приготовительного класса воспитанные маменьками розовые, точно выпоенные, ребята начинают дичать, ругаться сквернымисловами, драться, проделывать невероятные пакости друг с другом, бороться с гимназическими стенами и партами, с начальством, с прохожими на улице, с родителями дома. Непостижимо быстро дети наши, побывав в казенных школах, впадают в ребяческий разврат, более жалкий и губительный, чем старческий разврат. Когда эта гадкая тля нападает на нежных, вполне невинных детей, доверчиво, как цветы на солнце, распустившихся для накопления мужественной красоты и силы, — о, как больно глядеть

на таких детей и какая это трагедия для общества! В самом деле, это тихая катастрофа цивилизации, крушение духовного строя общества, ибо не может составиться общество — в благородном смысле слова — из людишек развращенных, обезбоженных, преступных на самом переходе из отрочества в юность. Теперь ничему не удивляются. Наши patres conscripti хладнокровно читают за утренним кофе, что в глухих городах провинции образовались из гимназистов и гимназисток союзы разврата, «общества огарков», и что учащиеся мальчики и девочки занимаются свальным грехом, берут целыми компаниями нумера в банях и пр. и пр. «Огарки» — характерное название для догорающего несчастного поколения, которое вот-вот погаснет. Но пожилые люди помнят, когда молодежь еще только загоралась смрадным пламенем, когда она брошена была впервые в грязь бессословной школы, на произвол невоспитанных, деморализованных учителей, на изнурение жестоких по своей деревянности программ, на анархию антикультурного воспитания. Если бы у нас была свободная власть, не парализованная в самой себе многовластием, она увидела бы, что такая школа вовсе не есть школа просвещения. Наоборот, такая школа есть омрачение духа, школа народной порчи. Решительная государственная власть сочла бы долгом совести лучше закрыть все школы, все до одной, чем плодить заразу. Народу нужны чистые просветительные учреждения, такие, где дети не покрывались бы проказой всевозможных гадких знаний вместо усвоения знаний возвышающих и благородных.

У нас — срам сказать — такая очевидная мысль, что нельзя всем и каждому поручать «просвещение» детей, до сих пор не признана. Великий Менделеев, сам педагог, умолял правительство завести школу для учителей, хлопотал, подавал записки — и все-таки не дожил до счастия увидеть, что ему вняли наконец. Любая бездарность, любое неудачничество, запасшись той фальшивой бумажкой, что называется университетским дипломом, идет в гимназию и требует места наставника. Ему дают оклад, чины — до генерального — и вместе с казенным содержанием право портить детей, внушать им какие угодно бредни. Развращенный снизу — от всесословных товарищей, мальчик хорошей семьи развращается сверху, от прикосновения к часто невежественной и распутной, хотя, конечно, радикальной, тоже «бессословной» учительской среде. Встречаются прекрасные учителя, но какое это событие, какая редкость! Наши государственные люди, потеряв самое существо всякого господства — аристократический инстинкт, государственную школу сделали бессословной и отдали во власть бессословных людей. Мудрено ли, что дезорганизация общества сделалась как бы целью школы?

Мудрено ли, что «третий элемент» возобладал в самой колыбели будущей гражданственности? Мудрено ли, что бессословная, то есть республиканская, психология овладевает юношеством на заре развития? Может быть, бессословность превосходное начало для республиканского общества, но тогда объявляйте, ради Бога, республику, не притворяйтесь монархией, не удивляйтесь, если из школы вышли красные флаги и красный пламень выстрелов и бомб. Вместо того чтобы одряхлевшим сословиям помочь расслоиться наново и выделить из себя лучшие элементы, оберегая их совершенство как зеницу ока, наше правительство умышленно сбивало всмятку все сословия, все культуры, всякую чистоту и нечистоту и затем удивляется, что смесь потеряла свои древние сцепления и приобрела взрывчатые свойства.

Что такое касты?

«Так что же, — воскликнет радикальный читатель, — вы, значит, стоите за касты?»

Я стою за трудовую органическую структуру в обществе. Все мы получили отвращение к кастам в казенных школах, где бессословные педагоги приводили в пример отжившие сословия и говорили: вот безобразие, полюбуйтесь! Но это все равно, как если бы показывать труп и выдавать его за живое существо. Приводили в пример индийские, египетские касты или нашу никогда не сложившуюся как следует шляхту, которая прокутила свое призвание и свои права. За такие сгнившие сословия я, конечно, не стою. Но в момент возникновения нигде на свете сословность не была сгнившей, нигде она не была выдумана, везде выступала естественно, как требование природы, везде составляла живую организацию общества, трудовое расслоение на клетки, ткани, органы, без чего невозможна жизнь. Падает трудовое разграничение — поднимается анархия, и наконец, если нет никаких классов и объявлено полное равенство, общество рассеивается, как освободившиеся в виде газа молекулы.

Равенство — вещь прекрасная, но все прекрасное в равенстве, как в свободе и братстве, осуществимо только в сословном строе. Вне трудового разграничения если мы все равны, то мы решительно не нужны друг другу и не интересны. Общественное сцепление получается тогда лишь, когда является неравенство, когда, например, мужчина встречает женщину, когда около пахаря, умеющего делать хлеб, поселяются сожители, умеющие делать платье, сапоги, утварь. При развитии общества в силу крайней нужды, в силу раз-

деления труда образуются воины, правители, ученые, священники, и только в качестве таковых они полезны друг другу.

Недаром профессии всюду приобретали замкнутый характер. В интересах совершенства каждой отрасли труда — то, чтобы люди отдавались ему всецело, на всю жизнь, чтобы они рождались в стихии этого труда и умирали, передавая потомству выработанные в течение веков навыки, склонности, способности, изощренные до таланта. Каждая профессиональная каста являлась вечной школой определенного труда. Воин среди военных изучал и не мог не изучить свое ремесло до степени искусства. Пахарь среди пахарей вбирал в себя еще с малых лет тысячелетние познания земледельца. У нас удивлялись, когда покойный А. Энгельгардт[3] объявил крестьянина профессором земледелия, а он сказал правду. Наш крестьянин — профессор, так сказать, плохой эпохи земледелия, а возьмите немецкого или китайского крестьянина — это профессора хорошей эпохи. Такими же профессорами своего труда являются цеховые ремесленники, торговцы, священники. Нетрудно видеть, что именно замкнутость труда делает людей аристократами. Рыцарь меча потому рыцарь, что он артист меча, но почему артист сохи или сапожного шила не дворяне — именно своих призваний? Благородство всякому труду, как бы он ни был скромен, дает честность и техническое совершенство. Никакого иного значения сословия не имели в своем замысле. Именно цеховое устройство труда позволило выработать скелет нынешней цивилизации — средневековые промыслы и искусства. При крушении старых сословий очень быстро сложились новые классы, и чем более процветает какое-нибудь дело, тем чаще видим в нем преемственность целого ряда поколений, сословность труда. С этой крайне важной точки зрения самыми совершенными школами были бы профессиональные, где дети каждого трудового класса втягивались бы в дух и знание наследственного труда. Я не говорю об исключительных призваниях — они найдут свою дорогу, но заурядная молодежь только выиграла бы от сословных — назовите их профессиональными — школ. Заурядные дети приучались бы к какой ни на есть работе вместо дилетантской неспособности ни к какому труду. Говорят: школа должна готовить не ремесленника, а человека. Какой вздор!

Корни обломовщины

Кто видел когда-нибудь это загадочное существо — «человека»? Мы встречаем земледельцев, ремесленников, писателей, чиновников — но что такое «человек»? Даже ресторанный «человек» — специалист известного труда. Если юноша совсем не специалист и ни-

чем его назвать нельзя, то будьте уверены, что это бездельник, творение самое несчастное на земле. Именно таких бездельников готовит наша государственная школа. На государственный счет одно поколение за другим проводит образовательный свой возраст в том, чтобы прикоснуться ко всему и не научиться ничему. И это называется образованием! Но я думаю, что именно такая школа не дает никакого образа духа, никакого образования. Только определенный труд, притом доведенный до степени искусства, образует человека, дает душе физиономию. Дилетанты же нашей школы, ничему не научившись, выходят ничем. Не земледельцы, не ремесленники, не художники, не военные — кто же они? Никто, nihil. И именно этот nihil, тщательно культивируемый государством, подготовляет почву для революционного нигилизма. Юноша, окончивший сословную, профессиональную школу, хоть что-нибудь знает, а знать — значит признавать нечто и чаще всего любить. Окончив бессословную школу и ничего не зная, юноша, естественно, ничего не признает и ничего не любит. Единственно, чем остается ему быть, это или бездельником, если он бездарен, или революционером, если он хоть чуть-чуть не глуп. «Отречемся от старого мира», — орут молодые невежды. Как не отречься! Раз вы не знаете китайского языка, вам поневоле приходится отречься от него. Если бы вы знали немножко старый мир, вы непременно любили бы его и не отреклись бы. Если бы хоть одним ноготком, хоть одной трудовой привычкой юноша завяз в старом мире, он не отряхнул бы с такой грацией «прах с своих ног». В самом деле, если школа в течение десяти лет только и оставляет на юноше, что прах на его подошвах, — дуновение ветра — и нет его. Юноша болтается в пространстве, вне общества, вне родины, вне истории. Десятки и сотни тысяч таких деклассированных, сорванных с корня молодых людей ежегодно приготовляются самим государством, и последнее простодушно изумляется, видя в этой ходячей анархии своего врага. Но каким образом бездельные молодые люди, не втянутые ни в какую профессию, не зацепившиеся в обществе ни за один серьезный интерес, сочтут себя в родном обществе дома?

Вот основная причина глубокого недовольства, отравляющего молодежь. Они в большинстве бездельники и лентяи, притом невольные. В самый лучший трудовой возраст, когда сил избыток, они чувствуют праздное томленье, неспособность ни за что взяться. «Вся тварь разумная скучает», — сказал бес, и это верно. При условиях, в которых бесы поставлены, то есть при обеспеченном пансионе в аду и при отсутствии каких-либо честных обязанностей, им нельзя не скучать, и отсюда их бесчисленные пакости, творимые

над людьми. Дай Творец г-дам Мефистофелям сколько-нибудь серьезные обязанности, им не пришло бы в голову разрушать мир. Сумей наша государственность посредством трудовой, сословной, то есть профессиональной, школы втянуть молодежь в упорную работу — не было бы нигилизма, озлобленности, стремления делать мерзости и разрушать. Взгляните, как скучают молодые животные без занятий. Но совершенно то же самое человек. Сотканный из мускулов и нервов, весь машина, человек вне труда чувствует себя несчастным, и всего несчастнее, мне кажется, Обломовы, записные лентяи. Как юношеству быть довольными таким порядком вещей, который лишает их высшего счастья — увлекательного труда?

Нетрудно было бы доказать, что не только учащаяся молодежь деморализована бездельем, но тем же пороком страдает и учащий состав. Кто они, преподаватели и профессора? Те же недавние студенты, не очень давние гимназисты, прошедшие ту же изнуряющую душу школу. Вот отчего, попробовав вначале слабо сопротивляться школьным бунтам, забастовкам, обструкции и т. п., преподаватели и профессора кончили тем, что большинство их примкнули к этому будто бы «освободительному движению». И старые, и молодые ленивцы, гнетомые праздностью, нашли в политическом бунте оправдание своему злосчастному неудачничеству. Оправдание перед собой и людьми, а также возможность сорвать сердце на общем козлище отпущения — правительстве, которое в данном случае не напрасно несет на себе грехи мира.

ВЛАСТЬ КАК ПРАВО

21 августа

Быть или не быть сильной власти — это то же самое, что быть или не быть России. Вот почему я считаю долгом возвращаться к этому тяжелому вопросу. Речь идет о страшной государственной болезни, которую можно сравнить с перерождением сердца. Болезнь эта появилась у нас давно; может быть, она унаследована в самом зачатии государственности. «Наше государственное тело велико и обильно, но нет соразмерного двигателя внутри. Придите быть нашим сердцем», — говорили новгородцы варягам.

Слабость центрального мускула в своих средних стадиях не смер-

тельна, однако в последнее столетие обнаружились слишком зловещие признаки. Кроме страшной отсталости культурной и ее следствия — нищеты, мы пережили две позорные войны, и последнюю с врагом, физически втрое слабейшим. Мы переживаем постыдные годы бунта, где народные отбросы в союзе с инородцами терроризируют власть, срывают парламент, лишают возможности культурного законоустройства, предают трудовую часть нации разгрому и грабежу. Все это явления, не обещающие ничего доброго. Я не могу скрыть от читателей своей тревоги и не могу не говорить того, что составляет мое глубокое убеждение. Нам нужна не какая-нибудь, а непременно сильная власть. Нам необходимо могучее сердце, иначе мы пропали. Это сердце и теперь, как на заре истории, может быть создано народным организмом. Оно должно быть создано! Если у больных людей есть методы укрепления сердечной мышцы, то, несомненно, есть способы укрепления государственной власти, и нужно поспешить с ними, нельзя с этим откладывать! Россия гибнет от усталости сердца — неужели мы, живое поколение русских людей, настолько ничтожны, чтобы не помочь родине в черные ее дни? Неужели мы как племя настолько выродились, что не способны восстановить жизненно необходимый орган?

Множество моих противников ослеплены опасным заблуждением, будто гипертрофия власти означает ее силу. Кричат, что власть у нас чрезмерно сильна, что для спасения России необходимо обуздать эту силу, связать ее общественным противовесом. Под силой власти они понимают произвол, жестокость, бессмысленность, те черты тирании, которые вульгарно приписываются самовластию. А. А. Столыпин[1], вероятно, сделает мне честь признать за мною иное понимание существа власти. Если бы речь шла о машине мертвой, например о заряженной пушке, то силу ее было бы допустимо определять количеством разрушения, на которое она способна. Но власть — машина живая; как всякое живое тело, она существо отчасти духовное. Сила правительства определяется способностью достигать своих целей, цели же эти, конечно, не только разрушительные, но и творческие. Даже лютый враг нашей власти не станет отвергать благих ее намерений. Но даже пламенный поклонник власти согласится, что благие намерения не выполнялись. Сама власть не отвергает последнего, иначе она не взяла бы на себя почин переворота. Именно в том-то и суть несчастий наших, что государственная власть потеряла способность осуществлять свои намерения. Разве можно такую власть назвать сильной?

Раз вещь перестала достигать своих целей, она перестала быть сама собой, она превратилась в нечто другое. Достаточно в тысяче-

сильный паровоз попасть горсти песку, чтобы он остановился. Но если он остановился, какой же он паровоз? На все время бездействия — он тело мертвое, груз, который сам нуждается в двигателе. Сила власти не в намерении, а в исполнении. Наше правительство — кроме подозрительных господ, втершихся в министры, чтобы при первой беде власти перекинуться в кадеты, вроде г-д Федорова, Кутлера и др., — наше правительство искренно желало иметь счастливый народ и имеет народ голодный и недовольный. Желало иметь победоносную армию — и довело армию до Муклена. Желало иметь сильный флот — и довело флот до Цусимы. Желало законности, тишины, порядка — и довело до «позора непрекращающихся убийств». Скажите, можно ли государственную власть назвать сильной, если она достигает как раз обратных целей? А. А. Столыпин, конечно, не менее других русских публицистов осведомленный в намерениях власти, пришел к мысли, что с политическим террором может справиться «только само общество». Но ведь это значит манифестировать бессилие правительства несравненно решительнее, чем мог бы сделать я.

«Сила власти, — заявляет А. А. Столыпин, — должна заключаться в силе права, а не в праве силы». Формула прекрасная, и я безусловно согласен с ней. Я никогда, ни одной минуты не ставил физическую силу в политике выше права (понимая под правом справедливость). Желая видеть власть сильной, я добиваюсь торжества вовсе не силы, а именно нравственного права, вложенного в понятие власти. Я думаю, простительно каким-нибудь еврейчикам из газетной черни, а не нам с г-ном Столыпиным представлять себе власть как нечто противоположное праву. Власть над народом не есть право собственности, не jus utendi et abutendi, а обязанность служения в пределах пользы народной. Избранием династии, которой вручено народом верховное управление, утверждено право действия власти на благо нации, «на славу нам, на страх врагам». В самом слове «правительство», в глаголе «править» заключено понятие права, неразрывного в народном разуме со справедливостью. Следовательно, власть по существу своему никак не может пониматься как «право силы», а всегда есть «сила права», кроме тех, конечно, случаев, когда власть впадает в злоупотребления. Но в последних случаях власть перестает быть властью, как музыкант, взявший фальшивую ноту, в этот момент уже не музыкант. Только деятели клеветнической, заведомо лгущей печати, сделавшей преступность слова своим ремеслом, могут утверждать, будто я ратую за злоупотребления власти. На самом деле кроме непрерывной борьбы со злоупотреблениями власти я стою еще за то, чтобы самое

употребление власти было восстановлено, чтобы власть получила наконец возможность действовать как право. Кроме скверного делания есть не менее опасный порок — неделание. Право неосуществленное перестает быть правом. Но самое священное право, чтобы действовать, должно быть силой — это элементарное требование механики. Отсюда я настаиваю на необходимости власти быть сильной. А. А. Столыпин упрекает меня в том, будто я упустил из виду его утверждение, что достигнуть подавления террора можно «выдержанным, неумолимым, но хладнокровным и законным преследованием преступности при непременном условии деятельного государственного творчества». Я вовсе не упустил из виду этих строк, но решительно не знаю, как связать их с главным тезисом г-на Столыпина: «С позором непрекращающихся убийств может справиться только само общество, причем заслуга правительства была бы только в умелом использовании общественного сочувствия». Выходит так, если я понимаю г-на Столыпина, — что если есть налицо общественное сочувствие, то допустимо «выдержанное, неумолимое, хладнокровное и законное преследование преступности», а если нет общественного сочувствия, то правительству нечего использовать, то есть как будто нечего и делать, и остается самому обществу справляться с бунтом. Эта точка зрения мне кажется вдвойне неверной. Она ставит государственную борьбу с бунтом в зависимость от торжества так называемой реакции. Если есть реакция в обществе — есть и борьба, нет реакции — нет правительственной борьбы. Я думаю, власть государственная должна быть рассчитана не на столь преходящее условие, как общественное сочувствие или несочувствие. Власть, мне кажется, во всяком случае обязана бороться с преступностью, бороться непрерывно, со всей силой врученного ей историей права. Общественное несочувствие к власти не ослабляет, а скорее усиливает обязанность власти преследовать преступления. Ведь если в обществе растет несочувствие к власти, то, значит, растет преступность, стало быть, тут-то правительству и приходится напрячь все силы для одоления беды.

«Вся заслуга власти» не только не «в умелом использовании общественного сочувствия», как пишет А. А. Столыпин, а наоборот — в мужественном презрении к самой мысли подделываться под чьи-то вкусы, в честной решимости идти хотя бы против общественного течения, если оно явно вредно. Разве, в самом деле, «общественное сочувствие» всегда синоним справедливости? Вспомните Иерусалим, побивавший пророков. Общество — представитель данного момента, данного поколения, тогда как власть должна чувствовать себя представителем всей нации в ее истории. Только на этом осно-

вании династия избирается не на данное поколение, а в долготу веков. Она во времени — становая ось народная, поддерживающая общее единство: вот почему ее право выше общественной популярности. Обрекать власть хотя бы на «умелое использование общественного сочувствия» значит делать власть игрушкой толпы. При этом правительством делается толпа, а управляемой вещью — власть. Не думаю, чтобы такая перемена ролей повела бы к чему-нибудь хорошему.

Я отнюдь не отрицаю «государственного творчества», о котором говорит г-н Столыпин. Я только полагаю, что оно, как всякое творчество, должно быть свободным, то есть прежде всего свободным от власти общественного мнения. Если художник, артист, писатель поставили бы своей «единственной заслугой умелое использование общественного сочувствия», я прямо сказал бы: это бездарности, это шарлатаны. Они могут обмануть толпу и пробиться в идолы, но это будут именно идолы, а не боги. «Художества свободны» — вот первый закон творчества. Все великие искусства, в том числе искусство власти, только тогда велики, когда независимы от мнений общества, когда «умелое использование» случайной моды не входит в их расчет. Я желал бы своему отечеству гениальной власти, которая никогда не слагала бы на общество своего творчества, которая не нуждалась бы в сочувствии толпы, а которая, подобно правительству Петра Великого, Фридриха II, Наполеона, Бисмарка, в самой себе находила бы импульсы и великие цели. Как показывает история, творческая власть часто шла вместе с обществом, но нередко наперекор ему, причем в последних случаях ошибалась не власть, а общество.

Отрицая пагубную мысль, будто бороться с террором может «только само общество», утверждая, что если бы нынешняя власть нас покинула в этой борьбе, то мы принуждены были бы организовать новую власть и только через нее могли бы бороться с преступностью, я этим вовсе не отрицаю ни самодеятельности общества, ни его свободы. Совершенно напрасно А. А. Столыпин приписывает мне мысль, не только не разделяемую мной, но такую, против которой я давно сражаюсь по мере сил. Общество, бесспорно, имеет свои политические права, но и власть имеет свои. Будем держаться конституции, если хотим иметь ее. В Основных Законах наших я не вижу, чтобы обществу было предоставлено право борьбы с преступностью и чтобы правительство было освобождено от обязанности этой борьбы. Напротив. В перечислении свобод в Основных законах я не вижу свободы следствия и суда над своими согражданами, свободы наказания их тюрьмой и казнью, свободы

ограничения преступных организаций и т. п. «Право силы» в нашей конституции предоставлено всецело «силе права», то есть закономерной власти, общему органу общества. Но те же Основные Законы предоставляют обществу широкое поле самодеятельности и очень определенное право вмешательства в государственные дела — через представительство в парламенте. Вот этой самодеятельности и этому вмешательству (в виде контроля над властью) я сочувствую, ибо считаю, что жизнь тела столь же необходима для жизни сердца, как и обратно.

И от власти, и от общества я не требую чего-нибудь чрезвычайного. Я хотел бы только, чтобы власть была властью, а не подделкой ее под «общественное сочувствие» и чтобы общество было обществом. Не будемте путать функций. В самом деле, ведь опасно заставлять кишки работать за сердце или наоборот. Я страстно желал бы общество видеть самодеятельным, но в каком смысле? А вот в каком. Будемте хорошими работниками, каждый по своей части. Хорошая работа есть ежедневная дань государству, ежедневный вклад в общество, непрерывное накопление богатства умственного и материального. Накопление, согласитесь, лучше растраты. Чтобы быть хорошими работниками, будемте свободными художниками своего труда, то есть людьми мужественными, независимыми от вкусов толпы, от изменчивого общественного сочувствия. Будемте, наконец, достойными гражданами, то есть людьми, в самих себе подавляющими всякую преступность, — и тут наша «самодеятельность» безгранична. Если конституция не дает права хватать за шиворот своих ближних и подвергать их нашему самосуду, то все конституции допускают собственный самосуд. Например, если вы газетный клеветник, и лжец, и фальшивомонетчик слова, то никакая власть вам не перечит осудить свои скверные занятия и наказать себя, до способа, если угодно, унтерофицерской вдовы включительно. Никакая власть не перечит вам любить родину и выслать в парламент людей, любящих ее, разумных и стойких, лишь бы не преступных. Вплоть до преступлений конституция признает самодеятельность общества. Признаю и я ее в тех же пределах.

А. А. Столыпин просит, чтобы ему «указали реально, в чем должно проявиться усиление власти, в каких поступках (с точным их перечислением), в каких мероприятиях». Если угодно, я в следующей статье отвечу. Но должен заметить раньше, что «усиление власти» проявляется не в тех или иных поступках и мероприятиях, а в силе всяких поступков, всяких мероприятий. Если поступки власти достигают цели, я считаю власть сильной. Если цели эти умны, я

считаю власть умной. Если в итоге устанавливается «на земле мир и в человецех благоволение», я первый присоединяюсь к мнению херувимов и говорю: «Слава Богу!»

ПОДЪЕМ ВЛАСТИ

23 августа

Чтобы усилить власть, не нужно «нарушить закон» — достаточно его «исполнить». Как власть Божия не была отменена у иудеев, а только узурпирована их теократией, так государственная власть у нас. И в ветхом нашем, и в новом законе власть утверждена прочно, но осуществление ее в руках бюрократии ослаблено до полного иной раз паралича.

По Основным Законам, которые для чего же нибудь написаны, российское государство есть монархия, причем лишь некоторые функции верховной власти разделены между монархом и представительными учреждениями. Между тем не только так называемое общество в лице левых партий, но и сама бюрократия безотчетно клонят к установлению республиканского образа правления или того скрыто-республиканского, в котором e roi regne mais ne gouverne pas. Вместо того чтобы принять честно конституцию, какой она дана, у нас сами министры — начиная с автора конституции, графа Витте, — первые заголосили об общественном сочувствии, о необходимости общественной поддержки, без которой государственность будто бы не может выполнять даже своих полицейских обязанностей. Но если вспомнить, что так называемое общество у нас (образованный класс) насчитывает едва один процент населения, причем этот один процент разбит на 33 партии, навязывающие правительству каждая свою программу, — если вспомнить, что под именем общественного мнения следует понимать чаще всего кошачий концерт озлобленных еврейчиков, заполонивших печать, то можно себе представить, что за прелесть вышла бы у нас республика, опирающаяся на такого рода «общественное сочувствие»!

Теоретически нельзя отрицать, что общественное сочувствие — вещь для всякой власти желательная. Но конституционная монархия именно тем и отличается от республики, что в ней правление не народное, то есть в самом корне независимое от сочувствия обще-

ства. В республике общество — хозяин власти, в монархии — общество только помощник. Как стихии сведущей, обществу предоставлено лишь обсуждение закона и контроль над чиновниками. Парламентский контроль создан у нас не для борьбы с властью, а, напротив, для непрерывной помощи ей. Конституционализм подобен медицине. Вмешательство знания не изменяет законов тела, а лишь помогает им действовать во всей полноте. Сочувствие тканей законам физиологии называется здоровьем, несочувствие — болезнью. Болезни лечат, а не приспособляются к ним.

Я обещал ответить А. А. Столыпину на категорический вопрос: какие поступки и мероприятия требуются для усиления власти? Мне предлагают «перечислить точно» эти поступки. К сожалению, размеры газетной статьи позволяют именно только перечислить их, и то лишь бегло.

Первый и неотложный долг власти, желающей быть сильной, — это соорганизоваться на своем собственном посту. Необходимо, чтобы во главе министерства стал человек большого ума и большой воли. Если этим человеком окажется А. А. Столыпин, я буду искренно ему аплодировать. Всякое творчество единолично; не говоря о художественной статуе, попробуйте вы слепить горшок в компании с десятью человеками. Помощники правителю нужны, премьер-министру нужна коллегия министров, как для регента нужен хор. Спрашивается, похоже ли наше теперешнее министерство на спевшийся хор? Увы, нет. В общей работе министров и их исполнительных органов не чувствуется гармонии. Возьмите факты, лишь всем известные. Разве г-н Столыпин знал о предприятиях г-на Гурко, ближайшего своего товарища? Разве то, что делается в ведомстве просвещения, отвечает собственной программе премьер-министра? В министерстве представлены по меньшей мере три партии, причем ведомство, важнейшее в смысле борьбы со смутой, отдано кадетам. Мне кажется, элементарное соображение требует политического единства в составе власти. Нужно, чтобы не только все министры без исключения, но и все директора департаментов, все генерал-губернаторы, губернаторы, директора высших и средних школ и т. п. принадлежали к одной партии. Необходимо, чтобы в составе власти было установлено государственное credo и чтобы оно соединяло лишь искренне верующих в него. Различие основных мнений естественно в парламенте, но оно является верхом нелепости в правящем кругу. В парламент сходятся для выработки закона — правительству же приходится осуществлять закон. Разноголосица тут является бредовым сознанием, которое во все поступки вносит судорожное бессилие. Мнения граждан, в том числе и министров, конечно, свобод-

ны, но в министры и правящий слой вообще должны подбираться люди, свободно пришедшие к единству взглядов. Нельзя держаться сразу всех политических программ. Как странно было бы всесословное дворянство, ибо это отрицало бы самую природу сословий, так нельзя в корпорацию правительства допускать представителей разных партий, разных политических идеалов. Терпимость — вещь прекрасная во многих случаях — превращается в глупость там, где по самой натуре требуется нетерпимость, именно в области решений. Вследствие глубокого государственного упадка у нас от священников перестали требовать веры, от офицеров — храбрости; кончилось тем, что от правительства не требуют единства воли. Не нужно, мол, определенной государственной программы, а если человек несколько смекает по своему ведомству, то и достаточно. Мне кажется, из разброда мысли на верхах власти идет пагубная вялость действий, безотчетная обструкция «сфер» друг другу, отсрочка, затяжка, обход сколько-нибудь решительных мер. Для побеждаемого зла постоянно оставляются лазейки и выходы. Как будто лелея бунт, нарочно стараются кое-что сберечь на семена.

Сорганизовав подбор согласных людей с общей политической верой, правительство не будет нуждаться в указаниях, что ему делать, чтобы подавить бунт. Оно предпримет не какие-нибудь иные, а те же поступки и те же меры, но лишь с решимостью их выполнить, а не только выложить на бумагу. Сильное правительство поймет прежде всего, что с бунтом нужно спешить, как с пожаром или чумой. Не страшные в своем начале, все серьезные бедствия в конце уже неодолимы. Поэтому откладывать решения на завтра, если они целесообразны сегодня, — политика самая плохая. Именно потому, что в составе власти есть люди нетвердых мнений, замирение России идет черепашьим ходом. Именно по этой причине министры колеблются, вступают в спор с лидерами оппозиции, думая заговорить их или переспорить. Именно отсюда возникает странная мысль, что правительство не может подавить террор, а может это сделать «только само общество». Но ведь эта мысль, в сущности, недалека от объявления забастовки власти. Мотивы ее недалеки от тех, которыми объясняет свою забастовку неучащаяся молодежь: «Пока общество неспокойно, мы работать не можем». Мне кажется, первым делом преобразованного кабинета был бы твердо поставленный лозунг: «Не ждать лучших времен», а немедленно принимать меры, притом исчерпывающие вопрос. Громадное большинство решений только тем и плохи, что они нерешительны.

Под решительными мерами я разумею, конечно, не поголовные казни и вообще не кровавую расправу. Если еврейская печать в

один голос мне навязывает кровожадные мысли, то чего же вы хотите от жидовской совести? Лгать, лгать низко, лгать грязно, не боясь никакого смрада в клевете, — это составляет один из пунктов помешательства инородцев, что напали на Россию. Насколько эта мания клеветы захватывает еврейские круги, доказывает то, что даже силящаяся быть приличной кадетская «Речь» повторяет против меня все гнусности мелкой еврейской прессы. На обвинение в кровожадности я скажу, что никогда не рекомендовал правительству ни новых виселиц, ни еврейских погромов. Но никто из здравомыслящих русских людей не откажет власти, стоящей на страже нации, в праве отвечать на войну войной. Племя Иуды до такой степени рассчитывает на русскую простоту, что право смертной казни серьезно хочет сделать своей привилегией. Сами господа евреи могут, видите ли, сколько угодно крошить христиан бомбами и браунингами, а христиане отнюдь не моги их тронуть, даже по приговору уголовного суда. Но сколько бы ни нашлось русских дурачков, согласных на такое разделение ролей, я думаю, неглупые русские люди едва ли обрадуются еврейской афере. Трагическая борьба, что идет теперь, — борьба за жизнь России, требует не кое-каких, а подчас трагических мер. Если безвинные русские люди в жертву мира приносят собственную кровь и жизнь, то не станет же наша власть церемониться со злодеями потому только, что они злодеи. По понятию апостола Павла, который был осведомлен в христианстве едва ли меньше теперешних еврейчиков, только та власть — власть, которая «не напрасно носит меч». От преступников, ополчившихся на Россию, зависит, чтобы грозный меч государственный был вложен в ножны. Бросьте гнусное смертоубийство, бросьте зверские приемы борьбы — и правительство не коснется вашей драгоценной жизни. Но именно этого-то наши бунтари и не могут. С наглостью, доходящей до юмора, они объявляют нашей власти войну — и кричат против военных мер. Ставят смертные приговоры — и кричат против смертных приговоров. Мне кажется, сильная власть должна презреть этот иерихонский шум. С величайшей тщательностью отделяя мирных людей от воюющих, она должна поступать с последними, как с воюющими. При этом всем понятно, что самая жестокая война для обеих сторон — затяжная. Будь правительство несколько решительнее в начале бунта, не сдавайся оно на предательские вопли об амнистии, умей оно стеречь своих пленных — виселиц потребовалось бы неизмеримо меньше, чем теперь.

Если А. А. Столыпин непременно требует инвентарного перечисления мер, необходимых для усиления власти, то я мог бы повторить то, о чем говорил не раз:

а) нужно, чтобы прокуроры и судьи наши были действительно прокурорами и судьями, а не казенной организацией, служащей кое-где для защиты преступников от закона. Кажется, сам А. А. Столыпин сообщал в печати о председателе суда, торжественно вручившем оправданному бунтарю револьвер, снятый со стола вещественных доказательств;

б) нужно, чтобы тюрьмы были тюрьмами, а не рассохшимися бочками, из которых утекает содержимое. По сегодняшним, например, известиям из Вятской губернии, в Слободском уезде за шесть дней бежали 12 человек, в Малмыжском — двое, в Орловском — 21 человек, в Глазовском за три недели убежал 61 сыльный. «В некоторые дни бегут по 7—8 человек»;

в) нужно, чтобы ссылки были действительно ссылками, то есть местами изоляции преступного элемента от мирных граждан, а не местами заразы последних, не очагами распространения смуты;

г) нужно, чтобы надзор над революционной печатью был не мнимым, а действительным надзором, причем преследование преступности должно быть пресечением ее, а не рекламой для дальнейшего распространения;

д) нужно, чтобы инспекция и полиция всех видов были приведены в соответствие не с тем состоянием, в каком Россия находилась полстолетия назад, а с современным ее состоянием. Если один инспектор приходится на полсотни книжных магазинов и на десятки типографий, если на громадные скопления народа, в десятки тысяч, приходится пара городовых, вооруженных археологическими пистолетами, из которых они не умеют стрелять, то такая опереточная обстановка, естественно, не погашает бунта, а плодит его;

е) нужно, чтобы во главе казенно-революционных заведений, каковы средние и высшие школы, были поставлены люди, не сочувствующие революции. Учительский персонал должен быть тщательно проверен, и «товарищам», носящим вицмундиры, должна быть открыта дверь. Автономия, превратившаяся в право заводить на казенный счет республики и составлять революционные армии, должна быть отменена. Академический союз профессоров, руководящий учебной обструкцией, должен быть распущен. При сколько-нибудь серьезном сопротивлении бунтующие школы должны быть закрыты с лишением государственного жалованья преподавателей и профессоров;

ж) так как войну с правительством ведут инородцы при деятельной поддержке свихнувшейся части интеллигенции и народа, то нужно поставить и инородцев, и служебную интеллигенцию, и воюющий народ в условия, при которых война была бы для них

затруднительной. Как это сделать — вопрос политического искусства, именно того творчества, о котором говорит А. А. Столыпин. Во всяком случае, едва ли к усилению власти служит такой творческий акт, как передача целых ведомств в руки поляков и евреев или содержание на службе, с наградой чинами и орденами, десятков тысяч кадетов и эсдеков.

Подавляя бунт рукой железной, правительство одновременно обязано вырывать корни бунта, а эти корни — в самом правительстве. Они — в системе старого хозяйства, где ленивые и праздные люди кормились на счет трудовых классов. Никакие тюрьмы, никакие виселицы не спасут государство от народного мятежа, если не будет восстановлен разум в самых основах власти, если поруганная справедливость не будет поставлена как первый принцип. И народу, и обществу не только должны быть обещаны политические права, но должны быть и даны. Парламент должен не только созываться, но правильная работа его должна быть обеспечена, притом одинаково — от вмешательства бюрократии и от вторжения буйных элементов как слева, так и справа. Следует признать, что только тот парламент есть парламент, который усиливает способность власти достигать ее целей. Таким парламентом явилось бы представительство от трудовых корпораций. Только такое деловое представительство могло бы внести строгий контроль над администрацией и национальный разум в законодательство... Чтобы обеспечить работу делового представительства, следует оберечь его от проникновения элементов, портящих его: от инородцев, от революционеров и от невежественной черни. Сверх всего перечисленного и многого другого, власть, желающая быть сильной, обязана всемерно поднять военные силы страны, собрать «дружину храбрых», без которых государственная сила — звук пустой. Вот беглый перечень практических мер, которые могли бы существенно поднять значение власти. Вместе с силой к ней вернулось бы достоинство, вернулось бы мужество и тот драгоценный секрет порядка, что сейчас как будто затерян, — доверие народа к власти.

СВИНЬИ И БЕСЫ

14 октября

Из растений Христос проклял только одно — бесплодную смоковницу. Из животных погубил плодовитых свиней, разрешив в них вселиться бесам. Из людей Христос предал проклятию только книжников, которые совмещают в себе бесплодие сухой смоковни-

цы с почти механической производительностью свиней. «Горе вам, книжники!» — это сказано по адресу не народа и не аристократии, а тогдашней интеллигенции, того класса, что зарылся в священных книгах, поработился букве и в гипнозе слов утратил здравый человеческий смысл. Интеллигенцией еврейской тогда были фарисеи. Именно у них Христос отметил пороки книжной переначитанности: противное лицемерие прежде всего, предвзятость, мелочность, «оцеживание комара», соединенное с сумасшедшей надменностью.

Недаром наш пророк-писатель взял из Евангелия тему для своего знаменитого романа. Наша интеллигенция, современная Достоевскому, казалась ему стадом свиней, в которое по Божьему попущению вселились бесы. Следствием этой казни, согласно пророческой легенде, должно быть падение всего стада в море. Если настаивать на сближениях, то провал России под Цусимой напоминает до известной степени евангельское событие. На сцене Малого театра в Петербурге сейчас поставлена переделка «Бесов», ряд сценических иллюстраций, которые как бы напоминают еще раз, что у нас есть уже великое предсказание о русской жизни, но нет ушей, которые слушали бы его.

О переделке романа говорить излишне. Едва ли возможно переложить статую на музыку или музыку передать кистью художника. Хотя всякий роман по существу своему представляет драму, как бы рассказанную со стороны (например, хором в греческих трагедиях), но все-таки нечто существенное утрачивается и что-то чуждое привносится при переделке. Тем не менее пользу переделок нельзя отрицать, как нельзя отрицать значения исторических картин. Переделки выдвигают характерные стороны романа, подчеркивают их, дают стереоскопическую выпуклость типам. Воссозданные актерским талантом, герои Достоевского оживают на сцене. Попробуйте забыть капитана Лебядкина в превосходном исполнении г-на Михайлова. Театр заставляет плохих читателей доглядеть и дослушать то, что они пропустили в книге, заставляет не только познакомиться с великой вещью, но и заучить ее наизусть. Поглядев «Бесов» на сцене, тянет вновь перечитать это огромное произведение, а перечитать его значит вновь передать целое событие своей молодости, волнующее, заставлявшее когда-то сильно чувствовать и много думать.

Откуда бесы? Откуда умственное состояние, делающее неуравновешенных людей, особенно молодежь, такими несчастными, отравленными, озлобленными, преступными? Что заставляет этих студентов, гимназистов, интеллигентов всякого звания вести себя так плоско-глупо и так цинически-жестоко? Люди разного безумия, они действительно точно одержимы бесами. Они только носят чело-

веческие обличья, на самом деле они — живые бесы, все эти Ставрогины, Шатовы, Кириловы, — бесы страдающие, как бы палимые адским пламенем. Сквозь иную ангельскую наружность, как у молодого Верховенского (г-н Глаголин), сквозит черный дьявол, но дьявол недавний, вселившийся вместе с какой-то книгой. Бесовский сомнамбулизм есть следствие нашептыванья, наговора, которым завораживают людей немые бумажные создания. Книги внушают редко нечто великое — ибо великое вообще редкость, — чаще же низкое и преступное, чем природа человеческая так богата.

Внедрение бесов в русское общество начинается в эпоху наиболее яркого развития свинства — в эпоху Тараса Скотинина и Простаковой. Это было в веке Екатерины, когда дворянство было освобождено от исторической службы своей и от многовековой трудовой дисциплины. Почитайте записки Болотова[1]. До Петра III, раскрепостившего служилый класс, крепостного права почти не существовало: оно было общим. И дворянин, и пахарь, и царь, по замыслу Петра Великого, были скованы до гроба государственной работой. Никому не разрешалось ничего не делать, никто — под страхом тяжелых кар — не мог быть паразитом общества. Более или менее просвещенные люди, как и глубокие невежды, были поставлены в одинаковые условия трудовой, деловой, производительной жизни, каждый по своей части. Что касается дворянства, то суровая служба в казармах начиная с солдатских чинов, непрерывная муштровка, экспедиции, походы, необходимость содержать войска в блестящем виде — ибо век был строгий — все это требовало от дворян большой работы. Кроме работы нужны была забота, внимание, тревога, а в случае войны требовался героизм, доходивший до смертных мук. Войны были частые, походы затяжные, многолетние. При скудости поместий даже недоросли и инвалиды не сидели праздными — приходилось добывать хлеб, то есть опять-таки работать. Мне кажется, это рабочее положение облагораживало тогда всех. При отсутствии тесной связи с соседним просвещением русскому обществу приходилось волей-неволей оригинально мыслить, приводить в действие собственный здравый смысл. Великое дело — думать творчески, и именно тогда складывался самостоятельный, национальный наш разум, сказавшийся в великой литературной школе. Но вторжение иноземцев все испортило. Петр III раскрепостил дворян, позабыв при этом раскрепостить народ. Коренному немцу хотелось видеть вокруг себя феодалов, и вот сто тысяч дворян были посажены на готовые хлеба. Тогда именно, мне кажется, и началось свинство русской жизни, подготовившее нашествие бесов.

В биологии есть закон: посадите на готовое питание жизнедея-

тельный организм, и он чрезвычайно быстро примет паразитный тип. Рабочие органы, как ненужные, атрофируются. Постепенно отмирают органы чувств и разума, уменьшается — до полного исчезновения — головной мозг, и организм в конце концов превращается в сочетание желудка и половых желез. Раскрепощение дворян и раздача им государственных богатств сделали обеспеченным тот класс, который для блага нации должен бы быть впереди всякого труда, в напряжении таланта и совершенства. Мне кажется, именно тогда подалась наша стародавняя культура. В «Бригадире» вы уже читаете, с каким презрением молодежь, понюхавшая Европы, относится к своей родине. Тут момент величайшего перелома в истории: аристократы, защитники страны, герои по профессии, каким-то колдовством начинают питать презрение к святыне, служение которой до этого составляло смысл их жизни.

Откуда пошло презрение к своей стране? Мне кажется, оно пошло от упадка своей собственной национальной культуры. Она была у нас, но погибла, задавленная новым ужасным для всякой культуры условием — паразитизмом аристократии. Все было недурно, пока работали вместе, пока страдали, верили, молились, пока в трагедии тяжелой национальной жизни упражняли дух свой до богатырской выносливости и отваги.

Господа Скотинины

Тарас Скотинин, Митрофанушка — сразу два поколения свиночеловеков, занятых только желудочными, только половыми вопросами. Пусть наряду с ними еще возможны благородные типы: накопленная сила духа тратится не тотчас, — но уже значительная, может быть, преобладающая часть дворянства пала со своей служилой высоты. Чуть послужив, дождавшись чина поручика или корнета, дворяне выходили в отставку, ехали в родовые усадьбы, опускались в перины и пуховые подушки, толстели, брюхатели среди дворовых гаремов. От лютой скуки пили, ели, спали, зевали, кутили, доходили до беспробудного пьянства и непотребства. Ведь в самом деле все это было. Старики это еще помнят из живых воспоминаний, молодежь может прочесть миллион свидетельств, не оставляющих сомнения. Разве только огромные таланты вроде Пушкина и его школы не поддавались растлевающему влиянию крепостного свинства. Талант, как золото, не окисляется, не ржавеет в щелочах. Но огромное большинство посредственных, освобожденных от труда людей вырождались в известные гоголевские типы. Из

них Тентетников, как немного позже Обломов, были еще самыми симпатичными. Вглядитесь пристально в этот класс: какая колоссальная в нем совершилась перемена! В петровские, героические времена гербом аристократии мог служить национальный герб — орел. Грозное, сильное, зоркое, подвижное животное, наблюдавшее с высоты за двумя материками и как бы двухголовое, — таков был старый русский аристократ, отстаивавший Россию. Но хищная птица в эпоху Екатерины как будто начала перерождаться в толстое четвероногое, которому только бы есть да спать. Как в том толстокожем, что наказал Христос, у многих обеспеченных людей высшая жизнь замерла, свелась к жратве. В широких кругах полупросвещенной буржуазии нашей, неправильно именуемой дворянством, в Скотинине, в Обломове погасло мужество, поникла вера, поблекло истинное благородство. Что касается Обломова, то он — подобно несравненному г-ну Верховенскому-отцу — кончает ролью содержанца у сердобольной женщины.

Заметьте, кому в «Бесах» принадлежит первая скрипка злодейства: сыну старого эстета и эпикурейца, сыну изящнейшей, строго выхоленной свиньи, если позволено сказать правду. Это родство знаменательно. Оно обдумано Достоевским, как страшный вывод его эпохи. Мистик и — как всякий мистик — символист Достоевский не мог не видеть, что нашествие бесов стало возможным лишь на почве полного маразма старых поколений, совершенной их неспособности отстоять культуру, которой, будучи представителями ее, они первые изменили. Глубоко обмещанившееся общество, утратившее все рыцарское, все сильное, все двигавшее на подвиг, непременно должно было сделаться добычей чужих идей, ибо утратило свои. Если народ безрассудно растратил древнее богатство духа, он непременно тянется к чужому богатству и делается рабом его. Чужое добро впрок нейдет, говорит умная примета. Чужой дух, чужие идеи действуют, попав в наше сознание, по каким-то своим законам и ради своих интересов. Принимающая их среда делается их питанием, их добычей, не более. Чем более рыхл и жирен класс, подвергающийся нашествию идей, тем более он благоприятен в смысле «питательного бульона» для заразных начал. Нигде так широко не распространился нигилизм, как в России. Это доказательство отнюдь не силы русского ума (как думают сами нигилисты), а признак слабости его. Сдается лишь то, что устоять не может, сдается бессилие и пустота. Сдается глупость: нужно заметить, что посаженное на даровые хлеба общество наше заметно поглупело в сравнении хотя бы с древнемосковским. Ум, когда делается лишним, отмирает. А зачем ум человеку в стойле? Опускаясь до свинства,

русский человек приобрел своего рода моральную всеядность. Русскому человеку, упростившемуся до «желудочно-полового космополита» (выражение Щедрина), стало безразлично, свое ли чавкать или чужое. Чужие деликатесы он стал предпочитать родному хлебу. Чужие идеи, как бы они ни были нелепы, начали казаться умнее собственного и народного смысла.

От свиней перейдем к бесам.

Психология бесноватых

Глядя с высоты, отлично видишь сущность драмы нашего времени. Она совсем не в том, в чем полагает ее молодежь, зараженная отрицанием. Молодежь думает, что идет великая мировая борьба между древним невежеством и новым, научным разумом. Молодежь думает, что наука внесла новое откровение и оно должно брать свои позиции приступом, не щадя никаких верований, никаких заветов прошлого. Все прошлое отметается как несуществующее, все настоящее заподазривается как нелепое. Единственной реальностью признается то, чего нет: мечта учителей, которых мысль сделалась идолом беспощаднее Молоха. Истина в будущем — вот центр современной трагедии. Подобно отшельникам-изуверам V века, нынешние безбожники отвергают царство мира сего. Подобно им, они ждут и жаждут нового Иерусалима, причем у социал-анархистов этот новый путь жизни ничуть не правдоподобнее описанного в Апокалипсисе. Мне кажется, это перемещение идеалов составляет своего рода мозговой сдвиг, род помешательства, свойственного временам упадка. Отвержение настоящего есть отвержение природы — вещь, по существу, сумасшедшая. Отрицайте царство мира сего, но оно ведь существует — вот беда. И когда оно, в строго определенный срок, сменится будущим, то в этот момент будущее станет ведь настоящим, не правда ли?

Ненависть к настоящему, предпочтение ему мечты считается признаком умственной силы, но в действительности это признак опасной дряблости ума. Наши анархисты, утописты, отрицатели заражены манией величия: они воображают себя умнее своей среды — на самом деле они гораздо глупее ее, и в этом вся их драма. В библейской мифологии эта тема давно исследована, именно в легенде о происхождении бесов. Сатаниилу показалось недостаточным его второе после Бога положение в мире. Он отверг существующее, он поднял первую революцию, окончившуюся для него столь плачевно. Части, пожелавшей равенства с целым, было доказано ее безумие. Все-

лившись в людей, бесы продолжают бунт против Создателя, но, в сущности, с тем же успехом. Как евреи в России, бесы требуют полноправия с Богом, равенства, хозяйских прав, не понимая, что это требование противоестественно, противно самой природе.

Не один разум, а два действуют в мире — в этом бесноватые не ошибаются. Но они глубоко ошибаются, полагая, что верховный разум принадлежит им. В действительности на их долю приходится низший, индивидуальный разум, и вот истинная причина их безумия. Мы все склонны думать, что мы — центр сознания, что все вращается вокруг нас. На деле есть некто огромный, неизмеримый, что поглощает нас и внушает свой вечный разум, — это историческое общество, к которому мы принадлежим. Если общество предоставлено самому себе, то в течение веков оно кристаллизует свое массовое сознание, выражая его в культе, обычаях, обрядах, законах, в поэзии, вере. Общество ощупью, путем непрерывного опыта вырабатывает свое отношение к миру и вещам. Это массовое сознание и есть верховное, твердое, прочное, подчиниться которому — высшее счастье. Великие характеры прошлого объясняются действием в старом обществе этого массового сознания. Отдельный человек тогда думал и верил, как все, и потому хотел, как все. Своей индивидуальной воле он имел стихийную, могучую поддержку и, двигаемый ею, шел бестрепетно ко всем целям. Но сближение человеческих обществ нанесло удар отдельным культам и культурам. Замкнутые, законченные до небесной ясности миросозерцания были разбиты. Системы мысли перепутались, обессилили, обесцветили друг друга, совершенно как разные цвета спектра при быстром вращении. Массовый разум всюду более или менее потерял свою обязательность. Он как бы выронил из своих объятий дремавшее индивидуальное сознание, и оно проснулось. Исчез верховный авторитет, и для каждого отдельного мышления стало все позволено, все возможно. Бесчисленные, крайне посредственные, подчас бездарные люди, освобожденные от гнета общего разума, почувствовали необходимость самим решать за себя. Вот тут-то и сказалась слабость каждой отдельной души в сравнении с великим старцем — человечеством. Отдельные сознания пустились умствовать вкривь и вкось. Поистине все разбрелись, кто в лес, кто по дрова. Каждому своя отсебятина стала казаться откровением. Именно величайшие-то мудрецы и думали не от себя. Они являлись лишь превосходными выразителями мирового опыта, верными собирателями заветов прошлого. Накопленный стихийный разум они открывали, как закрытую сокровищницу, и давали людям откровение не свое, а свыше. Пророки, философы, нравоучители органически, как стебель от кор-

ня, продолжали авторитет своей национальной культуры, и все величие их состояло лишь в ясности выражения.

Совсем не то другой тип ума, бесовский. Выпадая из развалин авторитета, индивидуальный разум делается бродящим. Он ни на чем остановиться не может. Как ковыль-траву, его подхватывает любое внешнее течение, любая модная доктрина. Он радикален во всем потому, что ни с чем не связан. Логическая машинка, которой ничего не жаль, которая работает и взад, и вперед, смотря по случайной позе. О, какое это беспокойное существо — посредственный мозг, освободившийся от авторитета! Он начинает выдумывать свою таблицу умножения, свою веру, свою мораль, и получается чепуха вроде знаменитого заседания у Виргинских. Кто такие эти интеллигенты, студенты, гимназисты, собравшиеся за самоваром решать проблемы мира? Мыслители они, ученые, поэты? Нимало. Все это мелкие чиновники, пролетарии, неудачники, молодые люди, почитавшие запрещенных книжек. Но может быть, эти запрещенные книжки написаны какими-нибудь великими людьми? Далеко нет. Великие книги во всех библиотеках тлеют в пыли, а читаются взасос тощенькие брошюрки да журнальная пасквиль. Как бы чувствуя свою вечную незначительность, живые бесы требуют равенства, бесы кричат о равенстве, бесы доходят до кошмарных злодейств вроде убийства Шатова. Болтающие языки их верно отражают сболтанное состояние душ. Растрепанная до рубища совесть, страшный упадок чести, веры, поэзии, великодушия — всего, что прежде звали божественным в человеке, — вот конечный результат крушения культуры и вместе с нею культурного разума, культурного авторитета.

Долго ли продлится нашествие на Россию этой чертовщины? Я думаю, очень долго. Не одна Россия, весь мир охватывается той же болезнью: расстройством власти — всякой власти, и прежде всего моральной. Исчезает сцепление в человечестве, химическое сродство. Элементы не хотят уже составлять системы, они хотят быть сами по себе. Может быть, мы накануне жидкого и даже парообразного склада общества. Когда земная поверхность покроется перемешанным населением, когда постепенно сольются (как отчасти в Индии) всевозможные расы, верования, языки, то общая смесь, может быть, выработает когда-нибудь крайне пестрое «единое стадо». Но мне сильно сдается, что такое стадо будет уже не человеческим обществом, а опять звериным.

1908 год

ПОЧТИ ИНОСТРАННОЕ ВЕДОМСТВО

Тревога последних дней — расстройство европейского концерта по делам балканским — привлекает внимание к русской дипломатии. Опять она, бесталанная, что-то проспала. Снова, как повелось со времен Бисмарка, ловкий шаг пешкой из Берлина заставляет дрожать наших слонов и ферзей у Певческого моста.

Чем объяснить упадок нашей дипломатии, когда-то, еще при Екатерине II, славившейся своим искусством? Нельзя же слабость русской политики приписывать только теперешней слабости вооруженных сил. Мы разбиты недавно, а тайна дипломатического успеха у нас потеряна давно. В сущности, все последнее столетие есть сплошная история ошибок, причем самые поразительные из них рассказаны в записках Бисмарка и относятся к князю Горчакову[1]. Отвратительная школа последнего дает знать себя до сих пор. Чем объяснить плачевное отсутствие талантов в ведомстве, которое у нас, как во всех странах, пополняется сливками из общества?

Мне кажется, одна из важных причин этого опасного бесплодия — нерусский состав министерства иностранных дел. Мало того, что главнейшие деятели ведомства пребывают за границей, но и в себе самих они чаще всего не чувствуют России, не соединены с нею связями тех народных инстинктов, которые дают дипломату ощущение материка под ногами. Чаще всего наши дипломаты нерусские люди; в тех же случаях, когда они носят русские фамилии, как часто под их русским обличьем скрывается влюбленность в чужой язык, в чужие мысли, в чужие идеалы и даже чужие интересы! Подобно тому как некогда граф Шувалов[2] выражал свое молитвенное благоговение перед авторитетом Бисмарка, нынешние руководители ведомства преклоняются пред «европейским режимом», пред «конституционной демократией», из всех сил стараясь о том лишь, чтоб их не заподозрили в симпатиях к своей народности.

Чтобы понять, почему мы уступаем Берлину и в чьих руках находятся мировые интересы России, поскольку они вверены патриотизму и таланту дипломатии, достаточно просмотреть ежегод-

ник министерства иностранных дел. Штатных мест за границей в этом ведомстве 315. Из них около 200 заняты людьми нерусского происхождения. В особенности много балтийских немцев. Просто в глазах рябит, когда читаешь списки.

Графы: Бенкендорф, Бреверн де ля Гарди, Дунтен, Адлерберг, фон дер Остен-Сакен, Ламздорф, Ребиндер, Крейц, Тизенгаузен, Кассини, Ферезн, Пален.

Бароны: фон дер Остен-Сакен, Мейендорфы (2), Розены (2), Иксль-Гильдебандт, Таубе (2), Сталь фон Гольдштейны (3), Шиллинги (3), Нольде, Корфы (2), Будберги (2), Врангель, Стандершельд-Норденстам, Пилар фон Пильхау, Шлиппенбах, Ферзен, Бер, фон дер Пален, Фитингоф-Шелль, Оффенберг, фон Менгден, фон Вольф, Унгерн-Штернберг и Унгер-Штермберг, Буксгевден, Гинцбург.

Фоны: Бенкендорф, Петерсен, Кнорринг, Мекке, Цур-Мюлен, Ландезен, Кауль, Штральборн, Зиберт, Циммерман, Таль, Рейер, Эссен, Бах, Эттер, Эттинген, Котен, Клемм, Ремер, Гук, Гойер, Штрандтман, Рейтерн.

К этим 72 старобалтийским аристократам прибавьте еще 66 немецких фамилий без *фона*:

Бер, Варнер, Бауэр, Скиндер, Гибнер, Гардер, Гефтлер, Миллеры (4), Шлейфер, Шнейер, Саблер, Бруннер, Рихтер, Штриттер, Вальтер, Циглер, Цейдлер, Пиппер, Эйхлеры (2), Кояндер, Мартенсы (2), Беренс, Эверлинг, Стекль, Ваксель, Каль, Симсон, Плансон, Петерсон, Ганзен, Гейкинг, Гартвиг, Фольборт, Гальперт, Брунерт, Вильм, Траутшольд, Марр, Мореншильдт, Фуругельм, Баумгартен, Штернберг, Керберг, Бюш, Гамбе, Гамм, Брандт, Блюм, Вольф, Вульфт, Вульфиус, Эвальд, Визель, Штейн, Франкенштейн, Бахерахт, Люти, Шварц, Флейшгауэр, Фетерлейн.

Нет сомнения, среди этого подавляющего обилия немецких имен есть такие, под которыми скрываются совершенно русские люди. Многие из названных немцев — православные. Как я уже не раз указывал, обрусевшие немцы нередко лучшие у нас патриоты. Сверх того, немецкое дворянство славится благородной чертой, проходящей через всю двухтысячелетнюю историю этого племени, — верностью. Кому бы немцы ни служили, они служат честно, и это почти без исключений. Говорю: «Почти», так как исключения все-таки отмечены историей. У нас, например, стоит вспомнить цареубийство 11 марта 1801 года: во главе заговора стояли граф Пален и Бенигсен. Ввиду того что у немцев практикуется двойное подданство, и того, что немец, вообще, где бы ни жил на земном шаре, считает себя сыном общего Deutschthum, — нельзя сказать, чтобы чрезмерное обилие необруселых немцев было государственно безопасно. Возьмите хотя бы балтийский вопрос (кстати, промелькнуло известие, что в Германии он ставится на очередь). Предположим

«невозможный» (будто бы) случай, что Германия, устроив нам два-три поджога с разных концов — на Дальнем Востоке, в Турции, в Финляндии, — возьмет да и займет Прибалтийский край. Уверены ли вы, что потомки меченосцев будут бороться в этом случае за Россию — против Германии? Уверены ли вы, что 198 русских дипломатов с немецкими фамилиями совершенно свободны от влияния той громадной силы, которая называется пангерманством и которая проявляет такой сокрушительный напор против славян в соседстве с Балтийским краем? Мне кажется, вне подозрения в открытой измене, нельзя подвергать даже вернейших из наших инородцев испытаниям слишком тяжелым. Если бы в войне нашей с Австрией русские галичане и буковинцы передались на нашу сторону или, по крайней мере, отказались сражаться с родными братьями, никому это не показалось бы ни удивительным, ни бесчестным.

Чрезмерным количеством немцев не исчерпывается чужестранность нашего дипломатического состава. Вероятно, со времен Каподистрия в русскую дипломатию проникли греки *(Аргиропуло, Севастопуло, Базили, Персиани, Челебидаки, Маврокордато, Хаджи-Лазаро, Зографо, Маркос)*, французы (*Бертрен, Термен, Жерве, Броссе, Гроссе, Дамье, Де-Волан, Фонтон, Цомакион)*. Несколько меньше итальянцев *(Муссури, Висконти, Кристи, Джакелли, Сальвиати, Равелиотти)*, но довольно много скандинавов *(Грен, Норгрен, Голи, Балас, Ону (2), Поггенполь, Гирсы (4), Ларош, Маттей, Демерик, Гревениц, Грангрем, Игельстром, Геденштром, Гагельштром)*. Есть даже голландцы *(Ван дер Гюхт и Фан дер Флит)*, есть немецкие выходцы *(Граве, Лерхе, Гельцке, Струве, Поппе, Грюнман, Вестман, Нюман, Тидеман)*. Какого происхождения фамилии *Грегер, Горвиц и Мандельштам* — пояснять нечего. К этим 198 нерусским фамилиям следует прибавить еще 331 иностранную фамилию нештатных генеральных консулов, консулов, вице-консулов и консульских агентов. Все эти места заняты иностранцами. В общем из 646 мест по ведомству иностранных дел 529 заняты лицами нерусских фамилий. Из остальных 117 мест известная часть приходится на долю поляков. Спрашивается, много ли придется на представителей собственно русской крови?

Повторяю, среди инородческих фамилий есть немало людей преданных России и которых матери, бабки, прабабки были коренными русскими. Иное, более предусмотрительное правительство давно вернулось бы к практике московской эпохи, когда обруселым инородцам разрешалось менять их потерявшие смысл фамилии на русские. Подобный закон широко практикуется в Финляндии, где множество шведов принимают финские фамилии. Но пока этот закон отсутствует, есть возможность судить наглядно, до какой степени

широко государственная власть у нас захватывается людьми нерусского корня. Ведомство иностранных дел не исключение. Мудрено ли, что столь многие представители России за границей не умеют не только думать, но даже и говорить по-русски.

Иностранное представительство страны требует наиболее яркого национального сознания, у нас же устроилось наоборот. Без большой опасности для государства немцы, например, могли бы заниматься у нас печением булок, садоводством, часовым мастерством и т. п. Во множестве мирных занятий иностранцы и инородцы оказывают существенные услуги России, как скромные культуртрегеры, насадители так называемой цивилизации. Но давать засилье инородцам в составе власти государственной — это гибельная ошибка. Власть в каждой стране должна быть строго национальной, ибо совершенно невозможно предугадать случаи, где и когда от чиновника потребуется исключительная любовь к отечеству и чувство долга перед ним. Власть, как орган воли народной, должна выражать только народную душу, и никакую больше. **Нельзя требовать от немцев, евреев, греков, итальянцев, голландцев и т. п., чтобы они душой чувствовали, в чем честь России, ее исторический интерес. Как бы ни были образованны и лояльны инородцы, они не могут не быть равнодушны к России. В самые важные роковые моменты, когда должен заговорить дух расы, у инородцев едва ли проснется русский дух. То, что подвигает людей на великие решения, — поэзия своего родства с народом, религия преданий, древних как земля, — все это едва ли вспыхнет у человека, плохо понимающего русский язык и часто совсем не понимающего русское чувство.** Не таланта недостает нашей дипломатии, а, может быть, лишь того горячего инстинкта народности, без которого всякое народное представительство фальшиво и бессильно. В дипломатии, как в парламенте, как в суде и администрации, прежде всего нужна личность, государственная личность, которая и есть национальность.

Из всех ведомств национальность всего необходимее там, где народ сталкивается с соседями и устанавливает свои внешние отношения. Только одна армия на войне нуждается в таком же порыве патриотизма, как дипломатия. Ведь что такое дипломатия, как не мирная война с целью предупредить необходимость настоящих войн? Если так, то не меньше, чем воин, дипломат должен быть полон стойкости, героизма, способности отдать, если нужно, жизнь за отечество. Именно такими были лучшие дипломаты истекшего столетия — Кавур[3] и Бисмарк. Они были, бесспорно, талантливы, но что зажигало их талант ярким светом, как не их пламенный патриотизм, не их страстное сознание себя итальянцем и немцем? Вся формула Кавура заключалась в одном слове — «Италия», как формула Бисмарка в слове «Германия». Они были медиумы своих отечеств; великие дела внушило обоим только повышенное чувство народности. У нас, к глубокому сожалению, действительно русские

люди давно оттерты от государственности и сама государственность остыла в своем национальном чувстве. Со времен бесконечного управления ведомством иностранных дел Нессельроде[4] там укоренились всевозможные инородцы. Именно тогда установился обезличивающий, обесцвечивающий всякое дарование международный космополитизм, весь разум которого состоит в том, чтобы как можно менее походить на русских и как можно более на французов или англичан. Как известно, посольства за границей пользуются правами экстерриториальности. Дом посла считается территорией той страны, которую он представительствует. Это основное требование международного права вытекает из глубокого сознания неотделимости дипломатии от ее отечества. Не только стране, посылающей посольство, но и стране, принимающей его, важно, чтобы представительство было действительно национальным. Но что толку, если в экстерриториальном дворце русского посольства, под русским флагом будет заседать равнодушный к России немец или равнодушный итальянец, голландец, румын или грек? Почему эти почтенные сами по себе люди считаются наиболее способными представительствовать Россию? Пусть они не изменят России сознательно, но безотчетная холодность к ее существованию, способность глядеть на нее как лишь на нанимателя непременно внесут в дипломатическую службу то безразличие, которым так блещут наши представители за границей. «Неделание», «непротивление злу» — их выдумал не Лев Толстой; раньше его те же начала усиленно практиковали русские дипломаты.

Вместе с целым светом Россия стремительно входит в новый, страшно сложный международный век. Поле дипломатии расширилось на весь земной шар. Горизонты раздвинулись, границы стран сделались зыбкими как никогда. Вместо одного Востока у нас явилось несколько Востоков, один опаснее другого. Отдаленные, не граничащие с нами страны начинают, подобно Америке, оказывать тяжелое давление на наши колонии. Дипломатия в этих условиях приобретает характер непрерывной, самой ответственной перед родиной, самой зоркой стражи. Годится ли такая стража из чужих людей?

ОСТАНОВИТЕ БЕГСТВО

10 февраля

Бегство офицеров из армии необходимо остановить: сказать страшно, до какой степени увеличились местами некомплекты. В то время как в адской войне последней офицеры гибли тысячами — и

не бежали, — сейчас, в мирное время, они бегут от каких-то условий хуже шимоз и пулеметов.

Выталкивает из армии не физическая, а нравственная сила, как и притягивает она же. Измените психологические условия офицерской службы — и бегство остановится. Сделайте службу интересной — и бегство остановится. Отодвиньте позор войны и верните почет, сделайте так, чтобы офицер не краснел в обществе и не чувствовал себя неловко даже в своем кругу, — и бегство остановится. Как это сделать? Конечно, панацеей всех военных бед была бы блестящая, победоносная война, но о ней не станем говорить. Будем, если можем, втайне готовиться к ней всеми силами, всей жаждой духа, сделаем ее мечтой хотя бы нескольких поколений, но пока не станем говорить о ней. Есть средства не столь волшебные, как победа, но все же очень серьезные, чтобы удержать армию от развала. Ибо бегство офицеров — ведь это мирная паника, дезорганизация, деморализация всей колоссальной народной силы, что называется армией.

Первое: нужно поставить во главе армии, на посту министра героя, военного генерала, а не штатского. Тут решительно необходимо знаменитое имя, уважаемое, если не обожаемое всей армией. Явись сейчас Скобелев (допустим чудо), с ним вернулась бы потерянная надежда, с ним взошло бы закатившееся солнце веры в себя. Увы, не сумели уберечь великого человека. Но хоть и несчастная война — все-таки она выдвинула ряд блестящих талантов или, по крайней мере, блестящих кандидатур на славу. В растерянном, злосчастном обществе нашем все время идут слухи и толки: «Слышали? Говорят, Зарубаева[1] назначают в министры». Или: «Есть слухи, что Гершельман[2] приехал». Или: «Что же Мищенко?[3] Ничего не слыхать о нем?» и пр. В бессвязных толках и спорах здесь, внизу, под олимпийскими тучами, чувствуется верный инстинкт народный, vox populi. Народ и общество хотят большого человека на большом месте. Хотят такого, кому каждый солдат от всего сердца отдал бы военную честь. Хотят представителя славы народной — героя.

Невидимое и неведомое, но какое чудесное это могущество — слава! Как тяготение, влекущее темные тела к солнцам, слава немногих притягивает к себе бесчисленные массы. Не только военные, но и все люди во все времена требуют авторитета, моральной власти, требуют блестящих точек, которые повергали бы в гипноз. На чем же основано самое существо власти, как не на очаровании? Чем иным может быть связана буйная воля народов, как не добровольным подчинением некоторым исключительным людям, над челом

которых вспыхнул огненный язык славы? Скажут: слава обманчива. Перед войной мы имели знаменитого военного министра. Главнокомандующим имели героя, друга Скобелева. Что же вышло толку? На это я замечу, что слава и тут не обманула. Генерал Куропаткин[4] приобрел славу как талантливый начальник штаба при гениальном полководце. Если бы поверили именно его славе, а не скобелевской, то генерал Куропаткин оправдал бы ее. Когда генерал Куропаткин был назначен главнокомандующим, в Петербурге ходила ядовитая фраза, кажется, Драгомирова: «А кто же в Скобелевы будет назначен при Куропаткине?» — до такой степени в сведущих кругах держалось убеждение, что генерал Куропаткин хорош только на вторые роли. Не слава Куропаткина обманула Россию, а наше неуменье разобраться в ней. Впрочем, знаменитость генерала Куропаткина все-таки принесла огромную пользу: если бы тот же генерал Куропаткин на посту министра не имел никакого имени, никакого обаяния, может быть, наша армия развалилась бы еще до войны и на войне не сумела бы сделать того, что сделала. Все-таки Россия верила в этого человека и выдвинула за десять тысяч верст миллион штыков. Что Россия оказалась с этой силой разбитой, виновата не военная знаменитость генерала Куропаткина, а кое-какие его штатские недостатки — трусость, не перед японцами, а перед петербургскими канцеляриями. Чернила сгубили храброго друга Скобелева, а не вражья кровь!

Итак, появление какого-нибудь знаменитого генерала во главе войск есть первая спасительная мера, чтобы остановить расстройство армии. Г-н Редигер[5], как говорят, почтенный человек, но во всех отношениях незначительный. Никогда, ни при каких условиях он не обещает быть знаменитым, ибо вся карьера его в его возрасте выяснилась. Не боевой генерал — как он может быть вождем героев? Почти «не нюхавший пороха», не переиспытавший великих страстей под громом и хохотом смерти, что такое г-н Редигер со своими профессорскими лекциями, ведомостями, штатами, квитанциями etc, etc? У него, мне кажется, не может быть военной души, как не может быть у моряка морской души, если он не плавал достаточное время в морях, не переживал океанской трепки. Все почтенные познания г-на Редигера книжны. Как свеча на солнце, они мгновенно обращаются из света в тень, они бледнеют перед образованностью боевого опыта, совсем особого. Кому, скажите по правде, интересны ведомости и штаты г-на Редигера? Пусть они совершенно необходимы и кто-то, какой-то чиновник, должен этим заниматься. Но сила армии, сила духа — в интересном, а интересное есть талант, героизм, легенда, слава! Именно в мирное время, когда

слагается сила войск, необходимо, чтобы первое место в армии занимал интересный человек. Ибо только такой в состоянии всех заинтересовать своим призванием, притянуть и вовлечь в службу обширный круг подчиненных лиц.

Кроме того, что г-н Редигер ничем не выдается, не имеет за собой ни подвигов, ни военного авторитета, за ним есть то отрицательное качество, что он иностранец. Как финский швед, он вдвойне человек нерусский, ибо у него в соблазнительной близости есть свое особое отечество, особая конституция, особое кресло в гельсингфорском сенате. Более чем вероятно, что г-н Редигер не мечтает об этом кресле: держать в руках армию великой империи заманчивее, чем быть сенатором игрушечного финляндского «государства», — но надо же вникнуть в наши народные интересы. *Нельзя держать иностранцев на государственной службе,* если это люди небольшого таланта. У больших людей есть внутренний могущественный, неодолимый импульс — призвание. Оно толкает человека на работу, тиранически заставляет доводить работу до совершенства. Остерман[6], Миних[7], Екатерина II были иностранцами, но они чуждой им России служили с превосходным рвением и успехом. Возможно, конечно, что они и любили Россию (в особенности что касается Екатерины, здесь выросшей). Талант привязывается к работе, как к родине своего духа. Спрашивается, есть ли тот же двигатель у посредственных или даже не слишком даровитых иностранцев? Конечно, нет. Они остаются посредственными тружениками, их энергия не может не подавляться постоянным сознанием, что они чужие в стране. **Я совершенно понимаю обрусевших инородцев — те еще сойдут за русских. Но можно ли допустить, чтобы немец, считающий себя немцем, поляк, считающий себя поляком, швед, считающий себя шведом, служили русскому национальному и государственному делу с тем же чувством ответственности и жалости за свою землю, как коренные русские? Извините, я этого психологически не допускаю.** Самые порядочные, самые добросовестные немцы, поляки, шведы, евреи, если они не враждебны к России, все же не могут не чувствовать себя равнодушными к ней. Представьте себя на службе в Германии, или в Швеции, или в Польше. Неужели вы искренно служили бы этим странам, сознавая, что искренняя служба соседям идет во вред вашей собственной народности? У нас когда-то это понимали, теперь перестали понимать. Прежде понимали, что отдавать жизнь свою можно лишь за нечто священное — за «веру, царя и отечество», а не за оклад и чин. В службе государственной опирались на собственный дух народный, на национальное чувство. Теперь же во все ведомства открыли настежь двери

именно для тех национальностей, которые наиболее нам враждебны. Показалось бы странным внедрение каких-нибудь португальцев, испанцев, итальянцев в нашем военном или дипломатическом ведомстве. Но открыли широкий доступ не названным сравнительно безвредным народностям, с которыми мы никогда не воевали, а тевтонам, полякам, шведам, с которыми мы вели тысячелетние войны и ненависть которых к России *в иных случаях* объяснима лишь наследственной враждой. Говорю: *в иных случаях*, совершенно допуская исключения, даже блестящие исключения. Но правило, вечное правило, установленное природой, то, что враги суть враги, что чужие люди суть чужие люди и предпочесть их равнодушие своей собственной народной заинтересованности — огромная, прямо гибельная ошибка.

Нейтралитет в армии

Я понимаю, что этот вопрос крайне деликатен и что касаться его нужно бережно, щадя не только искренние, но даже фальшивые самолюбия. Но надо же как-нибудь подойти к важному вопросу и попытаться остановить на нем внимание общества. Вопрос грозный, самого трагического значения. Отчего бегут офицеры из армии? Почему служба, казавшаяся прежде столь почетной, потеряла способность заинтересовывать, привлекать к себе? Почему в такой опасной степени понизился интерес к военному делу? В числе очень многих других причин, которых я коснусь особо, позвольте указать и эту — слишком неосторожное допущение в армию (и флот) чужого, инородческого элемента, равнодушного *безотчетно, без всякой измены*, но и без того, что противоположно измене, — без глубокого чувства народности и почвенной связи с ней. *Неужели ровно ничего не значит факт, что в составе нашего военного управления только 25 процентов русских?* Именно:

военный министр — финн (лютеранин);

начальник главного штаба — немец (правосл.);

начальник главного военно-судебного управления — поляк (лютеранин);

начальник главного интендантского управления — поляк (лютеранин);

начальник главного управления казачьих войск — немец;

помощник начальника главного инженерного управления — немец, и только в главном артиллерийском управлении и главном военно-медицинском управлении начальники — русские.

Я не называю фамилий — не в них дело. Затем вникните в следующие цифры:

из 12 командующих войсками — 6 инородцы;
из 28 корпусных командиров — 17 инородцы;
из 116 бригадных командиров — 45 инородцы;
из 230 командиров полков — 80 инородцы;
из 58 начальников штаба дивизий — 11 инородцы;
из 28 начальников штаба корпусов — 11 инородцы;
из 77 командиров гвардейских полков — 40 инородцы;
из 28 корпусных интендантов — 9 инородцы.

То есть из 635 начальственных в армии должностей 235 заняты некоренными русскими людьми. Более трети самой важной руководящей, вдохновляющей власти в армии у нас занято людьми, для которых в большей или меньшей степени должна быть чужда Россия.

У нас боятся открытой измены — продажи, например, секретных планов, или отступления, когда нужно наступать, или сдачи, когда нужно держаться крепко. Но есть нечто менее уловимое, но не менее пагубное, — это военный нейтралитет, военное безразличие, военное равнодушие там, где необходимо горячее участие и увлечение. Я боюсь, что чрезмерное количество инородцев, пробравшихся в армию, задолго до отдельных — конечно, редких — случаев измены, может внести в войска ту охлаждающую, роняющую дух стихию, которая называется «посторонним элементом». Будем рассуждать просто. Все знают, как бывает весело и интересно в обществе, где все свои, где все связаны долговременными преданиями родства или дружбы. Но представьте, что в такое общество входит треть или более трети *чужих* людей, хотя бы чрезвычайно корректных, умеющих держать себя. Как быстро непринужденность сменяется натянутостью и как становится скучно оставаться в таком обществе. Мне кажется, одна из существенных причин бегства офицеров из армии — засилье инородцев, совершенно невольно понижающее дух офицерского быта. В особенности бывает неудобно, когда начальники части — инородцы. Начальники — хозяева своей части. На них лежит нелегкая роль — сделать пребывание в ней интересным. Начальник обязан добиться авторитета среди подчиненных, он обязан воодушевить офицерское общество, втянуть его в живое дело, привить влечение и страсть к нему. Но это, мне кажется, совершенно невозможно вне патриотизма, вне исторических преданий, вне самого разума войны — служения своему народу до отдачи жизни. Скажите, за редкими исключениями, способен ли необруселый немец, или патриот-поляк, или патриот-швед на то, чтобы увлечься *русским* военным делом и увлечь им русских офице-

ров? Я сомневаюсь в этом. Слишком большими должны быть актерами эти господа командиры.

Родной язык, родная вера, родная история... Как хотите — помимо крови, которая Бог весть у кого какая, — неужели родное не составляет могущественной моральной силы? Неужели национальность — ничто? Я же думаю, что мы только и гибнем, что от пренебрежения этой основной силой духа — народностью. Понаблюдайте любую военную часть, где внедрились инородцы. Холодно и скучно там. Что-то неуловимое отлетает из лагеря, где треть командиров — чужаки. И песни солдатские как-то иначе звучат, и все повадки службы — ученье и развлеченье — все не то. Инородцев недолюбливают солдаты. Нелюбовь эта разделяется безотчетно и офицерами. Еще в качестве товарищей инородцы, обыкновенно «корректные», бывают недурными сослуживцами. Только скучноваты они и холодноваты. Держатся кружками, своей компанией. Гораздо лучше инородцы в качестве подчиненных (они поддаются дисциплине лучше русских), но всего хуже как начальники. Нередко они напускают в часть, вместе с похвальной требовательностью, такой формализм, такое бездушие, что служить становится одна тоска. Военная служба преимущественно перед всеми держится на идеализме, совершенно бескорыстном, на поэзии дела, на той священной религии патриотизма, без которого солдат — пушечное мясо. Драгомирову приписывают фразу о «святой серой скотине». Она характеризует отношение к армии не русских (вроде Суворова или Скобелева), а инородческих генералов. Мне кажется, химически чистые иностранцы вроде Миниха, Грейга, Барклая де Толли и пр. были бы гораздо выгоднее для армии, чем инородцы. Во-первых, химически чистые иностранцы не могли бы занять 37 процентов начальственного состава: слишком ясной показалась бы опасность такого внедрения. Во-вторых, химически чистые иностранцы принимались бы исключительно из отличных офицеров и для роли лишь инструкторов, не более. Свои же, несколько подкрашенные в русские цвета иноземцы начинают прямо вытеснять русских, нимало не превосходя их ни талантами, ни знанием, ни даже энергией. В теперешнем бегстве из армии, как и из флота, чаще видишь русские фамилии. Инородцы остаются. Русские бегут. Равнодушие первых позволяет им уживаться с какими угодно порядками. Живая любовь к отечеству, наоборот, делает унижение военных сил нестерпимым.

Чтобы остановить бегство офицеров из армии, необходима целая система мер, настойчиво проведенная. Но прежде всего из армии следует изгнать тот нейтралитет к России, который устанавли-

вает инородческое засилье. Равнодушная армия умирает как армия. Как равнодушный оркестр уже не есть оркестр, заслуживающий этого имени, так и дружина воинов, утратившая интерес к войне, — ни в каком случае это не войско. Для восстановления нашей поникшей армии, как и флота, нужно выдвинуть одушевленных русских людей, людей-патриотов, которые сумели бы внести с собой утерянное теперь чувство любви к отечеству и народной гордости.

Россия чрезвычайно много обязана иностранцам своею старой военной славой. Но в старину мы, как теперь японцы, брали чужое *искусство* войны, чужие орудия, чужую *тактику* и т. п., оставаясь сами хозяевами добытого материала. Принимали в *небольшом* количестве и людей, но исключительно талантливых, как Барклай, Дибич, Багратион и пр. **В небольшой дозе каждый яд — лекарство, в значительной — причина смерти.** Петр и Екатерина брали от Европы все, что могли, но в состав власти допускали исключительно русских людей. Засилье немцев, поляков, шведов стало слагаться позже. К эпохе Ермолова русским талантам уже казалось тяжело и оскорбительно это засилье, и они с горькой иронией просили «производства в немцы». И вот какая сложилась линия нашей судьбы: до эпохи Ермолова Россия гремела победами, с тех же пор быстро начала разучиваться побеждать. Наконец — при 25 процентах русских в высшем военном управлении — знамена тысячелетней державы, угрожавшей двум материкам, совсем поникли.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

21 февраля

До чего дошла Россия: «Среди гогочущей толпы евреев в Одессе шла собака, увенчанная императорской короной на голове, и к хвосту ее был прикреплен русский национальный флаг». Это в свое время было напечатано в газетах, и это подтвердил на днях с дрожью негодования старый граф Коновницын[1] на одном из собраний съезда Союза русского народа. «Не стерпел поругания Родины простой народ русский и наказал негодяев!» С этого и начался погром.

До чего дошла Россия: в древнем Киеве, матери городов рус-

ских, гогочущая толпа евреев срывала со зданий правительственных мест императорские вензеля и оторвала императорскую корону, бросив в грязь. Не вынесло натерпевшееся обид сердце русское, и начался народный самосуд.

До чего дошла Россия: портреты Государя во множестве городов и местечек рвались евреями в клочья. Портреты эти выносили за город, расстреливали, топтали. В одном громадном зале среди многотысячной толпы какой-то еврей проткнул лицо Государя и вставил в отверстие портрета свое лицо: «Вот вам царь». «Мы вам дали Бога, дадим и царя!» — кричали евреи.

Что делали власти в эти дни гнусного издевательства над Россией? Они струсили, они почти сдались бунту, они по требованию жидов выпускали бунтарей из тюрем. Единственно, о чем они заботились, — это о том, чтобы войска «не раздражали» бунтующую чернь еврейскую своим вмешательством. С разрешения русского начальства или с благосклонного попущения на юге России сложилась еврейская вооруженная самооборона — до сорока тысяч снабженных браунингами обнаглевших жидков. И когда покинутый властью народ не вытерпел и пытался дать отпор евреям, русские войска высылались, чтобы дать отпор русским.

До чего дошла Россия — это ясно видно из прошедшего в Киеве громадного процесса о погроме, бывшем в октябре 1905 года. То, что Россия разгромлена на Дальнем Востоке, испытав неслыханные поражения, — это объяснимо до некоторой степени превосходством неприятельских сил, отдаленностью театра войны, случайными несчастиями — вроде неудачного главнокомандующего и плохих генералов. Внешний разгром — вещь страшная, но нет страны, которая в тысячелетней своей истории не переживала бы его не раз. Но внутреннее наше унижение? Но возможность видеть корону царскую на голове собаки и знамя нации на ее хвосте? Чем это-то объяснить и как к этому должна отнестись Россия?

Пусть люди русские с душой и сердцем запомнят эту одесскую собаку. Она символ. Она должна быть выделена из хаоса возмутительных безобразий как мистический иероглиф, как грозное предостережение народу, изменяющему Родине. Подумайте, ведь это кошмар: только в горячечном бреду может присниться собака в короне. Ужас в том, что это был не сон, а живая действительность средь бела дня, среди многотысячной толпы, на улицах одного из огромнейших русских городов, в ближайшем присутствии больших военных сил. Все это было так недавно, что в смысле факта остается и теперь. Тот дух восстания против России, что прорвался в гнусном кощунстве над короной, не исчез, он не мог исчезнуть в два года.

Ежедневные телеграммы об убийствах на юге, о продолжающейся инородческой агитации, о забастовках и беспорядках убедительно доказывают, что гибельное брожение длится, что притихшая злоба копится — для новых взрывов. Не видит этого, не желая видеть, лишь кадетствующая наша бюрократия — та бюрократия, что задолго до позорной войны готовила «неготовность» к ней. Что касается не казенных, не обездушенных канцелярией русских людей, то сознание их просыпается с каждым днем. Такие преступления, как случай с одесской собакой, заставляют открывать глаза в одно мгновение миллионы дремлющего народа. Есть слова, есть жесты, которые бесконечно красноречивее целых томов. Тогда, в эпоху октябрьской революции, множество людей русских сразу поняли, к чему клонит дело. Дело клонило к тому, чтобы развенчать державную Россию, сорвать тысячелетнюю корону с головы народной, унизить ее историческое величие, нажитое предками, завладеть властью над одним из величайших народов в мире и заставить его служить той разноплеменной еврейско-польско-немецко-шведской инородчине, что, когда-то плохо покоренная, давно протерлась к верхам власти и уже посягает на венец царский. Простой народ, обладающий естественным разумом, понял ход вещей вернее, нежели интеллигенция, состоящая у инородцев в моральном рабстве. В отпор инородческому бунту выступила древнерусская верность Родине. Как это всегда бывает во времена упадка власти, народу самому пришлось обдумывать защиту государственности, восстановление ее. Немудрено, что в столь широкой стране, разрозненной и захваченной инородцами, отпор народный слагается не сразу и не в тех классически чистых формах, которые удовлетворили бы всех патриотов. На натиск анархии русский народ ответил тоже пока анархически. Самые острые атаки народ отразил погромами, которые, как всякий самосуд, ужасны и могут быть поняты лишь как самозащита. Вслед за погромами по всей России всколыхнулось патриотическое брожение и начали организовываться бытовые национальные союзы. Самый крупный — Союз русского народа, — как говорят, насчитывает уже до 11 500 отделов и до нескольких миллионов людей, связанных одной верой. Кроме него, существуют ранее открывшаяся партия Русского собрания и позже открывшиеся патриотические общества — Всероссийского православного союза, монархистов, Святого архистратига Михаила и пр.

Я писал не раз об отрицательных сторонах самой крупной патриотической организации. Я предсказывал раздор в ней (предсказать раздор в любой русской партии не представляет какого-либо

пророчества). Но раздор вовсе не есть разложение. Подобно бурному процессу, вырабатывающему вино, раздор в среде партий доказывает часто жизненность их и способность к действительному сложению. Чрезвычайно грустные, не делающие чести обеим сторонам ссоры г-д Пуришкевича[2], Дубровина[3], о. Илиодора, о. Восторгова[4] и пр. утешительны в том смысле, что кипучая вражда несродных элементов должна очистить от них общий лагерь и повести к искреннему успокоению. Гораздо хуже теперешних дрязг был бы искусственный, лицемерный мир, механическое согласие, основанное на сделке. Честнее и полезнее для общего дела, если разнородное разойдется и обособится. Я не знаю лично почти ни одного из вождей патриотических партий, но мне кажется, раздоры их (кроме темперамента, составляющего скорее достоинство, чем недостаток) объясняются желанием каждого сколько-нибудь выдающегося человека играть непременно первую роль. Это уже скорее недостаток, чем достоинство, но вещь, однако, неизбежная, с которой приходится мириться. Играть первую роль всем нельзя, начинается дробление партии, напоминающее почкование клеток. Г-н Пуришкевич заводит свой союз, о. Восторгов — свой и т. д. Беды особенной в этом нет, если только удельные патриотические союзы, подобно удельным княжествам Древней Руси, не вступят между собой в междоусобия, забыв об общей родине.

У меня лично никогда не было желания ни завести свою партию, ни занять видное место в одной из возникших. Но я давно проповедую о необходимости создания русской национальной партии приблизительно тех умеренных взглядов, которых я держусь. В своих статьях я называл такую партию «великорусской», полагая, что великорусское начало в нашей истории преобладает и что оно одно является государственно-творческим, объединяя все славянские племена востока Европы под священным именем России. Я глубоко убежден, что племенная тождественность русско-славянских племен, единство языка и веры и многовековое единство истории не дают ни разумного, ни нравственного права создавать несколько Россий, когда самой природой установлена лишь одна Россия. Это понимали наши московские государи Рюриковичи. Будучи великороссами и царствуя в Великороссии, они именовали себя «*всея* Великия и Малыя и Белыя Руси царями и самодержцами». Великорусский принцип искони был принципом *всероссийским*, что установлено в первом определении нашей государственности — в титуле монарха. Он именуется не русским, а всероссийским императором. Мне кажется, национальная русская партия может принять тот же объединительный титул, то есть именоваться как Всероссийский

народный союз. Великорусский по языку и государственности, союз этот будет давать одинаковое место южнорусам и западнорусам, лишь бы они искренно считали себя русскими, родными детьми одной и неделимой матери нашей — России. <...>

На предполагаемый национальный Всероссийский союз я гляжу как на попытку единения русских людей с единственной целью: отстоять Россию от инородческого вторжения, восстановить древнюю силу власти в единении с русским народом, укрепить пошатнувшийся народ наш на завоеванном предками материке. В этом стремлении национальный союз должен бороться одинаково твердо с изменой, откуда бы она ни шла: со стороны явных врагов России или тайных ее предателей, которых так много среди кадетствующих звездоносцев. Теоретизировать долго теперь уже не приходится. Если государственный флаг наш в черте России публично вешают на хвост собак и свиней — поймите, что довольно споров. Надо спешить, надо что-нибудь всем предпринимать, кто не отрекся от России и не продал ее...

ПРОРОЧЕСТВО ДАНИИЛА

23 февраля

Говоря о безобразном во всех ведомствах засилье инородцев, я поднимаю вопрос громадной государственной важности. Все великие государства держались *единством своего духа,* единством крови, веры, языка и культуры, единством сознания, что граждане — братья и что родина им родная мать. Наоборот, великие государства падали от одной причины — от инородческого вторжения, от расстройства национальности — сначала в верхних классах, от упадка той высшей солидарности, которая заставляет нацию в опасные минуты вставать дружной, несокрушимой глыбой, смеющейся над всеми ударами рока.

Обращаюсь к нашим государственным людям, если они есть у нас, обращаюсь к патриотам истерзанной России: задумывались ли они над судьбою великих царств, рухнувших в истории, не оставив даже развалин? Из народов-покойников иные были не чета русскому по их мировой роли. Москва хотела быть третьим — и последним — Римом. Так пусть же Москва, если она сердце России, вдумается, отчего погиб ее первый прототип, такой же семихолмный держав-

ный город, рукой железной сдвинувший границы материков. Исполинская сила Рима опиралась на катоновские добродетели народа — благочестие, чистоту нравов, земледелие и строгую простоту жизни. Воспитанная тяжелым трудом мощь народная развилась в непрерывных героических войнах, невидимый двигатель которых был dulce pro patria mori — *счастье* умереть за Родину. Вспомните же, откуда пошли неслыханный разврат Рима, и слабость его, и поразительное предательство «времен упадка».

«За двухсотлетний период, — говорит Ляпуж, — наиболее знаменитые старейшие фамилии Рима исчезли и заменились менее достойными, вышедшими из разных слоев и даже из освободившихся невольников. Когда Цицерон жаловался на упадок римских добродетелей, знаменитый афинянин забывал, что в городе, даже в самом сенате, римляне старых фамилий были редки и что на одного потомка квиритов приходилось десять латинян нечистой крови и десять этрусков. Он забывал, что римское государство начало приходить в упадок с того дня, когда открылся доступ в него чужестранцам, и что причина, по которой титул гражданина беспрестанно терял свой блеск, была та, что между носителями его было более сынов народов побежденных, чем народа-победителя. Когда путем последовательных натурализаций право римского гражданства было распространено на все народности, когда бретонцы, сирийцы, фракийцы и африканцы облеклись в это звание, которое было им не по плечу, то родовые римляне уже исчезли». А с родовыми римлянами исчез и древний изумительный дух, создавший и поддерживавший мировое царство.

Знаменательно, что гибельный закон, даровавший всем покоренным народам права римского гражданства, дан был Каракаллой, одним из тех тиранов, что жалели о невозможности отрубить голову народу одним ударом. Именно одним ударом, почерком пера, подписавшего убийственный для Рима закон об инородцах, империя квиритов была убита. От более или менее сходных причин погибло громадное государство Александра Великого, как ранее его погибли пестрые царства Востока. Лишь только ко двору великих царей стали проникать пронырливые Мардохеи, оттеснявшие и губившие национальную власть, вместе с ними вторгались авантюризм, равнодушие к древнему культу, легкость нравов, презрение к родному народу, разврат, предательство и, наконец, внешнее завоевание. У нас инородческое засилье идет со времен татарских. Предприимчивые инородцы вроде Бориса Годунова сеяли вражду между царем и древней знатью. Как в Риме выходцы с окраин воспитывали тиранию и защищали ее, так наша московская тира-

ния вскормлена татарской службой. Инородцам мы обязаны величайшим несчастьем нашей истории — истреблением в XVI веке нашей древненациональной знати. И у нас было сословие, что, подобно квиритам Рима, несло в себе истинный дух народный, инстинкты державного обладания землей, чувства народной чести и исторического сознания. Упадок боярства стоил России великой Смуты, во время которой венец Мономаха, отнятый у потомства святого Владимира, стал гулять по татарским и польским головам. Срезали русский правящий класс — и нашествия хлынули с трех сторон. Пришлось захолустным мещанам да черной сотне спасать Россию. Она была спасена, но разгром национальной знати, обрыв исторических преданий, ослабление разума народного на верхах власти продолжали действовать разрушительно. С замирением России, когда военные нашествия были отражены, начался мирный инородческий наплыв, стремительно идущий до сих пор и уже почти *овладевший* властью, ослабивший ее до нынешнего маразма.

Официально нашествие немцев отмечено при «тишайшем» царе. В указе Алексея Михайловича от 18 мая 1661 года значится: «Учали на Москву приходить разные еретики, немцы и просят царские службы. И мы собра: архиепископы, архиереи, архимандриты и иереи на думу и положили со думными людьми: их... детей немцев, на воеводство не посылать и к воеводствам не определять, а быть им... детям немцев, только в Москве и записывать на черной сотне и в службу нашу царскую вступать по нужде в ратную». Вот какими узкими вратами немцы вошли в русское царство небесное. Крепкий органическим предубеждением ко всему чужому, инородному, постороннему, Алексей Михайлович, как потомок бояр и сам чисто русский человек, не решился допустить даже горсти чужеземцев в организм народный, не обдумав этого дела с носителями национальной веры — духовенством и с носителями народной чести — думными людьми. Нужда в некоторых искусствах и науках Запада была страшная, не то что теперь, когда мы имеем десятки высших европейских школ. Без военного искусства немцев Россия не могла стоять. Только эта жизненная необходимость заставила — с соблюдением величайших предосторожностей — допустить немцев не к главным, а лишь к низшим должностям, к «черной сотне». Каким же образом так обернулось, что вопреки первоначальному мудрому решению немцы очутились у нас не только «воеводами», но повытеснили русских из состава думных людей и бояр и на три четверти вошли в центральное управление, во все министерства, в том числе военное и морское?

По поводу моих недавних статей («Почти иностранное ведом-

ство», «Поляки и Цусима») я получил вместе с ругательными и многочисленными благодарственными письмами любопытные материалы, за которые приношу читателям глубокую благодарность. Что касается ругательных писем, то они, как и гнусные статьи в инородческой печати, мне доставляют удовлетворение стрелка, попавшего в цель. Именно в тех случаях, когда вы попадаете в яблоко, начинается шум: выскакивает заяц и бьет в барабан или начинает играть шарманка. По количеству подметных писем и грязных статей публицист, защищающий интересы Родины, может убедиться, насколько действенна его работа. В таком серьезном и страшном деле, как политическая борьба, обращать внимание на раздраженные укоры врагов было бы так же странно, как солдату ждать из неприятельских окопов конфеты вместо пуль. Пренебрегая острой полемикой по инородческому вопросу, я считаю нужным ответить на некоторые на вид справедливые возражения (г-д Гирса, Савицкого, г-жи Каминской и др.). Мне говорят, что некоторые названные мною лица хотя и носят инородческие фамилии, но настолько обрусели, что заподозривать в них нерусские чувства для них обидно. Я очень рад, что есть такие русские люди. Я знаю многих, которым нерусская фамилия предков кажется почти оскорбительной. В каждой статье об инородцах я настаиваю на том, что между ними есть известный процент верных России и даже более патриотов, чем сами русские. Чаще всего они встречаются между обрусевшими немцами, но есть такие и среди поляков. Беда в том, что обрусевшие инородцы заслоняют собой неизмеримо большее число необрусевших или плохо слившихся с нами. Это психологические ублюдки, потерявшие всякий национальный облик. В силу метисации они органически равнодушны к какому бы то ни было отечеству. Между ними встречаются люди и с чисто русскими фамилиями, например немцы по матери, шведы по бабушке и т. п.

Истинная опасность не в том только, что люди с нерусскими именами занимают крайне важные посты в государстве, а в том, что даже под русскими именами интеллигенции нашей часто скрываются уже почти нерусские люди, своего рода креолы и квартероны, органически *равнодушные* к получуждой для них России. В течение двухсот лет служилый класс, дворянство и чиновничество, деятельно скрещивался с громадным по числу наплывом инородцев, причем прабабушка-армянка вносила в породу одни склонности, дедушка-швед — другие, поляк — третьи, еврейка — четвертые, и все это, как краски на палитре, смешиваясь в общий соус, давало под фамилией какого-нибудь князя Рюриковича серую, бесцветную, нерусскую и вообще никакую душу, душу космополита, для

которого партия, дирижируемая г-ном Винавером[1], милее и священнее России. «Поразительный упадок в России патриотизма», о котором заявил г-н Дмовский[2], объясняется засильем не только тех инородцев, которых выдают их нерусские фамилии, но и тех инородцев, что прячутся под русскими именами. Упадок национального духа, упадок державной силы в племени столь способном, каковы великороссы, объясняется тем, что весьма значительная часть образованных великороссов на самом деле давно не русские люди или, вернее, испорченные в своей породе русские. Кроме онемечившихся до потери языка фон Арбузовых или ошведившихся Синебрюховых на верхах правящего класса вы встретите тысячи «русских» людей, разговаривающих по-русски только с лакеями. И мы еще хотим быть великим государством при таком перерождении наших государственных тканей! Приводя фамилии «совершенно» будто бы обрусевших г-д Каминских, Маиевских, Пашковских и пр., мне кажется, я не делаю большой ошибки. Во-первых, полное обрусение их очень спорно (наследственность передается на двадцать поколений); во-вторых, я поднимаю общий вопрос об инородческом засилье. Если вы, чисто русский человек, носите, скажем, испанскую фамилию, то этим доказано, что когда-то испанец вошел в русский правящий класс и своим потомством вытеснил из него потомство какого-нибудь коренного русского, очутившегося ступенью ниже.

Если громадный организм государственный в его важнейших частях сделался добычей инородческих фамилий, то мы, оставшиеся русские, и те, кто внизу, имеем право спросить себя со страхом: чем же это кончится? Не тем ли, что Россия, вмещающая в себя 3/4 славянской расы, сделается и в самом деле «подстилкой для народов», как бахвалятся немцы? Не тем ли, что у нас сложится очень скоро инородческая аристократия, равнодушная к России? Не тем ли, что сложится такая же бездушная инородческая буржуазия? Но ведь при таком составе царства мы, наверное, грохнемся наподобие той огромной статуи, которую видел Навуходоносор в своем страшном сне. Я советовал бы патриотам русским повнимательнее вчитаться в пророчество Даниила (гл. 2). Исполин, символизировавший великое царство Вавилонское, был потому разбит камнем, оторвавшимся от горы, что составлен был из разнородных материалов. Золотая голова, серебряная грудь, медное чрево, железные голени, глиняные ноги: «все вместе раздробилось... и сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них». Такова судьба всех *пестрых* царств. «Как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство, — говорит Даниил, — будет

частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, — это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной».

Вот великое пророчество для всех народов, имевших гибельную ошибку свое однородное подменить разнородным, свое родное — инородным! <...>

Наша Родина еще не повергнута в прах. Мы, живое поколение русских людей, должны соединиться. Есть еще малое время, но горе народу, продремавшему все сроки!

ЧЬЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ?

1 марта

При обсуждении устава Всероссийского национального союза возник любопытный вопрос: окажется ли цель союза — содействие господству русской народности — в согласии с Основными Законами? Некоторые находили, что названные законы отрицают господство какой-либо одной народности. Все российские подданные будто бы равны перед законом как в обязанностях, так и в правах. В силу этого борьба с инородческим засильем, по существу, незаконна.

Достали текст Основных Законов и не нашли в них ничего ясного по этому предмету. Что касается меня, я не допускаю даже возможности подобного чисто софического вопроса. В законе не указано многое такое, что предполагается само собою, например право подданных кашлять. Достаточно того, что в Основных Законах Россия названа *государством* Российским, чтобы вопрос о господстве считать решенным. Государство ведь и есть господство. И так как оно российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а не какой другой. Добиваться господства русских в России значит осуществлять первое понятие Основных Законов — понятие того, что земля наша есть *русское* государство. Опираясь на чисто книжные, сомнительно философские теории, инородцы пробуют подменить коренное понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к своему прилагательному (русское) и что все нерусские племена имеют будто бы те же самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. Хотя в России числится что-то до 60 пле-

мен, однако политическое и юридическое имя всей их совокупности есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское и пр., а единственно государство *Русское*. Стало быть, государство по установленному праву принадлежит в черте России лишь одной народности — нашей. В тех странах, где это государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или недавно — Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок упомянут в самом имени. Он встречается в союзных государствах, федерациях и штатах, у нас же слабый намек на нечто подобное остается лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц более нет, то нет и разделения государственного господства между отдельными племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу — русскому.

А как же быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, *не такие* и не должны быть такими. В угоду довольно глупой либеральной моде инородцам дали было полное равноправие, полное разделение с нами господства, и что же вышло? То, что в состав первого же парламента инородцы выслали явных врагов России. Пришлось поспешным conp d'état ограничить политические права инородцев, и на первом опыте дело, вероятно, не остановится.

В публике и часто в правящем кругу путают понятия политических прав с гражданскими. Что касается ответственности за преступления, то, конечно, все должны быть *более или менее* равны перед законом. Говорю «более или менее», так как и тут существуют громадные неравенства — вменяемости, возраста, сословия и пр. О гражданских обязанностях и говорить нечего. Тут столько ограничений и изъятий, что спорить о равенстве смешно. Сословное, профессиональное, имущественное разделение участия в государстве требуется самой природой общества. Можно ли говорить о равенстве прав? Говорят: инородцы несут те же самые повинности и налоги, стало быть, имеют право и на все права. Но это совершенно неверно. Инородцы несут совсем не те повинности и налоги. У них совсем не тот вклад в русское государство, что у коренных русских. Например, наши братья поляки. Они присоединены к нам всего 100 с лишком лет назад и, значит, несут налоги и повинность всего одно столетие, тогда как мы, коренные русские, несем ту же государственную тяжесть *тысячелетие*. Разница, кажется, существенная. Мы, русские, 900 лет строили и создавали наше государство, а поляки 900 лет *расстраивали и разрушали* это государство, сколько было в их силах. Мы с начала истории делали вклад в наше народное досто-

яние, а они с начала истории нечто вынимали у нас (путем войн) и растрачивали нашу силу. В таком явлении, каково национальное государство, живущее из глубины веков, нельзя довольствоваться лишь сегодняшними счетами. Государство принадлежит тому народу, душа и тело которого вложены в территорию. С этой точки зрения я признаю права инородцев на их собственные территории, на их маленькое государство в ими насиженных углах. Из инородцев только один народ не может иметь никакого господства на земле — это евреи, так как у них нет собственной территории. В силу этого они самой судьбой обречены оспаривать всякое чужое господство, и все народы обречены давать им в этом отпор. Когда евреи заведут свою территорию и государство — другое дело, я первый согласен уважать их права.

Только глубоким упадком чувства народности на верхах власти можно объяснить наше не существующее нигде в свете и нигде не бывалое уравнение инородцев с коренными жителями. Если в Германии, например, ничтожная горсть инородцев имеет все гражданские права, то мыслимо ли допустить, чтобы у немцев 3/4 должностей в военном управлении, например, были заняты поляками? Или чтобы почти сплошь все дипломатическое ведомство было предоставлено французам? Или чтобы самые важные стратегически железные дороги, контроль, финансы были захвачены датчанами? Или не смешно ли представить, чтобы Англия объявила английскими лордами бесчисленных индийских раджей или князьков своих черных, желтых, оливковых и красных подданных? А мы ведь именно это сделали с татарскими, армянскими, грузинскими и прочими будто бы князьями, приравняв их к потомству наших древних царей, к потомству Владимира Святого! При столь еще недавнем либерализме западных конституций у них держится бытовой, весьма суровый отпор инородцам даже там, где последние составляют ничтожный процент населения. У нас же, при отсутствии либеральной конституции, инородцам предоставили права даже не равные, а несравненно более высокие, чем «господствующему» (!) народу. В то время как свой господствующий (!) народ обращали в рабство — ни один еврей, ни один цыган не знал, что такое крепостное состояние. В то время как господствующий (!) народ секли кому было не лень — ни один инородец не подвергался телесному наказанию. За инородцами, до отдаленных бурят включительно, ухаживали, устраивали их быт, ограждали свободу веры, давали широкие наделы, тогда как в отношении коренного, господствующего (!) населения только теперь собираются что-нибудь сделать. Разве в самом деле русским колонистам в Поволжье, в

Крыму, на Кавказе давали те же громадные наделы и те же льготы, что немцам-колонистам? Разве русское крестьянство было устроено столь же заботливо, как, например, польское 40 лет тому назад? Что ж тут говорить о равноправии, когда какой-нибудь слесарь-еврей, несмотря на черту оседлости, мог путешествовать по всей России, до Самарканда и Владивостока, а коренной русский слесарь еще посейчас связан, точно петлей, тем, вышлют ему паспорт из деревни или нет. Вместо одной до смешного переходимой «черты оседлости» коренной русский народ до самого последнего времени был опутан целой сетью затяжных бессмысленных ограничений — при основной и тяжкой повинности нести на себе всю ответственность за громадное, раскинувшееся на два материка государство. Или вы думаете, что армяне, например, или евреи, или финны озабочены в такой же степени, как мы, существованием нашей Империи? Всероссийский национальный союз, исходя из мысли, что *государство* есть *господство,* ставит первой задачей *господство* русской народности, но уж какое тут господство! Для начала хоть бы уравняли нас в правах с г-дами покоренными народностями! Для начала хоть бы добиться только пропорционального распределения тех позиций власти, богатства и влияния, что при содействии правительства захвачены инородцами. Если немцы, которых 1 процент в Империи, захватили кое-где уже 75 процентов государственных должностей, то на первое время смешно даже говорить о русском «господстве».

Речь идет не только о государственных должностях. Не менее тяжелое засилье инородчины идет в области общественного и частного труда. Разве самые выгодные промыслы не в руках чужих людей? Разве две трети крупной торговли в Москве не в руках евреев? Разве биржа и хлебная торговля не в их руках? Разве нефтяное дело, Каспийское море, Волга не в их руках? Переходя к умственным профессиям, разве самое сознание страны — печать — не в их руках? Разве театр, музыка, отчасти искусство не в их руках? Разве адвокатура, врачебное дело, техника не переходят быстро в их руки? «Значит, они талантливее русских, если берут верх», — говорят евреи. Какой вздор! В том-то и беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они проталкиваются менее благородными, но более стойкими качествами — пронырством, цепкостью, страшной поддержкой друг друга и бойкотом всего русского. В том-то и беда, что чужая посредственность вытесняет гений ослабевшего племени и низкое чужое в их лице владычествует над своим высоким. Если не говорить об отдельных исключениях, оцените, насколько засилье немцев обесцветило нашу дипломатию и военное ведомство, или

насколько засилье поляков расстроило железнодорожное дело, или насколько засилье евреев опоганило печать и уронило театр. В отдельных случаях инородцы в состоянии оказывать незаменимые услуги, но, становясь господами положения, они отнимают не только наше господство, но роняют господство вообще. Они — как все постороннее — понижают тон жизни, то одушевление, что может исходить лишь из собственного духа страны. Чужое всегда останется чужим, и усвоение его даже в отдельных счастливых случаях есть пытка для организма.

Несчастие России в том, что она позабыла, как ее зовут и какой разум вложен в ее тысячелетний титул. Мне хотелось бы сказать простым и скромным русским людям: господа, вспомним, что мы господа! Вспомним серьезно, что отечество наше называется Империей, государством, то есть господством в черте нашей земли. Не чьим иным господством, а нашим, которое нам дала история, благородство предков, их отвага, их стремление к царственной на земле роли. С какой же стати мы уступаем драгоценное наследие выходцам чужих земель? И не только уступаем, а начинаем входить в позорную зависимость от каких-то евреев, поляков, шведов и т. п. По замыслу великих царей наших, иностранцы и инородцы допускались лишь в меру нужды на должности служебные, на общественные положения скромные, отнюдь не посягающие на господство. Как же это так случилось, что они очутились наверху, а мы внизу?

Мы до того одичали под правлением наемной полуинородческой бюрократии, что позабыли первую истину жизни — смысл *господства*. Национальное господство есть не какая-нибудь роскошь, а нравственная необходимость, первое условие жизни. Господство есть совершенство, развитие всех народных достоинств до полноты развития. Отказываемся от господства — стало быть, отказываемся от идеала расы, от того величия, которым природа увенчивает все, имеющее жизнь в себе. О, если бы мы поучились хотя бы у евреев их национализму! Почитайте их священные определения. Они — народ, *избранный* Богом, народ единственный, которому все народы должны служить в качестве домашних животных. Сумасшествие, скажите вы. Не сумасшествие, а пафос породы, в своем аристократизме не желающей иметь равных. «Мы — потомство царей», — говорят евреи. Каких царей? Ну хотя бы пастушьих, хотя бы двенадцати сыновей Иакова. Иудеи — от Иуды, а он будто бы был царь. В сумасшедшем бреде маленького несчастного народа сквозит величайшая из истин всякой народности. Всякое племя есть царь и если не хочет властвовать, то оно раб, и хамская его доля им заслужена вместе с проклятием, что оно несет в себе. Всмотритесь в это

изумительное явление: какие-нибудь евреи, армяне, финны, латыши позволяют себе эту роскошь — любовь к родине, гордость принадлежать к ней и мужество защищать ее; а мы — стомиллионное могучее племя — уже не смеем позволить себе этой роскоши. Мы боимся признаться, что мы — русские, мы трепещем перед тем, что скажет о нас еврей.

Я думаю, что столь глубокий упадок чувства народности — накануне восстановления ее или смерти. Одно из двух.

МУЧЕНИКИ ЗА РОССИЮ

13 мая

Кто может — молитесь,
чтобы Бог перестал нас казнить за наши грехи.
Из письма моряка
в эскадре Рожественского

Завтра тяжелый наш «день судный», день поминовения флота, погибшего под Цусимой. Три года назад в этот день со стоном повернулись кости Петра Великого в гробу. В далеком океане огромные броненосцы русские горели, перевертывались один за другим, шли ко дну. Другие — неслыханное дело! — спускали священный флаг России и сдавались целой эскадрой. Третьи — целой же эскадрой — бежали с места боя... Страшно вспомнить, что тогда происходило, точно кошмар какой-то. Но из этого разгрома и постыдного малодушия, из пучины унижения, небывалого и невероятного, поднимаются, точно волшебные призраки, бесчисленные примеры мужества, неустрашимой смерти...

На днях вы читали в «Новом времени» о броненосце «Александр III» гвардейского экипажа, на котором *все офицеры* и *вся команда* погибли, до одного человека. Вы помните, как на опрокинувшемся гиганте, на киле его в последние минуты стояли несколько офицеров и матросов и кричали «ура!» идущим на гибель русским кораблям. Океан разверзся и в бездонной своей могиле похоронил такое же великое, как он, непобедимое чувство долга. Под портретом Курселя, молодого красавца моряка, вы читали, как он с товарищами на «Суворове», Вырубовым и Богдановым, отказался покинуть корабль, хотя бы и тонущий, и предпочел вместе с ним перейти в вечность. Три героя, единственные оставшиеся

из живых на «Суворове» (после съезда с него адмирала Рожественского), вместе с небольшой кучкой команды отстреливались из винтовок от японских миноносцев. Но их было не три, их было гораздо больше. Вот что мне пишет вдова еще одного погибшего на «Суворове» — лейтенанта Новосильцева: «Со слов самого Рожественского я знаю, как невыносимо страдал покойный муж мой от жестоких ран и как он с одной рукой (другая была оторвана) и тяжело раненный в грудь отдавал до последнего момента распоряжения — не переставать стрелять. Он первый отказался спастись на "Буйном", желая остаться до последней искры жизни верным своему святому долгу. Оставшиеся в живых офицеры говорили мне, что это исключительный пример геройства. И вот этот герой забыт! Боже, как это тяжело мне и моему сыну Алеше!»

Я знал этого забытого Новосильцева и могу удостоверить, что еще до войны он был из тех скромных людей, которые составляют истинное украшение родины и ее гордость. Молодой, сильный, деятельный, трудолюбивый, истинно благородный, этот полный жизни моряк и тогда уже служил России не как все, а как немногие. Перед отправлением злополучной эскадры Новосильцев мне показывал броненосец «Сисой Великий», на котором он тогда служил. Впечатление от этого крайне утомительного осмотра было то, что есть еще в России удивительные люди, которые всей душою преданны военному делу, скромные герои, на мужество и честь которых родина может положиться. Уже тогда, до ухода эскадры, было ясно, дела ее плохи. Уже тогда на эскадре и на всем флоте шел глухой ропот отчаянного сознания, что суда плохи, орудия плохи, снаряды плохи, адмиралы плохи, команда не подготовлена, переход — почти кругосветный — громадной трудности и надежд на победу почти нет. Вспомните, как вели себя тогда революционеры, подстрекаемые евреями: рабочие на судостроительных и металлических заводах то и дело бастовали, доходили до самого предательского злодейства. Лучший и сильнейший из наших броненосцев — «Орел» был затоплен в гавани во время вооружения. Самое строгое расследование не открыло виновных, но, очевидно, среди команды были «товарищи», так как непостижимые аварии с машиной броненосца продолжались в Кронштадте и в море*.

«Забастовщики и стачечники сделали свое злое дело, — говорит г-н Беломор, — благодаря их усилиям флот наш томился на Мадагаскаре и, обрастая травою, терял одно из важнейших качеств — быстроходность»**.

---

* См.: От Либавы до Цусимы. Письма флагманского инженера Е. С. Политовского.

** А. Беломор. Памятка для моряков.

Можно ли было надеяться на победу? Как откровенно высказался один из командиров, мрачный Бухвостов, эскадра Рожественского мечтала лишь умереть с честью, не больше. Под тяжелым, точно свинцовая крышка гроба, сознанием русские люди готовились и шли на подвиг. Кто знает, может быть, они сделали все, что человеческой природе доступно. Пусть г-н Небогатов сдался, пусть г-н Энквист бежал, но подавляющее большинство русских моряков *не сдавались* и *не бежали*.

В печальном виде дошла русская эскадра до Цусимы. Истомленные девятимесячным переходом, океанскими бурями, тропической жарой, точно тюремным заключением в железных кузовах, а главное — ожиданием смертного боя без права на победу, двенадцать тысяч моряков наконец устали жить. И у Рожественского, и у последнего матроса сложилось одно, неудержимое, как мания, желание: добраться до Владивостока. Суда грузно обросли водорослями и потеряли ход. Перегруженные донельзя, они плелись в зловещих предчувствиях. За два дня до боя умер измученный Фелькерзам, и под адмиральским флагом эскадра везла уже труп одного из вождей. Совершенно невероятно, чтобы такой ученый артиллерист, как адмирал Рожественский, не знал о тех недостатках нашей артиллерии, брони, снарядов, лафетов, о которых ужасные разоблачения сделаны талантливым пером г-на Брута. Адмирал Рожественский, мне кажется, знал многое такое, что, может быть, до сих пор никому не известно, но он шел вперед, как солдат, которому приказано идти на смерть. И флот погиб... Да помянет же несчастная мать-Россия своих заброшенных за край земли несчастных сынов, что мученически, с верою и честью положили живот свой в бою неравном!

Пожар над безднами — вот картина боя. Первым погиб «Ослябя», буквально засыпанный японскими ядрами. «Тонул он всего несколько минут; спаслось около 100 человек. Тонувшим посланы были три миноносца, но японцы открыли по ним страшный огонь и они принуждены были уйти»*. Вторым погиб «Бородино», затем «Александр III», потом «Суворов», наконец «Наварин». «Снаряды наши, — пишет очевидец, — никуда не годились: большинство их вовсе не разрывалось или разрывалось, разрушая маленькое пространство. Японские же снаряды все разрывались и притом производили огромные опустошения...» Все море от минных и ядерных взрывов превратилось в лес фонтанов. «Не успеет миноносец подойти к кругу, за который ухватились 30—40 утопающих русских,

* См.: Летопись войны с Японией (роскошное издание Д. Дубенского в 1 т.).

вдруг снаряд, и из всего круга образуется красный фонтан». *Красный*, то есть кровавый! «На нас пустили 120 миноносцев... До 12 ч. 30 м. мы отбивались от них, причем погиб "Наварин", затем "Владимир Мономах" и "Адмирал Нахимов"...»

Из трагедии цусимского боя осталось лишь несколько разрозненных страниц, точнее, строк, и восстановить картину этого человеческого жертвоприношения никто не может. Но зато эти немногие моменты, о которых дошел голос из пучины, — они священны. Можно ли, скажите, забыть геройский броненосец «Адмирал Ушаков»? Выдерживая день и ночь жестокий бой, видя, как сгорают и тонут один за другим «Ослябя», «Бородино», «Александр III», «Урал», наконец «Суворов» с главнокомандующим флотом, броненосец «Ушаков» сам получил две тяжелые пробоины и погрузился носом. Стало очень трудно управляться и стрелять, нельзя было дать полного хода. Но решили держаться до конца. На маленький наш броненосец (всего в 4 тысячи тонн, с четырьмя орудиями) напали два громадных японских крейсера, каждый по 19 700 тонн, с 36 орудиями. «Советую вам сдать ваш корабль», — подняли сигнал японцы; и затем шло еще какое-то продолжение сигнала. «Продолжение и разбирать нечего, — сказал Миклуха, командир «Ушакова». — Открыть огонь». Даже и эти немногие наши выстрелы геройского корабля не долетали до неприятеля. Японцы издалека засыпали «Ушакова» ядрами. У нас приступили к обряду умирания: кингстоны были открыты, бомбовые погреба подорваны, машины остановлены. Броненосец лег на правый борт и, перевернувшись кверху килем, пошел на дно, до последнего мгновения расстреливаемый неприятелем.

Пусть же не забудет Россия имен Миклухи, Мусатова, Жданова, Трубицына, Зорича и многих-многих других, что отдали тут Богу душу. Те, что в холодной воде держались, хватаясь за обломки, пережили страдания хуже смерти: уже подобранные японцами, закоченевшие Яковлев и Хлымов умерли от паралича сердца...

«Суворов» не осрамил своего исторического имени. Он принял не одну, а три смерти, он был расстрелян, сожжен и потоплен, но *не сдался*. По японским источникам, «Суворову» два раза предлагали сдаться, на что оставшаяся (после съезда адмирала Рожественского) кучка героев отвечала залпами из винтовок. Ни одной уже целой пушки не оставалось. Последний залп раздался, когда «Суворов» наполовину уже скрылся под водой — вместе с теми, имена которых да будут в нашей памяти бессмертны...

Пусть не забудет Россия геройский крейсер «Светлану», который на другой день боя, уже полуразбитый, был атакован двумя

японскими крейсерами и миноносцем. Снарядов почти уже не было, но на военном совете решено было вступить в бой и, когда будут израсходованы снаряды, затопить крейсер. Взорваться было уже нельзя, так как минный погреб был залит еще накануне. Как решили, так и сделали: пробившись несколько часов, открыли кингстоны. Крейсер лег на левый борт и с поднятым флагом пошел на дно океана. Японцы безжалостно расстреливали «Светлану» до тех пор, пока она не скрылась среди волн. Пусть же Россия не забудет храброго командира Шеина, Арцыбашева, Толстого, Дьяконова, Воронцова, графа Нирода, Зурова, Свербеева, Агатьева и около ста шестидесяти разделивших смерть с ними нижних чинов. Нераненый, невредимый Шеин лишь за несколько минут до погружения судна был убит японским снарядом.

Пусть не забудет Россия отважного «Владимира Мономаха», расстрелянного, израненного, подвергшегося девяти минным атакам и потонувшего с поднятым андреевским флагом. Пусть не исчезнет в благородной памяти крейсер «Дмитрий Донской», на котором убиты были Гольц, Дурново и Гирс и тяжело ранены Лебедев, Блохин, Коломейцев, Шутов, Вилькен, Храбро-Василевский, князь Ливен и выбыли около двухсот нижних чинов. Эти не сдались и *не сдали* своего корабля.

Пусть не забудет Россия броненосец «Наварин», который, заметив отчаянное положение «Суворова», горевшего как костер, прикрыл его собою от сыпавшихся японских бомб. Разбитый, взорванный минами и бомбами, с перебитой командой, со смертельно раненным командиром, броненосец все еще держался. Раненный в голову и в грудь барон Фитингоф отказался оставить корабль и решил потонуть с ним. «Верные принятому решению *умереть, но не сдаться*, — пишет один участник боя, — офицеры перед самою гибелью судна простились с выстроенной командой и, готовясь к смерти, братски перецеловались друг с другом, а изувеченный командир приказал вынести себя наверх». Отказался от спасательного пояса и сменивший его старший офицер Дуркин, до последнего момента спасавший команду. Японцы продолжали расстреливать барахтавшихся в воде русских людей. Японский миноносец через несколько часов еще видел плававших и умиравших от истощения русских и не дал им помощи. Только английский пароход успел спасти трех матросов, которые и рассказали об ужасах этой ночи. Не забудь же, мать-Россия, имен Фитингофа и Дуркина, Рклицкого, Грау, Измайлова, Челкунова, Огарева и многих-многих замученных и убитых за великое твое имя!

У меня нет места, чтобы напомнить здесь чудные подвиги «Буй-

ного», «Грозящего», «Стерегущего», как и эпопею «Рюрика», погибшего еще до Цусимы в блистательном бою. Цель настоящих строк — помочь читателю возобновить в памяти ужасное событие, что случилось ровно три года назад, и дать отчаянию русского сердца некоторое утешение. Пусть разбито *тело* русского флота, но осталась непобедимой *душа* его, пока в нем не перевелись герои вроде Новосильцева, Вырубова, Жданова, Огарева, Курселя, Богданова, Фитингофа, Шеина, Хлодовского, Подгурского и многих-многих других, их же имена известны Богу.

Я пишу эти грустные строки во дни глубоко грустные, когда нет уже почти никакой надежды на восстановление флота — до такой степени прочно утвердились в нем люди старые, вся жизнь которых прошла в подготовке флота для разгрома. Рутина, своекорыстие, карьеризм, инородческое засилье, невежество и равнодушие к русскому народному делу — вот что привело нас к катастрофе и вот что до сих пор, точно черное волшебство, мешает подняться нашей морской силе. Нет у великого государства левой руки его — флота, загублено державное дело Петра, и народ русский опять отброшен на двести лет назад в отношении морской базы. Флота нет, но ведь он был, и ради памяти невинно погибших под Цусимой десяти тысяч мучеников за Россию флот *должен быть* восстановлен! Вторым зачатием его да будет благодарная память о героизме тех, которых будущие моряки назовут когда-нибудь своими предками.

Одна из многочисленных вдов героев, погибших под Цусимой, Е. А. Шеина, передала мне через своего брата, князя М. А. Урусова, мысль, к которой я присоединяюсь всем сердцем. Следует воздвигнуть памятник в виде храма, где на стенах были бы собраны и увековечены имена русских людей, погибших в цусимском бою. Забвение этих страдальцев ужасно: ничего нет постыднее неблагодарности Отечества, и ничто так не возрождает мужества, как пример героев. Неудача войны при нашем естественном могуществе не есть для России смертный приговор. Есть нечто худшее всяких поражений — это упадок духа, когда исчезает даже память о своем прежнем величии. Нельзя собрать костей героев со дна Великого океана, чтобы заключить их в общую братскую могилу, но можно и следует построить храм, где были бы благоговейно погребены имена их, куда приходили бы оплакивать их осиротевшие жены и дети и где Россия могла бы, поминая их, преклонить колени. Где-нибудь на берегу Невы, среди элингов, в центре вооружения флота, против Морского корпуса, грустный храм над водой напоминал бы многое и вдохновлял бы на многое. Нельзя жить, отрываясь от

корней прошлого, а корни у нас целы. Даже в дни величайшего из ужасов нашей истории были явлены свидетельства того бесстрашия, при котором нация не умирает.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

5 июня

<...> Всероссийский национальный союз задается целью содействовать: *господству русской народности* в пределах Империи, укреплению сознания народного единства, устройству русской бытовой самопомощи, развитию русской культуры и упрочению русской государственности на началах самодержавной власти царя в единении с законодательным народным представительством. Последний пункт — признание установленного Основными Законами титула Верховной Власти и ее отношений к народному представительству — отгораживает наш союз одинаково от революционных и реакционных партий. И те и другие отвергают существующий порядок вещей, мы его признаем базой для дальнейшего развития — в ту сторону, куда укажет общечеловеческий и общерусский опыт. Должен оговориться (и эту оговорку прошу запомнить), что, говоря в данном случае «мы», «нас» и т. п., я говорю лишь о себе, о своих личных мнениях. Я был бы счастлив, если бы выразил одновременно общее мнение союза, но отнюдь не приписываю себе этой чести и надежд на нее не питаю. Каким союз сложится — покажет опыт. Я позволю себе лишь с моей точки зрения разъяснить те начала в уставе Национального союза, которые мною были предложены и приняты учредителями почти без изменения. Особенно я удовлетворен был тем, что параграф первый устава — содействие *господству* русской народности — после продолжительных и жарких прений был принят в моей редакции.

Как я уже докладывал читателям, в гордом слове «господство» вносится не новый факт, а древний, равновозрастный самой России. *Господство* есть *государство*, и наоборот. Отрицая господство русского племени в черте России, мы тем самым отрицаем государство русское, то есть без полномочия народа развенчиваем его из великого и царственного племени в сырой этнографический материал. Наши кастрированные в национальном чувстве кадеты под внушением разлагающей пропаганды евреев, не имеющих отече-

ства, порешили на том, что все племена в России полноправны и каждая, хотя бы засохшая ветка какой-нибудь расы имеет право на «национальное самоопределение». На этом основании первый кадет от Петербурга в первой Думе, профессор Кареев[1], предложил даже отменить название «русское государство», ибо наше государство будто бы не русское, а русско-польско-татарско-литовско-финско-армянско-грузинско-киргизско-эстонско-самоедское, что ли. Хотя взгляд отменно простодушного кадета не имел успеха, однако множество так называемых либеральных людей близки к мысли, что равноправие племен *разумно* и справедливо. Именно с этой мыслью, глупой и несправедливой, придется вести борьбу Национальному союзу.

Без принятых ужимок и лицемерных оговорок мы ввели в наш устав первый догмат национальности — господство своего племени в государственной черте. Мы, Божиею милостью народ русский, обладатель Великой и Малой и Белой России, принимаем это обладание как исключительную милость Божию, которой обязаны дорожить и которую призваны охранять всемерно. Нам, русским, недаром далось это господство. Оно нам стоило более тысячи лет неисчислимых трудов и лишений, оно стоило мучений, ран и подвигов для тридцати поколений предков, оно стоило их благородной крови, пролитой с верой в Россию, единую и неделимую. Ни с того ни с сего делить добытые царственные права с покоренными народами — что же тут *разумного,* скажите на милость? Напротив, это верх политического слабоумия и представляет собой историческое мотовство, совершенно подобное тому, как в купечестве «тятенькины сынки», получив миллион, начинают разбрасывать его лакеям и падшим женщинам. Сама природа выдвинула племя русское среди многих других как наиболее крепкое и даровитое. Сама история доказала неравенство маленьких племен с нами. Скажите, что ж тут разумного — идти против природы и истории и утверждать равенство, которого нет? И *справедливо* ли давать одни и те же права строителям русского государства и разрушителям его? Ибо не забудьте, что маленькие племена в течение многих веков боролись с нами и всеми силами пытались разрушить наше царство. Если вы не совсем слепы, то можете видеть, что и теперь еще идет инородческая борьба против нашей государственности, борьба непримиримая, скрытая, но тем более опасная. Крик инородцев о равноправии не есть требование гражданского равенства. Это требование тех исторических позиций, которые мы завоевали для себя. О совершенно обрусевших инородцах, конечно, нет и речи, такие не нуждаются в равноправии. Они получают его по мере слияния с русским племе-

нем. О полноправии, о национальном самоопределении кричат необрусевшие инородцы, признающие себя открыто нерусскими. Но в таком случае какое же для нас отличие они имеют от иностранцев и почему давать им преимущество перед иностранцами? Есть ли хоть тень смысла предоставлять нерусским людям хозяйские права в русской земле?

В XVIII веке Россия перенесла роковое несчастие — она потеряла свой национальный правящий класс. С ним померкло народное политическое сознание. На Россию хлынули из-за границы и из покоренных окраин целые волны равнодушных, часто враждебных элементов. Пользуясь безличностью власти, они заняли в разных точках страны крайне важные позиции, которые продолжают захватывать вширь и укреплять. С Россией совершилось нечто подобное тому, что было с Китаем: гигантская империя была захвачена ничтожными по численности маньчжурами, а у нас без всякой войны, свободным наплывом взяли засилье немцы, шведы, поляки, евреи, армяне. Нет сомнения, и маньчжуры сделали кое-что для Китая, однако не сумели организовать его в великое и неприступное государство. То же и инородцы в России — известные заслуги их отрицать нельзя, однако общий итог их двухвекового внедрения оказался весьма печальным. Как и Китай, Россия — столь огромная — оказывается парализованной в духовном могуществе, в государственной воле, в железной решимости бороться за свою жизнь. Китай, включающий в себя четвертую часть человеческого рода, разбит мизерной Японией. Приплывают эскадры из противоположного полушария и занимают китайские гавани, китайские территории и источники дохода. Россия, распростершаяся на два материка, разбита той же незначительною Японией, и почти те же захваты, что в Киао-Чао и Квантунге, у нас идут на Чукотском полуострове, на Камчатке и в Приамурье. Флоты обеих империй уничтожены, армии разбиты, и вся надежда обеих стран остается на будущие преобразования. Но какие ни вводите реформы, какие ни заводите парламенты, обе империи будут никнуть, пока в самом сердце их, в тайнике государственной жизни будут присутствовать чужие, инородные элементы. Среди сильно окитаенных маньчжурских вельмож есть, конечно, люди очень умные; несомненно, они преданны престолу, но роковой факт, что они чужие для Китая и он им чужой, чрезвычайно связывает их психологию. Они годятся на роль исполнителей, но чтобы стать вождями нации, вдохновителями ее в годы гибели — маньчжуры на это не способны. Наши инородцы, захватившие чрезмерное влияние в самых важных слоях общества, далеко не всегда предатели. Иной раз они весьма сочувствуют импе-

рии, которая их кормит, но даже и в этих случаях их сочувствие не может подняться до героизма, до принятия тех великих решений, что спасают нацию.

Выдвигая первой целью своей *господство* русского племени, Национальный союз хотел бы вернуть народу своему самую первую и необходимую из функций — национальность командующих классов. Под «властью» в данном случае я разумею не только политическое преобладание, но и экономическое и моральное. Мы, Национальный союз, ровно ничего не имеем против инородцев, действительно обрусевших. Еврейские газеты печатали, будто я на учредительных собраниях восставал против допущения в союз всех, фамилии которых нерусские. Конечно, это вздорная ложь, одна из бесчисленных лжей, которые паразиты нашей печати связывают с моим именем. Я уже множество раз заявлял, что среди вполне обрусевших инородцев встречаются пламенные русские патриоты. Почти все русские люди носят еврейские и греческие *имена*: об этом можно жалеть, но придавать серьезное значение именам не придет же в голову. Но при полнейшей симпатии к обрусевшим инородцам, вошедшим в нашу плоть и кровь, Национальный союз должен заявить самую решительную нетерпимость к инородцам *необрусевшим*. Как посторонние тела в организме, как занозы и наросты, не сливающиеся с нами племена должны быть удаляемы во всех тех случаях, где они выдвигают свое засилье. Ограничив их в политических правах, Россия может терпеть на своей территории некоторое количество иностранцев; но допускать проживание в черте Империи на основе равноправия целых миллионов нерусских людей — принцип безумно гибельный. Таким инородцам в России должна быть указана определенная территория и даны их местные права, но собственно имперские, государственные права их должны быть строго ограничены — до тех пор, пока натурализация каждого инородца в России не будет достаточно доказана. Гениальные фальсификаторы евреи убеждают: дайте лишь полноправие — и ненавистники России станут верными ее сынами. Но ежедневный опыт говорит иное. Среди евреев наименее опасный для нас элемент — именно бесправные евреи, сидящие за чертой оседлости, и наиболее опасный — это те, которые получили — вроде г-д Винавера, Гессена и др. — все права. Самые же опасные, пожалуй, — это некоторые выкресты, что отказываются от своей веры и совести для того лишь, чтобы легче втереться в христианское общество. Даже во втором поколении иных выкрестов встречаешь безотчетную неприязнь к России и неодолимую симпатию к своему «гонимому» племени. Явная и тайная поддержка инородческому захвату идет у выкрестов на несколько

поколений. Вот почему для России необходимо отгородиться от своих — по крайней мере некоторых — инородных племен хотя бы ценой расширения их местных прав.

Я лично убежден, что не инородцы нуждаются в автономии окраин, а Россия в ней нуждается. Именно Россия должна делать все возможное, чтобы ее оставили в покое, чтобы не захватывали хозяйского господства под нашей же крышей. С этой точки зрения я считаю колоссальной ошибкой допущение в русский парламент представителей других племен. Парламент есть храм законодательства; как в храме, тут должно быть одно национальное исповедание, одна политическая вера. Как в храме признается один Господь, в парламенте один господин — свой народ и одно господство — свое собственное. Присутствие в русской Думе польского кола, мусульманской группы и т. п. есть грубейшая описка нашей конституции, которая — вместе с многими другими — нуждается в решительном исправлении. Если бы Англия или Франция позволили себе ту же нелепость — дать права парламентского представительства инородцам своих колоний, они тотчас перестали бы быть Англией и Францией. Из шестисот членов английского парламента на англичан пришлось бы полтора десятка депутатских мест — все остальные места заняли бы индусы, африканцы, американцы, австралийцы, до подданных кофейного и оливкового цвета включительно. Спрашивается, почему же то, что в голову не придет англичанам, как смешной курьез, у нас вошло в Основные Законы?

Цель Всероссийского национального союза — прояснить, сколько возможно, омраченное разными бреднями русское народное сознание и восстановить в русской политике здравый смысл. Каковы же средства для этой цели? Вы их прочтете в уставе. Так как мы — частное общество, то и средства у нас частные, более или менее общепринятые. Первое из средств — широкая пропаганда прав русской народности путем печати и разных просветительских учреждений. Второе средство — организация бытовой самопомощи. Если инородцы в России берут своею сплоченностью и поддержкой друг друга, то и русским следует устраивать взаимную оборону — поддержкой русских людей и русских интересов. Бойкот и обструкция — явления вообще отвратительные. Они возможны лишь в скрытой гражданской войне и противны, как всякий бунт. В нормальных условиях эти средства негодны уже потому, что невыгодны для обеих сторон. Но разве мы, русские, живем в нормальных условиях? Разве России и всему русскому не объявлен бойкот со стороны, например, евреев и поляков? Разве когда-нибудь еврей или поляк позволил себе купить что-нибудь в русском магазине? Разве еврей

или поляк, немец, швед и т. п. помогут когда-нибудь русскому человеку и не предпочтут ему своего земляка? Вот на их безмолвный, крепкий и ненарушимый заговор против всего русского (кроме, конечно, денег, чинов, орденов) члены Всероссийского национального союза должны будут отвечать подобною же отчужденностью.

Мы, русские, нуждаемся в общечеловеческом опыте и принимаем все, что цивилизация дает бесспорно полезного. Но Россия в данный момент ее развития совершенно не нуждается в услугах инородцев, особенно таких, которых фальсификаторская репутация установлена прочно. Россия — для русских и русские — для России. Довольно великой стране быть гостеприимным телом для паразитов. Довольно быть жертвой и материалом для укрепления своих врагов. Времена подошли тяжелые: извне и изнутри тысячелетний народ наш стоит как легкодоступная для всех добыча. Если есть у русских людей Отечество, если есть память о славном прошлом, если есть гордое чувство жизни — пора им соединиться! <...>

ТОЛСТОЙ И ВЛАСТЬ

Где ты был, когда Я полагал основания земли?
Иов. 38, 4

10 августа

Когда революционеры ополчаются на правительство, образованное общество может оставаться более или менее равнодушным. Что такое революционеры? В подавляющем большинстве это не слишком внушительный народ. Это чаще всего недоучившаяся молодежь, неудачники, озлобленные еврейчики, разночинцы, те «declasses», что тяжким ходом истории выброшены из культуры и которым нечего терять. Если в последнее время в революцию пошли кое-какие профессора, доценты, публицисты и т. п., то опять-таки какие же это ученые и писатели? Ни одного между ними таланта. Почти сплошь это жалкие компиляторы, иногда глубокие невежды, совершенно под стать своей неучащейся аудитории. Пока на правительство восстает вот эта слабость, образованный круг может сохранять сочувственный власти нейтралитет. Нейтралитет — не более, так как само правительство, так называемая бюрократия, иногда компрометируя власть, становится для нее опаснее ее врагов. Но

дело меняется, когда против правительства выступает великий писатель, каков Лев Толстой, и выступает не против таких-то и таких чиновников, а вообще против учреждения власти, сложившейся в веках, то есть составляющей факт природы. Тут мы, люди культуры, невольно выходим из своего равнодушия. Здесь перед нами развертывается зрелище грандиозное, почти трагическое. Здесь каждый должен определенно выяснить перед совестью своей, на чьей он стороне.

Спор Толстого с властью напоминает спор Иова с Богом. Помните эту чудную книгу в Библии, столь удивительную по глубине и силе. Карлейль[1] называет Книгу Иова величайшим произведением человеческого духа. С одной стороны, здесь праведник, покорный Богу, влюбленный в Него, как влюблен Толстой в природу. С другой — верховная и благая сила, допустившая сатану унизить и оскорбить величайшего из людей. Помните, какая буря разыгрывается в могучей душе обиженного праведника, какой протест! Читать нельзя без замирания этот ропот великого человека, дерзкий и гневный, при страстном почтении, — ропот, доходящий до оскорбления Величества Божия. Иов возмущался не за себя, не за свои незаслуженные, слишком непереносимые страдания; он возмущался за Самого Создателя, за нарушение Им вечной справедливости. Он звал своего Господа на суд, ни более ни менее. Читателям известен ответ Вечного, страшный и неизъяснимый, перед которым смолкнул великий дух, перед которым должен смолкнуть всякий человеческий ропот, теперь и во все века.

Мне кажется, человеческая власть как установление самой природы могла бы ответить на гневные обвинения Льва Толстого приблизительно то же, что Бог Иову. Говоря о власти, я разумею не живых представителей ее, а вечное учреждение, что сложилось за тысячелетия и действует уже почти слепой инерцией. Что касается живых, хотя бы превосходительных носителей власти, например г-д Столыпина, Коковцова и пр., они могли бы ответить Толстому словами Вилдада Савхеянина: «Спроси у прежних родов, и вникни в наблюдения отцов их; а мы вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень» (Иов. 8, 8—9). Наши министры, как все министры на свете, столь же случайные и скромные актеры своих ролей, как и мы, простые смертные. Они могли бы ответить с большим смирением на громы Толстого: «Помилуйте, граф, что же вы на нас-то сердитесь? Разве мы с Петром Николаевичем придумали учреждение ненавистной вам земельной собственности? Она существует с начала веков, она возникла задолго до писаной истории, и создавал ее весь человеческий род. С незапамятной зари жиз-

ни, с перехода из дикого быта к оседлому люди начали огораживаться от зверей и соседей. Если угодно, учреждение собственности идет еще глубже. Посмотрите, например, как муравьи одного муравейника защищают свою территорию от муравьев другого. И даже еще глубже: проследите, как корни растения захватывают свой кусок земли и защищают его от вторжения других корней. Как же вы хотите, чтобы мы, тайные советники такие-то, живущие на земле один миг, взяли на себя смелость отменить то, что устанавливалось на этой планете вместе с горными хребтами и очертаниями морей? Далее. Вы проклинаете деньги, требуете отмены их. Но опять-таки не мы же их выдумали. Деньги появились вместе с обществом, с разделением труда и обменом продуктов. Это средство обмена принято человечеством до нашего с вами рождения, до рождения России, до появления Европы, до появления европейской цивилизации, гораздо ранее христианства и еврейства, задолго до египетских пирамид. Как же вы хотите, чтобы мы, кучка русских чиновников, которых вчера не было и завтра не будет, взяли бы да и отменили деньги? Неужели так-таки без всякого основания, без очень серьезного основания, тысячи поколений человеческих «выдумали» вот такие обычаи, как отрицаемые вами власть, собственность, брак, торговля, наука, искусство и пр.? Вы — выдающийся романист. Воображение ваше безбрежно. В качестве сверххудожника вы можете позволить себе любую фантазию, но мы — люди средние, мы представители рядового человечества, не слишком мудрого и подавленного страстями. Как же мы, "вчерашние", можем взять на себя смелость пойти против природы? Вы требуете отмены таких-то и таких-то законов, но установления человеческие, столь долговременные и прочные, как собственность, торговля, власть, деньги и пр., вовсе не русские законы, и не немецкие, и не французские, а *общечеловеческие,* обязательные для всех правительств. Вглядитесь в них хорошенько — вы увидите, что это законы самой природы. Вы скажете: что же, и людоедство закон природы? Ведь вышло же оно из употребления, хотя держалось веками? Да, оно вышло из употребления. А вот собственность — не вышла. И людоедство отменено, сколько известно, не чьим-либо министерским циркуляром, а само постепенно сошло на нет. Оно исчезло вследствие некоторого изменения природы человеческой. Дайте же природе самой решить и относительно собственности, и относительно денег, власти, войны, брака, науки, искусства и многих других будто бы ужасных вещей. Живые представители власти на самом деле не хозяева, а рабы ее. Сама человеческая власть — вне правительства; и не оно ей повелевает, а она им. Власть как учреждение с

ее основными устоями проходит толщу веков и заключена в нерушимой организации духа человеческого, в страстях, предрасположениях, наследственных инстинктах, вкусах. Попробуйте-ка их отменить росчерком хотя бы верховного пера! Даже тиранам удавалось отнимать только жизнь у людей, но не вечные учреждения этой жизни».

Наперекор природе

Так от имени древнего духа земли, властвующего над нами, могли бы ответить Льву Толстому покорные исполнители этого духа, люди правительства. «Позор! — в ответ на это закричит какая-нибудь молоденькая курсисточка или студентик, мечтающие где-нибудь в мансардочке о том, чтобы усовершенствовать вращение земли, повернуть ее, например, от востока к западу. — Позор, — скажут они, — мы, молодое поколение, не рабы духа земли, мы хотим быть повелителями, а не рабами». Полно, господа, отвечу я. Мало ли чего вы хотите или не хотите. Попробуйте подскочить над землей и освободить себя от подчинения этой будто бы мертвой глыбе. Хотя вы и молодое поколение, но очень старая земля, по-вашему, выжившая из ума, сейчас же вас притянет назад. Протестуйте сколько вам угодно, но безмолвный закон тяготения сильнее всех ваших криков. Совершенно таким же непреодолимым законом тяготения связан дух ваш. Если вы этого не замечаете, то потому лишь, что находитесь в доньютоновском неведении относительно законов духа. Охорашиваясь друг перед другом, щеголяя идеями, как перьями, понадерганными из чужих хвостов, вы шумите будто бы в либеральном духе: «Долой прошлое!» Но как вы сбросите прошлое, когда оно в то же время и настоящее, и будущее? Почитайте-ка об этом у старика Канта...

Ради молодежи мы отвлеклись от великого старца. Не молодежь, а он, 80-летний, кричит: долой прошлое! Тут с почтением, которое подобает заслуженному человеку, образованное общество должно вслушаться серьезно и серьезно рассудить. Вправе ли требовать Толстой от власти того, чего он требует? Например, вправе ли требовать насильственной отмены земельной собственности?

Почитатели Л. Н. Толстого меня поправят: Толстой не требует *насильственной* отмены, Толстой против всякого насилия, он учит не противиться злу насилием. Да, и тем не менее он требует именно насильственной отмены земельной собственности. В доказательство беру книжечку Льва Толстого, изданную в Петербурге два года

назад, — «Обращение к русским людям: к правительству, революционерам и народу». Эту книжечку мне прислали недавно из Ясной Поляны с целью вразумить меня относительно подлинных мнений великого писателя. Вот подлинные слова его, обращенные к власти: «Спасение ваше не в думах с такими или иными выборами, и никак не в пулеметах, пушках и казнях, а в том, чтобы признать свой грех перед народом и постараться искупить его, чем-нибудь загладить, *пока вы еще в силах.* Поставьте перед народом идеалы справедливости, добра и истины... и возьмитесь за осуществление его». Спрашивается, что же это за идеалы? Их, по словам Толстого, не надо выдумывать. Например, давнишний идеал всего русского народа — это «возвращение всему народу — не одним крестьянам, а всему народу — его естественного и законного права на землю». Предчувствуя возражение, почему же это идеал, если он никогда и нигде не был осуществлен, Толстой настаивает: «Именно потому, что идеал этот нигде еще не был осуществлен, он и есть истинный идеал нашего времени, а кроме того, идеал ближайший и могущий быть и долженствующий быть осуществленным прежде чем среди других народов, именно теперь в России. Загладьте свои грехи добрым делом, *постарайтесь, пока вы еще у власти, уничтожить давнюю, вопиющую жестокую несправедливость частной земельной собственности*, которая так живо чувствуется всем земледельческим народом... Отжила или не отжила та форма общественного устройства, при которой вы пользуетесь властью, *пока вы пользуетесь ею, употребите ее... на то, чтобы сделать великое доброе дело* не только для своего народа, но и для всего человечества. Если же эта форма отжила, то пускай последний акт ее будет акт добра и правды, а не лжи и жестокости».

Обратите внимание на выделенные мною слова. Лев Толстой требует от власти, чтобы, пока она еще в силах, поспешила бы уничтожить частную земельную собственность. Этого хочет будто бы весь народ, это будто бы «вечное и справедливое требование всего народа», это будто бы идеал народный. Говорю «будто бы», потому что в действительности, конечно, нет ничего подобного.

В действительности народ ни у нас в России, нигде на свете не требует отмены частной собственности на землю и никогда не ставил эту отмену идеалом. Если бы это было «вечное и справедливое» требование, оно еще в незапамятные времена было бы осуществлено. Совершенно невероятно, как это ни один народ не мог нигде добиться своих вечных требований? Ведь тысячами лет держались и теперь держатся республики, где простонародье может настоять на всем, что захочет. Почему же частная земельная собственность не

отменена ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в крохотном Сан-Марино, ни в гигантских Соединенных Штатах? Да просто потому, что *народ этого не хочет*. Даже в разгар революции, как было в 1789 году, народ отнимает частную собственность, чтобы утвердить ее за собой. И у нас в истории не было момента, когда бы народ искренне желал уничтожения частной собственности на землю. Он желал уничтожения помещичьей собственности, но не своей. И чужую, помещичью собственность мужик перестал уважать не ранее, чем потеряли к ней уважение сами помещики. Мужик постепенно увидел, что барин отбился от земли, что она у него зря болтается, что он не вкладывает в нее себя — свой труд и разум — и потому чужд земле. Такая болтающаяся земля действительно есть фиктивная собственность и, как res nullius (ничья вещь. — *Ред.*), разжигает жадность овладеть ею. В тех случаях, когда сам мужик сорганизован со своей землей и когда он видит помещика, столь же сорганизованного, вошедшего в землю корнями, он твердо признает частную собственность и свято чтит ее. Мечта и идеал каждого порядочного, хозяйственного мужика не отказаться от земельной собственности, а добыть ее и укрепить за собой. Поговорите с кем хотите из крестьян, кроме разве социалистов и бродяг, давно бросивших наделы на своих баб, — каждый скажет, что мужику нужна земля, и именно своя земля. Как вообще не признавать некоторых видов собственности? Ведь одежда, жилище, орудия работы, земля — все это дополнительные органы человека, все это входит в состав и продолжение его деятельной личности.

Так, стало быть, Толстой сказал неправду? — спросят идолопоклонники великого старца, готовые растерзать за всякое непредвзятое мнение о нем. Он не сказал неправды, отвечу я, но он грубо ошибся. Толстой, по общей нашей слабости, навязывает народу свои мысли, совершенно чуждые последнему. Окруженный толстовцами из народа, людьми совершенно ничтожными, которые смотрят ему в рот и стараются отвечать учителю его же словами, Толстой искренно вводит себя в заблуждение относительно народа. Идеал народный — отменить собственность! Но Толстой не хочет понять, что все действительные идеалы народные уже осуществлены и что идеал вообще есть вещь, наиболее осуществимая из всех. Идеал есть самое лучшее, чего народу хочется, чего хочется всего сильнее, напряженнее, неотступнее, до страсти. Идеал есть высшее возбуждение воли. Согласитесь, что это условие, самое выгодное для достижимости. Если теперешняя действительность так печальна, то это не потому, что народные идеалы недостижимы (стоило бы в таком случае рассуждать о них!), — а потому лишь, что народные идеалы

невысоки — в общем, как раз под стать невзрачной действительности. Если наш народ беден, то потому лишь, что у него нет серьезного влечения к богатству, например, как у французского крестьянина. Наш мужик и барин больше расточители, чем собиратели, и нищета наша — естественный продукт мотовства и пьянства. Если народ невежествен, то только потому, что любопытство его не идет за пределы нынешних его сведений. Если народ унижен и оскорблен, то опять-таки оттого лишь, что нравственное его сознание недостаточно протестует против этого. О, идеал — если он не фраза, а действительное чувство — есть сила, и сила могучая. Это всемогущий Бог в человеке. Пока Он живет в народе, народ велик, а вот когда народ отступает от божества, когда мельчают его идеалы — тогда и силы, движущие жизнью, становятся мелкими. Распустившийся, истрепавшийся, ослабевший народ уже не может пожелать чего-нибудь сильно — вот основная беда народная. Каким-нибудь мальчикам и девочкам, начинающим читать и мыслить, простительно думать, будто «правительство» причиной всех бед и зол, но люди старые и мудрые понимают, что истинное правительство только то, что заложено в народной воле, в его крови и нервах.

Подговор к насилию

Требуя от правительства, чтобы оно, «пока в силах», отменило частную собственность на землю, Толстой стоит не за народный идеал, а против него. Он подговаривает власть к величайшему насилию, какое мог бы придумать тиран. Толстой говорит: «пока вы у власти», «пока вы пользуетесь властью» — уничтожьте частную земельную собственность. Разверните-ка эту формулу, раскройте скобки. Ведь это значит: пока в руках ваших сила — употребите силу, отнимите у собственников их землю. И правительство, и народ, и Толстой отлично понимают, что современная власть опирается лишь на грубую силу, что только эта ultima ratio (последний довод. — *Ред.*) позволяет правительству что-нибудь осуществлять. Лев Толстой не сказал, конечно: «Берите кнуты и ружья и гоните помещиков с земли» — но ведь именно это он и сказал, убеждая правительство «воспользоваться властью». Вы скажете: ни кнутов, ни штыков не нужно, правительству стоило бы приказать — помещики и купцы не ослушались бы. Да, они не ослушались бы, если бы увидели миллион плетей и штыков. Но если бы не увидели их? Если бы вдруг стало известно, что правительство требует, но *не принуждает*? Неужели вы думаете, что при этом условии помещики, купцы,

духовенство, крестьяне-собственники отказались бы от своей частной земельной собственности? *Конечно, нет.* Никто не шевельнулся бы, как никто не стал бы вносить податей, если бы узнал, что их требуют, но не принуждают платить. Стало быть, если Толстой настаивает на том, чтобы правительство воспользовалось своей властью для отмены земельной собственности, то он допускает в этом случае все самые чудовищные формы насилия, которые столь сурово осуждает. Выходит, что он осуждает лишь то насилие, которое идет против его идей, а то, которое стоит за его идеи, он признает. Но ведь это то же самое, что признают обыкновенные революционеры. Куда же девалась у Льва Николаевича знаменитая заповедь о непротивлении злу насилием?

Древний дух человечества, дух земли, мог бы сказать нашему отрицателю и всем революционерам, идущим вместе с ним: «А ведь я, власть ваша, либеральнее вас! Вы, господа анархисты, ополчаетесь на насилия правительства, а ведь сами вы куда более нетерпимые насильники! Вы требуете, чтобы правительство "воспользовалось властью" и силой отняло у людей их добро. Но если бы желала этого не кучка революционеров, а весь народ — кто мешал бы каждому собственнику и всем вместе отказаться от своей земли? Никакое правительство, никогда и нигде *не запрещает этого.* Не только у нас, но даже в Бухаре раздача имения бедным считается добродетелью». К добродетели нельзя принуждать народ. По существу, это акт свободной воли, и правительство, борясь с пороком, нигде не принуждает к добродетели. Если народ действительно хочет земельной реформы в толстовском вкусе, он может произвести эту реформу в одни сутки: пусть все собственники откажутся от земли. Как известно, случаи таких отказов необычайно редки. Уж на что сам Лев Николаевич проклинает частную земельную собственность, однако даже он не имел силы отказаться от нее. Вот что пишет в газетах по поводу юбилея ближайший друг Толстого В. Г. Чертков[2]: «Бедственное положение крестьян Ясной Поляны до того велико, что более половины населения не находит себе дела и выселяется в ближайшие города, на юг, в Москву. Деревня не растет, замерла. Я знаю Ясную Поляну скоро 25 лет, и за все это время как были в деревне семьдесят жалких домиков, так и до сих пор. Чуть кто подрастает в доме, его уже отправляют в извозчики в Тулу либо рабочим на завод. А девушки из-за куска хлеба идут самым печальным торным путем. Избы полуразваленные, с раскрытыми крышами, имеются еще и избы по-черному, то есть в печке нет трубы и весь дым идет из устья в хату и наполняет ее во время топки от потолка до полу; стены покрыты сажей пальца на

два. Люди обескровлены, с гноящимися глазами, страдают головными болями, простуживаются от врывающегося в открытые двери во время топки холода» и пр.

В. Г. Чертков описывает яснополянскую деревню с целью тронуть русских читателей и побудить их выкупить у семьи Л. Н. Толстого помещичью землю, чтобы подарить ее крестьянам. Спасти от хронической гибели ближайших к Л. Н. Толстому крестьян, наделить их помещичьей землей — это, по мнению В. Г. Черткова (одобренному великим писателем), было бы лучшим способом почтить последнего в день его 80-летия. В воззвании г-на Черткова поражает следующее. До какой степени инстинкт собственности живуч, что даже такой сострадательный и чуткий человек, как В. Г. Чертков, мог 25 лет наблюдать Ясную Поляну — и ему не пришло в голову при его громадном когда-то богатстве выкупить для крестьян эту землю. До чего инстинкт собственности могуч: сам Лев Толстой, человек великой души, был в состоянии целых 80 лет ежедневно наблюдать агонию своей деревни, всех этих обескровленных людей с гноящимися глазами, всех этих детей, выбрасываемых из родного дома, всех этих девушек, из-за куска хлеба идущих в проституцию, — он в силах был видеть это родное ему крестьянство, хиреющее без земли, сам владея именно той землею, которая яснополянским крестьянам нужна! Ни при наделе крестьян в 1861 году, ни впоследствии Л. Н. Толстой не подарил им земли, а подарил ее своим детям вместе с другими огромными имениями и капиталами. За право на одно лишь издание сочинений Маркс предлагал Толстому 200 000 рублей; стало быть, если бы для великого писателя было легко отказаться от собственности, он мог бы выкупить Ясную Поляну у своей семьи одним почерком пера. Но если уж ему, великому нравоучителю, это трудно, стало быть, чувство собственности не такой пустяк, чтобы взять его да и вычеркнуть. Это инстинкт, у одних слабее, у других крепче — но, во всяком случае, не такой, от которого народ мог бы отказаться по команде правительства.

Древняя власть, столь яростно атакуемая анархией, может одно напомнить последней: народ волен принять все утопии и осуществить все химеры, но лишь бы не делал при этом злодейств. Отказывайтесь от своей собственности, но не зарьтесь на чужую. Отказывайтесь от денег, но устраивайте обмен своего труда без преступлений. Правительство не обязывает никого иметь деньги. Отказывайтесь от брака — правительство не обязывает вступать в брак, оно лишь оберегает права жены и детей. Отказывайтесь, наконец, от услуг власти — правительство не обязывает пользоваться его услугами. Пожалуйста, не обращайтесь к полиции, к войскам, к судам,

к школам и пр. Если можете обойтись без них — чего же лучше! Но не мешайте ближним пользоваться теми порядками, которые для большинства вошли в плоть и кровь и сделались законами их природы. Для многих природа — вещь жестокая и нестерпимая, но «где был ты, когда Я полагал основания земли?» — мог бы сказать дух природы Толстому.

ИМПЕРАТОРСКАЯ СЦЕНА

12 октября

Неужели серьезно г-н Мейерхольд[1] укоренился на императорской сцене? Недавно я в первый раз видел г-на Мейерхольда на субботнике Литературно-художественного общества. Я просто каменел от изумления: неужели это-то и есть знаменитый г-н Мейерхольд, актер, о котором столько кричали — правда, еврейские газеты? Неужели талантливая когда-то г-жа Комиссаржевская именно этого тощего, рыжеватого, некрасивого господина с шапкой курчавых волос сделала избранником своего вкуса, своей полубезумной любви к театру? Правда, г-жа Комиссаржевская рассталась наконец с г-ном Мейерхольдом, убедившись, что он губит ее театр, как пришлось ей расстаться с г-ном Флексером (Аким Волынский), который тоже тщился что-то сделать умопомрачительное на ее сцене. Но каким образом забракованный даже второстепенной сценой незначительный еврей вдруг выскочил в режиссеры Императорского Александринского театра? Прямо чудеса творятся в нашем несчастном отечестве! В Петербурге говорят, что г-н Мейерхольд понравился всего лишь одной полковнице, и та сделала ему протекцию. Так неужели первый театр в России, наш национальный театр, в зависимости от вкуса какой-то штаб-офицерши, совершенно неизвестной отечеству?

Дело, конечно, вовсе не в том, что г-н Мейерхольд еврей. Будь это гениальный человек, он мог бы быть готтентотом, и с этим все примирились бы. Но г-н Мейерхольд всего лишь несколько растрепанный, взбудораженный, нервно взвинченный, притом вполне посредственный представитель иудейской расы. Гениальные люди большая редкость, но даже талантливый был бы находкой — однако тут талантом даже не пахнет. Сужу по той лекции, которую весьма развязно прочел нам г-н Мейерхольд о «театре исканий». Господи, какая это была чепуха!

Надо сказать, что субботники Литературно-художественного общества посещаются более или менее избранной публикой — писателями, художниками, театралами, людьми, знакомыми и с лучшей русской, и с европейской сценой. Иметь смелость выйти перед таким партнером с газетной статьей декадентского пошиба — одно это уже свидетельствует о бесталанности г-на Мейерхольда. Талант, когда не в ударе, молчит: он первый презирает свою случайную пустоту и страшится выносить ее на сцену. Не то — претензия, не то — подделка под талант. Подделка думает, что публика дура, не заметит подделки — стоит ошеломить ее какой-нибудь «Синей птицей», или сопоставлением Леонида Андреева с Гёте, или ловко закрученными фразами о новом, неведомом, небывалом, непостижимом искусстве «исканий».

Как актера я совершенно не знаю г-на Мейерхольда: кажется, никогда не видал его ни в одной пьесе. В этом отношении я должен довериться вкусу Ю. Д. Беляева[2]; а он на днях писал следующее: «Актер г-н Мейерхольд преплохой. Эта фигура, эти жесты, этот голос! "Стоит древесно, к стене примкнуто"...» Вот отзыв нашего лучшего театрального критика. Но если так, если г-н Мейерхольд даже актер преплохой, то скажите, какими же неисповедимыми судьбами этот бесталанный еврейчик попал не только в актеры, но даже в режиссеры императорской труппы?

«Как режиссер, — продолжает г-н Беляев, — он остался тем же, чем был у Комиссаржевской. Опять "стилизация", опять "статуарный" стиль и т. д. На казенной сцене видеть все это было неловко и... обидно. Ну как могут играть на Александринском театре актеры, подобные Мейерхольду? Ведь все это могло быть терпимо и занятно в прошлогоднем "балаганчике" на Офицерской, но в академии русской драмы немыслимо присутствие картонного паяца».

Приговор жестокий, не правда ли? И это приговор не профана в театральном деле. Далее Ю. Д. Беляев упоминает вскользь, что г-же Комиссаржевской пришлось «дезинфицировать» свой театр от «мейерхольдии». И вот эту «инфекцию», изгнанную из «балаганчика на Офицерской», гостеприимно приютила *императорская* сцена, театр Гоголя и Грибоедова! Как случилось это безобразие? Как вообще проникают пронырливые сыны Израиля в передний угол русской жизни — в литературу, в академию, в администрацию, до сенаторских и министерских постов включительно? Намек на это дает любопытный диалог, записанный г-ном Беляевым. «Директорская прихоть, — говорит он, — посадила этого сверхрежиссера наставником "образцовых" русских актеров. Прошлой весной директор Императорских театров спросил меня:

— Что вы думаете о Мейерхольде?

— Думаю, что ваша попытка интересна. Мейерхольд дошел до предела, или, выражаясь несколько тривиально, стукнулся лбом о стену. Дальше идти ему некуда. Он может оказаться полезным и, во всяком случае, свежим человеком.

— Я сам того же мнения, — сказал г-н Теляковский»[3].

Как вам нравится этот, может быть, решающий судьбу бездарного еврейчика разговор двух русских людей, серьезно заинтересованных в русской сцене? Эти русские люди убеждены, что декадентствующий г-н Мейерхольд дошел до чертиков, что «дальше ему идти некуда». Казалось бы, логический вывод тот, что г-ну Мейерхольду одно остается — уйти со сцены, со всякой сцены, даже с балаганчиковой, откуда его изгнали. Так было бы по европейской логике, берущей начало от Аристотеля. Но русская логика разрешилась чудесным решением: раз еврею идти некуда — пожалуйте на императорскую сцену. Раз он дошел до чертиков — стало быть, годится наставлять Давыдова[4], Варламова[5] и Савину[6]. Раз он «стукнулся лбом о стену» — стало быть, «может оказаться полезным и, во всяком случае, свежим человеком». На столь неожиданный вывод г-н Теляковский, кавалерист по профессии, ответил с великолепным глубокомыслием: «Я сам того же мнения». И затем, пропустив еврейчика на сцену, обоим русским людям, стоящим на страже русского театра, приходится ужасаться: и актер-то г-н Мейерхольд, оказывается, преплохой, и картонный-то он паяц, и древесно-то он, к стене примкнутое, и «инфекция», и режиссер невозможный. Но, спрашивается, о чем же вы раньше думали, господа славяне? Зачем же вы пропустили г-на Мейерхольда в театр? Вы ведь и раньше знали, что первая в России сцена, первая в славянстве (ибо все русское должно быть первым в славянстве), могла бы позволить себе роскошь обойтись без еврея, да притом завертевшегося «до предела» в попытках замаскировать свою бездарность...

Об *актере* г-не Мейерхольде я не даю своего мнения, но что он неумен — об этом он сам кричал в течение всей своей лекции. Он удивительно напомнил мне другого крайне претенциозного и бесталанного еврея, г-на Волынского, известного когда-то критика Л. Я. Гуревич, издававшей «Северный вестник». Совершенно та же у обоих напруженность тощей еврейской мысли, тот же задор, то же выкручивание будто бы глубоких, а в сущности, убогих эффектов, то же погружение в пучины декадентской философии и парение на верхах упадочничества вообще. Впечатление шарлатанства и банкротства, тщательно скрываемого от одурачиваемой публики. Казалось бы, как иметь успех вот таким инородцам, ни в какой степени

не Ротшильдам и не Рубинштейнам, а самым что ни на есть заурядным представителям юго-западных местечек? А между тем они имеют успех — и не только среди своего племени. Множество русских простаков протежируют этим господам — сажают их в красный угол, выводят в начальство, в критики и режиссеры, притом действительно крупных русских талантов... А уж один проскользнувший сын Иуды, будьте покойны, протащит за собой целый кагальчик обрезанных и выкрестившихся сородичей. Так глохнет русская жизнь, начиная с верхов ее. Так глохнут литература, наука, искусство, тронутое, как плесенью, нашествием постороннего русской жизни элемента...

Кочевой принцип

Слушая претенциозную лекцию г-на Мейерхольда и тщетно пытаясь найти хоть немножко смысла в ее напыщенной чепухе, я поглядывал на публику и думал: да, вот, казалось бы, и немудрящий еврейчик, а подите же — его слушает триста человек русской публики, притом сколько между ними больших известностей, людей в самом деле умных и талантливых. Далеко за полночь, и мы все, деловые люди, утомлены. Все мы ждем — чтобы освежить сердце — хоть нескольких минут искреннего и свежего таланта, который обещан программой, ждем очаровательного голоса, говорящего просто и правдиво то, что вечно, как вечна жизнь... И вместо того неумный еврей говорит, а умные россияне слушают, скрывая зевоту, да еще похлопают в конце лекции...

«Театр исканий» — кажется, такова была мысль почтенного лектора. Пусть, мол, доживают свой век старички, все эти Варламовы, Давыдовы, Савины; на них г-н Мейерхольд согласен махнуть своей снисходительной рукой. Пусть доигрывают, как умеют, но *новая* жизнь, *новое* искусство, *новые* таланты должны иметь свой *новый* театр, театр исканий, театр поисков все новых и новых откровений и озарений, незнаемых переживаний и т. д. и т. п.

Слушая все это, хотелось сказать г-ну Мейерхольду: судя по тому, с какой страстностью вы, евреи, вцепились в декаданс, в модернизм, в поиски нового, можно думать, что вы-то и есть настоящие авторы нынешней уродливой школы. Она недаром возникла во Франции, наиболее объевреенной стране Европы. Вы, номады, оторванные от территории, вечно кочующие среди народов, совершенно безотчетно внушаете нам кочевой образ духа. Вы постоянно чего-то ищете (чего? — добычи) и этой нервной, неутолимой

страстью начинаете заражать и оседлые, органически сложившиеся народы. Начинает и между нами входить в моду глупая теория, будто удовлетворение на земле невозможно, будто условие совершенства — недовольство. Отрицание ради отрицания — это кажется умным, между тем ведь это явный психоз, мания мозгов, тронутых разложением. Как кочующий «вечный жид», дух человеческий будто тогда выполняет свое назначение, когда всем достигнутым пренебрегает и стремится к тому, чего нет. «И ничего во всей природе благословить он не хотел» — это будто бы красиво и сильно; на самом деле это довольно глупый дьяволизм, которого настоящее имя — вырождение. В силу объявленного как закон душевного неравновесия новый стиль во всем хорош лишь на один момент — пока отрицает старый, а затем сам подлежит отрицанию во имя новейшего, самоновейшего и т. д. Непрерывное разрушение будто бы составляет эволюцию природы, достижение сверхформ, сверхсовершенства, сверхбытия.

На самом деле непрерывное разрушение есть просто скверный, болезненный инстинкт, сложившийся у племен, которые слишком долго задержались в стадии анархического быта. Некоторые арабские, сибирские, африканские племена, говорят, безусловно не способны к оседлому хозяйству; цыгане и в Америке остаются верными своей страсти — менять места. К таким же неспокойным племенам принадлежат евреи. Они со своей промышленностью, основанной на фальсификации, со своей торговлей, основанной на обмане, вносят постоянное разрушение во всякий общественный строй, и им кажется, что это разрушение есть миссия всего человеческого рода. Забавное заблуждение!

Эволюция, может быть, закон природы, но достигается она не так, как проповедуют декадентствующие евреи. Она достигается не разрушением настоящего, а постепенным упрочением его, проявлением из грубых форм в более тонкие. Как глыба мрамора постепенно превращается в болванку, которая становится все более и более похожей на фигуру человека, пока не принимает окончательной, богоподобной красоты, так вся жизнь, все искусство: оно эволюционирует, не разрушая своего содержания, а высвобождая его от излишнего. Но и в самой жизни, и в театре, как в живописи или скульптуре, есть предел, где следует остановиться: «Мгновенье, остановись! Прекрасно ты!» — как говорил Фауст. Идти далее этого предела значит не продолжать эволюцию, а разрушать ее. Психопатические «искания» все новых и новых форм, «мозговых спиралей», «стилизаций» и пр. показывают просто, что действительное совершенство — плод гениального прозрения — не по мозгам г-дам

Флексерам и Мейерхольдам. Они подпрыгивают до простоты природы и, чувствуя, что падают, хотят уверить публику, что поднимаются. Это совершенно в еврейском характере — выдавать низкое за высокое и наоборот.

Арийская психология, пока она не сбита с толку развязными кочевниками, совсем другая. Эллинский, германский, славянский эпос — полюбуйтесь, какое это величавое удовлетворение, какое упоение бытием! <...> Древним арийцам не было нужды вдаваться в вечные «искания»: что-то важное и нужное ими было навсегда найдено, как у Праксителя его фигура Киприды. Здоровая, крепкая, сильная, красивая порода людей чувствовала в самой себе достигнутую правду природы, и ощущение этой правды давало счастье. Остановившись на том, что естественно и казалось законченным, древние наши предки не отрицали жизни, не презирали настоящего, а, напротив, чувствовали к нему благоговейное восхищение. Блаженными и благостными казались боги (уже позднее, под восточными влияниями, образ их был искажен поэтами), священными казались предки, царственным — свое племя, идеальными — свои торжественные обряды, прекрасным казался мир, освещенный солнцем, и в этой радости уравновешенного бытия какие же могли быть «искания» и какая потребность в мозговых «спиралях»? Когда ариец находил что-либо нехорошим, он просто, без всяких исканий, бросал нехорошее и переходил к лучшему. Понятие же о лучшем возникало одновременно с понятием о нехорошем. Без наморщивания бровей, без прикладывания пальца ко лбу здоровые люди предоставляют процесс совершенства самой природе.

Кочевники не понимают, как иначе просуществовать, если не метаться по земной поверхности и не разыскивать свою добычу. Оседлые же народы веками воспитаны в уверенности, что они обеспечены самой природой. Их оберегает промысл — вечная земля, которая никуда не бежит из-под их ног и требует упорного труда над ней. Над ними вечное небо, которое тоже никуда не бежит и требует лишь приспособиться к его очень правильному обороту явлений. Оседлые народы единственно способны эволюционировать, потому что они благородно-консервативны. Они одни в состоянии накапливать в себе постоянство жизни вместо кочевой растраты ее. Они одни способны грубые стихии и силы формировать в определенные и законченные формы. Таков жизнерадостный и сильный дух арийцев, первых пахарей земли. Прочтите богатырские былины, вспомните Микулу Селяниновича — вот человек *русского* духа. Похож ли он хоть в малой степени на человека «исканий»? Уверяю вас, у него все, что нужно, было найдено. А вот теперешние наши просветители, г-да еврейчики, из всех сил стараются помочь нам *растратить* — не найти, а путем «исканий» именно размотать наше древнее наследие...

1909 год

ЕВРЕЙ О ЕВРЕЯХ

1 февраля

Юноша двадцати трех лет успел написать громадную по объему книгу, о которой говорят теперь во всем свете, — и затем покончил с собой. Не правда ли, какая драма! Юноша — еврей, Отто Вейнингер[1]. Книга его, чудовищная во всех отношениях, — «Пол и характер». Чудовищная она по величине, по страшному грузу знаний, в нее вложенных, по цинизму темы, по молниям правды и свинцовой туче предвзятости, которой она полна. Насквозь еврейская, эта книга тяжелая, смутная, нервная, трагическая и фальшивая. Никто никогда не высказывал такого бешеного презрения к женщине, такой злобы к очарованию женственности, такой гадливости к тому, что составляет тайну романа. Никто еще не привлекал в качестве палачей над «прекрасной половиной» человеческого рода столько книжного знания и столько молодого невежества. Женоненавистник Шопенгауэр — образец галантности в сравнении с юношей Вейнингером, так печально покончившим с собой. Что особенно трагично: юноша писал о предмете, не успев лично познакомиться с ним. Можно ли в двадцать лет пережить и перечувствовать всю природу женщины и крайне сложных отношений к ней? В книге незрелого еврейчика чувствуются следы полового психоза, крайней расстроенности, раздерганности воображения под гнетом, может быть, слишком раннего и слишком грубого опыта. Как бы оскорбленный в святыне нежных чувств, автор пламенно негодует и мстит природе, которая, однако, едва ли в чем повинна. Книга вышла, во всяком случае, замечательная. Автор сделал грустную рекламу ей, убив себя. В довершение всего за не совсем приличную по теме книгу ухватились юркие соотечественники автора, и она сделалась предметом издательской спекуляции. У нас около имени Отто Вейнингера сразу собралась кучка пишущих евреев: г-н Лихтенштадт перевел ее, г-н Файнштейн просмотрел в качестве доктора-венеролога, г-н Ашкинази читал корректуру (о чем тоже объявлено) и,

наконец, сам Аким Волынский (Флексер) «внимательно проредактировал» перевод, о чем с комическою важностью он предупреждает публику. Книге предшествует, как водится, пухлая и скучная статья самого великого Акима.

В целом книга Вейнингера не настолько интересна, чтобы говорить о ней. Научность ее отдает студенчеством, философия — половой психопатией. Любопытнее всего взгляд Вейнингера на евреев как на психологический тип. Здесь не лишенный таланта автор всего, конечно, сведущее. Он сам был еврей и, вероятно, всю свою недолгую жизнь достаточно вращался в еврейской среде. В национальном вопросе самочувствие и самосознание — показатель гораздо более важный, чем нахватанные из медицинских диссертаций гипотезы. Нет сомнения, что каждый еврей бесконечно заинтересован страшным до сумасшествия вопросом: что же такое еврейство? Если для христиан, просыпающихся в антисемитизме, это роковая проблема, как для чахоточного — запятые Коха, то и для самих этих запятых, для еврейства, внедрившегося в ткань народов и грызущего ее, их природа сплошная драма и в будущем — смертный приговор. С чахоточным ведь в гроб кладут и миллиарды запятых, остановивших жизнь.

Пестрота крови

Еврей Вейнингер считает еврейство низшим и крайне опасным человеческим типом. Еврейство, по его словам, антропологически родственно с неграми и монголами. Недаром еврейство родилось на пороге трех материков: белое, желтое и черное перемешано в их теле и душе до какой-то не совсем чистой смеси. «На негров указывают так часто встречающиеся у евреев вьющиеся волосы, на примесь монгольской крови — чисто китайская или малайская форма лицевой части черепа, которая часто встречается среди евреев и которой всегда соответствует желтоватый оттенок кожи». К этому монголовидному типу в еврействе, сказать кстати, принадлежит знаменитый Азеф. Вейнингер рассматривает еврейство как особый характер, полагая, что к нему могут принадлежать люди разных рас. Не ускользнуло от внимания автора, что «более выдающиеся люди среди арийцев были почти всегда антисемитами (Тацит, Паскаль, Вольтер, Гердер, Гёте, Кант, Жан Поль, Шопенгауэр, Грильпарцер, Вагнер и др.)». Это «объясняется тем, что они, как более содержательные, понимают еврейство лучше, чем другие люди». Однако самых жестоких антисемитов можно найти лишь среди евреев. Когда

в людях этой расы просыпается человеческое самосознание, оно вступает в непримиримую борьбу с еврейским самосознанием. Природа воскресшая неизбежно борется с искусственным уродством. «Антисемитизм еврея доказывает, что никто, знающий еврея, не ощущает его как предмет, достойный любви, — даже сам еврей». По оригинальному мнению Вейнингера, «всемирно-историческое значение еврейства состоит именно в том, что оно постоянно доводит арийца до сознания самого себя». «Благодаря еврею ариец знает, что ему надо беречься еврейства как некоторой возможности, заложенной в нем самом». Чахотка действительно напоминает человеку о драгоценности здоровья, о необходимости беречь себя. Подобно крестьянину, который часто идет в баню потому только, что его «вошь одолела», ариец вспоминает о своей независимости, лишь попав в иудейские лапы. Просыпающийся во всем свете антисемитизм есть просыпающийся страх за жизнь, чувство боли от накопившейся на теле паразитной дряни. Еврейство опасно тем, что принадлежит (в глазах Вейнингера) к низшему человеческому типу — к женскому. У евреев, как у женщин, нет влечения к серьезной собственности, например к земельному хозяйству. Евреи испортили арийский социализм. Мысль Оуэна, Карлейля, Рескина, Фихте подменена коммунизмом Маркса. Марксизм (в противоположность Родбертусу) совершенно чужд государственности. «Государство есть совокупность целей, которые могут быть осуществлены лишь соединением разумных существ. Но этот-то кантовский разум, по-видимому, и отсутствует у еврея...» Еврейского государства, по мнению Вейнингера, никогда не существовало и быть не может. Сионизм обречен на печальный неуспех. Еврейству единственно, что сродни, — это анархия и коммунизм. «Если еврей чужд государственности, то это одно уже указывает на то, что у него, как и у женщины, нет личности». «Как не существует в действительности достоинства женщин, — говорит Вейнингер, — так же мало мыслимо представление о еврейском "gentleman". Настоящему еврею недостает того внутреннего благородства, из которого вытекает достоинство собственного и уважение чужого "я". Не существует еврейского дворянства, и это тем замечательнее, что у евреев в течение тысячелетий действует интеллектуальный подбор...» «Несмотря на полную несоизмеримость еврея и аристократичности, он отличается чисто женской погоней за титулами. Ее можно поставить на одну доску лишь с его чванством, объектом которого может служить ложа в театре или медные картины в салоне... У еврея совершенно отсутствует гордость предками, не чуждая даже плебею-арийцу. Прошлое еврея на самом деле совсем не прошлое для него, а всегда только — его будущее».

Самоанафема

Вейнингер смеется над мыслью, будто дурные качества евреев привиты к ним гонениями. Уже в семье Авраама и Иакова обман и подделка сложились как хактерная черта этой расы. Еврей, что касается тяжких преступлений, менее преступен, чем арийцы, но он «аморален», он «никогда не бывает ни очень добрым, ни очень злым; по существу своему он ни то ни сё, но, скорее всего, он низок». У евреев нет идей ни ангела, ни дьявола, ни неба, ни ада. Отсюда отсутствие страха перед демоническим принципом.

Что безусловно чуждо как женщине, так и еврею, это — величие, величие в любом направлении. (Прошу читательниц не забывать, что все эти дерзкие мысли не мои, а цитируемого автора. Что касается взглядов на женщин, я далеко с ними не вполне согласен.) Но проследим дальше эту еврейскую самоанафему. «В еврее добро и зло еще не дифференцировались друг от друга». У евреев нет святых. Евреи живут не как свободные, державные, выбирающие между добродетелью и пороком индивидуальности, подобно арийцам. Это — «слитный пласмодий». В своей солидарности евреи защищают не личность, а все еврейство. Одна из органических особенностей еврея — сводничество. «Еврей всегда сладострастнее, похотливее, хотя обладает меньшей половой потентностью... Только евреи бывают бракопосредниками... Нет народа в мире, где так мало женились бы по любви, как у евреев, — лишнее доказательство бездушия всякого абсолютного еврея». У евреев — полное непонимание всякого аскетизма. Главная задача нравственного закона у евреев — «множиться», как у представителей низших органических существ. Еврей — разрушитель границ, прямая противоположность всего аристократического. Еврей — прирожденный коммунист и всегда хочет общности. Неуважение к определенным формам при сношениях с людьми (еврейская наглость), отсутствие общественного такта вытекают у него из того же источника. Еще задолго до разрушения Иерусалимского храма народ еврейский избрал диаспору как свой естественный образ жизни — расползающегося по всей земле, подавляющего всякую индивидуализацию корневища. Сионизм хочет осуществления чего-то нееврейского. Чтобы созреть для сионизма, евреи должны сначала преодолеть свое еврейство. Бессознательно каждый еврей ставит арийца выше себя. Единственное решение еврейского вопроса — индивидуальное высвобождение каждого еврея из его еврейского духа, из еврейского типа души. «В христианине заложены гордость и смирение, в еврее — заносчивость и низкопоклонство. Там — сознание и самоуничижение, здесь — высокомерие и раболепие.

С полным отсутствием смирения связано у еврея непонимание идеи милости. Из его рабской природы вытекает его гетерономная этика. Его Декалог, за послушное выполнение чужой воли обещающий благоденствие на земле и завоевание мира, — самый безнравственный из законодательных сводов всего мира. Отношение к Иегове, перед которым еврей ощущает страх раба, характеризует еврея как существо, нуждающееся в чужой власти над собою. О божественном в человеке, о том, что понимали под божественным Христос, Платон, Экгард и Павел, Гёте и Кант, — еврей ничего не знает». «Все, что в человеке есть божественного, — это его душа, но у абсолютного еврея нет души». Отсюда отсутствие у евреев веры в бессмертие. У них нет и настоящей мистики, кроме самого дикого суеверия и истолковательной магии (каббала). Еврейский монотеизм является скорее отрицанием истинной веры в Бога. «Одноименность еврейского и христианского Бога есть величайшее поругание последнего. Еврейский монотеизм — не религия чистого разума, а скорее суеверие старых баб — из грязного страха».

Раздутый философ

Еврей быстро превращается в материалиста и отрицателя. Чувство раба естественно сменяется дерзостью. Именно евреи в христианстве вносят материализм в духовную жизнь — в религию, философию, науку. Еврейство в музыке достаточно рассмотрено Вагнером. «Еврей не благоговеет перед тайнами, ибо он нигде не прозревает их. Его старания сводятся к тому, чтобы представить мир возможно более плоским и обыкновенным... чтобы убрать с дороги вещи, которые и в духовной сфере мешают свободному движению его локтей»; «Антифилософская наука в основе своей есть еврейская наука». Евреи потому склонны к материализму, что «их богопочитание не имеет ни малейшего родства с истинной религией. Ревностнее всего они накинулись на дарвинизм и на смехотворную теорию происхождения человека от обезьяны. Этим же влечением к материи объясняется то, что химия в значительной мере в руках евреев. Растворение в материю, потребность все растворить в ней предполагает отсутствие умопостигаемого "я" и, по существу, является потребностью еврейской». Отсюда же их приверженность к аллопатии в медицине. В еврейской науке и философии недостает элемента поэзии, столь свойственного арийцам. «Нецеломудренное хватание тех именно вещей, которые ариец в глубине души всегда ощущает как Провидение, появилось в естествознании лишь с ев-

реем. Отсутствием глубины объясняется, почему из среды еврейства не вышли истинно великие люди, почему еврейству отказано, как и женщине, в высшей гениальности». «Самый выдающийся еврей последних девятнадцати веков, обладающий гораздо большим значением, чем лишенный почти всякого величия поэт Гейне, — это Спиноза». Но и он, по мнению Вейнингера, до чрезвычайности раздут: «Чрезмерная переоценка его объясняется тем случайным обстоятельством, что это был единственный мыслитель, которого более внимательно читал Гёте». «Для самого Спинозы не было никаких проблем: в этом и виден настоящий еврей. Систему Спинозы ни в каком отношении нельзя назвать философией мощного человека: это затворничество несчастливца, который ищет идиллию и, однако, на деле к ней не способен, как человек, абсолютно лишенный юмора». Евреизм Спинозы сказывается в непонимании идеи государства, в приверженности к теории Гоббса («война всех против всех»). Что гораздо больше свидетельствует о низком уровне его философских взглядов — это его полное непонимание свободы воли: еврей всегда раб и, стало быть, детерминист. Нет более глубокой противоположности, как между Спинозой и его несравненно более значительным и универсальным современником — Лейбницем.

Чтобы покончить с единственно выдавшимся за девятнадцать веков евреем-философом, Вейнингер категорически утверждает, что «гением Спиноза не был». В истории философии «нет другого столь бедного мыслями и столь лишенного фантазии философа... Отношение Спинозы к природе было необыкновенно пустым». В течение всей жизни он никогда не столкнулся с искусством.

Нельзя не согласиться с этой характеристикой действительно вне всякой меры раздутого еврейского философа. А как, сказать кстати, с ним носились у нас в еврейских кружках еще недавно! Как усердно переводили и с какой помпой издавали г-да Волынские и Гуревичи «своего собственного» великого человека! Чтобы приподнять хоть еще на вершок сомнительное величие, с наивной гордостью выписывали, например, что это был не просто Спиноза, а «де Спиноза»...

Я далеко не окончил характеристики еврейства по Вейнингеру, прошу позволения к этому вернуться. К сожалению, несколько сумбурный и многословный язык Вейнингера затрудняет мысль его, часто очень верную и всегда искреннюю. Если она дает впечатление фальши, то как всякая предвзятость. Я вовсе не рекомендую названной еврейской книги — она не из тех, что изысканному читателю дают радость мысли. В литературном отношении это плохая книга, но в ней затронуты такие темные и нервные вопросы и

корни духа прослежены в таких тайных извивах, что здоровая голова не потерпит, конечно, ущерба, пропустив через себя этот идейный хаос. Возвращаюсь к автору, которого невольно жаль.

Вот поистине человек трагический в наш, по-видимому, столь плоский век. Неизвестно, отчего он сгубил себя, но весьма возможно, от отчаяния в том, что он — еврей. Неабсолютному еврею, а может быть, с арийской примесью проснуться в величественном арийском гуманизме и ощутить в самом существе своем, в крови, в нервах нечто глубоко себе противное, от чего хочется отречься навеки, — в самом деле, можно пустить себе пулю в лоб! В смерти еврейского юноши Вейнингера, перед своим гробом проклявшего еврейство, намечается мрачное будущее этого племени. Войдя в ткани арийских обществ, евреи безотчетно грызут и губят их. Но если они не успеют умертвить питающую их среду, если когда-нибудь примут искренно арийский дух, то погибнут сами — от моральной пытки, от самоанафемы.

I

1 марта

Позвольте докончить характеристику еврейской расы, сделанную евреем Отто Вейнингером. Из всех арийцев по характеру всего ближе евреи к англичанам, но «еврей лишен социальных задатков», тогда как англичанин обладает ими в высокой степени. Еврей «безгранично изменяем». «Большой талант евреев к журнализму (Вейнингер мог бы прибавить: к скандальному и бесчестному журнализму, ибо что касается честной и порядочной печати, в ней евреи совсем бездарны и неизменно проваливают свои издания), подвижность еврейского духа, отсутствие природного самобытного умственного склада — разве это не дает возможности высказать о евреях следующее: они ничто и именно потому могут стать всем? Еврей — индивидуум, но не индивидуальность. Весь обращенный к низшей жизни, он не ощущает потребности бессмертия. Он непричастен высшей, вечной жизни. В еврее прежде всего заключается известная агрессивность. Самодеятельно он приспособляется к каждой обстановке и к каждой расе, подобно паразиту, который на каждом теле, на котором он живет, становится другим и так изменяется наружно, что его можно принять за новое животное, тогда как он остался тем же». Активность евреев Вейнингер не отрицает, но «у них активность совсем особого рода, не та, которою отличается самотворческая свобода высшей жизни».

«Глубже всего познается еврейская сущность в иррелигиозности еврея. Еврей есть ничто в глубочайшей своей основе именно потому, что он не верит ни во что». Не правда ли, как это далеко от ходячего представления о евреях как религиозном народе? Вейнингер утверждает, что «еврей совсем не верит, не верит в свою веру, сомневается в своем сомнении... Он никогда не относится к себе серьезно, поэтому у него нет серьезного отношения и к другим людям. Внутренно очень удобно быть евреем, и за это удобство приходится платить некоторыми внешними неудобствами. Как символично в еврее отсутствие всякой почвенности, его глубокое непонимание землевладения и то предпочтение, которое он отдает движимой собственности. С этим же у него связано и отсутствие глубокого ощущения природы. Еврей никогда на деле не считает что-либо настоящим и нерушимым, священным и неприкосновенным. Он везде фриволен, надо всем он острит. Ни одному христианину он не верит в его христианство, и уж конечно никогда не поверит он в искренность крещения еврея».

К слову сказать, этим и объясняется то, что евреи относятся к выкрестам как к своим людям, продолжая их поддерживать и пользуясь взаимной поддержкой. Выкресты — авангард еврейства, только переодетый для более удобного проникновения в христианство.

«Еврей не реалистичен, — продолжает Вейнингер, — его нельзя назвать настоящим эмпириком. Еврей не верит в знание, но в то же время он и не скептик, ибо так же мало убежден в истинности скептицизма». Многие христиане питают к еврейству суеверное уважение, как к колыбели своей религии. Но проницательные знатоки еврейства давно подметили, что у евреев нет и никогда не было настоящей веры. «Еврей, — говорит Вейнингер, — неблагочестивый человек в самом широком смысле. Еврей не мечтателен, но, в сущности, и не трезв, не экстатичен, но и не сух. Если он не способен ни к низшему, ни к высшему духовному опьянению, если для него столь же чужд алкоголизм, сколь недоступен всякий высший восторг, то это еще не значит, что он холоден, что он достиг спокойствия. От теплоты его несет пóтом, а холод его дает туман. Его самоограничение становится всегда худосочием, его полнота — одутловатостью. Даже отважившись на полет в безграничное воодушевление чувства, он никогда не поднимается выше патетического. Хотя его не влечет желание поцеловать весь мир, он все же остается навязчивым по отношению к этому миру. Еврей ощущает свое неверие как свое превосходство над другими. У еврея нет никакого рвения к вере, и потому еврейская религия — единственная, не вербующая прозелитов. Человек, перешедший в иудейство, является для самих евреев величайшей загадкой и вызывает недоумевающий смех».

Евреи, прибавил бы я к этому, уважают не веру свою, а прикрываемую верой породу. Обратно другим народам, распространяющим свой культ, евреи оберегают его от проникновения чужой крови. Евреи выдают дочерей за христиан, но почти никогда не женятся на христианках. Им выгоднее, чтобы окружающие их народы были не евреями, а лишь объевреенными духовно, и этого им удается достигать иногда блистательно. Психология некоторых христианских партий (например, у нас — кадетской) вполне еврейская.

Молитва еврея, говорит Вейнингер, «формальна, лишена внутреннего пламени». Еврейская религия — историческая традиция, в центре которой стоит переход через Красное море, завершается в благодарности убегающего труса мощному избавителю. Еврей — ирреligиозный человек, далекий, насколько это возможно, от всякой веры. Всякая вера героична, еврей же не знает ни мужества, ни страха — этих чувств угрожаемой веры. О, если бы еврей был хоть честным материалистом, хоть ограниченным поклонником идеи развития! Но он не критик, а лишь критикан. Он не скептик типа Декарта, он человек абсолютной иронии — типа Гейне. Преступник также не благочестив и не держится Бога, но он и падает при этом в бездну, ибо не может стоять рядом с Богом. Ухитриться сделать и это — вот удивительная уловка еврейства. Поэтому преступник всегда полон отчаяния, еврей — никогда. Он совсем не настоящий революционер, ибо откуда он взял бы силу и внутренний размах восстания? Он только разъедает и никогда в действительности ничего не разрушает. Психическое содержание еврея отличается двойственностью или множественностью. У него всегда есть еще одна возможность, еще много возможностей там, где ариец необходимо решается на что-нибудь одно. Эта внутренняя многозначность, эта бедность в том «бытии в себе и для себя», из которого только и может вытекать высшая творческая сила, определяет еврейство. Ни с чем еврей не может воистину отождествить себя, ни в одну вещь не может вложить всю свою жизнь... Так как он не являет собой никакого утверждения, то кажется сметливее, чем ариец. Еврей эластично увертывается от всякого гнета. Простота есть качество абсолютно не еврейское. Еврей не поет. Не из стыдливости не поет он, а потому, что он не верит своему пению. Непосредственного бытия он не понимает, и стоило бы ему запеть, как он почувствовал бы себя смешным и скомпрометированным. Может быть, поэтому, прибавлю я, существует множество еврейских певцов и певиц по ремеслу и почти совсем нет между ними великих певцов.

Нельзя сказать, чтобы характеристика евреев Вейнингером была яркой, но он и сам чувствует, «как трудно определить еврейство. У

еврея нет твердости, но также и нежности — скорее он жесток и мягок. Он не отесан, не тонок, не груб, не вежлив. Он не царь и не вождь, но и не ленник, не вассал. Что незнакомо ему совсем — это способность переживать потрясения, но так же мало присуще ему и равнодушие. Ничто для него не самоочевидно, но так же чуждо ему и истинное изумление. Он смешон, как студент-корпорант, но из него не выходит и хороший филистер. Он не меланхоличен, не легкомыслен от всего сердца». Именно всего-то сердца у еврея и нет, а как бы обрезанное со всех сторон. «Не веря ни во что, он поэтому и бежит в царство материального. Только отсюда и вытекает его жадность к деньгам. И все же он даже и не настоящий делец. Все "нереальное", "несолидное" в поведении еврейского торговца есть проявление еврейского существа, лишенного всякой внутренней тождественности». Это как бы состояние добытия, отсутствие какой-либо убежденности и неспособность к какой бы то ни было любви и жертве. Эротика еврея сентиментальная, юмор его — сатира. Усмешка, которая характеризует еврейское лицо, — то неопределенное выражение лица, которое выдает готовность на все согласиться и предполагает отсутствие уважения человека к самому себе.

II

«То, — продолжает Вейнингер, — что на веки вечные останется недоступным настоящему еврею: непосредственность, милость Божья, глас трубный, мотив Зигфрида, самотворчество, ощущение: я есмь. Еврей поистине является "пасынком Божиим" на земле: на деле не существует ни одного еврея-мужчины, который, хотя бы и смутно, не болел бы своим еврейством, то есть в глубочайшей своей основе — своим неверием». Вопреки мнению, будто христианство есть продолжение еврейства, Вейнингер видит в них «величайшую, неизмеримую противоположность. Христианство есть высший героизм, еврей же никогда не бывает единым и цельным. Поэтому он — трус. Герой — его крайняя противоположность. Христос преодолел в себе сильнейшее отрицание — еврейство — и тем самым создал сильнейшее утверждение — христианство как самую крайнюю противоположность еврейству. С появлением Христа из еврейства исчезает возможность величия: людей, как Самсон и Иашуа, самых нееврейских людей в старом Израиле, еврейство уже не могло с тех пор произвести. Христианство и еврейство всемирно-исторически обусловливают друг друга как утверждение и отрицание. Одна возможность — Христос, другая возможность — еврей. Хрис-

тианство есть абсолютное отрицание еврейства. Ничего нет легче, как быть евреем, ничего нет труднее, чем быть христианином. Еврейство есть та бездна, над которой возведено христианство, — вот почему еврей и является самым сильным страхом и самым глубоким отвращением арийца». Вопреки Чемберлену[2], утверждающему, что Христос был не еврей, а ариец, Вейнингер думает, что Христос именно потому должен был быть евреем, чтобы преодолеть в Себе самое низкое состояние человеческой природы. «Еврейство, — говорит Вейнингер, — было личным наследственным грехом Христа; Его победа над еврейством есть то, чем Он возвысится над Буддой, Конфуцием и всеми остальными. Христос — величайший человек, ибо Он сразился с величайшим противником. Быть может, Он единственный еврей, Которому удалось одержать победу над еврейством: первый еврей был и последним, ставшим в полном смысле этого слова христианином». Согласно этой мысли, ближайший основатель новой религии должен опять-таки пройти сначала через еврейство, ибо оно именно есть то, что люди должны победить в себе и от чего отречься. Смысл мессианизма именно в этом. «Избавитель еврейства — это избавитель от еврейства... Существование еврейства метафизически не имеет иного смысла, кроме одного: служить подножием для основателя религии».

Я извлек почти все существенное из статьи Вейнингера. Несчастный автор, застрелившийся, написав свой отзыв, может быть, сам вел эту страшную борьбу в себе, то есть, чувствуя в себе еврея, преодолевал его. Может быть, неуспех в борьбе, посильной, по его словам, только для Христа, и повел к печальной развязке. Статью Вейнингера о евреях следует понимать как предсмертную исповедь, касающуюся самого глубокого, самого тайного и незамолимого греха.

Мы, арийцы, какой бы страх и отвращение ни чувствовали перед паразитным племенем, все-таки не можем внутренно понять его так, как может сам еврей. И вот это понимание, вынесенное наружу, оказывается ужасным. Оно несравненно неблагоприятнее для еврейства, чем все, что думают о евреях самые крайние антисемиты. Еврейская печать вопит как ужаленная каждый раз, когда в независимой русской печати раздаются предостережения против опасной расы. Нас обвиняют в «человеконенавистничестве», когда мы осмеливаемся сказать о евреях немножко правды. Но в еврее антисемиты ненавидят вовсе не человека, а именно еврея, и ненавидят именно за то, что он *недостаточно человек*. Только то человеческое, что есть в еврее, и позволяет терпеть его, но нехватка этой человечности внушает в высшей степени справедливый страх. Ев-

рей, по исповеди самих евреев вроде Вейнингера, неполный человеческий тип, недоразвившийся или остановившийся в своем развитии, сбившись в сторону паразитизма. В области вырождения и человеческих рас встречаются те же явления, что в мире животных. Возьмите собаку и гиену. Может быть, потому и существует с незапамятных времен отвращение собак к диким представителям своей же породы, что недоразвившийся, низший тип действительно опасен для высшего. Помимо соперничества за добычу смешение с низшей расой роняет совершенство высшей, растрачивает многовековые драгоценные приобретения ее типа. Еврей опасен для арийца не только тем, что в качестве паразита присасывается к жизненным источникам и вытягивает его соки. Правда, одно уже это угрожает худосочием и истощением, но еще тягостнее то, что, входя в арийское общество, еврей несет с собой низшую человечность, не вполне человеческую душу. Все то высокое, чем гордится христианская цивилизация, — гениальность, героизм, религиозное вдохновение, честь и совесть — все это портится примесью низших еврейских качеств, как если к дорогому вину подлить дешевого. Евреи фальсифицируют не только товары и продукты, они фальсифицируют самое общество христианское, постепенно заменяя его поддельным. Гениальность подменяется шарлатанством, героизм — идеями всепрощения и равноправия, религиозный восторг — скептической усмешечкой, честь и совесть — толкованиями свободы, которая будто бы разрешает все. Захватив вследствие преступной слабости христианских правительств нервные центры общества — печать, кафедру, судейскую трибуну, сцену, евреи ведут широчайшую пропаганду своей пониженной человечности и погружают арийское общество в опасный гипноз. Если вы спросите, как это люди низшей расы могут захватить все центральные места среди высшей, я не стану ссылаться на мышей или саранчу: бесконечно низшие, чем саранча, организмы напали, например, на Петербург, и вот каждый день в течение многих месяцев возят на кладбище покойников. Совершенство племени, как тонкость художественного произведения, не обеспечивает жизни, а скорее наоборот. Нашествие евреев на христианский мир именно потому дает им шансы на победу, что они — низший тип, который выживает там, где более высокий существовать не может. Собака — благородное животное и действительно друг человека, но дайте ей «полноправие» в своей квартире — она довольно быстро уронит ваши условия жизни до своих. Вам придется бежать из квартиры в то время, когда «друг человека» будет чувствовать себя недурно. Посейте вместе с пшеницей сорные травы. Не пшеница заглушит их, а наоборот. Во-

преки решительно всем народам на земле, которые все имеют черту оседлости — государственную и этнографическую границу, евреи одни не хотят признавать черту оседлости. Они одни хотят безвозбранно кочевать по земному шару, не имея определенной территории. Они одни, признавая себя строжайшей из национальностей, притязают на право жить среди других племен и захватывать их жизненные средства. Если бы еще евреи были высшей расой, то можно бы надеяться, что опасность еврейства исчезнет вместе с растворением их в арийском море. Но так как это раса низшая (по уверению не одного Вейнингера, а многих мыслителей), то желать еврейского растворения не приходится. Напротив, самое искреннее и честное слияние евреев с индогерманцами представляет страшнейшую из угроз. Вместе с паразитной кровью своей евреи внесут разрушение в самый тип арийца, понизят те его благородные свойства, которыми он возвысился среди народов. Примесь еврейской крови уже вела к гибели не один народ. Китай еще существует, Япония — благоденствует, а современники их — Вавилон, Персия, Египет давно исчезли, то есть исчезли именно те страны, где евреи в плену и путем эмиграции жили веками, размножаясь до того, что наводили страх на царей. «Евреи рассеяния» заразили собой все пространство Римской империи. Христиане первых веков были евреи — и Рим пал. Внедрившись в Испанию в одном конце Европы и в Казарское царство — в другом, евреи подготовили падение обеих стран, как впоследствии подготовили падение приютившей их Польши. Могучим инстинктом самосохранения западные народы в средние века сбросили с себя еврейского паразита. Евреи отовсюду были изгнаны. Может быть, потому только Европа и ожила. Лишь с изгнанием евреев начала слагаться национальная жизнь и подъем энергии.

Именно нас, Россию, Бог наказал участью принять в свое тело большинство паразитной расы. Пока мы были свободны от нее, Россия росла и крепла. Всего несколько десятилетий «еврейского вопроса» — и поглядите, как линия нашей судьбы быстро пошла книзу! «Жиды погубят Россию», — говорил в страшном ясновидении Достоевский. Исповедь еврея о евреях дает повод русским людям отрешиться хоть на несколько минут от гибельного легкомыслия. Тут есть, господа, над чем подумать — и серьезно!

ПУБЛИЦИСТИКА КАК ИСКУССТВО

15 февраля

Группа журналистов обсуждала на днях вопрос, как почтить 50-летие деятельности одного знаменитого публициста. Мы живем в отвратительное время, когда ничего выдумать нельзя, даже пороха, ни открыть Америки, хотя бы самой маленькой. Все давно за нас сделано мертвецами, и мы рабски повторяем жизнь мертвых. Что же, решили поднести адрес, устроить почетный спектакль, банкет, капитал «имени» такого-то для выдачи премий за выдающиеся литературные произведения...

На последнем пункте я резко разошелся с коллегами. Допустим, что почтенный юбиляр — не только публицист, но еще беллетрист и драматург, но нам, журналистам, не резон выдавать премию его имени драматургам или беллетристам. Наша премия должна выдаваться *только* публицистам, из начинающих талантов, среди которых так много бедняков. Что, собственно, нам за дело до беллетристов и драматургов? Пусть они собирают, если им угодно, свои особые капиталы и особые премии, если хотят почтить NN как *своего* товарища. Мы же в его лице чувствуем и чествуем *своего* собрата, то есть публициста *прежде всего*. Что же нам укреплять память о NN среди писателей совсем другой отрасли литературного искусства, а не нашего? Я совершенно уверен, что, сложись иначе судьба, таланта NN хватило бы, чтобы сделаться большим человеком в любой области. Вместе с наиболее выдающимися сверстниками в свои 74 года NN мог бы быть известнейшим генералом, знаменитым министром, романистом, ученым, чем хотите. Совершенно согласен со взглядом Карлейля, что талантливый человек более или менее способен ко всему: он так и называет его — Ableman. Некоторые речи Наполеона, говорит Карлейль, гремели, как аустерлицкие пушки. Талант его — отважное, героическое сознание, и, куда бы оно ни было направлено, оно — как выстрел из дальнобойного орудия — во все стороны хватает далеко. Наш юбиляр, заслоняя сам себя и мешая сам себе своими разнообразными способностями, сумел дать несколько талантливых пьес, несколько рассказов и один роман, имевший значительный успех. Но ведь знаменитость свою он приобрел как публицист, и главная его деятельность, бесспорно, эта, а не какая иная. С какой же стати нам, публицистам,

впадать в данном случае в ложную скромность и не замечать, что это «на нашей улице праздник», а не на чьей иной? С какой стати нам, газетным писателям, сооружать памятник NN — ибо премия есть литературный памятник — как деятелю не нашей профессии?

Беллетристика и драматургия существуют несколько тысяч лет. Но публицистика возникла ранее, если первыми деятелями этой профессии считать пророков и трибунов народных. Ораторские их речи, записанные на скрижалях и папирусах, древнее трагедий и гомеровских эпопей. Еще древнее завещания предков, положившие начало человеческому законодательству и цивилизации. А ведь старинные завещания — чистейшая публицистика. Религиозные «откровения» среди громов, на вершинах Олимпа, Синая и Арарата по стилю и форме чистая публицистика, как и та прелестная дидактика, которою наполнены бесчисленные буддийские сутты, из рода в род заучиваемые цейлонскими монахами. Несмотря на свое первенство в истории литературы, публицистика в течение долгих тысячелетий уступала место поэзии и сцене, но кто хоть немножко знакомился с древней поэзией и сценой, знает, до какой степени они были публицистичны. Монолог составляет украшение великих драм — от Эсхила до Шекспира. Выкиньте душу публицистики — рассуждение, — много ли останется от Данте или Байрона? Вообще, выкиньте из слова мысль — что останется от словесности? Тем не менее публицистика как таковая почти не признавалась словесностью и до сих пор многие ее не включают в литературу. До сравнительно недавнего времени «литеры» обыкновенно собирались в объемистых книгах, и уже это внешнее условие — иметь дело с сочинением — налагало отпечаток сочиненности на живую человеческую мысль. Книга создала книжность. Это особое умственное состояние, родственное, как известно, с фарисейством и лицемерием. «Горе вам, книжники!» — сказал Христос; сказал если не самим литераторам, то людям, слишком погруженным в литературу. Все десятистолетнее средневековье находилось под гнетом книжности. Что такое схоластика, как не идолопоклонство перед книгой? И хотя бы в числе идолов был такой гений, как Аристотель, но мысль человеческая, *остановившаяся* хотя бы в гениальном выражении, теряет нечто самое драгоценное, то самое, что отличает ручеек от ледяной глыбы, — текучесть. Именно в текучести, в движении вся прелесть жизни и живой мысли. Только новой истории принадлежит честь создания живой, текучей литературы... должен ли я досказать ее имя?

Газетность имеет, конечно, свои ужасные недостатки, как и *книжность*. Я хочу здесь отметить, что газетность имеет, подобно книжности, свои благородные преимущества, свои преимущества

над книгой. Эти преимущества не всем приметны. Множество упорных читателей газет, вроде Л. Н. Толстого, упорно бранят газеты, дают даже клятву не читать газет и постоянно нарушают эту клятву. Следует заметить, что тем же, как и газеты, порицаниям подвергались во времена оны и книги. Большая часть человеческой письменности заслуживает отвращения. Писанные толпой, газеты и книги обыкновенно несут в себе утомительный шум толпы, где членораздельная, то есть кристаллизованная, речь как бы снова перемалывается в бесформенную стихию. Даже великие книги подвергались глумлению. Даже поэзия, язык богов!

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

Помните гневное негодование пушкинского Поэта? Стало быть, не одним журналистам приходится в ответ на голос сердца слышать порицание черни. Впрочем, к публицистам толпа ближе и потому великодушнее, чем к поэзии:

Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэтов мало слушают — и венчают славой, публицистов поругивают, но усердно читают. Газеты читают преимущественно перед книгами, оценивая сладость живой, сейчас рождающейся мысли, бьющей как бы из недр самого общества. Пусть те же идеи были выражены тысячелетия назад с гораздо большим блеском, но, подобно минеральной воде, мысль всего целебнее у ее источника, наэлектризованная землей. Публицистика именно тем дорога публике, что она — живой ее собственный голос, выраженный литературно. Это как бы душа публики, положенная на литературу, как стихи кладут на музыку. «Неужели скучная газетная труха — литература?» — воскликнет читатель, воспитанный на «образцах». Нет, отвечу я, скучная труха, конечно, не есть литература. Но ведь речь идет не о скучной трухе. В публицистике к искусству относится лишь то, что имеет печать таланта. Разве нет бездарных беллетрис-

тов, драматургов, музыкантов, живописцев? Позвольте же быть бездарными и некоторым публицистам, даже большинству их. Такова воля природы: хорошенького понемножку. Бездарная публицистика, повторяю, не есть литература, но в нашей профессии мы имеем своих великих людей. Есть отмеченные ореолом не только таланта, но и бесспорной гениальности. Укажу на лучшие диалоги Платона. Их считают философией, но, в сущности, это гениальная публицистика. То же — несравненные «Письма к Луцилию» Сенеки. Они писаны не для газет, но, может быть, по единственной причине, что тогда газет не было. А знаменитые «Опыты» Монтеня[1] — книга, которую Байрон считал своим лучшим чтением! Разве это не гениальная публицистика, несмотря на чрезмерную засоренность классическими цитатами? А «Характеры» Лабрюйера[2]? А «Персидские письма» Монтескье? В наше время удивительный Тэн, с таким глубоким прозрением раскрывший смысл XVIII века, — разве он не более публицист, чем историк? Или Гейне и наш Некрасов не более фельетонисты, чем поэты? Что касается России, она имеет свою великую школу публицистики. Достаточно назвать Белинского и Герцена, с одной стороны, и старых славянофилов — с другой. Я несколько отрицательно отношусь к нигилистической плеяде 1860-х годов, но некоторые (немногие) статьи Добролюбова и особенно блистательный Писарев, несмотря на юношеский бред их мысли, — разве они не оставили классических в своем роде образцов русской речи?

Артисты слова

Перо публициста тысячу раз сравнивали с рыцарским мечом, с ножом разбойника, со скальпелем хирурга и с тому подобными острыми и колкими орудиями. Перо беллетриста сравнивают иногда с кистью живописца, то есть с предметом мягким. Я сравнил бы перо талантливого писателя с копьем Ахиллеса, обладавшим волшебным качеством — исцелять те раны, какие оно наносило. Все эти и многие другие сравнения подразумевают силу одновременно губительную и добрую. Публицист такого размера, каков, например, наш уважаемый юбиляр, — большая величина в современном обществе. Влиятельная газета — современный форум, и на нем, как некогда, звучит побеждающий голос оратора и трибуна. Вспомните, какую власть имели древние диктаторы мнений. Дело в том, что толпа по натуре своей всегда безгласна. Огромное большинство людей косноязычно и косномысленно. Чувствуют иногда много и горячо, а выразить никак не могут. Отпечаток их мысли на бумаге

выходит неузнаваемо бледный и искаженный. Но вот является артист слова, который этой же самой толпе расскажет ее собственные мечты и чувства... Толпа приходит в восторг, она ощущает неизъяснимую благодарность волшебнику, который точно вспрыснул ее живой водой, позволил пережить то, что без его помощи было невозможно. Искусство вообще есть продолжение человеческой души, ее усовершенствованный орган. Глазами великого живописца мы замечаем то, что в состоянии заметить только великая душа. Слухом одаренного музыканта мы слышим в своей душе как бы нездешние звуки. Вдохновением и вкусом публициста — если он артист слова — толпа постигает смысл времени, какой самому читателю не всегда постижим и ясен.

Публицист, если он талантлив, на протяжении полувека совершает огромную и благодетельную работу. Он будит, возбуждает, вдохновляет, тормошит, он не дает спать обществу, он поднимает жизненный тон. Во всякой семье, во всяком кружке есть люди, которых зовут душою общества. Одно появление их точно разгоняет сумерки и прибавляет в комнате кислороду. Все делаются живее и веселее. Таким является талантливый публицист. Как Меркурий на Олимпе, он ни в малейшей степени не педант, не доктринер, не резонер — он просто талантливый разговорщик, человек, умеющий быть умным и интересным. Вовсе нет нужды, чтобы он был шут, — шутовство надоедает и порядочных людей в наш век отталкивает. Но большой публицист должен быть оригинален и остроумен. Он должен превосходить публику пониманием и вкусом, он непременно должен быть поэтом и философом, ибо чего же стоит душа, чего стоит жизнь без философии и поэзии?

Бог их знает, куда девались музы в наш фабричный век. Они попрятались по музеям, библиотекам, художественным и научным складам. Публицистика — *десятая муза* и единственная, которая не прячется. Она каждое утро входит к нам запросто, пьет с вами кофе и беседует оживленно о том, что делается на свете. Делегатка своих старших сестер, она должна говорить языком богов, то есть превосходным языком народа, пока он не испорчен книжностью. Делегатка искусств и знаний, публицистика не может быть чужда им: как на младшей сестре, тут иногда надеты лучшие драгоценности старших. В самом деле, разве нынешней публике, рабочей и утомленной, есть время копаться в ученых или художественных источниках? И если бы нашлось время, то разве у всякого обывателя есть душа музы — талант, чтобы увидеть то, что заслуживает чести быть усмотренным? Талантливые собратья публициста — ученые и художники — собирают разум своих познаний, но, пожалуй, только

публицисту доступно свести их разнообразные откровения в общепонятный синтез. Дробление знаний давно разбило бы общество в хаос, если бы не объединяющая, синтетическая работа публицистов. Все специальности центробежны, публицистика, подобно философии, центростремительна. На Западе скучно-деловая публицистика перерождается в серьезный фельетон, и такой фельетон причисляется там к отделу изящной словесности. Прочтите маленькие руководящие статьи французских газет — иногда это образчики отменной изящной речи. Прочтите английские корреспонденции г-на Диллона. Это не только блестящий, но прямо художественный талант. Черная зависть не позволяет мне назвать некоторых русских публицистов, известных и не известных читателям «Нового времени». Между ними есть настоящие стилисты и артисты слова.

Тот знаменитый старец, которого мы собираемся довольно неуклюже чествовать, оказал огромные услуги русской публицистике. Пролить море чернил, конечно, не Бог весть какой подвиг, но если в каждую каплю чернил не забыть вложить немножко горячей крови и нервной, бьющей из богатого мозга силы — то море чернил обращается в некое непрерывное орошение родины чем-то жизненным и животворным, вроде нильского наводнения. За пятьдесят лет яркой и одушевленной работы в сознание русского общества со стороны старца внесено столько ясности, столько доброты, ума и юмора, столько хороших, возбудительных волнений, что мы, ближайшие товарищи его, можем с гордостью сказать: да, он кое-что сделал, наш старик. Отечество может быть благодарным или неблагодарным (это вопрос его культурного развития), но мы, писатели того же призвания, не можем не видеть большого таланта и не оценить его. Пятьдесят лет столь яркой работы — в русской публицистике это совсем редкость.

Возвращаюсь к теме. Соберем капитал, устроим премию — прекрасно. Но какой же смысл нам уступать эту премию для поощрения другого искусства, а не нашего собственного? Как месье Журден, мы, кажется, не догадываемся, что мы сами говорим изящной прозой, что мы сами — писатели, что наша отрасль литературы сама нуждается в тщательной школе и во всевозможных содействиях таланту. Лет сто-двести тому назад общество могло заниматься исключительно мадригалами да буколическими романами. Теперь, в XX веке, не то общество и не та нужна ей литература. Худо это или хорошо, но теперь всего нужнее хорошая публицистика, и упадок ни одного искусства не отразился бы столь гибельно на развитии современного общества, как упадок печати. В силу этого всеми мерами к публицистике нужно привлекать таланты, то есть облегчать

им доступ в печать. Мне Антон Чехов говорил: «Только маме мы обязаны, что вышли в люди. Если бы не мама, мы не попали бы в гимназию и были бы приказчиками в лабазе». Задумайтесь над этими словами. Сколько Антонов Чеховых прозябает по бесчисленным ларям и лавочкам обширной Руси! Сколько и впредь будет потеряно великих художников, в том числе и публицистов, если совсем не спускаться в низы народные и совсем не помогать выкарабкиваться оттуда талантам. До сих пор, я уверен, по глухим углам провинции, в маленьких, еле дышащих на ладан газетках томятся безвестные, но крупные таланты, малозаметные, но которые могли бы при некоторой культуре пышно распуститься. Захолустные господа литераторы, особенно начинающие, ведут весьма прискорбное существование. Целыми годами, целыми десятилетиями они сидят на копеечной, двухкопеечной построчной плате. Один журналист недавно писал мне, что справлял 25-летний юбилей и был рад, что товарищи поднесли ему... серебряные часы.

Но нищета есть не самое тяжелое условие. Еще тошнее из года в год, целыми десятилетиями, всю жизнь чувствовать себя в лапах г-на редактора-издателя — обыкновенно из евреев или армян, из которых многие одновременно с газетой содержат и другие заведения, каковы бани, трактиры, публичные дома. Человеку с душой и талантом осязать свое ежедневное рабство из-за куска хлеба у «глубокоуважаемого Соломона Ицковича», осязать капризный произвол не только самого жида, но его жидовки и жиденят, согласитесь, нелегко. Но есть еще круг ада, когда тот же «глубокоуважаемый» начинает внушать вам свои директивы, свои темы, свои точки зрения на местную политику и местных деятелей. Хотите — обедайте завтра, хотите — нет, мы живем в свободном государстве, и никто, что касается пищи, не неволит гражданина. Но вы обязаны — понимаете, обязаны, пока вы работаете в стенах почтенной редакции Соломона Ицковича, служить его благородному направлению, «одобряемому всеми сознательными элементами». Вот тут начинается операция вроде той, когда лечат от сухотки. Талант искренен и оригинален, а тут его вытягивают или сокращают, утюжат, разминают ему скелет, ломают кости. «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» — говорит Мармеладов, говорит про русского человека, дряблого и слабого, простодушие которого столь часто граничит со свинством. Очень многие русские журналисты (и не только провинциальные) из страха голодной агонии, из невозможности выбиться из петли покорно служат еврейскому направлению. Проклинают жидов и восхваляют их. Скрежещут втихомолку зубами — а публично вместе с евреями плюют на родину. «Что делать, что делать...»

Я не думаю, чтобы гений мог продержаться хоть один день в плену еврейском: у гения на крайний случай есть недурной выход — смерть. Но просто талантливому человеку, особенно начинающему, труднее высвободиться. Иногда при крупном таланте русские люди обладают удивительно ничтожной волей, а что же такое талант без характера? Это птица без крыльев. Сидит несчастный журналист в трясине, застенчивый и озлобленный, хорошо сознает ужас своего положения, но вместо того, чтобы, как делает англичанин в подобных случаях, весело приподнять шляпу г-ну еврею и пойти искать счастья, наш русский талант сидит и киснет, и всего чаще пьет горькую. О бездарностях я не говорю, они даже не стоят разговора — но талантам, мне кажется, нужно бы помогать, и помогать вовремя. Есть даровитые натуры как будто в параличе: их нужно тащить на аркане на их надлежащее место, и, раз они посажены на него, они вдруг развертываются, как растение, посаженное в подходящую почву. При Академии наук должна бы существовать комиссия из людей, понимающих публицистический талант и оценивающих его по задаткам. Если бы в такую комиссию начинающие журналисты могли посылать образцы своих работ и если бы наилучшие образцы увенчивались премией — это могло бы выдвинуть немало дарований. Это, пожалуй, могло бы спасти кое-кого в минуту, может быть, смертного отчаяния. Как всем известно, большие редакции не только завалены, но прямо задавлены материалом — однако все они нуждаются в свежих талантах. Искать и открывать их — дело нелегкое. Академия наук послужила бы просвещению русского общества, занявшись, между прочим, этой важной работой, а публицистическая премия явилась бы прекрасным средством для того. Мне кажется, связать имя знаменитого русского публициста с такой задачей значило бы продолжить его роль в истории печати. Именно этому старому публицисту приходилось не только самому проявлять талант, но и отыскивать таланты.

ОН — НЕ ВАШ

28 апреля

Кто был Гоголь как гражданин? Какой политической веры? Какого миросозерцания? Напомнить об этом нелишне ввиду наглых попыток использовать имя великого патриота с целями жидовско-кадетской фронды. Торжество открытия всероссийского памятника

Гоголю не обошлось без глупейших выступлений московских политиканов — г-на Муромцева[1], князя Е. Трубецкого[2] и других, старавшихся из всех сил литературный праздник превратить в митинговую демонстрацию. Вообще, история памятника Гоголю любопытна. Она показывает, до какой степени за эти тридцать лет освободительного движения мы культурно подвинулись *назад*.

Сравните вчерашний день с памятным днем открытия монумента Пушкина в 1880 году. Насколько выше тогда был общественный вкус и такт! Тогда понимали, что всероссийской, можно сказать, всемирной славе Пушкина нельзя ставить плохонького памятника где-то на задворках столицы. Тогда выбрали одно из лучших мест Москвы и поставили не такое страшилище, что довелось придумать скульптору стиля модерн. Я еще не видал курьезного произведения г-на Андреева в натуре, но на всех рисунках и во всех ракурсах Гоголь на московском памятнике напоминает нахохлившуюся ворону. Точно у великого юмориста не было ни одного светлого настроения в жизни! Точно вдохновенный автор «Тараса Бульбы» никогда не поднимал чела своего к небу. Почему-то (вероятнее всего, по глупости, одолевшей значительные круги нашей интеллигенции) наших писателей на памятниках изображают неизменно скорбными, сгорбленными, точно это были дети бесславного народца, которым стыдно глядеть на свет Божий. Может быть, такая поза и была бы прилична для теперешних вырожденцев в литературе, но Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Тургенев, Достоевский — это были богатыри русского духа и представители богатырской полосы нашей истории. В лице их выступило вдохновение нашей расы, ее отвага — ибо в области духовного творчества нужен тот же героизм, что и на поле брани. Спрашивается, чего же ради гениальным нашим людям придавать в бронзе какие-то больничные, удрученные позы, изображать их в виде каких-то упадочных господ Мережковских, у которых «головка виснет»?

Бездарный памятник, занесенный куда-то на Арбат, открыт был в обстановке, рисующей страшный упадок культуры нашей. В церемониях дня только то оказалось торжественным и внушительным, что связано со старым русским бытом. Внушителен был храм Спасителя, дивен певческий хор, благолепны архиерейское богослужение, молебен, панихида вечером. В этом — и только в этом — иностранные гости могли подметить нечто сильное и самобытное в русской жизни. Наоборот, все то, что было устроено либеральной интеллигенцией, носило печать «колоссального кавардака», по выражению корреспондентов. Не сумели устроить столь элементарно простой вещи, как трибуны для публики. Не нашлось учености,

чтобы рассчитать груз, который в состоянии выдержать подмостки. Все смешалось в кашу, публика оттеснила от памятника депутации и почетных гостей, и вообще чуть было не вышла вторая Ходынка.

Через сто лет после рождения Гоголя в Москве не нашлось литературных сил, чтобы составить сколько-нибудь приличные речи для представителей таких учреждений, как комитет по постройке, городская Дума, Общество любителей российской словесности. Что-то жалкое пролепетал г-н Брянский, исполняющий должность головы; еще более жалкое, даже до странности, сказал некто г-н Грузинский, исполняющий должность председателя Общества любителей российской словесности. Он договорился, например, до такой фразы: «Победитель Гоголь вонзит в наше сердце благотворное жало своей победы... Слава Гоголю-победителю!» Что означает эта чепуха — постичь трудно. Не только для речей — даже для надписей на венках у г-д левых не нашлось таланта. «Великому ревизору души, вечному светочу правды», «Великой памяти сочлена» (!), «Врагу школьной рутины», «Писателю, дерзнувшему вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушно очи», «Пасечнику Рудому Панько» и т. п. Господи, каким это отдает провинциальным безвкусием! Украинское землячество, видите ли, серьезно воображает, что «Рудый Панько» что-то значит. Но пасечников на Украине, как и во всем свете, рыжих и не рыжих, сколько угодно, и останься Гоголь на уровне деревенского краснобайства — вряд ли на него взглянули бы Россия и весь свет. Как ни удивительно, наилучшие надписи на венках оказались иностранными. «Великому сыну великого народа» — это догадалась сказать армянская эчмиадзинская академия. Согласитесь, что это сказано покрупнее, чем «пасечнику Рудому Панько». В академической части торжества иностранцы подавляли русских известными именами. Еще тридцать лет назад у подножия памятника Пушкину могли сойтись исполины русской литературы — Достоевский, Тургенев, Писемский, Григорович, Островский, Катков, Аксаков. У подножия памятника Гоголю фигурировали «писатели» Грузинские да Трубецкие...

Современные писатели, конечно, не виноваты в крайней незначительности своей: не дал Бог таланта — на нет и суда нет. Но вот что следует поставить в серьезную вину нынешним маленьким корифеям: зачем они приравнивают себя к Гоголю и Гоголя к себе? Это, как хотите, литературное кощунство. Будучи не писателями вовсе, а всего лишь жалкими строчителями и политиканами, к чему г-да Грузинские, Муромцевы, Трубецкие пытаются напялить на великого писателя свои маленькие радикальные мундирчики? К чему фальсифицируют его политическое миросозерцание? Зачем лгут

на него как на мертвого? Ведь Гоголь жив, как все великие люди. Его голос до сих пор могуч и полновесен, как 60 лет тому назад. Как же это некто г-н Грузинский от имени Общества любителей российской словесности решился сказать такую нелепость, будто современное Гоголю образованное русское общество «могло дать ему только чудовищные типы, только мертвые души» и что будто бы, изображая нескольких своих героев, Гоголь изобразил *всю* Россию? Хотя бы в день столетия Гоголя вы постыдились говорить заведомую неправду, многократно опровергнутую самим Гоголем.

Еще более беспардонной в смысле дешевого политиканства была речь князя Е. Трубецкого, одного из радикальных князьков нашей выродившейся аристократии. Возмутительно не то, что посредственные болтуны плетут тот или иной вздор перед полуневежественной толпой. Да мелите себе, господа, на здоровье, что взбредет в голову, но зачем брать поводом для радикальных демонстраций непременно Гоголя и вообще старую нашу славу? Зачем делать явный подлог и создавать обстановку, будто Гоголь — ваш, будто он в одной с вами компании? Никогда он не был вашим, ни душой, ни телом. Наверное, кости его переворачиваются в гробу, когда вы — лагерь для него глубоко презренный — треплете его имя с скверными лжеосвободительными целями. В прошлом году экспроприировали Льва Толстого — на том только основании, что он анархист и отрицает Церковь, государственность и национальность. Умолчав о том, что великий яснополянский романист одновременно отрицает и вашу революцию, и ваши жидокадетские бредни, вы все-таки утащили 80-летнего старца в плен к себе и прошумели, что он — ваш, что он — вместе с вами. Проделка эта не была достаточно сильно опротестована ни философом непротивления, ни растерянным русским обществом — и вот вы ухватились теперь за второго великого человека, за Гоголя! Под предлогом чествования вы тащите и его в свой плен, и его делаете орудием рекламы своих собственных бредней. Этак, пожалуй, вы и Тургенева у нас отнимете, и Достоевского, и Пушкина! Во имя исторической правды следует раскрыть ваш дрянной замысел и показать, что эта экспроприация рассчитана исключительно лишь на невежество и тупость той части публики, которая по плечу вам.

Кто был Гоголь как гражданин? Какой держался политической платформы, выражаясь модным, плоским, как платформа, языком? Он был форменный «черносотенец», «крайний правый» с головы до ног. Мне лично это жаль, так как я не разделяю ни системы мысли, ни темперамента, ни характера черносотенной партии. Но будем правдивы, будем брать Гоголя, каким он был и каким исповедовал

себя. Начиная с веры в Бога, глубокой и пламенной, замучившей Гоголя, как Паскаля. Возможен ли был бы Гоголь в еврейско-кадетском лагере по одной лишь этой причине? Конечно, нет. Притом вера у Гоголя не была вольнодумством, как у Льва Толстого, не была брожением ума и чувства, а состоянием остановившимся, кристаллизованным в народных формах. Horribile dictu*, Гоголь был *православным* христианином. Мало того — он был ультраправославным nec plus ultra**.

Это был мыслитель и поэт православия: он составил лучшие на русском языке «Размышления о Божественной литургии», подобных которым не написал ни один из наших многопишущих иерархов. Гоголь перечитал множество сочинений отцов и учителей Церкви, даже таких, как патриархи Герман, Иеремия, Николай Кавасил, Симеон Солунский и пр. Он выбрал все вдохновенное и прелестное, до чего дошла в понимании православного обряда лучшая мысль Востока, и облек это жаркой своей любовью ко Христу. Гоголь не понимал иной веры, кроме нашей народной, он совершенно как простолюдин верил в чудо. Самой заветной мечтой его было поклониться Святому Гробу...

Нет, г-да жидокадеты! Он — не ваш.

Гоголь не был невежественным человеком — он готовился в профессора истории, он непрерывно читал и обладал повышенной возбудимостью мысли того поколения. Вместе с своими сверстниками, людьми тридцатых и сороковых годов, Гоголь жил впечатлениями не только русской, но и западноевропейской жизни. Невероятно, чтобы он не знал идей энциклопедистов, великой революции, социализма и левого гегельянства. Бланки, Прудон, Фурье, Луи Блан, Оуэн и пр. проповедовали не в подполье. Гоголь жил не только среди русских, весьма образованных дворян, считавших Европу второй родиной. Гоголь жил долго за границей, и невероятно, чтобы чуткий, подобно беспроволочному телеграфу, гениальный мозг его, хвативший идеи из воздуха, ничего не знал о движениях, приведших к революции 1848 года и к циклу национальных войн. Если несравненно менее одаренный человек, каков Белинский, шел в уровень с западной мыслью, то тем паче Гоголь. И что же? Обстоятельно познакомившись со всеми политическими теориями, Гоголь остался верен *самодержавию*, притом в самом черносотенном смысле этого слова. Прочтите его письмо к Жуковскому «О лиризме наших поэтов». Гоголь ни в малой степени не верил в излюбленную

---

* Страшно сказать (*лат.*).
** До крайней степени (*лат.*).

кадетами идею народоправства. Подобно «крайним правым», Гоголь ни на один миг не допускал, что все обстоит благополучно и что всякая мерзость жизни священна и неприкосновенна. Напротив, он горел желанием очистить жизнь и освятить ее, но был убежден, что общественные силы сами по себе не в состоянии этого сделать. Они становятся способными на это, лишь сосредоточившись в лице самодержца. «Все события в нашем отечестве, — говорит Гоголь, — начиная от порабощения татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы так же один, всех впереди, с светильником в руке, устремить как одну душу весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия». Вы видите, что в понятие самодержавия Гоголь влагал не статическую, а динамическую силу, энергию творческую, пробуждающую, ведущую к воскресению народа. Пушкин сравнивал царя с Моисеем-Боговидцем, выводящим нацию из плена. Именно нечто от Моисея и Магомета, что-то пророческое и боговдохновенное Гоголь приписывал «полномочной», как он выражался, царской власти. Ослепительная эпопея Наполеона показывала, что народное правление вело к гражданской войне, а гениальное самодержавие восстановляло честь народа и счастье. Допустим, что Гоголь вместе со славянофилами чрезмерно идеализировал самодержавие, — но, стало быть, тем более, г-да кадеты, *он — не ваш*!

С какой стороны вы ни возьмите Гоголя, он был типический «черносотенец». Подумайте только: он стоял за крепостное право, допуская даже телесное наказание! Судя по «Тарасу Бульбе», где «рассобачий жид» изображен во всей правде народного его понимания, Гоголь далек был от идеи не только «полноправия», но даже «равноправия» еврейского. Борьба запорожских рыцарей, наша русская «Илиада», представлена Гоголем не с турками, не с крымскими татарами, а с наиболее заклятыми врагами малорусской и общерусской народности — с поляками и евреями. Так понимал Гоголь, коренной русский человек, вынесший душу свою из недр народных. Он нашел в истории, то есть в самой природе, вековой отпор польщине и жидовству и воспел этот отпор, одобрил всем пафосом своей души.

Нет, господа жидокадеты, он — не ваш!

Но если бы требовался окончательный и бесповоротный приговор Гоголю как черносотенцу, вспомните самый лютый из его смертных грехов: он любил Россию! Он самой нежной, младенческой любовью любил Украину, наш прелестный, благодатный юг, который был бы раем земным, если бы не был столько раз ограблен поляками и евреями. Гоголь глубоким восхищением любил Великороссию, наш могучий государственный язык, нашу великодержавную историю, нашу пышную старину. «На днях, — пишет Гоголь, — попалась мне книга "Царские выходы". Тут уже одни слова и названия... сущие сокровища для поэта: всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все тернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи... Мне после прочтения трех страниц из этой книги так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве». Гоголь до обожания любил великорусский талант и характер, который столь блистательно выразился в Пушкине. В многочисленных отзывах Гоголя о великом поэте нет и тени зависти — один благородный восторг! Всю Россию, какая она есть, Гоголь любил до пророческого экстаза: вспомните его *тройку*. Вот о каком прогрессе России мечтал автор «Мертвых душ» и вот в какой прогресс России *верил*.

Однако ж, скажут еврейчики, он написал «Мертвые души», то есть оставил документ, дающий теперь еврейчикам и кадетам законное право плевать на Россию?

На это замечу, что на еврейчиков и кадетов и разную тому подобную мелкую компанию Гоголь, конечно, не рассчитывал. Его компания была Пушкин, а не г-да Грузинские и Е. Трубецкие. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из "Мертвых душ", — пишет Гоголь, — то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении... начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: "Боже, как грустна наша Россия!" Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!.. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести "Мертвые души". Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы» и пр. В следующих томах «Мертвых душ» Гоголь мечтал не унизить, а возвеличить Россию, изобразив то прекрасное, что он видел в ней и что любил.

Нет, г-да еврейчики и радикальные князьки, Гоголь — не ваш, решительно не ваш! Такая крупная добыча не по рукам вашим, как бы ни были они цепки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЕВРЕИ

I

23 июня

Правительство бесконечно затягивает все жизненные вопросы под предлогом, что они недостаточно «выяснены». Ради выяснения их нагромождаются комиссии, комитеты, совещания, советы, привлекаются всевозможные административные и судебные инстанции, собираются мнения печати, и когда всего этого оказывается мало, то пустейший из вопросов переносится на законодательное рассмотрение — сначала «высокой» нижней палаты, затем «высокой» верхней. И все-таки решение обыкновенно получается межумочное и бледное, возбуждающее общую неудовлетворенность. Не *понимания* вам недостает, господа, а *характера*. В убийственной степени всем вам недостает *воли*! Вот что хочется сказать современному изнеженному поколению того класса, который правит Россией. Это поколение попало, как метафизик басни, в яму, и вместо того, чтобы вылезать оттуда, русские государственные люди рассуждают, рассуждают, рассуждают без конца...

Простые русские люди, вышедшие из природы, как, например, те наши предки, что строили великое государство, *действовали* без того изнурительного и бесплодного процесса мысли, которым теперь тщетно хотят покрыть недостаток характера. Метафизик исследует природу веревки прежде, чем ухватиться за нее; для крестьянина же веревка, как всякий предмет, есть готовый вывод, реальная формула, которую остается применить. Обыкновенный человек начиная с младенчества знакомится с вещами и о нужных для практики свойствах их имеет вполне определенное понятие. Сочетание предметов подсказывает ему единственный возможный вывод. Действительность как она есть возбуждает в натуральном человеке волю, приводит в действие исполнительные органы, в число которых входит и ум. В человеке же ненатуральном, в метафизике, которого душа угнетена рассудочностью, воля, а с нею и все исполнительные органы парализованы. Вместо действия начинается мозговая жвачка. Государственные люди без конца пережевывают материал — и как огня боятся решения! Длинный хвост всевозможных инстанций придуман безотчетно для того, чтобы свалить решение на чьи-нибудь чужие плечи. Эта расслабленность воли вошла даже в язык. Уже не говорят: «Мое убеждение», «Моя воля», а робко заявляют:

«Мое мнение». В этом рабском словечке чувствуется попятный жест: «мнение» так близко к «сомнению», оно отделено от него всего лишь тонкой чертой безразличия. Высказывая мнение, нынешние книжные люди обставляют его такими смягчениями и такими округлостями, что в конце концов различные мнения, как голыши в ручье, становятся совсем похожими друг на друга. Растлевающий дух компромисс, о котором писал Морлей[1] в своей крайне замечательной, хотя, к сожалению, забытой книге*, подтачивает нервные центры государственности. Если бы только государственностью современные народы жили, то они давно погибли бы — до такой степени общий организм отравляют безволие и бесплодие нынешней государственной метафизики.

В виде одного из бесчисленных примеров этой метафизики можно указать на еврейский вопрос в России. Казалось бы, что тут теоретизировать и возможны ли какие-нибудь колебания? Евреи не с луны упали и не со вчерашнего дня известны европейскому человечеству. У народов было достаточно времени составить вполне определенное понятие об этой расе. Народы и составили себе это понятие — поразительно тождественное во всех странах. Для крестьянина всех стран «жид» так же бесспорен, как веревка: спор о «вервии», о равноправии евреев, начинается выше, среди книжного, метафизического класса. Евреи делают вид, что общее отвращение к ним христианского простонародья вытекает из религиозной мести: христиане, мол, не могут забыть истязаний, оплеваний, заушений и позорной казни, которым евреи когда-то предали христианского Бога. Но хотя поступок евреев с Христом не из таких, чтобы внушать к ним симпатию, — нужно помнить, что еще за тысячу лет до Христа и христианства среди народов самых различных вер евреи внушали к себе то же самое отвращение и тот же страх. Египетские фараоны, персидские цари, греческие и римские управители, согласно с опытом народов, смотрели на евреев как на племя паразитное, всегда преступное, всегда угрожавшее целости народной. Стало быть, христианские предубеждения тут ровно ни при чем. Не христиане, а язычники вели с евреями кровавую борьбу, пока не истребили самое гнездо еврейства. В христианскую эру не одни христиане всех исповеданий, но и магометане составили о евреях отвратительное мнение. История всех стран красноречиво говорит, чем подобное мнение поддерживалось. Оно поддерживалось и теперь держится ежедневным в течение тридцати веков наблюдением самого метода еврейской жизни. При всевозможных условиях еврей — рос-

* «О компромиссе».

товщик, фальсификатор, эксплуататор, нечестный фактор, сводник, совратитель и подстрекатель, человеческое существо низшего, аморального типа. Он ненавидит христианство не потому, что держится своей первобытной и грубой религии. Он органически чужд христианству, то есть по прирожденным нравственным, вернее — безнравственным инстинктам. Книжные метафизики этого не видят, а простонародье, в которое евреи вкраплены, на своей шкуре чувствует эти неизменяемые в веках еврейские недостатки. Так называемые гонения на евреев были вызваны не чем иным, как нестерпимым засильем еврейским и их хищничеством. Уже второе столетие всюду в Европе под влиянием метафизического законодательства нет и тени гонений, но паразитизм евреев именно теперь дошел до невероятной степени. При полном равноправии евреев в Америке полиции приходится свидетельствовать о двойной преступности этого племени, а страховым обществам — назначать для евреев двойные и тройные страховые взносы.

Русский народ имеет дело с евреями с тех пор, как себя помнит, но еще до татар, при Изяславе I, население весьма культурного Киева бывало вынуждено к погромам — совершенно таким же, какие случаются теперь. Когда чаша терпения народного переполнялась, народ вдруг забывал свое христианство и гражданственность и начинал выметать евреев из своих городов. Какое презрение к себе заслужило это племя, показывают слова тогдашнего русского государя: «Нельзя о евреев пачкать меч». В века нашей натуральной и национальной государственности никакого еврейского вопроса не было, потому что не было и тени каких-либо сомнений в злокачественности этих иностранцев. Допуская разных иноверцев, магометан, язычников в свою страну, московские цари свято берегли вековое правило — не допускать евреев. Менее продажная, чем позднейшая наша администрация, московская власть не шла ни на какие подкупы. Той же политики держался Петр Великий, лишенный даже признаков религиозной нетерпимости. Объявив полную свободу веры, Петр твердо высказался, что считает «жидов» мошенниками и не может допустить их в Россию именно в качестве таковых. А Петр в бесчисленных своих поездках по западной и южной России, в борьбе с Карлом имел случай встречаться с евреями, и, как гениальный человек, он был не из тех, что черпают свои мнения из чужих мозгов. Той же твердой политики держалась дочь Петра Елизавета. На попытки подкупить власть выгодами еврейской торговли национальная наша государыня отвечала: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».

Еврейский вопрос явился у нас с упадком национальных ин-

стинктов на высоте власти, с внедрением масонства, с возобладанием «освободительных» идей французской энциклопедической метафизики. Первой государыней, признавшей некоторые права евреев, была Екатерина II, урожденная нерусская. Удивительная по уму и твердо преданная заветам Петра, Екатерина была сбита с толку двумя обстоятельствами. Она была другом и корреспонденткой знаменитых болтунов, которые тогда создавали ей славу во Франции и во всем свете. Метафизика Вольтера и Руссо была титаническая благодаря их таланту. В самом отрицании она отличалась страстью, и талантливой государыне, умственно голодавшей в Петербурге, было трудно не подчиниться могучему обаянию великих резонеров. Идеи равенства, свободы, братства сделались в Европе модными задолго до революции, а всякая парижская мода считалась вдвойне обязательной в Петербурге. Второе обстоятельство, смутившее императрицу, было то, что с разделами Польши запретное еврейское племя сразу очутилось в черте России. Легко было *не допускать* вселения, но что делать с миллионами людей, оказавшимися подданными в силу завоевания? Екатерина не была подготовлена к решению такой задачи. Хотя здравый смысл говорил за то, что племя, недопустимое в восточной половине государства, не должно быть допущено и в западной половине, и хотя примеры массовой эмиграции из России были известны и в тот век (раскольники, казаки, крамцы), но в отношении евреев не приняли никаких мер. Стараясь задобрить население присоединенных областей, Екатерина объявила, «что когда еврейского закона люди вошли уже в состояние, равное с другими, то и надлежит при всяком случае наблюдать правило... что всяк по званию и состоянию своему долженствует пользоваться выгодами и правами без различия закона и народа» (26 февраля 1785 г.).

Ясно, что уже тогда в трудных случаях правительство наше вместо того, чтобы *решать* задачу, просто отпихивалось от нее, притворялось, что никакой задачи нет. Ничего нет легче, как объявить равенство и безразличие в правах. Но ведь это значит, в сущности, объявить свою неспособность разобраться в очень сложном деле. Равенство соблазняет простотой. Поколения ослабевшие, потерявшие привычку преодолевать препятствия, восхитились идеей равенства, хотя сама природа такого явления не знает. В природе еврей ни в каком отношении не равен христианину — ни в племенном, ни в религиозном, ни в культурном, ни в смысле языка и политических симпатий. Оставляя в силе пустое, часто формальное неравенство между христианами в их звании (дворяне, мещане, крестьяне), наше правительство выбросило крайне существенное неравенство племени, веры, языка и культуры. Почему-то крестьянин русский счи-

тался (и до сих пор считается) не равным дворянину, хотя бы безграмотному, — точно это жители разных планет. Между тем еврей считается равным русскому, немцу, поляку и т. д. Бессмыслица эта показывает, что еще в конце XVIII века государственность наша оказалась ниже своих задач и вместо натурального соображения с действительностью начала применять к последней книжные шаблоны. Если старые предки наши непрерывно исследовали действительность и поучались у нее, то изнеженное поколение эпохи Радищева начало само поучать природу и перекраивать ее. Но природа — слишком большой барин, чтобы шутить с ней. Объявленные равноправными евреи оставались евреями, и снятые ограничения только поощряли их развернуть все свое жидовство. Вот тогда и началась смехотворная комедия еврейского вопроса в России, борьба книжников и часто подкупленных канцеляристов с природой.

Чтобы поощрить евреев перестать быть евреями, правительство не только не отделило их от христиан, а, напротив, старалось всячески смешивать; так, например, евреи не только допускались во все учебные заведения, но были установлены особые поощрительные меры для привлечения евреев в русские школы. Полагали, что если перемешать волков с овцами или хорьков с курами, то установится между ними полное равенство и вожделенный мир. Что мечта о равенстве нравилась сентиментальному Александру I, ученику Лагарпа, — это понятно, но как мог разделить ее суровый император Николай I? Между тем в положении о евреях 13 апреля 1835 года подтверждено учебное их равноправие — правда, лишь там, где евреям разрешалось жительство. Всем евреям, окончившим гимназический курс, открыты были все высшие школы Империи. Лучшие из студентов-евреев на медицинских факультетах принимались на казенный счет, им давались права государственной службы и повсеместное право жительства. Слепое и глухое к природе правительство думало, что единственное, что отделяет еврея от нееврея, — это недостаток высшего образования. Стоит еврею дать высший диплом — и он делается будто бы совершенно русским. Природа и тут насмеялась над нашими сановными метафизиками. Затягивая разными поблажками и приманками евреев в русские школы, правительство добилось только того, что русская интеллигенция запахла еврейством. Среди врачей, учителей, чиновников на линии, где выслуживалось дворянство, появились сыны Израиля со всеми характерными чертами своей расы. Никакого равенства не последовало, но правительство вместо того, чтобы прекратить опасный опыт, энергически повело его дальше. Заметив, что старики евреи неохотно отдают детей в русские школы, боясь обрусения, правительство в 1844 году учредило целую систему еврейских школ, соответству-

ющих русским приходским и уездным. Правительство простерло свое внимание до того, что завело особые раввинские училища (с курсом гимназий) для приготовления учителей еврейского закона. На еврейские раввинские училища были распространены льготы русских гимназий. «Для вящего поощрения евреев к образованию» им были даны особенные преимущества. Окончивший уездное училище еврей пользовался сокращенным сроком военной службы на 10 лет. Гимназия сокращала этот срок на 15 лет, а кончившие с отличием освобождались от рекрутства вовсе. Русская политика в отношении евреев буквально повторяла польскую. Как в Польском королевстве стоило еврею хотя бы наружно принять католичество — и он становился дворянином, хотя миллионы родных католиков оставались холопами, так и у нас. В нелепом стремлении к равенству видов тянули непременно в интеллигенты, в чиновники, в дворяне, как будто русское дворянство совершенно не имело родных стихий для своего пополнения. Правительство сороковых годов уже было охвачено, как и предыдущее, освободительными и нивелирующими идеями, только проводило их по старине — крутыми мерами. Решили, что когда казенных училищ для евреев будет заведено достаточно, объявить обучение в них евреев обязательным. Предполагались даже понудительные к тому меры... Другими словами, бросив излишние нежности, евреев хотели просто насильно тащить в русские чиновники (ибо русская гимназия и тогда, и теперь выпускает только чиновников). Политика Николая I перешла и в эпоху освобождения. В 1859 году обучение детей евреев-купцов и почетных граждан объявлено *обязательным*.

Вот как трогательно заботилось русское правительство о том, чтобы объевреить русскую интеллигенцию! Прошло с тех пор 50 лет, и обязательное обучение для русских остается все еще мечтой, о евреях же когда вспомнили! Мудрено ли, что еврейство хлынуло во все наши интеллигентные профессии, между прочим в те, которых долг — хранить национальное миросозерцание и государственный характер? Мудрено ли, что не только печать, театр, литература, медицина, судебное ведомство и пр. переполнены евреями, но даже огромное количество русских кадетствующих чиновников носят ясную печать морального «обрезания»?

II

25 июня

Вся политика русского правительства в отношении евреев состояла в том, чтобы перевести еврейство из сравнительно неопасного для России состояния в опасное. Это делалось безотчетно, как бы

под внушением каких-то тайных для власти сил. Евреи начала прошлого века, так называемые польские жиды, были народ темный, фанатически преданный своей первобытной вере, чуждающийся христианства и еврейской цивилизации. Всюду, куда бы они ни попадали, они устраивали хандель и гешефт, всюду являлись ростовщиками, факторами, фальсификаторами, сводниками, шпионами, всюду эксплуатировали самые дурные страсти христианского общества и составляли дрожжи для всяких преступлений. Но преданность Талмуду и рабство у кагала заставляли евреев держаться особняком. Вне своего паразитного ремесла они не стремились проникать в общество и не желали делить с христианами их политические и нравственные интересы. Правительство русское само подняло еврейство со дна жизни, само постаралось втереть это племя во все ткани общества — и самые центральные, на которых держится душа нации. Под внушением чисто книжной мысли, будто школа создает нового человека — и непременно русского, правительство ввело обязательное обучение детей для еврейской буржуазии и обставило высшее образование для них всевозможными приманками. Стоило еврею окончить университет кандидатом, он получал право поступать на службу по всем ведомствам и заниматься торговлей и промышленностью во всей России. Заполучивший всякими правдами и неправдами диплом еврейский юноша становился сверхъевреем. Он не только приобретал заветное право торговать и устраивать гешефты по всей России, не только делался чиновником с кокардой, но мог вместе с собой держать в России и целую колонию единоверцев под видом семьи и слуг, приказчиков и конторщиков. Правительство само создало еврейские гнезда по эту сторону черты оседлости; эти гнезда сделались центрами притяжения еврейства из-за черты. До того времени, пока не было разделения еврейства на допустимых в Россию и недопустимых, не было в еврействе и оскорбленного самолюбия, и той страстной жажды проникнуть в Россию. Само правительство создало и указало евреям лазейки для перехода черты оседлости, само оно поставило соблазнительные условия для проникновения евреев непременно в образованный класс, непременно в чиновничество, непременно в русскую буржуазию, то есть в русскую промышленность и торговлю. Так как обыкновенный еврей мог быть недостаточно опасен для русских в борьбе за существование, то старались привлечь в Россию наиболее выдающихся, наиболее способных и вооружали их казенным образованием, то есть делали конкуренцию с русскими вполне обеспеченной. Бедняк еврей вообще не страшен, поэтому допускались в Россию только евреи-капиталисты, люди, вооруженные для своего эксплуататор-

ского дела. Злой враг не мог бы придумать более невыгодной для России политики, но добродушное русское правительство само дошло до нее — конечно, bona fide (добросовестно, чистосердечно. — *Ред.*). Кого Бог хочет наказать, отнимает разум.

В начале 1860-х годов во всех ведомствах, особенно в военном, просвещения и внутренних дел, появились евреи в званиях врачей, техников, технологов, преподавателей и пр. Этого показалось мало. Для облегчения евреям доступа в русские школы в 1863 году были учреждены особые стипендии с назначением из сумм свечного (еврейского) сбора 24 000 р. Мало того. Решено было допустить евреев в русские гимназии, не стесняясь чертой оседлости, причем семейства евреев получали право жить в тех городах, где учатся их дети... Не имея мужества упразднить черту оседлости и навязать России 6-миллионное паразитное племя, правительство всемерно буравило эту плотину и устраивало щели все в убеждении, что оно творит благое дело. Последняя мера, впрочем, благодаря случайности не получила осуществления. Министром народного просвещения был назначен граф Дмитрий Толстой[2]. При нем раввинские училища преобразованы в еврейские учительские институты, а низшие еврейские училища были частью закрыты, частью преобразованы. Закрытие еврейских училищ, вместо того чтобы задержать, еще более подтолкнуло евреев поступать в русские гимназии. С введением всеобщей воинской повинности, дающей большие льготы по образованию, для евреев явилось новое энергическое побуждение поступать в русские школы. Чтобы елико возможно облегчить еврейским детям поступление в реальные училища и гимназии, было разрешено им поступать без экзамена в первый класс, если они прошли успешно первые четыре года начального еврейского училища. Эта льгота держалась 13 лет.

В конце концов у евреев сложилось неудержимое стремление проводить через гимназию всех детей, и опростоволосившееся правительство задумалось: что же это значит? Не пришлось бы бить отбой. Вместо того чтобы усиленно «тащить» евреев в школы, не пришлось бы «не пущать их» туда... И пришлось! Если в 1865 году число обучавшихся в гимназиях евреев доходило в России до тысячи, составляя всего $3\,^1/_3$ процента, то через десять лет это число увеличилось почти до пяти тысяч, то есть до $9\,^1/_2$ процента всех учащихся, а еще через десять лет оно дошло до $7\,^1/_2$ тысячи, то есть почти до 11 процентов, причем некоторые гимназии в черте оседлости включали уже до 19 процентов евреев. Благодаря чудесной политике правительства количество евреев в русских университетах за 20 лет выросло не вдвое, не втрое, а в *четырнадцать* раз! Метафизики и

резонеры в звездах, трудившиеся над разрушением черты оседлости, могли быть довольны результатом. Плотину прорвало. Грязная волна хлынула в русскую школу и...

Позвольте процитировать слова одного официального документа 1881 года: «Христианское юношество вскоре стало испытывать на себе все гибельные последствия совместного обучения с переполнившими названные учебные заведения евреями, которые вносили в его среду растлевающее как в политическом, так и в нравственном отношении влияние». Вот интересный, не правда ли, результат усилий нашего просвещенного правительства. Из сострадания к паразитам отдали им на жертву своих детей! Наложили себе за пазуху тарантулов — и удивились, что пришлось чесаться!

Уже в начале 1880/81 учебного года во многих гимназиях Одесского округа вспыхнули беспорядки, и оказалось, что *главное участие в них принимали ученики-евреи*. С тех пор в течение 29 лет брожение в русской школе идет почти непрерывно, и главным бродильным грибком везде оказываются евреи. С начала 1880-х годов начинается вторая часть этой фантастической истории, не менее постыдная, чем первая. Ошеломленное правительство уже тридцать лет назад почувствовало, что оно совершило колоссальную глупость, прямо предательскую в отношении России, искусственно втянув еврейство в русскую школу и приманив его разными соблазнами в русское общество. Случилось буквально то, что в немецкой сказке: неумный человек сумел вызвать демонов и не знал заклятья, чтобы прогнать их. В составе самого правительства начинается глубоко неприглядная борьба за еврейство, доказавшая, что государственность наша была уже тогда охвачена освободительным разложением. Наружно раболепствуя перед могучей волей Александра III, тогдашние министры всей душой были преданны космополитическим идеалам будто бы «гуманности и прогресса». Масонско-еврейские внушения европейской и нашей печати уже тогда всесильно властвовали над слабыми умами. Анархическое безразличие, склонность к измене всему родному, что создала природа и история, уже тогда заставляли наших министров ставить Европу во всех случаях выше России и служить не русской национальности, а какой-то общечеловеческой, в природе не существующей. Моральной властью пользовалась даже не Европа, а «Евре-опа», та обработанная жидовством часть христианской Европы, которая составляет авангард грядущего еврейского царства.

Убедившись в разложении своих школ и приписывая все зло «испорченности и пагубному влиянию учеников-евреев», попечитель округа Лавровский еще в 1881 году просил одну из трех одес-

ских гимназий отдать евреям, а в остальных ограничить прием евреев 10-процентной нормой. В том же духе хлопотал генерал-губернатор Одессы Гурко[3]. Он предложил ограничить прием евреев «сообразно численному отношению евреев к общей массе населения местности, для которой существует учебное заведение». Казалось бы, чего великодушнее! Ведь это и было бы полное *равноправие*, арифметически равный раздел русской школы между евреями и христианами! Александр III собственноручно написал на этом месте отчета Гурко: *«Я разделяю это убеждение»*, а самый отчет повелел внести в Комитет министров.

Вы думаете, тем дело и кончилось? Раз высказались такие сведущие в деле власти, как местный попечитель и генерал-губернатор, и раз их мнение утвердила самодержавная власть Монарха — значит, вопрос решен? Как бы не так! К глубочайшему несчастью русской жизни, либеральная бюрократия уже тогда фактически стояла выше самодержавия. В теории свято веруя в свои права Самодержца, император Александр III уступал общему течению умов, полагавшему, что окончательное решение не должно быть единоличным. Из благородной скромности, составлявшей одну из черт характера Государя, он недостаточно доверял себе — хотя непосредственный голос здравого смысла и совести человека, царственно неподкупного, и составляет решение наиболее верное, то есть наименее подверженное пристрастиям. Император, уже составив себе «убеждение» — притом не голословное, а на основании материала наиболее компетентных в вопросе лиц, — тем не менее имел неосторожность внести свою резолюцию в Комитет министров. Убеждение Самодержца есть, казалось бы, *повеление*, обязательное для всех властей, но у нас так вышло, что низшей инстанции было предоставлено «обсуждать» резолюцию высшей и даже верховной! Фальшиво-либеральный Комитет министров того времени сделал вид, как будто государевой резолюции не было вовсе, и решил пустить вопрос в канцелярскую волокиту. Когда не хотят или не умеют разрешить дело, у нас его губят именно этим легальным способом — отпихиваются от него, сдают в канцелярскую машину. «Сознавая всю настоятельность изъясненного вопроса», Комитет министров «не счел, однако, возможным войти в окончательное суждение о целесообразности предлагаемой генерал-адъютантом Гурко меры... как ввиду несомненно законодательного ее характера, так и ввиду особливой сложности вызываемых ею соображений». Жизнь кричала о преступлении, притом массовом, — об отравлении русской школы еврейством, а либеральные бюрократы *потратили два года* на то, чтобы отписаться такою бесстыдной фразой! Ввиду «особой слож-

ности» вопроса тут бы, казалось, и налечь на него, и поспешить с ним, но либеральные предатели России сунули вопрос под сукно, то есть предоставили обсудить его министру народного просвещения. Заметьте: уже состоявшееся определение самодержавной воли следующая низшая инстанция, Комитет министров, передает на обсуждение еще нижайшей — на обсуждение одного министра. Министр, в свою очередь, был очень рад спихнуть весь вопрос на особую комиссию, которая была тогда созвана для пересмотра действующих о евреях законов. Эта комиссия (графа К. И. Палена[4]) имела членом А. И. Георгиевского, представителя министерства просвещения, бывшего тогда председателем Учебного комитета. Как видите, уроненное книзу «убеждение» Государя спустилось еще одною ступенью ниже.

Комиссия графа Палена не спешила с работой, между тем школьно-еврейские беспорядки шли. То самое, что писали Лавровский и Гурко, подтвердил следующий генерал-губернатор, генерал Х. Х. Роop. Комитет министров (уже в 1885 году!) принужден был, по Высочайшему повелению, еще раз обратить на это внимание. «Вопрос этот имеет самое серьезное значение, — начал свою новую отписку Комитет министров. — *Постоянно возрастающий наплыв в учебные заведения нехристианского элемента оказывает самое вредное в нравственно-религиозном отношении влияние на обучающихся в этих заведениях христианских детей*».

«Ну, — спросит читатель, — стало быть, согласно с давно высказанной Высочайшей волей нужно немедленно ограничить наплыв евреев?» Как бы не так! Либеральные предатели России решили еще раз: «Но войти в обсуждение существа тех мер, коими могли бы быть предупреждены дальнейшие последствия изложенного прискорбного явления», Комитет «не считал благовременным»... Раз существует комиссия, обещавшая затянуться до второго пришествия, то Комитет министров еще раз отпихнул жгучий и страшный государственный вопрос — туда, в сорную корзинку, в комиссию...

Это происходило четверть века тому назад, и лицемерные предатели России уже за гробом; но если не теперешнее, то позднейшее потомство предаст имена их заслуженному презрению. Уже тогда шел революционный подкоп под Россию. На незасохшей крови Царя-Мученика его ближайшие, пользовавшиеся дружеским доверием сановники устраивали питомники будущего бунта и отравляли Россию чрез самые драгоценные ее ткани — через школу, печать, Церковь... «Они не ведали, что творили», — вздохнет иной сентиментальный читатель. Допустим это. Но некоторые из них, может быть, и ведали — в чужую душу не влезешь. Если г-н Гучков объявил

недавно, что губернаторы и генерал-губернаторы наши были на содержании у раскольников и евреев, то это обобщение страдает преувеличением. Но что некоторые высокие администраторы были весьма доступны разным видам еврейского подкупа — это, к несчастью, слишком бесспорно. Россию не только *предавали*, но и *продавали*...

Фальшиво-либеральный Комитет министров хорошо знал, что в высшей комиссии графа Палена еврейский вопрос попадет в дружеские руки. «Общая записка» комиссии свидетельствует, что там господствовал вполне «обрезанный» тон тогдашнего времени. «Может ли государство, — заявляла комиссия, — относиться к пятимиллионному населению, к 1/20 части всех своих подданных (хотя и принадлежащих к чуждой большинству расе), которую оно само приобщило вместе с обитаемой ею территорией к русскому государственному телу, иначе, чем ко всем остальным своим подданным, в состав которых входят многие самые разнообразные племена в весьма значительных даже размерах?.. И закон наш, и чувство справедливости, и наука государственного права поучают нас, что все подданные Его Императорского Величества пользуются общим покровительством законов, все они имеют одинаковые гражданские права, все они пользуются свободою переселения и жительства».

Циническая ложь этих слов, вероятно, считалась правдой большинством членов высшей комиссии. Полуинородческая, обесцвеченная и обеспложенная метафизикой интеллигенция наша серьезно думает, что и закон, и справедливость, и наука — за равноправие евреев. Но даже простой мужик мог бы сказать графу Палену: «Зачем лгать, ваше сиятельство, будто все подданные Государя имеют одинаковые гражданские права? Вы дворянин, я мужик — разве у нас одинаковые гражданские права? Разве у нас с вами одинаковая "свобода переселения" и "свобода жительства"? И закон, и справедливость, и наука права во всех странах признают тысячи неравенств. Да и то сказать, если бы во всем было равенство, то зачем нужен был бы и закон, и справедливость, и наука? Они ведь только и существуют для того, чтобы определять неравенства. Почему вас так тревожит всякое ограничение евреев, когда коренное русское племя покорно несет самые разнообразные ограничения? Вас возмущает то, что местные власти и Государь хотели бы поставить некоторые преграды жидам, совершенно заполонившим русскую школу. Вы считаете это оскорблением еврейского национализма. Но как же мы, русские крестьяне, создатели государства и его защитники, терпим, что не только известный процент, но буквально ни один крестьянский мальчик не может быть допущен в те казенные

учебные заведения, где воспитываются дети вашего сиятельства? И после этого у вас поворачивается язык утверждать, будто и закон, и справедливость, и наука признают *одинаковые* права?»

Рассудку вопреки, наперекор стихиям либеральная высшая комиссия графа Палена признала, что «с государственной точки зрения еврей должен был равноправен. Не давая ему одинаковых прав, нельзя, собственно, требовать и исполнения одинаковых государственных обязанностей». На раздававшееся и тогда замечание, что еврей и не думает об *одинаковом* исполнении государственных обязанностей, комиссия предлагала преследовать еврея судом (ищи, мол, ветра в поле) — «но подобная категория проступков не должна лишать еврея тех основ, на которых зиждется его бытие, его равноправие как подданного, его свобода как гражданина».

Вот с какой страстностью отстаивали наше жидовство русские тайные и действительные тайные кадеты еще четверть века назад.

III

27 июня

Среди грубо-бестактной болтовни, которой наши кадеты 1-го и 2-го сорта отличились в Лондоне, любопытна похвальба г-на Милюкова: «Пока русская Государственная Дума останется законодательной, оппозиция в ней будет оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». Другими словами, евреи, кадеты, поляки, мусульмане и революционеры разных оттенков будут противиться не Монарху, а правительству Монарха, как бы от его имени. Выходит невероятная чепуха. Нуждается ли русский Государь в революционерах и инородцах, чтобы вести оппозицию против назначаемого им кабинета, давал ли он полномочия преступным и полупреступным партиям — об этом г-н Милюков скромно умалчивает. Читатели обязаны с этих пор думать, что выборгское воззвание (редакция которого приписывается г-ну Милюкову) есть акт «оппозиции Его Величества». Воззвание не платить Государю налогов и не давать солдат, равно как мольбы кадетской партии в Европе не давать России ни франка взаймы, равно как ламентации г-на Милюкова в Америке, — все это деяния «оппозиции Его Величества»! Так как из среды парламентской оппозиции 1-й и 2-й Дум вышел аграрный бунт и заговор на жизнь Государя, то это тоже акты «оппозиции Его Величества»?

В названной нелепой фразе г-на Милюкова любопытна не пред-

намеренная ложь — хотя бы величайшего цинизма; любопытна манера нашего иезуитского либерализма притворяться благонамеренным, архилояльным, закономерным, «без лести преданным» Монарху одновременно с совершенно обратной практической политикой. Кадеты лезут к власти с поцелуем и натравливают на нее разъяренных своих «ослов». Одной рукой обнимают власть, другой — ласково душат. Такая «оппозиция Его Величества» установилась у нас давно, за десятки лет до последней революции. Ярким примером ее было поведение Комитета министров и высшей комиссии графа Палена, собранной в 1880-х годах по еврейскому вопросу. Несмотря на то что министрам и комиссии превосходно было известно «убеждение» Государя относительно процентной нормы евреев в школах и относительно черты оседлости, сановные кадеты и тогда изо всех сил стояли за равноправие.

Совершенно тоном г-на Милюкова высшая комиссия заявляла: «Сама история законодательства... учит нас, что существует лишь один исход и один путь (правда, медленный и постепенный) — это путь освободительный и объединяющий евреев со всем населением под сенью одних и тех же законов. Обо всем этом свидетельствует не теория или доктрина, но живая столетняя практика». «Верно ли это?» — спросит читатель. Ни в малейшей степени, конечно, не верно. И история, и наука ничего подобного не говорят. Они утверждают нечто обратное, но эти словечки — «история», «наука» — употребляются нашими политическими иезуитами совершенно как в комедии Островского «металл» и «жупел». Расчет, видите ли, нехитрый. Носители власти, заваленные государственными делами, может быть, не читали многотомных исследований по еврейской истории и потому поверят высшей комиссии на слово. *«Один исход и один путь»* — равноправие. От имени «истории законодательства» и «науки» Верховную власть бюрократия припирала к стене. Но Александр III, конечно, помнил, что были в истории и другой «исход», и другой путь, например «исход из Египта» и путь вон из страны, где евреи размножились в опасной степени. Занесены в историю и другие исходы, но первый остался на все века классическим по гуманности и простоте. Не «столетняя практика», как лгала высшая комиссия, а четырехтысячелетняя практика по еврейскому вопросу убеждает, что равноправие евреев всегда равносильно захвату ими всех преимуществ, причем буквально все народы оказываются при этом условии в кабале еврейской. Все правительства начинают с того, что пробуют путем равноправия слить евреев с местным населением, и ни одному это не удавалось. С непостижимой наивностью высшая комиссия графа Палена одновременно требовала равнопра-

вия для евреев и предупреждала, чтобы о слиянии евреев правительство и не думало. «Правительство не должно увлекаться надеждами на возможность полной ассимиляции евреев с остальным населением. Ассимиляция эта нигде не достигнута и никогда достигнута не будет вследствие слишком резких отличий семитической расы, а потому излишне задаваться несбыточными надеждами...»

Как вам это нравится? Но ведь если иностранцу правительство дает равноправие (права натурализации), то лишь в убеждении, что он принял или на пути к тому, чтобы искренно принять новую национальность, ассимилировать себя с местным населением, слиться с ним в государственных симпатиях, языке, культуре и, наконец, в самой крови своего потомства. Если бы иностранец требовал натурализации и, подобно евреям, оставлял уверенность, что он и его потомство навсегда останутся совершенно особой национальности, особой веры и крови, — то была ли бы хоть тень смысла давать такому иностранцу права натурализации? Всякий народ есть живое тело. Что бы живое тело ни принимало в себя, оно принимает под двумя строгими условиями: принятое должно быть или усвоено, или выброшено вон. Неусвояемые инородные предметы, которые нельзя выбросить, облекаются в теле нагноением, как занозы, чтобы путем хотя бы жгучих страданий освободиться от них, или замуровываются в известковой капсуле, то есть в строго непереходимой черте оседлости. Не составляет ли верх наглости со стороны сановных кадетов требовать, чтобы русский народ принял в свой организм заведомо неусвояемое племя, притом паразитное в опасной степени? Если не явное предательство, то самая пошлая маниловщина сквозит в разглагольствовании высшей комиссии о том, что «присоединенные к государственному телу народности, сохраняя свой внешний и внутренний облик, со всей искренностью и преданностью служат благоденствию, величию и славе общего отечества, сознавая себя его живыми и деятельными членами». Это писалось в эпоху, когда ирландцы в Англии, поляки в Германии, славяне в Австрии давали, казалось бы, достаточный материал для суждения об «искренности и преданности» маленьких народностей «общему отечеству».

Только меньшинство высшей комиссии согласилось установить известную норму приема евреев в русские школы. «Большинство (8 членов против 5 вместе с председателем) признавало установление какой-либо процентной нормы крайне неудобным, как меру произвольную, несправедливую по отношению к хорошим ученикам из евреев и потому ненавистную, которую весьма легко было бы истолковать как преследование евреев, их племени и религии». А

чего боятся пуще огня наши высокопревосходительные лицемеры — это того, как бы кто не «истолковал» их поведения в неблагоприятном для еврейства смысле.

Я не буду останавливаться на фальшивых, крайне межеумочных постановлениях комиссии графа Палена по школьно-еврейскому вопросу. Как очень многие наши высшие комиссии и особые совещания, комиссия графа Палена явилась многолетней обструкцией Его Величеству, канцелярским тормозом для выраженного Монархом убеждения, попыткой похоронить акт Верховной совести и власти в бумажно-бюрократической могиле. Но Император Александр III был живой человек. Может быть, ему надоело ждать мудрых чиновничьих решений через неопределенное число лет, когда жизнь кричала о немедленной помощи, а может быть, хитрый маневр казенных либералов был Государем замечен. По Высочайшему повелению еще в начале 1882 года началось ограничение приема евреев в разные школы, начиная с Военно-медицинской академии. Евреи до того заполонили военно-врачебное ведомство, что пришлось не только ограничить, но и совсем прекратить прием евреев. То же произошло с ведомством путей сообщения, отчасти с горным и прочими. Ввиду развивающегося революционного брожения в школах правительству нужно было спешить. Министерство внутренних дел, например, дознало, что «*большинство* студентов-евреев Харьковского университета и ветеринарного института *вовсе не посещает лекций*, а записывается в студенты только для того, чтобы избежать воинской повинности и иметь право жить в Харькове, где они занимаются торговыми предприятиями, составляя вместе с тем крайне ненадежный в нравственном и политическом отношении элемент». Губернаторы (например, харьковский Петров) продолжали доносить о растлевающем влиянии евреев-учеников на русскую учащуюся молодежь. Комитету министров пришлось «впредь до утверждения общих правил» предоставить министру народного просвещения бороться с наплывом еврейства в школы по его усмотрению. «Страха ради иудейска» это положение Комитета министров, хотя и Высочайше утвержденное 5 декабря 1886 года, опубликовано не было и в Свод законов не вошло. Фактическая власть, что касается бюрократии, и тогда была почти сплошь в инородческих руках. Делянову, как армянину, игравшему притом на гуманных чувствах, видимо, хотелось угодить Императору, но не хотелось брать на себя ответственности перед евреями. Делянов вошел с представлением в Комитет министров об определенной норме приема евреев, но Комитет уклонился от того, чтобы покрыть это предложение своей властью. «Принимая во внимание, что опубликование во всеобщее

сведение ограничительных для евреев постановлений могло бы быть неправильно истолковано, Комитет находил, что преследуемая правительством цель ограждения учебных заведений от излишнего наплыва лиц еврейского происхождения может быть с большим успехом достигнута путем частных распоряжений... министра народного просвещения». Оцените трусость, явно просвечивающую сквозь этот тягучий канцелярский язык! Трусость, помноженная на бездарность, — вот подкладка фальшиво-либеральной превосходительной оппозиции Его Величества. Именно она затянула нас в революционный омут.

1 июля исполняется 22 года со времени деляновского циркуляра о процентной в отношении евреев норме в университетах. Вслед за тем установлена была норма для других высших и средних школ. Результаты нормировочной политики теперь налицо. У правительства нашего, парализованного инородцами, никогда не было мужества, чтобы взглянуть на вопрос прямо. Одно из двух: или евреи не опасны, и тогда норма приема в школы не имеет смысла; или евреи опасны, и тогда норма тоже не имеет смысла.

Опасность евреев ведь в том, что это *паразитный* человеческий тип, особая порода со всеми строго определенными в биологии паразитными качествами. Спрашивается, какая возможна норма для допущения паразитов? Сколько именно блох или клопов вы считаете необходимым держать в своей спальне? Сведущие люди говорят, что уже одно насекомое может испортить нервному человеку всю ночь. Один какой-нибудь микроб, попавший в благоприятные для него условия, размножается в чахотку или чуму. Ясно, что единственной разумной нормой приема евреев в состав русской школы и русского общества должен быть 0 процентов. Это отвечает высшей справедливости, которая предписывает защищать свою жизнь. Но Делянов[5] ввел 10 процентов в черте оседлости, 5 процентов — вне этой черты, 3 процента — в столицах, то есть он принял приблизительно норму племенного распределения евреев. Сколько Бог послал этого яда, столько — полной мерой — каждая часть России обязывалась принять его. Надо заметить, что вне черты оседлости процент евреев падает до одного-двух, стало быть, удвоенная и утроенная норма являлась не ограничением, а льготой, условием, вызывающим наплыв еврейства из-за черты.

Хитрый Делянов одной рукой вводил «ограничения», а другою снимал их. Не далее как через два года после введения нормы, в 1889 году, Делянов разрешил попечителям учебных округов разрешать прием лучших из учеников-евреев *сверх нормы*. В успокоение власти было поставлено условие, чтобы аттестаты принимаемых сверх

нормы евреев имели «очень хорошие» отметки. А в успокоение евреев тут же разъяснялось, что общий вывод из всех «очень хороших» отметок должен быть не менее 3 $^1/_2$... Какова оппозиционная изобретательность! При еврейской наглости и бесчисленных способах подлога кто же из гимназистов-евреев не в состоянии получить «в среднем» 3 $^1/_2$? Стало быть, фактически уже через два года после издания «нормы» она была тем же графом Деляновым отменена, и никто этого среди правительства не заметил. Мало того, тот же министр в 1892 году распорядился, чтобы перевод учеников-евреев из класса в класс производился не соображаясь с нормой, а в 1896 году процентные нормы предписывалось относить ко всему числу учащихся, а не к числу поступающих в данном году. Словом, гуманный армянин формально выполнил волю Александра III, но фактически свел ее к нулю. Вот что называется у нас оппозицией Его Величества! Именно Делянову, хитрая преданность которого Монарху была увенчана графским титулом, наша школа обязана освободительным развалом. Преемнику Делянова Боголепову[6] пришлось своей кровью смывать результаты иезуитской политики. Боголепов был убит именно за отмену деляновского циркуляра, открывшего евреям шлюзы в высшую школу. Сменивший его Ванновский[7] тотчас по вступлении в должность увидал, что «процент учеников-евреев во многих учебных заведениях значительно превышает установленную норму», и с мужеством военного человека принялся восстановлять порядок. Чтобы совсем прекратить прием евреев, правительство наше никогда не наберется храбрости, но Ванновский шел к тому, сократив норму приема евреев на треть. Не прошло и года после этого — и новый министр просвещения г-н Зенгер[8] стер, точно губкой, все распоряжения Ванновского. Либеральный министр восстановил все деляновские нормы и циркуляры. Это снискало ему на один момент шумную популярность среди бунтовавшей молодежи. Деляновские нормы действуют и до сих пор. Что касается средних учебных заведений, то следующий либеральный глава министерства, г-н Лукьянов[9], в период, когда в качестве товарища министра он управлял просвещением, обставил прием евреев «рядом таких условий, которые дают широкий простор обходить эту норму на законном основании». Это не мои слова, а одного весьма официального документа. В чем состоят эти условия, гласит циркуляр г-на Лукьянова от 26 июля 1903 года. Между прочим, если бы в гимназиях оказались свободные вакансии, г-н Лукьянов разрешил принимать евреев и сверх процентной нормы. Евреев, окончивших прогимназии и шестиклассные реальные училища, предложено принимать «без применения к ним правил о процент-

ном ограничении». В приготовительные классы число поступающих евреев предложено производить независимо от числа поступающих в нормальные классы, при переходе же в первый класс ученики-евреи не должны подвергаться действию ограничительных правил. Стало быть, и сверху, и снизу, и в седьмом классе, и в приготовительном, и в первом — всюду предоставлены были лазейки для проникновения юрких сыновей Израиля.

С. М. Лукьянов, теперешний обер-прокурор Святейшего Синода, по-видимому, разделяет совершенно ошибочное пристрастие Вл. С. Соловьева к еврейскому племени. Вл. Соловьев был поэт и совершенный ребенок в практической жизни. По псалмам Давида он расположен был судить о еврейских ростовщических векселях, готов был простить им всю их ужасающую реальность. Г-ну Лукьянову, раз он — к счастью или несчастью отечества — попал из врачей в государственные люди, следовало бы трезвее взвешивать последствия своих циркуляров. В результате обструктивной в отношении идеи Александра III политики в школьно-еврейском вопросе правительство наше само создало еврейское революционное брожение. Стараясь втянуть в русские школы и русскую интеллигенцию возможно большее число евреев, правительство вызвало громадный наплыв этого племени, а попытки ограничить этот наплыв, попытки лицемерные и неустойчивые, повели к бунту еврейской молодежи. Русская молодежь при этом сыграла роль глупого теста, которое поднимается щепоткой дрожжей. Как блистательно следили звездоносные чиновники за исполнением Высочайше утвержденной нормы, доказывают следующие цифры.

В 1905 году евреев было в университетах:

в Петербургском (вместо 3%)	5, 6%
в Московском	4, 5%
в Харьковском	12, 1%
в Казанском	6, 1%
в Томском	8, 3%
в Юрьевском	9, 0%
в Киевском (вместо 10%)	17, 2%
в Варшавском	38, 7%
в Новороссийском	17, 6%

После революции 1905 года евреи хлынули в русские школы широкой волной. Петербургский университет принял в 1906 году почти 18 процентов евреев (вместо 3 процентов), Харьковский — около 23 процентов, Киевский — 23 процента, Новороссийский —

33 процента, Варшавский (в 1905 г.) — 46 процентов. Прибавьте к этому так называемых вольнослушателей-евреев и вольнослушательниц (между последними евреек было 33 процента). В прошлом году в среднем евреи занимали почти 12 процентов всего русского студенчества.

Так как еврейское племя составляет всего 4 процента общего населения Империи, то, стало быть, «гонимое племя» благодаря нашей правительственной политике, состоявшей в «оппозиции Его Величеству», успело занять *ровно втрое* больше мест в высшей школе, чем требуется идеей равноправия. На лестнице всех общественных карьер, на пути, ведущем к реальной власти, евреи захватили по три ступени на каждую одну ступень, занятую русским племенем. Последняя цель «оппозиции Его Величества» — совсем столкнуть народность русскую с исторической дороги и отдать величайшую из христианских империй во власть господам Пергаментам и Винаверам...

НАША СИЛА

28 июня

Вчера Империи нашей исполнилось 200 лет. Не в Ништадте, не в Петербурге, а в Полтаве победным громом пушек провозглашена Империя Петра Великого. В лице победителя и его героев мы, отдаленное и бесславное потомство, должны почтить прежде всего тогдашнюю Россию, тогдашних предков наших, тогдашний народ русский, проявивший исключительные, богатырские свойства. Не один Петр одержал победу над Карлом XII — Петр шел во главе родной ему и неотделимой России. Удивительная голова на удивительном теле! Их нельзя рассматривать отдельно, они — одно.

Я вовсе не слепой поклонник Петра Великого. Многое в этом гениальном царе мне кажется странным, предрассудочным, ошибочным в опасной степени, но, конечно, не сегодня говорить об этом. Разве не то же чувство возбуждает и Россия, и каждый из ее великих людей? Но что меня искренно восхищает в Петре — его энергия и несокрушимый дух. Двадцать лет вести одну войну и не устать! Двадцать лет держать свое отечество под кошмаром нашествия; двадцать лет вставать утром и вспоминать: у меня — война! Для этого нужны прямо нечеловеческие нервы. Как известно, у Петра было достаточно хлопот и великих замыслов помимо войны. Война ему мешала, война спутывала его внутреннюю и внешнюю

политику. Петр был вовсе не из числа тех полководцев, что — вроде Цезаря, Наполеона, Суворова — гоняются за военной славой. Война вначале была потехой, потом выгодной авантюрой, наконец — необходимостью государственной, а вовсе не ремеслом Петра. Он не был завоевателем. Ввязавшись в войну с Карлом, он тяготился ею — иногда настолько, что готов был уступить шведам коренной русский Псков, лишь бы они уступили ему устье Невы. Но как Петр ни тяготился войной, он не позволил себе смалодушествовать и бросить тяжелое дело потому только, что оно тяжело. «Не по силам? — изумляется гениальный человек. — Ну так я же тебя одолею!» Препятствия на то и созданы, чтобы преодолевать их. Для этого требуется время, страстное внимание и талант. Кое-что сделавший для науки Бюффон определял гений как терпение. Эдисон, тоже кое-что создавший, сказал, что в его работе «два процента гения и 98 процентов потения». Петр обладал внушением богов — догадкой и, сверх того, страшной и долговременной настойчивостью. Таковы же были его ближайшие сподвижники. Такой же была тогдашняя Россия. Она способна была вдохновляться и достигать, проявляя неистощимое упорство. Фридрих Великий недурно определил Петра и Россию: «Это была азотная кислота, которая поедала железо». Оба элемента стихийной силы. Спрашивается, что же было источником этой чудесной твердости и одновременно — остроты?

Мне кажется, силой нашей была *национальность*. К эпохе Петра Россия сложилась как нация. Великорусская народность, раздираемая нашествиями и мятежами, наконец созрела, как зреет хлеб, несмотря на бури и непогоды. Раса физически и духовно является вообще не сразу. Иногда рост ее надолго задерживается. Примеси отклоняются, совершенствуют или убивают породу. Основной тип борется с вариантами, но в конце концов наступает время, когда замысел природы осуществлен, порода созрела! Момент торжественный, как в жизни отдельного человека.

Созревшая национальность представляет собой гений народа. Это аккумулятор огромной, накопленной в веках энергии. Рассмотрите любую хорошо сложившуюся породу: какая страшная сила предназначена, например, для лапок только что родившегося львенка. Какая быстрота ног у детеныша дикой серны или острота зрения у орленка! Сложившаяся порода точно усовершенствованная машина. Она претворяет сырую материю в работу — в работу артистическую и непрерывную. Законченная раса есть как бы особая отдушина тайных способностей природы. Раз открытая, она дает неистощимый поток специальных сил. Национальность делает великое нетрудным. Грекам нисколько не трудно было их творчество красоты;

римлянам не трудны были завоевательные подвиги; англичанам — их мореплавание; немцам — их философия. Законченные народы носят свою гениальность столь же беспечно, как павлины свой пышный хвост, — но, чтобы этот хвост сложился, необходимы были редкие условия и долгие века. Россия в эпохе Петра Великого выработала в своем народе группу гениальных качеств, которые и развернулись букетом великих людей и великих дел. Что же составляет силу национальности?

Прежде всего — здоровье народное, физическая крепость. Это условие неизмеримо громадного значения. На великие дела нужен большой запас телесной свежести. Если Бог присутствует в своем народе, то последний безотчетно бережет себя и ставит в здоровую обстановку. Тот гений, что предостерегал Сократа от дурных решений, есть в каждом жизнеспособном существе, есть он и в народе. Не хочется отравлять себя, не хочется пачкать. Тянет к полезному, и прежде всего к деятельной жизни. Упорный труд дает хотя грубое, но обильное питание, а хороший корм удивительно быстро преображает расу. При безделье хороший хлеб дает жирных бездельников — при напряженном труде тот же хлеб дает богатырей. Московская Русь при всех несовершенствах культуры все-таки умела кормить себя досыта и не допускала до того, чтобы кормить собой соседей, как это делает теперешняя Россия. Случались голодные годы, но *хронического недоедания* вследствие чрезмерного вывоза хлеба не было. При всех несовершенствах своих Московская Русь сумела прикрепить бродячее племя к земле и втянуть его хотя бы в крепостной, но правильный, систематический труд. Вся политика Москвы в течение веков состояла в том, чтобы полукочевое состояние народное перевести в оседлое, остановить брожение, кристаллизовать нацию в постоянных формах. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — сказал лентяй, бродивший по земле, когда анархии его жизни был положен конец. Крепостное право впоследствии крайне извратилось, особенно когда у нас начали подражать польским и немецким обычаям, — но в начале оно оказало огромную услугу народу. Как московские князья-самодержцы собрали воедино землю Русскую, так крепостное право собрало силы народные, сосредоточило их на ежедневной работе, втянуло народ в привычку к методическому труду. Теперешняя анархия, как и древняя, в неисчислимой степени растрачивает рабочее время и трудовые силы, разбивает то и другое в случайные клочки. Крепостное же право у нас, как феодализм в Европе, урегулировало народную энергию, ввело ее в определенные формы, заставило работать не кое-как, а культурно. В результате за два первых царствования новой династии Россия, несмотря на

тяжелые войны, окрепла, отъелась, размножилась, выдвинула физически сильное поколение, для которого воевать двадцать лет оказалось нипочем.

Второе качество гения народного, проявленного созревшей национальностью, есть душевное здоровье. Гёте был прав, полагая, что вполне здоровая порода уже в третьем-четвертом поколении дает замечательного человека. Душевное здоровье характеризуется моментом, когда у человека устанавливается прекрасное самочувствие и он всем доволен. Бог, потрудившись шесть дней, обозрел творение, признал, что все «добро зело». Дух народный после многовекового творчества и тревоги наконец приходит в окончательное равновесие. Он здоров и счастлив. Таким был в основном своем настроении Петр, таким был и весь тогдашний народ. В созревшей душе, как в веществе взрывчатом, накоплена громадная сила. С виду инертная, она способна к подвигам и напряжениям титаническим. Пружина, свившаяся в веках, развертывается и дает неожиданную работу. Московская Русь, как ее ни хают у нас жидомасоны, сумела создать и здоровье тела, и здоровье духа народного. Петербург сумел его растратить.

В здоровье духа входила целая система культов — религиозный, государственный, племенной, семейный. Поколение Петра бесповоротно веровало в Бога, притом веровало единодушно, в православных способах выражения. Последние были превосходны не тем, что были лучше других, а тем, что были родные, вошедшие в самую плоть духа. Восемь столетий подряд поколения переживали возвышеннейшие чувства все в тех же словах и напевах, обкуриваемые тем же ладаном, освещаемые теми же восковыми свечками и лампадами. Как пение петуха, колокольный звон вошел в нервы нации, и она готова была драться до смерти за эти милые вещи — пение дьячка, пение петуха, мычание коровы, колокольный звон... Родина! Что вы, господа жидомасоны, в этом понимаете? Московская Русь сумела накопить в русском сердце эту драгоценность — *чувство родины*. Петербург сумел его растратить.

Вы скажете: а раскольники? Разве можно назвать единодушием, когда одна часть нации за какой-то лишний палец перстосложения предает другую проклятию? Я отвечу на это: да, это единодушие. Это спор более внутренний, чем «домашний спор», и он в самом деле взвешен судьбой. Это спор в пределах одной и той же души народной; это ее сомнение, которое было и проходит, почти прошло. Раскольничьи толки — в сущности, плохо понятые и потому одичавшие ветви православия, то самое, что в католичестве ордена. При более широком взгляде на существо веры наши ереси могли бы

питать Церковь, как ветви — дерево. Изменяя несколько направление ствола, ветви связаны с теми же вечными корнями и несут те же цветы и листву. Раскольники хвастают своим патриотизмом. Да как же иначе? Ведь они остались, как и мы, одной и той же русской веры, одной ее тысячелетней почвы!

Старое одушевление

Оно давалось единодушием веры. Московская Русь, столь оплеванная либералами, сумела сохранить в народе религию, то есть философскую высоту духа. Религия — связь с вечностью, с началом мира и непререкаемыми законами. Религия — связь современного мышления с тем, что слагалось в течение тысячелетий, начиная с сумерийской, халдейской, египетской цивилизации, продолжая вдохновением израильских пророков и греческих мудрецов, оканчивая священными настроениями родных подвижников. Религия, как хотите, не низость духа, а высота его; недаром она неразрывно связана с нравственностью, с самым тонким человеческим благородством! Органически, из глубин истории, из недр природы выросло наше народное православие. Москва охраняла его как зеницу ока. Петербург растратил его.

Поколение Петра — все сплошь московское, вышедшее из московской почвы — было сильно верой не только в Бога. С такою же невозмутимостью веровали в государственную власть, в величие своего племени на земле («Третий Рим»), в святость семейных начал. Были, конечно, и тогда преступники. Бывали и отступники — но не они давали тон жизни. В общем Россия, сравнительно небольшая по населению — всего-то в ней числилось 11—13 миллионов, — представляла несокрушимую скалу. Никогда народ не был подавлен такой неслыханной тиранией, как при Петре. Никогда он не изнемогал в такой степени от налогов и повинностей. Не щадя своих собственных сил, Петр не щадил и народных. До какой степени тяжко приходилось населению, показывают не только опасные бунты, но и общий результат Петрова царствования. Население при нем не возросло, но значительно сократилось (вероятно, не столько вымерло, сколько разбежалось в леса и степи). Почти сверхсильную навалил Петр задачу на Россию — и что ж? Они, то есть он и она, решили ее. Россия выдержала, и на скале именно тогдашней народной мощи был поставлен фундамент империи нашей. Слабая раса не выдержала бы, расползлась бы. Мы через двести лет еще существуем, и кто знает, может быть, еще поживем.

Почему бы в самом деле и не пожить России? Но вот беда: забыты истинные Петровы замыслы. Забыто то, чем была одушевлена Россия и что дает могущество каждому народу. Почти столетие сплошь посвящено у нас тому, чтобы размотать единство, расстроить единодушие народа, подорвать его веру в Бога и в себя. Целое столетие все идет к тому, чтобы денационализировать Россию. Я писал на днях, как правительство, одушевленное, по-видимому, самыми благими намерениями, из всех сил старалось насадить в России еврейскую интеллигенцию наряду с русской. Устраивались казенные еврейско-русские училища, давались евреям стипендии и всевозможные льготы, давались почетные звания, чины, ордена — лишь бы завести врачей-евреев, адвокатов-евреев, учителей-евреев, профессоров-евреев, инженеров-евреев, журналистов-евреев, не говоря уже о купцах и промышленниках обрезанного племени. Не одни евреи пользовались такой составляющей как бы «род недуга» благосклонностью русской власти. Целые немецкие княжества пересаживались под видом колоний на широкое тело России. Немецким крестьянам, не оказавшим ни малейших заслуг России, давались дворянские по величине поместья. Немцы на долгие годы освобождались от налогов и повинностей, им давалось самоуправление, им разрешалось быть иностранцами, и в то же время они пользовались всей защитой русской государственности. Прибалтийский край, потомство тевтонов, пятьсот лет разорявших наши границы и ливших кровь русскую, сделалось питомником новой аристократии. Наши герои вроде Ермолова, спасавшие Россию, как высшей почести просили «производства в немцы». Другая широкая струя, вливавшаяся в нашу знать, были шведы — за подобные же государственные заслуги! Третья струя — поляки. Четвертая — кавказские инородцы, армяне, грузины, татары, греки. В течение двухсот лет самое сердце нашей национальности — аристократия растворялась во всевозможных примесях, между которыми большинство были племена, исторически враждебные России. Невероятно пестрое крошево всевозможных наций, вероисповеданий, культур, традиций, предрасположений смешивалось, как в помойном ведре химика, в смесь мутную и нейтральную. Кислотные и щелочные элементы погашали друг друга, и в результате учетверенной, удесятеренной метисации получился аристократ-интеллигент, существо с крайне дробной, мозаической душой. Равнодушная вообще ко всему на свете, эта всечеловеческая душа, кажется, специально презирает Россию. Вот где самое слабое место нашей народности — наша правящая знать. Просмотрите список героев Полтавской битвы и список сподвижников Петра. Он охотно принимал иностранцев, он разыскивал спо-

собных между ними и приглашал их, но *первыми* у него были коренные русские. Того же метода держалась наследница его души Екатерина. Сама немка, она была из тех немцев, которые чувствуют величие России и вмещают его в себе. И Петр, и Екатерина — европейцы мирового размаха, понимали, что без национальности они ничто. К глубокому сожалению, Россия слишком быстро раскрыла свои границы и включила в них слишком много врагов своих. Не какого-нибудь деревянного коня, что погубил Трою, — Россия втянула в себя несколько царств, которые еще недавно воевали с ней, и имела наивность думать, что это усилило ее. Может быть, огромные приобретения Петра и Екатерины усилили бы нас, если бы мы отнеслись к ним, как англичане к своим завоеваниям, то есть постарались бы выжать из них все соки. Наше полуинородческое правительство не было одержимо этим пороком. Жиденький патриотизм его никогда не доходил до национального эгоизма. Покорив враждебные племена, мы вместо того, чтобы взять с них дань, сами начали платить им дань, каковая под разными видами выплачивается досель. Инородческие окраины наши вместо того, чтобы приносить доход, вызывают огромные расходы. Рамка поглощает картину, окраины поглощают постепенно центр. В одно столетие мы откормили до неузнаваемости, прямо до чудесного преображения, Финляндию, Эстляндию, Курляндию и Польшу. Никогда эти финские, шведские, литовские и польские области не достигали такого богатства и такой культуры, какими пользуются теперь. Никогда еврейство в этой части света не процветало, как под нашим владычеством. В чем же секрет этого чуда? Только в том, что мы свою национальность поставили ниже всех. Англичане, покорив Индию, питались ею, а мы, покорив наши окраины, отдали себя им на съедение. Мы поставили Россию в роль обширной колонии для покоренных народцев — и удивляемся, что Россия гибнет! Разве не то же самое происходит с Индией? Разве не погибли красные, черные, оливковые расы, не сумевшие согнать с тела своего белых хищников? А мы — некогда племя царственное и победоносное — сами накликали на себя чужеземцев, мало того: победили их для того, чтобы силой посадить себе на шею!

Углубляясь в великое прошлое, когда Россия была сама собой, понимаешь силу народную и бессилье. Разве можем мы теперь мечтать о каких-нибудь победах? Конечно, нет. Как организму, который кишит посторонними, внедрившимися в него организмами, России прежде всего нужно подумать об элементарном лечении. Что из того, что тело нашей Империи огромно и румянец еще горит на исхудалых щеках? Пока народом нашим питаются другие народы —

она не воин. Пока мы — добыча евреев, поляков, немцев, армян, мы не встанем с места. В одно полустолетие мы дважды подымали меч и дважды бессильно его опускали... Если бы Господь помиловал нас и послал разум, отнятый за какие-то грехи, то перед тем, как думать о великих победах, народ наш почистился бы и полечился. Национальность расстраивается и восстановляется. Явись дружина сильных, национально-русских людей в составе власти — и Россия спасена. Наше правительство, конечно, и теперь состоит в большинстве из русских людей. Некоторые из них обладают сильной волей — но есть ли хоть тень какой-нибудь национальности у их кадетствующих товарищей, которых лицемерное «нет» погашает самое твердое «да»? Вообразите их в числе сподвижников Петра Великого. Какую бы роль они играли в действительно большой реформе? Вообразите г-д Милюковых, Гучковых, Бобринских и пр. в качестве советников тогдашней власти. Никакой Полтавы не было бы, Нарвой начали бы несчастное царствование, ею и закончили бы.

Празднуя годовщину великой битвы, посчитаем теперешние силы. Поищем, есть ли сейчас движущий их великий дух. Не угашайте духа! Не угашайте национальности своей — в ней начало наше, и без нее — конец...

ХОЗЯЕВА И РАБОТНИКИ

28 июля

Борьба с социализмом до сих пор бесплодна. По-видимому, придется Европе испробовать эту форму общества, хотим мы этого или не хотим. Раз дело доходит до того, что сразу триста тысяч рабочих, как в Швеции, объявляют забастовку, то есть, считая с семьями, бастует около трети населения страны, то ясно, что «сроки близятся». Чрезвычайно трудно представить себе, какими мерами общество и власть могли бы остановить грозное явление. Швеция не какая-нибудь Португалия или Румыния. Швеция в высшей степени культурная страна и идет не в хвосте, а в голове прогресса. Население Швеции нельзя упрекнуть ни в диком невежестве, ни в пьянстве, ни в развратных привычках. Как некогда шведы отличались храбростью, так теперь — трудолюбием. Благодаря тем же условиям, что дали расцвет Западной Европе, Швеция сделала громадные успехи за последнее столетие. Но накануне, казалось бы, общего народного благополучия стране угрожает социальная катастрофа. При

помощи сравнительно несильной социалистической пропаганды Швеция быстро вступила в эпоху классовой борьбы, борьбы труда и капитала, и, может быть, этой маленькой стране суждено открыть собою эру осуществленного, торжествующего социализма...

Шведское правительство, как известно, уклонилось от всякого участия в этой колоссальной мирной борьбе — борьбе терпений. С точки зрения принятого в Швеции права — права стачек — власти поступают правильно. Государство в данном случае имеет (будто бы) не политический, а только полицейский интерес. В минуту, когда та или другая сторона — стачки или локаута — позволит себе нечто незакономерное, государство выступит карающей силой. Запрещая кровавые поединки, закон шведский разрешает бескровную междоусобную войну, хотя бы миллионы людей боролись с миллионами рублей.

Все это, однако, гладко выходит лишь в теории. На практике же почти всегда выступает на сцену деятель, разрушающий бумажные построения, именно — сердце, страсть. Даже шуточная борьба двух приятелей часто переходит в драку. Борьба двух партий по чисто отвлеченному разномыслию доводит иногда до кровавого азарта. Естественно, что страсть борьбы становится жгучей, когда предметом ее становится вещественный интерес, разорение, голод, гибель семьи. При этом условии требуется крайнее напряжение инстинктов гражданственности, дабы хрупкая перегородка между насилием и правом не рухнула.

Грозное настроение рабочих союзов и синдикатов делает положение Европы в высшей степени рискованным. Триста тысяч рабочих Швеции, очевидно, включают в себя весь запас шведской армии и флота. Это люди, прошедшие военную школу и умеющие стать в ряды. Если они вошли в стачку, стало быть, на армию правительство рассчитывать уже не может. Притом нужно заметить, что всюду в Европе, и особенно в Швеции, не воевавшей сто лет, действующая армия фактически превратилась в милицию. Она постепенно сделалась штатской армией, разделяющей все интересы обывателей, все волнения и злобы дня. Особенно это относится к таким культурным странам, как Швеция, где солдат поступает в полк из рабочих, привыкших к политической газете, как к табаку, и весьма начитанных в брошюрочной агитационной литературе. Чрезвычайно трудно ждать, чтобы теперешняя армия у культурных народов при решительном столкновении поддержала «буржуазное правительство». Правда, в рядах войск немало буржуа. Сказать по секрету, сами нынешние пролетарии — маленькие буржуа, что касается по крайней мере недостатков этого класса. Сами пролетарии так же склонны к комфорту, к лени, к жизни на чей-то чужой счет.

Именно упадок трудовых привычек, с одной стороны, буржуазное вольномыслие — с другой, падкость к соблазнам — с третьей, вызывают рабочее движение в большей степени, чем реальная нужда. Последняя, впрочем, тоже растет — если не абсолютно, то относительно. Да и как не расти!

Каждая стачка, каждый локаут вынимают у рабочего класса и у капиталистов громадные суммы. Ежедневное содержание забастовщиков (например, трехсоттысячной их армии) — требует *ежедневно* минимум двести тысяч рублей, считая по две кроны в день. У рабочих ведь есть семьи, их нужно кормить. Работник тем отличается невыгодно от машины, что остановить его, не отапливая, нельзя. Остановленная двуногая машина начинает потреблять свое производство, не производя его. В силу этого — по закону спроса и предложения — стремительно растут цены на все продукты и дороговизна отягчает бросивших работу в высшей степени. Агитаторы кричат: потерпите еще две недели — капиталисты уступят! Каждый день забастовки вынимает у капиталистов из кармана огромные суммы! В конце концов богачи непременно уступят! Но эти подстрекательства ложны в самом корне. Капиталисты, во-первых, гораздо дольше могут выдержать безработицу, ибо самый капитал есть не что иное, как запас человеческого труда. Представители локаута могут сказать вождям стачки: «Ну да, мы разоряемся. Мы с каждым днем праздности становимся все менее богачами. Мы — как и вы — съедаем самих себя. Но что же это значит? Это значит только то, что с каждым днем вынужденной вами праздности мы становимся все менее способными выполнить ваши требования. Капитал, организатор труда, с уменьшением его уменьшает не для нас только, но и для вас возможность пользоваться этой силой. Неделю назад мы были в состоянии поставить новые машины и, уменьшив этим расходы производства, повысить плату, но праздная неделя эту машину съела. Следующая неделя съест какое-нибудь другое необходимое улучшение, например возможность страховать рабочий труд, дальнейшая неделя съест возможность оказывать больничную помощь и т. д. Несколько недель праздности — и долгими годами поднимавшееся дело будет не в состоянии конкурировать с производством других народов. Мы будем выброшены с рынка. Конечно, мы, капиталисты, погибнем или принуждены будем бежать в другие страны, но вместе с гибелью капитала погибнет и труд. Классовый раздор ослепляет. Он заставляет видеть антагонизм интересов и не позволяет видеть их коренной солидарности. Капитал действительно не существует без рабочих, но дело в том ведь, что и современные рабочие немыслимы без капитала».

На такое рассуждение социалистические вожди обыкновенно отвечают: «Мы знаем организаторскую роль капитала и потому требуем, чтобы капитал был наш! Земля, орудия производства, продукты его должны быть общими!»

Представители капитала могут сказать: «Все это и теперь фактически общее. Абсолютная собственность — миф. И от земли, и от орудий производства, и от продуктов его рабочие берут свою в общем львиную долю. Капиталисты пользуются для себя лично лишь маленькой частью своей собственности. Последняя служит всем, кто вовлечен в ее работу. Так называемая прибавочная стоимость, которую будто бы поглощают капиталисты, играет роль *ускорения* в механике. Без прибавочной стоимости не было бы и капитала, а без него не было бы и организации труда. Социалисты требуют общего распоряжения капиталами, не доказав способности наживать их и руководить ими. Способность эта составляет *индивидуальный* талант. В этой области он столь же редок, как во всех других. Вы хотите отнять капиталы у буржуа. Отнять их, вероятно, вы сможете, но вот вопрос: сумеете ли вы их *не растратить*? Сумеете ли вы их *умножить* в степени, необходимой для прогресса дела?» «Сумеем!» — уверенно отвечают рабочие. Но если будущий социализм в самом деле сумеет это сделать, то лишь при условии, что будет вести себя так, как и современные хозяева, то есть не только не увеличивать платы рабочим, когда не из чего ее увеличивать, но прямо уменьшать ее, когда это становится необходимым. При самой полной социализации труда нелепо думать, что не будет большой заботы о том, как свести концы с концами. Это только у розовых утопистов будущий социальный строй рисуется как царство небесное. Немножко труда «по способностям» — и райское блаженство «по потребностям» каждого. Но утописты обыкновенно книжники. В сущности, они ничем не отличаются от чиновников, кроме отсутствия власти. Ведь и бюрократия исписывает горы бумаги в мечте осчастливить народ. Нет сомнения, что и в строе социализма придется бороться с теми же препятствиями *к общему* благу, что и теперь — с недостатком способностей и с излишком потребностей. Лень, бездарность, машинность, отсутствие инициативы, болезни, слабость и старость, наконец, полный набор пороков останутся и тогда. А принцип равенства — душа демократии — потребует, чтобы все лучшее сделалось общедоступным. Хорошего, однако, в природе понемножку. Разделенное на многих, прекрасное перестает быть хорошим. Капитал, разделенный в толпе пролетариев, из силы обращается в бессилие, как умная книга, разобранная по буквам, обращается в бессмысленный шрифт.

Пролетариат ослеплен теперь некоторыми видимыми сторонами буржуазно-капиталистической роскоши — дворцами, парками, автомобилями, блеском нарядов и утонченностью жизни жен и детей капиталистов. Вся эта яркая обстановка капитала действует как возбуждающий зависть и даже ненависть соблазн. Как роскошь Древнего Рима привлекла варваров завоевать его, так роскошь капитала соблазняет отнять ее. Но за яркой ширмой рабочие не видят авторов капитала, скромных тружеников, почти таких же чернорабочих, как они сами. Жены, дети и часто наследники богачей действительно ведут праздный образ жизни, но сами капиталисты не были бы капиталистами, если бы они серьезнейшим образом не работали, и часто с утра до вечера, без передышки. Вынуть сердце из капитала — ум и талант собственника, вынуть основную энергию организатора — значит убить капитал или, по крайней мере, остановить его. А капитал остановленный всегда разматывается. За сверкающими соблазнами культуры, обязанной существованием капиталу, рабочие не видят своей *рабочей аристократии* — хозяев — и по-детски думают, что они сами могут быть хозяевами. Но если бы они могли, то и были бы ими. К сожалению, талант организаторский, подобно всякому таланту, есть достояние крайне немногих лиц. Хозяевами *рождаются*. Их выбрать нельзя. Как все таланты, их выбирает сама природа и *назначает* обществу, хочет оно этого или не хочет. Основная черта хозяйского таланта, как всякого, — независимость, индивидуальность. Талант мало выбрать — в его сфере ему приходится подчиниться. В будущем социалистическом строе рабочим — если они не захотят одичать в анархии — придется искать хозяев и, найдя их, подчиняться им почти на тех же условиях, как и теперь.

Теперешняя борьба труда с трудом (ибо капитал есть накопленный труд) дезорганизует обе стороны — она разгоняет физическую силу, с одной стороны, и талант — с другой. Осажденный стачками локаут может в конце концов сдаться. Промышленность всякая на свете может быть разорена. Вытесненные из хозяйских ролей организаторские таланты могут быть затоптаны толпой. В результате неизбежно только крушение цивилизации и, может быть, гибель народов. Погибнуть, вероятно, окажется гораздо легче, чем возвратиться невредимо в первобытные условия. Не забудьте, что если древний варвар не имел современного капитала, то он имел не истощенное тогда огромное богатство природы. Леса были естественными питомниками дичи и пушного зверя, они не только давали дерево для постройки и дрова для топлива, но и кормили и одевали варвара. Реки и озера, обильные рыбой, были естественными садками водяной пищи. Нынче дикая природа всюду разорена, а культур-

ная требует капитала для поддержания ее. Разорите капитал — вы убьете не только фабрику, но и ферму. Вы не получите не только требуемой прибавки, но и теперешний кусок хлеба, может быть, окажется роскошью.

Прибавка к наемной плате вообще возможна, но лишь при дальнейшем развитии общего дела, то есть при том условии, когда расход на производство уменьшается (благодаря усовершенствованию машин и искусства рабочих), а доход растет. При обилии хлеба и вещей цены падают и делаются общедоступными. При урожае на хлеб у нас на юге хлеба, что называется, «девать некуда», и не только нищие, но и скот сыты. Нужно стремиться, чтобы во всех областях человеческого труда стоял постоянный урожай и чтобы всех вещей было «девать некуда». Вот единственный путь к улучшению быта рабочего класса. Если за 8 или 6 часов труда (смотря по развитию дела) рабочий будет иметь всего достаточно, то разве общая сумма получаемых им от подобной культуры благ не будет соответствовать очень высокой «заработной плате»? Но такая высокая плата возможна лишь при труде народном, организованном естественно, то есть при посредстве *свободных* организаторских талантов. Высокая плата возможна при серьезном накоплении капитала и непрерывном его развитии. Она возможна при том лишь условии, когда рабочие будут смотреть на хозяйский капитал как на свой собственный и оберегать его от всяких потрясений. Если скажут, что и хозяева обязаны смотреть на свой капитал как на общий с рабочими, то я отвечу от всего сердца: конечно! Но все действительные организаторы так и смотрят. Вопреки жестокому определению собственности как права «употреблять и злоупотреблять» вещью, настоящий хозяин только употребляет, и фактически всегда в целях не личного, а общего интереса. Я отнесся бы с сочувствием к рабочей забастовке, вызванной мотовством хозяина. Расточители капитала вроде тех, которых берут под опеку, должны быть бойкотированы обществом — и прежде всего участниками капитала, рабочими. Расточители злостные должны преследоваться уголовным порядком, насколько это вообще возможно. Но, с другой стороны, и рабочие, останавливающие жизнь труда недостаточно обоснованными стачками, должны считаться такими же злостными расточителями, и к ним должен быть применен уголовный закон. Социализм, вероятно, придется испробовать, как многое дурное, чтобы убедиться, до чего он не отвечает природе общества. Социализм следует рассматривать не как восстание труда против капитала, а как бунт трудовой посредственности против трудового таланта.

Что такое демократия

Кто были варвары, разрушившие древний мир? Я думаю, это были не внешние варвары, а внутренние, вроде тех, которых и теперь в Европе сколько угодно. Мне кажется, разрушителями явились не скифы и не германцы, а гораздо раньше их — господа демократы. Так как в эти дни, по случаю дополнительных выборов в Государственную Думу, снова по всей России закипели споры о демократии, то нелишне было бы многим государственным людям заглянуть в учебник и поточнее справиться, чем была демократия в ее классическую эпоху, чем она была в ее отечестве, «под небом голубым» родных богов.

О Древней Греции у нас в публике большею частью судят по Гомеру, по греческим трагикам, по прелестной мифологии, которую популяризировал Овидий. Но религия и героический эпос Греции — продукт вовсе не демократии эллинской, а более древнего аристократического периода. Теперь установлено, что античный мир — подобно христианскому — имел свое средневековье, довольно похожее на наше. Как наша демократия является лишь наследницей феодальной эпохи, доведшей культуру духа до расцвета мысли, так древнеэллинская демократия не сама создала, а получила в дар тот богоподобный подъем умов, которым отмечен так называемый «век Перикла». Великие люди этого века были или аристократы, или воспитанные в аристократических преданиях буржуа. Но как распорядилась собственно сама демократия с наследством предков — вот вопрос!

Чтобы понять, что такое был знаменитый афинский демос, нужно читать не трагиков, а Аристофана. Помню мое великое изумление, когда я впервые познакомился с его комедиями. Из них выступает живой, неприкрашенный народ греческий во всей своей невзрачной натуре. Народ свободный, но даже в такой небольшой массе граждан — 20—30 тысяч человек — что это была за пошлая толпа! Сколько невероятной грубости, цинизма, жадности, раболепия, трусости, суеверия самого темного и разврата самого неистового — и где же! У самого подножия великого Парфенона и боговидных статуй!

Подобно французской революции, которая сражалась с Европой моральными и физическими средствами, собранными в феодальный период, афинская демократия вначале была аристократична и силой инерции шла по стопам героев. Но чуждый ее природе подъем духа быстро упал. Чуждый ей гений погас. «Равноправие» — вот был лозунг, во имя которого эллинская демократия в эпоху Персидских

войн низвергла остатки олигархии. Провозглашен был, как и в наше время, принцип, что решение принадлежит большинству. Что же вышло? Очень скоро обнаружилось то самое, что мы видим в современной Европе, именно, что демократия по самой природе своей не политична. На площади Афин толпился народ, нуждой и бездарностью прикованный сыскони к вопросам плуга и топора, аршина и весов. Что могли понимать в вопросах внешней политики бедняки, не знающие точно, какие страны скрываются за горизонтом? Как они могли разобраться в вопросах финансовых или административных? Между тем пролетарии получили в стране решающий перевес. Вспомните, как они им воспользовались.

Чернь и власть

Сколько ни болтайте масло и воду, удельный вес сейчас же укажет естественное место обеих жидкостей. Чернь, даже захватившая власть, быстро оказывается внизу: она непременно выдвигает, и притом сама, неких вождей, которых считает лучше себя, то есть аристократов. Завязывается игра в лучшие. Чтобы понравиться черни, нужно сделаться ей приятным. Как? Очень просто. Нужно подкупить ее. И вот еще 24 столетия назад всюду, где поднималась демократия, устанавливался грабеж государства. Народные вожди сорили средства, чтобы выдвинуться, а затем довольно цинически делились казной с народом. Даже благородный Перикл вынужден был подкупать народ. В течение всего лишь нескольких десятилетий развилась грубая демагогия. Нечестные люди, чтобы захватить власть, бесконечно льстили народу. Они обещали несбыточные реформы и удерживались на теплых местах лишь подачками черни. Правда, вначале еще бодрствовал дух старого аристократизма. Власть площади сдерживалась магистратурой, выбираемой из более просвещенных и независимых классов. Каждое незаконное решение народного собрания могло быть оспариваемо на суде. Однако само судопроизводство демократическое было ужасно. В невероятной степени развился подкуп присяжных. Чтобы затруднить этот подкуп, пришлось увеличивать число присяжных, а это было возможно, лишь оплачивая их труд от казны. По мере того как пролетарии захватывали суд и власть, порядочные люди сами удалялись от этих должностей. В конце концов суд сделался простонародным. Что же могла обсуждать вонючая, по словам Аристофана, толпа в несколько сот человек? И как она могла разобраться в тонкостях права? Тогда именно и выдвинулись софисты, горланы, адвокаты дурного тона, и тогда суд

сделался в их руках слепым орудием партийной борьбы. Смерть Сократа, одна из бесчисленного ряда «судебных ошибок», показывает, какова была справедливость демократического суда. Установилась такая чудная система. Государственные финансы истощались в тратах на «обездоленный» класс. Покрывать недостачу приходилось конфискациями богачей, а для этого создавались политические процессы. Толпа судей знала, что ей заплатят из конфискуемой суммы, — как же им было не признать богача виновным? «Всем известно, — говорил один оратор, — что, пока в кассе достаточно денег, Совет не нарушает закона. Нет денег — Совет не может не пользоваться доносами, не конфисковать имущества граждан и не давать хода предложениям самых недостойных крикунов».

В силу этого в стране свободы и равенства ужасающе развились доносы. Адвокаты бессовестно шантажировали богачей. Последним, чтобы защитить себя, приходилось самим нанимать доносчиков и на подлость отвечать подлостью. Прелестная система!

Читая Аристофана, вы видите, что эллинскую демократию волновали те же идеи социализма и коммунизма, что теперешний пролетариат. Равенство «вообще» особенно охотно переходило в уме бедняка на равенство имущественное. Тогдашние товарищи пытались кое-где даже осуществить «черный передел» (например, в Леонтинах в 423 г., в Сиракузах при Дионисии, на Самосе в 412 г. и пр.). Такой грабеж высших классов низшими раскалывал нацию и обессиливал ее хуже всякого внешнего врага. Над головой энергической, трудолюбивой, бережливой, даровитой части нации постоянно висел дамоклов меч: вот-вот донесут, вот-вот засудят, конфискуют имущество. Охлократия превзошла своей тиранией олигархию VII века. Немудрено, что лучшие люди Греции, познакомившись на деле с тем, что такое демократия, кончили глубоким презрением к ней. Фукидид называет демократический строй «явным безумием, о котором рассудительным людям не стоит тратить и двух слов». Сократ смеялся над нелепостью распределять государственные должности по жребию в то время, как никто не захочет взять по жребию кормщика, архитектора или музыканта. Величайший из греков — Платон — держался совершенно в стороне от политической жизни. Он думал, что при демократическом устройстве общества полезная политическая деятельность невозможна. Того же мнения держался Эпикур и пр. Демократия внесла с собой в общество междоусобную войну: лучшим — то есть наиболее просвещенным и зажиточным — классам приходилось вступать между собой в оборонительные союзы от черни, вроде наших локаутов, и даже призывать на отечество свое чужеземцев.

Что такое была афинская демократия — это хорошо видно из того, что она, подобно нашим думцам, установила себе казенное жалованье. За посещение народного собрания граждане получали каждый по три обола; впоследствии эту плату увеличили до одной

драхмы. А за регулярные собрания, более скучные, получали до 1 $^1/_2$ драхмы. Неспособным к труду гражданам государство стало платить по оболу и по два, то есть вдвое больше, чем нужно для того, чтобы прокормить человека. Роскошь аристократии, выразившаяся в искусстве, нисколько не облагородила чернь. Эта роскошь возбудила в демократии только зависть и вкус к праздности. «Народ в демократических государствах, — говорит один историк, — пользовался своей силой, чтобы пировать и развлекаться на общественный счет. Требовательность постепенно возрастала. В Тарсите справлялось больше празднеств, чем дней в году. Под всякими предлогами народу стали раздавать казну. Прежде всего в пользу народа обратили театральные сборы, а затем и разные другие. В эпоху Филиппа и Александра это содержание народа, так называемый феорикон, сделалось главной язвой афинских финансов. Она поглощала все ресурсы, и наконец не на что было вести войну».

Вы думаете, демократия очнулась от этого безумия, видя надвигавшуюся тучу из Македонии? Ничуть не бывало. Только когда Филипп подступил уже к Афинам, Демосфену удалось уговорить граждан отказаться от даровых денег. Но едва лишь мир был восстановлен, сейчас же вернулись к феорикону, ибо, как выразился Демад, «феорикон был цементом, которым держалась демократия».

Истощить казну на кормление обленившегося народа и подготовить ее к неспособности вооружить отечество — вот немножко знакомая нам картина, имевшая прецедент, как говорится, в глубокой древности. Новгородцы, по замечанию Костомарова, пропили свою республику. Афиняне проели свою. Едва ли не от той же причины пала величайшая из республик — римская. Демократия начинает с требования свободы, равенства, братства, кончает же криком: «Хлеба и зрелищ!» А там хоть трава не расти!

Не варвары разрушили древнюю цивилизацию, а разрушила ее демократия в разных степенях ее засилья. Пока пружиной древних государств служило стремление к совершенству (принцип аристократизма), пока обществом правили лучшие люди, культура богатела и народы шли вперед. Как только совершился подмен классов, едва лишь худшие втерлись на место лучших, началось торжество низости, и в результате — крах. Отчего пала Греция, эта неприступная цитадель среди морей и гор? Отчего пала русская Греция? Босфорское царство, находившееся почти в тех же условиях? Каким образом случилось, что целые столетия те же народы умели отбивать варваров, а тут вдруг разучились это делать? Все это объясняется чрезвычайно просто. Вместо органического, века слагавшегося строя, где лучшие люди были приставлены к самой высокой и тонкой общественной работе, к последней подпустили «всех». «Все» сделали с обществом то же, что «все» делают, например, с карманными часами, когда «сами» начинают исправлять их кто чем умеет: иголкой, шпилькой, спичкой и т. д.

1910 год

ЗАКОН ОБНОВЛЕНИЯ

1 января

«Всегда обновляйся!» — гласит надпись на ванне китайского императора-мудреца. Весь мир — и в том числе Россия — бредит обновлением; самые неподвижные народы точно сорвались с мертвых якорей, и не только образованный слой, всюду неудовлетворенный и тревожный, — даже простонародные слои охвачены страстной жаждой нового и небывалого. Жители деревень во всем свете громадными массами переселяются в города, предпочитая гнить там в подвалах и на чердаках, нежели прозябать в идиллической сельской обстановке. Еще более грандиозные волны народные подымаются под предлогом эмиграции. Уже не отдельные искатели счастья, а, как некогда, целые народы, населения маленьких государств двигаются из одного полушария в другое. Очень слабо населенная Европейская Россия начинает перебрасывать в Азию половину, наконец, три четверти своего прироста; за Урал переваливается уже около миллиона душ, изгнанничество которых из тысячелетней родины обосновано чрезвычайно шатко. Сказочные по величине океанские пароходы перевозят целые орды эмигрантов, не более сознательных, чем древние орды кочевников. Похоже, как будто начинается вновь та загадочная суматоха, что со времен столпотворения вавилонского, по-видимому, не раз охватывала народы. Без точно выясненных причин человеческими массами овладевает стихийный дух перемены места и кое-где начинается невообразимая давка. Целые цивилизации сметаются в столкновении, сдержать которое не в силах ни природа, ни сознание народов. Ищут не только новых пространств, как мы и японцы в Сибири. Ищут новых условий, самых новейших, какие только может придумать изобретательный ум. Не использовав и сотой доли сухопутных и морских средств передвижения, страстно добиваются воздушных путей, лихорадочно побивают рекорды на быстроту, и кажется, если бы открыли способ менять место со скоростью пушечного ядра, то вздыхали бы о скорости света и электричества. Зачем становится необходимой

такая спешка — неизвестно; видимо, эта сторона цивилизации, как многие другие, начинает принимать маниакальный характер. Подобно сумасшедшим, культурные народы не замечают некоторых навязчивых идей, между тем они явно развиваются и охватывают чуть ли не весь человеческий род. Отдаленных предков наших не без основания упрекают в консерватизме, почти безумном по своей фанатичности. Однако и теперешнее безоглядочное стремление к новизне смахивает на психоз.

Глубокая так называемая косность древних имела свое оправдание в чувстве счастья: люди не хотели никаких перемен, очевидно, потому, что были достаточно удовлетворены настоящим. Они слишком любили действительность и боготворили ее. Может быть, это была ошибка вкуса, но о вкусах не спорят. Консервативным предкам нашим их жизнь, при всей ее невзрачности, казалась необыкновенно вкусной, и они оберегали ее от изменения, как искусный повар свое тонкое блюдо. Нельзя сказать того же про обратный психоз, характеризующий наше время. Уже то, что все так страстно ждут нового, доказывает, что все недовольны настоящим и что все несчастны. Состояние несчастья, как бы разумно оно ни объяснялось, само по себе есть безумие, и, может быть, самое жалкое из всех. Как человеку с расстроенным пищеварением, нынешнему среднему человеку все кажется противным. Он с гримасой пробует тысячи вещей, не подозревая, что самый орган вкуса у него испорчен. Позыв на кислое, острое, жгучее, горькое, потребность в кричащем и извращенном — вот что характеризует стиль nouveau во всем, ибо так называемый декаданс охватил собою решительно все явления духа — от философии и искусства до политики и ремесла. В отличие от других стилей, декаданс замечателен, между прочим, тем, что он непрерывно рассыпается: вчерашнее во вражде с сегодняшним и отрицающее завтра непременно станет отрицаемым.

Мания **постоянства**, характеризующая старину, и мания **непостоянства**, свирепствующая в наше время, относятся между собою как закон и преступление. В самом деле, консерватизм так называемого старого режима напоминал законность: худая или хорошая, но жизнь в старину принимала характер закона природы. Неизменные социальные и иные отношения, подобно законам физики, принимались как они есть. Закон тяготения ужасен для всех упавших и разбившихся, но его, согласитесь, нельзя оспаривать, и остается приспособляться к нему. К феодальным и католическим принципам приспособлялись, испытывая все выгоды исполненного закона. В лучшие моменты тогдашнего равновесия достигался неизвестный теперь порядок, и подавляющему большинству людей, сверху до-

низу, было удобно и хорошо. Представьте себе обратный лозунг — представьте на минуту, что законы физики потеряли непреложность свою и могут меняться. Природа быстро возвратилась бы к Хаосу, к первобытной Ночи, из недр которой один Бог мог сотворить мир организованный, покоящийся на законах и прекрасный. Болезненное и безотчетное стремление к перемене составляет существо *преступности*. Людям почему-то хочется переступить закон, нарушить норму, стереть границы действий. Организованное, то есть закрепленное в установившихся формах, хочется дезорганизовать, растрепать, рассыпать. Маньякам так называемого прогресса кажется, что они охвачены творчеством, — на самом деле они охвачены разрушением. Не говоря о таких гремучих вещах, как экстрадинамит, возьмите хотя бы совсем невинную, наиболее прогрессирующую вещь, как пути сообщения. Ничто не внесло в быт человеческий, сложившийся веками, такого разгрома, как паровоз, и ни от чего не ждут более решительных перемен, как от дирижабля. Земля слишком тверда, чтобы разверзнуться и поглотить человеческую историю. Пропастью для последней явится, по-видимому, воздушное пространство. Воздухоплавание обострит манию перемен до горячечного состояния, и с человечеством, может быть, случится то, что с гадаринским стадом. Лишь только из жизни будут вынуты неподвижные устои, она разлетится в прах, как машина, которой все молекулы пришли в движение.

Опасный спор между **старым** и **новым** стал возможен при забвении третьего элемента: **вечного**. В спокойные века прошлого жизнь людям никогда не казалась старой. Совсем напротив. Несмотря на седую древность установлений, все существующее казалось молодым и свежим. Действующее, как единственно возможное, было полно жизни. Эту психологию старого режима еще помнят глубокие старики; кое-где ее можно и теперь наблюдать в глухой провинции. В старину под новым разумели не перемену, а повторение. Как новое вдыханье воздуха или новый глоток воды, жизнь казалась вечно одной и той же и вечно необходимой. Нынче как будто желали бы каждое вдыханье делать из другого газа и каждый глоток — из другой жидкости, и это называется прогрессом. В эпоху законности различие между старым и новым не вызывало драмы, жизнь текла непрерывно, и каждый индивидуум жил всей жизнью рода. Я думаю, что именно это было главной причиной того, что «в старину живали деды веселей своих внучат». Ведь в самом деле они жили веселей, наши деды, и чем старше был режим, тем молодость кипела в нем более бурным ключом. Вспомните о забавах аристократии эпохи Владимира Мономаха. Прочтите завещание широко пожив-

шего князя. Какая бездна сильных ощущений! О пирах богатырских благочестивый документ умалчивает — но сколько войн, походов, охотничьих приключений, смертельно опасных и потому напряженно-сладких! Как могуче волновалось тогда сердце, как должен был работать мозг и железная мускулатура! О жизни смердов того времени свидетельства не осталось, если не считать слов, сказанных на одном княжеском съезде: «Выедет смерд весною на поле, придет половчанин, убьет смерда и заберет его коня и скудные достатки в добычу». Стало быть, и смерду приходилось или погибать, или вести полувоенный образ жизни, постоянно переходить от сохи к мечу. И смерду приходилось вести нескончаемую войну с полевым и лесным зверем, и у смердов были свои пиры и празднества. Из древности дошли до нас остатки пышного свадебного обряда и целые россыпи самоцветных, как камни, песен. Ведь певал же когда-то народ наш, и какой полной грудью!

Почитайте Рабле или поглядите на картины фламандской школы. Сколько *молодости* похоронено в этих старых веках, сколько животного счастья, сытого, пьяного, плящущего, сладострастного — несмотря на католическую строгость. Если присмотреться хорошенько, то ведь и само католичество пело, плясало и изрядно пило. Сам Лютер — кроме глубокого негодования на пороки католичества — вынес из него свое уважение к добродетели и одновременно формулу о Wein, Weib und Gesang (вино, женщины и пение. — *Ред.*). Костры, на которых сжигались слишком дерзкие новаторы и ведьмы, каким-то образом уживались с индульгенциями на всякий грех, что, впрочем, не освобождало негодяев от уголовной ответственности. Не вдаваясь в эту слишком обширную область, я хочу сказать, что старый режим каким-то чудом умел сохранить в себе молодой темперамент и чисто юношескую радость бытия, тогда как теперешний новый режим с ежедневными обновлениями таит в себе черты уныния и собачьей старости. При нищете и грязи средневековья, при глубоком невежестве, при страшной необеспеченности здоровья и жизни люди знали, что такое удовлетворенность духа, и большинство людей были, несомненно, довольны своей судьбой. Нынче, при обилии средств, при сравнительной просвещенности и свободе — свободы хоть отбавляй! — большинство людей чувствуют себя злосчастными. Всем стало доступно все, и потому моральная ценность всего упала до чрезвычайности. С тех пор как дети кожевников стали делаться президентами республик и королями капитала, станок кожевника сделался станком каторжника: он потерял волшебное свойство давать счастье.

«Всегда обновляйся!» — это в нравственной философии такая же

истина, как любая теорема Евклида. Однако прежде и теперь эту истину понимали разно. Когда под *обновлением* жизни понимали *восстановление*, то действительно обновлялись. Когда под *обновлением* стали понимать *перемену*, то запахло порчей и разрушением. Прошу читателя вникнуть в эту разницу: значение ее громадно. Прежде обветшавший человек, загрязнившийся и душевно измятый, приступал к известной операции, установленной Церковью. Он постился, усиленно молился, говел, исповедовался, каялся, приобщался, и если он проделывал все это искренно, то действительно *обновлялся*. В этом не может быть ни малейшего сомнения. На некоторое время человек трезвел, отвыкал от грехов, втягивался в порядочную жизнь, и восстановление совершалось, физическое и душевное. Никакой *перемены* не было, то есть человек не сочинял себе нового строя жизни, а только упорядочивал старый, расстроенный. Вот смысл *реформ* старого времени: каждая реформа, политическая и религиозная, была возвращением к основному образцу, к тому древнему принципу, который был вложен в общество. Если плохо веровали в Бога, то религиозная реформа состояла не в том, чтобы совсем не веровать, как это понимается теперь, а постараться искренно веровать и действительно исполнять заповеди. Если терялось уважение к закону, то политическая реформа состояла не в том, чтобы совсем наплевать на закон (как понимается теперь), а чтобы вернуть к нему уважение. Мне кажется, древнее «обновление» более отвечает природе, чем нынешняя ломка вместо починки. Когда тело заболеет, то реформа его заключается не в том, чтобы изменить план тела, а чтобы восстановить его, не в том, чтобы выбросить одни органы и выработать совсем другие, а в том, чтобы прежние органы вернуть к их природному назначению. Так поступает всякое не слишком зараженное тело, пока не вмешаются молодые доктора с их полсотней рецептов на каждую болезнь. Так поступает и всякое не слишком одряхлевшее общество: оно обновляется восстановлением, а не переменой. Вот когда тело или общество совсем сгнило, тогда всем тканям и клеточкам неудержимо хочется расползтись, разлезться, и вот тогда реформа принимает характер новорежимный. Хочется не восстановлять, а выбрасывать, вырезать, выжигать гангрену, хотя бы каленым железом, после чего поневоле приходится приставлять искусственные члены. К глубокому несчастью, почти все страны — и Россия больше, чем многие, — находятся в обновлении не старого, а «нового режима». Метод восстановления, благодетельный и натуральный, кое-где слишком опоздал. Уже нет тех тканей, которые можно бы восстановить. *России, как и огромному большинству ее соседей, вероятнее всего, придется пережить про-*

цесс, какой Иегова применил к развращенным евреям, вышедшим из плена. Никто из вышедших из Египта не вошел в обетованный Ханаан. Развращенное и порочное поколение сплошь вымерло. В новую жизнь вступило свежее, восстановленное в первобытных условиях пустыни, менее грешное поколение.

Мне кажется, европейская буржуазия — подобно изнеженной аристократии — обречена смерти. Испорченный рабочий класс обречен смерти. Зараженный и безбожный пролетариат обречен смерти. Безмерно вспухшее население Европы и Америки все еще растет, но оно довольно быстро начнет падать, сгнивая на корню и разрушаясь, как некогда в войнах и мятежах. Гнилые породы отпадут, как отгнившие ветки со ствола. Если человечество спасется, то тем методом, каким всегда спасалось: восстановлением суровых естественных условий и восстановлением естественного человека. Слабые элементы нашей расы одичают, выродятся, вымрут. Сильные элементы возвратятся к варварству и к режиму, похожему на старый. Тогда только, может быть, кое-где будут осуществлены утопии князя Кропоткина и графа Толстого; они ведь когда-то уже были осуществлены. Природа, как художник, на тысячи ладов прикидывает свое творчество, пробуя между прочим и анархизмы всяких видов. Подобно мыльным пузырям, эти архиновые, на вид очаровательные формы жизни оказываются очень хрупкими. Коммуны, политические и религиозные, возникнув из идеального замысла, дрожат, колеблются и наконец лопаются, оставив после себя мокрое место. Ошибка обновителей наших не в том, что их планы неразумны, а в том, что они слишком разумны. Обновители воображают, что чем рассудочнее, геометричнее план, чем больше в него вложено симметрии и гармонии, тем более это соответствует природе человека. Ошибка плачевная! В действительности бывает скорее наоборот. Пора понять, что человек существо иррациональное и что природа его не укладывается в разумные силлогизмы. Это все равно что с кучей песку: казалось бы, почему куче не принять формы шара, или октаэдра, или правильной пирамиды. На деле же каждое сыпучее тело принимает свою любимую форму — довольно безобразной кучи. Народ вовсе не есть то, чем его изобразил Руссо. Народ не суверен, не царь, не мудрец, а довольно жалкая толпа, и чем он крупнее и стихийнее, тем более беспомощен и жалок. Каждый отдельный элемент этой стихии, средний человек, вовсе не правомерное и не правоспособное существо, а двуногое весьма фантастическое, склонное одновременно быть и гением, и идиотом — и к чему его больше тянет, договаривать нечего. Не столько субъект права, сколько субъект всяческого беспутства, средний человек ни

в чем так не нуждается, как в том, чтобы некое высшее существо — государство — поставило его на строго определенное место и обеспечило ему определенную функцию. Нужно не старое, не новое: жизни нужно нечто вечное, нестареющее и потому всегда молодое. Даже несовершенные законы, если они законы, то есть сохраняют долговременное и непререкаемое значение, обладают способностью поддерживать жизнь. Наоборот, драгоценные жемчуга, нанизанные на гнилую нитку, рассыпаются. Я далек от мысли, что теперешние граждане напоминают перлы, но нынешняя законность, непрерывно рвущаяся под предлогом реформ, разъединяет даже это дешевое общество вместо того, чтобы соединять.

Истинное обновление России должно состоять не в ломке, а в починке ее, и начнется такое обновление не раньше чем понизится несколько книжный, слишком теоретический и высокопарный взгляд на человека. Целые тысячелетия государственность и религия смотрели на человека как на существо слабое — далеко не твердое, а скорее сыпучее тело, требующее внешней охраны и внутренней дисциплины. В этом взгляде, основанном на опыте истории, было много скромности и смиренной правды. С тех пор как возобладало горделивое помешательство и провозглашена автономия личности, эта личность уподобилась блуждающей почке. При всей относительной свободе она страдает и заставляет страдать государственный организм. Каждая личность чувствует себя маленьким государством, и естественно, что ее интересы в постоянном конфликте с интересами большого государства. Все недовольны, все хотят нового — попросту говоря, чужого, — никто не довольствуется своим. Истинное обновление между тем никогда не состоит в захвате чуждого, а в восстановлении своего. Идея национальности тем и сильна, что она есть возвращение к себе. Хотите обновиться — восстановляйтесь.

РУССКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

23 января

Наиболее обещающим движением русской жизни является теперь национальное. Враги национализма и справа, и слева распространяют о нем самый пошлый вздор, но это не мешает великому движению расти и захватывать собой все более и более широкие

круги общества. Что такое национализм? В течение еще многих лет придется рассуждать об этом — точнее, трудно себе представить время, когда вопрос этот не заслуживал бы проповеди и самого внимательного обсуждения.

Из множества определений национализма позвольте остановиться на самых простых и удобопонятных. Национализм, мне кажется, есть народная **искренность** — в отличие от притворства партий и всякого их кривляния и подражания. Есть люди искренние, которые не терпят, чтобы казаться чем-то другим и которым хочется всегда быть лишь самими собой. Наоборот, есть люди, как бы боящиеся самих себя, внутренно не уважающие себя, которые готовы быть чем угодно, только не тем, что они есть. Эта странная трусость напоминает так называемый **миметизм** в природе, стремление слабых пород — особенно среди насекомых — подделывать свою наружность под окружающую среду, например принимать очертания и цвета растений. Чувство национальное обратно этому малодушному инстинкту. Национализм есть полное развитие личности и стойкое бережение всех особенностей, отличающих данный вид от смежных ему. Национализм есть не только полнота самосознания, но полнота **особенного** — творческого самосознания, а не подражательного. Национализм всегда чувствуется как высшее удовлетворение, как «любовь к отечеству и народная гордость». Нельзя любить и нельзя гордиться тем, что считаешь дурным. Стало быть, национализм предполагает полноту хороших качеств или тех, что кажутся хорошими. Национализм есть то редкое состояние, когда народ примиряется с самим собою, входит в полное согласие, в равновесие своего духа и в гармоническое удовлетворение самим собой.

Отсюда недалеко до самовлюбленности, до обожествления своего «я», как это бывало у древних, более свежих народностей. «Аз есмь Господь Бог твой». Эта заповедь в древности понималась так: «Господь Бог твой есть твое “я” и да не будут у тебя другие боги, кроме твоего “я”». Вышедший из естества природы народ чувствовал, что он осуществляет какое-то особенное бытие, особенную идею, и довести последнюю до крайнего выражения почиталось призванием народным. То, что называлось «дух» народа, «гений народный», был действительно как бы особый бог (Ягве, Ассур и пр.), по образу и подобию которого в данном племени строился человек и нация. Религия и культура в древности не стремились к иной цели, как только к той, чтобы воплотить в народе *идеал*, то есть особый замысел природы, некое исключительно сильное и неподражаемо прекрасное своеобразие. Посмотрите на тонко выра-

ботанную породу, например на орла или оленя. В такой породе все закончено, как в статуе великого скульптора, все остановилось, как бы достигнув *вечной* жизни. Вы чувствуете, что тут никакие перемены невозможны, ибо всякое *изменение* будет *изменой*, упадком расы. Такова же всякая строго выработанная национальность. Как все совершенное, она консервативна; достигнутое своеобразие свое она отстаивает, как жизнь.

В сущности, в нем, в исключительном своеобразии, и заключается смысл жизни. Безмерное количество приближений природа тратит для того, чтобы наконец достигнуть особенного идеала и воплотить его. Воплощенный дух народный счастлив, как воплощенный Бог. Вот окончательная цель национализма: полное удовлетворение, полнота блаженства. Что это момент редкий и труднодостижимый, это не меняет дела. Раз достигнутая национальная законченность на долгие века создаст народ *счастливый*. Именно в эти эпохи рождаются чудные песни народные, героические сказания, мечты о бессмертии. Порода, вошедшая в вечный тип свой, ощущает бессмертие не в будущем, а в настоящем.

То, что мы, проповедники национального восстановления, ставим народной целью, не есть измышление или каприз ума. Это повелительное и самое высокое требование природы, и наградой за исполнение его служит счастье. Подумайте достаточно серьезно — и вы увидите, что только в отстоявшейся и законченной народности возможны мир, согласие, свобода, братство — все начала блаженной жизни. В народности растрепанной, разнородной, переполненной чуждыми элементами, по необходимости царят раздор, постоянная грызня и ожесточение, как в химическом котле, куда положены различные соли. Брожение и хаос — вот неизбежная картина анархии, охватывающей ненациональное общество. Враждебные друг другу стихии взаимно разлагаются в борьбе и вносят, что касается человеческого сожительства, одну ненависть, которая есть самая острая из болезней духа. Если желаете мира и добродетели, для этого бесполезно произносить нравственные сентенции, хотя бы самые изысканные. Сделайте так, чтобы народ был национален: вместе с национальным чувством войдет сам собою и мир и сама, непрошеная, явится добродетель. В уравновешенной системе общества нет борьбы. Она взаимно обуздана, враждебные силы погашены. Разве это не последняя цель человеческого общества?

Именно в страстном желании мира и «*благоволения* в человецех» националисты и говорят наседающим со всех сторон инородцам: «Отойдите от нас! В наше внутреннее согласие не вводите раздора! В достигнутое национальностью примирение не вносите начал враж-

ды! Ибо вражда совершенно неизбежна при основном неравенстве, от которого ни вы, ни мы отказаться не можем. Вы — евреи, поляки, финны, армяне и пр., и пр. — пламенно дорожите своим национальным своеобразием. Вы не хотите и *не можете* изменить ему. Мы, русские люди, то же самое: без тяжких расстройств народных, может быть, без окончательной гибели своей родины мы не можем уступить вам». Остается, стало быть, разойтись, подобно Аврааму и Лоту: «Направо — твое, налево — мое». Национализм русский, по крайней мере *в моем* понимании, не есть захват и не есть насилие. *Национализм есть честное разграничение.* Захват и насилие в его коварных формах идут со стороны не русского национализма. Не мы идем на инородцев, а они на нас. Не мы овладеваем территорией и трудом народным у евреев, поляков, армян и пр., а они овладевают нашими. Дать закономерный, но ощутительный отпор этому внутреннему «нашествию иноплеменных» — цель национального движения. Это *не нападение*, это *самооборона.*

Как случилось, что громадный народ русский не сумел предупредить величайшую из опасностей — нашествие изнутри? Это случилось очень просто. Завоевав чуждые племена, мы имели несчастную ошибку удержать их у себя. Врагов, захваченных в плен, мы ввели в семью свою вместо того, чтобы отпустить на волю. Наследственных врагов, тысячу лет вредивших России и разрушавших ее, мы уравняли в царственных правах с строителями государства и его защитниками. Непримиримые с нашей народностью, чужеземцы проникли в самую глубину общественных тканей, в сердце и мозг страны, и внесли и вносят этим самые тяжелые расстройства.

В твердыню государственности нашей инородцы входят при посредстве двух лжеучений — политического и религиозного. В силу первого лжеучения все «подданные» государства приравниваются к «гражданам» его, в силу второго — все люди рассматриваются как «братья». Горький опыт здравомыслящих людей убедительно доказывает, что «гражданин» и «брат» — явления слишком высокие, чтобы быть широко обобщенными. Инородцы, отстаивающие свою национальность, не могут одновременно принадлежать и к нашей, и если числятся «гражданами» Русского государства, то это просто политический подлог. Точно так же чужие люди, пока они чужие, не могут быть нам братьями; доверять им, как братьям, важные позиции в государстве крайне безрассудно. Природа не терпит фальсификаций. Природа создала не одну, а разные национальности. Сентиментально смешивать их и притворяться, будто все они сливаются в одну, есть безумие и грех против природы.

Враги русской народности, всячески отстаивая свой национа-

лизм, всемерно опорочивают русский. Когда речь зайдет о нарушении прав еврея, финна, поляка, армянина, подымается негодующий вопль: все кричат об уважении к такой святыне, какова национальность. Но лишь только русские обмолвятся о своей народности — подымаются возмущенные крики: «Человеконенавистничество! Нетерпимость! Черносотенное насилие! Грубый эгоизм!» Сами ожесточенные эгоисты, поклоняющиеся идолу отчуждения, насевшие на нас инородцы не признают за Россией ее народного «я». Что ж, остается нам обречь себя в самом деле на роль *удобрения* для чужих рас, как откровенно мечтают фанатики пангерманизма! Апостолы мелких национальностей не стыдятся выражения «эгоизм». Мне кажется, и русскому национализму не следует чураться этого понятия. Да, эгоизм. Что ж в нем удивительного или ужасного? Из всех народов на свете русскому, наиболее мягкосердечному, пора заразиться некоторой дозой здравого эгоизма. Пора с совершенной твердостью установить, что мы не космополиты, не альтруисты, не «святые последних дней», а такой же народ, как и все остальные, желающие жить на белом свете прежде всего для самих себя и для собственного потомства. Пора признать искренно и просто те наши определения, которые значатся в нашем имперском титуле. Этот титул говорит, что Россия — народ державный, независимый ни от кого на свете, никому не подчиненный. Мы — *государство*, то есть высшее господство на своей территории. Мы племя *царственное*, повелевающее всеми народностями, вошедшими в состав Империи. Именно наше национальное своеобразие, а не чье другое должно считаться непреложным. Все иные национальности должны быть терпимы как явления временные, подлежащие или усвоению, или вытеснению. Счесть за закон *постоянное* сожительство разных национальностей в черте *одного* государства составляет величайшую нелепость, какую можно себе вообразить.

Приглашаю читателей внимательно прочесть объявленную вчера (22 января) в «Новом времени» программу, выработанную для объединенного Всероссийского национального союза. Первый член этого символа нашей политической веры — «единство и нераздельность Российской империи и ограждение во всех ее частях *господства русской народности*». Для инородческих окраин русские националисты допускают лишь «хозяйственное самоуправление при обязательном и полном ограждении русских интересов, как местных, так и общегосударственных». Особо подчеркивается, что *«равноправие евреев недопустимо»*. Последний тезис отграничивает Всероссийский национальный союз от тех умеренно-либеральных партий, которые составляют авангард еврейства. Во всех остальных пунктах

объявленная программа может подлежать критике, но в этом пункте она безупречна. С величайшей искренностью и прямотой, делающими большую честь вождям партии, они имели мужество высказать свои взгляды по инородческому вопросу. Он, этот вопрос, как в разложившейся Турции и разлагающейся Австрии, составляет у нас теперь главную государственную болезнь. Нельзя говорить ни о «подъеме производительных сил государства» (§ 5), ни о «восстановлении военного могущества Российской империи» (§ 6), пока народ и общество разъедаются внутренней враждой, вносимой чужеродными элементами. Если мечтать о благополучных временах, то они явятся не прежде, чем вернется наш давно утраченный национальный мир. Как организму, зараженному чужеядными микробами, России прежде всего нужно вылечиться от заразы. Только в здоровых руках что-нибудь значат и трудовой топор, и когда-то победоносный меч.

Из программы Всероссийского национального союза видно, до какой степени нелепы уверения врагов его, будто союз — слишком *левый* или слишком *правый*. Национализм не политика, он выше политики и в силу этого не допускает односторонних крайностей. В отличие от еврейско-либеральных партий (кадеты и октябристы), Всероссийский национальный союз опирается прежде всего на Основные Законы. В согласии с последними союз признает «незыблемость представительного образа правления», при котором «законодательная власть Самодержавного Царя» находится в «единении» с двумя палатами. Национальный союз придает важное значение «наблюдению законодательных учреждений за закономерностью действий правительства». Последнее условие довольно резко отграничивает Национальный союз и от крайне правых партий. Если не большинство ультрамонархистов, то многие из них до сих пор не могут помириться с народным представительством. Законодательное *единение* Царя с народом им кажется *ограничением* самодержавной власти. Националистам это не кажется. Они убеждены, что названное ограничение — мнимое, подобно независимости суда или свободе административной деятельности в пределах закона. Пока принципом русской государственности остается единодержавие, верховным законодателем, утвердителем законов является Государь-Самодержец, но органы отправления Высочайшей власти должны быть согласованы с природой дела. Естественно, что наилучшим органом законодательства и надзора за правительством может служить только та стихия, которая живет законами и которая на себе же чувствует всякое нарушение их. Как ученый не создает законов природы, а *открывает* их, изучая свойства вещей, так и полити-

ческий законодатель: наиболее совершенные законы — это наиболее естественные, согласные с природой нации. Если Империя наша пришла в опаснейшее расстройство, то главным образом потому, что естественные законы, когда-то устанавливавшиеся обычаями и нравами, были подменены постепенно сочиненными законами, безжизненными и чуждыми природе общества.

Цель Всероссийского национального союза — восстановление русской национальности, не только как господствующей, но и государственно-творческой. В области политики союзу придется вступить в борьбу со всеми ложными доктринами, навязывающими народу русскому чуждые его природе порядки. В этом смысле для националистов одинаково противны бумажная метафизика бюрократии и книжная метафизика революции. Покушения и той и другой навязать нации насильственно не свойственные ей нормы следует считать одинаково преступными. Метод национализма совпадает с научным: предоставьте нации самой определять, что она такое и к чему стремится. И так как это уже определено тысячелетней жизнью, то остается с возможной добросовестностью лишь осуществить то, что есть.

Величайшее несчастье всякого народа — это когда естественные законы расстроены и жизнь его в силу этого расстройства искажена. Национальное движение есть порыв русского общества восстановить натуральный порядок, вернуться к родным, наиболее удобным и потому наиболее *свободным* формам, слагающимся органически. Наибольшей помехой восстановлению служат инородные элементы, которых излишнее присутствие, не предусмотренное природой, разлагает жизнь. Вот почему закономерная борьба с внутренними нашествиями является одной из главных задач союза. Но эта задача, конечно, не единственная. Русская жизнь угнетена не только инородческим засильем. Она подавлена всеми последствиями национального упадка. Народное безбожие, народное пьянство, развертывающееся в государственную катастрофу, народная нищета, народная преступность, народное невежество, опасный упадок практических знаний, беспомощность труда, бесправие и бессудье — все это и многое другое составляет общую пропасть, из которой нужно извлечь народ. Цель сообщества, именуемого Всероссийским национальным союзом, — *поднять* нацию из всех падений, восстановить ее.

«Не слишком ли гордая задача?» — спросит иной читатель. Отнюдь не гордая, отвечу я. Не только не гордая, но самая законная, которой должно задаваться всякое пошатнувшееся существо. Отбросив пустые страхи и ложный стыд, попробуем искренно сделать каждый, что в наших силах, и вы увидите, что сумма небольших усилий способна сложиться в огромный и блистательный результат.

Каким же иным способом, как не этим, воскресали другие народы? А они — не исключая наиболее передовых — переживали еще недавно не лучшие, чем мы, времена. Так же, как и у нас, и французы, и немцы, и англичане лет всего полтораста назад коснели в невежестве и нищете. Но пробудилось национальное сознание, проснулся гений народов — и они, точно по слову Божию, сбросили свою проказу...

НЕЦАРСТВЕННЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

16 марта

«Царство или империя? — спрашивает, возражая мне, А. А. Столыпин. — Как мы желаем мыслить Россию в идеале, как мы ее любим — царством или империей?» Противополагая эти два тождественных понятия от имени октябризма, мне кажется, А. А. Столыпин навязывает своей партии очень тяжелое заблуждение. По странному мнению моего уважаемого супротивника, Россия была когда-то в молодости царством, но теперь перестала быть им, созрев в империю, причем это будто бы совсем разные государственные явления. Пока мы были, видите ли, царством, был естественным «жестокий национальный эгоизм» (почему-то, говоря о национальном эгоизме, октябрист непременно прибавит *жестокий*). В эпоху царства естественно было покорение одноплеменных народов, скрепление их обручем государственности, поглощение без остатка всего инородного. Теперь же, когда мы «созрели» в империю, всего этого будто бы уже не нужно: не нужно скрепления народов обручем государственности, не нужно поглощения всего инородного. Все эти заботы старого царства г-н Столыпин называет узкими для империи. «Имперские идеалы, — проповедует он, — шире: это *водительство многих народов к высшим целям, сознанным господствующим народом, под руководством этого господствующего народа*».

Вот формула октябристской нецарственной государственности; я очень рекомендую читателям эту формулу запомнить. Вы видите, что в ней о царственных правах России нет ни звука. Не царствующему, а только «господствующему» народу предоставлено лишь «водительство» покоренных народов и «руководство», не более. Подчиненные инородцы остаются по этой схеме *народами*, то есть само-

определяющимися национальностями, в силу этого навсегда чуждыми господствующему народу, и все господство последнего сводится к «руководству». Конечно, в такой формуле Россия перестает царствовать. Русское царство превращается в русскую опеку или — еще того менее — в русское попечительство над инородцами, и это г-ну Столыпину представляется «империей». От лица своей партии наш автор благодушно мечтает, что «дальнейшим шагом, следующим этапом, которого история еще никогда вполне не достигала, но достигала почти (?), это — вселенская империя. Об этой отдаленной будущими веками форме человеческого общежития нам заботиться нечего», но помечтать так приятно! Г-н Столыпин не догадывается, что, устанавливая *царство* как молодость народа, а *империю* как зрелость, окончательный идеал свой — *«вселенскую империю»* он должен бы назвать глубокой дряхлостью народов, то есть вещью довольно скверной. Не останавливает моего оппонента и то, что «история еще никогда не достигала» такого вселенского объединения, хотя, казалось бы, у природы было достаточно времени на все ее опыты. Идеал неважный, но важно отметить, о чем мечтают наши октябристы: они мечтают не о том, чтобы *быть* России вечно, а о том, чтобы *не быть* ей, а чтобы хотя бы в отдаленных веках она исчезла, растворилась в дряхлости вселенского объединения. Приблизительно тем же странным пожеланием закончил недавно свою публичную лекцию г-н Веселитский-Божидарович. Окончательная мечта его — не Россия, сильная и навеки державная, а «Соединенные Штаты Европы».

Характерный признак наших либералов! Если не в настоящем, слишком непреодолимом, то хоть в далеком будущем они непременно отрицают Россию, безотчетно желают умаления ее и потери царственной ее индивидуальности. Эта психологическая черта целою пропастью отделяет октябристов от национальной партии. Тургенев дал прекрасный тип кочующих по Европе русских дворян, «желудочно-половых космополитов», доедающих выкупные и гордящихся своим презрением к России. Космополитизм есть ощущение отсутствия в себе национальности. Это чувство безразличия к своему и чужому у нас давно считается высшей мудростью, между тем это просто признак анархии, морального разложения, к которому так склонна беспутная наша интеллигенция. Октябристы, может быть, не признают себя космополитами — в настоящем, но это — несомненные футур-космополиты: мечтой своей они отдыхают все-таки на «Соединенных Штатах Европы» или на «вселенской империи» А. А. Столыпина. По мнению последнего, теперешняя «империя» есть только этап к достижению желанного будущего; в интере-

сах вселенских мы должны отказаться от своего царства и должны вести «имперскую политику», которая заключается в каком-то «водительстве» инородцев к высшим целям.

Нечего и говорить, что эта идея мне кажется сплошной ошибкой; при достаточном распространении ее я назвал бы ее ошибкой вредной. Как все притворно гуманное, будто бы возвышенное миросозерцание октябризма, их объявленный империализм без царственности производит самое фальшивое впечатление. В схеме А. А. Столыпина все непостижимо, начиная с его альтернативы «царство или империя?». В действительности ведь царство и есть империя, без царства никакой империи нет. Слово *imperium* на родине этого слова всегда понималось как верховная государственная власть, то есть именно то самое, что понимается под русским словом *царство* или *государство*. Принадлежала ли эта власть, как в Риме в течение долгих веков, народу или через выборы старшим магистратам (царям, консулам, преторам, диктаторам и пр.) — во всех случаях слово *imperium* означало высшую *власть*, а не только «водительство» и «руководство» подчиненными народами. Императору вручался summum imperium, то есть не умаление, а *усиление* власти в виде всей полноты ее. Стало быть, империя по внутреннему существу своему не есть отмена царства, а усиление его, возведение в высшую степень. Если *царство* покоряло народности, скрепляло их и поглощало, то *империя* предполагает все эти функции в сугубом виде. С чего это пришло в голову почтенному А. А. Столыпину, будто империя означает снятие обручей и деградацию власти из «государственной» только в «водительскую»? Ничего подобного в истории народов не бывало. Империя Римская отнюдь не напоминала пастораль, где господствующий народ будто бы мирно пас покоренные народы. Не миртовой веткой, а мечом железным римляне «водительствовали» завоеванные народы, причем не стеснялись истреблять их иногда почти поголовно. Какого рода было со стороны римлян «руководство к высшим целям» их инородцев, показывает осада Иерусалима. Тит ежедневно распинал на крестах по пятьсот пленных (то есть мирных евреев), прежде чем истребить миллионное население еврейской столицы и сравнять ее с землей. Десятки тысяч непокорных инородцев бросались римлянами в цирки на растерзание зверям. Я не знаю, к каким «высшим целям» водительствовали римляне покоренные народы, кроме единственной — *к полному подчинению своей власти*. Это подчинение выражалось в постоянном ограничении инородческих прав; только в период упадка империи, после Каракаллы, инородцы получили равноправие, но именно последнее и явилось смертельным ударом для Рима. Империя погибла

от фальсификации римской национальности вследствие наплыва инородцев и от крайнего при этом упадка патриотизма. «Разве патриотизм, — говорит святой Августин, — не разрушен был самими императорами! Обращая в римских граждан галлов и египтян, африканцев и гуннов, испанцев и сирийцев, как они могли ожидать, что такого рода разноплеменная толпа будет верна интересам итальянского города, притом такого, который всегда яростно преследовал их?»

То мирное водительство инородцев, которое А. А. Столыпин называет империей, на самом деле есть упадок империи, разложение ее на элементы. Как только imperium царственного народа слабеет, инородцы поднимают голову, и все «водительство» сводится к тому, что инородцы начинают водить за нос своих победителей и «руководить» их по дороге в пропасть. Так было с Римом, так было еще раньше с Персидским царством, так было впоследствии со всеми разъеденными инородчеством империями. Несомненно, то же самое угрожает и России. И не только угрожает, а гибель наша — результат внедрения к нам инородцев — уже идет. Не видят этого лишь близорукие и благодушные россияне, душа которых уже достаточно растворена в космополитизме. Если Россия еще сколько-нибудь держится как *империя*, то лишь постольку, поскольку она остается *царством*. Как только Россия перестанет быть царством в древнем и вечном значении этого слова, так и расползется по швам. У нас не любят вдумываться в употребляемые поминутно слова и титулы. «Царство» наше будто бы упразднено с того момента, как объявлена империя. Но самое слово *царство* происходит от *Caesar* — от имени основателя первой в Европе империи. Слово *царь* есть испорченное «цезарь» и значит то же самое, что немецкое *Kaiser*. Каким же это путем империю можно противополагать *царству* в виде упраздняющего один другого принципа? В сознании народов цезаризм и империя давно слились в одно понятие. Как позднее у западных славян королевский титул пошел от собственного имени Карла Великого, так мы, восточные славяне, читаем формулу государственной власти в имени Цезаря. Если Петр Великий провозгласил Россию империей, то сделал это без всякой внутренней нужды в этом. В сущности, московские самодержцы уже были императорами, притом еще до царского титула, ибо пользовались полнотой теперешней императорской власти. Петру Великому надо было разрушить в Европе суеверие, будто империей может называться только одна — Священная Римская (то есть Немецкая империя тогдашней конструкции), и он, как наследник византийского герба, провозгласил и себя императором. Шаг этот был очень смелый, хотя чисто подражательный. Оставаясь царем, все равно государь русский был бы

почитаем как император, подобно падишаху, шаху и богдыхану. Чтобы быть в наше время империей, вовсе не нужно, как полагает А. А. Столыпин, владеть многими народами и отказаться от национального эгоизма. Франция Наполеона III была империей без инородцев, как и теперешняя Германия. Какими же, в самом деле, многими народами «водительствует» Вильгельм II, если не считать горсти поляков и щепотки датчан? Совершенно свободная от инородцев (до самого последнего времени) Япония тоже издавна называется империей. Этот титул, вообще крайне неопределенный, не связан даже с могуществом страны. Почему Англия — королевство, а Персия — империя? Почему Италия — королевство, а Абиссиния или Марокко — империи? Существуют империи величиной с нашу губернию, например Непал (см. «Atlas Universel» Гикмана), существуют даже вассальные империи, например Корея. Подобно тому как никто не препятствует антиохийскому патриарху титуловать себя «судией вселенной», так и некоторые императоры признаются в этом звании просто из вежливости, без всякой критики их прав. Все понимают, что абсолютный властитель страны, как бы он ни звучал на местном языке, по-латыни может быть назван не иначе как imperator.

Отойдя от крайне неверной мысли, будто империя упраздняет царство с его национальным эгоизмом, А. А. Столыпин впадает в ряд дальнейших ошибок. Он говорит: «Россия вступила на имперский путь уже давно; покоренные племена в большинстве давно уже добровольно признали ее духовное первенство и давали себя вести к русской имперской цели в качестве семьи народов, объединенных общими идеалами». Тут что ни слово, то неправда. Россия вступила на имперский путь (в смысле отказа от национального эгоизма) очень недавно, не больше ста лет. Еще Екатерина Великая крепко держалась старого принципа царей, выражавшего собой инстинкт народный: Россия для русских. Только в конце ее царствования, с присоединением ожидовленных окраин и с появлением иностранцев, этот принцип поколебался. Совершенно неверно, будто «покоренные племена *в большинстве добровольно признали духовное первенство России*». Увы, ни одно племя добровольно не признало этого первенства. Не признают его даже вынужденно, ибо покориться политически еще не значит признать духовное первенство. Зачем говорить то, чего нет? Укажите мне хоть одно племя, которое бы добровольно приняло духовные наши преимущества — нашу веру, язык, культуру! Напротив, даже полудикие племена финские, которых горсть и которым, казалось бы, поистине терять нечего, — даже те отстаивают всеми силами и язык свой, совершенно нищий, и похожую на бред веру, и первобытную культуру.

Правда, эти племена исчезают, но больше от сифилиса и водки, чем от добровольного слияния с имперским племенем. О воспаленной ненависти к нам поляков, евреев, финнов, латышей, армян (а в последнее время и грузин) я напоминать не стану, но даже сравнительно мирные инородцы, татары, разве они «объединены с нами общими идеалами»? Совершенно напротив: они объединены с нами не больше, чем Коран с Евангелием. Еще недавно ко мне приезжал один православный епископ с Волги. Он рассказывал крайне тревожные вести о татарском национальном движении, о быстрой татаризации тюрко-финских племен, об антигосударственном, враждебном России подъеме русского ислама. Что это правдоподобно, обратите внимание на так называемую мусульманскую группу в Думе. Едва сложился парламент, как татары отгородились в нем в свой лагерь, который во всех вопросах идет рука об руку с польским колом и с кадетами. Во второй Думе я лично наблюдал одного татарина-депутата, молодого и образованного, — его ненависти к России позавидовал бы любой жид. Пусть некоторые депутаты из татар держат себя посмирнее и поумнее, но, умея лучше скрывать свои мысли, они, может быть, тем самым и поопаснее кричащих шовинистов.

Удивительно, как ничего этого не замечают наши благодушные октябристы! Близорукая, слепая партия! Вместе с кадетами первого сорта они составляют, мне кажется, ту доктринерскую, оторванную душой от народа часть интеллигенции, с которой начинается самопредательство нации, историческая самоизмена. Любая фантастическая, лишь бы книжная мысль превозмогает в их мозгу самый реальный и грозный факт. Давно ли, кажется, вся Россия горела в инородческом открытом бунте? Давно ли евреи расстреливали царские портреты и царских чиновников, давно ли неистовствовали латыши, давно ли останавливали железнодорожное движение поляки, давно ли резались армяне и татары, не говоря о финляндцах, шведах, грузинах и всякой другой прелести? Всего лишь четыре года тому назад это было, и А. А. Столыпину все-таки кажется, что инородцы составляют с нами добровольную «семью народов, объединенных общими идеалами». Хотя в последнее время мне довольно часто приходится употреблять слово «маниловщина», но, право же, без него обойтись трудно. Сам мой почтенный оппонент догадывается, что в милой семье русской Империи не все благополучно. «Бедствия России, — говорит он, — ослабили спайку» инородцев с нами. Хороша спайка, если она держалась до первого бедствия! Хороши семейные идеалы: едва Империя потерпела неудачу, как со всех концов г-да инородцы начали ввозить оружие для внутреннего бунта и без объявления войны начали бить русских генералов и

городовых где попало! А. А. Столыпин мечтает о том, чтобы вновь «срослись нормально болезненные швы», то есть чтобы инородческий вопрос снова вернулся в состояние скрытой крамолы, ждущей первого внешнего бедствия России, чтобы прибавить ей такое же внутреннее бедствие. Притворяться всечеловеками, ухаживать за враждебными инородцами, натаскивать в Россию евреев, поляков, армян, латышей, финляндцев, немцев, сдавать им постепенно все государственные и общественные позиции — вот что наши либералы называют имперской политикой. Нет, г-да октябристы, это не политика вовсе, это — самоубийство, и живая часть русского общества никогда не согласится с вашим безумием и не простит вам его. Между националистами и вами невозможно в этом никакое согласие, и чем глубже будет между нами раскол, тем лучше. Вы, с виду мирные и будто бы патриоты, с виду мечтательные и благодушные, на самом деле вы глубоко равнодушны к России, и вас безотчетно тянет на сторону врагов ее.

«Империя — мир», — провозгласил бездарный император Франции и этим погубил монархию. Империя — мир, твердили наши ухаживатели за внутренними врагами и вместо ласки от них дождались таски. Дождутся и не такой еще! Империя — как живое тело — не мир, а постоянная и неукротимая борьба за жизнь, причем победа дается сильным, а не слюнявым. Русская Империя есть живое *царствование русского племени,* постоянное одоление нерусских элементов, постоянное и непрерывное подчинение себе национальностей, враждебных нам. Мало победить врага — нужно довести победу до конца, до полного исчезновения опасности, до претворения нерусских элементов в русские. На тех окраинах, где это считается недостижимым, лучше совсем отказаться от враждебных «членов семьи», лучше разграничиться с ними начисто. Но отказываться от своего тысячелетнего царства ради какой-то равноправной империи, но менять державную *власть* на какое-то «водительство» и «руководство» — на это живая Россия не пойдет.

РЕКОРД ВЕРОТЕРПИМОСТИ

21 декабря

Любопытная телеграмма вчера напечатана из Тифлиса. «По распоряжению экзарха Грузии в Эчмиадзин выехала для присутствования на похоронах католикоса депутация от православного духовенства

в составе заместителя экзарха епископа Григория, ректора семинарии Пимена и архимандрита Антония». В самом Тифлисе, в Ванкском соборе, будут совершены заупокойная литургия и панихида, «на которых будут присутствовать высшие чины гражданского ведомства».

Неужели это не ошибка? В данном случае, мне кажется, или телеграф, или православное начальство наше, но кто-нибудь из них делает очевидную несообразность. Мы живем в век чрезвычайно либеральный, когда терпимость — высший принцип. То, что маленькая армянская народность исповедует какую-то особенную веру, это в высокой степени безразлично для всего теперешнего православия. Вообще никому не приходит в голову беспокоиться о том, как именно веруют ближайшие люди, с которыми сталкиваешься ежедневно. Если угодно, соотечественники могут ни во что не веровать; всем кажется, что это дело исключительно личной совести. Сама иерархия православная охвачена духом безграничной терпимости. Не только она никого не преследует за разноверие, но ни с какими еретиками даже не спорит, по крайней мере сколько-нибудь серьезно. Просто не хочется спорить о вопросах веры. Считается даже неловким об этом спорить. Когда Лев Толстой открыто ополчился на Церковь и предал ее основные догматы и таинства поруганию, Святейший Синод едва решился в крайне вежливой форме удостоверить факт, что граф Толстой не принадлежит более к числу православных.

Психология нашей церковности состоит в том, что Церковь как бы конфузится своей древней строгости. Она делает все возможное, чтобы показать, что она вовсе не так строга, как говорят о ней. Наоборот, она терпима, терпима в широчайшей степени. Древняя строгость — это «так просто», она числится «на бумаге», на практике же и Церковь в наш просвещенный век придерживается принципа: laisser faire, laisser passer. Множество фактов этой почти безграничной уступчивости вы заметите каждый день. Иногда эти факты бывают весьма выразительными. Когда несколько лет назад вышли облегченные правила для офицерских дуэлей, возник вопрос: как же быть, однако, с Катехизисом Филарета, где поединок приравнен к убийству с заранее обдуманным намерением, то есть к преступлению против шестой заповеди? Орган духовного ведомства высказался очень мило: в следующих изданиях Катехизиса достаточно выпустить что касается поединков — вот и все. Не правда ли, как вопросы совести решаются легко и просто! Когда умер плохо крещенный еврей Пергамент, православное духовенство затруднялось его похоронить. Не потому затруднялось, что заведомо всем было

известно, что Пергамент крестился формально, чтобы выгодно жениться, и что фактически он православным никогда не был. Это не остановило бы наше духовенство — смутило же его то, что Пергамент самоубийца, а таковых отпевать нельзя. Но тут выступили кадетские депутаты. Армянин и поляк побежали к премьер-министру, к митрополиту, и в конце концов еврей был торжественно похоронен по всем правилам Православной Церкви. Еще пример из последних дней. В Святейший Синод начали поступать многочисленные прошения православных о том, чтобы воспрепятствовать постройке в Петербурге языческого (буддийского) капища. Если верить газетам, митрополиты наши хотели было ходатайствовать в этом смысле, но пришло письмо от П. А. Столыпина, разъясняющее, что «этот шаг был бы ошибочным», и митрополиты взяли свое намерение назад.

Читателям известно, что я лично разделяю в данном случае мнение П. А. Столыпина, полагая, что воздвигнутые идолы на Черной речке никому не помешают. Но ведь ни мое мнение, ни мнение любого православного, включая премьер-министра, нисколько не обязательны для Святейшего Синода. Наоборот, в области веры и благочестия мнение Святейшего Синода обязательно для премьер-министра и для всех остальных «возлюбленных чад» Церкви. Как же это так случилось, что стоило простому мирянину, хотя бы и главе правительства, сказать: «Тсс!» — и высокопреосвященные иерархи мгновенно отказались от своего мнения? Как хотите, этот маленький случай, едва отмеченный печатью, чрезвычайно многоговорящ. Того же сорта и факт, заявленный вчерашней телеграммой из Тифлиса. По распоряжению экзарха Грузии целое посольство из высокопоставленного русского духовенства едет в Эчмиадзин на похороны католикоса. Но ведь католикос-то был еретик, не правда ли?

Повторяю еще раз: большинство из нас глубоко равнодушны к правоверию и еретичеству, и этот вопрос я возбуждаю вовсе не как фанатик, а просто как наблюдатель событий. Разве не любопытно, какая эволюция с нами происходит и в каком фазисе религиозного вырождения мы находимся? Только с этой точки зрения я и останавливаюсь на почетной депутации православных епископа и архимандрита в Эчмиадзин. Выражаясь слогом парламентских запросов, я позволил бы себе спросить: «Известно ли нашему духовному правительству, что армяно-григорианская церковь исповедует ересь Евтихия, осужденную Первым Халкидонским Собором? Известно ли экзарху Грузии, что армяне — монофизиты, то есть признают в Иисусе Христе лишь одну природу, а не две? Известно ли нашей Церкви, что Вселенский Собор в 451 году предал анафеме как измышление Евтихия, так и его последователей?»

Я не буду напоминать то, что всем известно, — именно какие бури пережило древнее христианство, одолевая названную ересь, и сколько было мученичеств, бунтов, низложений с престолов в связи с нею. Меня интересует легкость, с которой все это как будто теперь забылось и считается за ничто. Скончавшийся армянский папа, католикос этой церкви, был в наше время главным представителем Евтихиевой ереси (если не считать коптов, эфиопов и яковитов). Хотя это был человек, может быть, глубоко почтенный и даже святой в личной жизни, но восточное православие считало его преданным анафеме. Пусть это ни в малейшей степени не мешало его признанию в качестве армянского первопатриарха светским правительством России и высоким наградам, им полученным, однако факт анафемы все-таки остается фактом. Спрашивается, если это так, то прилично ли было посылать почетную православную депутацию на погребение лжеучителя (с церковной точки зрения) и врага истинной Церкви? Если бы умер не армянский католикос, а, например, папа римский — допустимо ли было бы на его похоронах почетное православное посольство из епископов и архимандритов? А ведь католики в каноническом отношении к нам ближе, чем монофизиты. Допустима ли была бы православная депутация при гробе раскольничьего архиепископа? А ведь некоторые раскольники и совсем к нам близки. Если рассуждать по-обывательски, с точки зрения: «Ничего! Почему же нет?» — то, конечно, все это допустимо, но, мне кажется, церковное начальство наше не смеет руководиться обывательской точкой зрения. Из видов дипломатии, житейского такта, вежливости, этикета и т. п. Церковь не может забывать правил *вечного* своего закона, установленного святыми отцами и вселенскими соборами.

Чтобы узнать, в каком отношении мы находимся к еретикам, достаточно взять всем известную «Книгу правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец». В этой книге категорически сказано, во-первых, что «ересь предается анафеме». Во-вторых, сказано, что «с еретиками вместе не молиться и не ходить на молитву в их сборище». Сказано дальше, что «не должно дозволять им присутствовать при священнодействии и в молитвах с верными, но даже входить в дом Божий, ежели они закосневают в ереси. Не должно принимать от них жертвы, ни праздничных даров, ни благословения, ни праздновать с ними вместе. Не должно ходить на кладбища еретиков или в так именуемые у них мученические места для молитвы и врачевания» и пр., и пр.

А главное — сказано, что «рукоположенные еретиками не могут почитаться истинно рукоположенными».

Читатель видит, что с православной точки зрения покойный католикос *вовсе не был рукоположен*, то есть не был даже священником, и чествовать его как духовное лицо православные не имеют права. Не только духовенству русскому, но даже православным мирянам не подобает молиться с армянами и ходить на их молитвенные сборища и кладбища. Правило 45-е святых апостол гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволить им действовать что-либо, яко служителям церкви, да будет извержен». Правило 65-е тех же святых апостол говорит: «Аще кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться, да будет и от чина священного извержен, и отлучен от общения церковного».

Ясно это, господа, или не ясно? Мне кажется, что очень ясно и в комментариях не нуждается. Одно из двух: или наша теперешняя Церковь признает правила святых апостолов обязательными для себя, или не признает. Если все еще признает, то даже «высшие гражданские чины» в Тифлисе, присутствующие на литургии и панихиде в Ванкском соборе, должны теперь ждать от своего православного духовенства отлучения от духовного общения.

Нет сомнения, большинство русской публики чрезвычайно равнодушно к тому, была послана православная депутация в Эчмиадзин или не была, имела она на это каноническое право или не имела. Большинство, потерявшее живую веру, относится к подобным вопросам совершенно как люди, потерявшие обоняние, — к разным запахам. «Ничем не пахнет» — вот и все. Ни упоительного люди не чувствуют, ни отвратительного, а нечто сплошь пресное, как воздух. Отчего же не послать епископа или архимандрита к высокопоставленному гробу, хотя бы еретического патриарха? У них свое духовенство, у нас свое, и это очень мило, когда архиереи разных вер лобызаются и обмениваются молитвенными визитами. Это-то, видите ли, и есть будто бы настоящее христианство — все сплошь признавать, со всем мириться. На этом основании наше светское правительство давно приравняло духовных лиц даже не христианских вероисповеданий к нашему священству — даже еврейских раввинов и магометанских мулл. Мало того — усилиями православного правительства было создано даже особое языческое (ламаистское) «духовенство» и обставлено (в Сибири) таким почетом, какого нашему священству не дождаться. Бюрократы наши смотрят на разные исповедания, как на разные ведомства: есть, видите ли, тайные советники по министерству внутренних дел, но есть они и по министерству финансов, и по другим ведомствам. Всем им полагается тот же титул и почет. Пусть так думает светское чиновничество, но, мне кажется, Православная Церковь подпишет смертный приговор себе, если усвоит эту же точку зрения. Если православие признает когда-нибудь все другие церкви равноценными себе, то тем самым откажется от истины православия. Если наша

иерархия признает еретическую иерархию как рукоположенную, то тем самым отречется от первородства своего и от самой святости своего помазания. Если все веры равны и все иерархии равно достойны, то зачем же народу русскому оставаться в православии? Верь кто во что горазд, молись какому хочешь идолу — твое дело! Но тогда что же и говорить об истине православной веры или о каких бы то ни было нравственных обязательствах, с этой истиной связанных!

Как я уже писал не раз, религиозная катастрофа идет у нас не в низах народных, а наверху. Крушение веры совершается, конечно, и в низах, но лишь как следствие угасания тех светильников, что стоят на верху горы. Можно ли нам, простым обывателям, быть искренно верующими, если высшее священство равнодушно к религиозной истине? Мы, простые обыватели, не знаем богословских тонкостей; все эти монофизиты и монофелиты — для большинства тарабарщина, но одно не тарабарщина — это *ревность* к вере учителей наших или полное отсутствие этой ревности. Когда мы видим апостола, готового идти на смерть за объявленный им святой закон, мы невольно думаем: он, должно быть, прав — очевидно, ему открылась истина дороже жизни; но когда современный апостол говорит: «Верьте в истину, но уважайте и заблуждение», — то простые люди совершенно сбиты с толку. Во что же, однако, правильнее верить и на чем остановиться? Ведь всякая искренняя вера есть великая любовь, которая ревнива и никакой «терпимости» не допускает. Объявите полную «терпимость» — и для верующего сердца будет нарушена трагическая *чистота* сознания, целомудрие души, желающей быть достойной Бога. Что-то смрадное, как грех седьмой заповеди, вторгается в область веры, когда начинают *не замечать* ересей, совсем *забывать* о них. Священное боговенчанное превосходство исчезает, *исчезает* из веры чудо истины и — вечное разлагается в «условном».

Я не знаю, чем руководился экзарх Грузии, точнее, кавказское светское начальство, посылая почетную депутацию православного духовенства к гробу католикоса. Надо думать, что тут мы имеем один из бесчисленных примеров того же ухаживания за инородцами, какое на всех окраинах наших привело Россию к унижению. Желая изо всех сил понравиться и угодить, у нас готовы пожертвовать даже достоинством народным, даже такой тысячелетней гордостью России, какой считалось православие. Угодим мы этим или не угодим армянам — это еще большой вопрос: l'apetit vient en mangeant, и чем больше мы заискиваем перед слабостью, тем она становится надменнее. Но что собственное достоинство мы унижаем подобными странными демонстрациями — это несомненно. Несомненно и то, что пренебрежение к древнему закону Церкви соблазняет не «единого из малых сих», а целые миллионы слабых людей, за которых кто-то даст ответ не здешней власти.

1911 год

ЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

8 января

Я получаю письма от армянских священников, где они негодуют на мою статью «Рекорд веротерпимости» («Новое время», № 12493). В этой статье, как читатель благоволит припомнить, я отметил еще один — и крайне яркий — пример разложения нашей церковной бюрократии, пример пренебрежения к правилам святых апостолов и вселенских соборов. Я говорил, что армянская церковь считается и Западной, и Восточной Церквами еретической, между тем на похороны армянского католикоса у нас сочли нужным послать почетную церковную депутацию в лице епископа, архимандрита и ректора семинарии. Безусловно сочувствуя всякой *искренней* вере, хотя бы и неправославной, я думаю, однако, что посылка названной депутации была ненужной и неприличной, оскорбительной для тех церковных законов, которые до сих пор не отменены. Армянские священники мне не возражают по существу вопроса. Они только опровергают мое указание, что армянская церковь разделяет ересь Евтихия, то есть монофизитство. В письме в редакцию от 23 декабря священник Мрктич Газарян говорит, что «армянская церковь не только не признает учения Евтихия, но и предает анафеме и Евтихия, и его учение, и его последователей. Армяне вовсе не монофизиты и признают в Иисусе Христе вовсе не одну природу, но армянская церковь признает в Иисусе Христе две природы». Я позволю себе усомниться в авторитетности г-на Мрктича Газаряна, хотя он и армянский священник. <...> Правда, формально армяне отвергают учение Евтихия, однако сами исповедуют в несколько другом выражении ту же самую ересь. В чем же сущность установленного Евтихием монофизитства, как не в том, что Христос был *только* Бог, хотя и воплотившийся в человека? Это вовсе не я выдумал, будто армяне монофизиты: это значится в учебниках и энциклопедиях как вещь научно общепризнанная. <...>

Профессор Крюгер — авторитет по части христианских вероис-

поведаний, и в суждении об армянской церкви он опирался на целую литературу о ней, начиная с Calanus — «Historia Armena ecclesiastica», 1686, и кончая таким армянским авторитетом, как M. Ormanian («Le Vatican et les Arméniens», 1873). В качестве *монофизитской*, признающей в Христе *одну* природу, говорит об армянской церкви и немецкая энциклопедия Брокгауза (т. 1, с. 898): «Вероучение армянской церкви отличается от греко-православного тем, что это учение принимает *монофизитским* образом во Христе только одну природу».

Как видите, называя церковь монофизитской, я опирался не на свое собственное мнение, а на общее в Европе убеждение по этому вопросу, которое держится больше тысячи лет.

Допустим, однако, вместе с профессором Крюгером, что «армянская церковь приняла монофизитство, не отдавая себе точного отчета в том, что она делала»; допустим даже то, что если захотеть понять не так, а этак, то из тех же армянских догматов можно вывести противоположный общепринятому смысл. Для меня в данном случае богословские тонкости совершенно неинтересны. Правы или не правы армянские вероучители — это их дело. Для нас с читателем важна не вероисповедная, а политическая сторона посылки православной депутации в Эчмиадзин. Нарушил ли экзарх Грузии каноны православия чествованием анафематствованного патриарха или не нарушил? В чем бы ни состояла ересь, приписываемая армяно-григорианству, она до сих пор официально считается ересью. Кто прав, кто виноват — один Бог рассудит, однако для духовного начальства обязательно лишь то поведение, которое предписано правилами святых апостолов и вселенских соборов. В течение более тысячелетия армяне считались еретиками — и это было установлено в те века, когда вопросы о ересях привлекали к себе самое вдумчивое, самое напряженное внимание культурнейших тогдашних классов. Было же, стало быть, замечено тогда какое-то глубокое различие между православием и армянством, и не без серьезной же причины эта древняя церковь была предана анафеме. Если теперь кажется, что никаких различий нет и все это вздор, «все веры равны», — то подобный вывод, очевидно, основывается на полном равнодушии к какой бы то ни было вере и совершенном нежелании разобраться в различиях. Но древнее христианство бесконечно внимательнее глядело на разноверие, и как оно понимало армянскую ересь, об этом остались следы в уставах и преданиях нашей Церкви. Например, в уставе служб за Неделю мытаря и фарисея сказано: «Миряне едят мясо, то есть сплошная неделя, а треклятые армяне постятся — мерзкий их пост называется Арцывуриев». Установлена

нарочно *всеядная* неделя, то есть нет поста даже в среду и пятницу, чтобы не подражать армянам. Старое православие держалось строгим повиновением семи вселенским соборам, между тем армяне — по тем или иным причинам — не признают четвертого, а по некоторым источникам, и остальных соборов; уже одно это кладет между церквами непереходимую пропасть. Древняя Русь унаследовала вселенское отношение к армянской церкви. Армяне допускались в Россию на тех же условиях, что и «иудеи, измаильтяне и агаряне», — не иначе как с обязательством жить отдельно от православных, в особой черте оседлости, как бы в религиозном карантине. В Патерике печерском рассказывается, что однажды преподобный Агапит заболел. Пришел врач и пощупал пульс у больного. Случайно святой Агапит узнает, что врач — армянин. Тогда он закричал на врача: «Как смел ты войти ко мне и осквернить мою келью, а своим прикосновением — мою грешную руку? Иди вон от меня, иноверный и нечестивый!»

Я лично, к сожалению, бесконечно далек от подобной религиозной ревности, но завидую ей и уважаю ее, как всякий темперамент, воспитанный до величия. Тут полнота религиозной страсти, тут ее гений. Вы думаете, истинное христианство было терпимо к иноверию? Нет. Вот что говорится в ежедневной (когда-то) молитве: «Шатания языческие угаси и ересей восстания скоро *разори* и *искорени* и в *ничто* же силою Святого Твоего Духа обрати». Нам, простым обывателям, у которых вера вылиняла до серого какого-то пятна на душе, теперь, повторяю, все равно, кто во что верит, или, точнее, — кто во что не верит. Но неужели прилично *Церкви* — духовному начальству — падать до нашего мертвого к вере равнодушия?

Корреспонденты радикальных газет (например, «Русского слова») телеграфируют из Эчмиадзина, что на прибывших армян-делегатов произвело «сильное впечатление присутствие на похоронах католикоса представителей Православной Церкви — случай *беспримерный*. Также никогда со времени русского владычества на Кавказе на погребении католикоса не присутствовало столь важное административное лицо, как помощник наместника». В самом деле, это *первый* в истории нашей Церкви и государственности пример самоунижения относительно армянского так называемого патриаршего престола. Называю этот престол «так называемым» с точки зрения православной власти, которая, оставаясь верной повелениям вселенских соборов, не может признать еретическое священство истинно рукоположенным. На этом основании в старину наше правительство за армянскими католикосами признавало титул «честнейших», а не «святейших», как принято теперь (теперь дошли до

того, что даже языческому далай-ламе пишут «ваше святейшество»). «Но все это мелочи, — воскликнет либеральный читатель. — Не все ли равно, какие употребляют титулы?» Простите, мне кажется, что это далеко не все равно. Титул, или чин, есть формула. Он должен быть точным, как в математике, иначе самые высокие отношения в обществе фальсифицируются и принимают бредовый характер. Неужели все равно, отвечают ли общепринятые слова их понятиям или не отвечают? Но, впадая в словесное безразличие, мы идем к анархии не только слов, но и самой мысли. В глазах православной власти все неправославные иерархии, догматы, учреждения суть то же самое, что фальшивая монета в отношении действительной. Рискнете ли вы разрешить свободное печатание ассигнаций, хотя бы по виду и очень похожих на казенные кредитные билеты? Все отлично понимают, что такая свобода печатания повела бы ко всеобщему краху. Либеральнейшие из министров не согласятся на эту меру. Но в области самых дорогих понятий — религиозных и национальных — широко допускается именно этого рода фальсификация. Анафематствованная, то есть признанная ложной, церковь официально признается как бы истинной, не святейший сан признается святейшим и т. д. Если бы это допускалось только в канцелярских бумагах, то и в этом случае было бы документальной фальшью. Но православие унижает себя до ересей не на бумаге только: начинают посылать уже почетные депутации к еретикам, и депутации епископские.

Я спрашивал некоторых знакомых богословов, людей с академическим образованием: сообразна ли была с канонами Русской Церкви епископская депутация в Эчмиадзин? И мне ответили: *конечно, нет.* В данном случае совершена не только страшная бестактность по отношению к Вселенскому православию, но и нарушение самых священных установлений. Само собой, всю эту историю у нас постараются замять. Наша высшая иерархия (я хочу сказать — наша духовная бюрократия) слишком либеральна и слишком равнодушна к тому, что в древности считалось *достоинством* Церкви. Пусть армяне радостно поражены, пусть они справедливо считают православную епископскую депутацию из Тифлиса своей торжественной победой — *первой* победой над Вселенской Церковью. Нужды нет — зато сделано нечто угодное такому-то сиятельству, такому-то превосходительству. Люди, знающие механику тифлисской бюрократии, объясняют эти странные депутации в Эчмиадзин не какими-нибудь серьезными государственными соображениями, а просто армянскими влияниями в салоне одной важной графини. Армянам, видите ли, очень выгодно потихоньку да полегоньку, со свойственной

им хитростью так налаживать ход вещей, чтобы Эчмиадзин сделался столицей гайканского народа — не только духовной, но и светской, нечто вроде армянского Гельсингфорса. Никакой армянской автономии пока нет, но армянскому католикосу постепенно начинают придавать значение *главы* всего армянского народа, с некоторым оттенком даже светской власти. Признается же папа римский одновременно государем; армяне хотели бы и своего папу поднять до королевского величия. Простодушному нынешнему наместнику Кавказа, либеральный сентиментализм которого наделал столько вреда в России, внушили, что это будет очень красиво, если он пошлет на похороны католикоса представителей и светской, и духовной русской государственности. Когда умирают монархи, то посылаются, видите ли, высокие представители соседних стран. Нужды нет, что Эчмиадзин — всего лишь армянское местечко в Эриванской губернии и «святейший престол» католикоса не более как кресло русского подданного, начальствующего в религиозном отношении над населением не свыше одной русской губернии. Все-таки в Тифлисе решили обставить небывалой помпой эчмиадзинские похороны. «Вот видите, — как бы говорит тифлисское начальство, — видите, как мы высоко почитаем сан католикоса! Мы ему воздаем прямо патриаршие почести, хотя и не смеем этого делать по канонам нашей Церкви. Мало того, мы посылаем помощника наместника, чтобы отдать и светские почести главе вашего народа. Видите ли, как мы, русские завоеватели, скромны и как вы величественны в наших глазах!» В ответ на это что же могут почувствовать армяне, как не подъем еще не слыханной гордости? Вообще высоко поднятые носы этой нации имеют основание подняться еще на девяносто градусов. «Да, мы величественны, — могут сказать армянские патриоты. — Да, мы великолепны, и самая страшная, какая была для нас, сила склонилась пред нами. Наконец-то верховный патриарх Армении признан Россией в той же чести, как и православные патриархи Востока, и наконец-то он признан и политическим главой армян». Несомненно, эти, а не другие какие-либо выводы сделают армянские патриоты на Кавказе. Вяжутся ли эти выводы с интересами русской государственности — предоставляю судить читателям.

В числе выдающихся армянских епископов, наиболее приближенных к эчмиадзинскому престолу, я знаю одного преподобного Месропа, бывшего студентом Петербургского университета. Когда он был еще в сане архимандрита, я не раз беседовал с ним о разномыслии наших церквей. Он уверял меня, что *существенного* разномыслия нет и никогда не было, а было только упорство, довольно

невежественное, с обеих сторон. Война с Хозроем не позволила, например, армянским делегатам попасть на четвертый вселенский собор, а затем маленькая церковь апостола Фаддея была и совсем отрезана от христианства и затерта среди языческих и мусульманских стихий. В таких условиях легко было перепутать догматические тонкости, к тому же тогда — полторы тысячи лет назад — далеко еще не установленные. «Так что, — допытывался я, — теперь возможно было бы сближение наших церквей?» «Да почему же нет? — отвечал архимандрит. — Оно возможно в высшей степени, если общая инертность не возьмет верха. Единственное препятствие — не захотят этим заняться, не захотят просто для сохранения самостоятельности, из самолюбия — вот и все».

В таком положении, мне кажется, находится вопрос о соединении и вообще христианских церквей. В эпоху, когда я был достаточно верующим, одна из самых сладких моих фантазий была — объединение христианства. Чем более я знакомился с причинами раскола в христианстве, тем ничтожнее они мне казались. Еще до разделения церквей папа римский признавался первым среди патриархов, и я считал огромным несчастьем для Востока, что греки подняли бунт против этого первенства. Напротив, в интересах Вселенской Церкви следовало укреплять это первенство и доводить его до главенства, до наместничества Христа на земле. Основную мысль папства я считаю до сих пор глубоко верной, только, к сожалению, плохо осуществленной. «Да будет едино стадо и един пастырь» — эта идея не только грандиозной красоты, но и окончательной истины. Существуй в XIII веке одно неделимое христианство, может быть, Россия отстояла бы себя от монгольского ига и, может быть, через два столетия Византия не была бы взята турками. «Tota christianitas» — величайшая из морально-государственных концепций, и то, что она рухнула, не делает чести человеческому роду. Для меня всегда казалась презренной та богословская логомахия, которая прикрывала лишь честолюбие некоторых иерархов и их алчность и как завершение всего поселяла раздор между людьми. Восхищаясь ревностью святого Агапита или той старушки, что принесла охапку дров для костра Гуса, я всегда с ненавистью думал о тех высокопоставленных книжниках и фарисеях, которые, не поделив власти, разделили веру и перессорили между собою народы. <...> Но если уж осуществлять сближение церквей, то нельзя же делать фальшивые и унизительные шаги. Нельзя, чтобы примирение в тысячелетней распре зависело от произвола пограничного архиерея и от инородческих влияний в гостиной ее сиятельства. Собирайте закономерно церковные соборы, обсуждайте разногласия в духе любви Христовой, ставьте постановле-

ния для всех верующих ясные и обязательные. Тогда не будет допущено ничего недостойного ни с той, ни с другой стороны, а главное — не будет либерального лицемерия, прикрывающего полное отсутствие религиозности. А то на что же это похоже: в своих церковных уставах мы продолжаем называть армян «треклятыми» и затем ездим в епископских клобуках на поклонение их главе!

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Вчера исполнилось 30 лет со дня смерти Достоевского. Почти треть столетия отделяет Россию от жизни великого ее *пророка*. Таким звали Достоевского еще при жизни. В самом деле, из всех поэтов России, из всех знаменитых писателей, мало того, из всех святых, родившихся на нашей земле, Достоевский ближе всех подходил к пророческому облику. Он ни в малой степени не был святым, но что-то священное в нем горело: в маленьком и невзрачном теле, точно на древнем алтаре, беспокойно пылал как бы жертвенный пламень. Он не был святым: святые русской крови в большинстве были кроткие сердцем, в нем же было что-то львиное. Около его писательской фигуры, как около евангелиста, таинственно виделся как бы апокалипсический зверь. Пророки вообще не были кроткими, они были более, чем апостолы, «сынами грома», как их звал Христос, носителями грозного слова Божьего. Автора «Бесов», изобличителя темных духов, вселившихся в душу русскую, автора «Преступления и наказания», автора «Карамазовых» никак нельзя назвать талантом кротким. Это была огромная и бурная душа, точно умственный вихрь, вырвавшийся из недр русской расы, — явление, ни с чем не сравнимое. В ряду великих сверстников Достоевский выделяется крайним своеобразием. Именно его первого в России заметил мир и им первым был поражен. Несмотря на протекцию Тургенева и разные другие неизмеримо более благоприятные условия, Лев Толстой до сих пор еще заслонен Достоевским в европейском мнении. Лев Толстой и Тургенев в художественном отношении слишком классики, чтобы поразить Европу: после Бальзака и Теккерея они там не показались новыми. И Тургенев, и Толстой гениально изображали культурный быт, то есть ту отстоявшуюся законченную природу общества, которую дала крепостная цивилизация. Достоевский же писал развалины этого быта и то землетрясе-

ние, что произвело эти развалины. Он писал о том, что было катастрофой быта, пророчески предвидя (в «Бесах», например) даже грядущие события. В сущности, сам Достоевский в своей страстной изощренности и в колоссальном размахе чувств явился человеком новым, еще не бывалым в европейском обществе. Он в своем собственном лице дал пророчество о приближении какой-то новой породы душ, утонченно странных и как бы одержимых демоном. Ни Тургенева, ни Льва Толстого в Европе не читают в такой степени и не чтят, как Достоевского: первые признаны великими, но чужими, — он же признан своим и даже *величайшим*. Ни Тургенев, ни Толстой не создали в Европе литературной школы, у них не явилось учеников, по крайней мере сколько-нибудь крупных. Достоевский создал свою школу: ни один крупный талант последнего времени не свободен от чего-то, как бы заимствованного у нашего психолога-романиста. Он имеет даже первостепенных писателей, вроде Кнута Гамсуна, считающих честью называть себя учениками Достоевского. Разве Гауптман[1], говоря по правде, вышел не из Достоевского? Разве, читая Пшибышевского[2], в его лучших вещах вы не чувствуете тех же устремлений в омуты и бездны духа, к которым впервые приучил литературу Достоевский? Декаденты, импрессионисты, модернисты, поскольку природный гений дает им право быть художниками, были предсказаны Достоевским. Он предвосхитил в этих школах все великое, и только ранняя смерть помешала ему удержать уклон литературы в колее благородного творчества.

К истинному несчастью (не одной России), Достоевский умер слишком рано, не дожив и до шестидесяти лет. Может быть, совсем иначе сложилась бы умственная жизнь Европы, проживи Достоевский еще 15—20 лет. Ведь он умирал, едва вступив в новую, окончательную эпоху своей огромной работы, он умирал, едва освободившись от удручающей нищеты, умирал на заре всеобщего признания, всеобщего им увлечения. Я живо помню похороны Достоевского. Я тонул в этой стотысячной толпе, я видел глубокую взволнованность молодежи, хоронившей своего учителя. Всего один месяц отделяет смерть Достоевского от цареубийства 1 марта. Но уже похороны Достоевского предсказывали тогдашней революции полный провал. Цареубийство тогда носилось в воздухе. Шайка политических психопатов подводила мины под дворцы, поезда, столичные улицы; она атаковала доброго и слабого монарха всюду, из подземелий и из воздуха. Но несмотря на неслыханную в истории лютость этой кучки злодеев, достаточно было побывать на похоронах Достоевского, чтобы убедиться, что тогдашней революции наступал конец. Она тогда еще не поставила своей кровавой точки, но

психологически была подорвана — и главным образом благодаря Достоевскому. Разве не он гремел тогда против нигилизма, разве не он звал к новому высокому настроению, христианскому и национальному? Правда, он был не совсем одинок. Бок о бок с ним сражались единомышленные ему и одушевляемые им таланты — Писемский, Лесков, Аксаков, Катков, но он возвышался между ними, как Арарат, и все поглядывали на него, как на свою вершину. Даже Лев Толстой после смерти Достоевского писал, что потерял в нем свою нравственную опору. Вдумайтесь в значение этих слов, если принять в расчет, каким чудовищным самолюбием обладал Толстой.

Уже на пушкинском юбилее 1880 года в Москве сразу выяснилось, кто был тогда главой русской литературы. В своей знаменитой речи о значении Пушкина Достоевский пригнул к ногам своим даже непримиримых врагов своих, даже таких могучих соперников, каким был идол читателей — Тургенев. Даже великий автор «Дворянского гнезда» с присущим ему благородством склонил перед Достоевским свою седую голову. Юбилей Пушкина совсем нечаянно обратился как бы в коронацию Достоевского. Я не был на этом памятном юбилее, но от многих бывших на нем слышал, что это было нечто неописуемое по восторгу. «Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине, — признается Страхов: каково могущество таланта! — До сих пор слышу, как над огромной притихшей толпой раздается напряженный и полный чувства голос: "Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!" Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто был его свидетелем... Толпа вдруг увидела человека, который сам весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет». Вот в каком тоне пишет покойный Страхов, столь вообще сдержанный и в общем-то холодноватый. Знаменитые писатели бросились целовать Достоевского, за ними публика устремилась к эстраде. Один юноша, добравшись до Достоевского, упал в обморок от охватившего его восторга. Аксаков объявил, что он не считает себя достойным сказать что-нибудь после Достоевского. И западники, и славянофилы выражали ему величайшее сочувствие и благодарность. «Вот что значит гениальная речь, — сказал Анненков, — она сразу порешила дело!»

Мне кажется, тут была не только гениальная речь, но немножко больше: речь пророческая. Слово «пророк» затаскано у нас, но само явление пророка — необычайная редкость, и вот толпа (тогда, в

начале 1880-х годов, сравнительно еще благородная и с христианскими преданиями) вдруг увидела подлинного пророка... Не речь о Пушкине была дорога, а бесценным и необычайным показался искренний голос, как бы идущий из сердца природы, говорящий из вечности. О этот эпилептический Достоевский, выходец из каторги! Он в самом деле казался среди писателей русских великомучеником и страстотерпцем, он говорил как выстрадавший, как власть имущий. Ему невольно верили, потому что такому, как он, *нельзя* было не верить. Национальным и, может быть, всесветным несчастьем вышло то, что этот вождь тогдашней литературы умер так скоро после своего увенчания. По колоссальному успеху, который приобретал «Дневник писателя», по той литературной буре, которую внесли с собою «Карамазовы», можно себе представить, чем были бы 1880-е и 1890-е годы, если бы Достоевский не сошел с своей трибуны. «Карамазовы» остались недописанными. Столь долго мучившее Достоевского (как и Гоголя) создание положительного человеческого лица не было завершено. Алеша Карамазов вышел все же только эскизом задуманного Алексея Карамазова. Подобно Гоголю, Достоевский чуть не задохся среди человеческих извращений, им открытых. Как и Гоголь, Достоевский был испуган своим творчеством и боролся с ним: миру темных и мертвых душ ему хотелось страстно противопоставить истинный образ Божий, *богоподобного человека*. Оба великих писателя умерли, не осилив этой задачи, не закончив ее. Не по плечу, кстати сказать, она оказалась и Льву Толстому: разве Нехлюдов или Левин живые люди? Это гальванизированные трупы.

Но что богоподобный человек вообще возможен в искусстве, доказывает множество прекрасных и светлых лиц, зарисованных всеми названными художниками *попутно*, на втором, часто на заднем плане. Разве герои таких маленьких рассказов, как «Честный вор», «Кроткая», «Сон счастливого человека», не богоподобны? Разве не тот же Толстой создал Платона Каратаева? Разве не Тургенев подметил «Живые мощи»? Мне кажется, что, несмотря на некоторую неудачу в лице князя Мышкина, Достоевский был, в силу пророческой своей природы, наиболее способным нарисовать положительный идеал человеческий.

Души гибнут, и души спасаются. Достоевский имел способность спускаться не только в ад души русской, но и подниматься в чистилище ее и в возможный рай. Весь преисполненный христианством (подумайте только, в каких условиях Достоевский проповедовал себе Евангелие, будучи в каторжных кандалах!), влюбленный в поэзию Церкви, душевно сросшийся с простым народом, 60-летний

Достоевский только что восходил на высоту возможного постижения человечности вообще и русской в частности. Будь он жив — можно себе представить, как гремел бы он в течение по крайней мере еще двух десятилетий! Нет сомнения, ему пришлось бы вступить в духовную вражду с Львом Толстым, и одно зрелище столь титанической борьбы было бы необыкновенно поучительным для истории. В неслыханных еще напряжениях таких талантов, таких искренностей, таких религиозностей выяснилось бы, может быть, нечто всемирно важное. Ведь Царство Божие *усилием* берется, и *богатырским* усилием; нужны сверхчеловеческие сопротивления, чтобы определилась победа одного начала над другим. Толстой объявил себя беспощадным врагом исторической Церкви и государства, но он, к сожалению, не встретил себе ни одного сколько-нибудь внушительного возражателя. Всего вероятнее, что Достоевский выступил бы на защиту и Церкви, и государства как органических форм общества и, подобно Карлейлю, сумел бы найти им оправдания еще неслыханной силы и глубины. Кто знает, может быть, одно присутствие в кругу литературы такого могущества, каким был Достоевский, удержало бы Толстого на его прежней орбите. Подобно двойным звездам, может быть, последние наши великие идеалисты вращались бы согласно около общего центра, около Божества, к Которому так тяготели. Трудно гадать, что было бы, но русское общество, во всяком случае, потеряло в лице Достоевского великого вождя, к которому начинал уже прислушиваться весь свет.

Рано умер Достоевский, но все же за тридцать пять лет работы он оставил огромный дар России и человечеству. Удивительные романы его припозабыты за эти тридцать лет, они заслонены историей, но до сих пор — и еще долго в глубь веков — они останутся океаном мысли и страстной, незамирающей жизни. Россия XIX века и, пожалуй, вся христианская цивилизация времен упадка едва ли могут быть поняты без изучения этого писателя — настолько глубже других классиков он заглянул в зачатки теперешнего разложения. Не говоря о Пушкине, и Тургенев, и даже Лев Толстой были слишком здоровые художники. Достоевский же как бы взял на себя скорбь мира и перечувствовал ее своими израненными нервами. Он мог описывать «бедных людей», «униженных и оскорбленных», потому что знал, что такое бедность и унижения, и испытывал их почти до конца жизни. Он имел право писать о преступлении и наказании, прикоснувшись к преступному миру, как никто. Он блистательно изобразил бесов, вселившихся в свиное стадо нравственно грязных людей: ему не надо было далеко искать их, он

вращался среди них. Вот почему, когда под конец жизни он пришел к заповеди: «Смиритесь, гордые! Потрудитесь, праздные!» — в его устах эта заповедь звучала с силой покоряющей.

Гордость и праздность — неужели этой главные пороки разлагающегося христианства? Пожалуй, что и главные. Ровно через тридцать лет после кончины нашего пророка поглядите, что делается теперь в Петербурге на вершинах просвещения, среди наиболее впечатлительного слоя общества. Бунтуют университеты, политехникумы, женские курсы. Молодые люди и девицы, к которым нищий народ так добр, что предоставляет все средства знания и все способы служить родине, — «бастуют», бродят по аудиториям с революционными песнями, кричат о ниспровержении установленной народом власти. Разве это, в самом деле, не горделивое помешательство молодежи и разве оно не осложнено другой психической болезнью — праздностью? Разве эти гордо-ленивые молодые люди, которые каждый день все-таки кушают чей-то хлеб, заслужили хоть тень права на какую-нибудь гордость? Разве действительно они уж так утомлены, чтобы среди ежедневно трудящегося народа позволить себе произвольный отдых? Ведь если взять любого из этих бесноватых и спросить, какие же, наконец, у него заслуги пред обществом, какие ощутимые труды, так ведь не окажется совершенно никаких. Они в подавляющем большинстве паразиты или полупаразиты общества, и вся производительность их заключается в органических отбросах, как у детей. Они — часто на третьем десятке жизни — все еще дети и только в качестве таковых имеют право на милосердие питающего их взрослого поколения. Но в таком случае откуда же сатанинская гордость этих ниспровергателей общества, откуда право их на праздность? Встань из гроба Достоевский, он мог бы только, как тридцать лет назад, повторить этим полупомешанным: «Смиритесь, гордые! Поработайте, праздные!»

Если вдуматься в вечный смысл смирения христианского и в значение труда, вы придете к заключению, что одной этой заповеди уже достаточно для воскресения общества. Что значит «смирись»? Это значит — не воображай о себе слишком много. Измерь себя истинной мерой, не равняйся с Богом. Не ты создал общество — не разрушай его. Оно создано неисчислимыми силами и на протяжении тьмы веков; так неужели же горсточка праздных молодых людей, не способная заработать себе обед, в состоянии *пересоздать* мир? Попробовали бы, как предлагал Христос, прибавить себе самим хоть вершок росту. «Смирись» — это значит: не мучь себя напрасно несбыточными задачами, возьми посильный труд — и ты найдешь в нем счастье. Шить сапоги или считать на счетах — это вполне

благородная работа, если она выполняется хорошо; насколько презреннее борьба с историческими законами, которых вы еще не знаете и которых праздность ваша не дает вам возможности изучить!

Призыв Достоевского к смирению и труду относился прежде всего к интеллигенции, к образованному, слишком избалованному и изнеженному кругу. Но за эти тридцать лет и широкие простонародные слои втянулись в ту же безумную гордость и в ту же праздность. Над православной Россией и над всей развращенной цивилизацией тяготеет первородное дьявольское внушение: «Ослушайтесь — и будете как боги», то есть будьте гордыми, и вы будете праздными. Но поддающиеся этому искушению народы изгоняются из рая жизни, они погрязают в нищете, в пороках, в Каиновом взаимоистреблении. За эти тридцать лет провозглашена повсюду классовая борьба и любимым орудием гордости является праздность. То одна ткань общества отказывается служить, то другая, то все вместе, безумно думая, что паралич деятельности оздоровляет и распутывает затруднения. Именно ввиду анархии, которая так быстро ширится, есть особенный повод вспомнить великого врага анархии. Он и из могилы страшен для нее призывом к вечному долгу: быть скромными и трудиться честно.

ПУШКИН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

30 января

В суждении о том, было ли у нас рабство или только крепостное право, вызывается чрезвычайно важный свидетель — А. С. Пушкин. Счастливая мысль потревожить кости великого поэта принадлежит А. А. Столыпину. Неверно приписывая мне спор с Национальным клубом (я возражал какому-то «русскому», а не клубу), А. А. Столыпин пишет: «Насколько понятие о рабстве в глазах современников совпадало с понятием о крепостной зависимости, свидетельствуют хотя бы слова Пушкина. “Увижу ль я народ освобожденный и рабство, падшее по манию царя...” А ведь пушкинское творчество — сама правда, несовместимая с неверными определениями и фальшивыми словами».

Мне кажется, этот довод в пользу рабства очень натянут. Мало ли какие слова все мы употребляем. Не заботясь об абсолютной их

точности, не будучи подданными друг друга, разве не называем мы один другого «милостивыми государями»? И разве подпись «ваш покорный слуга» составляет обязательство чистить кому-нибудь сапоги? За исчезновением рабства в незапамятные времена название его осталось и в просторечии иногда переходило на простых слуг, особенно крепостных. Боярство, например, давно отменено, однако до сих пор крестьяне зовут господина барином. Совершенно того же свойства употребление и противоположного звания — раб. В каждой живой речи есть потребность подчеркивания понятий, ударения на них, и в этом случае всегда берут не настоящее, а несколько преувеличенное слово или преуменьшенное.

А. А. Столыпин, вообще, прав, говоря, что пушкинское творчество — сама правда, но он совсем не прав, будто творчество несовместимо с неверными определениями. Как раз наоборот! Разве не существует более того, что называется licentia poetica?*

Разве тот же Пушкин не называл солнце Фебом, смешивая громадный огненный шар с человеческой фигурой? Разве в каждой строчке Пушкина вы не найдете умышленно неверных определений, необходимых именно для правды творчества? Хотя бы в том же стихе, что приведен выше: «рабство, падшее по *манию* царя». Где же это видано, чтобы рабство утверждалось или падало по манию царей? Но нельзя же требовать, чтобы поэт выразился вполне точно и сказал бы: «рабство, падшее в силу подписи царя на таком-то манифесте». Попробуйте уложить «крепостное право» или вообще какое угодно юридическое определение в поэтическую речь — вы увидите, какой вздор из этого выйдет.

А. А. Столыпин как на признак рабства напирает на то, что крепостных *продавали*. Но ведь это была продажа совсем особого рода. Продавали не человека, а обязанность его служить владельцу. И теперь ведь, продавая вексель, вы продаете не должника, а лишь обязанность его уплатить по векселю. «Продажа крепостных» — просто неряшливое слово, как и слово «душа» в качестве имущественной единицы. Это оплошность Церкви и государства, не догадавшихся почистить официальный язык. Употребляя слово «столько-то душ», все понимали, что речь идет не о бессмертной душе человеческой, а о праве на ее известные услуги. Душа не продается. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — решил этот тонкий вопрос Пушкин. Ведь и до сих пор все люди, кроме бессовестных лентяев, продают ближним свои услуги, но это не значит, что они продают себя. Продажа крестьян или обмен их хотя бы на собак

---

* Поэтическая вольность (*лат.*).

иногда были возмутительными, но чаще благодетельными для крестьян: уже если свинья помещик продавал своих крестьян или менял их, то, очевидно, у такой свиньи крестьянам было хуже жить, чем у нового хозяина, который, покупая, тем свидетельствовал, что придает им ценность. Не надо забывать и того, что одни и те же слова звучат теперь совсем иначе, чем пятьдесят лет назад. «Продать человека» теперь звучит кощунственно, но тогда — с приведенной выше поправкой — не казалось никому ни странным, ни оскорбительным. Народ имеет свою формулу труда: «Нанялся — продался», и это с сотворения мира не роняет достоинства отношений.

Уже если вызывать кого-нибудь к свидетельскому допросу, то следует просить давать показание не стихами, а прозой. Пушкин имел случай высказывать свое отношение к крепостному праву не раз, и не только в стихотворении «Деревня», которое цитирует А. А. Столыпин. Кстати сказать, это стихотворение было написано Пушкиным в 1819 году, когда поэту исполнилось ровно двадцать лет. Пушкин, подобно многим юношам, переживал в это время очень несерьезный период своей жизни. Пушкин сошелся с тогдашними революционерами (будущими декабристами), но те считали молодого повесу слишком легкомысленным, чтобы принять в свои тайные кружки. Оскорбленный этим, Пушкин — несколько копировавший Байрона — задумал создать себе репутацию человека еще более опасного, чем его приятели-заговорщики. Вот что пишет об этом сам поэт: «Мне было 20 лет... Несколько необдуманных слов, несколько сатирических стихов обратили на меня внимание. Разнесся слух, что я был позван в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным пред светом, я потерялся, дрался — мне было 20 лет!..» Пушкин подумывал даже о самоубийстве, но боялся, что это сочтут именно признанием, что его высекли. «Тогда, — пишет он, — я решился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и в моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною как с преступником. Я жаждал Сибири, как восстановления чести...» Вот в каком настроении находился 20-летний Пушкин в эпоху, когда он кричал против «рабства».

В стихотворении «Деревня» юноша Пушкин высказал едва ли свое личное, вынесенное из жизни мнение о русской деревне: воспитываясь до восемнадцати лет в Царском Селе, Пушкин в тот период еще почти не знал деревни. Приехав туда, он привез с собою мнение готовое, великосветское, сентиментально-революционное, сложившееся, как мода, под давлением не нашей, а фран-

цузской жизни. Вспомните, что сама Екатерина вела переписку с философами революции и называла себя республиканкой. Молодой Пушкин, попав в русскую деревню, взглянул на нее, естественно, глазами своего воспитания и круга. Но крайне любопытно то, что даже в этом стихотворении, написанном, может быть, для либерального аттестата, Пушкин не мог не отметить очень важной стороны крепостного быта. «Цветущие нивы», «сей луг, уставленный душистыми скирдами», «на влажных берегах бродящие стада, овины дымные и мельницы крылаты; *везде следы довольства и труда*». Вот она, правда поэтического творчества, — при крайней тенденции оплакать «рабство» совсем нечаянно выскочило также и «довольство».

Но оставим «Деревню», стихотворение 20-летнего Пушкина. Посмотрим, как отзывался о крепостном праве тот же Пушкин 34-летний, то есть человек вполне политически зрелый и вдобавок проживший в деревне, хотя и невольно, целые годы. Прочтите его заметки «Александр Радищев», «Мысли на дороге», «Разговор с англичанином о русских крестьянах». Радищев в своей знаменитой книге не сказал ничего нового о деревне: он лишь повторил крайне бездарно и длинно то, что юноша Пушкин изобразил в «Деревне» гениальными стихами. Как же отнесся Пушкин к книге Радищева?

Пошлость преувеличения

«Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и пр. преувеличенны и пошлы, — говорил Пушкин. — Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны... Он (Радищев) как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие: не лучше ли было предоставить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян?» Между прочим, Пушкин замечает в одном месте, что уже тогда, в начале 1830-х годов, шло «обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробления имений, *исчезающих с ужасной быстротой*, частью от других причин». Прошу читателя запомнить это свидетельское показание Пушкина. Задолго до крестьянской реформы, за тридцать лет до нее, дворянские имения исчезали с «ужасной быстротой». Крепостное право *не удалось* в России и видимо разрушалось: к концу 1850-х годов большинство крестьянских «душ» принадлежали уже не помещикам — они были

заложены у казны, совершенно как теперь заложены и перезаложены в казенном банке дворянские земли.

«Власть помещиков, — пишет Пушкин, — в том виде, как она теперь существует, необходима для рекрутского набора. Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрутов. Вот одна из тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших поместьях, а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле из единой любви к рассеянности и чинам».

Из этих кратких строк достоверного свидетеля рвется, как молния, истинная причина падения крепостного права. Для последнего нужны не только крепостные крестьяне, но и помещики; крестьяне нашлись, но не нашлось дворян, чтобы сидеть в деревне. Как только раскрепостили дворян от их государственных обязательств, они целыми массами потянулись в города, чтобы развлекаться и выслуживать чины. В историческом двучлене «барин + мужик» выпал барин и подменен был или мужиком же — старостой, или бурмистром-инородцем (немцем, латышом, поляком и т. п.). Естественно, что названный бытовой двучлен принял значение, так сказать, иррациональное. Даже в тех случаях, когда в деревнях оставались еще помещики, очень многие из них были из выслужившихся разночинцев, то есть далеко не той нравственной породы, какая была необходима для крепостных отношений.

Из дальнейшего чтения «Мыслей в дороге» вы видите, что Пушкин сочувствует сдаче в рекруты крестьян не в очередь, а по выбору помещиков, смеется над вздохами Радищева о том, что крестьяне не употребляют сахара, и замечает, что квас и баня в каждом дворе — признаки некоторого довольства. «Замечательно, — говорит Пушкин, — что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия такой чертой: "и начала сажать хлебы в печь"». Пушкин присоединяется к мнению Фонвизина, что судьба русского крестьянина счастливее судьбы французского земледельца. Пушкин утверждает, что русский крепостной счастливее даже английского (тогдашнего) рабочего. Описав «ужасы» (не исключая «отвратительных истязаний») английских рабочих, Пушкин говорит: «У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром, барщина определена законом; оброк не разорителен, кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности и усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев. Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать его, как и где он хочет. Крестьянин промышляет,

чем он вздумает, и уходит иногда за две тысячи верст вырабатывать себе деньгу. Злоупотреблений везде много; уголовные дела ужасны. Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего... В России нет человека, который не имел бы собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши, у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу он ходит в баню, умывается по нескольку раз в день». Это вовсе не похоже на «рабство».

Повторяя те же мысли в «Разговоре с англичанином», Пушкин заставляет англичанина спросить: «И это вы называете рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простора действовать». «Но свобода? — восклицает Пушкин. — Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?» Англичанин отвечает: «Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами?» и пр. Пушкин именно потому, что он был поэт, великий созерцатель художественной правды как «вещи в себе», придавал огромное значение *свободному* обращению крестьян с господами и отсутствию даже «тени рабского унижения в его поступи и речи». Какой же, в самом деле, это был раб, если он ничуть не был похож на раба, а был совсем похож на свободного человека? Пушкин справедливо находил, что на Западе (даже в Англии) отношения между высшими и низшими сословиями отличаются гораздо большей унизительностью, доходящей до подлости. Вспомните таких «рабов», как живая Арина Родионовна, и сочиненный, то есть списанный с натуры, Савельич. Мог ли Пушкин, именно как художник, вникающий в суть вещей, считать подобные отношения рабскими?

Кроме того, что великий поэт *говорил* о крепостном праве, существует нечто еще более доказательное по этому вопросу — именно, что он *делал* в качестве помещика. Подобно подавляющему большинству дворян, он *ровно ничего не делал* для отмены крепостного права. Он спокойно владел так называемыми рабами, получал с них оброк, закладывал их и продавал. Если бы в самом деле крепостное право представлялось тогдашним культурным людям такой нестерпимой гадостью, как изображено в «Деревне», так кто же мешал бы Пушкину и всей плеяде тогдашних гениев и талантов *отказаться* от своих прав? Для этого вовсе не нужно было «мания царя». Ни один царь не запрещал любому помещику в любой момент отпустить крестьян на волю и даже, если ему угодно, подарить им свои

земли. А. А. Столыпину лучше меня известно, многие ли из дворян воспользовались этою простой возможностью развязаться с рабством. Помните Чацкого: «Кто так чувствителен, и нежен, и остер, как Александр Сергеич Чацкий», кто умел в московских гостиных так красноречиво описывать ужасы обмена людей на собак и т. п.? Однако красноречивый оплакиватель, как значится в пьесе, сам был помещиком, проживал на крестьянский счет за границей, ища «оскорбленному чувству» самые красивые уголки в Европе, — и вовсе не думал отпускать крестьян на волю. Почему? Да потому, что «чувствительность и нежность» либеральных дворян на самом деле вовсе не так серьезно была возмущена крепостным правом. Кричали о *рабстве*, хорошо понимая, что рабства нет, а есть при самой элементарной порядочности с обеих сторон отношения весьма удовлетворительные, взаимновыгодные. Вот почему в России не спешили с отменой крепостного права. Все *благородные* люди видели, что *при условии благородства* со стороны дворян не только нет рабства, но последнее и по существу невозможно. Начали желать (вместе с Пушкиным) отмены крепостного права не раньше чем дворянство потеряло веру в свое благородство. Когда дрянная служба в городах, сводившаяся к подслуживанию, охамила (простите за выражение) значительное число дворян, когда «рассеянная» (читай: распутная) жизнь разорила их — дворяне первые увидели: какие же они помещики? Они не культурные работники на народной ниве — они тунеядцы, и вся роль их сводилась к роли саранчи. Вот тогда-то и начали ненавидеть крепостное право, сваливая на него всю неспособность свою к труду и всю бездарность. Если вы не знаете музыки или не знаете математики, то ваши упражнения в них являются не только мучительными, но даже унизительными для вас. Многие на основании этого готовы кричать: долой алгебру! Долой рояль! Крепостное право в замысле своем было как бы второй государственностью — бытовым государством, вложенным в политическое. У нас не удалось ни то, ни другое. Но дает ли это право утверждать, что государство вообще — зло, и унизительное зло? Анархисты думают, что да.

Подвиг или побег?

С удивлением прочел я у А. А. Столыпина, что не только потомство крестьян обязано благодарностью за отмену крепостного права, но и потомство дворян: «Сами дворяне, освобожденные от развращающего влияния уродливо разросшегося права: над людьми,

сами дворяне, способствовавшие в своей лучшей части исправлению исторической несправедливости и ошибки, не могут не помянуть добром годовщины одного из подвигов своего сословия, подвига нравственного, подвига самоотверженного, не меньшего других подвигов, военных и просветительных».

Удивительно, до чего мы расходимся с А. А. Столыпиным в понимании одной и той же вещи. По-моему, безусловно никакого подвига дворяне не сделали, соглашаясь на отмену крепостного права, это был не столько подвиг, сколько побег — дезертирство с исторической службы. Как я сказал выше, дворянам не только не трудно было освободить крестьян, но трудно было не освободить. Ведь огромное большинство крестьян уже были заложены в казне и фактически принадлежали ей, а не помещикам. Вновь выкупить злосчастные «души» не было никакой надежды при неудержимом (еще во времена Пушкина) дроблении и исчезновении поместий. Стало быть, крепостная реформа являлась, как впоследствии крестьянский банк, на выручку поместному банкротству. Можно ли говорить о «подвиге самопожертвенном», если большинство оскудевающих помещиков спало и видело выкупные? Я понимаю: был бы подвиг, если бы дворяне ничего не получили, отпуская крепостных на волю; но ведь они получили что-то около миллиарда выкупных, которые были весело прожиты. Я говорю, конечно, не о всех дворянах, но об огромном большинстве их, зарисованных автором «Оскудения». Еще до реформы сложился тон дворянской жизни, заставлявший их не наживать, а проживать, и это проживание шло неудержимо. Тот же Пушкин, живший не слишком пышно и имевший подспорье в субсидиях и литературном заработке (по червонцу за строчку), сумел оставить в 37 лет 50 тысяч долгу. Этот тон жизни у большинства дворян выработал такую психологию: что бы продать? нет ли чего заложить? как бы развязаться с имением? Когда выяснилось, что крестьяне отойдут не даром, большинством дворян реформа была встречена сочувственно, как ликвидация неудачного хозяйства с угрожающим впереди разорением. С легкомыслием чисто детским мы склонны думать, что трудная задача виновата в том, что она трудна, и потому необходимо поскорее зачеркнуть ее. Причина трудности — собственная бездарность — не принимается в расчет, а между тем она преследует нас, переходя и в новые условия и делая *всякие* условия одинаково трудными.

Никакого *подвига* ни власть, ни дворянство не совершали с отменой крепостного права еще и по другой причине. Государь с благородной откровенностью объявил дворянам, что «нужно делать революцию сверху, не дожидаясь, когда она явится снизу». В самом

деле, при разброде дворянства из деревень, при распущенности их жизни (скажем откровеннее — мотовстве), при одичании крепостной власти, сброшенной на бурмистров, при вырождении вообще крепостных отношений в паразитный тип неизбежна была анархия снизу, и, стало быть, дворянам надо было выбираться из развалин прошлого подобру-поздорову. Тут никакого подвига не было — был акт не самопожертвования, а самосохранения. С полученными деньгами дворяне не остались в деревне, а разбежались кто куда.

А. А. Столыпин приравнивает отмену крепостной зависимости к подвигам военным и просветительским со стороны того же дворянства. Но крепостной реформе как раз предшествовал севастопольский погром: почувствовалось, что и для военных подвигов проходит время. Что касается просветительских подвигов, то если бы дворяне сумели просветить народ до 1861 года, может быть, эта была бы лучшая из реформ. Однако просвещением мы до сих пор похвастаться не можем.

По поводу предстоящего юбилея кричат неистово и справа, и слева: правые не знают меры в благодарности, левые — в ненависти. Для меня же кажется омерзительной эта ненависть к прошлому и в высокой степени забавной благодарность. Если бы я поверил революционерам, утверждающим, что народ был в рабстве, то я чувствовал бы то же самое, что революционеры: глубокое возмущение тем, что это рабство отменено так поздно. Император Александр II мне казался бы исполнившим служебный долг свой, зато все его державные предшественники мне казались бы не исполнившими этого долга.

Уважая историю как природу, я отнюдь не защищаю крепостной действительности. Мне только глубоко противна политическая спекуляция на костях предков, желание кого-то надуть, кого-то раздражить, перед кем-то похвастаться мнимыми добродетелями. Отчего, господа, не держаться истины, как она есть?

СМЫСЛ СВОБОДЫ

19 февраля

Если уж решили праздновать всей Россией 50-летие 19 февраля, то будем праздновать его с достоинством, без истерических воплей, без фальшивых преувеличений, на которые у нас столько охотников справа и слева. *Мы не негры* — вот что следует помнить народу

русскому. Почти одновременно с отменой у нас крепостного строя произошла отмена рабства в Америке, и 12 миллионов негров скоро будут праздновать 50-летие этого великого для них дня. Ради исторической правды и чести народной не дадим повода смешивать русский народ с неграми: те действительно были рабами, русские крестьяне ими не были. Негров ловили в Африке как диких зверей, связывали, заковывали в кандалы, нагружали ими, как зверями, корабельные трюмы, везли через океан на продажу, и те из них, которые выживали этот переход (заболевших выбрасывали за борт, в пищу акулам), поступали в вечное рабство американским плантаторам. Эти плантаторы были люди совершенно чуждой для негров расы, чуждого языка, чуждой веры и культуры, как будто люди с другой планеты. Они искренно глядели на негров как на полузверей и обращались совершенно как с домашними животными. Хозяева негров не были дворянами, то есть людьми повышенной культуры: плантаторами часто были люди из подонков европейского общества, и жестокости их к неграм не было предела.

Совсем не то были наши крепостные отношения. Наш народ никогда не был завоеван дворянством и не был для последнего чужим. Напротив, в века сложения крепостного строя у помещиков и крестьян все было общее: они были одного племени, одного языка, одной веры, одной исторической судьбы. Те же обычаи и предания, та же поэзия, те же суеверия, одна и та же нравственность, то же государственное миросозерцание и с незапамятных времен тесное сожительство на общей земле. Вот это неразрывное единство и племенное равенство не допускало учреждения рабства. Между сословиями существовали весьма разнообразные формы экономической и политической зависимости, до сих пор еще не вполне исследованные, но *рабство* в типическом его виде у нас исчезло в незапамятные времена, вероятно, в первый же век нашего христианства. Что в России не было рабства, а держалось крепостное право, это свидетельствуют не только наше законодательство и русская наука, но и европейские ученые (например, Ингерм, автор «Истории рабства»). Если это так, то в память 50-летия отмены крепостного строя бросим неопрятную привычку называть этот строй *рабством*. Народ русский — один из величайших в свете, и приравнивать к неграм его могут только люди злонамеренные или невежественные. Не надо ни преуменьшать, ни преувеличивать явлений — *не надо лгать*.

С отменой крепостного права Россия вышла из средневекового периода своей истории. Неудавшийся, как все у нас, одичалый феодализм наш кончился, и началась новая эпоха, весьма еще загадочная и едва ли более удачная. Она еще не имеет имени; историк

будущего, вероятно, назовет ее анархией — эпохой распадения древнего общества, эпохой прогрессирующего безвластия и культурного упадка. Ни народ, ни образованное общество не имеют причин жалеть об отмене крепостного строя, ибо он действительно был плох. Грустно одно лишь: что приходится праздновать юбилеи *не удач* исторических, а *неудач*. 19 февраля 1861 года русская государственность подписала признание своей несостоятельности в великом принципе, который действовал века, имел свой молодой возраст, свою зрелость и одряхление. Несомненно, во всяком народе рождаются рабские натуры; и теперь, через 50 лет после отмены крепостничества, таких натур немало. Но что касается всего народа как *великого* племени, то он был, и есть, и, вероятно, всегда будет *свободным* на той земле, которую указал ему Создатель. Если бы крестьянская реформа прошла у нас до французской революции — при Петре или Екатерине, — она, наверное, не была бы названа *освобождением* крестьян, а просто раскрепощением. Слова «свобода», «освобождение» введены в моду французскими энциклопедистами и перешли к нам вместе с психологией французской буржуазии. Неточное юридически и не совсем приличное для державной нации слово «освобождение» в отношении к крестьянскому переустройству было введено писателями, не слишком строгими к духу русского языка. Полутурок Жуковский, полунемец Герцен, полуполяк Некрасов, полуфранцуз Григорович и множество других более мелких полуинородцев в интересах возбуждения иногда добрых, иногда недобрых чувств извратили понятие о крепостных отношениях и приучили считать их рабством. Они добились этим двух целей: мягкие и добродушные дворяне, которых было большинство, постепенно стали стыдиться крепостных прав и ненавидеть их; вместо того чтобы сидеть в деревне и служить крепостному народу своей образованностью, такие дворяне сбросили свое «рабовладение» на руки старост и бурмистров, а сами укатили в столицы, в крупные центры, на канцелярскую службу, наконец — в огромном числе — за границу. Так образованные владетели фабрик и рудников бросают эти, по их мнению, неопрятные источники дохода на руки темных и жадных управляющих, которые действительно доводят в иных случаях зависимые отношения бедного люда до уровня, близкого к рабству.

Бегство чувствительных дворян из деревни задолго до отмены крепостного строя обезглавило народ и разорило одинаково и барина, и мужика. Те же писательские вопли о «рабстве» народа русского приучили другую часть дворянства — с крутым характером — думать, что их крепостные действительно рабы, стало быть, к ним

допустимы жестокие отношения, как к рабам. Преувеличенный либерализм, как все фальшивое, оказал плохую услугу народной жизни. Писатели не либеральные и, что замечательно, величайшие из наших писателей — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Крылов, Достоевский, Лев Толстой, Гончаров — никогда не понимали крепостного состояния как рабства, хотя некоторые из них, например Грибоедов и Тургенев, и протестовали против жестоких его извращений. Извращения эти, нося явно преступный характер, далеко не были ни всеобщими, ни широко распространенными, но они поражали воображение и западали в память. Хотя на бумаге крепостные крестьяне и были ограждены в своих человеческих и отчасти гражданских правах, но крайне слабая наша государственность не умела осуществлять закон. В конце концов все увидели, что крепостные отношения коренным образом испорчены и что с освобождением дворян от государственной службы крепостное право потеряло даже юридическую свою основу. Испорченное и одряхлевшее, патриархальное право всем надоело и, полуброшенное давно, в 1861 году было брошено совсем.

Как я уже писал, ко временам Крымской войны огромное большинство крепостных «душ» были заложены у казны, то есть принадлежали в действительности уже государству. Являлась полная возможность, идя по стопам Павла I, Александра I и Николая I, отменить крепостное право без шума, рядом постепенных ограничений, как это было сделано в западных странах. Там крепостные отношения как-то растаяли, испарились в воздухе: там никому не приходит в голову вспоминать о них как о временах *рабства* и праздновать освободительные юбилеи. К сожалению, у нас история идет судорожными скачками: государственность наша то бесконечно отстает от новых условий, то катастрофически спешит к ним приспособиться, и в результате создаются *события* там, где достаточно было бы простого хода вещей. Революционное возбуждение после неслыханного до того времени военного погрома (в Крыму) наложило и на крестьянскую реформу оттенок революции. Всем хотелось, чтобы раскрепощение — вещь простая и издавна практикуемая — вышло «переворотом», «свержением ига», «освобождением», и ради этого был поднят совершенно напрасный и недостойный великого народа крик о «рабстве».

Что такое свобода? В день 50-летия освобождения России будто бы от рабства полезно народу русскому припомнить, в чем заключается смысл свободы и отчего слагаются отношения, близкие к рабству. Есть понятие о свободе, достойное великого народа и совершенно неприличное для него. Если свобода состоит в том, что я

могу делать все, что хочу, то это толкование свободы глупое по неосуществимости его и низкое по нравственному характеру. Свобода в высоком смысле есть возможность делать не что человек хочет, а что он *должен*. У народа благородного, каким Божией милостью мы должны считать себя, мерилом свободы должна быть не своя воля, а воля Божья. Воля же Божья, то есть естественный закон жизни, открывается не *желанием*, мечтательным и преходящим, а *совестью*, чувством долга. И благородный человек, и благородный народ целью жизни ставят не столько осуществление случайных прав, сколько исполнение вечных обязанностей. Всякая вечная обязанность есть своего рода крепостное состояние, добровольно признаваемое. Пусть народ несет эти обязанности с непоколебимой верностью — и он будет чувствовать все счастье, какое может дать истинная свобода.

Сегодня, в день 50-летия своей воли, народ хорошо сделает, если припомнит, каким путем его предки делались крепостными. Свободные люди входили в долги свободными и не уплачивали этих долгов в срок. Чтобы расплатиться, должники работали на заимодавцев, но чтобы существовать, брали у них же еще в долг и т. д. В конце концов слагался неоплатный долг и вечная повинность одного свободного человека работать на другого. Крепостное право возникло из неточного исполнения принятых на себя обязанностей. Причиной тому были или недобросовестность должников, или их бессилие. Вот два состояния, которых народу нужно бояться как огня, если он дорожит свободой. Нельзя быть *недобросовестным,* и преступно быть *бессильным*. Законы общества продолжаются до сих пор, кабальный процесс идет и теперь в крестьянстве. Вместо двадцати миллионов крепостных, освобожденных от помещиков, имеются десятки миллионов слабосильных крестьян, заметавшихся в долгах у разных кулаков. Давно у них все пропито, заложено, распродано, и «свободный землепашец» пашет уже не свою землю, а землю «хозяина», то есть более состоятельного соседа, от которого получил в долг хлеб или деньги на внесение повинностей. Своя надельная земля на долгие годы перезаложена, и деньги давно растрачены. Что остается делать такому недобросовестному или слабосильному мужику? Ему приходится или быть вечным батраком в деревне, отрабатывая все растущие долги, или бежать с места родины, как бежали в древности от помещиков неплательщики.

Почему пришлось в XVI веке прикрепить крестьян? Потому что они вследствие непрерывного убегания от долгов и перебегания от одного кредитора к другому целыми массами начали приобретать характер беглых людей. Это были вечные беглецы. Оседлое состоя-

ние начинало сменяться каким-то кочевым, даже бродячим, что угрожало государственному племени анархией и полным упадком культуры. Правительство прикрепило крестьян к земле для того, чтобы спасти и их, и их заимодавцев от конечного разорения. Вместо того чтобы крестьянину всем помещикам должать и всех обманывать, вместо того чтобы бродяжить, не имея ни кола ни двора, увиливая от всех повинностей, сочтено было необходимым сосредоточить все обязательства крестьянина в одном лице и, дав оседлость при помещике, сделать бродягу платежеспособным.

Прошло пятьдесят лет после отмены крепостного права, и что же мы видим: десятки миллионов крестьян опять завязли в долгах. Опять они в постоянном бегстве из деревни, опять гуляют на отхожих промыслах, часто крайне шатких, и опять водворяется хуже, чем кочевой, а именно *бродячий* быт. Что заработает такой крестьянин, то обыкновенно и пропьет. Долги крестьянские погашаются плохо, чаще всего они растут, то есть петля обязательств затягивается на шее и заставляет такого крестьянина вступать вновь в полукрепостные отношения. Правительство, как кажется, еще не видит этого анархического процесса — вернее, последний так неприятен, что его не желают видеть, между тем он развертывается все шире. О возвращении к крепостному праву не может быть, конечно, и речи, но что же остается делать? Приходится принимать разные меры — или стесняющие свободу крестьян, или крайне разорительные для государства. Приходится, например, поддерживать устарелую паспортную систему, устарелую общину, круговую поруку и т. п. А если не поддерживать их, то приходится отказывать состоятельной части населения (заимодавцам) в защите их прав, то есть, не взыскивая долги, разорять наиболее экономически прочный класс. Приходится тратить огромные общегосударственные средства на хлебные, переселенческие, землеустроительные и разные другие субсидии, то есть заставлять производительный класс народа содержать непроизводительный.

Нельзя назвать такую систему экономических отношений образцовой. При развитии своем она неизбежно приведет к краху цивилизации, к общему запустению. Так как государство и трудовые классы вполне естественно обнаруживают сопротивление этой системе, то бытовая анархия угрожает войной и государству, и обществу. С необыкновенной быстротой и на Западе, и у нас распространяется вера в социализм, то есть такое состояние общества, при котором труд принудителен, но нет собственности, где «каждый работает по способности, а тратит по потребности». Нигде еще не испробованная, созданная мечтой, эта система в положительной части сильно напо-

минает крепостное право. Крепостные дворяне ведь тоже работали по способности, тратили по потребности. Их место, по-видимому, рассчитывают занять новые лентяи, обслуживать которых доведется трудовой и сильной части общества. Народу — если он не хочет крепостных отношений — придется отстаивать свою свободу от насилий *снизу*, пожалуй, более трагических, чем они были когда-то *сверху*.

Что такое рабство? На юбилее освобождения нелишне припомнить, что рабство наравне с свободой узаконено и теперь, даже в самых либеральных обществах, всюду в Европе. Пока вы подчиняетесь закону, вы вполне свободны, то есть нет иной принудительной силы, кроме вашего чувства долга и разумного сознания. Но если вы совершаете преступление, то вас тотчас связывают, запирают в клетку, как хищного зверя, и, удостоверившись в вине, подвергают наказаниям до принудительной работы, до смертной казни включительно. Ясно, что рабство в культурном обществе не вполне отменено. Оно оставлено для преступников. Отсюда вывод: не хотите быть рабами — не будьте преступниками. Если народ русский хочет быть действительно свободным, не омраченным ни малейшей тенью рабства, то пусть он вступит в борьбу с растущей преступностью, пусть, как в древности, выработает способы нравственного воспитания и утверждения великого авторитета — совести. По мере нравственного облагораживания народа он делается свободным. Если же народ малодушествует, если он не удерживается на покатой плоскости и соблазняется гражданской свободой для нарушения вечных своих обязанностей, то наступление разных форм рабства неизбежно. Каждый преступник в отношении своей жертвы ведет себя как рабовладелец, то есть позволяет себе совершенно незаконные насилия и правонарушения. У нас сейчас сидят по тюрьмам около 200 тысяч арестантов да столько же, вероятно, гуляет на свободе. Эти, допустим, 400 тысяч преступников составляют хотя и не признанную народом, но настоящую армию людей с инстинктами рабовладельцев, и от них можно ждать ежеминутного покушения на вашу свободу. Эта армия вчетверо многочисленнее бывших крепостных помещиков, добрых и недобрых. Если народ русский хочет быть свободным — пусть вступит в более действительную борьбу с преступностью. Мы запираем в тюрьмы негодяев и обращаемся с ними как с рабами, но они — пока не схвачены — обращаются с нами хуже, чем помещики с крепостными. Да и когда они схвачены, их приходится кормить и поить на народный счет, как своего рода помещиков, оплачивать их квартиры, отопление, освещение, одежду, лечение и пр.

Вот где истинная угроза свободе: зачатие рабства заключается в преступности народа.

ЕВРЕЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ

24 февраля

Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет тебе давать взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом...

Втор. 28, 43—44

В Государственной Думе затевается хуже чем государственная измена — затевается национальное предательство: разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не военным, а коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под скромным именем «еврейского равноправия» отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы бескровного. Подчеркиваю слово *ужасы*: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, — посмотрите же воочию, что делается в уже захваченных евреями христианских странах! Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским вселением, хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя, такое же, как и мы, в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитного народца. Ведь то же самое, а не что иное вы готовите и для Великой России, единственной страны в христианстве, еще не вполне доступной для жидовства. В эти дни, когда мы взволнованы воспоминаниями о крепостном праве, подумаем серьезно: не накануне ли мы нового ига, несравненно горшего?

Пятьдесят лет назад 23 миллиона крестьян вышли из политического и имущественного подчинения у 100 тысяч русских дворян, и обе стороны благословляют это как благо. И в самом деле, это было благо, ибо при бездарности и бессовестности большинства людей столь героическая форма быта, как патриархальная, не могла быть не испорченной. Вовсе не рабские отношения где-то начинали вырождаться в рабские, и великий народ, принадлежащий к аристократии человечества, к арийской расе, не мог выносить сложивше-

еся унижение слишком долго. Но не забудем, что дворяне русские были в огромном большинстве из выслужившихся мужиков, то есть плоть от плоти крестьянства и кость от костей его. Дворяне были родные дети народа русского, только более удачливые дети — люди более талантливые, с повышенной энергией и отвагой, что и дало им возможность выдвинуться из рядов. Подавляющее большинство дворян русских — потомство храбрых, проливавших кровь свою за общее отечество, не какую-нибудь «голубую» кровь, а ту же красную, народно-русскую, что течет в их жилах искони веков. Дворяне русские никогда, в огромном большинстве своем, не отрекались от родства с народом, от общего материнского языка, от тысячелетней веры, от незапамятного из одной колыбели происхождения. И что же? Вот эта власть — брата над родным братом — и та показалась тяжкой, безбожной, невыносимой! Что же вы теперь-то говорите народу русскому, устраивая вторжение совершенно чуждого ему племени и даже не высшей, а заведомо низшей расы? Вы подготовляете нашествие не ста тысяч «благородных» братьев, а десяти миллионов азиатского, крайне опасного, крайне преступного народа, составлявшего в течение четырех тысяч лет гнойную язву на теле всякой страны, где этот паразит селился. Дворянство русское развенчано, и, может быть, по заслугам, у него отняты все дворянские привилегии и постепенно тают остатки имущественных и сословных отличий. В действительности за дворянством остался только титул, один лишь звук пустой. Но, создавая еврейское нашествие, русские идиоты подготовляют новое дворянство, именно еврейское, и не пройдет полстолетия, как мы в самом деле будем иметь новый феодализм, только в отвратительнейших формах жидовского засилья. Я не буду говорить о том, с какой неутомимой страстью жиды лезут в родовую аристократию, выдают (вернее, продают) своих дочерей за Рюриковичей и покупают себе гербы и титулы. Даже не делаясь «чисто русским дворянином», г-н Мовша Гинсбург имеет возможность, как недавно было на его рауте, заставлять русских адмиралов и полных георгиевских кавалеров танцевать на цыпочках с жидовками, причем около каждого еврея была свита из знатных русских. Я не говорю о том погроме, который вносит с собой мешок с золотом на верхах общества. Дворянство создается не на верхах, а на середине — новое дворянство выходит из буржуазии, из среды даровитых людей, пробившихся снизу, овладевших теми формами труда, которые требуют исключительной энергии и таланта. Именно на этих самых центральных позициях общества евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а *фальсификацией* этих качеств.

В социальной борьбе происходит то же самое, что на рынке. Попробуйте вы дать чистый, высокопробный товар в местности, захваченной евреями; на другой же день в еврейских лавочках явится с виду совершенно ваш же товар, только на треть дешевле, и вы будете разорены. Публика не в силах разобраться в фальсификации, она не догадывается, что пьет поддельное вино, сфабрикованное из дешевых ягод и спирта, публика может хворать и даже умирать отравленной, но все-таки она идет — как простодушный зверь на приманку — к жидам, а христианин-купец с своим высокопробным (и потому дорого стоящим) товаром гибнет.

Во все свободные профессии, во все области интеллигентного труда евреи вносят ту же сокрушительную силу подлога, подделки, обмана, симуляции и фальсификации, причем все они в кагальном заговоре против христиан, все составляют тайную могущественную конспирацию, поддерживая все низкие ухищрения друг друга системой стачки. Это сущая клевета, будто русские уступают евреям потому, что евреи будто бы даровитее и трудоспособнее русских. Это наглейшая клевета, опровергаемая на каждом шагу. Ни в одной области евреи не дают первостепенных талантов; как народ азиатский и желтокожий, евреи органически не способны подняться до гениальности, но они вытесняют все средние таланты не слишком трудной *подделкой* под них. Не одна русская буржуазия уступает еврейской: то же самое мы видим всюду на Западе, где только евреи водворяются в значительном числе. Не одной России угрожает еврейский феодализм. Во французской палате об этом феодализме недавно провозгласил Жорес[1], которого нельзя упрекнуть в националистическом шовинизме. Во Франции не восемь миллионов жидов, как у нас, а всего пока около ста тысяч — но и эта великая страна агонизирует, чувствуя, что насквозь проедена еврейством и что приходится или совсем изгнать их, как в прошлые века, или погибнуть в социальной чахотке. Характерная история с евреем Бернштейном в Париже на этих днях показывает, до чего унижена благородная страна в своем гостеприимстве и в какой острой степени начинает чувствовать свою ошибку...

Подобно чуме и холере, которые суть не что иное, как *нашествия* низших организмов на царство высших, в жизни народов отмечено страшное бедствие внешних вторжений. Зайдите в храмы, прислушайтесь, о чем ежедневно молит двухтысячелетняя Церковь: об избавлении от глада, труса, потопа, огня, меча, *нашествия иноплеменных* и междоусобныя брани. Последние поколения позабыли многое трагическое в своей истории, но устами Церкви говорит многовековый опыт. Если опасны бурные нашествия соседей, вроде

потопа, то еще опаснее мирные нашествия, невидимые, как зараза. С бурными вторжениями народ борется всем инстинктом самосохранения. Напор вызывает отпор, и чаще всего война оканчивается — счастливая или несчастная — уходом врага. В худшем случае побежденный платит контрибуцию и остается хозяином у себя дома. Не то внедрения мирные, вроде еврейского: тут инстинкт самосохранения очень долго дремлет, обманутый тишиной. Невидимый враг не внушает страха, пока не овладевает всеми центральными позициями. В этом случае враг, подобно чахотке или малярии, гнездится в глубочайших тканях народного тела и воспаляет кровь больного. Мирное нашествие *остается* — вот в чем ужас пораженного им народа!

Из всех племен старого материка мы, славяне, кажется, самое несчастное в отношении нашествий. Мы поселились как бы в проходной комнате между Европой и Азией, как раз на пути великих переселений. Почти вся наша история есть сплошная драма людей, живущих на большой дороге: то с одной стороны ждешь грабителей, то с другой. Еще до татарского ига мы пережили на исторической памяти ряд нашествий с севера, с юга, запада и востока: остготы, варяги, печенеги, хазары, половцы, литва, тевтоны — кто только не трепал нашей завязывавшейся и множество раз раздираемой государственной культуры! Затем татары, крымцы, поляки, шведы — нашим предкам приходилось отбиваться на все четыре стороны света. Не прошло ведь еще ста лет со времени колоссального вторжения Наполеона с силами двадцати народов. По закону истории: «Что было, то и будет» — нам и в будущем со всех сторон угрожают нашествия — и со стороны восходящего солнца, и со стороны заходящего. Тем, казалось бы, необходимее держать в памяти вечный завет единства нашего и внутренней цельности. Но именно для того, чтобы расстроить железное строение расы, чтобы сокрушить внутреннее сопротивление, русские идиоты и предатели устраивают предварительно мирное нашествие иноплеменных, проникновение к нам в огромном числе чужих, непереваримых, неусваиваемых элементов, которые превратили бы наше великое племя из чистого в нечистое, прибавили бы в металл песку и сделали бы его хрупким. Россия велика, завоевать ее трудно, однако она уже бывала завоевана — и целиком, и частями. Не забудем, что Западная Россия всего полтораста лет как вышла из польского плена, а Червонная Русь еще до сих пор под австрийским ярмом. Не забудем, что все славянские державы, кроме России, погибли от внешних нашествий, которым предшествовали во многих случаях внутренние. Не забудем, что единственная великая (кроме России) славянская держава — Польша — погибла от внешних нашествий, под-

готовленных еврейским мирным вторжением. Урок ужасающего значения, до сих пор плохо нами усвоенный. Бездарные польские короли сами назвали в Польшу паразитное племя, сами вклинили между христианскими подданными этот антихристианский, глубоко враждебный христианской совести народ. Мудрено ли, что в течение нескольких поколений польские жиды развратили рыцарскую знать, вытеснили собою сердцевину нации — третье сословие и налегли точно могильной плитой на простонародье. Развращенная, расслабленная Польша была охвачена тем воспалением, которое всюду вносят с собою паразиты. Куда бы евреи ни проникали, они со времен фараонов и персидских царей всюду возбуждают внутренний раздор, раздражение сословий, стремление к бунту и распадению. То же случилось с Польшей, то же идет и в России, на глазах наших. Евреи раскололи польскую нацию на несколько непримиримых лагерей и подготовили тысячелетнее славянское царство к упадку. Нет ни малейшего сомнения, что тот же гибельный процесс идет и с еврейским нашествием на Россию. «Жиды, — горестно пророчествовал Достоевский, — погубят Россию!» Бог наказал нас, русских, глухотой и каким-то странным ослеплением. Не слышим подкрадывающейся гибели и не видим ее.

Исподтишка, таинственно, из-под полы колено Гессена[2] и Винавера просунуло в Государственную Думу проект о снятии еврейской черты оседлости. Рассчитывают застать и законодательство наше, и общество врасплох. И что вы думаете? Весьма возможно, что предательский закон проведут и собственными руками подпишут смертный приговор России. Все это возможно потому, что элементарными ошибками полна наша история. Не одна Москва сгорела от грошовой свечки — вся великая страна, подобно слону, поскользнувшемуся над пропастью, в состоянии погибнуть от минутной оплошности, если сложатся для этого роковые условия. Говорят: а почему же в других странах снята черта оседлости? Почему на Западе евреям дано равноправие? На это я отвечу: там потому это сделано, что евреев сравнительно очень мало. Будь у нас только 60 тысяч евреев, как в Англии, или 100 тысяч, как во Франции, — может быть, и у нас не было бы еврейского вопроса, хотя уже ста тысяч евреев достаточно, чтобы внести в такую архикультурную страну, как Франция, самое плачевное разложение. Там, где евреев сравнительно много, как в Австрии и Германии, все мыслящее общество уже сознает гибельную ошибку допущенного равноправия и там начинается упорная борьба с еврейским нашествием. Мы собираемся дать евреям равноправие как раз в то время, как на Западе ставится вопрос об отнятии этого равноправия. Вот почему, сказать

кстати, евреи так лихорадочно хлопочут о том, чтобы им была открыта Великороссия: они чувствуют, что недалек момент, когда их погонят из всех культурных стран, как это не раз бывало в их истории, и они подготовляют себе убежища в тех странах, которые ими еще не вполне отравлены. Не только в Европе, но даже в Америке в течение всего нескольких десятилетий евреи сумели приобрести отвращение к себе, а местами и ненависть.

Прочтите внимательно эпиграф к этой статье — библейское толкование о пришельце, дающем взаймы. «Он будет главою, а ты — хвостом!» Истина это вечная, как откровение. Тут в пяти словах весь смысл еврейского вопроса. Евреи, помешанные на том, что они *избранный* народ, хотя и отверженный Богом, хотят быть головой, а все человечество должно быть их хвостом. При помощи того колдовства, которое начинается еврейской ненавистью, а оканчивается русской глупостью, евреям уже удалось проскочить во главу целых партий — например, жидокадетской, где владычествуют г-да Винавер и Гессен. Им удалось проползти в главенствующее положение среди целых общественных классов, например разночинной интеллигенции, уступившей евреям печать и свободные профессии. Куда ни посмотрите, *жидохвосты* столь же многочисленны, как сами жиды, и победоносное засилье этого паразитного племени — не мечта, а факт. Пора проснуться народу русскому: он накануне великого несчастья, может быть, самого страшного в своей истории. Не какая-нибудь шайка авантюристов — на Россию двигается целое многомиллионное племя, самое авантюристское, какое известно в истории, самое преступное, самое тлетворное из всех. Даже нескольких десятков тысяч евреев, пропущенных по сю сторону черты оседлости, было достаточно, чтобы смутить дух народный, подорвать великую веру, опоганить совесть, ту историческую совесть, какой Россия строилась. Теперь хотят снять ограждающую плотину совсем и залить когда-то святую Русь наводнением враждебных, ненавидящих христианство чужеземцев...

БЫТЬ ЛИ РОССИИ ВЕЛИКОЙ?

26 февраля

Сегодня южнорусское образованное общество чествует 50-летие со дня смерти Т. Г. Шевченко. Грустная годовщина эта дает повод озлобленным и вздорным людям к возбуждению того междурусского раздора, который в последнее время из всех сил стараются раздуть австрийские немцы и поляки. Как известно, мечтательное

украинофильство тридцатых годов прошлого столетия довольно давно, именно в эпоху Шевченко, начало принимать оттенок революционный. Поддерживаемая врагами России, постепенно сложилась изменническая партия среди малороссов, мечтающая о разрушении Российской империи и о выделении из нее особого, совершенно «самостийного» украинского государства. По имени исторического героя этой партии — Мазепы — членов ее в последнее время зовут «мазепинцами», и они очень этим титулом гордятся. Читателям, без сомнения, известно, до каких нелепостей договаривается эта преступная партия и в коренной Малороссии, и в закордонной Руси. Никогда еще, кажется, политический психоз не развивался до такой болезненной остроты. Ни одно из инородческих племен — кроме разве поляков — не обнаруживает такой воспаленной ненависти к Великой России, как эти представители Малой Руси. Самые ярые из них отказываются от исторических имен «Россия», «русские». Они не признают себя даже малороссами, а сочинили особый национальный титул: «Украйна», «украинцы». Им ненавистна простонародная близость малорусского наречия к великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, возможно, более далекий от великорусского. Нужды нет, что сочиненный будто бы украинский жаргон является совершенно уродливым, как грубая фальсификация, уродливым до того, что сами малороссы не понимают этой тарабарщины, — фанатики украинского сепаратизма печатают названной тарабарщиной книги и газеты. В науку русской вообще и в частности южнорусской истории мазепинцы вносят систематические искажения и подлоги, а самые крайние психопаты этой партии провозгласили необходимость для малороссов жениться на еврейках для того, чтобы кровью и плотью как можно дальше отойти от общерусской закваски. К счастью, это бредовое состояние провинциальной психологии, ударившейся в сепаратизм, охватывает далеко не всю Малороссию, и даже в австрийской Галиции оно встречает до сих пор внушительный отпор. Тем не менее нельзя забывать, что политические помешательства заразительны: в силу этого государственная власть обязана глядеть на украиноманство как на одну из злокачественнейших язв нашей внутренней жизни. Этим объясняется вполне разумное решение правительства не допускать в Киеве под предлогом годовщины смерти народного поэта революционных выступлений как со стороны австрийских мазепинцев, так и со стороны наших. Я уже не раз докладывал читателю о планах Австрии возбуждением малороссов к бунту расчленить Российскую империю, столь страшную для придунайских экспроприаторов. Уже доказано участие в украинофильской пропаганде не только флоринов, но и прусских марок.

Благодаря стародавней оплошности нашей правящей бюрокра-

тии имя Шевченко давно уже служит знаменем для южных сепаратистов. Не только в Малороссии, но и по всей России — включая Петербург — за эти пятьдесят лет сложился настоящий культ Шевченко, выражавшийся в обществах и кружках имени поэта, в ежегодных торжественных панихидах в день его смерти, в банкетах и вечерах в его память, в издании его «Кобзаря» и т. п. Великорусское общество, не читавшее «Кобзаря», особенно в полном его виде, с большой симпатией относится к культу южнорусского поэта. О нем судят по некоторым лирическим отрывкам («Думы мои, думы...» и т. п.), переведенным по-великорусски и понятным даже без перевода. Но тут случилось то же самое, что вы видите по всему необъятному фронту нашей государственности. Плохо подобранная, слишком барская и потому беспечная администрация наша далась в обман. Удовлетворившись поверхностным благополучием в Малороссии, она не заглянула за кулисы. А за официальными кулисами украинский вопрос совсем не тот, каким его хитрые украиноманы показывают снаружи. Для самих украиноманов и для малорусской интеллигенции «Кобзарь» издается без пропусков, то есть с крайне возмутительными выходками против российской власти и нашей имперской идеи. И правительство, и невежественное великорусское общество обрабатываются в том смысле, что Тарас Шевченко, «великий» и «гениальный» поэт, томившийся в крепостной неволе, только за то и был сослан в солдаты, куда-то в Среднюю Азию, что осмелился воспеть свою милую родину, ее чарующую природу, ее деревенскую жизнь со всеми преданиями и безыскусной прелестью простого быта. Такова лицевая сторона шевченковского культа, а изнанка ее совсем иная. Подлинный Шевченко, если восстановить запретные места, оказывается, подобно Мицкевичу[1], ослепленным ненавистью к нашей государственности и народности. Стихи, за которые Шевченко был наказан ссылкой и солдатской службой, были определены как *государственное преступление*, и таковым они в действительности и были. Если говорить без фальшивых уверток, политическая поэзия Шевченко есть возбуждение к мятежу и к разрушению государства. Украиноманы, создававшие культ Шевченко, его лирикой и романтикой прикрывали в самом деле преступную пропаганду, почин которой в этой области принадлежит именно Шевченко. Недаром яростнейший ненавистник России Михаил Грушевский[2], устроив Литературно-наукове товарищество во Львове, назвал его именем Шевченко. Эта своего рода украиноманская академия наук была создана для научного обоснования украинского сепаратизма. Она явилась большой фабрикой для всевозможных псевдоученых фальсификаций. С чисто польской наглос-

тью, достойной какого-нибудь Духинского[3], г-н Грушевский в своей смехотворной истории, нашедшей покровительство в Петербурге, стал доказывать, что никаких великорусов или белорусов нет, что искони был только украинский народ как славянское племя, а уже от него путем колонизации и смешения с финскими племенами образовалась ублюдочная народность, называемая русской. Государство русское создали будто бы тоже украинцы: древние киевские князья были украинские князья, а летописец Нестор — украинский летописец. Насчитав в России и в Австрии до 30 миллионов будто бы особенного украинского племени, г-н Грушевский наметил столицей будущей Украины Киев и после недавней нашей революции перенес в Киев и Товарищество имени Шевченко. Пользуясь столбняком петербургской бюрократии после военного погрома, г-н Грушевский поднял за последние годы кипучую пропаганду. Во многих городах, начиная с Киева, появились «просвиты», то есть просветительные (якобы) общества на манер польских, начали издаваться «вистныки» и открываться «кныгарни», причем как просвиты, так и вистныки и кныгарни состояли в теснейшей связи с австро-галицкими учреждениями того же имени. Правительство наше недавно закрыло киевскую «просвиту», но в других городах просвиты продолжают благоденствовать. Нашлись хохлы и даже великороссы, которые горой вступились за обиженную будто бы Малороссию, за ее политический сепаратизм, проповедуемый — как это было повсюду — через отчуждение языка и извращение истории. В сильной степени кадетствующая, полуинородческая наша Академия наук дала приют для скверной затеи г-на Грушевского. В то время как на юге работают г-да Грушевские, Левицкие и пр., на севере за тот же расовый разгром России хлопочут разные г-да Шахматовы, Чижевские и т. п. Правительство наше издает циркуляры, но... ведь циркуляры можно не выполнять, не так ли? В распоряжении мятежных стихий имеется гениальное, как яйцо Колумба, разрешение всех циркуляров. Не исполнять их — и баста...

Пятьдесят лет прошло после смерти Шевченко, и для него наступил уже беспристрастный суд истории. Пусть темпераментные южане раздражаются преступными выходками в «Кобзаре», пусть преувеличивают до смешных крайностей значение своего народного поэта. Но что такое был Шевченко в его натуральную величину? Мне кажется, значение его поэзии довольно верно определил Белинский, указавший, что «простоватость крестьянского языка и дубоватость крестьянского ума» не составляют условий, благоприятных для великой поэзии. В самом деле, при всей чарующей задушевности некоторых дум и песен Шевченко, при всей прелести,

свойственной первобытному творчеству, именно в силу первобытности это творчество не может быть великим. Как ни приятно было бы иметь еще одного великого русского поэта наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым и Фетом, в отношении Шевченко нельзя установить подобного места. Единственный поэт Украины, он остается второстепенным, как его страна, как вообще остается второстепенной провинция, хотя бы весьма богато одаренная. Шевченко — несомненный талант, но второразрядный, вроде нашего Кольцова или Никитина, вроде Майкова или Полонского, которых муза в лучших вещах достигала удивительной красоты; красоты, но не величия. Шевченко как поэта фольклора можно с восхищением читать и даже волноваться; если вы малоросс, то вместе с Основьяненко[4] непременно скажете: «Хорошо, батечку, хорошо... Сердце так и иока!» Но если вы просто русский, немец, француз, вы не почувствуете тех могучих, поднимающих ввысь ощущений, какие дает великая поэзия Пушкина, Гёте, Байрона, Шекспира — на какие бы языки вы ее ни перевели. Дело в том, что *гений* есть нечто державное, свойственное только великому племени, знавшему победы... Поэтический гений может явиться лишь на высоте героического, мирового подъема расы. Только на такой высоте всякое племя может сказать человечеству нечто значительное и вечное. Если данное племя недоразвилось до большой государственности, до большой культуры, если оно навсегда осталось провинцией, составною частью целого, то в нем нет психологических условий для большого творчества. Провинциалу, хотя бы очень даровитому, нечего сказать крупного, пока он находится в кругозоре своей провинции. Вспомните «Кобзаря», вспомните прелестную «Наймычку» или «Катерину» и т. п. Культурные категории, в которые укладываются эти типы и вся их драма, до того местны, до того случайны, до того первобытны, что как-то пропадают в масштабе цивилизации. Такие явления, как, например, чумачество, или крепостное право, или старая солдатчина, — они живописны, но подул новый ветер — и нет их: через пятьдесят лет необыкновенно трудно войти в психологию этих исчезнувших особенностей того быта. Даже гайдаматчина, где более героического элемента, по своей жалкой некультурности не могла дать материала ни для «Илиады», ни даже для «Полтавы». Шевченко был талантливый поэт и художник, художник не менее замечательный, чем поэт, но если бы он обладал гениальным талантом, как Гоголь или Мицкевич, ему пришлось бы, как этим писателям, искать родственного, более великого языка и более высокой культуры. Белорус Мицкевич сделался польским поэтом, Гоголь — русским писателем. Огромные дарования выбросили их со

дна жизни. При более мелких способностях они остались бы, подобно Шевченко, краевыми, провинциальными писателями, на творчестве которых, иногда удивительном, всегда лежит печать кустарности. Ни один кустарь, как бы он ни был одарен, не достигает высоты искусства. *Искусство* есть завершение *большой* культуры. У Южной России (называйте ее как хотите, Украиной или Малороссией) большой культуры никогда не было, ибо не было государственности сколько-нибудь выше зачаточных форм. Ясно, что этот край, как все отдельные части великого русского племени, в состоянии проявить величие лишь в тех условиях языка и миросозерцания, какие дала общая наша история. Гоголь не прогадал, променяв, как художник, полтавскую мову на общерусскую речь. Приняв этот общий знаменатель национального духа, Гоголь стал рядом с Пушкиным, а при полтавской мове остался бы никому не известным Рудым Панько. Украиноманы мечтают о «самостийной» государственности для будто бы 30-миллионного народа украинского. Но если бы были для этого данные, то это давно была бы не мечта, а факт. Малорусское племя в течение четырех веков пробовало сложиться в особое государство, но ничего не вышло: приходилось подчиняться то татарам, то литве, то полякам, то Москве. Бывали у нас русские украйны не чета Запорожской Сечи, и те не выдержали. Великий Новгород был огромной и вполне организованной республикой, но и ему, пометавшись между сильными соседями, пришлось сойти со сцены. Более умеренные украиноманы мечтают о федерации автономных славянских народностей. Но что касается русских народностей, подобная федерация уже была испытана и повела к татарскому игу. Прелести федерации можно наблюдать теперь за Карпатами. Чехия, Галиция, Хорватия, Славония и прочие пользуются автономией, но что же толку? Автономия только подчеркивает мелкое строение этих племен: за сто лет ни одно из них не дало, кажется, ни одного великого человека. Даже вполне «самостийные» державы, вроде Румынии, Греции, Сербии: что касается культуры, их маленькая государственность дает какие-то карликовые продукты. Провинции вообще остаются провинциями, какими бы королевскими титулами ни награждали их.

Как я уже высказывал однажды, наших яростных украинофилов нельзя считать русскими. Очевидно, в крови их проснулись те тюркские кочевники, которые когда-то терзали Южную Русь, пока не замучили ее до смерти. С бешенством племенной ненависти нельзя спорить; против господ мазепинцев потребна не идейная, а реальная государственная борьба. Но те из южнорусов, которые не отрекаются от общерусской семьи, пусть внимательно прочтут биогра-

фию своего «батьки Тараса». Они увидят, до какой степени сердечно отнеслась Великороссия к украинскому таланту и насколько он был обязан «жестоким москалям». Как ни оплакивают ужасы крепостной неволи Шевченко, ужасы его ссылки и солдатчины — на самом деле все это было до крайности смягчено вниманием и участием к Шевченко тех великороссов, с которыми он сталкивался. Не «москали», а свои же земляки-хохлы немилосердно секли Шевченко в школе; родной дядя сек его подряд трое суток и чуть было не запорол до смерти. Ничего свыше пастуха или маляра родная Малороссия не обещала дать поэту: так он и погиб бы чабаном. А «свинья Энгельгардт» (помещик Шевченко), как и управляющий его, заметили способности мальчика к рисованию, и тогда, в каторжное будто бы крепостное время, уважили эти способности, послали мальчика учиться живописи в Варшаву, в Петербург. В Петербурге, едва лишь были открыты способности Шевченко, — посмотрите, какое горячее участие принимают в нем такие знаменитости, как Брюллов, Григорович, Венецианов, Жуковский. Стоило крепостному парню обнаружить просто дарование, далеко не гениальное, в живописи — и вот он делается любимцем знати: за ним все ухаживают, собирают средства, выкупают из крепостной зависимости. Посмотрите, как бережно «холодный Петербург» поддержал искорку таланта, чуть было не погашенного в глуши провинции. Графиня Баранова, княжна Репнина, графиня Толстая, князь Васильчиков, граф Толстой друг перед другом наперебой хлопочут за Шевченко и облегчают ему жизненный его путь. Ну а Малороссия? Как она встретила уже прославленного на севере поэта? С восторгом, конечно, но с каким? «Многочисленное украинское помещичье общество, — говорит один биограф (г. Яковенко), — не могло предложить своему народному поэту ничего лучшего, чем карты или пьянство». В знаменитой Мосевке, куда съезжалось до двухсот помещиков из трех губерний, в Мосевке, которую называли Версалем для Малороссии... Шевченко попал в так называемое общество «мочемордия». «Мочить морду» означало пьянствовать, а «мочемордой» признавался всякий удалой питух: неупотребление спиртных напитков называлось сухомордие или сухорылие. Члены, смотря по заслугам, носили титулы: мочемордия, высокомочемордия, пьянейшества и высокопьянейства. За усердие раздавались награды: сивалдай в петлицу, бокал на шею, большой штоф через плечо и пр., и пр. У Чужбинского читатель, если пожелает, может найти дальнейшее описание пьяных оргий. Такова была атмосфера «ридной Вкраины» в той области быта, где она пользовалась полнейшей самосто-

ятельностью. Разве вместо безобразного пьянства (которое сделалось болезнью Шевченко и свело его в могилу), разве вместо дебошей то же общество не свободно было погружаться в науки, в искусства, в земледелие, в культурный труд? Украиноманы рисуют Шевченко как какого-то пророка и вождя — между тем втянувшийся в пьянство поэт быстро терял и талант, и то культурное развитие, которое дал ему «холодный Петербург». Украиноманы не могут забыть, что крепостного Шевченко как-то высекли. Но уже свободный и знаменитый, под пьяную руку он сам дрался и сек людей. Поссорившись как-то с шинкарем-евреем, Шевченко закричал своей компании: «А нуте, хлопцы, дайте поганому жидови хлесту!» Еврея моментально схватили и высекли. Такова была тогдашняя эпоха: насилия были в обиходе. Если уж оплакивать варварство тогдашней Великороссии, будто бы державшей Украйну и ее поэта в неволе, то нелишне припомнить, какова была сама Украина и каков был сам поэт. Когда за политическое преступление Шевченко был сослан в прикаспийские степи, то у всего кацапского начальства, у всего офицерства страшных николаевских времен Шевченко-солдат встречал самое сердечное, самое уважительное отношение. Нарушая закон, то есть рискуя потерпеть тяжелое взыскание, Шевченко-солдата освобождали от службы, принимали как равного в своем обществе, ухаживали за ним, разрешали все, что ему запрещалось (писать и рисовать), всеми мерами облегчали положение и старались выхлопотать прощение. Вопреки кричащей легенде, ссылка и заточение Шевченко (серьезно им заслуженные) почти всегда были призрачными — до такой степени великорусское общество высоко чтило талант, хотя бы и малорусский, хотя бы враждебный России... У нас, к сожалению, пустые сплетни предпочитают документальным данным. Мне кажется, фанатики украинского сепаратизма окажут себе услугу, если изучат биографию Шевченко: она должна действовать весьма охлаждающе.

Шевченко умер сорока семи лет, то есть годами старше Пушкина, но сопоставьте эти два имени — и вы почувствуете, что такое культурная Россия и что такое она захолустная, провинциальная. Что бы там ни болтали ограниченные умом политиканы, Россию создавать не нужно: она создана — и создана историей не в чигиринском или конотопском горизонте, а в очертаниях мировой державы.

ТАЙНЫ ТАЛМУДА

28 февраля

Еврейский депутат Нисселович в Государственной Думе цитировал торжественное заявление 216 раввинов о том, что «еврейское учение не знает ни одного взгляда, разрешающего поступать с неевреями так, как позволено поступать с евреями». Мне кажется, эта цифра — «216» внушительно доказывает, до чего распространено среди избранного народа лжесвидетельство. Как бы твердо вопрос ни был установлен, всегда найдутся 216, 2160, 21 600 самых сведущих еврейских экспертов, готовых побожиться, что вопрос нужно понимать в противоположном смысле. Читавшие Ветхий Завет знают, какая непереходимая пропасть проводится тут всюду между евреем и неевреем. Все добрые чувства, вся любовь относятся только к «ближнему», но под *ближним* разумеется только еврей. Все *дальние* исключаются из морали и рассматриваются почти всегда как враги, с врагами же у евреев расправа была короткая. Вспомните, как они захватывали Ханаан. Туземные жители, имевшие роковую ошибку сначала допустить еврейских шпионов, а затем и колонистов еврейских, за свое гостеприимство обрекались на истребление. «Амалик да будет истреблен!» Истреблялись мужчины, женщины и дети, и за одну лишь искру сострадания к врагам Моисей был жестоко наказан. Спрашивается, перестала ли Тора быть еврейским учением? Если не перестала, то какую же, спрашивается, нужно иметь наглость, чтобы утверждать толпою в 216 раввинов, будто закон еврейский не разрешает поступать с неевреями иначе, чем позволено поступать с евреями?

Вместе с Библией огромным и, пожалуй, еще большим значением пользуется у евреев Талмуд. Это сборник трактатов еврейских раввинов за две тысячи лет. Талмуд христианской эпохи заключает в себе такие возмутительные выходки против христианства, что католическая Европа некогда воздвигала гонения против евреев и истребляла их кощунственные писания, просто не будучи в силах перенести слишком жгучего религиозного оскорбления. Евреям приходилось и впоследствии, когда гонения прошли и когда внимание к Талмуду ослабело, издавать последний без преступных мест. Чтобы обмануть бдительность христианского общества, такой очищенный Талмуд переводился на все европейские языки, между прочим и на русский. Смотрите, мол, вот наше сокровенное учение. В нем ничего нет враждебного христианству! Ничего нет опасного для об-

ществ, среди которых мы живем! Так утверждали раввины, и множество глуповатых христиан им верили. Что в действительности было совсем не так, я позволю привести несколько цитат из старых документов петербургского комитета цензуры иностранной.

В апреле 1884 года названный комитет затребовал от цензора еврейских книг надворного советника Павла Марголина отзыв о содержании двух книг на древнееврейском языке: «Хизук-Эмуна» («Крепость веры»), изд. 1865 г., и «Кунтрас-Лемалот-Хисранот-Гамас» («Сборник выброшенных мест из Талмуда Вавилонского»). Цензор Марголин (отец известного присяжного поверенного) был крещеный еврей, весьма осведомленный в раввинской учености. Он прочел названные книжки, привел из них характерные цитаты и дал отзыв в том смысле, что обе книжки должны быть безусловно запрещены как сочинения, пропагандирующие ненависть к неевреям. «Имею честь заявить, — пишет Марголин, — что "Хизук-Эмуна"» прямо борется с христианством, искажая при этом умышленно текст Священного Писания, доказывает лживость Евангелия и вероучений нашей Церкви, причем употребляет выражения крайне оскорбительные». Но «Крепость веры», как сочинение некоего виленского еврея, не имеет особой важности: мало ли русских жидков на всех языках борются с христианством. Зато огромное значение имеет вторая книга, содержащая выдержки нецензурных мест Талмуда, выдержки из толкований и решений Раши, Тоссефота, всех его окончательных решений, из Рааш и его окончательных решений, из комментариев Мишны Маймонида и также всех окончательных решений Тоссефота на весь трактат «Абода-Зара» («Об иноверцах»). Таким образом, книга «Кунтрас-Лемалот» представляет секретное, тщательно скрываемое от христиан доподлинное учение евреев об их отношениях к неевреям. Имеющийся в обращении Вавилонский Талмуд непременно должен быть дополнен этими выпускаемыми из него местами, чтобы судить, что думают евреи о неевреях в глубине их темного сердца. Книга «Кунтрас-Лемалот» была доставлена в цензурный комитет неким Мандельштамом. Из отзыва покойного Марголина позволю привести несколько цитат, самых бледных, ибо небледные по их отвратительному цинизму и кощунству я передать, конечно, не могу. Следует предупредить читателя, что, по толкованию величайшего авторитета у евреев — Мишны Маймонида (XII век), слова Талмуда «акум», «гой», «нухри», «мицри» и многие другие означают *христиан*. Везде, где упоминается имя Иисуса Христа, автор выдержек из Талмуда именует Его инициалами «Ишу», которые значат: «Иисус — мерзость и ложь» или: «Да будет истреблено имя Его». Уже одно это показывает, какое нравственное равноправие возможно между христианами и евреями.

«Да будет тебе известно, что в городе, где живут назареи (христиане), где находится капище, место их глупости (тифла), там еврею запрещается селиться и даже проезжать через него». Это место из Мишны IV может быть драгоценным аргументом против расселения евреев в России. Сам еврейский закон не разрешает евреям жить в городах, где есть христиане и их церкви. Правительство наше сделало бы превосходно, если бы помогло евреям исполнить этот закон: последний требует гораздо более строгой черты оседлости, чем установлено правительством, — закон еврейский требует полного их удаления из городов, а стало быть, и селений, где живут христиане. Дело в том, что по еврейскому закону «запрещается не только входить во внутренность его (христианского «капища»), но даже смотреть на него грех». Если в самом деле для евреев грех взглянуть, хотя бы нечаянно, например, на Исаакиевский собор и если при крупной величине последнего евреи поставлены в Петербурге в постоянную необходимость грешить, то не будет ли актом гуманности освободить их от столь нестерпимых условий, то есть или разрушить Исаакиевский собор и все христианские храмы, или предложить евреям выехать из Петербурга, дабы исполнить предписание Мишны? Крайне любопытна уловка, которой та же Мишна оправдывает пребывание евреев среди христиан: «К сожалению, за наши великие прегрешения мы против воли и желания принуждены жить среди них (то есть христиан), и вот исполнились на нас слова Священного Писания: *И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам — деревянным и каменным*» (Втор. 28, 64).

Хочется спросить: правда ли, что евреи «против воли и желания вынуждены» жить среди нас, постепенно отнимая у нас землю, имущества, капиталы и власть? Но, может быть, если проверить хорошенько, никто уже более их *не принуждает* против их воли и желания жить в России? Может быть, никто никогда не принуждал их жить среди нас? Все выходы из России для евреев открыты широко настежь: кроме сердечного пожелания «скатертью дорога», ни один еврей, склонный вернуться в Палестину, ни от кого из русских ничего не услышит. Если евреи не лжецы и не кривляки, если они не дешевые актеры, до сих пор разыгрывающие драму «вынужденного» рассеяния, то пусть же наконец увяжут свои чемоданы и едут прямым трактом через Одессу в Иерусалим. Пусть будут спокойны: ни один современный фараон не погонится за ними, даже если бы они, как было при исходе из Египта, обворовали предварительно гостеприимно приютившую их страну...

Скоты и избранный народ

Но я отвлекся; вернемся к выдержкам из «святого» Талмуда. «Лучшего из египтян убей во время войны», — говорит «Соферим» (XV, 10). Тоссефот в комментариях к трактату о язычниках объясняет, что под «египтянами» следует подразумевать «гоимов» (христиан) и читать так: «Лучшего из христиан убей». В одном месте пророк Исаия говорит: «Все столы наполнены блевотиной, нечистотой, — места нет». «Соферим» дает такое толкование: «Это означает церковь с иконами, под словом же "нечистота" (то есть испражнения) должно понимать "кушанье крестов"» (то есть просфору и частицы Святых Даров). Ненавистны евреям не только живые христиане, но и покойные. «Берахот» говорит: «Проходя чрез кладбище христиан, еврей обязан произносить стих из Иеремии: "Весьма посрамлена мать ваша и покраснела от стыда родившая вас"».

Трактат «Сабат» (с. 104б) говорит: «Сын развратницы есть сын Пантера. Вот что говорит рабби Хизда: муж этой развратной женщины был Папус, сын Иегуды, ее же имя было Мария. Она не жила с мужем, а прелюбодействовала с Пантером: ремесло ее было убирать волосы женщинам. Горожане Пумбадиты звали ее гулящей от мужа». Так низко фальсифицируют евреи в гнуснейшем своем воображении трогательное евангельское предание. Говорите после того о нравственной солидарности, будто бы возможной между жидами и христианами!

Трактат «Юма» (VIII, 82) говорит: «Французский раввин Яков Там утверждает, что для христианина не существует кровосмешения, ибо христиане суть люди вне закона и плоды их — плоды животных». Рабби Иоханан говорит: «Если рухнувшим от пожара зданием будет погребено 10 человек, их следует откопать и спасти, если будет известно, что в числе их находится еврей, в противном же случае — не следует».

Особенно рекомендую этот закон вниманию г-на Нисселовича и 216 раввинов, побожившихся, что закон их не делает разницы между евреем и неевреем.

Трактат «Кетубот» (с. 3б, толк. Тоссефота) утверждает, что еврейка, вышедшая замуж за египтянина (христианина), но принявшая потом вторично еврейство, не будет считаться виновной в прелюбодеянии, ибо жизнь ее до принятия еврейства вторично уподобляется «сожительству с животным», которое по еврейскому закону не вменяется в грех женщине.

Тот же трактат «Кетубот» (толк. Рааш I, 4) говорит: «Семя гоя (христианина) вне закона, ибо написано: "У которой плоть осли-

ная и похоть как у жеребцов" (Иез. 23, 20). Сожительство с гоем не ставится ей в грех, потому что соитие с животным не относится к числу преступлений».

Эти толкования «святого» Талмуда я позволю себе рекомендовать вниманию тех Рюриковичей и представителей знатных христианских родов, которые ради жирного приданого женятся на еврейках. Полезно знать, как в таинственных и запретных местах Талмуда предписывается еврею-тестю смотреть на зятя-христианина.

Выдержка из трактата «Гитин» (с. 57а) содержит в себе такую безумно подлую мерзость по отношению к Иисусу Христу, что смысл ее нельзя передать даже намеками. Читавшие «Ад» Данта, может быть, помнят, к какому наказанию приговорены грешники второй пропасти восьмого круга. Той же вечной пытке, еще более извращенной, будто бы предан и Христос.

Трактат «Гитин» утверждает, что «еврей не имеет права радушно поздравлять христианина с праздником. Он должен делать это с явным видом принужденности. Войти в дом к христианину и сказать ему "здравствуй" запрещается строго. Во избежание же необходимости повторить приветствие христианина еврею следует предупреждать его».

Трактат «Недарим» (28а, толк. Тоссефота) говорит: «Закон разрешает присягать ложно Государю, если он присягой хочет принудить еврея к таким вещам, как, например, к невыезду тайно из государства. Еврею достаточно не согласиться в душе с требованием, чтобы произносимое ртом (то есть присяга) потеряло всю силу и значение».

На этом разрешении «святого» Талмуда основывается вся та роскошь лжи и обмана, какую проявляют сыны Иуды, торжественно присягающие в судах в качестве самых достоверных свидетелей. Психология еврейская, подобно психологии других цветнокожих, понимается европейцами с трудом. Мы можем пренебрегать чуждыми народами и не любить их, но так неистово ненавидеть их, чисто по-звериному, как делают евреи, — это нам непонятно. В глазах Талмуда (трактат «Сота», с. 35б, толк. Рааш) христиане и язычники созданы только для того, чтобы после смерти служить в аду для обжигания извести, причем это мнение опирается на пророка Исайю (33, 12).

Пропускаю нелепейшие и архикощунственные легенды об Иисусе Христе трактатов «Сота» (с. 17а) и «Синедрион» (43а).

Трактат «Баба-Кама» (с. 103б) утверждает, что потерянное христианином не должно возвращать ему. «Позволено, — говорит рабби Самуил, — извлекать пользу из всякой ошибки христианина». «Священный» Талмуд приводит примеры бесчестных проделок с хрис-

тианами, ужасно выполненных, например рабби Кехана и другими евреями; как видите, разрешается пользоваться всякой оплошностью христиан, но запрещается брать от них подаяния (трактат «Баба-Бафра», толк. Рааш, 36). В лютой ненависти к христианам учителя еврейские отсекают всякую возможность братских и человеческих отношений. В самом деле, если христианин — скот (не в переносном, а в буквальном значении этого слова), то какое же возможно от него подаяние? Подаяние от скота унизительно, но его можно доить, стричь, заставлять работать, пользоваться мясом его и т. п.

Трактат «Абода-Зара» запрещает еврейке помогать при родах христианке или кормить христианского ребенка. Тот же трактат разрешает «минеев (христиан), доносчиков и крещеных евреев» сознательно бросать в яму на смерть. Строго запрещается продавать христианам церковную утварь и давать христианам деньги в рост. Строго запрещается еврею судиться в судах христианских, хотя бы законы их были и тождественны с еврейскими, — «это дозволяется лишь ввиду явно извлекаемой через то для еврея выгоды». Окончательное решение Тоссефота на трактат «Абода-Зара» говорит: «Доносчика (на евреев) позволяется убить даже за донос, сделанный им давно... позволяется также убить и того, кто принял служение иному богу (то есть принял христианство). Запрещается лечиться у врача-христианина». Но вот что любопытно: «Монета, на которой изображен идол (крест), допускается к обращению среди евреев». Рабби Елиазар из Богемии запрещает продавать христианам чернила и пергамент, то есть средства для просвещения. От церковной стены разрешается воздвигать стену своего дома не ближе как на четыре аршина, ибо «камни, дерево и песок церковный делают еврея нечистым от прикосновения к ним, как от прикосновения к пресмыкающимся», ибо написано: «омерзи ее» (церковь). Рабби Акиба пишет: «Гнушайся ее, как нечистой женщины во время регул». По учению рабби Ханика, землю, ближайшую к церкви, еврей может употребить только под отхожее место (с. 86, толк. Рааш).

Трактат «Хулин» (с. 97) разрешает убийство евреев, совершивших преступление, как всех «эпикурейцев, саддукеев и байтосов» (христиан), «дабы они не могли вредить евреям».

Трактат «Эрахин» (с. 14) строго запрещает еврею сказать о христианине: «Как он красив».

Трактат «Тимура» (с. 28б) строго запрещает еврею называть церковь церковью. Следует давать презрительные названия всему, что христиане чтут как высокое. Церковь предписывается называть «грязным домом», «домом нечистот», лицо царя — «лицом собаки», Всевидящее Око — «глазом темным» и т. д.

Трактат «Керитот» (с. 6б), основываясь на пророке Иезекииле (гл. 34, ст. 31), доказывает, что только одни евреи человеки, христиане же нет.

Довольно скверных цитат, не правда ли? Но эти выдержки кажутся скверными только христианам, евреев же они, по-видимому, приводят в восхищение. Вот что говорит предисловие к «Кунтрас-Лемалот-Хисранот-Гамас»: «...У кого из нашего святого народа, верующего в Талмуд, как Тору (Пятикнижие), данную Богом, не затрепещет сердце при виде нечистых вод*, создавших в нем брешь, отнявшую возможность Израилю доплыть до берега? Пусть Израиль увидит из этого сборника, сколько чудного отняло и урезало время, скольких перлов недосчитывается Талмуд — перлов, с течением времени почти забытых! Пусть увидит — и содрогнется! Велика печаль от этого, но радость истинного израильтянина будет вдвойне; его чистая душа и сердце возликуют, и он воскликнет: "Господи, слава Тебе! Ты не оставил ее (Тору) в одиночестве — радость Твою и веселие в мире. Велик этот день, воссиял огненный столп нашего святого учения своим прежним светом. Не верило сердце, что Талмуд восстанет чрез столетия во всей своей красе и мы увидим вновь великие слова священного пера. Дай многие лета видать его таким, и память о нем да будет вечна... Смею думать, что моим трудом я дал ценный подарок народу Божьему, твердо верующему в святой Талмуд"» и пр., и пр.

Означенная книжка с запретными местами из Талмуда была издана, по-видимому, около тридцати лет назад, а может быть, и раньше: ни время, ни место ее издания неизвестны в точности. Я не знаю, запретил ли цензурный комитет эту книжку, как это предлагал Марголин. Допустим, что запретил. Запрещение, конечно, не помешало евреям преспокойно перепечатывать запретную книжку и торговать ею, ибо кто же из русских властей знает древнееврейский язык? Правда, нашелся еврейчик Мандельштам, донесший о книжке в цензурный комитет, и крещеный еврей Марголин, сделавший добросовестный отзыв о ней. Но что же дальше? Разве цензура не вполне бессильна относительно запрещенных еврейских изданий? Возможно, что многие десятки лет все мерзости Вавилонского Талмуда вновь вошли в подпольное употребление среди евреев и вновь влияют на их религиозное воспитание. Чрезмерная наглость этого народца, разыгравшаяся до открытого бунта, объясняется, может быть, в известной степени талмудическими внушениями той мысли, что одни евреи — люди, а христиане не более как скоты,

* Разумеется христианское крещение.

«материал для обжигания извести в аду». Я боюсь, что требуемое при такой психологической подготовке «равноправие» еврейского племени сведется к чудовищному неравноправию христиан, к попыткам жидов действительно взглянуть на Россию как на свой Ханаан, а на нас, русских, — как на хананейские народы, подлежащие вытеснению.

Что касается 216 еврейских раввинов, то они-то, конечно, очень хорошо знают свой «святой» Талмуд...

НАРОДОУБИЙСТВО

5 марта

Тридцатилетняя годовщина позорнейшего дня русской истории — цареубийства 1 марта — была отпразднована в Государственной Думе возмутительными выходками жидокадетов и революционеров, но в той же Государственной Думе этим выходкам был дан блистательный отпор. В очень сильной речи громовержец национальной правой Н. Е. Марков[1] воздал должное как революционерам, так и «пристанодержателям революции» во главе с г-ном Милюковым. Речь г-на Маркова заслуживает самого серьезного внимания и образованного общества, и крестьян, «еще не снявших креста». В этой речи трагедия 1 марта освещена с той стороны, которую бунтари наши тщательно скрывают. Н. Е. Марков ссылается на исследование приват-доцента Глинского[2], напечатанное в «Историческом вестнике» за прошлый год. Более тридцати лет назад в России сложилась архипреступная партия («Народная воля»), объявившая за собою право приговаривать кого ей вздумается к смертной казни. Не только центральный исполнительный комитет этой партии, но даже местные ее «центральные группы» пользовались «правом» жизни и смерти граждан. Статья 13-я устава этой шайки гласила: «Центральная группа имеет право приговаривать к смертной казни всех частных лиц, своих шпионов и должностных лиц, рангом до губернатора, на уничтожение которого нужно испросить разрешение исполнительного комитета». Что касается центрального исполнительного комитета, то он приписал себе право предавать смерти решительно всех, до Императора включительно. Именно на липецком съезде исполнительного комитета был приговорен к смерти Александр II.

Н. Е. Марков спрашивает: «Итак, Император-Освободитель был казнен. Казнен за что же? Он был казнен, так как был признан неудобным, мешающим кому-то. Но кому же? А никому другому, как иудеям». По показаниям известного Гольденберга[3], именно он, Гольденберг, после убийства князя Кропоткина отправился в Петербург и «задался целью возбудить там вопрос о цареубийстве». В Петербурге Гольденберг обсуждал этот вопрос с Зунделевичем[4], с Кобылянским, Квятковским и Михайловым. Эти два еврея, два поляка и один русский предатель составили комитет, который организовал преступление Соловьева, стрелявшего в Императора Александра II около Зимнего дворца. Когда злодейский комитет собрался в одном из трактиров на Садовой улице, то первым предложил свои услуги убить Императора инициатор мысли о цареубийстве Гольденберг. Но комитет (из двух евреев, двух поляков и одного русского) признал, что это преступление должен совершить непременно русский, иначе все дело не будет иметь должного значения для русского общества и народа. Хотя в комитете было четыре инородца на одного русского, хотя весь замысел цареубийства принадлежал еврею, но евреи страдают неодолимой манией все фальсифицировать и во всем делать подлоги. Исполнителем гнусного еврейского замысла выбрали русского полуидиота Соловьева. Насколько этот русский был высокого разбора, показывает то, что последнюю ночь свою, собираясь убить Императора, Соловьев провел в публичном доме. А что же делали подстрекатели этого преступника — евреи Гольденберг и Зунделевич? Они, наладив дело, за два дня до покушения выехали в Харьков. Покушение 2 апреля не удалось, но еврейская идея о цареубийстве не погибла. Она и повела к липецкому съезду: укоренившись в почве разлагающейся полуинородческой интеллигенции русской, еврейская идея распустилась кровавым цветом 1 марта... Не забудьте, что смертельная бомба под ноги Александра II была сделана в еврейской квартире и брошена поляком. Читая историю подготовки 1 марта, вы поминутно встречаете имена таких террористов, как Натансон, Дейч, Войнаральский, Айзик, Арончик, Аптекман, Девель, Хотинский, Бух, Колоткевич, Гельфман, Люстиг, Фриденсон, Цукерман, Лубкин, Гартман и пр., и пр.

Прошло 30 лет после великого злодейства. Вместо двух первоначальных подстрекателей к цареубийству, евреев Гольденберга и Зунделевича, мы имеем бесчисленное множество революционных жидков, которые состряпали даже проект для всеобщего нашествия евреев на Россию. В Государственную Думу внесено предложение о снятии черты еврейской оседлости и о полном равноправии паразитного племени с народом русским. Чего доброго, наглейший план этот увенча-

ется успехом: уж если для *цареубийства* евреи находили еще тридцать лет тому назад русских исполнителей, то найдут их теперь и для *народоубийства*. Не чужими руками, а нашими собственными они накинут петлю на свободу и жизнь народа русского...

Н. Е. Марков был совершенно прав, обращаясь к жидокадетской и революционной группе: «Вы убили Императора, и какого Императора! Императора Александра II, который дал крестьянам не только свободу, но и землю, который дал крестьянам имущество, ныне оцениваемое почти в 20 миллиардов рублей, а ведь всего 50 лет назад у крестьян не было ни единого гроша. Убили Императора, который дал суд правый, скорый и милостивый... который дал земское и городское самоуправление, который ввел всеобщую воинскую повинность, который заставил служить под солдатской шапкой рядом крестьянина и дворянина... Вы убили того Государя, который освободил славян от турецкого ига, и вы убили его тогда, когда уже на его столе лежало подписанное его собственной императорской рукой учреждение Общей комиссии, то есть учреждение той же самой Государственной Думы, правда, на более верных началах, чем та, в которой вы теперь присутствуете. Вот истинное злодейство, которое было совершено 30 лет назад вашими отцами, вашими руководителями, господа левые!» Г-н Марков прав, говоря левым: «За это преступление вы ответственны», — ибо солидарность с преступниками заставляет разделить и ответственность их. Но Н. Е. Марков не прав, если рассчитывает тронуть каменное сердце или отупевший разум преступных партий. Не к ним должна быть обращена речь курского трибуна, а к народу русскому. В самом деле, хотя бы через 30 лет после неслыханного злодеяния пусть народ русский подумает, до какого унижения он дошел. На вторую тысячу лет государственной жизни, после многовековой славы, успев создать высочайший на свете трон царский и дождавшись царя кроткого, свободолюбивого, милосердного, правосудного, народ что же видит: являются откуда-то два ничтожнейших жидка, Гольденберг и Зунделевич, подбирают двух ничтожнейших полячков и одного русского психопата и начинают *охотиться* на Царя России. Охота идет долгая, и в конце концов жидовско-польская бомба отрывает ноги у Повелителя нашей Империи...

Мне кажется, тут есть о чем подумать народу русскому. Злодеи прицеливались в священную главу народа, в ту голову, которая держала корону нашей народной Империи, и держала ее исключительной честью. Теперь тысячи жидов и подкупленных ими жидохвостов кричат о *равноправии* инородцев, о полноправии всех национальностей в черте Империи, которую строили наши предки не для

чужого, а для своего потомства. Но вот первые результаты равноправия: два еврея и два поляка (на одного русского) сами уполномочивают себя быть судьями и палачами великодушнейшего из царей. Заметьте: поляки не имеют черты оседлости, и два поляка, Кобылянский и Квятковский, обсуждавшие цареубийство, пользовались всеми правами русских граждан. Точно так же и два еврея, Гольденберг и Зунделевич, если они разъезжали по России, то, стало быть, пользовались уже равноправием. Но не потому ли именно, что эти четыре инородца были неосторожно пропущены в Россию, они и оказались в состоянии развить свой адский план? Обобщая явление, спросим: не тем ли и объясняется почти столетнее революционное брожение в России, что вместе с присоединением Польши мы открыли двери для двух опаснейших и крайне враждебных нашествий — польского и еврейского? Вторжение восточных инородцев в наше высшее общество эпохи Годунова чуть было не укрепило у нас татарскую династию и повело к великой смуте XVII столетия. Вторжение западных инородцев к верхам власти чуть было не установило у нас немецкую династию и повело к смуте XVIII века с придворными мятежами и цареубийствами. Обильное вторжение внутренних инородцев в XIX веке денационализировало наше образованное общество и повело к смуте, завершившейся злодейством 1 марта. Едва начался XX век, и дальнейшее вторжение инородцев — главным образом евреев — породило подлейшую из революций, именно 1905 года, — подлейшую потому, что она действовала в союзе с Японией и опираясь на ее победы.

Что последняя революция была «еврейская», а не какая иная, это установлено не только русскими, но и иностранными наблюдателями, сколько-нибудь беспристрастными. Известный берлинский профессор Теодор Шиман говорит, «что русскую революцию с одинаковым правом можно назвать и еврейской». Современное русское революционное движение, говорит он, окажется совершенно необъяснимым и невразумительным, если не принять во внимание роль евреев... Среди двух-трех тысяч интеллигентов, предававшихся в Швейцарии революционно-социалистическим проискам, большинство были евреи, и они же оказались вожаками революции. Еврейские интеллигенты и полуинтеллигенты выступают деятельнейшими соучастниками почти во всех политических покушениях. Они же сумели провести во все русские программы преобразований и во все резолюции бесчисленных митингов полное уравнение евреев в правах с коренным населением. Точно так же и тот факт, что русское студенчество находилось и находится под еврейским влиянием, неоспорим, как и то, что в русской смуте огромную роль сыграл

еврейский «бунд»... Впрочем, в первое время смуты сами евреи не только не скрывали своего участия в ней, но с гордостью кричали, что русская революция — «произведение великого духа еврейской партии», что «мы вам дали Бога — дадим и царя» и т. п.*

Достаточно припомнить имена главных вожаков нашей смуты: Гершуни, Рубанович, Гоц, Швейцер, Рутенберг, Азеф, Чернов, Бакай, Роза Бриллиант, Роза Люксембург и пр., и пр. Все сплошь евреи, как евреями же оказались в печати и обществе пристанодержатели революции жидокадетского лагеря. Убийство великого князя Сергея Александровича организовано Розой Бриллиант. Главарем московского вооруженного восстания явился Мовша Струнский. Бунт на «Потемнике Таврическом» налажен был Фельдманом. Группой максималистов социал-революционеров — этой, по отзыву А. Л. Липранди, зловреднейшей революционно-анархической шайки, совершившей бесчисленные территорические преступления, заправляла Фейга Элькина. Знаменитый «совет рабочих депутатов», игравший некоторое время роль революционного правительства в Петербурге, руководился такой компанией, как Бронштейн, Гревер, Эдилькен, Гольдберг, Фейт, Мацелев, Бруссер; сам председатель совета Хрусталев оказался евреем Носарем. Отставной лейтенант Шмит, главарь севастопольского бунта, хвастался тем, что он орудие евреев. Трудно не присоединиться к словам такого знатока еврейского вопроса, как г-н Липранди: «Вот кто скрывался за кулисами "русской" революции и кому Россия обязана потрясениями, унижениями и разорением последних лет! Вот чьими благородными побуждениями разорваны бомбами и расстреляны из браунингов 50 000 русских людей, виновных только в том, что они — русские! Вот по повелению какого синедриона Россия принуждена была заключить позорный мир и в течение пяти лет терзалась анархией и заливалась кровью своих сынов!»

Пока правительство старых веков в духе Петра Великого не допускало в Россию евреев, несмотря на все наши невзгоды, крепко держался дух народный, вера в величие и непобедимость России, жива и могуча была *энергия самозащиты*. Но достаточно было сделать небольшой прорыв в черте оседлости, достаточно было впустить в организм Империи всего лишь несколько десятков тысяч евреев, и они, как истинные паразиты, начали множиться с поразительной быстротой и поражать прежде всего нервные, духовные центры нации: общественное мнение, печать, литературу, школу,

---

* См.: Липранди А. Л. (Волынец). Равноправие и еврейский вопрос. Харьков, 1911. Очень интересное и содержательное исследование.

театр, свободные профессии, причем гнилостное разложение древнекультурного нашего духа очень быстро повело к мятежу.

Министерство юстиции, к сожалению, еще не подсчитало своей статистики, относящейся к годам смуты, но существует подсчет за ближайшие, подготовительные к революции годы, именно за 1901—1904 годы. Оказывается, что, составляя 4,2 процента населения, евреи по политическим преступлениям ухитрились составить 29,1 процента, то есть оказались *в восемь раз преступнее* обыкновенной нормы, в восемь раз революционнее всего остального населения. Значительно отстают от них другие инородцы, коренные же русские, составляя 72,2 процента населения, дают по политическим преступлениям всего лишь 51,2 процента, то есть в полтора раза *ниже* своей нормы. Составляя едва двадцать пятую часть населения Империи, евреи дают без малого третью часть всех политических преступников. Та же статистика утверждает, что евреев-революционеров относительно в десять раз больше, чем русских. По разным судебным округам отношение это меняется. Любопытнее всего то, что наибольшей революционностью отличаются не те евреи, которым Центральная Россия недоступна, а те, которым она доступна, которые не стеснены чертой оседлости.

Предлагаю самому тщательному вниманию читателя нижеследующую таблицу.

Судебные округа	Процент евреев в населении	Процент евреев, привлекаемых по политическим делам
Виленский	15,0	64,9
Варшавский	14,0	26,0
Одесский	13,5	55,0
Киевский	12,0	48,2
Петербургский	3,5	40,9
Харьковский	1,4	18,8
Иркутский	0,6	15,5
Тифлисский	0,6	1,4
Московский	0,4	7,5
Казанский	0,1	4,7
Саратовский	0,1	1,5

Из этой таблицы вы видите, что почти двойной преступностью в революционном отношении отличаются евреи только Варшавского округа. Более чем четырежды преступны они в Виленском, Одес-

ском и Киевском округах, зато по сю сторону черты оседлости их преступность сразу увеличивается: в Петербургском округе она почти в 11 $^{1}/_{2}$ раза преступнее нормы, в Харьковском — в 13 раз, в Саратовском — в 15 раз, в Московском — в 19 раз, в Иркутском — в 26 раз, в Казанском — в 47 раз! Над этим стоит подумать. И особенно следует подумать тем русским идиотам, которые верят жидовской басне, будто еврейская революция есть результат их стеснения в черте еврейской оседлости. Если бы это была правда, если бы отмена черты оседлости погашала у евреев революционный дух, то статистика сложилась бы совершенно обратная. Казалось бы, чего бунтовать евреям, которые уже пропущены в Центральную Россию и пользуются там почти полным равноправием? В отношении их лично черта оседлости ведь снята. Но именно они-то и являются самыми ярыми революционерами, они-то и выделяют из себя 10, 15, 20, 30-ти и 47-кратное против их нормы количество бунтарей. Как это ни неожиданно для русских ротозеев, наименее враждебными к России оказываются евреи за чертой оседлости и наиболее воспаленными ненавистниками — те, которых мы имели роковую ошибку пропустить к нам. Это психологически понятно. Пока еврей оперирует в Царстве Польском и в Западной России, он чувствует себя более или менее на родине, на месте 500-летнего пастбища его племени. Тут даже этому вечному номаду свойствен некоторый консерватизм, притом полное экономическое порабощение славянских масс не располагает ниспровергать достигнутый порядок отношений, для евреев столь выгодный. Не то в коренной России, куда евреи проникли пока еще в крохотном проценте общего населения. Тут с ними происходит то же самое, что с кочевником, увидавшим новое пастбище. Скот обыкновенно с жадностью бросается на новый корм и готов сожрать его сразу. Для евреев по ту сторону черты Россия представляет Ханаан, куда они еще не вступили, для евреев же по сю сторону Россия — Ханаан уже достигнутый, который они, как в эпоху Иисуса Навина, готовы залить кровью коренных жителей, лишь бы овладеть им. Чем ближе добыча, тем острее страсть к захвату. Вот почему все эти казанские, иркутские, саратовские, московские жиды в эпоху революции казались осатаневшими в попытках разрушить Россию. Единственно, что спасло нас тогда, — это обширность России и сравнительная все-таки ничтожность заразного начала.

Теперь Государственная Дума хочет открыть все заслоны и затопить Россию жадными паразитами, то есть увеличить в несколько раз их губительную силу. Что же это, в конце концов, означает? Это означает только страстное желание жидов и жидохвостов до-

биться своей цели, устроить в России не неудачный бунт, как в 1905 году, а огромный и кровавый погром вроде Великой французской революции с сотнями тысяч замученных жертв и с полным ниспровержением нашего исторического строя. Устроенная жидомасонами французская революция дала евреям во Франции неслыханное торжество. Там не только сложилась династия Ротшильдов, но менее чем в столетие сто тысяч евреев сделались хозяевами великой католической державы. То же хотят теперь проделать с великим православным царством. Начинают с *цареубийства*, кончают *народоубийством*.

СВЕРХНАРОД

1 мая

Сколько ни вглядывайтесь в микроскоп, микробы чумы, холеры, чахотки, сифилиса, проказы, рака и пр., и пр. ничем существенным не отличаются от клеток собственного нашего тела. Клетки как клетки, со всеми основными признаками их — протоплазмой, ядром, ядрышком и пр. Между тем проникновение в тело этих бесконечно малых и в отдельности бесконечно слабых клеточек вносит в мир ваших клеток ужасающий погром. Господи, что делает с человеком чума или проказа, прежде чем совсем его заживо изгложет!

Сколько ни вглядывайтесь в паразитный человеческий тип, например в еврея, вы ничего особенного не приметите: человек как человек. Все основные признаки человека налицо. Только опытный антрополог, вроде Вирхова[1], да и то после тщательных исследований в состоянии подметить в еврее черты низшей расы, например «самый плохой в Европе череп» или примесь туранской и негритянской крови. Но ведь и туранцы, и даже негры — люди. Необходимо массовое наблюдение над жизнью и ролью евреев, необходимо пристальное изучение их закона, чтобы убедиться, что это не простая человеческая клетка, а зловредный микроб, который в подавляющем большинстве если бы и хотел не вредить, уже не может этого.

В еврейском вопросе, как в бактериологии, сбивает с толку фальсификация, допущенная самой природой. Подобно тому как есть микробы безвредные, бывают и евреи безвредные. Последнее объясняется тем, что, как пишет Чемберлен, до 10 процентов еврейской расы суть объевреенные арийцы, до 5 процентов — арабы, народ

благородной крови. Стало быть, из сотни евреев до пятнадцати могут быть лишены специфически жидовских, именно паразитных качеств. Это вводит в заблуждение мягкотелых и добродушных христиан. «Помилуйте, — говорит почти каждый из них, — пусть евреи вообще мошенники, но я встречал, однако, и честных между ними людей». Совершенно верно — вы могли натолкнуться на одного порядочного еврея из десяти негодяев, потому что и этот единственный, вероятно, был ариец или араб. Но судить о душе народной нужно не по редким исключениям, притом чуждым ей, а по общему правилу. Общее же правило таково, что еврей (типический еврей) есть существо особого человеческого типа, именно паразитного, и в силу этого он по природе существо преступное в отношении тех обществ, на теле (или, вернее, в теле) которых он живет.

Как ни беспечен читатель относительно выводов точной науки, пора же хотя бы элементарно ознакомиться с ее откровением — оно ведь истинный голос Божий, и пренебрегать им нельзя. Откровение же науки утверждает, что всякий организм — не только животный, но и растительный, не только растительный, но и разумный — может при подходящих условиях перерождаться в паразитный тип. Есть микробы-паразиты, есть растения-паразиты, есть насекомые-паразиты, есть черви-паразиты и пр., и пр. Есть, наконец, двуногие человекообразные, выродившиеся в чужеядный тип. Раз это совершилось, порода держится очень прочно в течение тысячелетий, и, может быть, возврат к прежнему, нормальному типу для нее навсегда потерян.

Что такое паразит в отношении среды, которой он питается? Это обыкновенно слабосильный хищник, прирожденный вор, которому приходится вечно прятаться. В то время как хищник настоящий — волк или тигр — нападают явно и не скрывают цели погубить вас, микроб или солитер проникают в вас невидно и неслышно. Паразиты прячутся в тканях тела, нападают не на весь организм — Боже сохрани! — а только на крохотные частички его, то есть на отдельные клетки, которые совсем незаметно губят. Все паразиты — фальсификаторы, все они — воры и убийцы, но крайне медленные в своем злодействе, заставляющие организм привыкать к нему и не видеть опасности почти до того момента, когда справиться с нею уже трудно. «Знаете ли, — говорят юдофилы, — многие евреи очень хорошие отцы семейств и нежно любят своих жен». Это бесспорно. Не только некоторые паразиты, но все они отличаются теми же семейными качествами. И насекомое в голове крестьянина, и насекомое в щелях его кровати, и глист в его кишках — все охотно кладут яйца и с большой нежностью относятся к представителям

своего рода. Этих добродетелей нельзя отнять и у человекообразных паразитов, но добрые и честные для «ближних», то есть для кровно близких, они совершенно беспощадны для дальних и без малейшего колебания закусывают чужое тело насмерть.

В ужасном киевском событии, где 12-летний мальчик Андрюша Ющинский был замучен до смерти по всем правилам еврейского ритуала, практикуемого хасидами, еврейская печать просто из кожи лезет, чтобы замять и затушевать это преступление, скрыть его и похоронить, и находятся даже русские либералы, которые готовы верить, что ничего не было и никаких, видите ли, ритуальных убийств — но с литературой сладить нетрудно: стоит закрыть глаза и не читать ее. Пусть имеются судебные процессы, на которых давно подтверждено самими же евреями и признано судебной властью, что убийства ритуальные бывают и совершаются так-то. И с судебными процессами сладить нетрудно: стоит закрыть уши и не слышать, что там говорится. Благодаря этим простым и доступным всякому либералу приемам самый обычай ритуальных убийств евреи успевают подвести под сомнение. Особенно благосклонные к еврейству писатели смело заявляют: «Ну что ж из того, если бы даже действительно какие-то грязные хасиды зарезали христианского мальчика? И среди христиан случаются ритуальные злодейства. Верующие в черта христиане, вроде графини Монтеспан, тоже ведь режут детей с разными целями, а наши некоторые сектанты не только лишают себя кое-каких органов, но даже сжигают себя в срубах или закапывают друг друга живыми в землю. Изуверство встречается во всех религиях». На это следует заметить, что изуверство изуверству рознь. Нормальны ли христиане, служащие обедню черту, это большой вопрос. Они, как и скопцы и религиозные самоубийцы наши, в общем крайне редко впадают в свое безумие. Про свихнувшихся в этом отношении христиан нельзя утверждать, будто злодейство их основывается на их законе; про евреев же, увы, это утверждать можно, ибо самый Талмуд предписывает в отношении христиан всевозможные преступления.

Если почитать секретные страницы этого столь же священного, как Тора, толкования закона, сложившегося в тысячелетиях, вы увидите *подлинную душу* еврейского народа, затаенное его отношение к человечеству вообще и к христианству в частности. Не так давно я приводил секретные выдержки из Талмуда, переведенные с еврейского покойным Марголиным, отцом известного юриста. Эти выдержки были составлены 30 лет назад для цензурного управления и имеют всю подлинность официального документа. Вчера же я получил очень любопытную маленькую брошюру, которую реко-

мендую прочесть всем, не желающим быть слепыми и глухонемыми в отношении главной язвы нашего времени. Брошюра эта называется «Христианин в Талмуде еврейском, или Тайны раввинского учения о христианах». Брошюра свежая, только что, по-видимому, вышедшая из типографии. «Разоблачил *И. Б. Пранайтис*, магистр богословия, преподаватель еврейского языка в Императорской римско-католической духовной академии в Петербурге». Выписываю полный титул автора для характеристики самой книги, а также ввиду наглой привычки газетных жидишек, чуть что им не по шерсти, кричат: «Ложь! Неправда! Невежественное обвинение!» и т. п. Из предисловия к брошюре видно, что она — не памфлет, составленный на злобу дня, а часть ученого сочинения, написанного еще 17 лет назад на латинском языке и теперь переведенная самим автором на русский. Итак, автор — ксендз (ныне курат в Туркестане) и в качестве христианского священника должен знать, что такое совесть. Как магистр богословия, он достаточно сведущ в еврейском законе. Как профессор еврейского языка — он достаточно сведущ, чтобы проследить подлинный смысл Талмуда без жидовских фальсификаций переводчиков, дающих обыкновенно «исправленный», то есть тенденциозно искаженный для обмана христианских читателей, текст. Как литвин (судя по фамилии), о. Пранайтис достаточно знаком с натурой жидовской расы и с тем, насколько талмудическая теория соответствует практике еврейского поведения. Читатель видит, что всевозможные гарантии добросовестности у автора налицо. Остается его послушать.

Неугасимая вражда

Сочинение о. Пранайтиса состоит из двух глав. Они названы сообразно двум основным принципам еврейства: 1) «Сторонись христиан»; 2) «Истребляй христиан». Если есть какое-нибудь племя на земле поистине человеконенавистническое, то это евреи, ибо Талмуд не ослабил древнееврейской исключительности к чужим народам, а сугубо утвердил ее навеки. Христиане в глазах Талмуда — идолопоклонники, и в отношении их во всей силе остается обязательной древняя заповедь: сторониться их и истреблять.

«По учению Талмуда, — говорит о. Пранайтис, — еврей тем самым, что принадлежит к народу избранному и подвергается обрезанию, обладает таким достоинством, что никто не может сравниться с ним, даже ангел.

Мало того, он считается равным Самому Богу. "Кто ударит израильтянина по щеке, — говорит Ханина, — тот дает, так сказать, пощечину Вели-

чию Бога". Еврей всегда нравствен и чист: этому не препятствуют никакие грехи, которые не могут марать его точно так, как грязь пачкает одну скорлупу ореха, но не ядро. Один израильтянин есть человек, вся вселенная принадлежит ему, все должно служить ему, особливо же "животные в человеческом образе"».

Как видите, задолго до Ницше нашлась раса, объявившая, что сверхчеловек существует и что это — жид. Паразитное свое существование и полную свободу от совести евреи считают признаком своего аристократизма. «Они с похвальбой говорят: мы — господа, христиане — рабы наши». С ранних лет (говорит Буксгорф, известный немецкий гебраист XVII в.) родители еврейские «представляют детям такие ужасные последствия общения их с христианами, что те, можно сказать, с колыбели питают непримиримую ненависть к христианам». Пропускаю множество цитат из Талмуда, приводимых о. Пранайтисом, так как часть их мной была уже приведена в статье «Тайны Талмуда» (27 февраля с. г.). «Христиане, по учению Талмуда, такие создания, которые одним прикосновением делают нечистым всякий предмет», — говорит наш автор. Прикоснется, например, христианин к бочке с вином — и все вино делается поганым. Ввиду шума и гвалта, поднятого жидами с целью загладить следы киевского преступления, особенно интересна вторая глава брошюры — «Истребляй христиан». Вот что говорит о. Пранайтис:

«Все помыслы еврея направлены к тому, чтобы стереть с лица земли христиан, этих римлян, этих тиранов, плениших сынов Израиля, и таким образом освободиться от плена, четвертого по счету. Недаром христиане — последователи "Того", самое имя Которого толкуется в смысле: "Пусть сгинет имя его да изгладится память о нем". Посему каждому израильтянину ставится в обязанность бороться по мере сил с этим нечестивым, рассеянным повсюду в мире царством Идумеев. Так как, однако, не всегда, не везде и не всем возможна прямая борьба, то Талмуд повелевает вести, по крайней мере, косвенную борьбу, то есть наносить им елико возможный вред, тем самым мало-помалу ослаблять их могущество и подготовлять их падение. Когда же является возможным, еврей может и должен беспощадно избивать христиан».

Вот чему учит таинственная книга евреев, по свидетельству ученого, который сам в состоянии прочесть ее в подлиннике! Мы, обыкновенная публика, не можем проверить свидетельства о. Пранайтиса, но неужели священник и профессор в латинском сочинении, напи-

санном, очевидно, с ученой целью, стал бы сознательно говорить неправду? Этого допустить нельзя. Далее о. Пранайтис пишет:

«Еврею повелевается где бы то ни было вредить христианам или косвенно — не делать им добра, или же прямо — грабить имущество и на суде показывать против христиан; еврей не смеет помогать христианину в случае, если последний находится в безвыходном положении».

Помочь христианину разрешается только в случае, если это полезно самому еврею или если ему нужно прикрыть тем свою неприязнь. Христианским именам, начиная с Христа и Богоматери, а также святым и священным предметам Талмуд приписывает самые постыдные прозвища и толкования. Например, Марию они называют «Хариа» (навоз, кал), наших святых (по-еврейски «кедошим») называют «кедешим», то есть кинеды. Святых же женщин они называют «кедешот» (публичные женщины). Нашу Пасху именуют «виселицей» и пр., и пр. О службе христианской я даже не могу привести еврейского толкования, до того оно непристойно-гнусно. Предаются в Талмуде поруганию священные предметы не только религиозного культа, но и светского. «Абода-Зара» (46а) повелевает: «Вместо *пене гаммелех* — лицо царя — говори: *пене гаккелеб* — собачья морда» и пр.

По Талмуду, уверяет о. Пранайтис, «вся жизнь, все имущество гоя, как раба, созданного для сынов Израиля, находится в распоряжении еврея. Жизнь гоя отдана в руки еврея, тем более, конечно, душа и тело его — такова раввинская аксиома. Отсюда следует, что еврей имеет полное право безнаказанно отнимать у христиан всякое имущество, прибегая при этом к всевозможным уловкам, обману и плутням».

Выдержками из Талмуда о. Пранайтис доказывает, что Талмуд разрешает в отношении христиан всевозможные преступления, но последние должны быть хорошо замаскированы. Можно обманывать и сколько угодно лгать, причем «Баба-Кама» (113а) говорит: «Имя Божие не профанируется, если гой не замечает, что ты врешь». Любопытное толкование, не правда ли? Талмуд не только прощает евреям преступления, направленные против христиан, он разрешает и даже более того — предписывает их. Как Иаков обманом выхватил у старшего брата Исава первородство, так предписывается в отношении «нечестивой части» человечества (то есть неевреев). «Борись... воюй с ней не покладая рук... пока все земные народы поголовно не станут рабами нашими», — говорит рабби Иуда (Зогар,

1, 160а). Даже мудрейший из вероучителей еврейских Маймонид в эпоху, когда евреи катались как сыр в масле, предписывал полное отсутствие жалости к христианам: «Не жалей их; написано: *не жалей их*. Так, видя, что акум погибает — тонет например, — не подавай ему помощи. Если ему угрожает смерть, не спасай» (Гилькот акум, X, 1).

В заключение, говорил о. Пранайтис, «Талмуд повелевает беспощадно истреблять христиан». В глазах Талмуда христиане — остатки амалекитян, истреблять которых повелевал Иегова. «Зогар» (1, 25а) говорит:

«Народы земные — идолопоклонники. О них написано: стирай их с лица земли, а некоторые из них те, о которых сказано: изгладь всякую память об амалеке. Остатки их живут еще в четвертом* пленении, это они — поистине амалекитяне».

Поэтому, продолжает наш автор, по Талмуду — «прежде всего должно истребить повелителей». «Зогар» (1.219, 6 и пр.) говорит:

«Наш плен дотоле продолжится, пока не будут стерты с лица земли владыки народов, поклоняющихся идолам». «Только тогда Бог примет молитву, когда сгинет владыка: о них ведь написано: умер царь египетский, и вскоре вздохнули сыны Израиля от рабства».

Кто знает, может быть, этому таинственному предписанию Талмуда обязаны свергнутые с престолов монархи Европы своим падением. В последнее время установлена руководящая роль жидомасонства в подготовке Великой французской революции. Отец Пранайтис приводит целый ряд текстов, где предписывается убийство христиан, ибо «лучший из гоев достоин смерти». Эта фраза очень часто повторяется в различных еврейских книгах. Убийство христианина, по Талмуду, не грех, а жертва, угодная Богу, и «после разрушения Иерусалимского храма остался только один вид жертвы — избиение христиан». Вот некоторые тексты:

«Лишай жизни клифотов и убивай их — этим сделаешь угодное Богу, как тот, кто приносит жертву сожжения... Ничего угоднее Благословенному Господу и быть не может, как искоренение нами людей нечестивых и клифотов» (Сефер Ор Израель, 177в и 180).

---

* Четвертое пленение — римское, которому предшествовали вавилонское, ассирийское и египетское.

«Всякий, кто проливает кровь нечестивых, столь же угоден Богу, как и приносящий Ему жертву» (Ялкут Шимони. 245. С. 722. Бамидбор рабби, 229).

«Нет у нас иной жертвы, кроме устранения нечистой стороны» (Зогар, 38, 6 и пр.).

«Когда у евреев силы больше, грешно оставить среди нас идолопоклонника» (Гилькот акум, X, 7).

«Человека идиота (земного народа) дозволительно душить в праздник Очищения, приходящийся на субботу... Во время заклания еще нужно произносить моления, во время душения оных не полагается. Вообще, идиотов следует душить как животных» (Песахим, 49). «Дави ему горло, как зверю, который околевает не пикнув» (Зогар, 11, 110а) и пр. и пр.

В заключении своем о. Пранайтис говорит, что он представил читателю «только миллионную частицу того, что говорится в Талмуде о христианах». Можно утешиться тем, что евреи в подавляющем большинстве, вероятно, не знают Талмуда, как христиане — своих священных книг, но дух чудовищной книги, усваиваемой раввинами, доходит и до еврейской массы. Можно утешиться и тем, что 10—15 процентов евреев не жидовской крови и имеют натуральную совесть, которая никогда не подчинится изуверским внушениям Талмуда. Но ведь большинство-то еврейской расы вполне гармонирует с талмудическим учением как глубоко национальным. В течение тысячелетий создавалась раввинская психология и запечатлелась в священном кодексе, чтимом наравне с Библией. Если на Библию можно смотреть как на дневник молодого народа, жестокого и рано испорченного, но все-таки подававшего надежды, то Талмуд похож на старческую исповедь, на свиток грехов, до того привычных, что в них хочется не каяться, а оправдывать их. Видимо, очень древний народец еврейский до того прочно сложился в паразитный тип, что приобрел и неподвижную, лишенную совести душу. Вот в чем опасность этого ужасного вопроса. Мы думаем, что евреи — люди одной с нами души, между тем в действительности тут такая же вечная разница, как между четвероногою овцой и четвероногим волком.

P. S. На мое предложение третейского суда еврейская газета «Речь» не изъявила согласия. Остается привлечь ее к суду уголовному.

ДЛЯ КОГО ВОЕВАЛА РОССИЯ

3 мая

I

Внутренняя политика наша объявлена национальной. В добрый час! Но, к сожалению, то, что сказано, у нас далеко еще не сделано. От благих намерений до исполнения их у нас глубокая и всего чаще непроходимая пропасть. Строго говоря, разве было время, когда наша политика объявляла себя не национальной? Я такого времени не помню. И в суровый век Николая I, и в более мягкое царствование Александра II, и тем более — в одушевленную русским чувством эпоху Александра III русская политика всегда делала вид, что она строго национальна, до такой даже степени, что самое сомнение в этом показалось бы тогда преступным. Но в самой действительности под флагом прекрасных намерений все время шла политика глубоко антинародная, поражающая исторические интересы нашего племени.

Хотите доказательств — вспомните политику, приведшую нас к банкротству в Финляндии и в Западной России. Именно после окончательного покорения финляндцев и поляков они стали укреплять на нашей земле свои политические позиции, причем при потворстве из Петербурга достигли успехов невероятных. То же было на третьей, крайне важной нашей окраине — на Кавказе. То же идет теперь и в Туркестане. Утвердившись между двумя материками, Россия далеко выдвинула свои редуты, но не заметила, что эти редуты постепенно наполнялись внутренними врагами и вместо крепости служат уже причиной слабости нашей, источником острых тревог и расходов.

О Финляндии и Польше писалось еще недавно достаточно. Позвольте напомнить о злосчастном Кавказе, который продолжает разваливаться под управлением дряхлого, хоть и либерального администратора. Вчерашняя телеграмма гласит о том, что «революционное разбойничество усиливается в *Закавказье*». А в *Прикавказье* продолжают действовать шайки горцев, нападая даже на поезда у крупных станций, как, например, в недавнем ужасном преступлении у Минеральных Вод. Оба склона Кавказского хребта находятся во власти анархического разложения, которое завершает собою политику долгих десятилетий. Кавказ, как известно, был присоединен к России после пятидесятилетней сокрушительной войны. Каждая скала там,

что называется, облита русской кровью, и недаром далось нам это чудное царство снеговых гор и райских долин! Казалось бы, завоевав наконец опустошенный край, сказочно богатый, следовало отдать его в награду победителю, именно народу русскому, и никакому иному. Дорогой ценой был окуплено это право — тяжкими трудами, жестокими увечьями и страданиями, мучительной смертью сотен тысяч русских людей. И что же? Завоеванный русскими Кавказ отдали другим народностям, а для русского переселения Кавказ закрыт, как значится на книжке, изданной для переселенцев.

В последнем выпуске «Вопросов колонизации» есть замечательная статья Н. Н. Шаврова, которой выводы следует усвоить всем националистам русским, и особенно правительству, объявившему национальный курс. Разве Александр I не был одушевлен желанием блага русской народности? После Отечественной войны, в ореоле спасителя России, в ореоле полководца, доведшего полки России до стен Парижа, Император Александр I, «благословенный» своим народом, мог только гордиться своей нацией, как и она им. Это и было. Но наряду с этим под внушением льстивых царедворцев из инородцев тот же Александр I подписал смертный приговор русскому делу в Финляндии и смертный приговор ему в захваченной поляками Западной Руси. Кавказ тогда целиком еще не принадлежал России, но в отвоеванную часть Кавказа в 1819 году переселили 500 семейств... Вы думаете, русских? Нет — *вюртембергских*, из которых были образованы немецкие колонии в Тифлисской и Елисаветпольской губерниях. Колонистам были отведены лучшие казенные земли и даны всевозможные льготы. Затем, после войны 1826—1828 годов, мы переселили в Закавказье в течение двух лет свыше 40 000 душ... русских поселенцев? Нет — *персидских* и свыше 84 000 *турецких армян*. Им были отданы лучшие земли в Елисаветпольской и Эриванской губерниях, а также в трех уездах Тифлисской губернии. Скажите, это похоже сколько-нибудь на русскую национальную политику?

Для водворения армян было отведено 200 000 десятин казенных земель и куплено более чем на 2 000 000 рублей земли у мусульман. Неужели же, однако, у самой России тогда не было народа, нуждавшегося в земле? Так как тогда почти вся русская земля была или помещичья, или казенная, то мечтой каждого из многих миллионов крестьян — и мечтой несбыточной — было иметь хоть клочок *своей* земли да свободно работать на нем. И вот «национальное» правительство наше той эпохи заботливо выписывало из далекой Германии немцев, выписывало персов, выписывало армян, даром (то есть за счет русского народа) отдавало им завоеванные земли,

тратило казенные (то есть русского народа) миллионы для их благоустройства. Кроме выписанных армян, как только стала известна благотворительность русской власти, хлынули целые полчища их соплеменников, так что уже тогда число их превысило 200 тысяч. Это было при столь национальном Государе, каким был Николай I. После Крымской войны опять тронулось армянское вселение: к нему относились благосклонно, полагая, что чем больше их будет, тем лучше, почему даже не вели им счета. При Александре II, когда Кавказ наконец был совсем покорен, наша казна делала немалые жертвы, чтобы заселить чудное Черноморское побережье. Вы думаете — русскими людьми? Нет. Боже сохрани. На казенный счет привозили из Малой Азии тех же армян и греков. Вы скажете: это естественно, ибо армяне и греки — южане и более приспособлены к жаркому климату Абхазии. Но казна руководствовалась, очевидно, не этим, ибо, кроме армян и греков, для заселения завоеванного благодатного края выписывала также эстов, латышей, чехов, и всем им отводились лучшие земли. Счастливая война с Турцией 1877—1878 годов увеличила Закавказье двумя новыми областями и вызвала новый приток переселенцев. В одну лишь Карскую область выселилось тогда около 50 000 армян и до 40 000 греков, кроме того, генерал Тергукасов (армянин) вывез к нам в Сурмалинский уезд 35 000 зарубежных армянских семей. Естественно, когда растворяют двери настежь, то в такое гостеприимное хозяйство все лезут, кому не лень. Армяне потянулись из Турции жидкой, но непрерывной струей. Во время восстания турецких армян (1893—1894), подавленного с суровой жестокостью, установилось сплошное бегство этого племени в наши края. Тогдашний кавказский главноначальствующий граф Шереметев просил правительство о выдворении самовольных переселенцев, но турки, знакомые с армянами в течение веков, не принимали их обратно, и русское правительство добродушно махнуло на них рукой. Новый главноначальствующий князь Голицын в 1897 году насчитал уже около 100 000 самовольно вторгшихся армян, но и его хлопоты о выдворении их были безуспешны. Тогда у нас поступили весьма патриархально — велели турецким революционерам записаться в русское подданство и на этом покончили. Естественно, что и у турецких, и у персидских армян разгорелись глаза на казенные русские земли. За армянами потянулись сейсоры и мусульмане. Этим путем в одно нынешнее царствование было влито в Закавказье до миллиона армянских переселенцев, и приток их все растет. После Шереметева за 13 лет в Закавказье прибавилось еще свыше 300 000 армян. Не в древние времена, а в ближайшие к нам десятилетия мы собственными уси-

лиями и на наш народный счет создаем у себя армянское царство, которое на юге обещает быть столь же беспокойным, как созданная нами же (под псевдонимом Финляндии) маленькая Швеция — на севере. Кроме миллиона армян, при благосклонном содействии правительства на Кавказ вселились (к 1897 году) более 17 тысяч поляков, 82 тысячи греков, 31 тысяча евреев и по нескольку тысяч других всевозможных национальностей. Таким образом, и к без того разноплеменному кавказскому населению было влито до 25 процентов инородчины, враждебной России.

Читатель спросит: неужели же русское правительство совсем не сознавало необходимости закрепления столь важной окраины за Россией? Сознавало, но не слишком твердо. После войны с Турцией, когда были присоединены богатые землями новые области, Великий князь Михаил Николаевич настаивал на необходимости переселения в Карскую область 100 000 русских поселенцев из внутренних губерний. Но тогдашний министр внутренних дел Лорис-Меликов (армянин) настоял на *отказе* в этом ходатайстве. Факт необыкновенно характерный, хорошо рисующий истинную механику русской «национальной» политики. Заметьте: даже такой, казалось бы, сильный человек, как наместник Кавказа и превосходный знаток его (притом родной брат Государя) — и тот ничего не мог поделать против либерального временщика из инородцев. Переселение русских не было допущено, а тем временем 100 000 армян и греков хлынули в Карскую область и захватили все, что могли. В 1879 году, когда управлял краем грузин князь Меликов (исправлявший должность наместника), он испросил закон, воспрещающий *русским селиться вне городов*, — чудовищный закон, имевший главным образом целью не допустить перехода сельской земельной собственности в русские руки. Называю такой закон чудовищным, ибо он помимо всего прочего глубоко оскорбителен для русского народа. Как? В черте Российской империи для коренных русских устраивается черта оседлости? В том самом краю, где пролито целое море русской крови и все ущелья были завалены русскими трупами, — в этом краю все могут селиться вне городов, а русские не смеют? Мне кажется, кости героев, погибших в бесчисленных кавказских подвигах, со стоном переворачивались от такой «национальной» политики. Стоило, в самом деле, лезть на стены неприступного Гуниба или Карса затем только, чтобы сделать миллион армян и греков турецких — кавказскими помещиками!

В итоге нашей «национальной» политики на Кавказе за 100 лет государство на завоеванных им пустопорожних землях поселило 1 200 000 инородцев и всего лишь около 240 000 человек рус-

ских, в том числе сельских переселенцев всего 140 000 душ. При этом казна растеряла большую часть своего земельного фонда, перешедшего к туземцам и иностранцам. Если вглядеться в этот невероятный результат, вы увидите, что Родина была мачехой для народа русского и родною матерью для турецких армян, для греков, для вюртембергских немцев, для эстов и латышей. Вы видите, что к дележу древней Колхиды, завоеванной тяжелыми жертвами русской нации, приглашен был всевозможный инородческий сброд и на пятерых инородцев всего лишь одному русскому бросали кость... Вы видите, что высшая власть все время о чем-то мечтала, а низшая все время устраивала родных человечков, особенно армянской крови... Россия завоевала для себя и для своего потомства благодатное царство — а хитрые людишки отвоевывали его и, увы, уже, кажется, совсем отвоевали!

Говорят: Россия разбита Японией, народом, втрое меньшим по населению. Позор, что и говорить! Но еще удивительнее и ужаснее, что раньше того неслышно и невидно Россия потерпела ряд внутренних поражений — и в Финляндии, и в Польше, и в Литве, и на Кавказе — всюду, где русская когда-то победоносная стихия поникла и заглохла перед торжеством инородцев. Отступили мы там не пред чужой силой, а пред хитростью собственной «национальной» политики... Последнюю покойный Сергеевский[1], глубокий патриот и ученый, характеризовал довольно метким лозунгом: «Ешь меня, собака!» Сами себя отдаем на съедение и затем изумляемся, что обессилели до неспособности дать достойный отпор — даже маленькому соседу...

РАЗМЫШЛЕНИЯ

15 мая

Падают народы только *нечестивые* — эту основную истину христиане и язычники должны твердо помнить, как закон счастья. Праведный народ не падает, о чем удивительно сказал Давид: «Ангелам Своим заповедает о тебе (Всевышний) — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

В войне севастопольской — британский лев, в войне маньчжурской — японский дракон заставили *отступить* Россию — это вер-

ный признак нравственного падения народа нашего, двести лет непобедимого. Не потому Россия уступила в Крымской войне, что находилась еще в крепостном праве, а потому, что это великое по идее органическое строение общества, требовавшее благородства, к тому времени исподлилось и извратилось и оба класса — властный и трудовой — потеряли естественное сплочение. И дворяне, и крестьяне перестали быть органами друг друга, необходимыми и незаменимыми, и нравственно (точнее — безнравственно) разошлись задолго до отмены формального права. Властный класс в праздности и распутстве изнежился и перестал быть властным. Трудовой класс в бесхозяйном труде и в отсутствие культурного надзора начал терять трудовую способность и высокий дух, порождаемый правильным трудом. Нечестие превысило наконец терпимую Богом меру, и лев наступил на нас. Следующее 50-летие нравственная катастрофа только ширилась: властный класс все более терял инстинкты власти, трудовой класс все более терял инстинкты труда. И вверху, и внизу пошло великое во всех слоях распутство, отмеченное пророком той эпохи — Достоевским. В конце полустолетия наступил на нас дракон. Как «Мертвые души» были предсказанием крымского позора, так «Братья Карамазовы» — маньчжурского. Поистине страшный признак, когда вдохновенные свыше люди, наблюдая родину, начинают обличать ее! Близка к такой стране карающая десница Божия!

Страна может считаться православной и в то же время смердеть бытовым разложением, общим развращением нравов, доходящим до того, что ни одному человеку нельзя уже доверить казенный грош без системы кругового, изнурительного контроля, отнимающего у каждого гроша его половину. Власть может почитаться самодержавной и в то же время быть бессильной, чтобы справиться с анархией умов и воль и упадком духа народного, того, что французы называют гением расы. И православие, и самодержавие не создают этого гения, а сами черпают из него свою силу, свою истину и красоту. Только из могучего корня идет сильный ствол и железные по крепости сучья. Можно ли ждать ярких и мощных явлений на корне народном, уже заглохшем? Кричите, сколько хотите, об истинности православия, о «веках святых»: все это было в прошлом, нынче же мы имеем либеральных батюшек, толкующих о тюбингенской школе, носящих крахмальные воротнички и читающих Евангелие через пенсне. *Настоящее* православие, искреннее, верующее в Бога в народно-русских поэтических представлениях, православие национальное *было*, да сплыло или стремительно сплывает куда-то на глазах наших. Куда сплывает? В безверие, в пошлый баптизм, в

цинический нигилизм, в ту антихристову веру, которая отрывает земное от небесного и устанавливает ужасное богоненавистничество вместо древнего богопоклонения. Напрасно думают, что народ остановится на безбожии: дойдя до него, он по инерции перейдет черту и выполнит весь отрицательный размах, дойдя до дьяволизма, до горьковского «дна». Вы думаете, культура нас остановит? Но в отдельных случаях, даже на верхах культуры, разве она остановила людей с высшим образованием — например, инженера де Ласси и доктора Панченко в их охоте за человеческими черепами? Разве высшее образование остановило инженера Шошина от того, чтобы облить серной кислотой красивую девушку, ни в чем против него не повинную?

«Свобода! Равенство! Братство!» — кричат теперь чумазые граждане восточных стран, приходя в неистовый восторг от нового умственного условия, которого они совершенно не понимают.

Свобода, утверждаю я, вещь прекрасная, но вы до жалости к ней неспособны. Вы — огромное большинство, по нечестию вашему прирожденные рабы, и рабство не только самое естественное ваше состояние, но, может быть, и самое счастливое. Рабство — все равно, в какой форме — есть замена внутренней воли внешней. У вас нет внутренней воли или слишком ощутительный в ней недостаток. Как будто нет даже этого органа в вашем организме. Просто порода такая безвольная, как существуют обезьяны бесхвостые. То, что называется гением, талантом, благородством, чувством долга, — все это у вас лишь в самой зачаточной степени, и в итоге у вашей жизни нет нравственного двигателя. Предоставленные самим себе, вы не знаете, что с собою делать, и центр драмы в том, что вам ничего не хочется делать. Англичане жалуются, что миллионы индусов решительно неспособны к цивилизации. В какие условия их ни ставьте, давайте им просвещение, землю, промыслы — они лениво от всего этого отмахиваются; они едва ковыряют землю и часто предпочитают лежать на солнце или бродить нищими, оспаривая у собак какие-нибудь отбросы. Даже голод теряет власть свою над этой человеческой породой. Нет пищи — ну что ж? Они и не едят, они худеют, превращаются в скелеты, обтянутые кожей, и наконец умирают — почти без попыток спастись, почти без протеста. А между тем в века рабства их крепостные предки из-под плети, может быть, работали, были сыты, оживлены трудом, дисциплинированы трудом, тренированы трудом — и вследствие этого были здоровы, сильны и счастливы. Приблизительно то же говорят о массах персидского населения. Это ведь тоже арийцы, одна из лучших на свете рас. Подобно индусам, втянутые в труд, они поражают европейца умеренностью, выносливостью, силой, кротостью — сло-

вом, всеми добродетелями хорошо дрессированного домашнего животного. Но в условиях свободы и равноправия они теряются, они быстро делаются жертвой хищной эксплуатации, они заленивают-ся, разоряются и впадают в ужасную нищету, физическую и моральную. Примеры подобной же нищеты легко указать в России с ее тоже арийским населением. Освобожденный от крепостного рабства народ не поднялся, а *заметно упал* — и в самых разнообразных отношениях. Он вышел из постоянного, систематического труда, разорился, попал в лапы ростовщиков, запьянствовал, заленился, надорвал свое питание и заметно выродился. Водка, сифилис, голод, эпидемии... На здоровый и крепкий в прежнем рабстве народ нападают великие и малые напасти, с которыми он справиться сам как будто не в силах.

Меня берет иногда тяжелое раздумье: а что, если большинство человеческого рода — прирожденные рабы? Не совершают ли гуманисты грех против природы, извлекая народ из состояния естественного, и не вводят ли его в состояние искусственное, может быть, прямо гибельное? Возьмите культурную собаку — как она, будучи избавлена от терзаний голода, глупа, как она тяжела, ленива, ко всему на свете равнодушна! Она валяется совершенно как Обломов, вечно сонная и хмурая, как бы в оковах своего жира, в заточении своей свободы. Сравните с нею деревенскую полудикую собаку, которая вечно ищет чего-нибудь съедобного, бегает, сторожит, лает, обслуживает стада, охотится за крысами, а временами вступает в бой с волками или с собаками соседней деревни. Обеспеченная буржуазно, жизнь умственно *понижает* и собак, и людей — по крайней мере огромное большинство их. Люди от так называемой культуры становятся глупее и безобразнее, чем были. Сравните деятельного крестьянина-пахаря и его сына, разбогатевшего на торговле. Сын — Фома Гордеев — нажив богатства, только и умеет, что быть почти беспробудным пьяницей, безобразным дикарем-разрушителем, развратником. Разбить дорогое зеркало, налить шампанского в рояль — дальше этих целей вдруг явившиеся средства чаще всего не идут. И тут вовсе не недостаток образования. Ведь здоровое невежество, невежество одаренных рас, есть наилучшее условие для прогресса. Никто не имеет такого волчьего аппетита к знанию, как талантливые невежды. Наоборот, дайте университетское образование бездарному человеку — он останется таким же, как был, скотом в своих вкусах, развлечениях, в приложении избытка средств и сил. Образованная чернь — как она грязнит знание, прикасаясь к нему! Как она проституирует его!

Владимир 1-й степени

По городу ходит bon mot одного преосвященного, приславшего Владимиру Карловичу Саблеру[1] такую приветственную телеграмму: «Поздравляю духовенство с пожалованием ему Владимира первой степени». Это вышло гораздо *глубже*, чем замышлял автор остроты. А что, если новый обер-прокурор есть только пожалование, только очередной орден, хотя бы высокий, только чиновник на патриаршем кресле? Мы до того дожили, что нужен был бы Владимир Святой, новый креститель Руси, но жизнь выдвигает пока Владимира Саблера. Да пошлет ему Господь силу Самсона — но вот вопрос: с кем предстоит борьба и кто именно враги Церкви? По числу комиссий киевского миссионерского съезда этих врагов выяснилось восемь: раскол, католичество, магометанство, баптизм, толстовство и пр.

Мне кажется, В. К. Саблер сделает ошибку первой степени, если увидит именно здесь врагов Церкви. Для дела истинной веры в народе русском безусловно не опасны ни раскол, ни католичество, ни еврейство, ни магометанство, ни баптизм, ни толстовство. В самом деле, если вы человек искренно православный, какое же вам дело до того, что сосед ваш — католик? Да будь он хотя бы язычник, это до вас отнюдь не касается. «Но если он меня будет смущать, подрывать мою истинную веру и навязывать неистинную?» — спросит читатель. А вы не поддавайтесь, ответил бы я на это. Если же поддадитесь, то это будет доказательством того, что вы никуда не годный православный. Чем же будут виноваты католицизм или магометанство, если вы променяете на них тысячелетнюю веру своих предков?

Единственно, с чем православию в данном случае следует бороться, — это с *собственной слабостью,* с неискренностью своей веры, с своим тайным безразличием, с своей способностью — как пустоты — вмещать в себя всякое новое содержание. На киевском съезде (точнее, соборе) миссионеров, как и на предыдущих, борцы за православие делали вид, что внутри Церкви все обстоит благополучно, а все опасности — вне ее. Мне же кажется, что дело стоит как раз наоборот. Вне Церкви для нее нет никаких угроз, и, по существу, даже быть не может — а вот внутри... тут начинают разверзаться целые пропасти и черные бездны.

Живя полстолетия в русском обществе, наблюдая бесчисленное множество плохих христиан, начиная с себя, я никогда не мог понять: зачем посылаются православные миссионеры в Китай, в Японию, в Америку? Какое нам дело, во что и как верят японцы,

когда спасение наших собственных душ чрезвычайно скомпрометировано? Не есть ли это далекое путешествие за тем, чтобы отыскать сучки в глазу неведомых нам ближних, когда в собственном глазу сколько угодно бревен? Правда, недавно в Японию был послан архиерей лишь в виде наказания после скандальной, плохо замятой истории в здешней духовной академии. Послан был совершенно еще молодой человек, на которого было очень странно смотреть во время хиротонии в Святейшем Синоде — до такой степени он был юн и лишен хотя бы отдаленных внутренних признаков монашества. Но если таким молодым людям, тем или иным фаворитам, делающим карьеру, вручат на Востоке проповедь православия — только потому, что оказались беспорядки в каких-то суммах, — то во что же превращается эффектное с виду наше внешнемиссионерское дело? Не все миссионеры, скажете вы, похожи на преосвященного Сергия Токийского. Были крайне почтенные, глубоко ученые, почти святые по жизни миссионеры, вроде архиепископа Николая Японского. Да, но таких, мне кажется, отпускать в Японию просто жалко. Такие очень и очень пригодились бы в самой России. Что толку, что энергия и талант замечательных наших иерархов прилагается десятками лет где-то в Восточном полушарии?

В такой же мере для меня лично представляет неразрешимую загадку: к чему православным *спорить* с раскольниками и сектантами? Если они не признают нашей Церкви, то уже никак не по невежеству. Они живут в самом океане православия, они ежедневно слышат колокольный звон, ходят мимо наших церквей. Если они до такой степени не любопытны, что ни разу не поинтересовались тем, что такое церковь и ее православие, то что же с такими людьми говорить? Они заслуживают, чтобы на них махнуть рукой. Если же они заглядывали в церковь и в священные наши книги и не нашли их по душе, то какой миссионер в состоянии переубедить их? И зачем? Опасность не в том, что раскольники и сектанты находят неинтересной нашу веру, а в том, если в ней и действительно не окажется интереса. Не одни раскольники и сектанты ушли из Церкви — неизмеримо больше православных ушло в неверие и слабоверие. Они по паспорту числятся еще православными, на самом же деле гораздо дальше от православия, чем даже старообрядцы или молокане. Те хоть в Бога веруют (а это почти все, что есть в Церкви ценного) — великое же множество рекомых православных ни во что не веруют. Этих вернуть к Церкви было бы нужнее, чем завербовать японцев или краснокожих американцев. Святейшему Синоду следовало бы иметь мужество спросить себя: что делать с внутренним, неудержимым развалом того могущества, которое когда-

то одной нравственной властью пасло народ, просвещало его совесть, подавляло грех, вело народ к добродетели?

Вопрос этот важности чрезвычайной. Великий народ — существо моральное. Теряя благочестие, народ теряет одновременно дисциплину гражданственности: из защитника закона он становится преступником его. Вместе с нравственной воспитанностью народ теряет трудовую разумность. Он становится анархичен, жаден, зол, жесток. Созидатель царства превращается в разрушителя его.

Единственный способ борьбы света с тьмою — это *быть светом*, гореть, разгораться и сверкать — до той степени, когда становится наконец действительно светло и всем все видно. Победоносный свет возвращает человеку зрение: только с этого момента начинается сознательная и ответственная для человека жизнь. Духовенство, если оно апостольство Духа Святого, должно быть светильником на верху горы. Единственный способ отстаивать веру, если она свет, — это вновь заставить ее сиять, освещать путь жизни. Это трудно. Это требует горения, то есть сгорания в огне, того мученичества, которого требовал Христос от учеников. Требование было вовсе не чрезмерное, ибо простые люди — рыбаки и рабочие — охотно шли на крест и плаху, и вслед за ними шли сотни тысяч мучеников. Когда к нам в Россию был занесен этот пожар совести, мы видим, что святые шли на добровольные страдания. Не было гонений — сами себя изгоняли в пустыни. Их не тиранили, не бросали в тюрьмы, не томили голодом, не заключали в кандалы — святые подвижники сами себя истязали, заточали в схиму, морили голодом, облекались в вериги. Нужно это было или не нужно, но таков был жар веры и такое требование жертв для совести, что вероучители начинали с себя. И распущенный народ поражался. Пример героической борьбы с дурно направленной волей начинал увлекать. Добровольное мученичество внесло в народ воспитывающую сдержанность, лишения аскетов внесли умеренность, самоограничение во всех страстях, то есть ту меру, какая делает жизнь здоровой и художественной. Старая Церковь действительно *просвещала*, вовлекала народ в представления светлые, в дисциплину воли, в благородство характера. Но вся сила Церкви исключительно была в высокой вере самого духовенства. Напротив, вся слабость теперешней Церкви — в слабоверии духовенства, в постыдной распущенности монахов, в пошлом либерализме некоторых представителей иерархии, а главное — в нечестии духовной школы.

ДРАМА БЕЛИНСКОГО

31 мая

Удивительный человек, столетие которого празднуется в эти дни, имел свою драму, как, впрочем, имеют ее все крупные люди. Всякий выдающийся, а тем более великий человек, внося в одушевленную стихию общества свою слишком сильную душу, делается центром притяжений и отталкиваний, центром своего рода бури, которая волнует общество иногда долгие десятилетия. Белинский сложен, от него нельзя отыграться, как это обыкновенно делают с замечательными людьми их незамечательные толкователи, одними восторженными похвалами. Белинский пламенно воспел Пушкина, но и направлением мысли, и миропониманием решительно разошелся с Пушкиным. Белинский с глубоким почтением встретил Гоголя, но расстался с ним как яростный враг. У ног Белинского хотел быть похороненным Тургенев, но Достоевский, обласканный Белинским, в конце концов провозгласил последнего самым гнусным явлением русского духа. Ряд поколений пламенно увлекался Белинским, но некоторые (например, Лев Толстой) совершенно пренебрежительно относились к нему. Как видите, около этого загадочного лица в нашей литературе шла даже там, на высоте, среди бессмертных, долговременная гроза. Белинского трудно перечитать теперь, но его стоит изучить, ибо это значит изучить один из интереснейших моментов развития русского общества с возможностью найти разгадку для многого.

Прежде всего, о таланте Белинского, ибо без таланта нет и писателя. Называть Белинского «великим» и «гениальным», как делают его восторженные поклонники, конечно, нельзя. Величие не умирает, гений свеж и интересен через тысячи лет, между тем лучшие статьи Белинского теперь читаются почти без интереса. Лет 35 назад, когда я впервые читал Белинского, я лично был увлечен им и очарован, но ведь мне было тогда шестнадцать лет... Я думаю, историк литературы не ошибется, если назовет Белинского *талантливым* писателем, ибо он обладал даром волновать сердца хотя бы только ближайших к нему поколений. Бездарным людям это не дано. Неподвижные умственно, они никаких возмущений с собой в общество не вносят. Белинский, мне кажется, обладал незаурядным *проповедническим* талантом. Он долго считался великим критиком; за отсутствием у нас такового он мог в свое время сыграть и в этом отношении крупную роль, но в действительности он был только

проповедник, публицист, оратор на бумаге, моралист, и весь высокий лиризм его души, вся сила убеждения были направлены в одну лишь нравственную пропаганду. Именно про него было сказано:

Горел полуночной лампадой
Перед святынею добра...

«Неистовый Виссарион» как литературный критик был в гораздо большей степени пророком, чем те современные ему поэты, которые называли себя пророками. Если к кому из писателей всего более подходило затасканное выражение: «Глаголом жги сердца людей», то, конечно, не к Пушкину, автору этой фразы, а к Белинскому. Если к кому всего более подходил еще более затасканный некрасовский стих: «Сейте разумное, доброе, вечное», то опять-таки не к Некрасову, а к Белинскому. Истинная поэзия несказанно волнует, трогает, восхищает, но *жечь* сердца или сеять *разумное* и *доброе*, мне кажется, вовсе не дело поэзии. Это дело не «языка богов», а сравнительно низших призваний — пророческих, ораторских, проповеднических.

По происхождению своему, как известно, Белинский принадлежал к породе проповеднической — дед его и более далекие предки были из духовенства. Любопытно то, что духовенство наше дало множество публицистов и критиков такого типа, как Добролюбов и Чернышевский, и ни одного поэта, если не считать Бенедиктова. Даже лучшие беллетристы из духовного сословия почти все испорчены публицистической, то есть проповеднической, тенденцией. Что делать! Каждый несет в своей крови и в нервных клетках смутную память обо всем, что думали и чем волновались предки. Душа не более как тысячеголосый хор предков. И каждый из нас, сам того не замечая, действует не как личность, а как порода. Белинский под конец жизни был захвачен всевозможными радикальными отрицаниями и между прочим отрицал Христа, но кровь его породы была насыщена религиозностью и жар самых неистовых его отвержений был религиозен. Все высокое он отрицал во имя, как ему казалось, чего-то высшего, во имя *вечного,* а это есть уже религия. Биографы Белинского поражаются, каким образом плохо образованный юноша, исключенный из гимназии «за нехождение в класс», исключенный из университета «по неспособности», в состоянии был с такой чудесной легкостью воспринимать в себя все великие умственные течения, идя в этом отношении не только рядом с тонко образованными людьми, как Надеждин, Станкевич, Грановский, Кудрявцев, Бакунин, Огарев и Герцен, но даже заметно поддерживая их. Удивляться нечего: кроме таланта, который есть ключ ко всем откровени-

ям, Белинский нес в крови своей породы повышенную способность философствовать и вдохновляться.

Колоссальное влияние, которое имел Белинский на целый ряд русских поколений, происходило вовсе не из силы его критического ума, вовсе не из эстетической тонкости. Как критик Белинский сделал немало грубых ошибок (например, относительно Тургенева). Основной тезис его эстетики очень спорен. Белинский настаивал на том, «что каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов». Мне кажется, этот основной тезис уже доказывает, что Белинский был более публицист, чем литературный критик, ибо в качестве публициста он навязывал поэзии то, что ей совсем несродно. Громадное влияние Белинского я объясняю тем, что он был первым; если хотите, русским «интеллигентом», как бы отцом российской интеллигенции, создателем особого умственного типа, который тогда именно выступил на историческую сцену. Конечно, исторические эпохи создаются не одним человеком, а целой ратью их, но есть имена, которые невольно звучат как имена вождей. До Белинского, то есть до начала 1830-х годов, преображающим типом в обществе был барин, «господин» в прямом и точном значении этого слова. Владетельный дворянский класс имел исстари свою сословную психологию; основная черта последней была гордость и удовлетворенность. Подавляющее большинство «порядочных» людей тогда смотрели на мир ясными глазами. Они находили, вместе с Гегелем, что «все действительное разумно», то есть имеет свои естественные основания. Никакой гражданской скорби они не чувствовали, ибо родились господами положения и свое благородство понимали именно как господство. Во всем согласные с ходом вещей, образованные дворяне всякое явление действительности старались довести до полноты идеи, до красоты. На таком миропонимании расцвел «золотой век» поэзии с завершителем ее в России — Пушкиным. Но уже тогда, в течение нескольких десятилетий, с европейского Запада шел новый, демократический дух, дух революционный, проснувшийся с особенной яркостью у энциклопедистов. Еще в эпоху Новикова и Радищева среди русского барства начали появляться философы отрицания, политические доктринеры, публицисты, и уже тогда — в лице хотя бы названных двух деятелей — вырисовался герой будущего, русский «интеллигент». И Онегин, и Чацкий, и Печорин были еще дворяне с ног до головы, но уже тронутые отрицанием. Великий Пушкин (вместе с Гёте) еще только барин; он ясен, как северное солнце, — но уже великий Лер-

монтов вместе с Байроном омрачены тучами. Их уже терзает мировая скорбь, предшественница гражданской скорби. Ко времени Белинского аристократический склад общества настолько одряхлел, что стал возможным прорыв в него новой, демократической стихии. Это совсем особая психология, во всем противоположная господской. Слагавшаяся веками утонченная, изнеженная аристократия дозрела до того, что потеряла свой raison d'être (смысл существования. — *Ред.*). «Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, — мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких», — пели господа дворяне. Прорвавшаяся же снизу благодаря этому демократическая стихия несла с собою именно волненье, именно корысть и была насыщена духом той кромешной борьбы за существование, на которую обречено всякое сошедшее с устоев общество.

Белинский был человек по натуре благородный — может быть, он пошел в своего деда-священника, отличавшегося аскетической праведностью. Но уже отец Белинского, уездный врач, был оторван от своего сословия и вел жизнь бедного и нетрезвого разночинца. В семье своей и в общественном слое, к которому она принадлежала, молодой Белинский мог усвоить начала лишь очень *пониженной,* демократической культуры. Это было не совсем невежество, но наполовину. Это была не совсем нищета, но уже ощутимая бедность. Быт расстроенный, междусословный, где лишения обыкновенно вызывают пьянство и дальнейшее разорение, где приходится учиться на медные деньги и всю жизнь переживать драму соперничества с более состоятельным господским кругом. Белинский был от природы добр, но люди его круга, становясь интеллигентными, обыкновенно выносят чувство глубокой социальной обиды, доходящей часто до озлобленности. На мир Божий они смотрят иногда с острым негодованием, общественное неравенство их душит. Великодушный и добрый, Белинский выдался тем, что идеализировал в себе эту интеллигентную злобу к действительности и сделал ее в глазах России почти священной. «Мы живем в страшное время, — писал он в возрасте двадцати восьми лет, то есть сравнительно еще молодым и мало видевшим жизнь. — Судьба налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам легче было жить... Нет ружья — бери лопату да счищай с "рассейской" публики грязь...» Видите, как трагически отражалась в глазах Белинского тогдашняя Россия: он искренно и бесповоротно считал свою родину грязной. Он считал ее даже страшной — до *страдания* жить в ней. В то время как предыдущее поколение — Жуковских и Пушкиных — любило Россию и гордилось ею, поколение Белинского начинает ее ненавидеть и презирать. Ненавидеть не враждебным, а ревнивым чувством —

«насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Справедлива ли была эта революционная ненависть, из которой развился нигилизм? Гоголь с тоской отвернулся от зачинавшегося тогда радикального западничества, увлекшего Белинского. Чаадаев мог бы пожать последнему руку, но Достоевский готов был проклясть его. Разберемся ли мы когда-нибудь в этих двух полярностях нашего общественного развития?

Позднейший из комментаторов Белинского, С. А. Венгеров[1], характеризует его как «великое сердце». Может быть, это и верно: более сильно бьющегося, более волнующегося сердца, кажется, не было у нас в литературе, но ведь сердце в писателе не все. Пыпину[2] Белинский казался «очень наивным» в своих увлечениях, Панаеву[3] эти увлечения казались даже «смешными». Некрасов, довольно тонкий наблюдатель, характеризовал Белинского в знаменитом стихотворении так:

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел...

Сам Белинский называл себя шутя «Прометеем в карикатуре», и, пожалуй, это самое меткое его определение. Действительно, это был маленький Прометей, похитивший, как ему казалось, огонь с неба, а может быть, блуждающий болотный огонь. Драма его была в том, что он верил в свет свой, который, может быть, был порожденьем тьмы.

Как всем известно, Белинский не раз и очень резко менял свое политическое мировоззрение, менял сообразно тому, какая захватывала его общественная струя. Он писал и ультрапатриотические статьи — в тогдашнем николаевском стиле, и он же написал «знаменитое» письмо к Гоголю, до сих пор восхищающее наших революционеров. Он то добивался потомственного дворянства, то готов был идти на баррикады за социалистический идеал. Но все это следует считать, конечно, искренними увлечениями, не роняющими тени на благородство его души. Что же, спрашивается, он был вне увлечений, чем он был в подлинной своей натуре? На это ответить очень трудно. Он был, мне кажется, «трость, колеблемая ветром», хороший русский интеллигент — типичнейший и наиболее ярко выраженный. Определяя точнее, это был интеллигент «первого призыва» — вот подобно тому, как были мировые посредники «первого призыва», отличавшиеся от последующих особенным идеализмом. Тем-то и дорог для всех Белинский, что он как бы общий портрет прошедшей юности для нашей интеллигенции. Демократи-

ческая и разночинная, она — увы! — вслед за недолговечным русским барством тоже успела состариться и одряхлеть. Белинского хоть ставь в иконостас и молись на него — до того эта «наивная и страстная душа» чиста в своих волнениях, — однако, чтобы молиться на него, нужно обладать несколько предосудительной в наш век молодостью. Шестьдесят лет, даже семьдесят прошло с тех пор, как верования Белинского, пересаженные с Запада, расцвели в его душе и надушили всю Россию. Семьдесят лет — срок слишком достаточный для всего цветущего. Демократия наша еще не сказала своего последнего слова, интеллигенция еще имеет будущее, но именно поэтому-то Белинский «страшно устарел». Понимайте, если угодно, эту фразу наоборот, то есть что он остался молод, а устарело общество, — дело от этого не меняется. Факт тот, что Белинского теперь плохо читают даже гимназисты старших классов, как почти не читают уже Добролюбова и Чернышевского. Да что Чернышевский: даже сверкающего талантом и всего тридцать лет назад неотразимого Писарева молодежь читать уже не хочет, даже самая демократическая молодежь. Почему? Что за странность? Вспомните, что писал Некрасов о Добролюбове:

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
.....
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты...
.....
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Так популярнейший из поэтов тогдашней интеллигенции превознес и без того любимого критика. И что же? Все четыре томика Добролюбова, давно изданные и по цене всем доступные, мирно покоятся на полках не только книжных магазинов, но даже библиотек. Увы — и сам популярнейший «поэт мести и печали» находится в забвении. Почему? Да потому, мне кажется, что каждому поколению мило свое творчество, свои поэты, свои критики, свои пророки. Ни к кому так не был жесток этот закон времени, как к Белинскому. Он еще не совсем умер, этот отец нашей интеллигенции, но, очевидно, он умирает с нами — последними из тех, для кого писал. Демократия видимо понижает искусство, понижает литературу. Старые таланты уже потому забываются, что они выше теперешнего тона жизни. По мере того как интеллигенция становится менее интеллигентной, больших писателей постигает участь классиков или старых отцов Церкви. Имена их известны. А книги?

РАСОВАЯ БОРЬБА

И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле...
И раскаялся Господь, что создал человека...
Быт. 6

20 августа

<...> Проявления жестокой расовой борьбы нельзя объяснить ни общепринятым, к сожалению еврейским, толкованием этого вопроса, ни антисемитским. Еврейская печать всего света, оплакивая погромы своих соотечественников в Англии и в Алжире, в Румынии и в Аравии, в Турции и России, распространяет совершенно нелепое представление, будто погромы суть проявления христианской и мусульманской дикости. Все дело, видите ли, в том, что разные сикофанты-черносотенцы возбуждают зверские чувства в подонках населения, и эти подонки высылают двуногих гиен и волков на идеальнейший и добродетельнейший из народов на земле. Единственный порок евреев — чересчур уж непереносимое для варваров нравственное совершенство. Такова еврейская теория расовой борьбы. Эта теория уж тем плоха, что, раскрыв Библию, вы увидите, что сам еврейский Иегова был наиболее жестоким возбудителем племенных войн. До сих пор на евреях лежит религиозный долг не только громить амаликитян, но истреблять их поголовно. С другой стороны, если бы только совершенство еврейское вызывало расовые погромы, то трудно было бы объяснить, например, погромы китайцев в Англии или негров в Америке: ведь ни китайцы, ни негры не принадлежат к избранному племени. Еврейское объяснение очевидно слабо, но столь же неосновательно и толкование антисемитов, объясняющих еврейские погромы только экономическими причинами. Правда, по показаниям кардифского раввина Еревича, население Уэльса громило дома и лавки исключительно *оседлых* евреев-старожилов и не тронуло тех евреев, которые недавно прибыли в Англию. От погрома пострадали лишь те евреи, которых англичане давно знают, именно «бедные» евреи-домовладельцы. Из них один имел двенадцать домов, другой — семь, третий — пять и т. п. Разгромлены те лавочники и домовладельцы, которые одновременно являлись хищными ростовщиками, которые сдавали в своих домах квартиры с условием, чтобы жильцы закупали все съестные продукты в принадлежащих жиду-домовладельцу лавках. По

словам «Daily Telegraph», английские евреи уже много раз получали предупреждение, что если не прекратится жидовский грабеж рабочих, то дома и лавки Израиля будут разгромлены. Причина погромов и здесь, как везде, по-видимому экономическая, но, мне кажется, это не совсем так. Экономический паразитизм евреев (как и китайцев) служит только внешним возбуждением для вражды, но далеко не главным. Таким же внешним возбудителем гонений в средние века была религия. В действительности коренной причиной раздора в данной области является *расовое отвращение*, тот глухой протест крови, который следует считать голосом самой природы. Еврейский паразитизм не составляет монополии этого племени. Евреи — самые бессовестные из паразитов, но ведь и среди англичан встречаются ростовщики, фальсификаторы, мошенники и т. д. Терпя скрепя сердце эксплуатацию от своих земляков, народы особенно возмущаются подобной же эксплуатацией со стороны чужого, заезжего племени. Мать охотно кормит ребенка лучшими соками своей крови, но уже крохотный укус комара заставляет убивать его. Я далек от того, чтобы считать еврейское засилье столь же невинным явлением, как укус комара. При громадной массе еврейства христианство оказывается облепленным этим паразитом со всех сторон и закусываемым часто насмерть. Даже смертельные жертвы охотно приносятся *за отечество*, но жертва становится возмутительной и несносной, когда вы ее приносите народу чуждому и вам враждебному. Инородческое хищничество — лишь один из внешних поводов племенных распрей, и не самый главный. Самый существенный и глубокий повод — расовое отчуждение. Оно имеет свои серьезнейшие основания, не признавать которые могут только невежды.

Согласно либеральному жидомасонскому воззрению, расового вопроса не должно существовать вовсе. Все люди братья, и между ними должны царствовать свобода, равенство и братство. Иностранцы должны пользоваться теми же правами, что и коренные жители стран. Если заблагорассудится евреям, китайцам, неграм, малайцам приехать в Россию хотя бы в числе десятков миллионов человек, для всех них должны быть открыты двери настежь и каждому должны быть обеспечены те же права на Россию, как и коренному русскому народу, строившему Империю. Отсюда вопли: долой черту оседлости! Долой ограничения не только для русских, но и для американских жидов, пролезающих в Россию! Раз все люди братья, то обрезанный брат, прикочевавший из Египта, вправе захватить у вас всю хлебную торговлю, все банки и биржи, всю промышленность, все свободные профессии, высшую школу, печать, театры, собрания и корпорации — словом, все, что плохо лежит. Всякий

гость с улицы и даже целая ватага гостей вправе забраться к вам в гостиную, в столовую, в спальню, кладовую и разделить с вами все прелести семейной жизни... Этот якобы гуманный, а в сущности, пошло-сентиментальный взгляд имеет множество сторонников среди слабоголовой части человечества — но не нужно много времени, чтобы выяснился весь опасный его идиотизм. Чуть-чуть является больше еврейских, китайских или вообще чужеземных паразитов, и организм даже богатырских народов, каковы французы, англичане и североамериканцы, бьется точно в лихорадке. Естественно, что инородческие погромы идут с низов народных: воспаление общественного организма идет прежде всего в этих тканях, ибо именно они всего более обнажены для паразитного жала. Только бездушные тупицы могут кричать о справедливости того порядка вещей, когда всем предоставлена свободная конкуренция — и своим, и чужим, и близким, и далеким. По либеральному взгляду подобных тупиц, если на глазах матери свинья начинает глодать ее младенца, мать не имеет права отогнать свинью, ибо она тоже ведь кушать хочет и тоже создание Божие, свободное и равноправное. Инстинкт самосохранения в народе протестует против подобного сумасшествия, и если мечтательные правительства забывают долг свой и не вмешиваются в защиту расы, то раса прибегает к первобытным средствам обороны. Племенные погромы в культурнейших странах показывают, что расовый вопрос вовсе не так прост и не так безопасен, как думают либеральные доктринеры. Преследование негров в Америке подтверждает, что даже там, где инородцы не вносят никакой эксплуатации местного населения, а пребывают в полурабском состоянии, — даже там присутствие их становится нестерпимым. И это не каприз господствующей расы, а голос крови, то есть хоть и смутной, но острой органической потребности.

Негр ненавистен американцу уже тем, что он негр. Китаец противен не чем иным, как лишь своим китаизмом: желтой кожей, косыми глазами, запахом, манерами. Сколько бы арийские народы ни притворялись терпимыми, каждый искренний человек скажет вместе с Львом Толстым: «В присутствии еврея я всегда чувствую себя хуже» — совершенно безразлично, хороший это еврей или дурной. Сентиментальные либералы, кончая тем же Толстым, в течение нескольких столетий проповедуют космополитизм и национальное безразличие, однако природа берет свое. Чувствительная проповедь, не сообразованная с законами естества, повела как раз к обратному результату. Пока не было расового перемешивания, не было и слишком острой расовой вражды. Заезжие евреи, китайцы, негры встречались как заморские звери, они вызывали всегда удив-

ление и скорее симпатию, чем вражду. Пока держалась древняя исключительность и иноземцы считались иноземцами, они казались даже желанными гостями. За ними ухаживали, оказывали покровительство. В качестве временных, на короткий срок гостей иностранцы считались полезными: обмен товаров и идей до известной степени необходим. Расовая и экономическая вражда началась с тех пор, как возобладал либеральный принцип и когда двери между нациями распахнулись настежь. Теперь все видят, что миллионы евреев и китайцев совсем не то, что десяток или сотня заезжих людей этих рас, и 10 процентов негров не то, что 1 процент. Кроме экономической опасности, господствующие народы чувствуют просто *физиологическую* опасность покушения на чистоту своей расы, на плоть и кровь свою, понимая, что в особенностях крови все могущество народа. В диких на вид погромах и манифестациях обнаруживается протест *естественной* чистоты расы против противоестественного смешения их. Помесь высших пород с низшими всегда роняет высшие. Библия говорит, что когда пошло смешение различных рас, то «всякая плоть извратила путь свой на земле. Земля сделалась растленной, и раскаялся Господь, что создал человека, и послал потоп всемирный»...

НУЖЕН СИЛЬНЫЙ

8 сентября

Необходимо сделать так, чтобы *1 сентября* г-да революционеры так же ошиблись, как тридцать лет назад они ошиблись *1 марта*. Конечно, параллель между цареубийством и правителеубийством не может быть проведена в точности, но обе трагедии должны быть сопоставлены, чтобы выяснить одной другую. За Столыпиным охотились более пяти лет, начиная со взрыва дачи на Аптекарском острове. За Государем Александром II тоже охотились в течение ряда лет, взрывали Зимний дворец, взрывали поезд, стреляли на улице и т. д. *В обоих случаях являлось слабостью уже то, что была допущена такая охота.* Из истории террора тридцать лет назад, напечатанной хотя бы г-ном Глинским, вы видите, до чего незначительной и морально, и материально была кучка злодеев, осаждавшая тысячелетний трон России: озлобленные еврейчики, полячки да русские недоучки-нигилисты из низших классов. Все это в качестве особой

пряности было посыпано несколькими аристократическими фамилиями из неврастеников и вырожденцев, увлеченных, очевидно, не столько сутью подпольной борьбы, сколько мрачным романтизмом ее. Бессилие всей этой жестокой кучки поразительно. Нельзя же, в самом деле, считать Герострата богатырем за то только, что он сжег храм Дианы: это мог бы сделать и сумасшедший, и ребенок. Просто за храмом Дианы плохо смотрели, сторожей не было на месте. Вторая изумительная черта истории террора 1881 года — это крайняя слабость государственной охраны, слабость — прямо первобытная — ее организации, почти детская неподготовленность к борьбе даже с подпольем. Тогдашняя эпоха только что вышла из патриархальной крепостной, когда стояла тишь да гладь, когда перед каждым штатским в кокарде издалека ломали шапки и крестьяне, и мещане, и купцы, и даже духовенство. Ведь еще при Николае I царская семья ужинала в нижнем этаже дворца, а народ заглядывал в открытые окна. Когда на такую идиллию свалились нигилисты, Каракозовы и Желябовы, благодушня власть никак не могла понять явления и приспособиться к нему. Надо сказать, что правительственная агентура всякого рода — от дипломатической до полицейской — всегда была в России крайне слабой. Как в последнюю войну у японцев была идеальная разведка, а у нас отвратительная, так и в борьбе с революцией. В эпоху Александра II бунтовщики всякого рода имели шпионов даже в царском дворце. Они снимали копии с наисекретнейших документов, они клали на царский стол революционные издания, они знали маршруты царских выездов, а охрана не знала, например, что за рабочие копаются в подвале Зимнего дворца. Тогда (как, впрочем, и теперь) единственным стремлением охраняющего чиновничества было выслужиться, отличиться, и потому неосведомленность свою полиция выдавала за благополучие. На другой день после покушения уже делали вид, что наконец, слава Богу, началось «успокоение». Не замечая, что делается под носом, искренно считали, что все преступники уже переловлены и Государь смело может гулять по улицам или ехать в манеж. Оценивая все известное в катастрофе 1 марта, теперь уже слишком ясно, что *крайней неосторожностью было со стороны Государя-Освободителя выезжать в те тревожные дни.* Несколько недель — или даже несколько дней бережения («береженого Бог бережет») — и гнусное злодеяние не удалось бы.

Не те ли же мысли вызывает и злодейство 1 сентября? Тяжело над незакрытым гробом говорить упреки мученику, отдавшему жизнь за Россию, но как не сказать, насколько лучше было бы, если бы он сохранил эту дорогую жизнь для России! И он мог бы это

сделать, если бы не был столь благородно-доверчив, если бы не верил в «успокоение», которое далеко еще не наступило. В последние годы слишком бросалось в глаза некоторое бравирование опасностью со стороны П. А. Столыпина. Он свободно выезжал в заранее всем известные дни в Таврический дворец, в Царское Село и т. п. Поднимался на аэроплане, ездил без особой охраны в имение, на восток России и пр. Вообще, состоять под усиленной охраной, надо думать, очень стеснительно, и первому после Монарха лицу в Империи трудно было совсем отказаться от публичного «представительства», но многие церемонии и парады все-таки не требовали его присутствия, как и тот спектакль в киевском театре, где он нашел свою трагедию. Согласитесь, что *крайней необходимости* в присутствии П. А. Столыпина на этом спектакле, как и во всей его поездке на юг, не было. Открытие памятников и мощей святых составляет в каждом случае местное торжество, как и юбилеи разных учебных заведений и смотры потешных. Россия так громадна, что министрам — в особенности старшему из министров — не разорваться на все праздники, в особенности если вспомнить, как безмерно много у них будничной, самой неотложной и ответственной работы. Если не театр, то другие многочисленные манифестации ставили П. А. Столыпина, *уже приговоренного к смерти* (и даже не одной революционной организацией), в *опасное положение* среди уличной толпы, и напрашиваться на опасность ощутительной необходимости не было. Вспомните, как древняя наша власть, строившая Империю, жила среди народа: в высоком Кремле Московском, за могучими стенами, за неприступными башнями, в грозной недосягаемости для внешних и для внутренних врагов. Это было принято не у нас только, а везде в свете, от старого Лондона до Пекина. В последние века верховная власть всюду сошла с высоты каменных замков; державные дворцы затерялись среди купеческих домов, но, может быть, в связи с этим умалилось и величие власти, постепенно как бы растворяющейся в демократии. Сравняйся некогда Олимп с землей, боги его тем самым были бы развенчаны в народном воображении.

В свое время я писал, как неосторожно было со стороны Плеве, уже приговоренного к смерти революционерами, делать свои еженедельные поездки с докладами в Петергоф и насколько проще ему было поселиться в Петергофе, под общей охраной; но ту же неосторожность повторил и благородный Столыпин. Не хочется уж и говорить о чудовищной неосмотрительности киевской охраны, допустившей, вопреки циркуляру, крайне подозрительного еврейчика с революционным прошлым в театр, куда не могли попасть многие предводители дворянства.

После истории с Азефом надо было понять, что это имя не

собственное, а нарицательное, и его надо писать с маленькой буквы: «азеф». Это преступный тип, которого специальная польза, подобно цианистому калию, граничит с смертельной опасностью. Теперь всю беду валят на стрелочника, на какого-то Кулябку, но ведь и над Кулябкой было начальство, кончая П. А. Столыпиным, — начальство, которому не грех было бы заглянуть собственными глазами в механизм киевской охраны. Доверие с целой лестницей передоверий, во всем благородное доверие! Прекрасная, чисто дворянская черта, но в итоге ее вместо полного сил богатыря власти мы имеем холодный труп его на столе.

Богатырь власти... Был ли Столыпин действительно богатырем? Что он был рыцарем без страха и упрека — об этом что же распространяться, это общепризнано. Даже полгода назад, в эпизоде с г-дами Дурново[1] и Треповым[2], ни у кого не было даже и тени подозрения в личном характере разразившихся политических репрессий. Может быть, Столыпин и ошибался, но уж конечно *всегда добросовестно.* Но был ли он действительным титаном власти, каким хотелось бы его видеть и в каком нуждается Россия? Я думаю, нет, и это для меня лично было одно из серьезнейших политических огорчений. Глубоко уважая Столыпина и восхищаясь множеством редких его качеств, я все время оставался в числе несколько неудовлетворенных, иногда даже недовольных этим государственным человеком. Такое было мое впечатление, обывателя из толпы. Недовольство мое благородным деятелем всегда сводилось именно к ощущению, что он недостаточно силен. Политически, мне кажется, он был тем же, чем физически. По наружности — богатырь, высокий, мощный, красивый, свежий, — а на вскрытии у него оказалось совсем больное сердце, склероз, ожирение, и порок клапана, и Брайгова болезнь в почках, и следы плеврита. «С таким сердцем можно было жить, но нельзя работать», — говорят врачи.

По политической наружности Столыпин был человек мужественный, непреклонный, неспособный к сдаче, но, пристально по обязанности публициста следя за его политикой, я чувствовал часто ничем не объяснимую его доверчивость, непонятную нерешительность, причем множество драгоценного времени упускалось невозвратно. После адского покушения на Аптекарском острове, кажется, уже ясно было, с какой силой Столыпин борется. Но и тут его связывали странные колебания. Арестовываемые злодеи, покушавшиеся на его жизнь, щадились, надзор за ними был так плох, что они один за другим бежали с каторги. Симулируя сумасшествие, бежала Рагозинникова, впоследствии убившая начальника тюремного управления Максимовского. Бежала из Якутской области ев-

рейка Роза Рабинович, бежала оттуда же еврейка Лея Лапина, избежала ареста еврейка Фейга Элькина и т. д. Перечитайте ужасную летопись покушений и заговоров на жизнь Столыпина, напечатанную вчера в «Новом времени». Возмущенное русское общество не один раз требовало диктатуры, и даже сам Столыпин в одной из речей соглашался, что к диктатуре прибегнуть придется, но на слишком крутую борьбу у него не хватало сил. Не в осуждение говорится это убитому страдальцу — он поистине все отдал Родине, включая жизнь свою, — но к числу коренных и глубоких причин его гибели следует отнести недостаток в нем тех грозных свойств, которые необходимы для победы. Революция общими силами России была разгромлена, но что касается власти, то последняя не совсем доделала свое дело. Царство русское было почищено от крамолы, но не совсем вычищено. Оставлено было без серьезного основания слишком много бродильных начал, как бы на семена, — и брожение непременно должно было вспыхнуть снова при первых благоприятных условиях. Судя по дневникам покойного Шванебаха[3], Столыпин проявил много нерешительности в эпоху второй Думы. Роспуск последней принадлежал не его инициативе, как впоследствии увольнение в отставку кадетствующего министра и товарища министра в ведомстве просвещения. Нерешительность премьер-министра сказалась в недостаточно глубоком пересмотре избирательного закона и в той странной терпимости, с которой власть смотрит на присутствие в Государственной Думе официальных сообщников преступных партий. Кадеты и кадетоиды выборгского типа почти не преследовались. В течение пяти лет велась, конечно, борьба с революционным лагерем, но излишне мягкая, не наносившая ему разгрома. Жидокадетская печать, основная сила революционного возбуждения, была оставлена в неприкосновенности. Долго терпелась и осталась почти нетронутой анархия высших школ. Совсем осталась неприкосновенной анархия деревни. Реформа полиции, предмет первой необходимости, до сих пор еще находится in spe (в будущем. — *Ред.*). Нетронутой осталась и гибельная по своей ошибочности система административной ссылки, служащая организованной на казенный счет пропагандой революции. С виду поддерживались кое-какие ограничения евреев, но в действительности черта оседлости при Столыпине сделалась фикцией, и никогда еще паразитное племя не делало таких ужасных завоеваний в России, как в министерство Петра Аркадьевича.

И отблагодарили же г-да евреи либерального министра! Я простой обыватель и не несу никакой ответственности за ход вещей, но когда меня приглашали в Киев на тамошние торжества, мне пока-

залось просто *стыдно* туда явиться. Только что убит был в Киеве христианский мальчик Ющинский, и, как мне передавало одно высокоосведомленное лицо, все улики сводились к тому, что убийство было ритуальное. Целыми месяцами длилось расследование, причем обнаружены преступные попытки замять дело; дождались наконец того, что один за другим подозрительно скончались двое детей, знавших Андрюшу Ющинского, и все следы были заметены. Названное высокоосведомленное лицо мне передавало, что в Киеве боятся еврейского погрома и из всех сил стараются замять дело, чтобы не омрачить предполагавшихся празднеств по случаю открытия памятника. Не верить этому сообщению я не могу, и вот одна уже мысль, что мне придется в роли хотя бы простого русского обывателя принять участие в празднествах в том самом городе, где вопиет к небу неотмщенная кровь христианских детей, — одна эта мысль заставляла меня краснеть. Осуждая еврейские погромы, в душе своей я с той же силой осуждал нерешительность власти, неспособной и даже как будто не желающей раскрыть еврейское преступление. Когда я услышал о злодейском выстреле в Столыпина, мне по странной ассоциации представился бледный образ христианского мальчика, из которого была выточена кровь вся, до капли. Горе государственности, отказывающейся от своего долга! Преступление обоюдоостро: не остановленное внизу, оно поднимает свое жало кверху. Будучи сам человеком высокой чистоты, Столыпин, по-видимому, плохо понимал психологию всего преступного и слишком медлил в борьбе с преступностью. Он забывал иногда, что государственный меч должен подобно молнии разить без колебаний и послаблений. В общем, Столыпин мне казался хорошим артистом, но не справившимся с своей громадной ролью. Уже в прошлом году революционное брожение начало вновь поднимать голову (похороны Муромцева, поминки Балмашева и беспорядки в высших школах и пр.). Поставленные довольно робко национальные вопросы Столыпин, подобно Сизифу, докатив доверху, выпускал из рук (например, финляндский вопрос). Почти все время он нравственно преобладал над парламентом, но полгода назад обнаружилось довольно острое столкновение с обеими законодательными палатами, и из него Столыпин не вышел победителем. Постепенно правея — от левого октябризма к правому национализму, — Столыпин, к чести его, оставался твердым сторонником конституции, но понимал ее, судя по эпизоду с морскими штатами, более широко, чем националисты. Мартовские события показали, что и здесь твердость большого государственного темперамента иногда покидает Столыпина. Совершенно неизвестно, какую эволюцию пережил

бы этот быстро правевший конституционалист — может быть, из него выработался бы «наш Бисмарк», — но я лично, признаюсь, мало питал на это надежды. Великие характеры не делаются, а рождаются. П. А. Столыпин едва ли сделался бы железным князем, ибо он родился, как мне кажется, скорее маркизом Позой. Он был слишком культурен и мягок для металлических импульсов сильной власти.

В этом отношении П. А. Столыпин, мне кажется, напоминал великодушного Императора, погибшего от злодейской бомбы. Александра II тоже нельзя было упрекнуть в недостатке благородства и искреннего либерализма, но и ему великие государственные задачи не удались. Обладая чрезмерным могуществом, он не приводил его в достаточное действие. В национальном вопросе (например, в двух войнах с турками) он отступал раньше времени и не делал того *последнего* магического усилия, которому обыкновенно принадлежит победа. В борьбе с революцией, вышедшей отчасти из его же освободительных реформ, Император Александр II не был достаточно последователен и настойчив. Он был слишком великодушен. Вместе с поколением, воспитанным в сентиментальный век, Александр II как бы боялся своей власти и все время старался обойтись без нее. Он имел и великих полководцев (в лице Скобелева и Черняева[4]), и великих диктаторов (в лице, например, Муравьева Виленского)[5], но воля его, связанная либерализмом, была бессильна, чтобы пустить их в ход. Крылья державного орла были могучи, но не делали взмаха. В результате Россия потеряла Ближний Восток и Финляндию (именно тогда она была потеряна) и нажила огромное, все растущее полчище полуинородческой интеллигенции, открыто враждебное государственности нашей и национальности. Слишком слабо борясь со смутой, благородный Царь дал ей время разрастись в опасное движение, увенчанное его мученической кончиной.

Что нам теперь нужно? Повторяю, нужно сделать так, чтобы черный день 1 сентября оказался таким же провалом для революции, каким был черный день 1 марта. Тогда бунтари плохо рассчитали по пальцам: вместо нерешительного и мягкодушного монарха на троне появилась колоссальная фигура Александра III; вместо умаления власти вышло грозное ее возвеличение, и смута отступила. Необходимо, чтобы нечто подобное в низшей сфере власти — на уровне исполнительного правительства — чувствовалось бы и теперь. Нужен человек, может быть, менее, чем Столыпин, увлекательного благородства духа, но большей *силы*. Такие на верхах власти есть. Лучше было бы не спешить с замещением премьер-министра, но выбрать его «на страх врагам».

РАЗБИТЫЙ КРЕСТ

10 сентября

Много таинственных, почти чудесных сопоставлений напрашивается в том убийстве, которое оплакивает теперь Россия. Это не просто смерть, а по воле рока, окруженная глубоко драматическими особенностями. Пуля еврея, направленная в «спасителя России» (каким часто звали Столыпина), попала прежде всего в крест Христов, в крест имени святого Владимира, сделавшего Россию христианской. Судьба как бы хотела подчеркнуть этим действительную цель ополчившегося на Россию христоненавистнического племени. Не в Столыпине вовсе тут дело, а в крещеной Руси, на страже которой он стоял. Еврейская пуля ранила крест Христов и омыла его еще раз христианской кровью. Не совершилось чуда — крест не спас от смерти крестоносца, но ведь и Христу крест дан был не для защиты от смерти, а именно для страданий смертных. Если не распятый на кресте, то убитый под крестом Столыпин как мученик встретил смерть свою за Россию. То, что это был крест не другого ордена, а именно святого Владимира, и то, что злодейство совершено в городе, где крестилась Русь, дает мистическое сближение наших мрачных дней с восходящей зарей истории. И тогда, более тысячи лет назад, христианство находилось в тяжкой борьбе с ненавидящим его отрицанием. И тогда жиды («козарстии») приходили к Владимиру и навязывали ему свою веру. Как Рюрикович по матери (и, вероятно, по некоторым другим предкам), Столыпин принадлежал к потомству святого Владимира. Он пролил кровь свою за Престол и Родину на той самой почве, которую приходилось отстаивать от нехристей еще святой Ольге, бабке Владимира, той самой Ольге, на открытие первого памятника которой приехал Столыпин. Может быть, смутной памятью рода, вместившего в себе всю русскую историю, объясняется предсмертное желание Столыпина быть похороненным в Киеве; пожалуй, это наилучшее для него место — на лоне «матери городов русских», в том стольном городе, где царствовали его предки. Немало родственных Столыпину древних великокняжеских и богатырских костей хранит в себе святая почва, где он сложил свои кости!..

История, как жизнь, повторяется. И тысячу лет назад святая Русь нуждалась в богатырской заставе, и теперь нуждается. В сущности, те же враждебные племена, что тогда терзали Русь, терзают ее и теперь. Та же «чудь белоглазая» в лице финно-шведского «госу-

дарства», что собственными руками мы создали под Петербургом. Те же половцы и печенеги в лице кавказских разбойников. Та же жидовская казария в лице многомиллионной паразитной расы. Если бы один из предков Столыпина не сокрушил древнего казарского царства, не было бы и теперешней России, но сокрушил он его, очевидно, не совсем. Подобно тому как евреи накликали нашествие мавров на Испанию — кто знает, не разбитые ли казары накликали в виде мести нашествие всевозможных кочевников на Киевскую Русь? В наши годы евреи всего света накликают на Россию вражду народов и уже успели (через еврейскую печать в Америке) вызвать японское нашествие. Что *тогда* было, то и *теперь*. И тогда объединенная потомством святой Ольги русская народность едва не погибла от раздела власти, от княжеских междоусобий — и теперь она изнемогает от раздора партий, от отсутствия истинного единодержавия, которое есть не что иное, как единодушие народное. Как семьсот лет назад политическим дроблением России воспользовались кочевые азиаты, так пользуются подобным же дроблением и палестинские номады. Тогда было нашествие Азии с Востока, теперь нашествие Азии с Запада. Тогда было военное, героическое нашествие, подобное вихрю, который недолго длится, — теперь мирное, ползучее, проникающее все ткани общества, но потому именно неизмеримо более опасное. Все повторяется, хотя бы в несколько иных формах. Сознательная Россия должна всегда помнить древнее притязание Азии владеть нами. Киевский выстрел, заставивший с острой болью вздрогнуть каждое русское сердце, говорит многое. Он говорит, что великая борьба за Россию идет, что если мы, беспечные, ее часто не замечаем, то азиатский наплыв идет днем и ночью и подмывает собою самые устои нашего царства.

Столыпин был потомок святой Ольги, и немудрено, что душа его горела любовью к России. Но кто такой Мордка Богров? Потомок ли он казарских жидов или испанских — во всяком случае, это последний представитель отверженного племени, паразитствующего в России. Подумайте об одном только: через долгие века внедрения в Россию его предков Мордка остается Мордкой, несмотря на все щелочи и кислоты, в которых переваривала его славянская утроба. Уже дед Богрова, если верить газетам, принял христианство, но отец отпал в юдаизм. Пишут, будто бы Мордка Богров — прямой потомок того писателя-еврея, который лет 40—50 назад печатал в «Отечественных записках» известные «Записки еврея». Если так, то чуть не полвека назад семья Мордки казалась обрусевшей до того, что приняла язык русский, культуру русскую, веру русскую

и казалась даже слившейся с Россией. Ничуть не бывало — следующее поколение вновь и неудержимо потянуло в юдаизм. Я знавал в Петербурге симпатичных, давно крестившихся евреев, дослужившихся до генеральских чинов, старавшихся совсем забыть свое происхождение. Но дети их, уже родившиеся в христианстве, бывали оскорблены этим, тосковали по юдиазму и если не принимали обрезание, то все-таки душой и телом примыкали к борьбе с христианской государственностью. Наши «чисто русские» юдофилы, с русскими фамилиями и даже с русскими физиономиями, иногда ратующие за отверженное племя горячее самых жидов, — кто, собственно, они такие? В их безумном обожании еврейства не говорит ли вспыхнувшая искра сирийской крови? Знаменитый историк Соловьев, попович по происхождению, не любил евреев, как это свойственно всем арийцам. Но некоторые дети его (особенно знаменитый Владимир) были горячими юдофилами. Не польской ли (то есть отчасти еврейской) кровью матери объяснялось не только юдофильство Владимира Соловьева, но и его чисто сирийская красота в молодости?

Возвращаясь к Мордке Богрову, прошу заметить, что ни русская культура, ни христианская гимназия, ни христианский университет, ни знание нескольких христианских языков, ни полноправие с русскими христианами не вытравили в нем еврейской души. Он давно уже никем не был гоним, никакой черты оседлости не знал, давно был равноправен и богат и все-таки ненавидел русское государство *по-еврейски*. Есть, конечно, и чистокровные русские ненавистники государства, но русских «азефов», кажется, до сих пор не было. Мордка Богров непременно берет на себя роль фальсификатора, роль Иуды. Ведь и тот предатель, который погубил Христа, сначала фальсифицировал в себе Его апостола. Стало быть, в лице Мордки Богрова мы имеем основание видеть не только обыкновенного государственного преступника, но и тот вечный тип, который Тацит называл «всесветным врагом».

В те минуты, когда пишутся эти строки, замученный евреем глава русского правительства опускается в могилу. Говорю «замученный», ибо, не говоря о пятилетней истории покушений, начиная со взрыва министерской дачи и изувечения его детей, Столыпин умер, как оказывается, после тяжких физических страданий от пули, развороти вшей печень. Судьба не послала нашему вождю, как Цезарю, «наилучшей смерти — неожиданной»: в течение ряда лет он каждый день свой встречал как последний день и смерть принял как бы после четырехдневной пытки. Естественное чувство народное подсказывает *месть* злодеям, но *«в политике нет мести, а*

есть последствия», как учил Столыпин. Трудно удержать глубоко раненное чувство справедливости и народной гордости: ведь, расстреливая крест Христов на груди носителя креста, посягая на главу правительства, которому Государем была вручена судьба России, молодой еврейчик бросал вызов народному величеству, оскорблял всю нацию. Трудно, повторяю, удержаться от грозной мести, но, уважая память государственного мученика, откажемся от всех возмездий, хотя бы справедливых. Закон укажет преступнику его место после столь чудовищного злодеяния, и пусть этим всякая месть будет погашена. Но из священного уважения к душе погибшего не забудем о необходимых *последствиях* преступления. Они необходимы психологически, нравственно и политически. Если вор обокрал вашу квартиру и посажен за это в тюрьму, то тюрьмой, конечно, не исчерпываются все последствия грабежа. Ясно, что за квартирой необходим лучший надзор, лучшие запоры и т. п. Одному из многих евреев, покушавшихся украсть у России наиболее выдающегося государственного человека, наконец удалось это. Столыпин похищен у нас и спрятан туда, откуда нет возврата. Вне всякой мести, мне кажется, необходимо усилить надзор над Россией и вновь осмотреть запоры. Орудующей гигантской шайке, экспроприирующей всеми способами все, чем Россия была могуча, должен быть положен предел. У нас, у потомства великого народа, отнимают постепенно все виды труда народного, все капиталы, земли, промышленность, торговлю, свободные профессии, школу, литературу, печать, искусство. Нас делают неоплатными должниками иностранных евреев в качестве плательщиков все растущего государственного долга. У нас постепенно путем внушений и подлогов отнимают древнее, нажитое тысячелетием христианства миросозерцание. У нас системой нравственного соблазна и террора отнимают веру и патриотизм, отнимают совесть и здравый смысл. Наконец, систематическими убийствами отнимают лучших людей России, наиболее отважных ее вождей. Мне кажется, дольше нельзя медлить с обороной. Россия находится в серьезной опасности со стороны еврейства, в гораздо большей опасности, чем любая страна в Европе, ибо она имела несчастье, захватив Польшу, унаследовать и всю ее еврейскую проказу.

В чем должна состоять русская оборона? В общем и стихийном отпоре еврейскому племени, хотя бы совершенно мирном. Правительство наше должно же наконец убедиться, что евреи с ним соперничают и по всем направлениям посягают на чисто правительственную роль. Не только посягают, но и реальнейшим образом побеждают русскую власть, отнимая у нее одну область авторитета за другой. Правительство, например, хотело бы держать в своих

руках финансовую политику, но ее держат евреи. Правительство имеет кое-какое влияние на биржу — евреи имеют гораздо большее влияние. Правительство желало бы давать деньги взаймы евреям и дает иногда десятки миллионов без отдачи (дело Полякова), но в конце концов не евреи находятся в долгу у правительства, а оно у них. Правительство хотело бы повелевать в школе, в печати, в области общественного настроения, но повелевает не оно, а евреи. Хитрое племя оставляет нашим сановникам пышные звания и титулы, а себе отбирает втихомолку силу действительного влияния и даже силу *распоряжения*. Не сочтите последнее слово преувеличением. Захватив форум общества — печать, евреи сделались настоящими хозяевами либеральной партии, самой многочисленной в России и до сих пор самой влиятельной. Либералами радикально-еврейской марки, проще — жидокадетами переполнены все наши государственные и общественные учреждения. Невольные и вполне добросовестные (если это возможно) жидокадеты занимают нередко директорские, губернаторские, даже министерские посты: за последние пять лет перебывало у власти немалое число кадетских портфеледержателей. Возможно, что в скрытом состоянии они водятся среди правительства и теперь — огромную же силу их в законодательных палатах и в судебном ведомстве доказывать не приходится. Русские жидокадеты, завороженные ежедневным давлением еврейской печати (gutta cavat laridem*), являются медиумами еврейских внушений — вот почему (не в одной России) христианское правительство в самых разнообразных случаях поступает так, как если бы оно было еврейским правительством.

Мне кажется, в этом *национальная наша* опасность. Нельзя великому народу отказываться от элементарной необходимости иметь национальную власть. Это вовсе не прихоть и не роскошь — это требование глубоко биологическое, связанное с индивидуальностью нации. Только при национальной власти народ свободен, ибо сам владеет собой. Русский народ, член арийской семьи, слишком благороден, чтобы терпеть какое бы то ни было рабство, но ведь всякое подчинение *инородной* воле есть уже рабство. В века действительно национального правительства Россия ширилась и разрасталась в океане земли; даже жестокие формы быта, как тирания Грозного или извращения крепостного права, казались терпимыми, ибо были в стиле народной совести и воли. Только в последнее столетие правительство у нас теряет национальный характер; вместе с тем начинает сдавать державное величие нашей Империи. Я множество

* Капля камень точит (*лат.*).

раз писал, до какой степени вредно в национальном смысле переполнение нашей знати и интеллигенции плохо обрусевшими немцами, поляками, шведами, греками, французами, молдаванами, грузинами и пр., и пр., я доказывал, как в черные дни нашей истории народу трудно положиться на крепость духа вот такой разношерстной аристократии. Особенно опасны примеси тех инородцев, которые (как, например, поляки и шведы) исторически воспитаны во вражде к России. Но все перечисленные народцы все-таки арийцы и христиане, у них более или менее общая душа с нами и общая, созревшая в христианстве совесть. Что же сказать о проникновении к власти евреев, уроженцев чужого материка, низшей расы, зародышевая совесть которых со времен Христа воспитывается в ненависти к христианству? Поэтому евреи представляют собой в качестве властителей самое страшное для нас племя. Посмотрите, что сделалось благодаря жидомасонам с благородной Францией, которая еще полтораста лет назад считалась величайшей и культурнейшей из христианских наций!

Нашему правительству следует всемерно бороться за власть свою в России и восстановлять утраченные признаки народности. Подобную же власть следует отстаивать от евреев и обществу, ибо весьма значительная часть власти предоставлена культурному классу. И тут захваты паразитного народа до того ужасны, что подчас даже кажутся невероятными. Скоро дойдет до того, что в своей собственной стране, в век политической свободы русский человек потеряет право свободного мнения: и печатать, и говорить с кафедры он будет в состоянии только то, что угодно евреям. Скоро русскому человеку нельзя будет отдать своих детей в школу, не захваченную евреями или их прихвостнями. Скоро нельзя будет найти русского врача или русского адвоката, так как эти профессии сплошь захватываются евреями. Скоро нельзя будет послушать русской музыки или посмотреть русской драмы, так как и консерватория, и театральные школы уже превратились в еврейские местечки. Скоро трудно будет, как в западном крае, найти христианский магазин, фабрику, мастерскую без опасности еврейской фальсификации. Скоро нельзя будет, даже обладая талантом и энергией, получать трудовой кусок хлеба иначе как из рук жида. Доживем, может быть, до того, что и храмы наши, как в эпоху Тараса Бульбы, будут в еврейской аренде. Мне кажется, киевский зловещий выстрел должен пробудить непробудно дремлющее русское христианство. Он должен быть принят как сигнал к тревоге, к большой тревоге! Пора очнуться и трезво посмотреть на вещи. Какую судьбу мы готовим своему потомству, России будущего? Сами уже опутаны финансовой и куль-

турной зависимостью у евреев — неужели нам не стыдно готовить своих детей и внуков в рабы этому племени? А ведь дело к тому идет. Куда ни взгляните, высшая раса вытесняется низшей, потомство завоевателей — потомством отверженного народца, богатеющего и наглеющего с каждым днем.

Не надо мести, но нужен наконец отпор. Все колеблющиеся и чувствующие национальную опасность должны объединиться под знаменем национальных партий, которых уже много в России и которые все, при большом иногда разномыслии, единодушны в отношении евреев. Убитый мученик за русское государство, которого Россия сегодня хоронит, в последние годы склонялся к той национальной партии, которой я был одним из учредителей. Уже то было огромной заслугой П. А. Столыпина, что, будучи главою министерства, вслед за С. В. Рухловым он имел мужество признать наше национальное движение и войти в него. Именно это и было его крестной ношей, именно за это евреи его и замучили...

Не усторожившая жизнь твою, благородный страдалец, — пусть же Родина станет на страже у твоей могилы и, еще раз вспомнив твои заветы, уже не забудет их!

ЗАЩИТА ВЕРЫ

8 ноября

Решается вероисповедный вопрос. К чести нынешнего поколения русского общества, вера еще волнует умы и возбуждает страсти. О природе веры спорят — стало быть, этот священный огонь духа еще не погас. Но множество точек зрения на вероисповедный закон свидетельствует о грустном дроблении веры, а с нею и национального сознания. Если же всмотреться пристальнее в мотивы спорящих сторон, то вы почувствуете, что большинству дорога не столько сама вера, сколько услуги, оказываемые ею политике.

В борьбе находятся два принципа — свобода совести и господство православия. Один принцип опирается на манифесты недавних лет, выдвинутые так называемой революцией. Другой принцип опирается на древний закон, установленный одновременно с христианством и неотделимый от правоверия. Даже революционная волна не могла смыть тысячелетнего установления, и оно вошло в известную статью Основных Законов. Казалось бы, возможен ли после этого

серьезный спор? Он возможен уже потому, что в те же Основные Законы вошла и 67-я статья, обеспечивающая свободу веры. Очевидно, это одно из тех противоречий, которыми наспех составленные наши Основные Законы довольно-таки богаты. Очевидно, без существенного поражения того или иного принципа дело не обойдется.

Попробуем сформулировать возможно сжато нравственные основания обоих тезисов: *права* веры и, так сказать, *долга* веры. Свобода веры вытекает из основного представления о душе человеческой. Она — существо божественное, унаследовавшее одно из высших свойств Божиих — свободу воли. «Дух дышит, где хочет». Только искреннее — до страсти — признание чего-либо составляет веру. Всякая неискренность, вынужденность, приспособленность к тем или иным связывающим условиям составляет потерю веры, духовную смерть ее. Вера, подобно любви, абсолютна. Если нельзя предписать общего канона для любви — нельзя предписать и общего закона веры. Свобода веры, свобода любви, свобода понимания есть основное *право*, нераздельное с самоопределением, то есть с правом на духовную жизнь вообще. Всякое принуждение в этой области есть покушение на жизнь духа. Отсюда ясно требование свободы совести — религиозной, как и всякой иной (ибо может быть совесть научная, художественная, политическая и т. п.). Совесть, по существу, есть искренность, то есть свобода духа. Отвергая свободу совести, вы отвергаете саму совесть.

Нетрудно видеть, что понимаемая таким образом свобода духа граничит с его анархией. Такая свобода есть состояние, отрешенное от действительности, как если бы люди, ничем не связанные, даже плотью, обитали в области воображения. В действительности мы связаны в тысяче отношений своею плотью с плотью мира. Мы живем в реальной природе, господствующей над нами, и вся жизнь наша сплетена из условностей. Мы не обладаем ни одним правом, которое не влекло бы за собой обязанностей. Да, мы унаследовали свойство Божие — свободу духа, но в нас она не безгранична, а лишь весьма относительна. «Дух дышит, где хочет», но хотения определяются чаще всего возможностью. Тут, как в физическом мире, существуют абсолютные сопротивления и относительные. В деле веры, как всякого сознания, душа склоняется в сторону наименьшего сопротивления. Линий совести, линий наименьшего сопротивления может быть бесчисленное множество. Души вследствие этого могут сталкиваться в противоположных верованиях и больно ударять друг друга, они могут бороться, то есть испытывать раздор и ненависть. Вот естественное и совершенно неизбежное послед-

ствие анархии совести. Чтобы предотвратить наступление ада — ибо всеобщая ненависть и есть тот адский пламень, который жжет души грешников, — чтобы вернуть детей Божиих в состояние блаженства рая, который есть всеобщая любовь, мудрый Промысл, над народами бодрствующий, посылает Откровение, то есть общую истину, способную сосредоточить в своем русле возможно большее число свободных воль. Вера не тем только дорога, что она соединяет *человека* с Богом, а главное, тем, что она соединяет *человечество* с Богом, то есть через Него соединяет людей. В центре все радиусы находят общую жизнь и окончательный смысл, и только общий центр удерживает широкий круг отдельных индивидуальностей в некоторой неразрывной связи. Хороша в воображении полная свобода веры, но что касается воображения, то она ничем и не ограничена. В действительности же необходим *долг* веры, то есть ограничение свободы, необходимое для ее определения. Так как государство есть страж реальности и защитник прав при посредстве обязанностей, то оно должно добиваться вполне определенного состояния веры. Идеал же определенности — это когда вера *одна* и никаких ее извращений или отрицаний не допускается. Только такая вера есть духовная реальность, напоминающая душу в теле. Горе телу, душа которого раздроблена двоедушием или целым рядом спорящих между собою сознаний! В медицине есть такое сумасшествие, а религия считает подобное тело одержимым бесами. Горе народу, вера которого раздроблена на несколько отрицающих друг друга вер! Прямое следствие потери религиозного единодушия есть упадок духа вообще. Интерференция вер, как световых волн, погашает их и ведет к тому религиозному безразличию, которое завершает все эпохи веротерпимости. Пока католичество отстаивало единство веры, до тех пор в нем и держалась вера, и держалась с искренностью и пылкостью, теперь забытыми. Когда с возрождением язычества установилась свобода веры, последняя постепенно начала гаснуть и наконец на Западе теперь близка к полному исчезновению. Во Франции и Германии давно объявлена полная свобода совести. Казалось бы, тут бы и загореться пожару религиозного чувства, тут бы и расцвести всевозможным культам. На деле мы видим, что и древние величавые храмы средневековья пустуют, и отклонившиеся от католичества секты вырождаются. В благочестивой когда-то Германии уже миллионы граждан показывают себя на всеобщей переписи внеконфессиональными, то есть не имеющими никакой веры, дабы не платить специального налога на церковь и духовенство. Быстро растущий и охватывающий миллионы простонародья социализм в Германии тоже объявляет себя вне христианства. Во Франции, когда-то

гордой своею верой и счастливой ею, индифферентизм уже сменяется антирелигиозной реакцией и сама вера подвергается явному преследованию со стороны государства. А в Испании, когда-то доводившей обожание своего правоверия до трагической страсти, анархисты разрушают храмы и монастыри и предают мученической смерти монахов и монахинь. Вот последние результаты полной свободы совести, объявленной около ста лет назад.

Нашим законодателям нужно пристально всмотреться в эти результаты и спросить себя, хотят ли они того же самого для России. Пусть члены Государственного Совета искренно спросят себя: когда на Западе был больше обеспечен религиозный мир — теперь ли, с гонением на остатки веры, или прежде, когда вера гнала остатки неверия? А главное, когда было более обеспечено самое бытие веры как народного единодушия? И что им больше нравится: теперешний ли анархический раздор *во всем*, основанный на дележе прав, или древнее согласие в обществе, проникнутое идеей религиозного долга?

Неправда, будто свобода совести у нас введена только в 1905 году. Она введена Петром Великим, предоставившим — не спросясь ни земского собора, ни духовного собора — равноправие всем вероисповеданиям. Хотя Православная Церковь продолжала считаться господствующей, но ведь это было только на бумаге. У господствующей Церкви отменили — в лице патриарха — ее единоначалие, чего не делали ни с лютеранами, ни с католиками. Папа римский не отменен. У «господствующей» Церкви отнимали обширные имущества, завещанные благочестием предков, чего не делали ни с лютеранами, ни с католиками. У «господствующей» Церкви назначали в Синод обер-прокурорами кавалерийских штаб-офицеров, чего не делали ни с какими иноверцами. За несогласие в церковных вопросах митрополитов сажали в кандалы, а провинившихся священников секли кнутом, чего не делали ни с пасторами, ни с ксендзами.

Прочитайте интересные отрывки из жизни нашей иерархии Е. Н. Погожева (Поселянина) — сердце щемит от ужасной тирании, которой подвергалось православное духовенство в эпоху бироновщины; последняя для Церкви не окончилась со смертью Бирона. В чем же, спрашивается, «господствование» Православной Церкви? В том ли, что православное духовенство было чуть не сравнено в правах с податными классами и обречено на христарадничество среди крестьянства, в каковом христарадничестве оно и выродилось до теперешнего бегства из своего сословия и семинарских бунтов? Говорят: православию была до сих пор разрешена пропаганда веры, инославию — нет. Неправда! Проповеди православных священников

подвергались и, может быть, до сих пор подвергаются самой суровой цензуре, тогда как и ксендзы, и пасторы, и муллы, и раввины говорят в своих молитвенных домах все, что им вздумается. В том ли, наконец, выражается «господствование» Православной Церкви, что она не имеет возможности созвать собор, тогда как такие же церковные соборы разрешаются раскольникам, баптистам, армянам, лютеранам, евреям? Смешно читать лживые, будто либеральные речи о насилии православия над иноверием, о «господстве» православия в России. Уже двести лет не существует этого господства, а напротив — Православная Церковь была бы рада-радешенька, если бы ей предоставили те привилегии, какими пользуются фактически исповедания, признаваемые ересями. Позвольте нам, как католикам или армянам, иметь своего патриарха. Позвольте иметь, как раскольникам или евреям, право церковных соборов: ведь Церковь наша именуется апостольской и соборной. Разрешите, как лютеранам, церковный приход. Разрешите нашим священникам свободу проповеди. Не отнимайте церковных земель и капиталов — словом, уравняйте нас с еретическими и даже языческими церквами, и этого уже будет довольно! Даже языческое (ламаистское) вероисповедание обеспечено в России такой автономией и таким покровительством казны, которым православное духовенство искренно завидует.

С интересом я прочел сильные речи обоих архиепископов в Государственном Совете. Хорошо, если бы наше правительство вдумчиво отнеслось к этому голосу иерархов — в нем звучит скрытое отчаяние за Церковь. Архиепископ Варшавский Николай[1] утверждает, что касающиеся Церкви прежние законопроекты «были очень оскорбительны для чувств православного христианина», а некоторые статьи последнего законопроекта «прямо возмутительны». «Какая конечная цель законопроекта? — спрашивает архипастырь. — Говорят: утверждение мира и спокойствия. Но так ли это? И теперь уже мы видим вместо мира вражду, озлобление и раздоры между людьми». Истинная правда! Честный либерал в душе, покойный Столыпин отстаивал религиозное равноправие, не замечая, что на и без того униженную родную Церковь он тем предоставляет право открытой атаки. И эта атака со стороны всевозможных сект и иноверий уже началась, атака стремительная, часто похожая на погром. Слишком поздно склонившийся к национализму Столыпин, мне кажется, не обладал окончательным пониманием этого учения. Подобно многим октябристам, покойный премьер-министр хотел и капитал национальности приобрести, и невинность либеральных доктрин соблюсти. Но эти вещи в корне несовместимы. Национа-

лизм, понимаемый в его глубокой сущности, допускает всякое равноправие, но лишь вне своей черты, и никакого равноправия — внутри нее. За границей какая бы ни была вера, язык, закон, национальность — мы признаем за ними те же достоинства для их стран, какие признаем за своей верой, языком, законом и национальностью для нас самих. Но внутри России мы искренно не можем допустить подобного равноправия. Тут другое тело народное и, значит, другая должна быть душа, именно — *наша* душа и только наша. Вера в Бога глубже человеческого языка, но что вы сказали бы, если бы объявлено было полное равноправие всех языков в черте государства? Вы признали бы это требование нелепостью. Конечно, каждый человек свободен думать и говорить на каком угодно языке, нанимать себе учителей любого языка, но в публичной и государственной жизни необходим один язык, устанавливающий общее понимание. Этому языку должно быть предоставлено господство в законодательстве, суде, администрации, школе, науке, армии, во всех общественных учреждениях, иначе сложится постепенно столпотворение вавилонское и разброд «языков». Или что вы сказали бы, если бы было объявлено равноправие национальностей и законодательств, то есть уважена была бы претензия иностранцев в России жить по их собственным законам? Вы сказали бы: ведите себя дома как вам угодно, считайте себя равными или даже высшими нас существами, но как только вы приходите в прикосновение с нашими порядками жизни, вы обязаны им подчиняться. В одной стране должна господствовать одна национальность и один закон. Иначе опять дело поведет к хаосу и раздору, между тем высшая цель нации — мир.

Безусловно, той же природы и вера как религиозная совесть. Она совершенно свободна, пока не выходит из границ личного употребления. Верьте во что хотите и как хотите. Но если ваша вера вступает в общество как действующая сила, то она не должна приходить во враждебные отношения с господствующей верой, исповедуемой большинством народным. Государство есть утверждение господства нации; следовательно, долг государства требует отстаивать и единство веры, как единство языка, закона и национальности. Я совершенно не согласен с отправной мыслью архиепископа Николая, будто «историческая задача России и русского правительства, гражданского и церковного, состоит в том, чтобы обрусить все нерусское и оправославить все неправославное». Эта задача, конечно, достигалась в некоторой, очень слабой степени, но достигалась попутно и никогда не ставилась сознательно. Обрусительные способности русского племени — чистейший миф. Утверждают, будто

Россия ассимилировала и оправославила великое множество финских, тюркских и других инородческих племен, но ведь это решительно ничем не доказано. Финские племена и тысячу лет назад, как теперь, были крайне немногочисленны. По свидетельству летописей, русские колонисты «вырубали чудь белоглазую», то есть начисто истребляли враждебные племена или заставляли их отступать в глубь болот и лесов. Покоренные племена были облагаемы разорительной данью и вырождались от тяжкого ига и от тяжкой борьбы с природой. Если до сих пор на всем северо-востоке России еще вкраплены остатки тюрко-финских племен, то это доказательство не сильной способности ассимилировать, а очень слабой. Естественное обрусение в древности шло не сильнее теперешнего, а посмотрите, как плохо соединяются с нами и финны, и татары, и латыши, и кавказские горцы. Они, подобно полудикарям цветных материков, предпочитают вымирать под влиянием высшей расы. Нужно ли говорить, до чего слабо шло оправославление тех же инородцев? Не православие завоевывает ислам, а скорее напротив. Мы за сотни лет не успели охристианить даже язычников наших, каковы калмыки, буряты и т. п. Задача обрусить все нерусское и оправославить все неправославное потому уже нелепа, что совершенно непосильна для России. Ни одному племени не удавалось наложить в полноте свой облик на другое племя; даже железный Рим лишь слегка латинизировал Францию и Испанию, но не сделал там новых римлян. В попытках объединить свет Рим кончил крушением своей веры и своего государства. «Обрусить все нерусское» значит разрусить Россию, сделать ее страной ублюдков, растворить благородный металл расы в дешевых сплавах. То же относится и к оправославлению всего неправославного. Это была бы сплошная фальсификация веры, свойственной исключительно русскому племени. Я не встречал на своем веку верующих выкрестов. Надо немало поколений, чтобы инославие превратилось в православие, да и в этом случае оно выходит какое-то особое. Вера — как архитектурный стиль: раз сложившись, она ни с чем не соединима. Не «обрусить» и «оправославить» задача русской национальности, а только *сохранить* себя, сохранить тот могучий облик, который естественно сложился в веках и который когда-то давал нам победу.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА

8 декабря

<...> Теперь зашевелились все стихии и элементы, когда-то спаянные могучею силою побед. Доходит до того, что даже бродячие пришельцы вроде евреев дерзко требуют себе государственной самостоятельности, до своего особого сейма включительно. Но что всего ужаснее, даже в основной толще господствующей русской народности начинается брожение, попытка к разрыву. Все громче и громче выступают фанатики украинофильства, подготовляющие отпадение от России громадной Малороссии. Поезжайте также в Сибирь: тотчас за Уралом вы встретите сибирских, то есть чисто великорусских, сепаратистов. Прочитайте, наконец, записки провинциальных деятелей, добивающихся от правительства каких-нибудь полезных для их края мероприятий. Даже в таких записках вас поражает иногда забавное по серьезности утверждение, будто, например, Прикамский край составляет нечто особое целое, имеющее какие-то свои права в качестве когда-то бывшего тут «Чердынского царства»...

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». *Измена своему единодержавию* со стороны власти в одном месте, как трещина в здании, сразу передается и на другие части, сказываясь в потере связи и общего равновесия. Ухаживая за финляндцами, мы доигрались до того, что уже на самой Волге вырос очень серьезный инородческий сепаратизм — татарский. О нем пока еще мало говорят, но только потому, что очень уж скандальное развивается там явление, конфузное и постыдное для нашей ослабевшей государственности. Тут пришлось бы говорить не только о мечтаниях татарщины, но и об успехах ее. Пришлось бы говорить о татаризации тех финских племен, которые не поддались обрусению. Пришлось бы говорить об успехах ислама там, где безнадежно отступило православие... Мы теперь вошли в полосу великих исторических юбилеев — столетних, двухсотлетних, трехсотлетних. Все эти юбилеи — воспоминания о торжественных победах нашей государственности в далеком прошлом. Грустно, что приходится переживать эти воспоминания в эпоху бесславную и беспобедную, когда не только на полях битв, но даже в мирное время мы лишь тем и занимаемся, что все сдаем и от всех препятствий отступаем...

Самым страшным предвестием имперского распада следует считать так называемое мазепинство, то есть ревностно подготовляемое

восстание в Малороссии. Петербургское правительство пробует не замечать этого движения. Движение это, мол, старое, возникшее полстолетия назад или больше и, стало быть, не опасное. Но государственные болезни едва ли следует сравнивать с насморком, особенно болезни долговременные, вошедшие в привычку. Привычка к затяжной чахотке не спасает от потери обоих легких и довольно скверного конца. Украинофильское движение действительно появилось очень давно, но тяжесть вопроса в том, что именно теперь оно обострилось и начинает угрожать крайне серьезными последствиями. Материал для всевозможных измен и политических расколов в России всегда был, но разница большая, горит ли горючий материал или не горит. В России до тех пор не было ни инородческих, ни русских сепаратизмов, пока Империя оставалась победоносной. Всегда существовали поляки, финляндцы, грузины, армяне, татары — но пока гремел под небом весенний гром нашей государственности, все маленькие народности испытывали искреннее смирение, искреннее благоговение к нашей власти. Армянская и грузинская интеллигенция считала высокой честью служить России и носить имя русских. Татары верили в Белого Царя столь же несокрушимо, как московские крестьяне. Финляндцы доселмовой эпохи храбро сражались за Россию. Даже многие поляки умирали за общее имперское отечество. Между народностями в России было тогда не больше розни, чем между сословиями, — скорее меньше. Меч Петра Великого, сверкая молнией в руках суворовской школы, казался чудом Божиим. Не страх, а *очарование* приковывало инородцев к России, — очарование бесспорной силы. Все это, увы, пошло прахом, когда Россия перестала побеждать.

Мужественный Николай I упорно отстаивал державное обаяние России и вне, и внутри нее и умер *непобежденным*. Но уже в его эпоху начались либеральные, то есть разрушительные, брожения, навеянные с Запада, и в течение нескольких десятилетий они серьезно подорвали дух общественный. От природы слишком чувствительный и мягкодушный, император Александр II получил у Жуковского сентиментальное воспитание, наиболее расслабляющее дух из всех возможных. И сам молодой Император, и его сверстники из высшей знати подготовлялись к царствованию не «на славу нам» и не «на страх врагам», как поется в гимне, а лишь к мирным, идиллическим «реформам», причем сил хватило на разрушение старого и уже не хватило на создание нового. Не нашедший опоры ни в себе, ни в изнеженной знати, Александр II заключил первый после Петра Великого постыдный мир с уступкой части русской территории и с отказом от державных прав на Черном море. Вот момент,

который я считаю несчастнейшим в нашей новой истории. Бессильные извне, то есть не нашедшие в себе сил для внешней победы, мы начали эпоху и внутренних самоизмен. Ослабевший меч мы заменили миртовой веткой и понесли ее на инородческие окраины. Именно в царствование Императора Александра II в числе множества других ошибок была принята пагубная политика в Финляндии. При Александре II распустилось и посеянное в эпоху Шевченко украинофильство с пропагандой Костомарова[1], Кулиша[2], Антоновича[3] и Драгоманова[4].

Последние годы царствования Александра II я хорошо помню. Судя по моим школьным товарищам с юга, малорусская молодежь уже тогда бредила казацкими восстаниями, воскрешением запорожской вольницы и федеративным устройством России. Но тогдашнее движение в Малороссии еще не доходило до *мазепинства*, то есть до явной и открытой измены общерусскому отечеству. Малороссы и тогда не любили великороссов, но считали себя все-таки русскими. «Украина-маты» понималась тем, что она и есть, — прекрасным краем огромной земли Русской, маленькой родиной в большом Отечестве. Как мне, великорусу, своя Псковская губерния казалась наиболее родной, поэтической и желанной, так хохлу — своя Полтавщина. Но при благосклонном содействии русского правительства этот естественный и даже желательный провинциализм довольно быстро развился в национальный сепаратизм. Полуинородческое петербургское чиновничество давно потеряло политическую ревность единокровной, единодержавной Москвы. Принцип древнего «собирания земли» и накопления имперских прав давно уступил началу растрачивания последних. В до крайности пестром петербургском свете чрезвычайно много набилось немцев, финляндцев, поляков, грузин, для которых единство России было скорее пугалом. И особенно много оказалось в Петербурге малороссов. Усердно служа и пробираясь к верхам, они постепенно отвоевывали для украинофильства одну позицию за другой. То выхлопочут издательство малорусских книг, то шевченковские панихиды, обеды и вечера, то перевод Евангелия на малорусское наречие, то памятник Богдану Хмельницкому и т. п. На моей памяти особенным толчком к развитию украинофильства послужило разрешение малорусского театра. Это было уже при Императоре Александре III. Хорошо помню, как меня изумила тогда эта мера. Трудно было понять, как Государь, столь твердый и действительно русский патриот, мог решиться на такую рискованную меру. Приезд очаровательной Заньковецкой и талантливого Кропивницкого взбудоражил тогда Петербург. Хохлы наши были в неописанном восторге, но мне тогда

же показалось, что тут вовсе не искусство на первом плане, а политика. Для нас, великороссов, малороссийские спектакли были малоинтересны. И комедия, и драма на Украине слишком простонародны и даже старомодны, а главное — чаще всего они бездарны. Но это не мешало им собирать огромную малороссийскую публику, упивавшуюся именно этой деревенщиной как родной, «самостийной» культурой. Раз позволено давать спектакли на малорусском языке, подумал я, то по всей Малороссии будут разъезжать труппы украиноманов и сеять этим путем национальное возбуждение. Театральная сцена сделается такой же школой украинского сепаратизма, какой были разрешенные правительством в Прибалтийском крае эстонские, латышские и немецкие гезангферейны, художественно-литературные кружки и т. п. Не имея возможности громко обуждать эту тему, я хорошо помню, что считал разрешение малорусского театра большой государственной ошибкой, и думаю, что был прав тогда.

В течение четверти века бесчисленные малорусские труппы привлекают внимание малорусского населения к отжившим или отживающим особенностям родного быта, заставляя дорожить ими как святыней. По-моему, это вредный романтизм — вроде, например, идеализации крепостного права. И в старой Украине, и в казачестве, и даже в крепостном праве было много милого и красивого, однако жизнь идет, мир меняется, меняется и Россия. Все мы, и великороссы, и малороссы, и белорусы, как и все другие народности, вынуждены отказаться от своих особенностей в пользу чего-то общего, что слагается всемирно. Когда-то у каждого племени, у каждой губернии, почти у каждого уезда был свой, например, головной убор. Все их точно ветром смело, и на их месте воцарились общепринятые французский котелок и шляпка. Ничего с этим не поделаешь, да едва ли и следует гнаться за такими пустяками. Не только покрышку для головы, но и саму внутренность человеческой головы невозможно уберечь от когда-то чуждого ей содержания, навеянного извне. Мне кажется, нельзя считать все внешнее чуждым себе. Как пища, попавшая в ваш желудок, так и мысль, усвоенная мозгом, — они становятся вашими, если вы их достаточно переварили. Язык не есть исключительный признак национальности. Говорит ли малоросс на родном своем наречии или на двоюродном, то есть по-великорусски, он остается малороссом, подобно тому как, едучи по той же Малороссии не на волах, а по железной дороге, он вовсе не теряет своей национальности. Общий язык есть один из сети государственных путей сообщения, скажем даже — главный элемент. Так как цель государственности — единодушие,

то первое условие общего понимания — общий язык — должно считаться высочайшей государственной задачей. Для осуществления ее не следует останавливаться ни перед какими препятствиями. Государство может снисходительно отнестись к всевозможным различиям, устанавливаемым природой, — к различиям обычаев, нравов, характеров и даже религиозных убеждений. Нравственно менее идеальное, чем вера, единство языка практически гораздо более необходимо, ибо для самого зачатия общественности нужно, чтобы граждане понимали друг друга. В силу этого простого требования государство обязано всемерно отстаивать единоязычие составляющих его племен. Единоязычие это достигается, как в Америке, строго проведенной единоязычной школой, а также единоязычными учреждениями, играющими роль школы, в том числе печатью и театром. Не только государственный язык (закона, администрации и суда), но и язык общественный в государстве должен быть один. Достигать этого единства должно, конечно, с известной осторожностью, разлагая тяжесть достижения на долгие годы, но государство никогда не должно забывать об основной своей цели. Одно из двух: или мы — государственный народ, сознательно преследующий исторические задачи, или материал для стихийных брожений, разрушающих друг друга. В первом случае отстаивать господство государственного языка мы, русские, должны с той же энергией, как свою жизнь. Если бы наша петербургская бюрократия была национальной, то в течение 250 лет обладания нами Малороссией она уже достигла бы объединения столь родственных наречий, каковы малорусское и великорусское. Уже теперешний наш литературный язык не есть чисто великорусский, ибо он включил в себя множество слов и даже грамматических влияний южно- и западнорусских (и еще больше иностранных). Вероятно, окончательный язык наш будет еще более смешанным, но он будет иметь именно то драгоценное свойство, которого добивается государство, — общепонятность. Общая национальность — дело далекого будущего. Не принуждая инородцев быть великороссами, мы должны настоять, чтобы главный элемент нашей государственной культуры — язык наш — был бы общеупотребительным, как закон, которому мы все подчиняемся. Остальное — дело времени и творческих сил природы. Мы не боимся соперничества родных братьев, тем паче двоюродных: как в старые времена старшинство было за нами, так, вероятно, будет и впредь. Старшинство определяется не мечтами и вздохами, не романтизмом и сентиментальностью, а способностью в каждую эпоху выдвинуть на арену соревнования наибольшее количество трудовой энергии, таланта и героизма. Если потомство велико-

россов не сумеет продолжить славные предания предков, то оно сойдет со сцены, как сходили великие народы Греции и Рима, но, Бог даст, до этого не так уж близко. Мы, теперешнее поколение великороссов, должны отчетливо уяснить себе характер заговора, составленного против всероссийского государства. Идет очень сильная предательская работа по обширному фронту. Духовные потомки анафематствованного Мазепы привлекли к разрушению русского единства литературу, историю и, что позорнее всего, общих врагов наших — австрийцев и поляков. В изменническом этом подкопе принимают участие многие профессора, дворяне, чиновники, получающие питание свое от казны. Под названием «украинских громад» действуют многочисленные малорусско-польско-еврейские кружки, развращающие студенчество и народных учителей, прививающие им, а через них и простонародью самую лютую ненависть к русскому народу и государству. Пора правительству не только заметить это явление (оно давно замечено) — пора бороться с ним не на живот, а на смерть.

ЕВРЕЙСКИЙ НАТИСК

10 декабря

Евреи наконец добились вмешательства иностранной державы в наши внутренние дела. Соединенные Штаты объявили России войну — пока лишь торговую. По отзывам сведущих людей, эта война для нас совсем не страшна. Она крайне невыгодна для самой Америки и, наоборот, очень выгодна для нас. За последние тринадцать лет мы вывезли в Соединенные Штаты всего лишь на 76 миллионов рублей разных товаров, тогда как Штаты вывезли к нам на 721 миллион товаров, то есть почти в десять раз более. За указанный срок мы, переплачивая ежегодно более 50 миллионов рублей Америке, подарили ей около 645 миллионов рублей. Торговый разрыв с Америкой освобождает нас от нелепой дани, которую нам давно пора было сбросить: ведь главные предметы американского привоза к нам — машины, но они ничуть не хуже выделываются в Германии и Англии. Изделия же из пеньки и льна, почему-то привозимые из-за океана, нам просто стыдно не выделывать дома.

Если отказ от договора 1832 года столь невыгоден для Америки, то чем же объяснить странное легкомыслие, с которым она реши-

лась на эту меру? Ответ на этот вопрос дает весьма интересная брошюра В. П. фон Эгерта, петербургского присяжного поверенного, только что вернувшегося из Америки после трехмесячного путешествия по Соединенным Штатам. Вот голос свежего человека, наблюдавшего механику скандального события на самом его месте. В. П. фон Эгерт утверждает, что вся теперешняя американская шумиха устроена исключительно евреями. «Вся страна, — пишет он, — поднята и объявляет крестовый поход против России из-за евреев». Есть штаты, где евреи в значительном количестве заседают в местных законодательных палатах. «При отталкивающей своим безнравственным характером партийной политике» они там командуют положением. Надо заметить, что американские палаты, по словам нашего автора, наполняются «при грязных приемах выборной агитации не лучшими элементами населения, а худшими — продажными журналистами, нечистыми на руку адвокатами и т. п.». Свирепая еврейская кампания против России ведется так: «льются потоки статей и речей с неистовой бранью и с ложью, не знающей никаких границ». Это местное движение в Штатах передалось и на союзное правительство. Оказывается, что еврей Зульцер, внесший в вашингтонскую палату предложение о разрыве с Россией, — это наш дорогой соотечественник, жидок из Витебска, где до сих пор живут его родственники. Этого рода наши «соотечественники» внушают американцам, что «Россия, прибегшая в 1905 году к *покровительству* Соединенных Штатов и так много им обязанная за мир, для нее исходатайствованный у Японии, не решится воспротивиться их требованию». Вот до чего мы дожили: тысячелетнюю славянскую империю евреи объявляют под американским покровительством.

В. П. фон Эгерт приводит некоторые подлинные статьи из американских газет — точнее, еврейских, ибо и в Америке, как у нас, печать почти сплошь захвачена паразитным племенем. Исполненная тончайшей подлости игра состоит в следующей фальсификации, которой грубоватый и, к сожалению, невежественный в отношении России ум американской публики не замечает. Евреи выдают себя самыми пламенными американцами. Они кричат, что *Америка* оскорблена тем, что американских евреев не пускают в Россию. Но тут скрывается ложь, двойная и вдвойне бесстыдная. Евреи, хотя и американские граждане, в действительности вовсе не американцы. Подобно неграм, натурализованным китайцам или краснокожим, евреи остаются людьми совсем другой расы, другой исторической национальности, другой психологии, других мировых интересов, чем прирожденные янки. Как этого не видеть? Неужели чисто канцелярский штемпель «гражданин Соединенных Штатов» сразу ис-

ключает все не одолимые ничем различия, установленные самой природой? Куда девался здравый смысл у англосаксов? Где их зоркие глаза? Где та правдивость, которая была до сих пор добрым гением, унаследованным ими от пуритан? Как верно говорит пословица: «На всякого мудреца довольно простоты» — горсти презреннейших отбросов Европы, отличающихся вдвое повышенной преступностью, удалось убедить очень широкие круги американской публики, что Россия договором 1832 года *оскорбляет* Америку... Удивительное открытие факта, которого никто не замечал в течение восьмидесяти лет!

Секрет еврейского влияния в Америке, как и у нас, — невероятная наглость, с какой жиды утверждают ложь. Христиане, воспитанные в своей христианской честности, никак не могут, судя по самим себе, допустить, чтобы люди целой огромной толпой публично лгали, да еще с такою крикливой страстностью. Хотя христиане тоже иногда лгут, но каждый раз внутренно краснеют за это и осуждают себя. Психология христианская совершенно не допускает систематической, назойливой лжи. Видя ожесточение, с каким жиды утверждают какой-нибудь факт, христиане стыдятся даже предположить, чтобы люди могли так откровенно извращать правду. А между тем в этом-то все и дело: *в отсутствии у жидов нашей совести*. Американцы не понимают, что это ничем не истребимая расовая черта евреев, вроде чесночного запаха или темной кожи. Христиане постоянно забывают, что за ними — тысяча лет евангельского воспитания, а за евреями — две тысячи лет ненависти к Евангелию. Неужели это совсем ничто? Если англосаксы до такой степени потеряли уважение к натуре вещей, чтобы не отличать себя от еврея, то это для мирового господства их довольно-таки грустное предсказание. Уж какое тут господство, когда в самой свободной из англосаксонских стран коренные граждане ее оказываются во втором столетии своей истории в моральной власти хананейских выходцев!

Судя по цитатам г-на фон Эгерта из еврейских газет, «еврейские граждане Соединенных Штатов, урожденные и натурализованные, решили бороться по мере сил всеми законными средствами за устранение этого единственного пятна на их положении граждан», то есть с русскими законами о еврействе. Евреи и тут солгали: объявив намерение бороться *законными* средствами, они прибегают к неприличнейшим и преступным скандалам вроде того, который ими был произведен 30 октября этого года в Нью-Йорке. Дело было на ипподроме. Известный артист Андреев с оркестром балалаек давал концерт. В одной из лож находились русский генеральный консул

барон Шлипенбах, член посольства нашего в Вашингтоне барон Икскуль, секретарь русского посольства в Париже и другие видные русские в соседних ложах. Все шло благополучно. Из понятной вежливости русский оркестр сыграл американский народный гимн «Усеянное звездами знамя». Все выслушали его стоя и отвечали рукоплесканиями. Едва, по словам «New-York American», прекратились рукоплескания, как из публики раздался голос: «Русский гимн». Г-н Андреев «сделал поклон в сторону ложи, занятой русским дипломатом, и дал знак оркестру начать русский гимн. Тотчас несколько сот зрителей на галереях поднялись и стали неистово свистать и шикать. К этой буре протеста присоединились и другие лица внизу».

Нужно ли добавить, что эта «буря протеста» была произведена сплошь жидами? По словам газеты, «половина зрителей криками привета русскому гимну старалась покрыть протест тех, кто выражал неудовольствие», — но разве возможно мирным и воспитанным людям перекричать собравшийся жидовский кагал? Хотя балалаечники продолжали играть русский гимн, но он совершенно был заглушен жидовским гвалтом, шиканьем, свистом. Жиды ревели и вопили: «Вспомните Кишинев! Вспомните погром!» И русские почетные гости, и русский оркестр принуждены были наконец удалиться.

Вот какие средства американские жиды считают «законными», чтобы «заставить» Россию пропускать их к себе. Негодяи посылают нашей Империи неслыханное оскорбление и в награду за это «требуют» (заметьте — *требуют!*) полных прав наиболее благоприятствуемой нации! Что всего печальнее, сумасшедшая наглость эта, подобно наскоку ястреба на стаю кур, имеет некоторый успех. Не только грубо невежественная в отношении России американская публика, но даже петербургская бюрократия, которой не грех бы перестать якшаться с жидами, находится под впечатлением еврейских скандалов. Ведь дошло до того, что через неделю после описанного безобразия в Нью-Йорке оно повторено было уже в самом Петербурге, в Дворянском собрании, на торжественном Ломоносовском юбилее, устроенном Академией наук... И ничего — ни скандалисты, ни академические режиссеры скверной демонстрации не понесли ни малейшей ответственности...

Г-н фон Эгерт в названной интересной брошюре* дает обстоятельный «ответ на обвинения против России и на обращенные к

* Брошюра ввиду серьезного оборота русско-американского конфликта не пущена автором в продажу, но рассылается им министрам, членам законодательных палат и т. п. лицам.

ней требования». О Господи! До чего, однако, упала наша государственность: нам приходится разговаривать с паразитами, которые тучей на нас лезут; нам приходится давать объяснения, чуть что не униженные оправдания. Читатели «Нового времени» уже знают, до какой степени *со всех точек зрения* — и с международно-правовой, и с договорно-юридической, и с экономической — претензии Америки ничтожны. В случае сомнения читатели благоволят обратиться к брошюре г-на фон Эгерта, как исследовавшего дело в самой Америке, мне же повторять здесь не хочется ни невежественных претензий, ни слишком легких ответов на них. Достаточно отметить убеждение осведомленного автора, что торговый разрыв с Америкой «для России кроме выгод ничего не может принести: Россия больше не будет переплачивать Соединенным Штатам свыше 50 миллионов ежегодно по торговому балансу, и приостановится теперь истребление пушного и иного зверя в Сибири», совершаемое, сказать кстати, тоже американскими евреями, представителями тамошних меховых фирм.

Хотелось бы выяснить, насколько мошенническая агитация евреев может встретить поддержку в самой толще американского народа. Г-н фон Эгерт дает и относительно этого любопытные разъяснения. По американской печати, как почти сплошь жидовской, нельзя судить об отношении к евреям американцев. Подобно нашей интеллигенции, и американская часто смотрит невольно еврейскими глазами, особенно если «еврейская пропаганда приправляется ужасами, рассказываемыми о России», только будто бы и занятой что травлей и терзанием несчастного племени. Как и у нас, к евреям в Америке относятся благодушно лишь в тех областях, где они появляются отдельными единицами, но в восточных штатах, где их набилось около двух миллионов, евреи уже успели возбудить резко враждебное к себе отношение. «Предоставив евреям политическое равноправие, американцы, однако, чуждаются более близкого общения с ними, — говорит г-н фон Эгерт, — не принимают их ни в круг своих домашних знакомых, ни в свои клубы и не допускают воспитания еврейских детей совместно со своими. Противны им евреи своим физическим типом, своей манерой говорить и держать себя, своей суетливой, лишенной достоинства повадкой и своею наглостью. Гордому американскому народу, с любовью взирающему на свою историю, на свою борьбу за освобождение, на свои труды и на выполненное им огромное культурное дело, в чем всем евреи участия не имели, — противно видеть, как теперь евреи, украшая себя чужими перьями, кичатся своим "американским гражданством"... Ни клубы, даже ученые, ни студенческие органи-

зации не принимают евреев. Значительное число отелей не пускают евреев к себе, чтобы не потерять других посетителей. В театрах в разных сценах и куплетах евреи выводятся как предмет осмеяния. Таковы популярные вещицы вроде «The sabsmanand the porter», «The money makers», «A modern cannibaling» и др. В Нью-Йорке, впрочем, который превратился в Jew-York (*Jew* — жид), постановка таких сценок была бы невозможна из-за неистового гвалта, который тогда подняли бы в театре евреи».

Известный писатель Биджлоу в «New-York Herald» пишет, что «Соединенные Штаты до такой степени быстро оседлываются евреями, что в то время как о всякой другой нации возможно свободное рассуждение, еврей один поднимает вопль о гонении всякий раз, когда критика касается его». Тот же писатель свидетельствует, что почти вся печать этого великого народа находится в руках евреев или «прикабалена» к ним чрез получаемые от них и при посредстве их объявления. К оставшейся горсти независимой печати Биджлоу обращается с воззванием о разоблачении правды относительно евреев «ввиду картины исчезновения американцев пред натиском орды еврейских "патриотов", которые уже начинают оцвечивать и армию нашу, и флот, которые являются вредоносным элементом для наших дипломатических отношений и для нашей консульской службы». Евреи очень гордятся тем, что немалое количество их проникло в судьи и даже в члены конгресса, но Биджлоу настаивает, что над ними необходим «бдительный глаз», иначе в Америке нужно ожидать «взрыва, перед которым дрейфусовские дни покажутся детской игрой». Весьма иронически относится американский писатель к уверениям евреев, что они тотчас же становятся пылкими американскими патриотами, как только пароход с ними пристает к Нью-Йорку. «Отчего бы, — говорит Биджлоу, — не попытаться какому-либо американцу сделать над собою подобный же опыт превращения в еврея, проведя хотя бы одну зиму в Святой Земле?»

Не только среди проницательных писателей, даже «в низших слоях населения больших городов накапливается озлобление против евреев, ничем не уступающее тому, которое мы видим у нас в Западном крае, в Малороссии и Польше», — говорит г-н фон Эгерт. Американцу, добросовестному работнику, «досадно и обидно видеть, что какие-то люди чужого племени, массами присосавшиеся к стране и все продолжающие прибывать в нее, не хотят с ним делить его трудов, а между тем требуют себе и урывают пропитание из общих средств страны, занимаясь делом, ничего не стоящим в

его глазах, — мелким комиссионерством, покупкой и продажей старого платья, торговлей вразнос катушками, шпильками, лентами, всяким пустяковым товаром и скрытно порнографическими карточками и т. п., причем нередко еще, никому невидимо, богатеют на своем непроизводительном занятии и через несколько лет открывают важные магазины». Как видите, жиды остаются необычайно верными себе во всех краях земного шара — и в абсолютных монархиях, и в демократических республиках. Они всюду ведут себя как паразиты, возбуждающие к себе презрение и ужас. Г-н фон Эгерт описывает наблюдавшиеся им случаи крайне враждебного отношения американцев к евреям даже без видимой причины. Очевидно, и там, как во всем христианском свете, *оплошавшем* в своем великодушии перед еврейством, поднимается могучий инстинкт самосохранения, оскорбленный и негодующий на свою оплошность. Теперешний разрыв Америки с Россией сведущие люди объясняют не столько обиженностью за неуважение прав американских граждан, сколько страхом перед евреями, которых русские стеснительные законы заставляют переселяться в Америку. Американцы чувствуют, как они ошиблись, давая равноправие антихристовой расе, и хотели бы устроить отлив этого добра в Россию. Надо надеяться, что русское правительство и палаты дадут достойный отпор этому покушению. Объявленный почин в этом смысле г-д Гучкова, Карякина и Лерхе будет встречен всей Россией с глубоким сочувствием. Следует с такой же стремительной быстротой, с какой действуют американцы, напомнить им элементарное правило международной вежливости: долг невмешательства в чужие внутренние дела. Мы не мешаем американцам давать своим евреям какие угодно права, но оставляем за собою право не давать подобных же прав на нашей почве. Не мешало бы и русским евреям почувствовать, до какой степени наглость их паразитной нации близка к пределу терпения великого приютившего ее народа.

1912 год

НАРОДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

16 февраля

I

В воскресенье открывается в Петербурге первый съезд Всероссийского национального союза. Столица «всея России» должна встретить съезд сердечным «добро пожаловать», ибо из всех политических партий национальная совпадает, конечно, всего полнее с государственными задачами столицы.

Несмотря на свое немецкое имя, Петербург — один из наиболее чистокровно русских городов, пожалуй, чище Москвы и Киева, сильно испорченных еврейской плесенью. Петербургу как столице недостает многого. Ему недостает прежде всего родной почвы, ибо он до сих пор живет на выселках, за границей своей народности. Петербургу недостает благородства происхождения — тех восьмисот лет истории, которыми гордится Москва. Петербургу недостает еще более священной древности, которая уходит в таинственную даль, за горизонт истории, делая некоторые города, вроде Новгорода и Киева, старше самой России. Петербург — создание молодой России, но, может быть, еще не совсем проснувшись к историческому сознанию, он все-таки в силу своей державной роли продолжает безотчетно «работу сердца», начавшуюся когда-то в Новгороде, в Киеве, во Владимире и в Москве. Нельзя не признать с грустью, что это государственное сердце наше болеет тем же, чем болели слоя и Москва на третьем столетии их имперской роли. *Слабостью* еврее делели, и слабостью же хворает современный Петербург, как Западнаследовав этот порок от предков. Ни одна столица на свете Американадлась, кажется, большему порицанию, чем город Петра деть, что какирь даже общепринято думать, будто именно Петерк стране и всеросской национальности, будто именно он в течение делить его трудовбил старые начала нашей истории и унизил их из общих средств и инородцами. Разве могла бы сложиться нацио-

нальная партия в Москве или древнем Киеве? Тогда весь народ был национальной партией.

Мне кажется, обвинение Петербурга грешит излишней строгостью. Петербург действительно изменил России, то есть не выполнил во всем величии своего государственного призвания. Но ведь то же случилось и с Москвой XVI века, и с Киевом XIII столетия. Святая Ольга с сыном и внуком когда-то собрали Русь, но дальнейшие ее потомки разбросали Русь. Киев, как сердце, не справился с необъятным телом России и не решил имперской задачи: он не сделал нации неприступной. Киев в христианскую эпоху отказался от гениального варяжского плана — завоевания Царьграда, и уже одно это следует считать с его стороны национальной самоизменой. Нашлись другие, более героические народы, которые взяли Царьград и тем надолго, если не навсегда, отодвинули нас от остального славянства. Киеву мировая задача славянства оказалась не по силам; между тем, будучи нерешенной, эта задача до сих пор вносит в нашу историю все последствия самоизмены. Говорят, что Петербург не справился с восточным вопросом. Да. Но он лишь повторил в этом случае бессилие Киева и Москвы. Киев едва справился с печенегами и половцами и не в силах был дать отпор татарам. Великая катастрофа XIII столетия свидетельствует, что Киев как столица не выполнил государственного своего долга. Он должен бы сделаться организующим центром нации — и не сделался им.

А разве Москва не оказалась слабой? Сил у нее нашлось достаточно, чтобы добить Россию, и без того разбитую, и затем собрать ее воедино. Но чтобы великой стране от Архангельска до Астрахани дать железное строение, неприступное для врагов, — у Москвы не хватило творчества. Уже Иван Грозный, владея армией, не менее многочисленной, чем у Ксеркса (по выражению Карамзина), заключает ничем не объяснимый постыдный мир с Баторием. Уже Иван Грозный, начав успешную борьбу с Востоком, останавливается на полдороге, не умея отвоевать ни Крыма, ни Черноморья. Всякому народу с развитием национального могущества, когда для этого есть средства, следует спешить. *Москва не спешила* и в последний век свой уже ни на что великое не была способна. Огромные силы ее вместо созидания пошли на самоистребление. Вместо того чтобы освободить Малую, Белую и Червонную Русь из-под ига Польши, Иван Грозный разорял Тверь, Великий Новгород и Псков. Национальная самоизмена той эпохи, как и нынешней, может быть, объясняется огромным наплывом инородчины в тогдашнюю нашу знать — но в итоге политики, жестокой к себе и малодушной в отношении врагов, Россия сама чуть не сделалась добычей соседей.

Триста лет назад все древние столицы наши — и Киев, и Москва, и Новгород — были захвачены врагами. Москва уже присягала польской короне. Бояре русские обнаружили такую степень упадка национального чувства, что решили избрать царем или шведского королевича, или польского — *кого угодно, только не из своей среды*, не из среды Рюриковичей, основавших Россию. Самоизмена Москвы была очевидной. Пришлось окраинной России завоевывать свою столицу, пришлось выбирать новую династию, которая меньше чем через сто лет, измученная мятежами, совсем оставила Москву. Когда говорят о национальных изменах Петербурга, забывают, что он основан москвичом и составлен был из москвичей же. Не уроженец Петербурга — уроженец и воспитанник Москвы упразднил старую столицу России, упразднил патриаршество, упразднил боярство, упразднил земский собор и многое-многое такое, что вплеталось в самое существо нашей народности. Петр Великий высоко ставил Ивана Грозного и во многом подражал ему. В лице грозных государей этих — первого Царя и первого Императора — самодержавие превысило свою меру и вступило в борьбу уже с православием и народностью. Вот причина нашего национального упадка: неравномерность трех стихий, составляющих национальность. Если мы видим теперь Церковь в жалком полупараличе, если видим русскую народность в унижении, то это прямое следствие каких-то тяжких поражений. В живом теле гипертрофия одного органа влечет за собою истощение остальных.

Национально-русский съезд в Петербурге является живым свидетельством наступления новой эры. Чрезмерное разрастание власти повело бы к ее собственному обессиливанию. Чуть облегчилось давление с этой стороны, начинает восстановляться расплющенная стихия нашей народности. Спасающим началом Руси после киевского упадка было *православие*, оно возрастило Москву. Спасающим началом после московского упадка явилось *самодержавие*, оно возрастило Империю. Спасающим началом после петербургского упадка, мне кажется, должна быть *народность*. Не отрекаясь от первых двух начал, с честью послуживших России и далеко еще не отслуживших ей, мы должны дать развитие третьему, наиболее коренному из них, пришедшему в забвение, — именно русской народности. Всероссийский национальный союз, сколько я понимаю его, есть одно из многих явлений этого великого восстановительного процесса. Когда-то, в богатырские времена, народность наша обнаружилась в мире с силой, позволившей сложиться новгородско-киевской государственности. Народность эта в долготе веков довела до высоты самодержавия и родную веру, и родную власть. В расцвете

московской митрополии и патриаршества православие у нас было почти самодержавным.

Не вступая в борьбу со светской властью, Церковь вынянчила царство русское и долго руководила им. Но затем доразвившаяся до полноты могущества светская власть отодвинула назад Церковь и в лице Петра принизила ее, принизив одновременно и родовую знать как носительницу народной культуры. Наступает, мне кажется, время уравновешения начал, высвобождения того из них, что было измято и придавлено. Цель национализма, как я понимаю его, есть развитие *народности* до высоты самодержавной мощи. Земля наша держится на трех китах, подмеченных славянофилами. Но плоскость не может держаться лишь на двух точках: резкое принижение народности непременно лишает значения и веру, и власть, хотя бы доведенные некогда до степени величия. Наоборот, возвращение третьей опоры дает снова крепость и двум остальным. Теперь у нас и вера, и власть в упадке. Приподнимите народность — вместе с нею поднимутся и вера, и власть.

О задачах Всероссийского национального союза мне приходилось писать очень много. Вместе с другими учредителями этого союза я имею довольно редкое счастье видеть, как поднятое нами дело приобретает могучий рост. Почин создания национальной партии принадлежит «Новому времени». Под влиянием настойчивых моих статей об этом князь А. П. Урусов провел в третью Думу небольшую группу тульских патриотических депутатов. Вместе с князем они имели мужество назвать себя националистами и примкнуть к нарождавшемуся Всероссийскому национальному союзу. Это было *первым* крупным завоеванием нашей партии. Второй победой я считаю слияние с союзом более значительной фракции умеренно правых с П. Н. Балашевым во главе. Третьей победой было устройство Всероссийского национального клуба, идея которого также принадлежит «Новому времени». Четвертой уже не победой, а целой победоносной кампанией следует считать открытое присоединение к программе национальной партии покойного П. А. Столыпина и всего правительства, которым он руководил. Хотя не было сделано в этом смысле никакой декларации, хотя правительство de jure признается у нас беспартийным, однако в последние два года все заметили, что de facto П. А. Столыпин становится националистом, совершая заметную эволюцию вправо от левого октябризма. Мы, проповедники национализма (или, по крайней мере, пишущий эти строки), отнюдь не присваиваем *себе* чести в совершении этой эволюции. Вся честь побед, о которых речь, должна быть приписана самой национальной идее, которая есть не наше достояние, а общерусское. Любовь к отечеству и гордость народная не с нами родились и не с нами

умрут. Мы, «вчерашние», говоря словами Иова, можем быть утешены лишь сознанием, что в пробуждение русской народности вложена капля и наших скромных сил.

Принятие П. А. Столыпиным национальной политики сразу сказалось крупными результатами в финляндском, польском и — отчасти — еврейском вопросах. К глубокому сожалению, еврейская пуля сразила благородного рыцаря русской власти. В лице Столыпина национальная партия потеряла величайшего из своих деятелей и, так сказать, держателя своих надежд. Сменивший его В. Н. Коковцов, мне кажется, никак не может назваться сторонником Всероссийского национального союза: я счастлив был бы, если бы ошибся в этом. Вопреки несколько лицемерному правилу, по которому министры наши должны быть вне партий, я думаю, что таких людей вообще не водится на свете. Подобно мольеровскому мещанину, многие не знают, что они говорят прозой, но факт тот, что все имеют хоть какие-нибудь политические вкусы и какие-нибудь убеждения. Правительство вовсе не на той ступени развития, чтобы не иметь никакого *представления* о политике, а имея представление о ней, оно имеет и соответствующую ему *волю*. Не скрывая от себя правды и имея смелость глядеть в глаза несчастьям, национальная партия должна счесть В. Н. Коковцова всего лишь «дружественной» себе державой вроде Австрии. Пока нет открытой войны, а лишь взаимные уверения в полном почтении, — и то слава Богу. Однако в самое последнее время и в Австрии заметна склонность к сближению с Россией, к восстановлению даже трехимператорского союза. Что ж, и В. Н. Коковцов силой государственного опыта и обстоятельств, может быть, окажется склонным действительно пойти по следам Столыпина, что столь торжественно обещано было после катастрофы 1 сентября.

Пристрастие некоторых министров к евреям и вообще к инородцам коренится не столько в разуме, сколько в усвоенных настроениях молодости, от которых иным тяжело отвыкнуть. Но чем крупнее талант государственных людей, тем более настойчиво он предъявляет свои права. Нельзя слишком упорно бороться с действительностью; можно не замечать маленьких хворей, но опасность смертельная не может же наконец остаться пренебреженной. Не одна Россия охвачена инородческими брожениями. Пример Австрии и Турции убеждает, какую гибельную ошибку совершает власть, не решая племенного вопроса ни так, ни этак. Внутригосударственный раздор не только не гаснет, но разгорается всюду с невероятной силой. Равноправие народностей под одной государственной крышей ведет, как оказывается, не к братству их, а к междоусобной войне,

тем более отвратительной, что она бесконечна. Как в Америке или в Африке дикие племена, как полуварварские племена в Албании или у нас на Кавказе — «равноправные» народцы только тем и занимаются, что дерутся. Они дерутся между собой даже в том случае, если они родные братья. В удельное время немцы истребляли немцев, славяне — славян. Только сложением больших государств удалось подавить этот вечный раздор. Империя — мир, как справедливо, хоть и в другом смысле утверждал Наполеон III. Господствующая народность, приводя к общему знаменателю все национальные дроби, стоит на страже их согласия и порядка. Разрешенное же «самоопределение» мелких национализмов, высвобождая их из-под общего знаменателя, вносит вместе с свободой естественный и ничем иным не угасимый раздор. В России раздор этот еще не столь страшен, как в названных, слишком сложных, империях, но и у нас он поведет к ужасным последствиям. Цель русской национальной партии — раскрыть все эти последствия и по возможности предупредить их. Потребуется очень много времени и напряженной мысли, чтобы до очевидности стало ясным крушение нашего государства, когда оно будет насквозь изъедено инородческими колониями. С Россией произойдет непременно то самое, что с Древним Римом после Каракаллы или со всяким государством, где господствующая народность отдана мирному внедрению других племен. Пока варвары делали только военные нашествия, они не были страшны Риму; когда же установились мирные внедрения, причем аристократия римская была наводнена галлами, испанцами, тевтонами, сирийцами, африканцами, — Рим сделался дряблым, как гнилое дерево, и первая же буря повалила его с тысячелетних корней.

Враги русского национализма лгут, будто цель нашей партии — *обидеть* инородцев, *искоренить* их. Конечно, это жалкая клевета. Разве мы, русские, в самом деле погонимся когда-нибудь за евреями в Палестину, или за поляками в Польшу, или за армянами — в Армению, чтобы там угнетать их? Да Господь с ними — этого никогда не было и не будет. Мечты наши не идут дальше того, чтобы самим не быть угнетенными. Не нападать на чужие народности мы собираемся, а лишь защищать свою. На известном расстоянии все народы — братья и дорогие соседи. Желая мира, мы не хотели бы слишком наглого залезания милых братьев в наше отечество и хозяйничанья их в нашем государстве. Мы не восстаем против приезда к нам и даже против сожительства некоторого процента иноплеменников, давая им охотно среди себя почти все права гражданства. Мы восстаем лишь против массового их нашествия, против заполонения ими важнейших наших государственных и культурных

позиций. Мы протестуем против идущего завоевания России нерусскими племенами, против постепенного отнятия у нас земли, веры и власти. Мирному наплыву чуждых рас мы хотели бы дать отпор, сосредоточив для этого всю энергию нашего когда-то победоносного народа. Некогда известное участие иностранцев было полезно русскому племени. Это время давно уже прошло, массовое же проникновение их к нам становится гибельным. *Гибельным не для нас только, а и для них самих.* Отстаивая мир, мы отстаиваем его не для себя одних, а и для пришельцев. Инородцы уже жалуются о стеснениях их в России — стало быть, они чувствуют себя не совсем хорошо в тканях, где они угнездились. В будущем им будет еще хуже, а раз завяжется отчаянная борьба за существование, то им и совсем придется плохо. Ассимилироваться способен лишь небольшой процент всякой народности, остальная масса обречена на изнурительную и в конце концов безнадежную для нее борьбу. Россия, даст Бог, одолеет мелкие национализмы, но даже погубив Россию, они не обеспечили бы свое счастье. На развалинах народа русского они продолжали бы бесконечную грызню свою. Паразиты, превращающие тело в труп, вместе с ним идут в могилу...

II

18 февраля

Враги русского национализма клевещут, будто это партия реакции и застоя. На самом деле национализм есть прогрессивнейшая из партий, ибо наиболее сообразована с природой. Прогресс в благородном понимании этого слова есть *здоровое* развитие — стало быть, радикальная ломка государственного и бытового строя не есть прогресс. Все живое растет очень медленно. Никакие органы не создаются по команде преобразователей. Только то прогрессивно, что жизненно и что дает наибольшее количество блага. Эволюция в природе вообще идет стихийным, а не катастрофическим путем: чрезвычайно осторожным нащупыванием условий и медленным их синтезом. Вот почему истинный национализм враждебен кровавым революциям — кроме, конечно, тех случаев, когда родина захвачена врагами и народ лишен независимости. Ставя идеалом своим полноту народного счастья, национализм не может отрицать реформ, но лишь при условии, если они назрели и если действительно сообразуются с народной волей. Весь вопрос тут только в том, кто говорит за народ — сам ли он или правые или левые узурпаторы его имени.

Основным началом национальной политики национализм считает народное представительство как орган народной воли. Отличие от революционеров здесь в том, что *народом* мы, националисты, считаем не только последнее поколение, призванное сказать «да» или «нет», но и те отошедшие поколения, которые строили жизнь народную и установляли законы. В понятие народа мы вводим также и те будущие, еще не родившиеся поколения, перед которыми мы, их предки, несем нравственную ответственность. Представителем прошлого, настоящего и будущего мы считаем наследственную Верховную власть, хранительницу общего нравственного долга нации, из которого черпаются законы. Что бы вы ни решали, какие бы законы ни придумывали, нельзя забыть ни предков, ни потомства. Только то и можно счесть действительным законом, что совесть признает непостыдным ни пред предками, ни пред потомством. Цинический демократизм не признает родства, он не признает даже ближайших звеньев, соединяющих нас с вечностью в прошлом и будущем. Отсутствующие, как при голосовании в парламенте, считаются несуществующими. Но это ложь нечестивая и для нации как нравственного существа недопустимая. И предки, и потомки в каком-то священном смысле существуют, они присутствуют и теперь — в душе каждого, у кого есть душа.

Задайте себе вопрос: неужели предки наши одобрили бы согласие наше с мирным нашествием на Россию иноплеменных, с постепенным захватом ими имущества нашего народа и власти над ним? Конечно, предки не одобрили бы этого. Они прокляли бы наше непонимание опасности, наше столь же трусливое, сколько ленивое малодушие в борьбе с ней. А потомки разве одобрят эту постыдную сдачу национальности, еще и никем не разбитой и не завоеванной? И потомки ничем иным, кроме проклятия, не покроют имени живого поколения, совершившего историческую измену. Выродившееся чиновничество как класс наемников, всегда обеспеченный содержанием (и в тайниках души развращенный им), может не слышать голоса предков и потомства, как может вообще ничего не слышать тонкого, о чем шепчет совесть. Нам же, простым гражданам, несущим трудовой жизнью своей тяжесть государственности, нельзя не прислушиваться к вечным заветам. Мы хорошо знаем, что эта святыня народная — Родина — принадлежит не нам только, живым, но всему племени. Мы — всего лишь третья часть нации, притом наименьшая. Другая необъятная треть — в земле, третья — в небе, и так как те нравственно столь же живы, как и мы, то кворум всех решений принадлежит скорее им, а не нам. Мы лишь делегаты, так сказать, бывших и будущих людей, мы — их

оживленное сознание, — следовательно, не наш эгоизм должен руководить нашей совестью, а нравственное благо всего племени.

«После нас хоть потоп», — говорили развратные аристократы Франции, проматывая величие своей родины и достояние предков. «После нас хоть потоп», — повторяло наше ослабевшее дворянство, изнеженное крепостным строем. «После нас хоть потоп», — повторяет распущенная буржуазия, бросая на ветер отцовские капиталы. Всякий класс народный, пресытившийся богатством неправедным, впадает в циническое забвение Бога, родины, предков и потомства — и за грех этот нести заслуженную кару. Потоп, слишком часто призываемый, действительно приходит. Извне или изнутри народа являются варвары, которые наводняют собой цивилизацию и поглощают ее. Революционная чернь уже не говорит о потопе, ибо она сама и есть потоп. Для нравственного поколения это постоянное сознание долга перед предками и долга перед потомством служит как бы двумя благословениями, двумя светлыми крыльями гения — хранителя рода. Для поколения безнравственного нарушение долга перед предками и перед потомством служит двумя проклятиями, двумя черными крыльями дьявола, истребляющего жизнь. Наследственная Верховная власть в глазах националистов есть несменяемая стража, соблюдающая волю не только живого, *случайного* поколения, но и волю невидимого родного человечества, отшедшего и грядущего. Воля эта не может пониматься как застой или разрушение, а как *органическое* и в силу этого *тихое* творчество природы.

Мне уже доводилось доказывать, что прекрасные девизы: мир, свобода, равенство, братство, просвещение и пр. — все они неосуществимы, если нет *единодушия* народного. Все они разбиваются о раздор, свойственный слишком пестрым расам. Древние, более свежие народы безотчетно чувствовали необходимость единодушия и потому отстаивали, сколько могли, единокровие свое, чистоту племени. В одинаковом лишь теле может обитать одинаковая душа. Если от самой природы у людей воля более или менее общая, то как не быть миру? Его не нужно проповедовать, он является естественно. Как не быть равенству у людей, от природы более или менее равных? Как не быть братству у действительных братьев? А настоящее, *не предписанное* братство, не проповеданное, а рождающееся с людьми, и есть полнота свободы, ибо только братская любовь обуздывает волю. Пусть читатель вдумчиво исследует цели национализма. Он увидит, что стремление к племенному единству есть не каприз, а требование самой природы и что именно в этом стремлении суммируются самые важные задачи общественности. Если отдельному человеку необходима ясно выраженная индивидуальность, то нужна

она и всему народу. Если плачевную картину представляет душа, теряющаяся во внутренней борьбе, то так же жалок народ, расстроенный вечной грызней партий. Партий совсем не было бы, если бы торжествовала национальность: она и есть единственная идеальная партия, достойная существовать. Мы, к сожалению, слишком привыкли к умственной анархии последних веков, и общее разномыслие нас уже не смущает; может быть, пока это разномыслие охватывает лишь верхние классы, оно не представляет крайней опасности и даже имеет некоторые свои выгоды, освобождая творчество, — но когда разномыслие установится во всей толще народной, произойдет, вероятно, крушение общества. Мы еще не знаем всех последствий смешения отдельных племен и классов, мы еще в начале падения народной веры и политического миросозерцания. Все учащающиеся восстания труда на капитал, все более грозные забастовки рабочих масс потрясают до основания самые гордые демократии. Чем *кончится* социальный раздор, предсказать трудно, но начался он потерей народного единодушия. Когда нация перестает быть нацией, она бессильна отражать не только внешних врагов, но и то страшное состояние, когда народ сам делается своим врагом. Прогресс, конечно, движение, а не застой, но очень трудно поднятие на всякую вершину и очень легко стремительное падение в пропасть. С необычайным трудом все народы поднимались на высоту теперешней культуры. Слишком быстрое дальнейшее движение с явным понижением культуры заставляет нас, националистов, спросить: куда же, собственно, мы мчимся — вверх или вниз?

Русский национализм отстаивает некоторые древние формы народной культуры не потому, что это низшие формы, но потому, что они — высшие, органически выработанные народным творчеством. Как бы инородцам нашим, например, ни казалось странным православие — мы, националисты, не можем забыть, что православие облагородило наш народ. Оно вместе с твердой бытовой властью дало душе простонародья отпечаток той философской прелести, которая восхищает весь мир на народных типах Льва Толстого (Платон Каратаев, Аким, Никита и другие). Старая культура выдвинула народный быт, до слез трогавший Пушкина и Лермонтова, потому что это и в самом деле был трогательный, простодушный, ясный и тонко благообразный быт. В прошлом году мы праздновали юбилей народной свободы. Уже пятьдесят лет, как делаются все усилия, чтобы дать народу какую-то новую духовно-нравственную культуру, совсем, если можно, на иностранный манер. Усилия увенчались успехом. Народ в деревне уже совсем почти лишен семейной, бытовой и церковной дисциплины, он политически почти совсем

свободен и местами более чем наполовину грамотен. И каков же теперь его духовный склад?

Позвольте привести корреспонденцию «Смоленского вестника» из одной деревни всего в 30 верстах от Смоленска и в трех верстах от местной артерии прогресса — железной дороги. «Святки», то есть святые дни, деревня Пупова проводила в «играх», от которых у корреспондента газеты «волос становился дыбом». Играли в «доктора», в «продажу раков», «подковку», «свадьбу», «продажу пива», «ступу» и др. «Я не стану, — пишет корреспондент, — подробно описывать всех этих игр, скажу только несколько слов об игре в "продажу пива", в которой пиво изображает моча мужчин, налитая в бутылки, и покупательницами являются женщины, которые тут же должны выпивать ее на глазах у всех. В игре в "доктора" вместо лекарств фигурируют конский, коровий и овечий кал и моча, вместо ланцетов — ножи, вместо порошков — пыль и зола, роль же докторов и акушерок исполняют крестьянские, лет 19—25 парни. Больных женщин и мужчин эти "доктора" раздевают догола, выслушивают тут же, в избе, в присутствии всех и тут же заставляют принимать "лекарства". Если кто противится, не желает изображать из себя больного, того заставляют насильно... На мои замечания, что это же невозможно такими "играми" развлекаться, стыдно и грешно, да, наконец, можно же более разумными играми заняться, мне отвечали, что хотя им и известны некоторые другие, "панские" игры, но те не так "антяресны"».

Этот одичалый уголок (на железной дороге, однако) не был бы освещен печатью, если бы не случилось уголовщины. В числе диких игр была игра в «покойника»: одного парня, 19 лет, раздели, обмыли, одели в саван, положили в гроб и затем торжественно отпели. Попа и дьякона изображали мужики, одетые в женские рубахи, с полотенцами на плече. Отпевали «при вопле и стоне всей избы», а затем покойник, лежавший как мертвец, и в самом деле «рехнулся», по выражению крестьян. Около сотни крестьян в возрасте от 12 до 70 лет подлежат теперь суду. Вдумайтесь в эту случайно вынырнувшую на поверхность картинку из глубины народной. Все, что описано, творится в местности, где давно известен пар и электричество, где город и столица — рукой подать, где земские школы существуют уже более 30 лет. Есть, стало быть, и новая интеллигенция деревенская — народные учителя, фельдшера и т. п. Самое первое условие прогресса в глазах левых партий — наплыв инородцев — тут идет вовсю: евреями, поляками, немцами, латышами Смоленская губерния прямо кишит, и особенно евреями. Скажите же, может ли национализм русский одобрить столь удивительные резуль-

таты 50-летнего «прогресса»? Свобода народу от древних дисциплин была дана для того, чтобы, «осенив себя крестным знамением, православный народ призвал Божие благословение на свой свободный труд», залог всевозможных хороших вещей, указанных в манифесте 19 февраля. Вышло, однако, совсем-совсем не то...

Полстолетия назад эта мерзость нравов, это глумление над Церковью, этот сатанинский цинизм в избе, где стоят иконы, *были бы невозможны*, психологически нестерпимы. Очевидно, нашествие всех иноземных отрицаний нашей древней нравственной культуры разбило последнюю, но не создало новой, и вот великое племя наше болезненно зашаталось на своих корнях. За пятьдесят лет нельзя было, конечно, уйти далеко, если подниматься на высоту. Но этого времени было вполне достаточно, чтобы местами народу очутиться на дне пропасти. Жидопрогрессисты наши могут злорадствовать одичанию великой расы, той самой, что когда-то под Смоленском героически отстаивала Россию, — но нам, которые считают себя плотью от плоти народной и костью от костей его, не до злорадства. Мы видим, к чему ведет фальшивый прогресс, чуждый природе нашего племени. Видим, к чему ведет измена своему Богу и идолопоклонство перед чужими кумирами. Мы глубоко верим, что если бы власть наша не потеряла древний дух народный (в лице Петра I и несколько раньше), если бы она оставалась верной началам народного благочестия и народного к себе доверия, то Святая Русь до сих пор оставалась бы святою и не испоганилась бы местами до гниения заживо...

Первый национальный съезд (точнее, первое собрание представителей всех отделов Всероссийского национального союза) не берет на себя больших задач, это просто *деловое* собрание для текущих нужд партии. Но главная сила всякой партии — не в удовлетворении текущих нужд, а в ярком сознании основной задачи. Воспользуемся тремя днями собрания, чтобы лично ознакомиться, сблизиться, обменяться наиболее наболевшими думами и рассудить о дальнейшем ходе дел. Но не забудем при этом о своих девизах, о тех заветах, что создали партию. Если эти заветы в силах были создать ее, то в силах будут и поддержать ее, и дать ей рост. Мы выступили последними после бури — мы можем считать себя первыми очнувшимися от грома. Пора великому народу нашему перекреститься! Пора вспомнить о суде Божием, о могилах предков, о колыбелях потомства. Национализм борется за жизнь народную, но не за *всякую* жизнь, а лишь за достойную бытия.

ИЗ ЗАБРОШЕННЫХ БУМАГ

11 марта

I

Маленькие сумасшествия спасают мир. Разве не сумасшествие любовь, которая, по словам Данте, движет даже небесными светилами? Разве не необходимо «священное безумие» для героя или маниакальная страсть для художника или истинного ученого? Чтобы достичь сколько-нибудь крупного результата, разве не необходимо некоторое помешательство в труде, то есть развитие трудоспособности до idée fixe? Без порыва, без подъема в некоторое ненормальное состояние совершенно невозможны те почти чудесные результаты, которые дает только сверхчеловеческая энергия. Разве железнодорожный мост не чудо? Разве телефон не чудо? Разве прививка оспы не чудо? Вообще культура разве не представляет из себя сверхприроду, сверхъестество? Но это сверкающее и гремящее сверхъестественное, что поймано человеком и приспособлено к машинному производству, — разве оно покорено обыкновенными, естественными умами?

II

Свобода, равенство, братство... Это такие же прекрасные вещи, как, например, молодость, красота, здоровье. Но разрушить общество во имя свободы не то ли же самое, что разрушить его во имя красоты?

Революционное безумство заключается в том, что оно не признает природы как она есть, а хочет ломать ее во имя отдельных ее моментов. Что вы сказали бы, если бы раздался крик: «Смерть безобразию! Смерть болезни! Смерть старости!» Теоретически, конечно, есть что-то справедливое в этом требовании: разве не желательно, чтобы все люди были прекрасными, здоровыми, молодыми? Но, истребив всех не таковых, реформаторы получили бы разрушенное человечество.

Несомненно, в природе есть методы для достижения революционных целей — но долговременного действия. Это методы эволюции, органического развития. Поучиться у природы вообще нелишне, а особенно поучиться ее терпимости.

III

Аристократия (когда она была таковой) вносила в законодательство то, что она несла в себе: удовлетворение миром, гордое довольство, сознание своего величия и превосходства. Аристократия ставила в основу закона идеалы, ею уже достигнутые, то есть с доказанной их достижимостью. Отсюда религиозность старых законодательств. Бог, царь, лучшие из народа, народ — общество представлялось священной горой вроде Синая с вознесенным в вечность законом. Первая черта закона была неприкосновенность. Разве Моисеево законодательство подлежало пересмотру? Разве в самой мысли допускались тут реформы? Закон потому и назывался законом, что, подобно законам природы, он казался вечной формулой общества, установленной при его творении. Одно поколение за другим, не рассуждая и не заботясь, не критикуя, а поклоняясь в благоговении, входило — как соки дерева — в заранее сложившиеся направления жизни, в ствол, в сучья, ветви и веточки органического строения. Оттого не только аристократия, но и весь народ ощущал то же, что аристократия, — удовлетворенность и довольство действительностью. Аристократизм проникал собой толщи народные, как общий стиль здания, от вершины до фундамента. В каждом (хотя бы малейшем) деле доходить до совершенства, не бояться трудностей, а побеждать их, быть *во всякой* борьбе без страха и упрека — хотя бы в борьбе с куском железа, из которого делается подкова, — вот общий девиз народа-рыцаря, каким был каждый средневековый народ.

IV

Религия старается задержать человечество в молодом возрасте, свежем, мечтательном и блаженном, а наука старается его состарить. Религия — древо жизни, наука — древо познания добра и зла. Религия — связь с Богом, наука — связь с миром. Что такое вера, как не детское доверие? Что такое знание, как не сомнение? Сомнение до конца, ибо, пока мы не знаем таинственной сущности бытия, все наши знания лишь относительны. Религия благороднее науки, насколько доверчивость благороднее подозрительности. Не все ли равно, во что верить, — лишь бы душа имела перед собой яркую картину из своих лучших чувств. Человечеству нужен прекрасный или ужасный, но во всяком случае волнующий сон, переживая который можно бы искренно плакать, восхищаться, надеяться и любить. Религия — драма чувства, волшебная и пестротканая. Наука —

трагикомедия ума, блуждающего в девственном лесу. И все-таки они родственны, эти две стихии, как родственны мир и Бог. И все-таки они неразделимы, обе величественны, обе бесконечны.

V

Мне кажется, кроме сектантского движения, которое сводится к схоластике, к комментариям основного текста, пробивается к жизни новое великое движение веры. Я назвал бы его *вечным откровением*, ибо оно действует с первого проблеска мысли и даже ранее — с первого проблеска воли. Помимо книг и комментариев к ним в каждом из нас есть свет, более или менее яркий, по существу чудесный. Органы чувств — органы откровения, поскольку наши чувства точны. Зрение предостерегает нас от края пропасти. Слух предостерегает от хищного зверя. Обоняние и вкус — от яда. Разум, соединяющий работу названных гениев благодетелей тела, есть божество, предостерегающее о всех ошибках и преступлениях закона. Мне кажется, что это божество недостаточно признано, и будь иначе, мы имели бы хорошо освещенный путь жизни.

VI

1. Не делай страдания людям.

2. Делай удовольствие себе.

Эти слова я вырезал бы на карманных часах для сына. Первый закон нравственности слишком очевиден, и его всегда нужно вспоминать первым. Но и второй закон столь же важен, хотя стоит и на втором плане. Делать удовольствие себе, по-видимому, все хотят, но не все имеют мужество серьезно хотеть и настойчиво добиваться желаемого. Поглядите на мужчину, не умеющего занять интересную женщину разговором. Если он не глупец, то невежа, человек некультурный. Ухаживать не только за дамами, но вообще за людьми — долг, и вовсе не трудный, если к уменью ухаживать прибавить привычку к тому. Все понимают, что ухаживать за больными — долг, но ведь и *все* — больные, *все* нуждаются в том, чтобы опереться на дружественную руку, встретить поддержку в сочувственном взгляде, в учтивом слове. Драгоценнейшая сторона культуры — это когда люди *сами*, помимо вещей, делаются усовершенствованными людьми, более приятными на взгляд, на вкус, на осязание души, на слух ее, очень тонкий и обидчивый. Менее общеизвестно, что

нравственный долг обязывает ухаживать и за самим собой столь же тщательно, как за дамой сердца. Кто-то сказал (или мог бы сказать), что всякий человек поставлен ангелом-хранителем самого себя: что такое разум наш, если не херувим, оберегающий рай тела от всякого греха? Но ухаживать за собой благородно умеют не многие. Большинство волочатся за собой, как за проституткой, развращают себя, льстят себе, как лакеи. Многие даже хамствуют перед собой, как лакеи, разбалованные ленью господ. Из-за лени и равнодушия к себе многие оставляют себя беспомощными. Из скупости и невежества многие лишают себя счастья просвещенной и светлой жизни. Из цинизма многие надоедают себе грубым амикошонством со своей душой. Непривычка внимательно относиться к себе, небрежность и как бы даже презрение к себе ведут к такой заброшенности, что человек готов бежать из жизни, пустить хоть пулю в лоб. Если не все самоубийства, то значительная их доля объясняется непривычкой ухаживать за собою. Этим же, а вовсе не отсутствием таланта объясняется жалкое неудачничество большинства.

VII

История есть борьба двух начал — аристократии и демократии. Средние века представляли развитие первого начала, новая история — второго. Мы вошли в век окончательного разложения старой знати и к торжеству широких народных масс. Аристократическое начало кое-где еще борется за свое существование, обновляется притоком натурального аристократизма, подбором новых пород — но третье сословие растворяется в четвертом и вместе с ним становится добычей пятого. Всякого рода «кратии», от аристократии до плутократии, в конце концов будут взяты с бою охлократией. Тощие фараоновы коровы непременно съедят жирных.

В чем же коренная сущность простонародья и в чем его отличие от высших классов? Как в химии почти не встречается чистых элементов, а лишь кислоты и щелочи, так и в природе общества: нет аристократии и демократии в чистых их формациях, но можно выделить оба начала особым анализом. Мне кажется, названный вопрос уясняет основные законы биологии. Возьмите начало жизни и конец ее — живую протоплазму и живое организованное существо, человека. Протоплазма почти не расчленена. Это сумма клеток однородных и с одинаковыми функциями. Тут достигнуто полное равенство, братство и, возможно, полная свобода. Все клетки служат зачаточными органами всех функций: клетка-демократ облада-

ет тем же зачаточным движением и осязанием, как все остальные, той же способностью усвоения и роста. Полноправие достигнуто поразительное. Тут каждый как все, все как каждый. Но зато и общая жизнь слизняка, и жизнь отдельной клеточки до чрезвычайности мизерна. Осязание у всех одинаково, но ни у кого не выходит из пределов первичного ощущения. Ни у кого не развивается оно в зрение, в слух, в обоняние, в то высшее сознание, которое мы зовем разумом. Демократия в чистом виде — это слизняк, царство протистов Геккеля, из которых развилась жизнь растений. Если жизнь развилась в сложные формы, расцвела красотой и счастьем, то благодаря лишь могущественному, вложенному в природу началу аристократизма. В чем оно?

Оно в том, чтобы от равенства переходить к неравенству, от общего к специальному, от безразличного к строго определенному. Аристократизм есть законченность. В этом его величие и смертный приговор.

VIII

Истинный прогресс общества возможен лишь тогда, когда действует *отбор лучших*. Нужно, чтобы в каждой великой области труда жизнь выдвигала на первые места наиболее способных. Нужно, чтобы в священники шли люди наиболее религиозные, в офицеры — наиболее мужественные и склонные к войне, в администраторы — наиболее властные, в земледельцы — наиболее склонные к сельской жизни и т. д. Пока действует этот основной распределяющий инстинкт — инстинкт аристократический, инстинкт неравенства, — общество по всем направлениям прогрессирует, накапливает энергию, знание, капитал материальный и духовный. У нас, к сожалению, как во всем христианском свете (в разной степени) этот естественный отбор чрезвычайно спутан и искажен. Искажен он главным образом безумной идеей равенства и общедоступности всего для всех. Теперь для всякой профессии считается достаточным лишь желание и некоторый *общеобразовательный* ценз. Хотя этот ценз уже в силу своей общеобразовательности решительно ничего не говорит о призвании, о естественной приспособленности юноши к данной профессии, но он часто решает судьбу человека. Общеобразовательный ценз — это дверь, открытая для всех карьер: предполагается, что сама жизнь покажет, годится ли данный человек к избираемой карьере или нет. Жизнь, конечно, и показывает это, но, к сожалению, слишком поздно. Человек долгие годы учится сво-

ей специальности, не задавая вопроса, призван ли он к ней. С таким методом так же трудно угадать свое призвание, как случайную карту, вынутую из колоды. Помешанные на идее равенства в подавляющем большинстве не угадывают своего жизненного козыря, и вот почему талантливая раса дает такое страшное количество бездарных людей. На самом деле это не бездарность, а просто неудачничество в чужом призвании. Догадайся иной священник, что по натуре своей он купец, или иной купец, что по натуре своей он техник, — мы имели бы сразу два таланта вместо двух бездарностей.

IX

После жизни самое интересное в природе — смерть. Именно она вносит в безбрежный океан счастья бури и крушения. Именно смерть придает жизни ужасающий интерес трагедии. Бессмертные боги вели на Олимпе, если сказать правду, весьма буржуазное и малоосмысленное существование. Не будь под ними злосчастного рода людского, волнуемого страхом смерти, и не составляй человечество вечной игрушки богов — именно в силу смертного страха, — «блаженные» небожители, пожалуй, повесились бы с тоски. Впрочем, у них был особый секрет счастья — вечная молодость, и даже более чем молодость — вечная во всем невинность при постоянном ее нарушении. Я думаю, что истинное название такой невинности — здоровье.

Вот благородная религия, которую испробовать я желал бы для какого-нибудь талантливого народа. Основы ее заложены во всех культах, но слишком скрыто. Что такое скрупулезная в отношении омовения и пищи чистота в древнееврейском и отчасти магометанском культе, как не забота о здоровье? Что такое мистическая «чистота» религии Зороастра? Что такое воздержание у буддистов и христианский пост, как не забота о здоровье же? Помните трогательные слова апостола, где он говорит, что с принятием Христа мы воплотили в себя иную, благородную природу и не можем члены своего тела посвящать низким порокам? Древние язычники полагали, что только в здоровом теле живет здоровая душа. Этот естественный — и в силу того гениальный — взгляд перешел в христианство как догмат. Что такое обуздание плоти, как не приведение ее в норму? Цветущее здоровье есть физическая святость, и она сродни душевной. Надо бояться болезней, как преступлений, и преступления лечить, как болезни.

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ РОССИЯ

Евреи хотят поставить Россию перед собой на колени. Это объявлено очень торжественно и громко на многолюдном собрании в Филадельфии 18 февраля, то есть несколько недель тому назад. Вот что сказал крупный банкир Лёб (еврей), директор местного департамента продовольствия: «Не худо отменять договоры, но лучше навсегда освободиться от царского деспотизма! Собирайте фонд, чтобы посылать в Россию оружие и руководителей, которые научили бы нашу молодежь истреблять угнетателей, как собак! Пусть лавина эта катится по всем Соединенным Штатам! *Подлую Россию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным от Бога народом.* Собирайте деньги — деньги это могут сделать».

«*Бешеный восторг* присутствующих, — говорит г-н фон Эгерт*, — был ответом на этот призыв к борьбе с Россией при помощи убийц и бомбистов, широко снабжаемых деньгами из Америки». Нечего добавлять, что большинство присутствовавших были евреи. Пошли сборы денег, и «лавина» покатилась по Соединенным Штатам при содействии огромного хора жидовской печати, а печать там, как и всюду, преимущественно в жидовских руках. Лавина по стране миллиардеров катится теперь как снежный ком. Открыто и публично, как сообщает «Philadelphia Press», влиятельнейший еврейский банкир в собрании 3000 евреев объявил Россию «подлой» (cowardy), способной стать на колени перед японцами и тем более перед евреями. Он предложил «to send a hundred soldiers of fortune to Russia and would have arms smuggled into that land»**.

Предполагается, стало быть, целая экспедиция, головорезов в Россию для обучения еврейской молодежи террору — экспедиция, снабженная оружием и деньгами. Американских жидов поддерживают те малодушные американские власти, вроде сенатора Пинроза, которые, завися от выборов, вынуждены пресмыкаться пред делающей общественное мнение еврейской прессой.

«Make to kneel cowardly Russia again to God's chosen people»*** — вот общий лозунг взбеленившегося от ненависти к нам американ-

---

* В. П. фон Эгерт. Надо защищаться. На рассмотрение и обсуждение г-д министров и их сотрудников, г-д членов Государственного совета и Государственной Думы. СПб., 1912.

** Отправить сотни солдат удачи в Россию и устроить контрабанду оружия в эту страну.

*** Снова заставить Россию стать на колени перед богоизбранным народом.

ского еврейства. Еврей Зелигман, профессор Нью-Йоркского университета, на подобном же митинге в Нью-Йорке усиленно рекомендовал испортить наши отношения к Китаю и Японии. Этот профессор и его брат, известный банкир Зелигман, состоят в числе самых рьяных агитаторов против России. Г-н фон Эгерт, петербургский присяжный поверенный, недавно побывал в Америке и продолжает следить за тем, что делается там. Он открывает для русской публики своей брошюрой очень важный, почти не замечаемый у нас факт: *«Евреи всего мира объявили войну России»*. Подлинными цитатами из целого ряда американско-еврейских изданий г-н фон Эгерт доказывает, что международное и всесветное *государство* еврейское «предало отлучению русское царство. Для обширного северного славянского племени нет больше ни денег от евреев, ни симпатии с их стороны — ни в парламентской области, ни в печати, но вместо того неуклонная вражда».

Митинговая и газетная война жидов против России — черт бы с ней, но если в самом деле в Америке собирается огромный фонд с целью наводнения России душегубами и террористами, то нашему правительству об этом стоит подумать. Благодаря оплошности наших властей в 1905 году жидовское нашествие разных soldiers of fortune стоило нам пугачевщины и гибели бесчисленных верных сынов России. Неужели и нынче государственная наша стража ничего вовремя не заметит и не предупредит беды? Этот тревожный вопрос тем более уместен, что в 1905 году во главе власти стоял граф С. Ю. Витте, а теперь стоит ученик его, В. Н. Коковцов, которого по таланту и еврейским симпатиям многие называют «Витте II». Не секрет, каким заслуженным уважением пользуется г-н Коковцов во влиятельнейших еврейских сферах. Хорошо, если бы он как-нибудь использовал это уважение, чтобы остановить жидо-американский экспорт злодеев. У нас этого сорта машин своих достаточно. Как природный русский, В. Н. Коковцов едва ли захочет, чтобы Россия в самом деле «стала на колени» перед всесветным еврейством; но если так, то нужны какие-нибудь своевременные и достаточно серьезные меры.

В. П. фон Эгерт, специально исследовавший этот вопрос, пришел к интересным выводам, которые стоит выслушать. По мнению г-на Эгерта, «объявленную еврейством войну Россия должна встретить как можно лучше вооруженной со стороны своих законов, своей административной политики и своей дипломатии, между тем во всех этих трех направлениях Россия не только не вооружена, но и *прямо оказывает своему противнику существенную помощь для ведения войны»*. Нашими же силами, нашими же деньгами, нашим

же законодательством паразитное племя нас же и сокрушает. «Трудно себе представить что-нибудь более несообразное, чем наше законодательство о евреях, — говорит г-н фон Эгерт. — Взять хотя бы ту самую ст. 230 уст. о пасп. относительно иностранных евреев, из-за которой велась в Америке кампания об отмене трактата с Россией». Евреи-иностранцы с разрешения министра внутренних дел допускаются для посещения лишь известных мануфактурных и торговых мест, но евреям-банкирам и хозяевам значительных торговых домов делается исключение, им открыт полный доступ в Россию. «Но ведь именно банкиры и главы значительных торговых домов, — говорит г-н фон Эгерт, — такие, как Лёб, Шифф, Зелигман, Гросс и др., — они-то и составляют душу и направляющую силу враждебного движения еврейства против России». Безвредных (сравнительно) евреев мы не пускаем (например, ученых, художников, государственных людей), а самым злокачественным евреям отворяем двери. А законы о русских евреях? «Это, — говорит г-н фон Эгерт, — запутанная сеть многочисленных дробных правил, представляющих какое-то бесплодное топтанье на месте — ни два ни полтора, стеснительных для простой еврейской массы и льготных для богачей и интеллигентов, тогда как эти именно особенно вредны и опасны. Им свободно открывается дорога к захватам. Поддерживается еврейство в той его части, которая дает наиболее сознательных и боеспособных врагов России и которая даст их сугубо при общей войне, объявленной Русскому государству еврейством».

Правда, святая правда! О, какое зло, какое историческое зло нанесла России изнеженная и беспечная старая бюрократия, детище Маниловых и Обломовых, пытавшаяся древние и мудрые законы великого народа переделать на либеральный лад!

Еще более покровительственной для еврейства, нежели законы, явилась политика высшей нашей администрации. Уже издавна к евреям наши многие сановники имеют «влеченье, род недуга». Послушайте, что говорит беспристрастный г-н фон Эгерт: «Удерживается директива, данная резко в этом смысле бывшим министром финансов С. Ю. Витте. Государственный банк при нем сделался просто питомником для еврейских банков. В субсидировании еврейских предприятий при нем не бывало отказа. Подведомственные министерству финансов учебные заведения широко открывались евреям и т. д. Свою заботу о преуспеянии еврейства этот министр деятельно проявлял и вне пределов России: например, в середине 1890-х годов, *объявляя и доказывая, что нет золота для поправления русской валюты, и устраивая в России девальвацию, он одновременно отсылал миллионы за миллионами золотом Соединенным Штатам для по-*

правления их валюты, отчего зависело спасение близких там к банкротству многих еврейских банков и спекулянтов».

Исход — «исход»

«Что такое? — воскликнет изумленный читатель. — Неужели это не ложь, не чудовищная клевета? Возможно ли, чтобы русский государственный деятель в голодные 1890-е годы узаконил отнятие $33\,^1/_3$ процента у русских держателей кредитных билетов для того, чтобы спасти каких-то заокеанских жидов-банкиров?» Г-н фон Эгерт приводит доказательство этому, цитируя подлинную речь американца Уайта: «Я знал одного великого русского, Сергея Витте. Это он в бытность свою министром финансов наделял нас, в Америке, во время президентства Кливленда, для поправления нашей валюты многими и многими миллионами золота на самых сходных условиях ссуды». Речь Уайта занесена в официальное издание конгресса. Признаюсь: хотя я и считал себя врагом графа С. Ю. Витте по части еврейского вопроса (как и винной монополии), но эта трогательная заботливость его даже об американских евреях мне совершенно не была известной. Послушаем дальше, что говорит г-н фон Эгерт: «По лозунгу, данному всесильным тогда министром финансов, благоволение к евреям стало общим тоном, и в какие-нибудь пятнадцать лет произошло изумительное проникновение еврейством всей России. Все оставляемые нашими несовершенными законами многочисленные лазейки были использованы евреями, не зевавшими при таком поощрении, для распространения за черту оседлости. Теперь и вне этой черты всякий город, всякое местечко пестрит евреями и в их руках монополизируется вся торговля страны. Поразительным образом изменилась, например, и физиономия Петербурга за это короткое время. Одновременно цвет еврейства получал усиленное покровительство для занятия руководящих положений в банковском и акционерном деле и украшался, где только представлялся случай и где это зависело от министерства финансов, также государственно-служебными отличиями. Укрепляясь с этой стороны, еврейство уже затем само шло дальше, внедряясь в прессу и все глубже в адвокатуру, а также включая в поле своих действий высшую школу. *Благодаря всему этому объявившее теперь России войну мировое еврейство имеет внутри самой нашей страны сильнейший контингент богатых, интеллигентных и влиятельных бойцов».*

Каков, с Божьей помощью, результат нашей политики? Я не думаю, чтобы граф С. Ю. Витте был врагом России, как твердят об

этом бесчисленные его недруги. Напротив, я считаю его верным — по крайнему его разумению — сыном своей родины, но как он жестоко промахнулся! Он-то ухаживал за евреями, он-то натаскивал их в Россию, он-то создавал им правящее положение — и что же в конце концов? Ему же приходится присутствовать на склоне лет при форменной войне против России, объявляемой всесветным еврейством, причем русское, им взлелеянное еврейство выступает в качестве авангарда жидовской армии... Уж конечно, талантливейший Сергей Юльевич не ожидал такого пассажа, как не ожидал он и того, что грандиозная винная монополия, введенная для *сокращения* народного пьянства, поведет к громадному разливу этого порока. Не ожидал он также, заключая мир в Портсмуте, что именно в тот момент Россия не только должна была, но и *могла* бороться с Японией. Это удивительное свойство многих талантливых русских людей — со всей силой широкой русской натуры работать для обратной своему замыслу цели. Среди разных родов гениальности нам недостает сократовского гения, предостерегавшего от элементарных ошибок. Конечно, из самолюбия, соразмерного с его славой, граф Витте ни за что не сознается ни в одной своей ошибке или сознается разве в маленьких, но история русская поставит ему в серьезный укор названные три оплошности, и особенно его любовь к евреям.

Переходя к дипломатии нашей, г-н фон Эгерт находит и тут систематическое покровительство евреям. «В качестве коммерческих агентов за границей министерство финансов держит предпочтительно евреев. Это тоже повелось со времени С. Ю. Витте. Но должность коммерческого агента русского правительства очень важная и заключает в себе финансово-политические функции. А привыкли эти агенты действовать особо, вне сферы государственной, посольской дипломатии, составляя нечто вроде дипломатической опричнины в специальном ведении министерства финансов. Это совершенно невозможное положение дела бросается особенно резко в глаза в Соединенных Штатах. Там министерство финансов удерживает коммерческим агентом еврея Виленкина, который женат на дочери лондонского банкира Зелигмана, брата тех двух Зелигманов в Нью-Йорке, профессора и банкира, которые играют такую деятельную роль в агитации против России...»

Не правда ли, хорошенький жанр? Еврей Виленкин из маленького человека сделан благоволением С. Ю. Витте важной персоной: «Он имеет от русского правительства ордена, чин действительного статского советника, представительную должность и жалованье больше члена Государственного совета, причем все это дало ему воз-

можность хорошо жениться в богатой еврейской семье». «Одно из двух, — говорит г-н фон Эгерт, — или еврей Виленкин стоит за Россию — и в таком случае ненавидим американскими евреями и, стало быть, ни кредита, ни связей не имеет, ergo — *совершенно бесполезен для России»*, или, наоборот, «что более вероятно и естественно, он солидарен с еврейством, сочувствует агитации американских евреев против нашего государства и способствует ей». Читатель сам решит, как умна наша политика, при которой евреи, произведенные в русские «генералы», хотя бы штатские, осыпаемые орденами и окладами, являются агентами воюющего с Россией родного племени...

Но дайте евреям равноправие, и не будет никакой войны! — кричат наши жидокадеты. Правда, войны не будет, но что же будет? *Завоевание нас без войны*, покорение нас без боя. «Никогда, — справедливо говорит г-н фон Эгерт, — евреи в странах, где им предоставлялось равноправие, не становились добросовестно *в равное* положение с остальным населением (вспомните хотя бы историю парфинского и вестготского государств, оттого и погибших)». В число отдаленных царств, съеденных жидами, буквально как саранча пожирает поле, следовало бы отнести прежде всего землю Ханаанскую и все страны Ближнего Востока, подготовленные евреями к римскому завоеванию; да туда же нужно прибавить и саму Римскую империю, подготовленную ими же к завоеванию варварами. Но зачем ходить в глубь далекого прошлого? Разве равноправие, данное евреям в Польше, не подготовило эту сильную когда-то державу к упадку и внешнему завоеванию? Разве равноправие, данное евреям в Австро-Венгрии, не сделало евреев в течение одного века финансовой и земельной аристократией на теле несчастного славянства? Несомненно, то же самое угрожает и русскому народу, если наше правительство не откажется от гибельной своей политики, покровительственной к евреям. Не только в стране слабохарактерного и простодушного населения — даже на еврейском Западе, среди железных рас, даже в самой Америке евреи неизменно становятся господами и никогда — производительными тружениками. И в Америке они ухитряются захватить в свои руки капитал народный не трудом, а всевозможными видами ростовщичества и гешефта, затем вторую силу после капитала — национальную печать, затем адвокатуру, суд и управление. Рожденная не героизмом и талантом, а фальсификацией и пронырливостью, аристократия еврейская является самой плохой аристократией в свете, самой бессовестной, самой жадной, самой наглой, а главное — *всегда* чуждой порабощенному ею народу. Чем шире дарованное евреям равноправие, тем откровеннее они подчеркивают свою вечную отдельность от рода

человеческого, свою богоизбранность, свою маниакальную претензию «пасти народы жезлом железным», как сказано у их пророков. Евреи недавно в Америке, и сравнительно с Россией их там вчетверо меньше, между тем они начинают диктовать свою волю гордым англосаксам, они ссорят величайшую христианскую республику с величайшей христианской империей, они имеют наглость проповедовать против России своего рода крестовый поход с целью поставить православную державу Петра Великого на колени перед еврейством...

В. П. фон Эгерт, кажется, из обруселых немцев, но даже его сердце возмущено до глубины за родину, к которой мы, коренные русские, равнодушны. *Надо защищаться*, настаивает г-н фон Эгерт. С рассудительностью и трезвостью сородича Бисмарка г-н фон Эгерт указывает ряд чрезвычайно простых, но действительных мер, которые способны осадить еврейскую наглость. В общем эти меры суммируются в одном слове: *изгнание*. Необходимо, может быть, осторожное и постепенное, но решительное изгнание из России паразитного племени, методическое его вытеснение со всех захваченных им позиций. С паразитами этого типа не может сложиться, как показала четырехтысячелетняя история, никаких симбиозов и компромиссов. Каждое еврейское засилье неизбежно оканчивается «исходом из Египта», изгнанием их из зараженной ими нации, если только последняя не заедена ими до смерти. В отношении к евреям не может быть иной политики, кроме противоположной той, которая принята. Именно политика покровительства и поблажек привела евреев к провозглашению России подлой и к требованию их, чтобы давшая им приют христианская держава стала на колени перед ними...

КОГО ВЫБИРАТЬ В ПАРЛАМЕНТ

I

2 августа

Одни с радостью, другие с печалью сообщают о глубоком равнодушии избирателей к предстоящим выборам. Мне кажется, это явление очень грустное, но вполне естественное. Очень грустно, что мы были и остаемся не политическим народом, ибо это вещь преж-

де всего опасная. В наше время нельзя быть великой державой без морального в этом участия нации. Нельзя безнаказанно страдать политической анестезией, потерей государственной чувствительности и соответствующих ей рефлексов. Пониженное состояние нашего политического инстинкта уже навлекло на Россию роковые беды. Триста лет назад это пониженное состояние позволило допустить гибель династии, нашествие иноплеменников, захват столицы, и Россия, конечно, погибла бы, если бы подъем государственного сознания в северных городах не заставил народ наконец восстать против нашествия. Двести лет назад нашествие Карла XII было отражено, но зато наши предки потерпели своего рода внутреннее нашествие, когда Петр I открыл двери инородчине и беспощадно ломал наши древние учреждения, отменяя земский собор, патриаршество, боярство и пр., и пр. В стране с повышенным политическим чутьем подобный реформаторский погром был бы едва ли возможен. Сто лет назад мы опять пережили чудовищное внешнее нашествие с истреблением столицы. Его можно бы избежать или дать отпор неприятелю у рубежа, если бы в стране бодрствовало политическое сознание. Наконец, в наши годы разве японская война со всеми ее ужасами не могла быть предотвращена, если бы Россия видела, куда она идет? Даже в неизбежном столкновении не одерживает ли верх та из сторон, которая замечает катастрофу несколько раньше противника и успевает подготовиться к ней?

Мы всегда были слепы и до сих пор не вышли из опасного состояния нации с завязанными глазами. К добру это не приводило и не приведет. Вот почему злорадство некоторых будто бы правых изданий по поводу предвыборного равнодушия я считаю неумным и недостойным. Чему ж тут радоваться, господа? Радоваться тому, что у нас опять недостает гражданского чувства долга и что мы всей необъятной массой собираемся не выполнить наших государственных обязанностей или выполнить их крайне плохо? Но ведь невыполнение обязанностей есть преступление, и чем более стихийные размеры оно принимает, тем хуже. Вы скажете: выбирать своих представителей в законодательные палаты не обязанность, а право, ибо за отказ от него не полагается никаких взысканий. Но это совершенно неверно. Есть священные обязанности, за неисполнение которых вы тоже не несете наказаний — например, обязанность воспитывать детей в духе благочестия и гражданского долга. И есть права, которые непременно должны быть осуществлены, чтобы быть правами. Что выбор представителей в парламент не частное только право, а и государственное, что не только мы в этом заинтересованы, а и государство — это легко понять из следующего. Представьте

себе, что все избиратели отказываются от выборов, что все они «бойкотируют» парламент. Такая стачка повела бы к параличу законодательных палат, то есть самого законодательства. Разве это не было бы равносильным государственной катастрофе? Избирая новую династию 300 лет назад, наши предки осуществляли не только свое право, но и обязанность. Что было бы с Россией, если бы они посмотрели на это избрание лишь как на право, от которого можно отказаться?

<...> Дума — единственная острастка против испытанного веками бюрократического бедствия и произвола. Исчезни Дума — и страна снова впадет в летаргический сон, когда в организме народном действуют лишь элементарные функции — питания, кровообращения и т. д. Но ведь факты вчерашнего дня, глубокие раны отечества, еще не зажившие, доказали, что в наш век нельзя пребывать в политической летаргии. *Нас раздавят*, нас разорвут на куски, как живую добычу, не способную к сопротивлению, если мы не встряхнемся вовремя. И правые, и левые (я говорю о крайних), проклиная Государственную Думу, охотно идут в нее и даже не отказываются получать с нищего народа генеральское содержание в качестве депутатов. Они отрицают Государственную Думу, указывая бесчисленные ее несовершенства. Но разве можно, господа, отрицать все то, что несовершенно? Если у вас плохие глаза — не отрицаете же вы вовсе свои плохие глаза. Вы стараетесь их вылечить, поставить в условия, благоприятные для наилучшего зрения. Или если поле у земледельца плохо — не отрицает же он вовсе своего поля, а начинает, не теряя минуты, удобрять его и хорошенько распахивать. Скажите по совести, пробовали ли мы поработать над плохой Государственной Думой, чтобы сделать ее удовлетворительной, а затем и хорошей? В течение последних пяти лет, сколько мне известно, не было к тому никаких ощутительных попыток, а, напротив, были серьезные попытки ее испортить — и справа, и слева, и снизу, и сверху. Обе крайние партии оскандалили Государственную Думу своими неприличными выходками, низведя законодательную палату на степень низкосортного публичного заведения, избегаемого порядочной публикой. При всей падкости на скандал даже высших столичных классов, я думаю, ни одна достойная мать не поведет свою дочь-подростка в общество, где мужчины переругиваются площадными, а иногда даже непечатными словами.

Опорочивая самую первичную, так сказать, порядочность законодательного собрания, разве г-да крайние обоих крыльев совершенствуют Государственную Думу, а не роняют ее и без того с

невысоких подмостков? Снизу та же несчастная Государственная Дума подтачивается бездельем и равнодушием всегда отсутствующих депутатов. Сверху та же Дума ослабляется соблазнами окладов, должностей и отличий. В общем, мы, кажется, все делаем для того, чтобы зачаточное и несовершенное учреждение вышло как можно хуже, и затем начинаем на него жаловаться, приглашать к бойкоту его.

Теперь предстоит избрать новую по составу Государственную Думу, и мне кажется, все благомыслящие граждане должны равнодушие свое счесть государственным предательством, пассивным, но гибельным для Родины. Все *честные* люди (с нечестными говорить бесполезно) обязаны отнестись к выборам как к вопросу прежде всего личной чести и не обойти их невниманием потому только, что это общее дело. Я говорю о личной чести, так как вы ведь сочли бы долгом чести защищать права своей жены, сестры, дочери, матери. Но тут речь идет о более высоком существе — Родине, права которой должны быть для вас еще более священными. Родина устами Основного Закона призывает вас один лишь раз в течение пяти лет к исполнению великого долга, к избранию законодателей, — и вы малодушно уклоняетесь, отговариваетесь своею ленью и невежеством: да какое мне дело, да я никого не знаю, да мне никаких представителей не нужно и пр. Ну что ж, если совесть ваша вам позволяет, то отказывайтесь от гражданской обязанности, но помните, что в нравственном отношении это государственная измена. На вас, как и на каждого из миллионов граждан, Отечество рассчитывало, что вы явитесь в этот трудный час истинным сыном своей Родины, истинным гражданином, а вы поступаете как заехавший в страну иностранец, которому все равно, пропадет наше государство или не пропадет. Ну что ж, прячьтесь за спины соседей, сваливайте свою обязанность на их плечи. Этим вы только докажете, что напрасно великая мать-Россия с незапамятных времен вынашивала весь род ваш, оберегала и заботилась о вашей безопасности: в трудную минуту вы ей изменили.

Я считаю минуту выборов в Государственную Думу очень трудной и необыкновенно важной. Ведь все зависит от того, как смотреть на вещи. Если смотреть на них не сознанием гражданина, близким к религиозному, а обывательски-легкомысленно, то ничего не стоит записать в список первых попавшихся кумовей и сватов. А то и писать не надо: кумовья и сваты за вас составят партийный список и всунут вам в руки. Нечего и читать — опускай бумажку в избирательный ящик, вот и все. Раз не меня выбирают, то не все ли мне равно — что ни поп, то батька и т. п. Нет, господа, *не все равно*, далеко не все равно! Когда вы собираете грибы, то далеко не все

равно, все ли их класть в корзину или избегать червивых и ядовитых. И по закону, и по совести, и по разуму вы обязаны делать строгий отбор и посылать в Государственную Думу только лучших людей из лучших — наилучших. Именно в этот торжественный час страна решает, есть ли у нее аристократия и какова она. Под словом «аристократия» я, как всегда, разумею не ту, которая числится таковой на бумаге, а действительную аристократию, то есть людей выдающейся совести, выдающегося ума и таланта, выдающейся энергии, выдающегося знания дела. Для обдумывания государственных дел нужны не кое-какие полупочтенные господа, а действительно почтенные, действительно способные подумать о всяком серьезном предмете с углублением в него и со всеми соображениями, какие дают здравый смысл, жизненный опыт и специальное изучение дела. Именно в этот ответственный и трудный час решается, пройдет ли в законодательную палату совесть народа и его талант или бессовестность и бездарность, кто будет предписывать законы великой нации: истинная аристократия или фальшивая.

Кого же выбирать в парламент? Как человек, немало потрудившийся в течение этих пяти лет над созданием национальной партии, я, казалось бы, был обязан убеждать своих соотечественников избирать одних националистов. Но я всем сердцем советую этого не делать. Между националистами есть безукоризненные люди, умные, талантливые, энергичные (не говоря об их патриотизме), и если вы знаете таких, то выбирайте прежде всего их. Но между националистами могут встретиться, как и во всякой партии, люди не выдающегося ума, недоказанного таланта, не проявленной ничем энергии, не вполне испытанной независимости — и таких вы не выбирайте. Одна принадлежность к какой угодно партии равно ничего не решает. Партийная программа есть приблизительно намеченная цель, но следует удостовериться, способны ли люди достигать каких-нибудь целей и ясно ли они сознают их. В христианском государстве все преступники — христиане, но от этого государству не легче; может быть, ему легче было бы, если бы они были добродетельными язычниками. Выборы в парламент должны быть прежде всего индивидуальными, а затем уже партийными. Я лично, если мне будет предоставлено право выборов, решил поискать в том городе, где живу, вполне безупречных националистов и им отдать свой голос. Если таковых найдется меньше, чем нужно, я поищу вполне безупречных «правых», затем вполне безупречных октябристов и, наконец, при всем отвращении к жидокадетской партии, если бы я встретил вполне безупречных кадетов русской крови, то при недостатке более мне единомышленных людей я подал бы го-

лос даже за таковых кадетов. Партийному разномыслию с ними я придаю серьезное значение, но я настолько верю в природу совести и таланта, что наличие последних служило бы для меня достаточным обеспечением: совершенно невозможно, чтобы русские по крови люди, да еще честные и талантливые, могли бы при каких-либо условиях изменить России. А стало быть, в крайнем случае я мог бы вручить им представительство русских интересов, несмотря на принципиальное разномыслие. Во всяком случае, честный и даровитый консерватор, как и честный и даровитый радикал, мне кажется, менее опасны в Государственной Думе, нежели сомнительный в своих отношениях националист, и я первых предпочел бы второму. Я не хочу, конечно, сказать этим, что отрекаюсь в чем-либо от основных принципов своей партии, но хочу только напомнить, что под всеми *политическими* партиями должна разыскиваться более глубокая, более общая партия — *нравственная*, партия людей чести и таланта, которые в силу этих свойств не могут не быть истинными патриотами. Единственно, за кого я не подал бы своего голоса, — это за преступные партии, а также за враждебных России инородцев. Такими я считаю только тех инородцев, которые заводят в Государственной Думе свои особые национальные гнезда — еврейское, польское, литовское, татарское и пр. Есть инородцы нейтральные и даже дружественные России — тех надо и учитывать как таковых.

После избрания Царя на царство избрание своих законодателей, хотя бы временных, есть величайшее из таинств политической религии, и к нему нужно приступать с «верой, благоговением и страхом Божиим», то есть с глубоким сознанием важности совершаемого поступка. Выбирая *лучших* из своей среды, каждый гражданин приносит Отечеству драгоценнейшее, что у него есть. Но тут нужно руководствоваться больше нравственным критерием, нежели партийным, — нужно выбирать не политиков, а аристократов (в моем смысле), и только тогда политика у нас будет высокая, а не низменная. Вспомните, как в самой природе слагалась древняя аристократия. Основатели благородных родов не имели ни гербов, ни грамот, но они обнаруживали наличие подлинного благородства, подлинного таланта, подлинного героизма. Они потому были признаны стоящими выше толпы, что действительно были выше ее. Ищите же и теперь этих действительно высоких, и они от вашего имени не совершат ничего низкого. Как и перед предыдущими выборами, я утверждаю, что великое существо — нация имеет право на то, чтобы представители ее представительствовали ее величие, то есть являлись в Государственную Думу с государственным достоинством и

независимостью. Если это так, то нельзя выбирать в члены Государственной Думы людей с мелкими характерами, людей вздорных, нестойких, способных подслуживаться, идти на соблазн. Россия переживает очень тяжелую эпоху своей истории. Никогда еще, с времен незапамятных, она не была так унижена и обесславлена, никогда ее оборона не была столь плачевно ослаблена, и никогда еще народ не переживал такой шаткости духа, как теперь. Если что может поднять Россию, то это появление во главе всякой власти (законодательной, судебной и административной) людей исключительного таланта и патриотизма. Что было бы с Японией, если бы она 40 лет назад не нашла таких людей! Об этом можно догадываться. Но что стало с Японией, *нашедшей* таких людей, — это для всех видно. Хотя из народа же подбираются суд и правительство, но участие народа в этом подборе стеснено. Тем необходимее дорожить возможностью избирать своих законодателей. Именно через парламент народ может освежить свою государственность наплывом не наемников, которым «все равно», а истинных стоятелей за правду. Таких и выбирайте!

II

4 августа

Из людей нравственно безупречных и умственно достаточно сильных выбирайте прежде всего националистов. Избирая народное представительство, не надо забывать, что такое народ. Народ — это огромная человеческая стихия, разбросанная по необъятной стране и извлекающая свой хлеб из природы. Эта стихия у нас, к глубокому сожалению, пестрого состава: к океану русского племени примыкают значительные бассейны получужих и совсем чужих народностей, которых интересы далеко не солидарны с нашими. Если русскому племени нужна великая Россия, то никак нельзя сказать, чтобы та же *великая* Россия была очень нужна Финляндии, Польше, Кавказу и даже Сибири. Стало быть, помимо внешних врагов, мы должны учитывать внутренние центробежные стремления, с которыми приходится бороться, если мы не хотим распада. Что борьба эта необходима своевременная, разнообразная и всегда победоносная, доказывает судьба «пестрых» царств — Польши, Турции, Австрии, Китая. Они разлагаются, как некогда разложились персидская монархия, империя Александра Великого или сделавшийся слишком «пестрым» Рим. Несомненно, та же участь угрожает и Рос-

сии, если она пойдет по стопам этих империй и не проявит какого-нибудь нового, еще не слыханного искусства власти. Я лично думаю, что Россия этого искусства не проявляла в прошлом и не проявит в будущем, — напротив! И в прошлом были наделаны грубейшие, элементарнейшие ошибки на всех окраинах; эти ошибки и теперь продолжаются, и наклонность к ним перейдет, конечно, и в будущее. Вместо того чтобы использовать для русского племени завоевание окраин, мы отдали само русское племя на использование этих окраин. Вместо того чтобы тяжесть государственности переложить на покоренные земли и народы, мы заботу о последних навалили все на тот же несчастный великорусский центр. Наш империализм напоминает живое тело с присосавшимися пиявками, причем достаточно насосавшиеся из них, вроде Финляндии, хотят отвалиться. До сих пор усилия нашей государственности состояли в том, чтобы удерживать во что бы ни стало на себе эти паразитные организмы, причем для большего упрочения их в нашем теле стараются вогнать их глубже и рассеять по всем тканям. Еврейское, польское, немецкое внедрение показывает, что эта политика быстро откармливает инородцев и серьезно истощает русскую стихию.

Постепенно, но неудержимо мы вступаем в зависимые и даже подчиненные отношения к покоренным нами народностям. Они делаются нашей политической, промышленной и земельной аристократией. Они вступают в упорную борьбу с самобытной культурой России и лишают ее развития, ее прирожденных свойств. У нас не принято замечать явлений этого рода. Национальность наша до того понижена, что мы боимся задеть чье-либо инородческое самолюбие, в особенности еврейское. Мы видим растущую опасность и, точно парализованные трусостью, замалчиваем ее. Так было еще до введения парламента, когда полуинородческая бюрократия наша навела на Россию мирное нашествие «двунадесяти язык», начиная с еврейского жаргона. То же самое — и в усиленной степени — замечается с введением парламента, когда те же евреи, поляки, латыши, немцы и прочие волной хлынули на ослабленную смутой и растерявшуюся Россию.

Мне кажется, народное представительство должно заметить эту сверхгосударственную нужду и вовремя отстоять Россию от внутреннего завоевания. Пользуясь нашим численным преобладанием, мы должны послать в Государственную Думу не только русских людей, но таких русских, у которых государственное и национальное сознание уже проснулось и ясно видит грозовые тучи, нависшие над нашим племенем. Инородческому напору должен быть дан отпор, и это почти такая же критическая необходимость, как война

с иноземцами, если они наседают на нас. Такова главная, как я понимаю ее, задача Всероссийского национального союза, впервые выступающего на выборы в Государственную Думу уже организованной партией. При благополучном ходе вещей, если бы Россия была так же однородна, как, например, Япония или Германия, сложение особой «национальной» партии в России было бы бессмыслицей. Ведь нет же во Франции французской партии, в Италии — итальянской и т. п. Да, к великому счастию этих стран, достаточно единокровных, там нет других, заметных национальностей, и потому нет нужды отстаивать господствующее племя. У нас не то. У нас господствующее племя осаждается целой громадой враждебных ему племен, и пора подумать об организации нашей внутренней обороны. Пример великих царств, погибших от небрежения к инородческому вопросу, показывает, что мы схватились скорее поздно, чем рано. Наши ближайшие соседи, Турция и Персия, совсем гибнут, Австро-Венгрия и Китай не выходят из судорог внутреннего сложения и разложения. Основная причина их бедствий — пестрота состава.

Национальная партия достаточно крупна в России, но все еще находится в меньшинстве. Большинство образованных людей или унаследовали психологию благополучных времен, когда у нас еще не было столь ожесточенного давления на русскую народность, или находятся в том сентиментально-либеральном настроении, которое, к сожалению, очень свойственно мягкодушной славянской расе: «К чему национальность? Не все ли мы братья? Не один ли у нас Отец Небесный, не одна ли мать — Земля?» и т. п. Не лучше ли, чтобы не было разницы между иудеем и эллином? — постоянно спрашивают г-да сентименталисты. Им постоянно приходится отвечать: *конечно, лучше*, но ведь пока разница существует, и очень резкая, нельзя же утверждать, что она не существует. Сколько ни кричите против различия времен года и климата в разных широтах, дело от этого не меняется — природа неукоснительно посылает мороз и зной, дожди и засухи. Человеческое братство — вещь прекрасная, но оно сколько-нибудь осуществимо именно при признании отдельных национальностей и при взаимном уважении их. На днях в Вильне в католическом костеле во время богослужения поляки жестоко избили литовцев за то, что те позволили себе молиться не на польском языке, а на литовском. Факт маленький, но чрезвычайно характерный для национализма. Вот до какой степени самые маленькие народности, вкрапленные в Русскую империю, дорожат своею индивидуальностью. Сожительствуя тысячи лет и по крайней мере 500 лет в составе одного государства, объединенные религией

и культурой, одним местом жительства и одними законами, поляки и литовцы упорно цепляются за единственное уловимое различие — язык — и готовы даже перед престолом Божиим перегрызть друг другу горло, лишь бы не быть смешанными в одно. Казалось бы, и народности-то не Бог весть какие великие: не англичане, не немцы, не представители гордых наций, оспаривающих первенство в человечестве. Поляки, литовцы, евреи, армяне, грузины и прочие — все это племена, спасшиеся, так сказать, от кораблекрушения и как бы вылезшие на общий берег. Казалось бы, какие уж тут разделения и не выгоднее ли для всех них было бы отказаться от национальных перегородок, препятствующих взаимопомощи? Так нет, именно эти-то сироты потерянных в истории отечеств всего жарче оплакивают прошлое и сознают долг верности своему единству. Посмотрите кругом: ведь вся международная жизнь теперь сплошь напоена национальным антагонизмом, и именно это могучее чувство отдельности подымает громадные армии и флоты и производит великие погромы среди народов. Что ж тут хорошего, возразят господа сентименталисты, не лучше ли, чтобы не было этого ужасного антагонизма и кровавых погромов? Лучше, отвечу я, но, может быть, было бы еще лучше, если бы не было вечного антагонизма между теплом и холодом, верхом и низом, правой стороной и левой. Не безумно ли отрицать факт природы потому только, что он не нравится вам? Сколько ни браните национализм — он есть *условие живой природы*, до сих пор не отмененное и, вероятно, неотменимое.

Я не принадлежу к тем националистам-русским, которые отрицают инородческие автономии. Я придерживаюсь обратного взгляда. Если бы вопрос об этом был поставлен серьезно, я со своею решительностью настаивал бы на соблюдении не только автономии Финляндии и Бухары, но и о возвращении автономии Польше, отнятой 80 лет назад. И Литва, и Грузия, и Армения, если действительно они желают автономии, мне кажется, должны были бы получить ее — и не столько в их интересах, сколько в наших собственных. Хотя я не думаю, чтобы враждебность к России этих народностей была погашена с дарованием автономии, но она была бы *локализована*, введена в определенные территории, — теперь же весь организм России пропитан враждебными ей элементами, что гораздо опаснее. Все проклятие еврейского (и отчасти польского) вопроса в том, что люди этих национальностей проникают к нам целыми колониями и внедряются точно бациллы, разрушая национальные наши ткани. Сиди они у себя дома, то (будь еще враждебнее к нам) они, подобно финляндцам, были бы сравнительно безвредными. **Мне кажется, истинная цель русского национализма не в том, чтобы**

обрусить чуждые племена (задача мечтательная и для нас непосильная), но в том, чтобы обезопасить их для себя, а для этого есть одно лишь средство — оттеснить инородческий наплыв, выжать его из своего тела, заставить уйти восвояси. Конечно, всего проще было бы не пускать в Россию иноплеменников иначе как в качестве иностранцев, но раз была сделана когда-то роковая ошибка, ее следует исправить. В идеальной схеме пусть каждый чувствующий себя в России нерусским ищет своего отечества, и инородцам следует помочь в этих поисках. Автономная Польша отсосала бы из России многочисленные польские колонии, как Армения — армянские и т. п. Во всяком случае, существовало бы законное место, куда можно было бы просить их о выходе. Скажут: автономные окраины стремятся обыкновенно к полному отпадению. Ну что ж, хотя это и не общий закон, но допустим даже полное отпадение таких окраин, каковы Финляндия, Польша, Армения и т. п. Я лично был бы счастлив дожить до этого: я счел бы Россию сбросившей наконец своих маленьких врагов и очистившейся от чужеродных паразитов. В качестве маленьких *соседей* все эти народцы не только безвредны, но отчасти даже полезны, играя роль буферов на границе с крупными державами. Территория Империи нашей сократилась бы едва заметно (взгляните на карту), а *территория русского народа* не сократилась бы ни на один вершок. Она освободилась бы только от болезненных наростов и гнойных прыщей. Россия вернула бы себе национальное единство, в чем заключается истинный секрет силы и процветания рас.

Я знаю, что эта мысль — автономия окраин — крайне у нас непривычна и потому непопулярна, а предположение совсем бросить то, что стремится оторваться, покажется, может быть, даже преступным: это сочтено будет за покушение против основного догмата нашей государственной конституции — неделимости Российской державы. Пусть будет так; безусловно уверенный в неприемлемости моей мысли, я все-таки утверждаю, что она была бы спасительной для нас. Я тоже настаиваю на неделимости России, но только *России*, то есть территории, занятой русским племенем. Я нахожу, что, предоставляя себя нашествию всевозможных инородцев: евреев, поляков, немцев, армян и пр., и пр., мы тем самым в корне нарушаем принцип русской неделимости, мы отдаем инородцам не то, что *им* принадлежит, а то, что принадлежит несомненно *нам*. Мы делимся с ними политической властью, землей, капиталами, промышленностью, торговлей, всеми видами труда народного и позволяем вытеснять себя из собственного царства. Коренным русским приходится ехать в Австралию и Бразилию. Мне же кажется,

всякий народ должен владеть своим и не трогать чужого. Лишь при этом условии и достижимо желанное братство народов. Сравните наши милые отношения с далекими испанцами с нашими скверными отношениями, например, к австрийцам. Так как заведомо известно, что ни мы ничего не ищем в Испании, ни она у нас, то при крайне редких встречах возможно радушие и общечеловеческое гостеприимство, возможны бескорыстные позаимствования или честный обмен услуг. Но достаточно того, чтобы у Австрии явилась мечта овладеть Малороссией или страх, что мы отнимем у нее Галицию, как обе нации начинают считать себя врагами. С сотворения мира мы с Японией не имели никаких ссор, но достаточно было подвернуться Корее и Маньчжурии, чтобы привести два великих народа в столкновение, боль от которого пойдет в глубину веков. Я придерживаюсь восьмой заповеди — «не укради» — как обязательной не только для отдельных людей, но и для народа. Взяв все свое от инородцев, взяв никем прочно не занятые пустыни, Россия может поздравить себя с завершением территориального роста и с началом развития *внутрь*, то есть с началом настоящей цивилизации. Расширяясь без конца, страна тратит капитал; развиваясь внутрь, она накапливает его, и, может быть, все беды России в том, что она все еще не начала настоящего периода накопления. Завоевывая огромные пространства, мы до сих пор оттягивали от центра национальные силы. Пора возвращаться назад, пора вносить в свою родину больше, чем мы вынимаем из нее, пора собирать землю Русскую из-под навалившихся на нее инородных грузов. Я вовсе не настаиваю на автономии окраин — я настаиваю на автономии русского центра от окраин. Я уверен, что только тогда мы разовьем наше национальное могущество, когда восстановим нарушенное единство, когда отбросим примеси, отказывающиеся войти в нашу плоть и кровь. Кроме народов-победителей, страдающих несварением желудка, мы знаем народы, гибнущие от этой болезни; пренебрегать этими уроками истории мы, националисты, не вправе.

В отношении инородцев, мне кажется, должна быть применена та же политика, как и в отношении иностранцев (ведь инородцы, в сущности, те же иностранцы и потому только и опасны). Если бы мы непременно задались целью отнять самостоятельность народов Европы, Азии и других материков, то эта цель справедливо была бы сочтена крайне трудной и крайне безнравственной. Гораздо естественнее и безопаснее для нас разрешить немцам занимать Германию, англичанам — Англию и т. д. То же самое следует применить и к крупным инородческим племенам: гораздо легче для нас, дешевле, выгоднее предоставить этим племенам их исторические гнезда

при условии, чтобы они ограничивались этими гнездами и не расползались оттуда по нашей территории. Покорение народов не имеет иного нравственного оправдания, кроме обезоруживания врагов, но раз они обезоружены, дальнейшие к ним претензии входят уже в область грабежа. Противники автономии окраин говорят: «Мы поступаем справедливо, мы отнимаем у инородцев самостоятельность, зато уравниваем их вполне с господствующим племенем». Но тут не только нет ни тени справедливости, но двойное нарушение последней. И инородцы, и русские на самом деле глубоко обижены таким уравнением. Инородец справедливо скажет: «Да Господь с вами, какая же мне лесть быть русским, если я поляк? Не хочу я равноправия с вами, отдайте мою независимость!» Русский не менее справедливо скажет: «Какое же может быть уравнение между двумя вчерашними врагами? Мы, русские, тысячи лет строили нашу Империю, мы защищали ее девятьсот лет от тех же поляков, а поляки столько же времени нападали на Россию и чинили ей всякие пакости. Какое же тут может быть равенство государственных наших прав? Пожалуйста, избавьте нас от таких сограждан! Не пригревайте змею на пазухой — она вас непременно когда-нибудь ужалит!»

Вот цель русского национализма, как я его понимаю: очистить Россию от инородческих нашествий и водворить маленькие народы на их собственной родине. Завоевания с полноправием раскрепощают народы из их естественной черты оседлости и делают их бродячими. Не одни евреи, потеряв независимость, делаются ковыль-народом, той же участи обречены и все безнадежно покоренные. Удел их — рассеяние, внедрение в чужие народные ткани и заражение последних. Людям государственно мыслящим, каковы националисты, следует пожалеть Россию и отстоять ее от внутренней угрожающей ей гибели. Разделение народов дает мир, смешение плодит ненависть. Насыщенная взаимной племенной ненавистью страна уже в объятиях смерти.

III

7 августа

Первое требование к депутату — личный аристократизм, то духовное благородство, которое, в конце концов, является единственной гарантией добросовестности со стороны безответственных законодателей. Второе требование — русский национализм, хорошо понятый, то есть доведенная до инстинкта верность своему народу.

Третьим требованием к депутату я поставил бы *государственность* его. Решительно необходимо, чтобы в Государственную Думу выбирались люди с политическим развитием, а не просто полупочтенные обыватели, которым ни до какого государства на свете нет ни малейшего дела. Тип подобных милостивых государей у нас крайне распространен, и, может быть, потому именно времена Рюрика все еще тянутся: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». В каждом уездном городе, в каждом захолустье, где люди наперечет, подавляющая масса *граждан* у нас только *горожане:* инстинкты древней высокой жизни, инстинкты гражданственности, как она понимается в исторической науке, у нас давно выродились. В течение долгих веков они отмирали вследствие неупотребления. Тяжким гнетом полицейско-бюрократической системы эти инстинкты вытравлялись, преследовались как нечто враждебное власти (да и в самом деле они были враждебны той бюрократической власти, которая была отрешена от народа). Но, к счастью для России, до полного гражданского обезличивания дело все-таки не дошло. Когда почувствовалась глубокая фальшь бюрократического порядка, бессильного при всей его жестокости, и образованное общество, и народ постепенно отодвинулись от него, отошли от него сердцем и сознанием. Когда же при столкновении с внешними врагами нация почувствовала уже трагическую опасность чиновничьего бессилия, она захотела более здоровой, более твердой власти — и явилось на свет так называемое *народное представительство.*

На Государственную Думу нельзя смотреть иначе как на новый фундамент, подведенный под одряхлевшее здание государственности. Представители народа вызываются не для борьбы с властью, а для ее поддержки, но для поддержки, однако, не слабых сторон чиновничества, не его бездействия и злоупотреблений, а в качестве опоры Верховной власти во всех ее державных заботах. Как армия вызывается из того же народа для защиты Престола и Отечества, так представители народа вызываются для обсуждения законов и надзора над чиновничеством. Обе законодательные палаты называются *государственными* потому, что они неотделимы от интересов Государя и государства и только государственности одной и служат. Если известная часть нашей бюрократии, помня свои «прекрасные дни Аранжуэца», из всех сил пытается приспособить Государственную Думу к служебной в отношении себя роли, то это следует осудить как противогосударственное покушение. Существует Основной Закон, утвержденный Верховной властью, где Государственная Дума и Государственный совет поставлены *совершенно независимо* от администрации как особая, подчиненная только Монарху законодатель-

ная *власть*. Об этой независимости необходимо твердо помнить и осуществлять ее во всем объеме Основных Законов. Сколько бы иным чиновникам, привыкшим к самовластию, ни хотелось вернуться к узурпации ими государственных прав, все их хотения этого рода и попытки должны считаться преступными, ведущими к новой смуте. Пока Основные Законы не отменены, они суть священнейшие из законов, в которых положены заветы нации и начала, оберегающие одинаково трон Монарха и соху последнего из подданных. Колебать подобные устои, мне кажется, всегда есть акт революционный, откуда бы он ни направлялся. Ни *отменить* Государственную Думу, ни *подменить* ее негосударственным составом нельзя без огромного риска променять какой ни на есть теперешний порядок на анархию, примеры которой еще свежи в памяти.

Вот почему я придаю мало веры слухам, будто одно ведомство перед другим старается «повлиять» на выборы в IV Государственную Думу в том направлении, чтобы эта Дума вышла как можно менее государственной. В. К. Саблеру, например, приписывают «адский» план провести в IV Государственную Думу две сотни священников и два десятка епископов. Мне совестно даже навести справку у Владимира Карловича, правда это или нет. Почтенный обер-прокурор Синода при всех нареканиях на него, часто грубо несправедливых, всегда считался человеком тонкого ума и большого государственного опыта. Можно ли ему хоть на минуту приписать план, совершенно нелепый по существу? Ведь с таким подавляющим преобладанием одного лишь, притом самого маленького у нас, сословия законодательная палата окажется уже явно самозваной, не государственной и не народной; она явится не только посмешищем всего света, но главное — посмешищем всей России. Есть звания почтенные — например, доктора медицины, но нельзя же половину парламента делать из докторов. Все согласятся, что от такого парламента будет пахнуть больше госпиталем, нежели политическим учреждением. Звание священника, *достойно носимое*, я глубоко чту. Может быть, нет призваний более благородных в обществе, но нельзя же призвание священников профанировать совсем неподходящей ролью. Как я уже имел честь не раз доказывать, *священникам совсем не место в парламенте* — им место в храме и около погибающей человеческой души. Вселенскими соборами решительно запрещено духовенству принимать какое-либо участие «в народных правлениях», в делах светской власти, и виновные в нарушении этого правила подвергаются самым тяжким церковным карам. Царство иерея, изображающего в храме Самого Христа, «не от мира сего». Вне храма священник — апостол, ибо вместе с рукоположе-

нием, передаваемым от апостолов, несет и их безмерную власть «вязать и решить». Апостолам же заповедано проповедание Евангелия, а не политические споры на самые разнообразные житейские темы, часто нечестивые по существу. Апостолам заповедано служить не двум господам, а лишь одному — Христу. Неужели христианство наше такая пустая вещь, что пастыри вправе побросать свои духовные стада и епископы — свои епархии, чтобы давать свои советы в политических вопросах, в которых они чаще всего совершенно не сведущи?

Допущение священников и епископов в члены наших законодательных палат есть одна из серьезнейших ошибок действующего положения. Эту ошибку не следует усугублять массовым привлечением духовенства, а, наоборот, следует, насколько возможно, ослаблять. Нельзя же, в самом деле, духовенству выходить из повиновения отцам Церкви и вселенским соборам, нельзя подавать своей пастве пример измены православию из-за суетного звания «член Государственной Думы» или из-за генеральского оклада, присвоенного этому званию. Мне кажется, если население того или другого округа *добровольно* выберет батюшку своим представителем в парламент и батюшка согласится на это, то он, конечно, должен быть допущен в парламент, но лишь с необходимой поправкой: он должен снять с себя сан священника. Святейший Синод, как блюститель веры, обязан применить к таким священникам правила святых отцов, совершенно бесспорные. То же, конечно, относится и к епископам, которым сверх указанного правила канонически запрещено покидать свои епархии на срок свыше нескольких недель. Если бы в русском парламенте после этих поправок оказалось двести или двести пятьдесят расстриг, то едва ли народ назвал бы такое представительство народным. Из такой кучи расстриг, может быть, несколько человек оказалось бы с государственным талантом: такие не проиграли бы, снявши сан, а самая идея народного представительства была бы спасена от подделки.

Опыт III Государственной Думы показывает, что в *подавляющем* большинстве священники в парламенте совершенно бесполезны. Они не только не сведущи в делах мирского законодательства, но всей жизненной подготовкой не приспособлены к этой роли. И в думских комиссиях, и в общем собрании это люди без лица, без определенных взглядов, без политического характера, без той политической заинтересованности, которая так необходима депутату и которая так нейдет священнику. Только радикальные батюшки выступали иногда с политическими темами, но на всякое *русское* ухо с не замолкшей еще музыкой православия такие выступления всегда

звучали скандально. A priori можно было предположить, что священники при обсуждении гражданских законов дадут по крайней мере достаточно сильную *нравственную* их критику, но и этого не случилось. В духовенстве не обнаружилось талантливых ораторов, да и Евангелие Царства Божия есть вещь поистине страшная, если применить его к критике мирского царства... На это решаются только безусые революционеры и социалисты, священник же русский, сколько-нибудь искренний, никогда на это не решится. Ведь пришлось бы прежде всего сказать В. Н. Коковцову, как евангельскому юноше: «Если хочешь быть совершен — раздай золотую наличность, причем правая рука не должна знать, что делает левая». На это министр финансов никогда не согласится, а если так, то *священнической* критике в парламенте, пожалуй, нет и места. Само собой, найдутся батюшки для банальных поучений, лицемерных и бездушных, но кто же стал бы их слушать? Апостолов бы послушали, но апостолов Христос недаром назвал «сынами грома», а Себя недаром назвал пришедшим принести не мир, а меч... Подобно пророческому сословию, апостольское слишком грозно и с миром несоизмеримо, если взять *действительных* апостолов, а не наемников. Наемники же именно в этом звании ровно ничего не стоят. Цена им грош.

Есть еще одно веское соображение, которое отвергает мысль о «поповской» Государственной Думе. Ведь для того, чтобы быть выбранным в Государственную Думу, священнику нужно быть выбранным главным образом крестьянами и мещанами (более состоятельные сословия имеют свою интеллигенцию и священников в Думу не пошлют). Но еще большой вопрос, согласятся ли современные крестьяне послать в Государственную Думу своих духовных отцов. Я не говорю об огромном проценте духовных детей в деревне, совсем отбившихся от Церкви. Я не говорю о множестве религиозных крестьян, которые в силу тех или иных причин отказывают духовенству в уважении... Что бы ни фантазировали сентиментальные бюрократы, полагающие, что деревенский батюшка — аркадский пастушок с покорными у ног его овечками, всякий живший в деревне согласится, что «поп» — фигура малоавторитетная и чаще всего непопулярная. Есть, к глубокому сожалению, священники, прямо ненавидимые приходом, и такой батюшка, конечно, в Государственную Думу не попадет. Есть (гораздо реже) любимые священники, люди святой жизни, духовные утешители и врачи. Таких народ тоже ни за что не выпустит от себя, да такие и сами не пойдут в Государственную Думу. Что касается батюшек среднего типа, не любимых и не ненавидимых, то, может быть, они охотно пошли бы в представители народные, да едва ли крестьяне-то их

пропустят: ведь с народным представительством связано генеральское содержание — 4200 рублей в год! И это за какие-нибудь полгода пребывания в Петербурге, если считать летние, рождественские и пасхальные каникулы (а до крестьян дошла весть, что некоторые недобросовестные депутаты и вообще почти не бывают в Государственной Думе). Мне кажется, среди крестьян и мещан решающим вопросом при выборах в Государственную Думу будет этот материальный интерес, связанный, к сожалению, с депутатским званием. И крестьяне, и мещане, и мелкие купцы, и просто обыватели захотят использовать почет и выгоду для собственных сословий, тем более что и среди мещан, и в самом крестьянстве уже имеются достаточно начитанные люди, способные постоять за свои сословные интересы не хуже, конечно, священников.

В политических расчетах следует учитывать не одну светлую сторону человеческой психологии, а и темную. Выборы в III Государственную Думу, шедшие на другой день после революции и разгона двух революционных парламентов, происходили с более идейным и менее корыстным подъемом. И правые, и левые партии посылали действительных, как им казалось, стоятелей за правду. Теперь в этом отношении тон следует ожидать пониженный. За пять лет парламента даже крестьяне успели к нему присмотреться, успели охладить чересчур пылкие надежды. Действительность показала, что и народное представительство не всемогуще, что и оно или не может, или не хочет, или не успевает вводить те законы, которые могли бы чудотворно преобразовать жизнь. Невольно сложилось некоторое недоверие не только к законодателям, но и к самим законам. Точно ли в них спасение? Вернее, точно ли только в писаных законах, каковы бы они ни были, наше счастье? За последние годы, как утверждают многие наблюдатели, народ заметно разочаровался как в революции, так и в конституции. Если иной крестьянин не понимает этих иностранных слов, то *явления*, покрываемые ими, ему хорошо известны. И никаких чудес от этих явлений народ не дождался. Многие — более деятельные и сметливые — в крестьянстве поняли, что надежда «и на это начальство» плохая: Дума Думой, а вернее будет самим мужичкам побольше работать да поменьше пьянствовать. В стихийном движении народа на отруба и хутора, в переселении за Урал, в поисках работы где угодно — хотя бы в Австралии и в Америке — вы чувствуете, что наш народ, подобно западным, уже перезрел для каких-либо конституционных иллюзий. Все народное самодержавие заключается в труде. Народ нуждается, в сущности, только в том, чтобы ему в этом не мешали.

Государство стоит на страже народного труда, оберегая его сво-

боду от внешних и внутренних насилий. Но для этого государство должно быть государством, как часовой непременно должен быть часовым, стоя на посту. Отсюда огромная роль государства вообще и государственного законодательства в частности. Пренебрежение к государству столь же глупо, как и отрицание его. Пренебрежение к Государственной Думе, высказываемое одинаково как красными, так и «черными» революционерами, иначе нельзя объяснить, как плохим устройством мозгов у почтенных бунтарей. Очень уж заел их политический цинизм, воспитанный главным образом торжествующим невежеством. Упрек этот относится по преимуществу к «красной» революции, на губах которой не обсохло молоко политики. Что касается «черных» бунтарей, засевших в мрачные норы, откуда слышится, точно из ночлежки, нескончаемое ругательство во все стороны, то здесь движущим мотивом, мне кажется, служит не столько слабоумие, сколько своекорыстие. Чем неистовее вопли, тем очевиднее, что тут играют роль открытые академиком Соболевским «темные деньги», иногда поделенные, как на дувáне, иногда кем-нибудь ловко захваченные. Трудовому населению страны, отвечающему за Родину перед предками и перед потомством, нужно иметь в виду присутствие у нас этих двух революций — точнее, двух бунтовских стихий. Одна стремится разрушить настоящее во имя будущего, другая — разрушить настоящее во имя прошлого.

Мне кажется, нам, людям труда и закона, не нужен ни тот, ни другой бунт. И будущее, и прошлое обеспечены для нас свыше: одно было, другое будет. Центром внимания нашего должно быть настоящее, которое есть живая жизнь, и единственно живая. Именно как с жизнью, с настоящим нужно обращаться осторожно и в каждое насилие влагать ту нежность, какую влагает садовник, ухаживающий за фруктовым деревом. Необходимо совершенствовать жизнь, облегчать ее, помогать ей, но не ломать, как дети или дикари. Государственная Дума нуждается в заботливом воспитании ее, те же фанатики, что мечтают задушить ее, — государственные убийцы в душе.

Выбирайте в парламент людей безупречных, людей национального склада и людей государственных, но не слишком *крайних*. Жизнь держится равновесием, крайности же всегда маниакальны. Если уж выбирать крайних правых или крайних левых, то направляйте их лучше не на Шпалерную улицу, а на станцию Удельную, по Финляндской дороге. Там для них найдется более подходящий парламент.

КОГО ХОРОНИТ РОССИЯ

14 августа

После долгих и невыразимых страданий забылся вечным сном наш бедный Алексей Сергеевич[1]. Смерть как бы сжалилась и остановила пытку более жестокой, чем смерть, болезни. Только несколько дней больной не дожил до столетия той великой битвы, когда отец его, преображенский солдат, дважды раненный и истекавший кровью, был брошен на дно телеги под груду таких же изувеченных и умиравших за Отечество героев. Чтобы выжить при таких условиях, нужна была богатырская порода... Нужна была железная натура его сына, чтобы, израненному болезнью, в течение двух лет знать, что смертный приговор произнесен, что исполнение его — дело ближайших месяцев, знать, что никакая власть в мире уже не в силах остановить этого приговора, — и не прийти в отчаяние... Впрочем, кто может уверенно сказать, что пережила эта богатая и страстная душа, полная почти юношеской жажды жизни? На человеческом языке нет слов для переживаний предсмертных. Но один уже вид в последнее время этого великого страдальца говорил, что здешний мир для него сделался хуже всякого загробного состояния... И вот наконец для него «настала великая тишина», говоря словами Апокалипсиса.

Есть люди, со смертью которых как бы умирает часть России, до такой степени кипучая и увенчанная славой жизнь их сплетается с жизнью родины. С Сувориным, как недавно с Львом Толстым, Тургеневым, Достоевским, Менделеевым, Скобелевым, Чайковским, постепенно умирала современная им Россия. Отличный от них, Суворин был значением своим и талантом в одном ряду с ними: выкинуть его из истории нашей за последние полвека никак нельзя. Вместе со всеми *первыми* в разных областях жизни Суворин был человеком, *делавшим* историю, тогда как подавляющее большинство современников только переживают ее.

Чтобы делать историю, нужно прежде всего быть кровным сыном своего народа и унаследовать именно богатырские его черты. Удивителен был по могучей крепости бородинский герой, отец Суворина. Не менее удивительна была мать его, дочь соборного протопопа. Уже взрослый, Алексей Сергеевич, бывший высокого роста, мог поцеловать свою мать не иначе как поднявшись на цыпочки. Когда эта величавая черноземная мать с берегов Битюга уже старухой бывала в Петербурге, она, говорят, головой возвышалась над

толпой. Столь мощное духовенство (в родстве с Тихоном Задонским) соединилось с не менее сильным крестьянством воронежского приволья, чтобы в данном случае создать человека нового в нашей истории — газетного писателя. Вместе с актерами, учителями, художниками, учеными, мелкими поэтами и романистами класс газетных писателей пользовался у нас до середины прошлого века феодальным пренебрежением. И талант, и даже образование в России были подавлены бытовой знатью, к тому времени уже значительно выродившейся. Нужны были великие таланты во всех областях интеллигенции, чтобы сбросить гнет этот и извержением — чисто вулканическим — новых идей перестроить общество сообразно с новой его природой. Эта перестройка далеко еще не окончилась, она осложнилась вовлечением в нее буржуазных и рабочих классов — но ход истории не поворачивает назад. Громадный исторический переворот идет стихийно, и талантливые люди во всех областях бессознательно ведут его творческую работу. Суворин был одним из тех немногих, что создали новый тип гражданственности — общественную и государственную публицистику. Вместе со Щедриным и Михайловским, с одной стороны, и Катковым и Аксаковым — с другой, Суворин в большей степени, чем они, создал новое политическое учреждение — печать. Называю печать *учреждением,* ибо она давно переросла характер частного промысла или дешевого развлечения. По гегелевскому закону эволюции, современное общество, видимо, возвращается к республиканскому типу, к эпохе, когда на площадях городов гремели ораторы и народные трибуны. Политическая печать есть, бесспорно, современное вече, а писатели — те же ораторы. В лице публицистов, несомненно, возродились древние трибуны, заступники за народ, надзиратели за государственными интересами. Отстающая от культурной семьи народов Россия и здесь почти на столетие позже развила сколько-нибудь независимую печать. Но чего стоила эта победа жизни, если еще можно говорить о победе! Суворину история России обязана, как и Каткову (и в степени гораздо большей), появлением ежедневной печати как силы влиятельной и временами наиболее влиятельной изо всех.

К глубокому сожалению, мир, как в древности, так и теперь, «во зле лежит». Исторически нездоровое, отравленное старческими недугами наше общество не имеет над собою иного суда, как собственное о себе мнение, хаотическое до последней степени. Как на бурном новгородском вече, наша молодая печать быстро поделилась на лагеря и вступила в междоусобную борьбу. Наиболее сильные голоса, несущие государственное сознание и чувство народной чес-

ти, очень часто тонут в урагане воплей людей «молодших», а нередко и простой черни, всегда завистливой и раздражительной. «Новое время», поднявшее значение печати на небывалую высоту, не имеет более ожесточенных врагов в обществе, как среди печати же, и главное преступление этой газеты — ее успех. Суворину никак не могли простить его блестящего таланта, покоряющей увлекательности его пера, его знаменистости, а главное — материального успеха... Как это ни постыдно для человеческой природы, зависть — самая низкая, черная зависть — не чужда деятелям даже высоких общественных призваний. И не только зависть бездарности в отношении к таланту, но также горькая зависть бедняка к человеку, выбившемуся из бедности. Не идейное вовсе расхождение, а главным образом эта пролетарская зависть была и остается источником клеветы, омрачавшей жизнь Суворина. Еврейские газеты не постеснялись даже перед открытым гробом покойного повторить свои грязные и плоские, как истоптанная мостовая, обвинения. Без элементарной проверки, без тени осведомленности повторяют умышленную ложь, будто руководимое Сувориным «Новое время» всегда *приспособлялось* к господствующему в данное время влиянию. В действительности же «Новое время» очень часто *создавало* господствующее настроение; не оно приспособлялось к обществу, а заставляло общество прислушиваться к своему искреннему голосу и пробуждало инстинкты, которыми само было одушевлено. Надо было знать Суворина лично, надо было годами вглядываться в эту сильную и гордую натуру, чтобы понять, мог ли он сознательно к чему-нибудь приспособляться, мог ли пойти на какое-нибудь «угодничество». А главное — надо же понимать природу талантливой души, особенно столь высоко одаренной, какой обладал Суворин.

Я его молодости не знаю, не помню даже зрелых его лет. Я застал Суворина 67-летним старцем, уже охлажденным жизнью, несколько утомленным и разочарованным. Но, пережив с ним предреволюционные годы, несчастную войну, революцию и бессильное теперешнее «успокоение», я видел этого старика в огне великих испытаний, и его подлинная душа, мне кажется, мне известна. Поймите же, что тайна писательского таланта есть искренность и непритворность! И Белинского, и Каткова обвиняли в измене убеждениям, обвиняли в том же Добролюбова и Герцена. Но надо же когда-нибудь понять, что в подобных случаях перед вами измена не подлых, а благородных душ. Чем же виноват был Пушкин, что гениальная душа его вмещала все настроения, доводя их до высшей красоты? «Ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром» — на все полнозвучным эхом откликалась чуткая и нежная

душа таланта. Искренний поклонник великого Самодержавия, каким он его мыслил, Пушкин был искренним поклонником и великой революции — в моменты ярости своей против бездарной тирании. Суворин в молодости, говорят, был радикалом. Если так, то, очевидно, он был искреннейшим радикалом и честнейшим из них, ибо иным он быть не мог. Когда, наглядевшись мерзостей и пошлостей радикализма, он остыл к нему и под давлением несчастной войны 1877 года примкнул к тогдашнему славянофильству — будьте уверены, что это произошло искренно и безотчетно, вот как черные волосы у людей под старость делаются белыми. И постоянный либерализм «Нового времени», и постоянная государственность его, и систематическая поддержка правительства, и борьба с ним — все решительно настроения, которым Суворин давал место в «Новом времени», увлекая общество, были его искренними переживаниями и совершенно невольными. Тупицы, лишенные таланта, судят по себе, совсем не понимая природы одаренного человека. Если тупица одержим одним духом — духом глупого равнодушия ко всему, позволяющим раз записаться в партию и умереть в ней, — то человек даровитый есть вместилище другого, более высокого духа, который «дышит где хочет». Блаженны верующие, раз навсегда отказавшиеся от свободы, — но что вы поделаете, если человеку Бог дал вечное сомнение, вечную тревогу за истину, вечное сознание, что и сам можешь ошибиться, а тем более могут ошибаться людишки, что поют с чужого голоса? Будучи на голову выше современной ему журнальной среды, Суворин чувствовал, до чего это дешевый товар — партийная истина и кружковая совесть. Будь он бездарностью вроде Нотовича или хитрым дельцом вроде Михайловского — разве трудно ему было бы весь век сидеть в позе какого-нибудь радикального идола и принимать обеспеченные курения? Но для высокого таланта это показалось бы нестерпимо скучным, противным и даже преступным. Вся природа Суворина возмущалась против трафаретных идей. Он вперял с напряжением всю силу зрения, необычно зоркого, в каждый предмет, чувствуя, что всегда остается в нем глубина, недоступная для взора, и потому всегда возможна иллюзия, самообман. Поэтому в каждый момент он говорил то, что видел, не ручаясь, что разглядел вещь окончательно и до дна. Если Сократу было простительно говорить: «Я знаю, что ничего не знаю», — то почему не допустить столь же искреннего сознания у современных людей большого таланта и, стало быть, большой проницательности? Богатырское детище своего народа, Суворин жил не личным только, а всенародным разумом, всенародным чутьем, и вместе с великим народом столь же

искренне изнемогал в поисках, сомневался, доискивался правды до конца! Разве народ наш когда-нибудь держался одного политического направления? Подобный океану, разве в вере своей в небесную и земную власть народ наш не колебался в течение всей истории? И Сергий Радонежский, и Аввакум, и Сусанин, и Пугачев — дети одной матери-России...

Вместе с наиболее одаренной и честной частью русского общества Суворин постепенно рос в своем государственном и национальном сознании, но эта перемена была не изменой, а органическим ростом. Рабы партии никак не могут понять логики публициста, сегодня поддерживающего власть, чтобы завтра метать на нее громы, и наоборот. Но *государственная логика* по существу не схожа с *партийной*. Маленьким кучкистам партии, не видящим из-за кучки ни родины, ни целого света, очень легко быть последовательными: отрицай всякую власть, да и баста! Но *государственному* сознанию Суворина были открыты далекие перспективы и в даль и в глубь истории. Он чувствовал, что государство вещь необъятная, как народ, стихийная, капризная и, в конце концов, как сам человек, — вещь *непознаваемая*. В таком царстве чудес, как жизнь, нельзя брать навсегда прямолинейный, маниакальный путь, иначе — как медведь, ломящий по целине, вы непременно будете топтать чью-то свободу и чьи-то нежные, как жизнь, права. Правительство — общий наш национальный орган — это чудовищная сила, орудовать которой нужно с большой осторожностью. Как крестьянин на проселке то и дело одергивает лошадь сообразно извивам дороги, так и серьезному общественному сознанию приходится приглашать власть то вправо, то влево. Ведь и в истории народа, как на деревенской дороге, нужно обходить препятствия, чтобы продвигаться хоть с пожертвованиями направления, но вперед. Как крестьянину приходится иногда подстегивать, но всегда беречь и поддерживать лошадь, даже плохую, так и национальному обществу — свою власть. Убейте, если угодно, лошадь, как хотели бы революционеры, — посмотрим, далеко ли вы уедете. Суворин из молодого озорства, может быть, радикальничал в юношеские годы, но, очутившись на государственном посту — руководителем самой крупной русской газеты, он понял свои обязанности к родному государству. Он очень больно подстегивал бездарную часть бюрократии, и не одна министерская карьера погасла в капле его едких чернил, — он и умер, сколько мне известно, в глубоком страдании за Россию, чувствуя бессилие власти. Но он же систематически оберегал сколько-нибудь достойную власть, как двигатель какой ни на есть государственности. «Бесчувственному легко быть твердым», — сказал Шекспир.

Легко быть последовательным равнодушному, не ощущающему никакой ответственности. Но чрезвычайно трудно быть последовательным, когда более многих и многих отвечаешь за государство, за свой народ, за свою историю. Суворин же и по возрасту своему, и по богатырству духа был один из чувствовавших на себе тяжелую историческую ответственность.

Беспримерная в истории русской печати 36-летняя работа «Нового времени» была живой государственной работой, непрерывным *законосовещанием*, помогавшим законодательству и часто направлявшим его. Но кроме государственности народ живет еще и общественностью — безгранично тонкими и важными интересами быта, нравов, обычаев, культуры и цивилизации. Современная газета должна обслуживать все, чем дышит мир. И Суворину-государственнику приходилось делить свой талант и сердце на столько деятельностей, что их хватило бы, пожалуй, на дюжину крупных деятелей. Многое, за что он брался, приносило ему нечаянный доход (в том числе и «Новое время»), но, пожалуй, еще большее число культурных его затей давало ему вполне ожидаемые убытки. Вышедший из суровой бедности, Суворин не питал ни малейшего пристрастия к деньгам: он щедро сеял их для культурной жатвы, собрать которую уверенно не рассчитывал. Таковы театр, театральная школа, контрагентство, дорогие и дешевые виды издательства, книжные магазины, огромная библиотека, некоторые журналы и газеты. Его тешила, как западных европейцев, широкая, но *всегда просветительная предприимчивость,* хотя бы обставленная неудачами. Ему нравилась кипучая жизнь с ее надеждами и разочарованиями, с живой драмой сотен и тысяч тружеников, вовлеченных им в общую работу. «Нажива!» — кричат низкие люди, сгорающие от зависти при виде трех или четырех миллионов, сложившихся у Суворина за полстолетия титанического труда. Но нажива могла бы быть стимулом их маленьких душ, а не его большой души. Если бы дело состояло в наживе, то по примеру еврея Бака, основателя «Речи», Суворин занялся бы казенными поставками или железнодорожными подрядами, выжимая из рабочих пот и кровь. Или по примеру множества ничтожных жидков Суворин в два-три года нажил бы миллионы на биржевой игре. Или по примеру отечественных, ныне радикальных кулаков он нажил бы десятки, а может быть, и сотни миллионов на ситцевой, сахарной, угольной, нефтяной наживе. Но Суворин был только писатель, писатель с головы до ног, как Лир был король с головы до ног. Божией милостию артист пера, Суворин со всей страстностью своей несколько южной крови, со всем упорством железной породы, выросшей на берегах Битюга, со всем бла-

городством героических предков шел к одной лишь цели — служить России. И он служил ей, пока смерть не прервала ему дыханье и пока свет не померк в глазах...

Пусть Россия наживет другого Суворина — и тогда почувствует, кого она сегодня хоронит.

ФАЛЬШЬ ТОЛСТОВЩИНЫ

10 ноября

По случаю второй годовщины смерти Л. Н. Толстого в разных городах была устроена вошедшая в обычай толстовская ярмарка, то есть в течение нескольких дней шла усиленная торговля кое-какими рукописями покойного, брошюрами, воспоминаниями о нем, и выставка разного домашнего хлама, называемого почему-то «музеем» имени великого романиста. Не обошлось без некоторых свойственных ярмарке полицейских беспорядков. Как мне приходилось писать, Толстой еще при его жизни был захвачен в плен жидорадикальной партией, которая сделала анархизм знаменитого старца предметом широчайшей аферы — политической и отчасти коммерческой. Помимо неустанной со стороны евреев борьбы с Церковью и государством, на их рынке сложился чисто коммерческий интерес «издавать Толстого». Ожесточенное столкновение двух издательских «прав», на сочинения Толстого отчасти и создало ту темную драму отношений, в которой запутался и погиб последний наш великий беллетрист. Перед самой смертью его заставили-таки изменить основной сущности учения, которым он так гордился, заставили признать частную собственность, заставили написать завещание для предъявления в государственном суде, то есть признать суд и государство, — заставили, таким образом, признать насилие государственное, что в самом фундаменте взрывает все здание его знаменитой доктрины. В водовороте двух издательских аппетитов сложилась довольно безобразная картина дележа знаменитого наследства: публичный скандал, где мать судится с родной дочерью, поездки родственников в Америку продавать усадьбу великого покойника, с его могилой и костями, хлопоты о государственной пенсии вдове анархиста — если нельзя оставшееся имение навязать втридорога государственной казне... Ни один из замечательных русских людей не умирал как Толстой — в столь невзрачной обстановке, устроен-

ной родными, поклонниками и друзьями. Что касается официальных поклонников, так называемых толстовцев, то незначительная группа их (незначительная и количественно, и качественно), пользуясь поддержкой жидокадетского лагеря, продолжает и после смерти спекулировать анархизмом своего учителя. Толстой был очень крупной единицей в русской изящной литературе. Этим он поддерживал и свое значение как философа-анархиста, и значение кучки нулей, жавшихся около него сбоку. Эта кучка нулей изо всех сил старается теперь вербовать другие нули, чтобы правдой или неправдой сколотить своего рода капитал анархии. Основатель фирмы умер, но фирма, видите ли, осталась под той же вывеской, причем преемники рекламируют себя с отсутствием уже всякой церемонности, к которой обязывали покойного писателя его воспитанность и литературный талант.

На толстовской «ярмарке» в этом году особенно любопытным предметом явилась впервые напечатанная в газете «Речь» статья Толстого «Благо любви». Статья написана 21 августа 1908 года, в один из тех довольно частых дней, когда Толстому казалось, что он находится накануне смерти. Ему хотелось оставить прощальное слово, завершающее его учение. Так как это слово написано за два года с небольшим до его смерти, то оно любопытно как идейный итог толстовского учения. Грубейший отрицатель церковной веры, государства, собственности и культуры вообще, не жалевший бранных, полных ненависти слов по адресу отрицаемой им жизни, Толстой впадал, как известно, в слезоточивую сентиментальность, когда говорил о любви. Подобно Н. Н. Неплюеву, Толстой думал, что, предлагая людям полюбить друг друга, он сразу разрешает всю бесконечно сложную формулу человеческого бытия. Прочтя названное прощальное слово Толстого, еще раз спрашиваешь: действителен ли его рецепт счастья? И проверен ли он сколько-нибудь Толстым на самом себе? Увы, если он проверен, то именно на Толстом дал совершенно обратные результаты.

«Милые братья, — пишет Толстой, — особенно те, кто теперь у нас в России борется за такое или иное *никому не нужное государственное устройство* (курсив везде мой. — *М. М.*). Нужно тебе, милый брат, кто бы ты ни был: царь, министр, работник, крестьянин, — нужно тебе одно. Это одно — прожить тот неопределенно короткий миг жизни так, как этого хочет от тебя Тот, Кто послал тебя в жизнь... Мне и страшно, и, главное, странно думать о той ужасной, ненавистнической жизни, которой живет теперь большинство людей, рожденных для любви и блага».

В чем же видит Толстой это «ужасное ненавистничество», отрав-

ляющее будто бы большинство людей? В том, прежде всего, что мы работаем, строим дома и выделываем разные товары. «Мы, — пишет он, — не находим ничего лучшего, как то, чтобы этот короткий, неопределенный, каждую минуту могущий прерваться миг жизни отдавать на то, чтобы, изуродовав (его) *двадцатиэтажными домами, мостовыми, дымом, копотью, зарыться в эти трущобы, лезть под землю добывать камни, железо для того, чтобы строить железные дороги, развозящие по всему миру не нужных никому людей и ненужные товары,* и главное, вместо радостной жизни, жизни любви, ненавидеть, бояться, мучить, мучиться, убивать, запирать, казнить, учиться убивать и убивать друг друга. Ведь это ужасно!»

Вот главное, что казалось «ужасным» Толстому накануне смерти: во-первых, «*никому не нужное* государственное устройство», во-вторых, *уродливые* будто бы двадцатиэтажные дома, мостовые, дым, копоть и лазанье под землю, чтобы добыть железо, нужное для постройки железных дорог, развозящих по всему миру будто бы «никому не нужных людей» и ненужные «товары».

Прав ли, однако, Толстой, что государственное устройство никому не нужно? Не говоря о странности того, что эта будто бы никому не нужная вещь принята всем человечеством с незапамятных времен, мы знаем одного знаменитого человека, который, написав целые томы о ненужности государства, почти тотчас же за этим обратился к этому государству со своим духовным завещанием... А до этого всю свою долгую жизнь Толстой носил графский титул, оберегаемый государством, жил в своем имении, оберегаемом государством, пользовался собственностью, оберегаемой государством, и многими государственными учреждениями, каковы почта, телеграф, денежные знаки и пр., и пр.

Прав ли Толстой, что «двадцатиэтажные дома» и «мостовые» заслуживают, чтобы ими ужасаться? Хотя Толстому не приходилось видеть подобных домов в России и этажей десяток с лишком он накинул для красоты слога — но неужели многоэтажные дома и городские мостовые, вообще говоря, хуже отсутствия всяких домов и всяких мостовых? Неужели жизнь человеческая была бы радостнее в пещерах и землянках, в невыразимой загаженности наших крестьянских изб, дворов и улиц?

«Дым и копоть» городов, конечно, скверная вещь, особенно для обоняния большого барина, родившегося в княжеской усадьбе своего деда и почти не выезжавшего из нее. Но статистика смертности говорит, что дымный Лондон *вдвое* более здоровый город, чем средняя русская деревня, — несмотря на густейшую копоть! Прав ли наш яснополянский пророк, будто никому не нужно лазание

под землю за железом, никому не нужны железные дороги, никому не нужны развозимые ими люди и товары? Но мы знаем одного знаменитого философа, который, написав о ненужности железных дорог и наконец решившись уйти из мира (или пойти в мир — до сих пор об этом спорят), прежде всего отправился на станцию железной дороги и купил билеты для себя и для своего спутника. По иронии судьбы, даже смерть пришлось ему встретить на железной же дороге, в комнате начальника одной отдаленной станции. Отрицается железо, но неужели каменный век, когда люди не лазили под землю за железом, был любовнее и радостнее нынешнего железного? Обработка каменных инструментов была гораздо тяжелее обработки теперешних железных, и люди гораздо чаще дробили друг другу черепа кремневыми топорами, чем железными. Прав ли также Толстой, что железные дороги развозят будто бы *никому не нужных* людей и *ненужные* товары? Скажи подобную сентенцию какой-нибудь безграмотный крестьянин, ее назвали бы просто глупостью; сказанная же знаменитым человеком, она готова сойти за особенную мудрость. Но что же, однако, тут мудрого — утверждать, будто пассажиры никому не нужны и что «товары» тоже сплошь не нужны? Самая значительная часть товаров у нас — сырье, и в особенности зерновой хлеб. Умно ли утверждать, что и хлеб, наконец, никому не нужен?

Прав ли Толстой, будто бы его «милые братья», то есть все люди, кроме него, только тем и занимаются, что ненавидят, боятся, мучат, мучатся, убивают, запирают, казнят, учатся убивать и убивают друг друга? Если бы это было так, то это было бы действительно ужасно, — но на самом деле ведь ничего подобного нет в натуре. Загляните в любую семью, в любую артель, корпорацию, в любую клетку общественности, и вы увидите, кроме известного процента преступных и вздорных людей, *подавляющее большинство не преступных*. Их трудовая жизнь движется с утра до вечера вовсе не ненавистью и не заботой о том, как бы убить друг друга, а, напротив, любовью к своим ребятишкам, привязанностью к родным и друзьям, чувством долга в отношении родины и вообще добропорядочными чувствами. «Милые братья, — вопит Толстой, — опомнитесь, оглянитесь, подумайте о своей слабости, мгновенности, о том, что в этот неопределенный короткий срок жизни между двумя вечностями или, скорее, — безвременностями жизни, не знающей высшего блага, чем любовь, подумайте о том, как безумно не делать, что вам свойственно делать, а делать то, что вы делаете». На это подавляющее большинство трудящихся и кормящих свои семьи людей справедливо ответят, что они делают именно то,

что им свойственно, и сколько в силах облегчают этим трудом жизнь и свою, и ближних, а вот философы-миллионеры, проповедующие в родовых усадьбах «неделание» и «непротивление», едва ли могут похвастаться даже этим скромным результатом трудовой жизни.

Раз навсегда надев черные очки и утратив, подобно всем анархическим отрицателям, способность видеть здоровое и прекрасное в жизни, Толстой сам глядит на мир крайне мрачно и умоляет всех смотреть такими же отравленными глазами. «Жизнь мира, человечества всего, как она идет теперь, — внушает он, — требует от вас злобы, участия в делах нелюбви к одним братьям ради других, не дает блага ни другим, ни вам». Но так ли это? Не есть ли это клевета на Создателя, сотворившего мир и человечество будто бы совсем уж скверно? «Об одном, — вопит Толстой, — об одном прошу вас, милые братья: усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть... Усомнитесь в той кажущейся вам столь важной внешней жизни, которой вы живете... все те воображаемые вами устройства общественной жизни миллионов и миллионов людей, все это ничтожные и жалкие пустяки в сравнении с той душой, которую вы сознаете в себе». На эти вполне бессодержательные и бездоказательные призывы «усомниться», то есть потерять остатки веры в жизнь как она есть, здравомыслящий читатель скажет: но что же, однако, делать после того, как признаешь жизнь отвратительной и нелепой? Вешаться, что ли? О нет, Толстой с величайшим пафосом против всех зол рекомендует *любовь*. «Поверьте, — говорит он, — что любовь, только любовь выше всего: любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни» и пр., и пр. «Милые братья, не смею говорить: "поверьте, поверьте мне", — не верьте, но проверьте хоть один день. Хоть один день, оставаясь в тех условиях, в которых застал вас день, поставьте себе задачей во всяком деле этого дня руководиться одной любовью. И я знаю, что, сделай вы это, вы уже не вернетесь к старому, ужасному, губительному заблуждению».

Вот спасительный рецепт Толстого — любовь. Правда, рецепт не нов, на нем лежит штемпель тысячелетий. Но если Толстой с таким жаром навязывает любовь, любовь, одну любовь вместо всякого государственного устройства, домов, мостовых, железных дорог и движения людей и товаров, если он уверен, что это единственный рецепт счастья, каждому доступный в любых обстоятельствах, то естествен вопрос: *достиг ли сам Толстой счастья*, применяя к себе этот рецепт? Великие праведники, начиная с Будды и Сократа и кончая Серафимом Саровским, сами достигали блаженства, приме-

няя к себе свое учение. Спрашивается, счастлив ли был Толстой в те годы и те дни, когда он писал свое прощальное слово о любви как единственном секрете счастья? Ближайший друг Толстого В. Г. Черткoв дает к статье «примечание», чрезвычайно важное, в котором с головой выдает и самого пророка, и всю обстановку, в которой он умирал. Оказывается, когда Толстой писал о «Благе любви», он был «тяжко болен», а «болезнь эта, как и все почти серьезные заболевания в течение последнего десятилетия его жизни, явилась прямым последствием потрясения... в связи с *мучительно-тяжелыми условиями его семейной жизни* и окружавшей его обстановки. Условия эти... по временам так усложнялись и обострялись, что становились ему почти невмоготу». Толстой много раз порывался бежать из семейного ада, но, желая быть праведным, «оставался на своем посту и продолжал нести свой крест». «Но, оставаясь дома, в той же гнетущей обстановке, он все больше и больше убеждался в невозможности малейшей перемены к лучшему... Тогда под влиянием почти полного истощения сил он начинал мечтать о смерти как единственном доступном для него избавлении, а телом его, изнуренным от нервного и сердечного переутомления, овладевала болезнь...» Именно в 1908 году, по свидетельству г-на Черткова, он «переживал период особенно острых душевных страданий».

Но, может быть, г-н Чертков преувеличивает семейную неурядицу в семье Толстых из издательской вражды к Софье Андреевне? Нет, им приводится подлинная выдержка из дневника Толстого за 1908 год: *«Все так же мучительно, жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена...* Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть... *Я не могу долее переносить этого*, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду...» И такое *отравленное*, «вполне отравленное» состояние тянулось, если верить г-ну Черткову, не годами, а *десятилетиями,* именно «в течение последних десятилетий его жизни», когда он выступил с учением любви. Тогда-то именно его жизнь и сделалась «вполне отравленной», до нервного истощения, до болезней, до отчаяния, до желания смерти как единственного выхода, до беспорядочного бегства, наконец, зимней ночью тайком от семьи куда глаза глядят. Спрашивается, если рецепт любви так легко осуществим и чудотворен, то почему Толстой не применил этого спасительного средства к своей ближайшей обстановке? А если он применял, что несомненно, то почему же результаты получились вполне отрицательные?

Вопрос этот я считаю роковым для толстовской проповеди как

пророческой. Это та ледяная глыба, на которой идет ко дну своего рода «Титаник» современного христианского анархизма. Всякий честный человек воочию видит, что пророк, метавший громы на государство, Церковь, цивилизацию, семью, брак, собственность, науку, искусство и пр., и пр., не мог устроиться сколько-нибудь покойно даже в своей родной семье, в родовом имении предков. Пророк, проповедовавший один рецепт — любовь, у себя же дома был отравлен такой враждой, которая его, 80-летнего старца, заставляла мечтать о смерти. Это было как раз за неделю до пышного толстовского юбилея, когда реклама, пущенная евреями на весь свет, рисовала нашего философа блаженствующим в кругу любимой семьи, под охраной ангела-хранителя, когда-то воспетой им очаровательной «Кити»... Взвесив все это, не кажется ли вам, что Толстой *не имел права говорить* о всемогуществе любви, когда целыми десятилетиями убедился на себе же в бессилии этого средства? Именно тут, мне кажется, фальшь толстовщины бьет в глаза с особенной силой. Основная фальшь здесь в том, что *любви нельзя учить*, как бесполезно вообще «проповедовать» силу, ум, здоровье, красоту. Эти прекрасные состояния — большая роскошь природы, они достигаются долгой культурой и совокупными усилиями всего рода человеческого. Именно для достижения когда-нибудь общей любви, гениальности, здоровья, красоты и т. п. и служат великие отрицаемые Толстым учреждения — государство и Церковь. Именно любовь или, по крайней мере, мир и есть цель отрицаемой Толстым трудовой цивилизации. Сделаться любящим (то есть святым) столько же в нашей власти, сколько сделаться красивым, если вы уродились безобразным. *Здание* человеческого счастья, мне кажется, дается лишь рождением, — нам лично доступен только кое-какой *ремонт*. Вся драма Толстого в том, что, не будучи от природы добрым, он хотел во что бы то ни стало сделаться добрым. Крайне нетерпимый, гордый, раздражительный, способный ненавидеть, как и любить, от всего сердца, он связал свою судьбу с людьми такого же приблизительно характера, и в результате кроме многого счастья пережил все больше дрязг. Вот отчего роль пророческая ему не удалась: он не родился пророком.

1913 год

ЗАВЕТЫ ВЕКОВ

21 февраля

Сегодня Россия поздравляет Государя своего и себя с большой исторической победой: победой времени. Прожить три столетия даже для великого государства не шутка. Три столетия — почти целая треть нашей истории народной. За эти три века исчезло немало тысячелетних родов, развенчано немало династий, наконец, некоторые большие народы сошли со сцены или отступили на задний план. Россия же милостию Божией и благородством предков, отстаивавших мужественно свою родину, не только держится, но за эти три столетия возросла и возвеличилась, заняла положение одной из немногих на земле великих держав.

Милость Божия обеспечена каждому народу, достойному этой милости. Что касается *блага и долголетия* на земле, то в древней заповеди указано вполне определенное *условие* их достижения: *«Чти отца твоего и матерь твою»*. Это значит: уважай предков своих, дорожи их наследием — нравственным и материальным, относись с священным чувством к разуму, накопленному в веках, — и наградой за все это явится счастье и долголетие на земле. В торжественный день, который мы переживаем, нелишне вдуматься в эту заповедь консерватизма, указанную в качестве разгадки счастья и долголетия. Именно в этой заповеди таится секрет государственного и национального могущества и залог достижимого на земле бессмертия.

Что повергло Московскую Русь в ужасы междуцарствия и самозванщины? Слишком заметное отступничество от некоторых заветов предков. Что спасло Россию и возвеличило? Возвращение к этим заветам. Напрасно думают, что эпоха Ивана Грозного была глубоко консервативной, а век Петра Великого — ярко прогрессивным. Это совершенно неверно, если оценивать тогдашнюю жизнь по существу. <...>

Избрание Романовых потому и оказалось спасительным для России, что с ними вернулись древнее единение и древние начала власти — власти благочестивой и с народом согласной. Опять, как

при святом Владимире и святом Александре Невском, около любимых монархов видим собор лучших стихий государственных — духовенство, бояр и земских выборных. Никогда в истории не бывает так, чтобы в одну эпоху действовали только созидательные начала, а в другую — только разрушительные. Всегда действуют и те и другие, но в один период преобладает творчество, в другой — разрушение. И в XVI столетии Русь одновременно крепла и разрушалась, но последний процесс возобладал. Он привел к анархии Ивана Грозного и самозванщине (самозванцами, строго говоря, следует считать не одних «воров» Лжедмитриев, но и Бориса Годунова, и Василия Шуйского, и Владислава). То же и при царях Романовых — не сразу возобладали устроительные начала. Чрезвычайно сильными оказались семена смуты. Злой рост их мы видим поднявшимся при Алексее (в разных мятежах и расколах), при Петре и его преемниках. Но важно то, что творческие начала все-таки стали перевешивать анархические и государство продолжало — хоть и не слишком быстро — возрастать.

Петра Великого справедливо считают душой новой династии, раскрывшей главную необходимость народную — в культурной реформе. Была ли эта реформа отступничеством от заветов предков? В некоторых отношениях — да, в других — нет. Несомненно, Петр Великий напрасно пожертвовал многим великим, что заключала в себе наша средневековая старина, — патриаршеством, боярством, земским собором и пр. Но, с другой стороны, общий дух его реформы отвечал главному завету предков — величию России. Нельзя было считать истинным консерватизмом то, что наши предки коснели в невежестве. Наоборот, следовало счесть, как это и сделал Петр Великий, не невежество, а *просвещение* главным заветом предков, наиболее обязательным для потомства. Подобно святой Ольге и святому Владимиру, которые некогда приобщили новгородско-киевскую Русь к современной им христианской цивилизации, Петр Великий и Екатерина II приобщили Россию к неохристианской культуре. Последняя основана на эпохе Возрождения, на развитии наук и искусств, на утверждении идеи права и закона. Самые отдаленные предки — и святая Ольга, и святой Владимир, и Ярослав Мудрый, и Александр Невский — благословили бы культурную реформу Петра, если бы они были в живых, и не сочли бы ее нарушением своих заветов. Как принятие артиллерии и ружей не было антинациональным еще и за триста лет до Петра, так и заведение им флота и регулярной армии. <...> Михаил и Алексей с трудом собрали русское царство из развалин, Петр Великий дал ему культурную душу и поставил на великодержавное место в мире. Но,

к сожалению, некоторые древние заветы при этом были пренебрежены, и вследствие этого снова Русская земля, хотя и возрожденная, омрачилась отсталостью и смутами, до сих пор не перестающими терзать Россию.

Вступая в четвертое столетие династии Романовых, Россия имеет случай торжественно повторить свои благословения и заветы, данные три века тому назад. Если три века назад вся земля добровольно и единодушно призвала к правлению благочестивый род, то необходимо и теперь столь же искреннее и свободное в этом единодушие. Если тогда во главе народа шла Церковь с патриаршеством и освященным собором, то хорошо будет, если и теперь права Церкви будут поставлены на прежнюю верховную высоту. Если тогда боярство и земщина входили в систему, на которую опиралось самодержавие монарха, то хорошо будет, чтобы на тех же основаниях это было продолжено и в глубь веков. Нет сомнения, что тогдашние и теперешние условия чрезвычайно различны — они резко изменились и к худшему, и к лучшему. Эти изменения должны быть непременно приняты в расчет, ибо действительность должна быть основой факта, — тем не менее и в действительности ведь есть две стороны: хорошая и дурная. Нельзя строить возрождение Церкви на современном неверии и агностицизме. И патриаршество, и церковный собор возымеют действие лишь при условии той свободы проповеди, которая когда-то превратила языческий народ в православный, назвавший себя Святою Русью. Без свободы проповеди, без апостольского подвига и мученичества невозможно восстановление народной веры. Точно так же нельзя строить возрождение аристократии на развалинах бюрократического класса, традиции которого потеряли и феодальную, и культурную почву. Очевидно, необходимо оживить те способы, какими когда-то в древности создавалась аристократия, то есть способы не служения только и не породы, а действительного отличия. Нельзя так же строить восстановление народного совета на отживших московских началах. Теперь у нас другая земля и другая земщина; другими должны быть и принципы народного представительства.

Все остается, все портится и все отмирает, но бессмертие состоит в *возвращении к источнику*. Когда падает Церковь, государственность и народность, спасение в одном и том же: верните их к первоначальным заветам, и этим вы воскресите их. И революционеры, и реформаторы правы в том, что падающая жизнь должна быть изменена. Они только не правы в путях этого изменения и в целях его. Революционеры пытаются совсем отменить и Церковь, и государственность, и народность. Реформаторы довольствуются лишь

легким ремонтом развалин. Между тем необходимо, как писал перед смертью своей Достоевский, *возвращаться к корням*. Это единственный консервативный способ прогресса. Поглядите на живую природу. Одряхлевшее растение и одряхлевшее животное восстановляются через новое зачатие, новое рождение и новое младенчество. Необходимо, чтобы и у нас, в России, беспрепятственно действовал тот же закон, что освежает всякую здоровую цивилизацию, — закон возвращения к заветам предков.

Около двух тысяч лет назад античный мир разлагался в пороках и преступлениях. Что спасло его? Первобытная добродетель христианства и первобытная простота германских варваров. Затем возникла сильная цивилизация средневековья, но через тысячу лет и она одряхлела в суевериях и грубых нравах. Чем же спасена была Европа? Возрождением, восстановлением древней языческой красоты и мудрости, то есть еще раз возвращением к заветам предков. Все прекрасное, что мы называем классическим, отрыто из могил. Всего лишь несколько поколений, воспитавшихся на древних классиках, и вот европейцам XV—XVI веков неудержимо захотелось плавать по океанам, как плавали некогда греки и карфагенцы, совершать открытия на манер финикийцев, исследовать далекие края и огибать материки по примеру египтян. Воскрешающим возгласом, своего рода: «Лазаре, гряди вон!» — было раскрепощение мысли под влиянием древних авторов. Толчок этого развился в неудержимое, до сих пор не затихшее движение. Новые европейцы не только приняли культуру древних, но и повели ее дальше. Обновилась, «яко орля», юность арийских племен, и они в несколько поколений не только догнали, но бесконечно превзошли предков. То же повторилось в Америке и Австралии: добросовестно приняв начала европейской трудовой культуры, заокеанские миры обогнали европейскую родину и бодро идут куда-то в безграничную даль. Это не измена предков, а, наоборот, исполнение пятой заповеди. Ибо чем же больше можно почтить родителей, как не достижением того, что тем казалось сказочной, недоступной мечтой?

И при избрании Рюрика, и при избрании Михаила предки наши одержимы были одним пламенным желанием: завести порядок в России и тем спасти нашу национальную независимость. Завести порядок значит угадать естественный, органический закон и подчинить ему народную стихию. Если закон угадан верно, то он столь же благотворен, сколько нетруден для осуществления. Раз встречаются трудности и непреодолимые препятствия, это доказывает, что или закон угадан неверно и противен жизни, или власть не имеет настойчивости, чтобы испытать его. Мы сейчас находимся в полосе

истории, когда законы вырабатываются с чрезвычайной продолжительностью, доходящей до десятков лет и даже столетий, причем иногда мудрые законы, запаздывая, отстают от жизни и являются неприменимыми. Государственный суд, стоящий на страже закона, стеснен до крайности неразработанным законодательством, с одной стороны, и чрезмерной преступностью — с другой. При самых благих намерениях администрации и она часто бывает парализована плохим или недостаточным законодательством и анархией, возникающей из этого недостатка. Было бы недостойно закрывать на это глаза, и было бы малодушно страшиться этого; на теперешнем поколении лежит долг исправить все эти недостатки, так как по существу своему они исправимы. Спрашивается, какой путь был бы бесспорно одобрен предками, если бы они могли подать свой голос из царства теней?

Что касается законодательства, мы уже вернулись к древнему обычаю предков — не издавать законов иначе как с одобрения народных представителей. Если народное представительство, введенное поспешно и с неизбежными погрешностями, будет внимательно исправлено и доведено до законченности своей идеи, то, вероятно, законодательство наконец наладится и станет удовлетворительным. Если будет поднято значение Церкви и школы и если правительство сумеет дисциплинировать народ широкой организацией труда и отрезвить его, то сам собой наладится и суд. Наконец, при правильном законодательстве и бодро действующем суде облегчится и роль исполнительной власти. Управляет нацией всегда лишь едва заметная группа лиц. Совершенно невероятно, чтобы в столь огромной стране не нашлось нескольких тысяч людей повышенной совести и повышенного политического таланта. Призвание их к власти было бы лучшим восстановлением последней.

Оглядываясь на истекшее трехсотлетие царствующего Дома и принося благородным предкам глубокую благодарность, Россия сегодня повторяет их заветы и свои обеты. Да царствует державная власть Романовых на славу нам и на страх врагам! Да будет благословен мир народный и честный труд! Да будут божеские законы, переданные предками, законами потомства в долготу веков! Трехсотлетие Дома царя Михаила Россия празднует еще на высоте мирового могущества и независимости народной. Пожелаем, чтобы не было для России ступеней вниз. Пожелаем, чтобы каждое столетие было подъемом вверх, расширением русской царственности и славы, расширением счастия народа, исполнением долга, для которого и он призван в мир.

ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО

23 февраля

Помянув с благодарностью все великое, что было в прошлом, невольно обращаешься к будущему, ибо «сердце будущим живет». За истекшие триста лет Россия многого достигла, но далеко не *всего*. Общее впечатление такое, что и теперь, как триста лет назад, мы находимся на переломе истории, на пороге громадных, еще не осуществленных возможностей, которые могут или низвести Россию в пучину бедствий, или, наоборот, придать ей новое, несравнимое с прошлым величие. Многое сделано. Но что еще *осталось* сделать, дабы потомство наше встретило новые государственные юбилеи с более удовлетворенным и гордым чувством?

Со стороны и внешнего, и внутреннего благополучия нынешняя Россия (правда, в более огромном масштабе) напоминает Московскую Русь, вышедшую из великой Смуты. Внешний враг отражен, крамола подавлена, но все еще чувствуется напряженное давление и внутреннего революционного духа, и внешней жадности. Как и в начале XVII столетия, ближайшие западные и восточные соседи наши, видимо, очень желали бы использовать нашу временную слабость. Роль Польско-Литовского государства как бы перешла теперь к Австро-Венгерской монархии, роль Швеции — к Германии, роль крымского хана и непокорных азиатских орд перешла к Японии и Китаю. Если Россия сильно выросла за триста лет, то в чудовищной степени выросли и соперничающие с нами стихии.

При всем миролюбии нашем нельзя забывать, что жребий войны и мира в руках Промысла, и совершенно невероятно, чтобы в следующие триста лет мы не были вынуждены воевать. Напротив, элементарный здравый смысл повелительно убеждает, что войны как были, так и будут, и если вконец расстроенное нашествиями и мятежами царство Михаила Феодоровича не обошлось без войн, то, наверное, придется воевать и нам, и может быть, в ближайшем будущем. Странно было бы, если бы столь великое существование, как Империи Российской, ровно ничего не стоило народу и не требовало бы от него ни малейших жертв. Мы присутствуем при новых титанических вооружениях ближайших соседей, не скрывающих, что эти вооружения направлены чуть ли не главным образом против нас.

Худо ли, хорошо ли, Московская Русь, оправившись от Смуты, разбила всех своих соседей. За эти триста лет Россией многократны-

ми победами сокрушены три великие державы XVI века — Швеция, Польша и Турция. Да сверх того, одержаны были блестящие победы над Пруссией Фридриха Великого, над Францией Наполеона I, завоеваны Крымское царство и необъятные владения в Азии. Если бы история повторялась, то в предстоящие триста лет нам пришлось бы то же самое сделать с немецкими и монгольскими империями, что мы сделали с заслонявшими их народами. Кто знает, может быть, это и совершится. Желая своей родине счастья и славы, я вовсе не хотел бы новых несчастных войн — я только желаю, чтобы все *неизбежные* войны являлись победоносными для нас. Войны подобны болезням: все лучше не болеть, но раз вы заболели, непременно нужно одолеть болезнь, и к такому сокрушению всех болезней следует заранее подготовиться с величайшим старанием. После иных болезней, если они преодолены, хворавший организм расцветает с еще большей силой, ибо, истребляя одного явного врага, природа наша тем же крайним напряжением губит немало тайных, зачаточных врагов, незаметно подгрызавших корни здоровья. Я не думаю, чтобы нам, при всем миролюбии народа русского, удалось избежать войны с Австрией и с Китаем. Как первым царям Романовым нужно было от Польши возвратить «отторженную» Белую и Малую Россию, так и нашему потомству предстоит вернуть от Австрии до сих пор плененную вотчину святого Владимира — Червонную Русь. Можно не спешить с великими историческими задачами, но забывать их вовсе не следует. Нынешним ли летом грянет война с Австрией, или в 1915 году, или в 1925-м, мы должны готовиться к великому поединку с вполне определенной задачей — остаться победителями.

Я лично не разделяю мечты славянофилов о создании великой славянской империи («Славии», как неудачно называют ее славянофильствующие чехи). Следовало бы сделать все нетрудное, чтобы такая империя осуществилась, но *добиваться* во что бы то ни стало ее, рискуя своим существованием, у России нет оснований. Германская империя потому сложилась, что она уже существовала свыше тысячи лет, хотя и в крайне своеобразном, близком к анархии виде. Сложиться нетрудно тому, что заложено в потенции, к чему недостает лишь толчка для соединения. Славянской империи, к сожалению, никогда не было. Отдельные славянские народы не обнаруживали никакого химического сродства. Они не тянулись друг к другу, а скорее были заряжены силою отталкивания и расхождения. Если бы маленькие славянские народы, высвободившиеся из-под гнета Турции, помогли таким же маленьким славянским народам высвободиться из-под власти Австрии, то в благодарность за нашу

помощь при этом, может быть, явилась бы мысль о славянской федерации. Противиться такой мысли в будущем, конечно, не следует, но и ставить ее серьезной целью нет причин. Собственно, мы, русские, ничего не ищем в славянстве, кроме одной лишь подъяремной Руси. Только русское племя должно быть воссоединено с Россией; остальные же славянские племена, как достаточно показывает пример Польши, не составляют выгодного для нас приобретения, и едва ли они сами желают вечного с нами союза. С внешней стороны Россия могла бы быть совершенно удовлетворена, если бы через триста лет граница наша с Западом опиралась на Неман и на Карпаты и на свободный выход из Черного моря. Подвинуться к западу еще столько же, сколько мы подвинулись за истекшие триста лет, и невозможно, и не нужно. Трудно допустить также слишком большое расширение нашей державы и в Азии, хотя самый ход вещей, может быть, вынудит нас дойти к югу до Персидского залива, а в центре Азии — до Великой Китайской стены и Гималаев. Если на западе мы соседствуем с густонаселенными и твердо сложившимися национальностями, то на юге и востоке до сих пор наша граница не имеет прочного упора, колеблясь в пустынных или полупустынных, охваченных всегдашней анархией пространствах. Важнейшей задачей будущего является разделение белой и желтой рас, и, вероятно, в Азии нам предстоит еще немало войн. Пожелаем, чтобы мудрая государственная власть обеспечила обиженному природой народу русскому побольше места под южным солнцем. Если мы навеки лишены незамерзающих океанов (воздухоплавание сгладит этот недостаток), так пусть, по крайней мере, будет упрочено за нами побольше тепла и света на материке. Раздел земного шара начался еще до Романовых, он продолжается и теперь, и, вероятно, XXI век увидит человечество окончательно размежевавшимся. Нашему поколению и ближайшему потомству следует напрячь все усилия, чтобы не лишиться приобретений предков, а умножить их. Если для нас прошли века завоеваний, то еще не прошло время, когда ближайшие слабые народы сами стремятся под наше покровительство. Подобно Хиве и Бухаре, под крыло России жмутся Монголия, Маньчжурия, Тибет, Персия, турецкая Армения. Тяготение это нужно использовать более искусно, чем мы использовали в свое время тяготение к нам балканских славян.

Обратимся к внутренним задачам. Чего следует страстно желать и чего добиваться в ближайшее столетие?

Первейшей из великих задач я считаю организацию труда народного. Так как труд есть единственный источник средств, то прежде всего следует расчистить этот источник и дать полный выход народ-

ной энергии. Надо поставить основной целью то, *чтобы сто миллионов пар рабочих рук ежедневно работали в России до утомления.* Пусть треть населения Империи — дети, слабые женщины, старики — будет свободна от тяжелого труда, но остальные две трети нации должны вставать рано утром для того, чтобы, по крайней мере, половину дня работать с кипучим одушевлением. Труд не только дает богатство, которое страхует жизнь от бедствий нищеты, — труд дисциплинирует душу, труд просвещает, труд дает благородный облик, уподобляя человека Творцу. Только трудящийся человек нечто создает — праздный всегда истребляет, и сумма праздных граждан в период их рабочей способности всегда напоминает армию Тамерлана, рассеянную по стране. Они поедают, подобно саранче, то, что не сеяли. Перерождая людей в паразитов, праздность развращает высшие слои общества до злодейского типа прожигателей жизни вроде Долматовых и Гейсмаров и развращает низшие классы до дикого хулиганства. Расстройство труда народного, раскрепощенного пятьдесят лет тому назад, составляет опаснейшую язву народной жизни. Борьба с этой язвой, к счастью, ведется, но недостаточно энергически, ибо преступность — дочь праздности — все растет и растет. Только в нынешнее царствование предпринята великая реформа землеустройства. Она составит самую светлую страницу нашей истории, но она уже сейчас обессилена отсутствием необходимых законов — вотчинных, полицейских и судебных. Недавно же приступлено к государственному страхованию рабочего труда, к организации мелкого кредита и народных сбережений. Хотя уже чувствуются бесспорно благие результаты этих начинаний, но последние тормозятся общей бюрократической обструкцией нашей жизни. Раскрепощение крестьянства из губительных условий общины необходимо, но столь же необходима *немедленная* забота о том, чтобы хуторское хозяйство обеспечено было от разбойничества деревенской черни, от ростовщического кредита, от крайнего дробления переделов, от инерции слишком низкой хозяйственной культуры и от многого другого, что разрушает здоровую ткань народную. Нужно ли прибавлять, например, что, оставляя ужасающее народное пьянство в теперешнем виде, правительство обрекает все — даже величайшие — реформы свои на верную гибель?

Борьба с пьянством народным должна составить одну из благороднейших задач власти, и эту борьбу нельзя откладывать на дальнейшие века. Необходимо, как при пожаре, действовать немедленно и не жалея сил. Собственно, и великая московская Смута, юбилей победы над которою мы празднуем, возникла в значительной степени на почве пьянства. Хотя спирт проник в Россию одним лишь

столетием раньше Смуты, но при легкости и дешевизне выработки он в одно столетие привел к развитию пьянства, прямо чудовищному. И русские бытописатели, и проповедники, и иностранцы отмечают безобразные формы пьянства того времени: не только простолюдины, но даже священники валялись пьяными по улицам. Рабочие люди пропивали все и поступали в кабалу, знатные люди опивались до смерти. Возможно, что именно этот разлив пьянства способствовал упадку благочестия и государственной дисциплины, что облегчало для авантюристов того времени способы бунтовать городскую чернь, казачество и крестьянские массы разными соблазнами самозванщины. Несомненно, что и нынешнее развитие в народе разбойного и мятежного духа стоит в теснейшей связи с алкогольным вырождением, отмечаемым учеными-психиатрами. Пока правительство не возымеет мужества осознать пагубность теперешней питейной политики, все остальные заботы о народных массах будут оставаться призрачными.

Величайшей задачей государственности в либеральных кругах считается борьба с невежеством, выражающаяся в постройке бесчисленных школ и в обязательном обучении детей. Я думаю, что ходячие взгляды в этом деле ошибочны. Школы, как они у нас поставлены, не дают образования, и грамотные крестьяне часто более невежественны, чем безграмотные. Безграмотные крестьяне путем непосредственной передачи народной мудрости и морали узнавали от старших поколений многое, что возвышало ум и душу, что просвещало совесть и облагораживало поведение. А необходимость трудиться с лет младенческих обогащала множеством сведений и практических искусств. Нынешняя школа, где грамота сближает детей с дурной литературой, дает множество пустых и ненужных знаний, а многих необходимых народу не дает. Учителя народные, сами обученные на плохих книжках, передают бессодержательность своего мнимого образования и крестьянским детям, и в результате грамотный крестьянин вступает в жизнь часто менее религиозным, менее нравственным, менее приспособленным к труду, чем неграмотный. Не лишено значения и то, что деревенская школа, подобно средней и высшей, делается часто орудием противогосударственной и противорелигиозной пропаганды. Озверевший до преступности деревенский и городской пролетариат отличается повышенной грамотностью. Босяки, герои Горького, «бывшие люди» — все грамотные и развитые. Все это говорит о том, что великая задача просвещения народного в наступающий четвертый век Царствующей Династии должна быть обдумана более строго: как бы вместо добра из нашего просвещения не вышло худа. Мне кажется, народ нуждается прежде

всего в семейном и религиозном воспитании, затем в постепенном втягивании молодых поколений в практический труд, грамота же является благом лишь при условии, когда народу предлагается священное слово, а не поганое, и действительно полезное знание, а не шарлатанская чепуха. Отрезвлением народным и организацией народного труда можно поднять нравы вообще и семейный быт в частности. Строгим законодательством и полицейской охраной можно подавить анархию. Раскрепощением веры можно поднять религиозный дух в народе <...>. В России необходима великая религиозная реформа, и дай Бог, чтобы падающий до хулиганства народ вернулся к благочестию своих прадедов...

Трехсотлетний юбилей Дома Романовых мы отпраздновали при зачатии нового народного представительства и при тяжком раздумье о возрождении Церкви через патриаршество. Нельзя сделать предсказаний слишком решительных ни для восстановленного в новых формах «земского собора», ни для все еще ожидаемого канонического уклада Церкви. Ведь все великие учреждения черпают свое величие не из декрета, а из общественного духа, которым они определяются. Будь наше племя не столь перемешано инородчиной, а более породистым и национальным, оно было бы, может быть, талантливее и сильнее характером. Будучи талантливее и тверже духом, оно создало бы более зрелую общественность, а не столь стихийную, как теперь. И государство, и общественная культура давно бы выработались в более определенных и более художественных формах. Достаточно сильный политический инстинкт создал бы потребность в народном представительстве более напряженную, и мы вместо зачаточного парламента давно имели бы вполне созревший. Достаточно сильный религиозный инстинкт создал бы неодолимую никакими канцеляриями потребность в более торжественном культе, и мы давно имели бы и патриарха, и собор епископов. <...> Да будут последующие столетия благоприятнее истекших. Да пошлет нам Господь правящий класс, одушевленный национальным разумом и государственным патриотизмом. Состояние России чрезвычайно запутанное, но нет таких запутанных состояний, с которыми не справился бы человеческий гений. На переломе веков, владея державной мощью, народ русский должен проклясть свое малодушие, праздность, пьянство, невежество, цинизм, влекущий к преступности. Все падающее пусть падает и проваливается в вечное забвение; все же способное восстать из мертвых пусть призовет имя Божие и память благородных предков и деятельно выступит за лучшее будущее. Лучшим же будущим следует считать такое, когда народ будет неустанно трудолюбив, свободен, трезв, честен, про-

свещен религией и любовью к родине, заслуживающей этой любви. Еще триста лет тому назад мировые условия вынудили нас вступить в состязание с культурными народами. Из века в век это состязание делается более трудным и сложным, захватывая все свойства племени, физические и интеллектуальные. Будем так жить, чтобы через три века никому на свете не завидовать, а возбуждать лишь зависть и общее уважение народов.

НИ ТВОРЧЕСТВА, НИ ПОДРАЖАНИЯ

30 марта

Наша крайняя незадачливость в политике — одинаково и внешней и внутренней — заставляет спрашивать: в чем же, однако, дело? В чем основной секрет этого странного неудачничества, слишком затяжного, чтобы не вызывать тревогу? Стоит задать себе этот проклятый вопрос, чтобы потонуть в ответах. Громадное явление, какова судьба народная, хотя и просится под какой-то алгебраический *x*, но этот *x* в действительности развертывается в бесконечно сложное уравнение. Что сводить к жалким итогам энергию народа, его талант, здравый смысл и совесть? Сравнительная незначительность этих качеств или преобладание противоположных им? Не вдаваясь в дебри этого вопроса, я позволю себе высказать не столь обидную для нашего народного самолюбия мысль: неудачничество наше, может быть, есть просто результат сравнительного невежества и ничего больше. Если западные (а иные и восточные) народы устроились удачнее нас, то главным образом потому, что они дольше нашего находились под влиянием старых и умных цивилизаций, больше учились, больше накапливали точных знаний, и дисциплина опыта перешла у них более прочно в инстинкт, в народный характер. Что такое сила характера, которой иностранцы, несомненно, превосходят нас (по мнению Лебона[1], только в этом и состоит их превосходство пред нами)? Может быть, сила характера есть просто сгущение сознания, уплотнение идей до степени воли. Вспомните теорию idées forces. Воспитание не только отдельных людей, но и народов, как справедливо выражается тот же Лебон, есть превращение сознательных состояний в бессознательные. Наш народ в об-

щем значительно меньше своих западных соседей учился, и результат обученности — понимание — у него стоит ниже, чем у них. Могут сказать: наш народ сравнительно невежествен, зато образованные классы в просвещении нисколько не уступают западным. Русская интеллигенция отличается высоким и разнообразным развитием. Русская литература блещет — или, по крайней мере, блистала недавно — талантами, которым завидуют на Западе. На страже государственности нашей стоят отменно воспитанные, тонко-культурные люди. При знании иностранных языков им открыт всемирный опыт ничуть не меньше, чем германским и французским государственным людям. Все это так, отвечу я, но действительность показывает, что это не спасает нас от неудачничества. Названные русские тонко-культурные люди именно тем и отличаются от западных, что имеют слишком тонкий слой культуры вместо сравнительно толстого, зато более мощного, имеющегося на Западе. Что касается широкого будто бы умственного развития нашей интеллигенции, то это развитие отдает поверхностным дилетантизмом. Еще Гончаров («Фрегат "Паллада"») отмечал, насколько английские инженеры кажутся тупыми и односторонними в сравнении с нашими; в то время как наши инженеры могли философствовать о чем угодно, английские всей душой погружались, точно в колодец, в свою специальность. Полстолетия английского и нашего инженерного прогресса показали, на чьей стороне было преимущество развития. Математик и кавалерист Хомяков занимался богословием, артиллерист Лавров — философией, лесовод Шелгунов — политическими вопросами и пр., и пр. В результате столь распространенной наклонности заниматься не своим делом явился широкий развал и Церкви, и народного быта, и разных отраслей государственности. Трудно быть точным, где нельзя опереться на цифры, но, по-видимому, не одна интеллигенция наша страдает верхоглядством. Этот порок, к сожалению, встречается и в том слое общества, который составляет наш командующий класс. Бесконечная возня с выработкой законов, причем самая незначительная тема перебрасывается с рук на руки многочисленными комиссиями в течение десятков лет, — что это такое, как не следствие общего невежества? Как английский хронометр, выброшенный после кораблекрушения на дикий берег, становится загадкой для многих поколений дикарей, так и иной государственный закон, выброшенный на канцелярскую волокиту. Неполнота понимания заставляет передавать его из рук в руки, причем накопление темных догадок нисколько не уясняет дела. Что нужно было бы дикарям для постижения чуда, именуемого хронометром? Простого часовщика, не более. <...>

Не имея настолько пытливости, чтобы не переставать учиться, мы рвемся к творчеству, презирая подражание. Это, мне кажется, большой и непоправимый грех. Творчество — что ж об этом спорить? — это высшая роскошь природы, но оно отпускается такими мелкими дозами, что даже на Западе не служит методом государственной и общественной деятельности. Даже на Западе если бы рассчитывали на одно творчество, то жизнь сразу остановилась бы в миллионах точек. Если же она движется, то благодаря лишь честному *подражанию,* то есть добросовестному повторению чужого опыта. Каждый выдавшийся результат на Западе стараются укрепить повторением; ждут нового накопления изобретательности, чтобы продвинуть технику дела еще на одну линию. При этом культурнейшие народы с алчной жадностью высматривают друг у друга все гениальное и уворовывают без зазрения совести. Юбиляр, которого Петербург собирается на днях чествовать, В. В. Андреев[2], рассказывал мне, какую великую сенсацию произвела в Англии и Америке его, казалось бы, столь бесхитростная музыкальная машина. У нас, на родине балалайки, этот инструмент оставался сотни лет в пренебрежении, но открытый В. В. Андреевым ключ к этому сокровищу звуков нигде не был так мгновенно понят и оценен, как практическими англо-американцами. Они сразу сообразили чрезвычайные выгоды простоты и общедоступности балалайки и не только приняли инструмент, но чуть было не похитили у России и самого проповедника балалайки. Подобно лампочкам Яблочкова и Лодыгина, много русских «счастливых идей» расхватано иностранцами на корню и возвратилось в Россию уже в культурно разработанном виде.

Творчество — вещь великая, но если вдуматься в его психологию, вы увидите, что творчество есть почти всегда продукт настойчивого и честного подражания. Доводите подражание до крайнего напряжения — и вы непременно закончите чем-то новым; оригинальность прорвется, она есть не более как сверхбанальность. К глубокому сожалению, нашему обществу недостает основной добродетели — скромности. Мы почему-то в делах государственных, а часто и в практических не хотим подражать чужому опыту, а стараемся изобрести что-нибудь свое, доморощенное. К сожалению, для изобретений нужна изобретательность; она же даром не дается, она составляет обыкновенно награду долгой и устойчивой культуры. Да и нельзя одну и ту же задачу решать на разные лады, или придется решать ее неверно. Я думаю, не столько национальная гордость, сколько национальная лень и отсутствие любопытства не позволяют нам настойчиво искать примеров, достойных подражания, и, найдя их, усваивать весь их разум. Плохое творчество, видите ли,

гораздо легче хорошего подражания. Тяп-ляп — вышел корабль, но такой «корабль» не идет дальше речной барки, на которой привозят дрова в Петербург. Гораздо труднее, подражая иностранцам, построить дредноут.

По поводу предстоящего рассмотрения закона о свободе печати один юрист мне пишет: «Наши юристы дальше французских, немецких и подчас итальянских руководств упорно не идут; по их стопам следует и наша средняя интеллигенция. Это очень жалко. Если уже что копировать — лучше копировать оригинал, чем переделанные снимки. Во всех вопросах государственного и уголовного права (парламентаризм, суд присяжных, состязательный процесс и т. д.) первоисточником знания является Англия, ее наука и практика. Именно их и следовало бы изучать, их, в чем нужно, копировать. А мы, наоборот, предпочитаем переводить к себе итальянские судебные уставы, французскую технически абсурдную систему присяжного суда, немецкие судебные приказы. Большинство всех этих пересаждений прививается плохо, и тогда мы прибегаем уже к российским мероприятиям — обязательным постановлениям в той или иной форме. А будь наши заимствования удачнее, будь они ближе к первоисточнику, пожалуй, и к обязательным постановлениям не пришлось бы прибегать, и мы действительно приблизились бы к принципам правового государства, управляемого лишь строгим и точным законом и властным судом».

Так жалуется на свое ведомство юрист (с известным именем), хотя, казалось бы, где же, как не в юриспруденции, чужое творчество всего доступнее подражанию? Если не пользуются своевременно и в полной мере этою доступностью, то не столько, повторяю, вследствие самомнения, сколько по странному русскому безразличию ко всему на свете. «К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы». Мы ревностно перенимаем то, что вне добра и зла, например моды и манеры, но пониженное любопытство мешает нам идти в глубь культурного подражания и усваивать до конца все серьезное на Западе, чему мы завидуем. При Петре Великом мы почти с японской стремительностью принялись было усваивать европейские порядки, но довольно быстро охладели в этом. Может быть, никогда Россия столько не отставала от Запада, как через столетие после Петра. Эта отсталость есть просто школьная отсталость: как в школе плохие ученики при тех же условиях отстают от хороших, так и некоторые народы — от своих соседей. Объясняйте это малоспособностью, но что такое этот недостаток, если не отсутствие наследственного и органического накопления умственной силы, развиваемой знанием? Скотоводы выводят лю-

бое повышенное качество, встречающееся у животных. Так точно подбирается и любое качество человеческой расы, в том числе интеллектуальность и характер. Для этого нет иного способа, как настойчивое повторение полезных признаков, то есть деятельное подражание образцам. В московские времена русские упорно подражали предкам, и это воспитало народный характер, источник имперского нашего величия. В петербургскую эпоху, переменив образцы подражания, мы как бы потеряли инерцию обучения. Отстав от одной школы, мы плохо пристали к другой. В результате обнаружился заметный упадок жизни и ее странная растерянность, представляемая политикой.

Да разве в одной политике мы постыдно топчемся? Разве не на всех фронтах мы отстаем? Не то ли же в устройстве материальной и идеальной жизни? Чрезвычайно желательны, например, такие новшества, как элеваторы и рефрижераторы, но вот уже второе десятилетие, как о них идут одни разговоры. Чрезвычайно желательно восстановление таких древностей, как патриаршество и соборность Церкви, но и о них, очевидно, будут говорить десятки лет без всякого видимого результата. Недавно я писал о столь неотложных, давным-давно оборудованных на Западе законах, каковы санитарный, вотчинный, межевой, майоратный и пр. Полстолетиями и даже веками у нас о них толкуют и не могут натолковаться. С такой же медленностью движутся — если движутся — и чисто технические вопросы вроде мелкого кредита, земельной мелиорации и т. п. Почему все это? Прошу разрешения сказать большую ересь: может быть, вся беда в том, что управляющее страной сословие несколько невежественно во всех столь важных вопросах, может быть, оно просто не может с ними справиться, как неосведомленный человек — с заданной ему задачей. Ибо представьте себе обратное, то есть полную осведомленность правительства о том, как те или иные великие вопросы решены и испытаны в соседних странах. Ведь такая *полная* осведомленность явилась бы живой совестью г-д министров, сознанием беспокойным, не дающим спать. Наши крестьяне, например, не имеют представления о предохранительных прививках, дающих в ряде болезней чудесные результаты. Не зная об этом лекарстве, крестьяне не интересуются им, но представьте врача, вполне уверенного, что спасительное средство найдено. Может ли он хоть один день оставаться спокойным? Может ли он изобретать свое средство или передавать вопрос в комиссию, в целый ряд комиссий, где часто теряется самая память о возбужденном деле? Совершенно, мне кажется, то же значение имеют усовершенствованные формы жизни для *вполне* осведомленного о них правительства. Ка-

кой смысл слишком долго рассуждать на тему вполне выясненную, не возбуждающую никаких сомнений? Если же неизменно всякий вопрос у нас сдается в комиссию, как в древности всякий подозрительный человек сдавался в застенок, то не есть ли это прямое доказательство, что ни в одном вопросе наши сановники не чувствуют себя вполне уверенными? Вместо того чтобы приобрести эту уверенность личным изучением предмета, у нас заставляют *других* изучать вопрос. Но эти «другие», члены разных комиссий и совещаний, как подчиненные люди, вовсе не заинтересованы в государственном понимании предмета. Не будучи государственными людьми, они часто даже не способны стать на государственную точку зрения. Чужая работа — скучная работа, она проделывается для вида, с ней не спешат, ее откладывают по тысяче пустейших предлогов, ее стараются отпихнуть или книзу — в подкомиссию, или кверху — в особое совещание, и в результате бесконечной волокиты является какая-то вытяжка из всех мнений, подобная настойке из сорока трав. Нечто требующее особого любителя, на которого все дивятся. Когда собирательная из разных комиссий вытяжка доходит до решающего вопрос сановника, чаще всего он оказывается нелюбителем подобной работы. Безличная и сборная, она кажется бездарной, людям талантливым она претит — и вот, просмотрев доклад комиссии, сановник сморщивает нос: плохо! Удивительная вещь: и председатель комиссии, и члены ее люди в отдельности неглупые, а общая их работа — хоть брось ее. Не желая подписывать своим именем безвкусную стряпню, сановник делает некоторые замечания и направляет дело в другую комиссию. Затем на том же основании вопрос переходит в третью комиссию и т. д. Чтобы хоть что-нибудь делать, члены комиссии собирают материалы, справки, межведомственные отзывы, заключения и т. п. Дело не медведь, в лес не убежит. Проходят годы, десятки лет, умирают министры, возбудившие вопрос, умирают наиболее заинтересованные члены. Случается, вымирает вся комиссия — и проходит много лет, прежде чем спохватятся о ее исчезновении.

Согласитесь, что это вовсе не похоже на разумное изучение вопроса. Это не похоже не только на творчество, но даже на самое посредственное подражание. Это отлынивание и от творчества, и от подражания. Это какой-то третий вид деятельности, сводящий всякое задание к нулю. Поразительно то, что в состав правительства выдвигаются не только умные, но иногда очень сведущие люди, люди с огромной трудоспособностью, то есть такие, которым ровно ничего не стоило бы (при их государственной подготовке!) изучить в одну неделю любой вопрос. Если говорить о законах, то

неужели И. Г. Щегловитов[3], будучи ученым (он магистр и профессор), будучи многолетним практиком суда, — неужели он при замечательной памяти своей и соответствующей эрудиции не мог бы сам лично, не прибегая к комиссиям, посмотреть, как решается тот или иной вопрос в культурном свете и как его целесообразнее было бы решить у нас? Мог бы, тысячу раз мог бы. Как артист своей профессии (а в министры должны выбираться артисты ведомств), каждый сановник мог бы дать не только художественное подражание, но, может быть, и гениальное творчество, но он весь связан комиссиями из подчиненных ему чиновников. Эти чиновники, сравнительно с министром, молоды, менее опытны, гораздо менее его осведомлены, чаще всего менее его даровиты, не говоря об отсутствии у них государственной заинтересованности. Выходит так, что всемогущее на вид правительство закрепощено невежеством своих же канцеляристов.

ВОСПИТАНИЕ ЭНЕРГИИ

20 августа

В напутственном слове Государя Императора юнкерам, произведенным в офицеры, указано исполнение долга «честное и *изо всех сил*». Это важная истина, постоянно забываемая на родине Тентетниковых и Обломовых. Если от чего хиреет Россия, то не столько от неисполнения долга, сколько от слишком вялого его исполнения, несвоевременного и неполного. Как в анемичном теле все функции протекают медленно, без того яркого одушевления, которое вносит с собой горение железа крови в кислороде, так и в оболенившейся стране. Все отправления народной, общественной и государственной жизни у нас постоянно опаздывают, точно поезда на плохо управляемой дороге. Вдумчивые люди, бывавшие в Англии и особенно в Германии, поражены общею картиной удивительной кипучести тамошней жизни, невероятной для нас общей охотой к труду, потребностью в нем, переходящей иногда в страсть. Никому не кажется тяжелым встать рано и лучшую часть дня провести в привычных занятиях — напротив, за работу принимаются веселыми и оканчивают ее свежими. Проработав восемь часов, иностранцы способны остальную часть дня провести не в сонном, как у нас, безделье, а в развлечении другими, иногда столь тяжелыми веща-

ми, как физический спорт, или столь утомительными, как разные собрания, театры, концерты и т. п. По-видимому, западный человек вырабатывает в себе новую биологическую черту — неутомимость, ибо чем больше он работает, тем больше — подобно динамо-машине — развивает в себе энергию. У одних в большей, у других в меньшей степени, но эта черта сама бросается в глаза при сравнении западного рабочего с нашим или с китайским. При том же — только более тренированном — телосложении, при тех же физических силах средний англичанин вырабатывает чуть не вдвое против среднего русского. Примеры поразительной неутомимости, конечно, встречаются и у нас в России, но у нас они, к сожалению, составляют исключение, тогда как на Западе становятся постепенно правилом. Все работодатели — особенно из иностранцев — в один голос жалуются не только на недобросовестность, но и на болезненную лень русских рабочих. Ленивая же работа и в количестве, и в качестве не идет ни в малейшее сравнение с работой энергической.

Откуда эта грустная национальная черта наша — лень? И где средство, чтобы отделаться от нее? Я думаю, в наше время возможен уже научный ответ на эту загадку, которая столько волновала русских читателей и критиков в эпоху появления «Обломова». Всякая лень есть следствие главным образом долгой *невынужденности* к усиленному труду. И единственное средство против лени — это постепенно развиваемый усиленный труд, труд «изо всех сил». Основная причина сравнительно меньшей энергии славянской расы та, что, заняв слишком широкое пространство на земле, она была более англичан и германцев обеспечена сырой природой и менее вынуждена к труду. Для резкости примера возьмите, например, старинного англичанина и старинного малоросса. На своих охваченных океаном небольших островах англичанам в течение уже многих веков было действительно тесно, не хватало земли (особенно при низкой в старину культуре), не хватало хлеба. Не только суровый феодальный режим, при котором земля принадлежала потомству завоевателей, но и чисто географическая теснота заставляла работать усиленно и торопливо искать работы. Когда не стало хватать ее на материке, англичане выступили в океаны, в далекие колонии, и взгромоздили мировой по значению коммерческий флот, оберегаемый таким же чудовищным военным. Но что также был флот, особенно в парусные времена? Это была усиленная народная гимнастика, пожалуй, никогда в истории более не повторимая. Бесчисленные рыбаки Англии и бесчисленные матросы обоих флотов были вынуждены в течение веков не только трудиться, но трудиться

усиленно, тренируя свою ловкость, отвагу, настойчивость, зоркость, крайнее напряжение тела и духа. Небольшая нация, пропускаемая через мореплавание, находила в нем превосходную школу чисто физического развития. Труд парусного моряка имел ту особенность, что он совершался всегда на краю бездны, то есть был принудительным в высшей степени. Кроме слабого вначале чувства долга непрерывно действовал категорический императив: оплошаешь — погибнешь. Вот источник британской энергии, изумительной настойчивости англичан, их священного и всесильного чувства долга (Duty). Самое это чувство выросло и накопилось как многовековая привычка каждое маленькое и большое свое решение доводить до конца. Море и теперь, а в парусное время особенно не любило шуток: всякая не подтянутая как следует снасть, всякий плохо взятый риф у паруса или переложенный слишком руль немедленно влекли наказание, часто жестокое.

Сравните со старой Англией старую Малороссию, хохлацкая лень которой вошла в пословицу. Широта земли в сравнении с Англией была безграничная: тут тоже океан, только твердой суши. Да какой суши: чернозема, равного которому не было ничего в тогдашнем мире. Чудные леса на севере и дивные степи, благодатный климат — ну, словом,

> Край, где все обильем дышит,
> Где реки льются чище серебра...

Мудрено ли, что великая раса, как индусы в их райских условиях, еще в скифские времена обленилась и изнежилась, изнежилась до позорной неспособности отстоять себя от более голодных соседей — от татар и литовцев? Когда судьба скрутила наших южнорусов, они начали постепенно выправляться. Изнеженность стала проходить. Бедственные условия жизни заставили усиленно трудиться, быть настороже, учиться давать отпор. Великороссы, менее избалованные природой, успели раньше малороссов сломить татар и литву и выдвинули славное донское казачество. Малороссы выдвинули Запорожье и гайдаматчину — свидетельство накопившейся народной энергии. Но когда при новой нашей династии произошло объединение русских племен, Империя оказалась настолько сильной, что внешняя опасность казалась почти исчезнувшей. Двести лет Малороссия, охраняемая Империей Русской, не знает, что такое нашествия, и полтораста лет не знала, что такое земельная теснота. Из Гоголя вы помните, какой это был сытый, пьяный, ленивый край и до чего были изнежены и старосветские помещики, и старосветские крестьяне. Для изнеженности вовсе не нужно слишком высо-

кой культуры: она встречается и на крайне низкой ее степени, у дикарей или наших хулиганов. В мире животных низшие породы часто изнеженнее высших. Мне кажется, русская лень вообще, а малороссийская в особенности есть просто многовековая отвычка от принудительного и ответственного труда. И накопление, и растрата сил, к сожалению, одинаково закрепляются повторением нарастающего процесса в первом случае и убывающего во втором.

Если бы эти строки попались на глаза молодым офицерам, только что произведенным из юнкеров, я советовал бы им познакомиться с той главой «Психологии» знаменитого киевского профессора Сикорского, где говорится о нарастании работоспособности. Оказывается, это драгоценнейшее из человеческих свойств можно приобрести и усилить в себе иногда в степени чрезвычайной. Каждой деятельности соответствуют известные участки мозга. Если вы или сами принуждаете себя, или если, при недостатке воли, вас кто-нибудь принуждает работать и постепенно развивать работу, то соответствующие центры головного мозга увеличиваются, нарастают в числе клеток, и трудная работа становится уже легкой. Прибавляя еще работы, вы заставляете еще более разрастаться рабочие центры мозга, и чрезмерное опять становится нормальным. Конечно, тут существует свой предел, но что он у некоторых одаренных натур (то есть с прирожденно большим числом клеток) способен отодвигаться на чудесное расстояние, доказывают простые фокусники, акробаты, наездники и т. п. Еще древняя аксиома гласила: repetitio est mater studiorum (повторение — мать учения. — *Ред.*), но только теперь выясняется ее физиологическая основа. Но для поддержания максимума культурной работоспособности необходимо, чтобы известная деятельность не прерывалась на долгий срок. Для некоторых профессий передышка в два дня ведет уже к регрессу: число нервных клеток начинает уменьшаться, способности слабеют, вероятно, до полного одичания, то есть до прирожденной нормы клеток. Даже гениально одаренные артисты, вроде Антона Рубинштейна, не могут себе позволить «полного отдыха» даже на один день без того, чтобы не почувствовать понижения своих сил. Вероятно, это же значение имели выработанные древними правила: «Carpe diem», «Nulla dies sine linea» («Лови мгновение», «Ни дня без строчки». — *Ред.*).

К глубокому сожалению, наша национальная лень выработала другую мораль: «Над нами не каплет», «Поспешишь — людей насмешишь», «Дело не медведь — в лес не убежит» и т. п. С этими формулами народной глупости давно пора покончить. Жизнь страшно коротка, возможности неисчерпаемы, следует «спешить делать

добро», как проповедовал святой доктор Гааз, и единственно, в чем не грех полениться, — это в делании зла. Молодежь, вступающая в жизнь, должна знать, что от нее зависит или закопать свои таланты, подобно евангельскому ленивому рабу, или внести их родине с блестящими процентами. Старикам, конечно, поздно мечтать о развитии погасающих сил, но молодежь должна дорожить возрастом, когда ее природа пластична, когда есть полная возможность досотворить себя, довести до высшего развития сил. Многие не понимают, как это сделать и почему практика всех деятельностей неизменно усиливает их. Теория, изложенная профессором Сикорским, бросает на это научный свет. В дополнение этой теории я предложил бы следующую, более поэтическую, чем научную, схему. Организм наш, подобно улью пчел или муравейнику, представляет огромное скопище живых индивидуумов — клеток, которые делятся на касты сообразно разделению труда. Как у названных насекомых, в организме есть клетки-трутни, клетки-воины, клетки-рабочие всевозможного рода. В обленившемся организме происходит то же самое, что у пчел, у которых отродилось слишком много трутней. Пчелы справляются с этой бедой довольно жестоко, но, мне кажется, и человеку-лентяю нечего жалеть свои бездеятельные клетки. Для уменьшения их нет нужды принимать иные меры, кроме увеличения работы. Упражняйте свои рабочие способности — этим вы заставите кровь приливать к рабочим органам, начиная с специальных участков головного мозга, для усиленного их питания и равновесия. Прилив же крови к деятельным клеткам повлечет отлив ее от бездеятельных: последние будут хиреть и атрофироваться. Каждый молодой человек, сознательно глядящий на свое место в природе, может или превратить себя в больной и заглохший улей, наполненный трутнями, или в улей клеток деятельных, жизнерадостных, жизнеспособных, строящих соты существования и наполняющих их медом счастья. Аналогию эту можно провести и далее, распространив на организм общественный. Легко понять, что отдельное тело, охваченное засильем клеток-трутней, в своем целом представляет исполинского трутня. Илья Ильич Обломов при всех его симпатичных качествах был вредный трутень; хуже того, он даже не годился для функции трутня, превратившись заживо в паразита своих крепостных. Чрезмерное умножение таких паразитов ведет к краху весь строй народный, органически сложившийся.

У нас провозгласили великой реформой освобождение крестьян от помещичьей власти. И в самом деле реформа была благодетельна, ибо Илья Ильич — какой же он был помещик? Какие же были помещики Чацкий, Рудин, Лаврецкий, Райский и пр., не говоря о

гоголевских героях? Но у нас не заметили, что нужда-то в деятельных руководителях народа была и осталась. Осталась ничем не возмещенная, но крайняя нужда в таком человеческом типе, как Костанжогло, Штольц и даже Собакевич, если расшифровать его из карикатуры. Если бы аристократия (во всем свете) не изнежилась, не потеряла своих рабочих способностей, она никогда не уступила бы ни третьему, ни четвертому сословию. Древние бароны, завоеватели Европы, были и физически, и психически более деятельными, более сильными людьми, чем те рохли, которыми они овладели. Древние аристократы упражнялись каждый день в военном искусстве и были артистами насилия. Обеспечив победу, они совершенствовали свои способности побеждать не только мечом, но и повелением, распоряжением, более умным, нежели могли додуматься их вассалы. В каменных раковинах многовековых замков жила одно время не только по титулу высшая раса, а и по существу. Но когда покорение народа за страх и за совесть было закончено, когда исчезла необходимость трудиться ежедневно и «изо всех сил», великая раса изнежилась, впала в бездеятельность и бессилие. Революция смела не силу, а бессилие.

Каждое поколение офицерства, вступающее в жизнь, должно помнить, что оно главный носитель аристократического принципа в обществе. Офицерское звание есть рыцарское и несет в себе заветы рыцарства. Офицеры по происхождению даже не из дворян получают личное дворянство. Из всех профессий, конечно, наиболее благородной является та, что ставит задачей, когда потребуется, «положить душу за други своя», за родину, за ее державу. Но мне кажется, мало хотеть быть благородным — надо суметь сделаться таковым, надо воспитать в себе какие-то *особенные* способности. Многие не подозревают, что в область благородства входит трудоспособность, но, в конце концов, может быть, это главное условие благородства. Что толку в том, если вы *желаете* честно исполнить долг свой, да *не можете* это сделать — не хватает сил? Очень глубокое и решающее значение имеет повеление Государя Императора офицерству трудиться не как-нибудь, а «изо всех сил». Иначе — если говорить о честном долге всей жизни — и нельзя его выполнить, как напрягая все силы. Чуть вы оставили праздными часть сил, эти бездействующие силы отмирают и вы становитесь ниже себя. Если из пониженной нормы оставляете праздными еще часть сил — и они атрофируются, как все бездействующее, вы еще понижаетесь на одну ступень и идете постепенно до дна ничтожества. Может ли быть речь о честном исполнении долга при наклонности не доделывать его, не доканчивать, не доводить до идеальной вы-

соты? Идеальная же высота задачи требует напряжения всех сил и в награду за этот героизм прибавляет энергии. Верно сказал Шиллер: «Человек растет по мере того, как растут его цели». Поэт говорил, очевидно, о целях *осуществляемых,* а не тех, о которых господа Обломовы и Рудины умели говорить, и только говорить.

Офицерству более, нежели какому сословию, необходимо быть благородным не на словах только, а на деле. Благородство на словах повело нас к севастопольскому и маньчжурскому разгрому. Я не хочу омрачить этим память действительных героев, работавших и до этих кампаний, и во время них изо всех сил и отдавших жизнь за Отечество. Но, очевидно, кроме героев у нас были и не герои, и именно на совесть последних должны пасть ужасные результаты последних войн. Если бы *все* были герои, если бы все, подобно Макарову, «помнили войну» еще в мирное время и подготовлялись к войне *изо всех сил*, то, конечно, Россия не переживала бы теперь нравственных мучений, а могущество ее было бы безмерно укреплено новой славой.

Обленившимся героям вроде Бельтова и Рудина бесполезно было бы говорить самые святые истины и напоминания. Но офицерская молодежь, только что вступающая в жизнь, несомненно, имеет в своих рядах и героев дела, — но даже герои дела, то есть люди искренние, способные на подвиги, не всегда в состоянии их выполнить, ибо этому нужно *научиться*. Наука длинная, можно сказать — бесконечная, но необыкновенно простая: работайте «изо всех сил» — вот и все. По повелению Государя Императора недавно установлены начала физического воспитания, гимнастики и военного строя. Это воспитание должно коснуться всей народной молодежи, будущих солдат, и офицеров. Во главе великого дела поставлен генерал Воейков; ему следует пожелать всевозможного успеха, как заслуживает большой благодарности и главный до сих пор инструктор потешного движения — полковник Назимов. Ходят слухи, будто с назначением генерала Воейкова полковнику Назимову придется оставить дело, над которым он столько потрудился. Как жаль, если это правда. Гимнастика и военный строй есть первое, с чего начинается воспитание энергии — не только физической, но и душевной. Приучаться постепенно *преодолевать препятствия*, сначала маленькие, затем все больше и больше, — вот простой способ побеждать великие препятствия. Исчерпайте производительно весь свой запас сил. Даже у слабых людей этот запас огромный — они только не знают об этом и не умеют открыть себя. Часто маленькие люди, измученные своей незначительностью, умирают, не подозревая, что могли бы быть великими.

ВЕЛИКОРОССИЙСКАЯ ИДЕЯ

5 сентября

Нам нужна великая Россия.
Из речи Столыпина

Сегодня открывается памятник государственному мученику, павшему от руки еврея. В лоне «матери городов русских» упокоился великий гражданин, в сердце которого горели те же государственные начала, что свыше тысячи лет назад вдохновляли государей новгородских и киевских.

П. А. Столыпин не был создателем русского национализма, но, как все благородные люди, он родился с преданностью своей стране, с чувством гордого удовлетворения своею народностью и с пламенным желанием защитить ее и возвеличить. Все русские люди с честью и совестью — сознательные или несознательные националисты. Они, как порядочные немцы, англичане, французы, поляки, финны, евреи, несут в душе своей наследственный завет служения своему племени, своему народу. Иначе и не может быть, если говорить о людях вполне здоровых, не поврежденных духом. Отдельная личность — лишь звено в бесконечной цепи рода, и все призвание этого звена — *не разрываться*, удерживать в себе полную передачу жизни из прошлого в будущее. Для этого каждое звено должно быть такой же железной крепости, как род, которого он является продолжателем. Эта родовая крепость, преобразуясь в личное сознание, дает патриотизм, расширяющий отдельную душу до неизмеримого объема родины. Люди столыпинского склада в России еще юношами, в ранние годы, ощущают радость чувствовать себя не какими иными, а только русскими людьми. Они на отечество свое глядят как на мать, с жалостливой любовью: «Земля родная! Люблю тебя, и молюсь за тебя, и за твое благо, если нужно, иду на смерть».

Столыпин еще до мученической смерти сделался дорог России тем, что сумел показать ей в своем лице некий пленительный образ — образ благородного государственного деятеля, имеющего высокую историческую цель. Сразу, в первые же дни, почувствовалось в нем бесстрашие и неподкупность, то непоколебимое упорство, которое в конце концов дает победу. По правде сказать, Россия истосковалась по такому историческому человеку, она давно ждет его не дождется. Возможно, что люди такого пошиба не раз

появлялись на высоте власти: Яков Долгорукий[1], адмирал Мордвинов[2], граф Киселев[3], граф Пален и другие, но они не встречали надлежащих для себя условий. Их мысль встречала отовсюду гранитную стену непонимания или своекорыстной вражды, и они хоронили с собой неиспользованный для отечества талант. Среди множества министров, имя которых гремело в годы их власти и покрывалось странным забвением на другой же день после отставки, бывали люди умные, ловкие, энергические, трудолюбивые, но на их фигуре и на их работе лежала та facies Hippocratica* государственности, что называется бюрократизмом. Оттенок неизбежной мертвенности, восковой налет оторванных от корней жизни решений. Столыпин в роли министра не был бюрократом. Для подземелья русской жизни это показалось струей свежего воздуха, возможностью молодого, восстановляющего творчества власти, что в годы революционные многих примиряло с нею и вновь заставляло надеяться и верить в нее.

После неслыханного позора, который пережила Россия на Востоке, и общество русское, и народ русский были близки к отчаянию, к самоубийственному мятежу. Для всех представлялась ясной простая причина нашего разгрома: чиновно-дворянская бесхозяйственность, неумение овладеть огромными средствами Империи, чтобы сделать ее непобедимой. Чиновники этого не могли сделать; сама собою сложилась мысль, что нужна иная, не канцелярская власть и что эта власть — что касается законодательства — должна быть в согласии с народной волей. Наскоро создано было народное представительство, о котором русское образованное общество мечтало целое столетие и ради которого деды нынешней аристократии шли на эшафот и в рудники Сибири. Но одно народное представительство, крайне невыработанное и случайное, не могло вывести нас из анархии. Необходимо было и *новое правительство* в стиле великой реформы. Столыпин чрезвычайно подошел к этому стилю или, по крайней мере, к главным его координатам. С первых же шагов и заявлений нового премьер-министра стало ясным, что глава власти нелицемерно предан идее народного представительства и что Государственная Дума дорога для него, как для самих ее членов. Это тоже было великой новостью, встреченной в обществе с восхищением. Министр, уважающий народ, не только допускающий народное представительство, но внимательно выслушивающий его и соображающийся с его волей, — этого мы ждали столетие и почти отчаялись, не дождавшись. И народ, и образованное общество к

---

* «Гиппократово лицо» (*лат.*) — лицо, отмеченное печатью смерти. — *Ред.*

началу XX века были утомлены затянувшимся бюрократическим режимом, душой которого было неуважение к родине. *Любовь* к родине, может быть, у многих чиновников и была: но любовь, как известно, не исключает жестокости. Вспомните, как любовь к детям и к жене извращалась самодурством у купцов Островского: любовь любовью, но главное — «чего моя нога хочет». Этот самобытный тон жизни — наследие средних веков — был усвоен и государством и ясно вел к одичанию страны. Великая реформа и первый страж ее — Столыпин — внесли в наш заглохший патриотизм благородную прививку. Как для одичавшей яблони мало своих корней, для государственности мало любви к родине — необходимо еще и *уважение* к ней. Без уважения народа к власти невозможно здоровое государство, но и, наоборот, без уважения власти к народу невозможно культурное государство, по крайней мере современное.

Чтобы уяснить себе образно эту мысль, сравните плохой крестьянский огород с культурным. Крестьянин может очень и очень любить свои чахлые насаждения, но по темноте своей и лени он не уважает законов их роста, не дает растениям того, что они требуют. Культурный огородник может гораздо менее любить свои растения, но он *уважает* их природу, дает ей полный простор и питание, облагораживая полезным скрещиванием, подбором и прививкой, — и, глядишь, его огород получает волшебные преимущества перед крестьянским. Бюрократия наша при всех ее (мне мало известных) добродетелях имела этот основной порок: неуважение к природе общества, нежелание считаться с естественными правами народными. В результате упадок народной жизни через пятидесятилетие отмены крепостного права сделался местами угрожающим.

Когда заявлены и любовь к народу, и уважение к нему, этого уже почти достаточно для плодотворной государственной работы. Но Столыпин кроме этих драгоценных качеств принес в своем лице еще одно великое — государственный талант. Это совсем особый талант, настолько же специальный, как в науке и искусстве. Основной чертой государственного таланта, как и всякого, я считаю способность угадывать лучшее и осуществлять его. Это та же изобретательность, которая особенно ярко проявляется в гениальных умах. Источник изобретательности есть глубокая индивидуальность, несвязанность характера тем, что думают все. Благодаря возможности подумать самому гениальный человек нащупывает то, мимо чего все ходят и не замечают. Часто не замечают нечто давно уже открытое, но брошенное и забытое, что выпало из поля зрения или вытеснено наплывом новых, более низких мод. Как талантливый госу-

дарственный человек, Столыпин без труда нашел униженную, но великую идею — национальную. Она древняя, древнее самой государственности и веры, она жила у нас века и иногда господствовала, но после царя Алексея пришла в упадок прямо плачевный. Хотя третий член славянофильской формулы и указывает на *народность* как на одно из непререкаемых условий культуры, но славянофилы сумели только назвать идею национализма и не сумели ни развить ее содержания, ни примирить противоречий ее с другими своими основами. Национализм русский, конечно, не исчез совсем, как ничто в природе не исчезает, но без культурного ухода он одичал, как все дичает без ухода. Столыпин и умом, и сердцем примкнул к национальному движению, разбуженному у нас неслыханными бедствиями отечества. Талант Столыпина позволил ему понять, что приниженная народность не может дать высокой государственности, способной побеждать, и что лечить государство надо начиная с народа.

Слово «народ» у нас имеет, к сожалению, два смысла, и это придает ему двусмысленность. Чаще под «народом» разумеется простонародье, и это придает высокому понятию оттенок вульгарности. Государственный талант Столыпина подсказал ему, что в унижении у нас находится не одно простонародье, но и нация, которой простонародье составляет 98 процентов. Поднимать нужно не только простой народ, но и самое племя русское во всем объеме этого слова. Чернорабочий народ нуждается в культуре, но нуждается в государственной культуре и образованный класс, без которого нет нации. Если в опасной степени расстроена материальная жизнь народа, то, может быть, гораздо опаснее то расстройство духа, потеря веры в себя, потеря самоуважения, без которых невозможна никакая победа. Что такое национализм? Это алгебраический *х*, обозначающий очень сложное и многочленное содержание. Но суть национализма составляет благородный эгоизм, сознательный и трезвый, отстаиваемый с упорством, как душа, как совесть.

Столыпин явился в ту эпоху растления души русской, когда под иностранным и инородческим культурным засильем мы почти совсем забыли, что мы русские. Почти два столетия кряду нам прививалось отрицательное отношение ко всему *своему* и почтительное — ко всему чужому. «Иностранное» сделалось как бы штемпелем всего лучшего — «русскому» усваивалась оценка как второсортному и совсем негодному. Это началось при прапрадедах наших, и они не заметили, как очутились во власти морального завоевания, не менее вредного, чем завоевание физическое. Вместо того чтобы совершенствовать свое, мы начали хватать чужое, причем достаточно

было даже чужому усвоиться как следует, чтобы на него распространилось презрение, относимое к своему. Хорошо усвоенное византийское православие, как только сделалось своим, стало казаться неудовлетворительным. Наша Церковь, когда-то возвеличенная до возможности появления таких святителей, как Филипп, Гермоген и Никон, была унижена до материального и морального нищенства в столетия Протасова и Победоносцева. Самодержавие наше, заимствованное из разных иностранных источников — Византии, Золотой Орды и у западных самодержцев, — как только сделалось своим, стало внушать недоверие в значительной части образованного класса. Заимствованный главным образом из Польши и Голштинии крепостной феодализм, лишь только сделался национальным, начал казаться отвратительным, подлежащим отмене. Превосходно усвоенное в век Миниха и Суворова западное военное искусство показалось в эпоху Милютина слишком «своим» и только потому подлежащим отмене. Может быть, во всем этом сказывается общий закон, в силу которого заимствованное чужое не надолго делается своим: чужое добро впрок нейдет. Так или иначе, но перед Столыпиным стояло два громадных факта, органически связанных. Несомненный упадок русской жизни, и государственной, и народной, с одной стороны, и потеря в народе веры в свое родное — с другой. Сложился гибельный гипноз, будто мы ничего не стоим и ничего не можем и будто в таких условиях нам всего лучше уступать иностранцам и инородцам, уступать и уступать... Из всех государственных людей Столыпин на своем посту наиболее определенно примкнул к русскому национальному движению, ставящему целью восстановить Россию в ее величии. «Вам нужны великие потрясения, — говорил Столыпин инородческой смуте, — *нам нужна великая Россия*».

При всей бессовестной клевете на русский национализм необходимо помнить, что это не какая-нибудь новость в природе. Это просто национализм, только русский. Он точь-в-точь схож со всеми национализмами на свете и разделяет все их добродетели и грехи. Вообще, национализм — будь он английский или еврейский — есть лишь племенное самосознание, или, как нынче любят говорить, племенное самоопределение. Вот это небо — наше родное небо, слышавшее молитвы предков, их плач и песни. Эта земля — наша родная земля, утучненная прахом предков, увлажненная их кровью и трудовым потом. В этой родной природе держится тысячелетний дух нашего племени. Каковы мы ни есть — лучше иностранцев или хуже их, — мы желаем вместе с бессмертной жизнью нашего племени отстоять и натуральное имущество, переданное прошлым на-

селением для передачи будущему. Желаем, чтобы это небо и земля принадлежали потомству нашему, а не какому иному. Желаем, чтобы тот же священный язык наш, понятный святой Ольге и святому Владимиру, звучал в этом пространстве и в будущем, и та же великая душа переживала то же счастье, что и мы, сегодняшние. Да будет мир между всеми народами, но да знает каждый свои границы с нами! И иностранцы, и инородцы могут жить в земле нашей, но лишь под двумя условиями: или они должны быть временными гостями, не стесняющими хозяев ни количеством своим, ни качеством, — или они должны усваивать нашу народную душу через язык, обычаи, законы и культуру нашу. Никаких иных государств в нашем государстве, никаких чуждых колоний, никаких отдельных национальностей, внедренных в нашу, мы допустить не можем, не обрекая себя на гибель. Вот почему мы миримся с крохотными народностями, растворяющимися в нашей, господствующей, если это растворение идет безболезненно и не слишком понижает качество нашей расы. Но если чужеземцы принимают огромную славянскую империю за питательный бульон для своих особых национальных культур, если они заводят особые, враждебные нам колонии, особые племенные сообщества, чуждаясь языка и духа русского, — мы обязаны всемерно этому препятствовать. Унаследовав от предков такое бесценное благо, как независимая государственность, мы обязаны передать его дальше, в долготу веков, усовершенствовав и возвеличив. Если никому не кажется странным, что Англия по всему неизмеримо огромному пространству своей империи поддерживает строгое господство своего языка, государственности и культуры, то пусть не кажутся странными те же требования и нашей политики в черте Российской империи. Если признается естественным, что немцы прежде всего покровительствуют немцам, поддерживая их победоносное положение среди покоренных народностей, экономическое и культурное, то пусть сочтено будет естественным и покровительство русской государственной власти прежде всего своей собственной, основной исторической народности, чье имя она носит.

Столыпин пришел в годы великого испытания. После двух столетий всевозможного покровительства инородцам Россия оказалась покрытой могущественными сообществами поляков, финляндцев, евреев, армян, немцев и проч. Когда бюрократия наша, обессиленная и обездушенная инородческим засильем, оказалась разбитой на Востоке, поднялось восстание, вдохновленное по преимуществу теми же инородцами. Столыпин довершил борьбу с восстанием и провел ряд мер против финляндского, польского и еврейского натиска. Не

погибни он от еврейской пули, возможно, что эти разрозненные меры сложились бы в строго национальную государственную систему, отсутствие которой так глубоко чувствуется...

Древнерусскому Киеву выпала грустная честь упокоить в себе прах нашего последнего государственного героя.

Как змея, выползшая из черепа верного коня, убила вещего Олега, так черная еврейская измена вышла из священных стен киевских, чтобы поразить самое могучее, что имела в себе наша живая государственность. Но как с Олегом не погибла Русь, со смертью Столыпина не погибла еще державная наша сила и мы все еще в состоянии бороться с государственным предательством и одолевать его.

Да помянет же Господь во Царствии Своем великого страдальца, кровью своею запечатлевшего верность Отечеству. Да помянет и народ русский из рода в род одного из благороднейших своих сынов, показавшего, как надо жить для России и умирать за нее!

ЕВРЕЙСКИЕ ПРЕТЕНЗИИ

10 сентября

Закончившийся в Вене XI Сионистский конгресс разразился крайне наглой резолюцией по адресу России. Хотя на каждое еврейское чиханье не наздравствуешься, но данная выходка заслуживает быть замеченной. Сионистские конгрессы обратились в своего рода парламент всемирного еврейства, собирающийся или, точнее, кочующий регулярно по всем крупным центрам необъятной еврейской «диаспоры». Десятилетие проходит за десятилетием с тех пор, как новый Моисей современного Израиля — доктор Герцль[1] — бросил клич о новом «исходе» в старое еврейское отечество, но до сих пор евреи что-то не двигаются в Палестину. Все дело ограничивается шумным галдежом на сионистских конгрессах да собиранием шекелей — особого налога с простодушных жидков, которые в самом деле ждут новых казней египетских над современными фараонами и огненного столба впереди еврейской эмиграции. Сионистская эмиграция подвигается очень туго, но зато сионистская *агитация* с ее всемирными еврейскими съездами слагается незаметно совсем в особое, очень загадочное и даже подозрительное явление. По-видимому, тут все сводится к тому, чтобы обморочить христианское обще-

ство сладкой надеждой на добровольное выселение евреев в Палестину, а под шумок это рассеянное племя номадов явно организуется в своего рода всесветную империю, располагающую паразитным манером упрочиться совсем в другом Ханаане, гораздо покрупнее древнего. Имя новому Ханаану — земной шар, ни более ни менее. Предполагаемые потомки Иакова собираются проделать тот же гешефт, что их предки три с половиной тысячи лет назад. Тогда они напали, как саранча, отродившаяся в пустыне, на целый ряд маленьких ханаанских держав и не столько силой, сколько хитростью, вроде иерихонских труб, овладели ими. Удостоверено, что разноплеменные народы Палестины были разбиты их же собственными силами. Подметив раздор между хананеями, евреи нанимали один народ против другого и руками преимущественно мужественных арийцев (филистимлян) утвердили свою власть, которой пользовались затем со свирепостью палачей. Утвердили, правда, ненадолго, ибо ни физически, ни духовно евреи не могли выдержать государственного соперничества с великими арийскими соседями — персами и греко-римлянами. Теперь еврейством, размножившимся как песок морской, становится, по-видимому, задача овладения уже всеми народами земли, не замечающими еврейского плана, и тем же путем — путем внедрения, мирного захвата богатств и натравливания народов друг на друга. Почти все нынешние христианские войны ведутся на государственные займы, сделанные у евреев, и часто военные займы похожи на военные наймы. Последний пример еще свеж в памяти. Бедная деньгами Япония могла вести войну с Россией лишь благодаря слишком любезному финансированию ее еврейским золотом. Хотя, как уверяют, уже давно существует в связи с «Alliance Israélite» (тайное правительство всемирного еврейства), но для объединения и большого сплочения этой расы необходимо и гласное народное представительство, регулярные съезды выборных или хотя бы самозваных «вождей» Израиля. В такого именно рода сеймы, не религиозные, а чисто политические, превращаются и сионистские «конгрессы». На этих сеймах, как на недоброй памяти польских, идут, правда, жаркие споры и перекоры, но есть нечто, что объединяет евреев всех стран и партий, — это общая ненависть к христианству, и особенно к России. Последний конгресс, как и предыдущие, не обошелся без грубых демонстраций против нашего отечества, оказывающего гостеприимство большей половине иудейского племени. Вот текст резолюции последнего заседания конгресса, напечатанный в венских газетах:

«XI венский сионистский конгресс, как легитимный представитель величайшей, охватывающей страны всего мира еврейской организации, за-

слушав заявления по делу Бейлиса, сим заявляет торжественный протест против неслыханного обвинения в том, что будто бы существуют евреи, употребляющие для своих религиозных надобностей человеческую кровь. Рассматривая это обвинение как позорнейшее явление, несмываемое пятно нашего времени, конгресс выражает свое удивление, как смеют бросать это сумасшедшее подозрение в лицо еврейского народа, прожившего три тысячелетия в атмосфере величайшей человеческой культуры, даровавшего всему человечеству законы гуманности и просветившего мир учением любви к ближнему! Во имя солидарности всего гуманного человечества мы требуем, чтобы весь культурный мир совместно с нами вступил в борьбу с мрачным варварством и помог нам защитить поруганное человеческое достоинство и оскорбленную честь нашего народа».

На этой крикливой и глупо-надменной резолюции стоит остановиться, так как это последний документ со всеми «паспортными приметами» современного юдаизма.

Во-первых, обратите внимание на титул, присваиваемый себе сионистским съездом: «легитимный представитель величайшей, охватывающей страны всего мира еврейской организации». В самом деле, это что-то имперское и даже всесветное. Конечно, претензии евреев, как всегда, и тут крайне преувеличены: из «стран всего мира» для точности придется вычеркнуть такую мелочь, как Китай, Япония, Индия, Аравия, Афганистан и пр., где сионистских организаций, насколько известно, нет. Пусть их совсем нет или они ничтожны, но, подобно папству, претендующему до сих пор на вселенскую власть, еврейство уже начинает громко подчеркивать всесветность своей организации. Это очень знаменательно, если вспомнить, что и библейский идеал евреев, выразившийся в мессианской мечте, — это именно овладеть *всеми* народами, дабы пасти их «жезлом железным». Затем проследите в указанной еврейской резолюции следующие «наглядные несообразности». Обвинение евреев в употреблении человеческой крови для религиозных надобностей называется «неслыханным». Но почему же это «неслыханное» обвинение, если оно насчитывает уже двенадцать, а может быть, и все девятнадцать веков с целыми сотнями судебных процессов в разных странах? «Несмываемое пятно нашего времени», — говорят евреи. Да нисколько не «нашего» времени, а и иных времен, причем остается большим вопросом, в чем, собственно, состоит пятно — *в обвинениях ли*, направленных на еврейство, или в лужах невинно «выточенной» христианской крови, преимущественно детской. Ведь не только утверждениями отдельных лиц, в том числе евреев, но и некоторыми судебными процессами и в давнем, и в недавнем прошлом было выяснено, насколько это доступно суду, что ритуаль-

ные убийства бывают у евреев, и если они открываются крайне редко, то в силу лишь исключительной таинственности подобных преступлений. Сами же преступники иногда сознавались в подобных злодействах. Что касается данного дела — убийства несчастного мальчика Андрюши Ющинского, то ведь бесспорно, что он был убит не простым способом, а так, как был бы убит, если бы ритуальные убийства существовали. Это утверждает профессорская экспертиза. Чего же, казалось бы, волноваться евреям до суда? На то суд и существует, чтобы устанавливать преступления, насколько, повторяю, это доступно человеческой добросовестности (не надо забывать, что очень многие преступления остаются для суда неуловимыми и оправдываются не за отсутствием злодейства, а за отсутствием доказательств его). Еврейский гвалт, поднятый во всем свете задолго до суда над Бейлисом, не представляет ли психологическое доказательство, что дело тут очень нечисто и что яростным галдежом евреи просто хотят запугать сознание христианских судей или сбить его с толку? Подобный маневр, как свидетельствуют историки, проделывался евреями еще в Древнем Риме, в эпоху Цицерона, — он проделывается всюду и теперь, от Нью-Йорка до Петербурга. Оцените психологическое состояние этого племени, когда из рассеяния оно собирается хоть в маленькую кучу: евреям мало отвергнуть обвинение, еще не проверенное судебным следствием, — они впадают непременно в судорогу самовосхваления, просто жалкую при всей забавности. «Как смеют, — вопит резолюция, — бросать это сумасшедшее подозрение в лицо еврейского народа, прожившего три тысячелетия в атмосфере величайшей человеческой культуры, даровавшего всему человечеству законы гуманности и просветившего мир учением любви к ближнему!»

Если бы человечество услышало этот еврейский писк, раздавшийся из съехавшейся в Вене кучки сионистов, оно ответило бы, конечно, добродушным хохотом. Это евреи-то жили три тысячи лет в атмосфере «величайшей» культуры! Но на деле культура эта была такого сорта, что буквально всем народам, начиная с Египта, приходилось отгораживаться от нее или крепкими заборами, вроде гетто и черты оседлости, или тяжкими ограничениями этой культуры, а иногда и полным истреблением ее — почти теми же средствами, какими борются против «культуры» холеры и чумы. Почему же так вышло, что народец, живущий в душистой атмосфере «величайшей» талмудической культуры, уже в глубокой древности был объявлен «врагом человеческого рода», самым бессовестным и мятежным? Раскройте Библию и прочтите в ней отзывы о евреях египетских, персидских и греческих завоевателей. Эти отзывы единодуш-

ны и смахивают на проклятие. В той же Библии у летописцев и самих пророков еврейских вы найдете и объяснение этой ужасной репутации. Черным по белому написано, что с самого зачатия своего это народ жестокий, глядящий на весь мир жадными и хищными глазами, как на свою добычу, народ, истребляющий почти всякую самобытную культуру, как саранча — почти всякое поле, на которое садится. Буквально все страницы Библии залиты кровью погубленных евреями народов и кровью пророков, кричавших против глубокого нравственного упадка своего племени. Теперешние еврейчики уморительно топорщатся, примазываясь к славе нескольких своих пророков и даже к славе распятого их предками Христа: мы-де «даровали всему человечеству законы гуманности», мы-де «просветили мир учением любви к ближнему». *Но почему же вы сами-то, господа евреи, не приняли этих законов гуманности? Почему вы самих себя не просветили учением любви к ближнему?* Своих пророков, ужасавшихся мерзости ваших нравов, вы побивали каменьями, перепиливали деревянной пилой, как Исайю, или вешали как собак. Величайшего из пророков вы замучили и распяли, как разбойника, провозгласив, что кровь Его на вас и на чадах ваших, и вдруг теперь хвастаетесь, будто «просветили мир учением любви к ближнему». Но ведь *вы же это учение отвергли*, вы прокляли его, объявили его преступным, и до сих пор, в течение девятнадцати веков, в своих священных книгах и молитвах оплевываете имя Христа как самое для вас презренное, ненавистное и злодейское. Как же это у вас хватает духу хвастаться даже тем, что вы отвергаете и отбрасываете как нечто возмутительное для вашей природы? Если бы XI сионистский конгресс не был простой еврейской толпой, нагло орущей, как всякая толпа этого племени, чуть соберется покрупнее, и если бы господа еврейчики серьезно вдумывались в то, что они галдят и пишут, то, составив названную выше резолюцию, им следовало бы ради логики всем сразу отречься от закона Моисея и объявить себя христианами: просветив, мол, мир, желаем наконец немножко и сами просветиться тем же учением. Однако современные Моисеи и Аароны и в голове не имеют ничего подобного. Из протоколов их «конгресса», как со страниц Талмуда, брызжет то же застарелое человеконенавистничество, та же вечная вражда против всех народов, которые в целях самосохранения гнали этого номада отовсюду, где бы он ни угнездился.

Я лично искренний сторонник идеи сионизма. Всем сердцем желаю ему успеха, хоть и не верю, что выйдет из него толк. Но что такое самая идея сионизма, как не оглушительное доказательство зловредности еврейского племени? Скажите, какому народу придет

в голову возвращаться в ту страну, которую его предки покинули две тысячи лет назад? Надо заметить, что до окончательного разгрома Титом Иерусалима уже большинство еврейского племени добровольно покинуло свою родину, как саранча добровольно покидает одно съеденное поле, чтобы перелететь на другое. Если в наш век, когда племя Иуды безвозбранно гуляет по всему свету, издеваясь даже над последней архаической чертой их оседлости, если и теперь они мечтают о собственном государстве в Палестине, то не есть ли это доказательство того, что евреи нигде не чувствуют себя дома и всюду окружены атмосферой отвращения, которое они вызывают у всех народов? Будь это народ благородный, благочестивый, «гуманный», «просвещенный учением любви к ближнему» — помилуйте, да ведь такой народ всюду был бы желанным гостем. Его не только не обижали бы, его сажали бы в передний угол, и ему не пришлось бы метаться по свету, выискивая, куда бы деться — в Палестину, Синай, Уганду, Аргентину или еще в какое-нибудь убежище. Если идея сионизма возникла, то уже одно это доказывает близость момента, когда терпение христианских народов будет истощено и когда евреям придется уже чисто практически переселяться куда-нибудь «на другую квартиру». Заявляя претензии на всесветную империю, раскинутую на теле чуждых им народов, объявляя весь земной шар своей добычей, шустрые еврейчики, однако, чувствуют, что во всем свете их империя трещит по швам и близко время, когда их отовсюду попросят о выходе. Антисемитизм (точнее — антиюдаизм) — явление еще молодое, но нарастающее с грозной быстротой. Вовсе не одно оспариваемое евреями употребление ими христианской крови делает их страшными и ненавистными среди народов. Ритуальные убийства — дела очень темные, для расследования их требуется много мужества и энергии христианской юстиции. Но ведь самая история евреев есть сплошное ритуальное преступление — и с христианской, и *с еврейской точки зрения*. За убийство ли Мессии, посланного Богом, или за убийство длинного ряда пророков, обличавших Израиль, — но это племя считается по суду Божию в вечной ссылке из своей родины. Как все тяжко уголовные ссыльные, евреи не пользуются хорошей славой в местах изгнания. Преступную репутацию свою они поддерживают, как наши «чалдоны» в Сибири, систематическим паразитизмом, желанием жить непременно на чужой счет. Чалдонам это далеко не всегда удается. Евреям же удается почти всегда. На глазах наших идет медленное замучивание, вытачивание если не крови, то трудового пота, и не у какого-нибудь отдельного христианского мальчика, а у целых народностей христианских, попавших в рабство этому сирий-

скому кочевнику. Уже не первый раз евреи призывают «весь культурный мир» к борьбе с Россией, но «весь культурный мир» немножко осведомлен, что такое представляют сами г-да евреи, взятые в общей их массе.

МАЛЕНЬКИЙ ЗОЛЯ

6 октября

Кто-то в Киеве был так любезен, что прислал мне конфискованный нумер «Киевлянина» с его нашумевшей защитой Бейлиса. Прочел я бурную статью В. В. Шульгина[1] и изумился: что тут было конфисковывать? Статья *легкомысленная* — и только. Если бы она появилась не в «Киевлянине», не в старой твердыне русского народного дела, на эту статейку никто не обратил бы ни малейшего внимания. Она прогремела по России как «скандал в благородном семействе», серьезного же значения общественного иметь не может. В. В. Шульгин человек даровитый, но, к сожалению, нервный; он более художник, чем публицист, и в его политике всегда возможна неожиданная licentia poetica (поэтическая вольность. — *Ред.*). Преемник мудрого и уравновешенного Пихно[2], молодой издатель просто «переборщил» в данном случае, «погорячился». Что он был движим наилучшими намерениями, благородство которых так и просится на выставку, в этом нет сомнения... «Приняв, — пишет г-н Шульгин, — редакторское перо из умолкнувшей (?) руки покойного Дмитрия Ивановича Пихно, мы над гробом его поклялись, что неправда не запятнает страниц "Киевлянина"...»

Клятва милая, что и говорить. Но такие наивные клятвы не афишируют, а серьезные редакторы и не дают их. Скажите, как это поклясться, чтобы *никакая* неправда, вольная и *невольная,* не проникла в миллионы суждений, сведений и известий большой ежедневной газеты? Не равносильна ли такая клятва папской или, если хотите, институтской непогрешимости? Ведь и папе непогрешимость приписывается лишь в области церковных поучений, ex cathedra. Правда, вообще говоря, чудная вещь, но справедливо говорит Банко, герой Шекспира:

Как часто, чтоб вернее погубить,
Созданья мрака говорят нам правду...
«Макбет»

В. В. Шульгину *показалось* правдой, что обвинительный акт по делу Бейлиса составлен несправедливо, с нарушением даже законных требований от прокуратуры. Ему *показалось* правдой, что привлеченный к суду Бейлис совершенно невиновен. Ну что же? Почему же г-ну Шульгину и не иметь своего собственного мнения на этот предмет? Мнения свободны. Почему и не высказать их откровенно? Это право, Божиею милостию, всех русских граждан, умеющих держать перо и даже не обладающих этим нехитрым искусством. Право бесспорное, и не оно огорчило в данном случае национальную Россию. Огорчила излишняя в пользу евреев поспешность в осуществлении этого права и излишняя страстность нападения г-на Шульгина на русскую государственную власть. Ведь прокурор не частное лицо, а представитель государства. Дело так стоит. Христианский мальчик был кем-то подвергнут страшным мучениям — нисколько не менее тяжким, чем претерпевали христианские мученики. Его медленно пытали, нанесли ему шилом или отточенным долотом 47 ран, проникших до черепа, до мозга, до сердца, до разных артерий и внутренностей, пока почти вся кровь несчастного не была выцежена, как сок из дерева. Преступление зверское, но характерное, воскресившее легенду о ритуальных убийствах евреев. Эту легенду выдумал вовсе не прокурор Киевской судебной палаты г-н Чаплинский, не следователи и вообще не русская юстиция. Эта легенда пришла в Россию вместе с евреями еще пятьсот лет назад, как вместе с ними пришло все, что их сопровождает: чесночный запах, мошенничество, ростовщичество и склонность организовывать в гостеприимно принявшей их стране всякое преступление и всякий соблазн. «Легенда» зародилась на Западе в глубоко давние века, когда, может быть, и России еще не было на свете. Очевидно, евреи дали легенде какой-то серьезный повод. Мало того, по-видимому, они поддерживают эту легенду, давая ей подходящее питание. Нет дыма без огня, говорит народ, и при всей таинственности предполагаемого преступного ритуала раскаленный уголек его чувствуется под холодным пеплом и обжигает то одну христианскую семью, то другую. Говорят: процессы об употреблении евреями христианской крови велись в средние века, в века пыток, и только под пытками евреи сознавались в этом преступлении. Можно ли верить суду, прибегающему к пыткам? Конечно, нельзя, соглашусь я, однако и сплошь не верить ему тоже нельзя. Под пытками может наклеветать на себя и праведник, однако и преступник под пытками может сказать правду. Не все же подсудимые средневековых трибуналов, подвергавшиеся пыткам, были праведники. Но, оставив под большим сомнением средневековые суды, не забудьте, что не-

сколько процессов о ритуальных убийствах христианских детей евреями прошли уже в XIX столетии, когда пыток не было. Эти суды чаще оправдывали евреев за отсутствием улик, но *иногда и обвиняли*, если верить специальным сочинениям по этому вопросу. Понятно уже a priori, что оправдательных приговоров было гораздо больше, ибо такого рода преступления по натуре своей обставляются глубочайшей тайной и только совсем неожиданная случайность может дать какую-нибудь улику.

Не один суд в обществе открывает преступления, во многих случаях злодейства очевидны для обывателей и без суда. В деревне, например, часто все знают поджигателей, торговцев краденым, конокрадов, тайных шинкарей и т. п. Иногда сами преступники почти не скрывают своего ремесла, но уличить их или очень трудно, или слишком опасно для отдельных граждан. Одна известная писательница со слов знакомой дамы рассказывала мне, что мать этой дамы, случайно загнанная непогодой на еврейский постоялый двор, сквозь дверные щели видела, как евреи истязали какого-то взрослого мальчика и проливали его кровь. Она чуть не умерла от ужаса и считала себя счастливой, что уехала благополучно из этого вертепа. Конечно, она не донесла властям, но была глубоко убеждена, что это было ритуальное убийство. Сказки, скажете вы, нервной даме просто померещилось! Может быть. Но может быть, и нет. Не так ли? Подсмотрев случайно невообразимый ужас и не имея возможности доказать вину, не каждый решится вызвать на себя месть злодеев, которые судом непременно будут оправданы за недостатком улик. Вот почему так называемые народные поверья и легенды вовсе не так нелепы: иногда они держатся на реальных фактах, только труднодоказуемых по их природе.

Что касается данного дела, то само собою оно не поражает роскошью доказательств, бесспорных и самоочевидных. Но многие ли преступления совершаются среди толпы свидетелей? Почему же «обвинение против Бейлиса — это лепет, который мало-мальски способный защитник разобьет шутя»? Дело, казалось бы, не в лаврах защитника, а в розыске правды. В. В. Шульгин юрист по образованию (хотя, кажется, без судебной практики). Но ведь и прокуроры, ведшие данное расследование, — тоже юристы, притом с продолжительным опытом и специальными познаниями, приобретаемыми большою практикой. Тактично ли, спрашивается, со стороны г-на Шульгина было в первый же день процесса, едва опубликован был обвинительный акт, наброситься на представителя государственного правосудия с такими словами: «Становится обидно за киевскую прокуратуру, за всю русскую юстицию, решившуюся выступить на

суд всего мира с таким убогим багажом»? Но, во-первых, русская юстиция выступила не на суде «всего мира», ибо подобный суд существует только в воображении г-д евреев. Русская юстиция сама привлекла к русскому государственному суду лицо, которое ей показалось подозрительным и заслуживающим судебного следствия. До суда «всего мира», то есть до всемирного кагала, захватившего христианскую печать, уважающей себя юстиции не должно быть ни малейшего дела, иначе ведь пришлось бы всех преступных евреев освобождать от суда. Вспомните дело Дрейфуса: тот обвинялся в менее важном преступлении, и то всемирный кагал вырвал его из рук правосудия.

Еврейские янычары

В. В. Шульгин возмущается «убогим багажом» обвинительного акта. Но где же взять багаж более крупный? Все-таки это *багаж*, хоть и бедный, и имела ли право прокуратура бросить *немногие* доказательства потому только, что нет *многих?* Неужели погубленная жизнь ребенка (даже троих детей), неужели его предсмертный ужас и мучения так-таки ничего не стоят? Не стоят того, чтобы государственная власть поставила на суд даже немногие свидетельства, которые удалось добыть? Поразительно, до чего жалостлив г-н Шульгин, когда дело коснулось взрослого еврея, далеко не убитого, далеко не замученного, а только арестованного, не больше. Уже один арест Бейлиса заставляет г-на Шульгина кричать: «Вы сами совершаете человеческое жертвоприношение! Вы отнеслись к Бейлису как к кролику, которого кладут на вивисекционный стол! Господа, берегитесь! Есть храмы, которых нельзя безнаказанно разрушать!» Вот какой, чисто иудейский, взрыв жалости к этому бедному, несчастному еврею, который, по показанию детей, все-таки тащил Андрюшу Ющинского к обжигательной печке. Но успокойтесь, г-н Шульгин, — ведь дорогой для вас Бейлис еще не обвинен и никакого наказания по суду еще не потерпел. Всего вероятнее, он будет оправдан за недостатком улик — зачем же вам преждевременно впадать в истерику? Неужели же со стороны государственной власти даже *заподозрить* еврея в убийстве или сообщничестве к убийству составляет преступление, равносильное «разрушению храма»? Неужели посадить подозреваемого еврея под арест есть «человеческое жертвоприношение»? Это, знаете ли, просто неумно, даже технически бесталанно с чисто журналистской точки зрения. Сравнить Бейлиса с кроликом на вивисекционном столе, забыв о соро-

ка семи ранах Андрюши Ющинского, который действительно погиб как кролик в зубах собаки, — это и неумно, и жестоко...

«Да ведь Бейлис невиновен!» — кричит г-н Шульгин.

То есть вам кажется, что он невиновен. Если вы убеждены в этом, то что же вы волнуетесь? Суд оправдает невинного, вот и все. Но как же вы решаете еще до суда, до опроса свидетелей, до приговора присяжных громогласно настаивать, что подсудимый невиновен? Прилично ли это для юриста? Прилично ли кричать в унисон с евреями, что «вся киевская полиция была *терроризована* решительным образом действиями прокурора судебной палаты и поняла, что если кто слово пикнет невпопад, будет немедленно лишен куска хлеба и посажен в тюрьму»? Прилично ли утверждать, что «прокурор *запугал* своих подчиненных, *задушил* попытку осветить дело со всех сторон»? Ведь это значит возводить на прокурора палаты тяжкое профессиональное преступление. Но если последнее совершено, мало сказать: «Мы утверждаем», — надо привести доказательства. Г-н Шульгин их не привел. Может быть, он приберег их для судебного ответа, который ему предстоит дать, но лучше бы серьезному органу с традициями «Киевлянина» не ставить бездоказательных обвинений против власти, особенно в момент, когда она находится в осаде со стороны враждебных России сил. Не дитя же г-н Шульгин — он отлично знает, чем рискует г-н Чаплинский, прокурор палаты, со стороны раздраженного до бешенства еврейства. Кровь Столыпина, убитого евреями в том же Киеве, еще свежа в памяти. Г-н Шульгин отлично осведомлен о еврейском терроре против всех, кто имеет мужество громко усомниться в невиновности Бейлиса. Своей травлей против прокуратуры разве не присоединяется г-н Шульгин к еврейскому террору? Разве не подбрасывает он скверного масла в очень скверный огонь и без того удушливых в Киеве племенных страстей? Г-н Шульгин хорошо знает, что следствие велось под наблюдением не только киевского прокурора палаты, но и самых высших чинов юстиции. Очень опытные и беспристрастные юристы рассматривали обвинительный акт прежде предания Бейлиса суду. Прилично ли в таком случае *еще до суда* публично опорочивать столь серьезно поставленное обвинение? Не похоже ли это на попытку морального насилия над судом, на попытку вместе с евреями во что бы то ни стало сорвать процесс?

В. В. Шульгин читает киевской прокуратуре и через нее министерству юстиции целую лекцию по уголовному процессу, доказывая, что обвинять можно лишь при наличии достаточных улик. Но это само собою подразумевается. В глазах киевской прокуратуры улик против Бейлиса было *достаточно*, чтобы привлечь его к суду.

В глазах г-на Шульгина их может быть *недостаточно*, но ведь он не суд, не высшая юридическая инстанция, а просто человек, неприкосновенный к делу. Как таковой он осведомлен в деле во всяком случае менее, чем прокуратура. А если так, то в своих суждениях о деле ему подобало бы быть несколько скромнее. Суд человеческий — не Божий; он не безгрешен, он часто до крайности затруднен в распознавании истины, которую преступники прячут, затирая и заметая всякие ее следы. Требовать от прокуратуры, чтобы она собирала каждый раз неопровержимые улики, — это равносильно отрицанию суда. Зачем же, в самом деле, суд, если уже прокурорское обвинение неопровержимо? Достаточно было бы последнего. Но статистика говорит, что около 50 процентов обвиняемых оправдываются судами, стало быть, или прокуратура не безгрешна, либо суды ошибаются, а может быть, и те и другие не свободны от заблуждений. Красиво ли отдельному гражданину, едва выслушав обвинительный акт, кричать громогласно: позор юстиции! Она, мол, не поняла дела, она пристрастна, а я вот настолько умен, что понял его, настолько беспристрастен, что без всяких следствий и опросов свидетелей, без экспертизы и прений сторон объявляю приговор: Бейлис невиновен! Он просто кролик под ножом прокурора! Г-н Шульгин, мне кажется, мог бы сравнить уголовный суд с другой операцией — не вивисекторской, а хирургической. Тяжкое, страдальческое, до крайности болезненное дело. Не ради только чести некоего Бейлиса, но ради жизни невинных детей, довольно часто пропадающих без следа, ради жизни замученного ребенка Андрюши Ющинского и отравленных Жени и Вали Чеберяковых государство обязано если не найти, то *искать* истину. Искать без устали, до исчерпания всех средств. Государство это и делает. Не прокурор г-н Чаплинский, а русский государственный суд производит теперь крайне тонкую и нежную операцию, стараясь доискаться источника смертельной опасности. Не мешайте же, г-н Шульгин, операции! Не вопите под ухом вашего коллеги (так как вы юрист), не толкайте его руку, вооруженную юридическим ножом. Золя, крикнувший в деле Дрейфуса «j'accuse!», был, может быть, большой писатель, но плохой политик; с хорошими побуждениями он сыграл на руку захватившему Францию еврейству. Уже теперь доказывают, что Золя при этом не совсем был чист, а когда потомство вскроет все документы, французские и немецкие, может быть, окажется, что он был и совсем нечист. Ведь если бы господа Дрейфусы, Ферреры, Бейлисы и т. п. были вполне невиновны, зачем бы еврейству поднимать великий гвалт, производить землетрясение, хвататься за солнце, луну и звезды, клянясь, что их сородичи невинны как голу-

би? Добродетельный народ на месте евреев сказал бы: раз вы подозреваете в преступлении кого-нибудь из наших, пожалуйста, судите их со всей строгостью закона! Мы отнюдь не мешаем правосудию, а готовы помочь ему, ибо ни на минуту не берем на свою совесть злодейств тех выродков, которые возможны во всяком народе. Оправдан будет Бейлис или обвинен — это его дело. Нация, к которой он принадлежит, не скрывает преступлений, а вырывает их из себя беспощадно и перед глазами всего света. Ритуальное убийство не тем ужасно, что оно ритуальное, а тем, что оно преступление. Если суд удостоверится в существовании тайной секты, обряда, учения, требующего человеческой крови, это будет громадной услугой еврейству, так как укажет зло, с которым необходимо бороться.

Так вела бы себя нация, действительно считающая себя невинной. Так вела себя русская нация, узнавшая о религиозном изуверстве скопцов, бегунов-душителей и др. Не так ведут себя евреи, поднявшие всемирный вопль о том, что они все до одного невинны. Вместе с ужасным и неразгаданным иероглифом на документе вечной неопровержимости — на коже убитого мальчика — этот страх евреев и сумасшедшие старания закричать суд, заглушить его, ошеломить, расстроить — доказательство, что их роль не вполне безупречна. И сами евреи, и большие и маленькие Золя, охваченные гипнозом еврейским, в состоянии только *похвастаться* своей «правдой», но не *доказать* ее...

Я говорю о гипнозе еврейском, не желая заподозрить русских прихвостней этого племени в чем-нибудь худшем. Турки некогда набирали христианских мальчиков, воспитывали их на турецкий лад, давали им богатое содержание, внушали им мусульманский фанатизм — и из христиан выходили лютые, как волки, янычары, защитники Магомета, а не Христа. Нечто подобное проделывают и евреи. Оглушая немолчным гвалтом своим христианские уши, внушая ежедневно через печать свои идеи и настроения, они совершенно перевоспитывают таких «христианских» мальчиков, как, например, глуповатый г-н Набоков, нервный г-н Шульгин, хитренький г-н Короленко и пр., и пр. Одевая их в богатое платье рекламы и похвалы, давая кое-кому богатое содержание, евреи вручают им кинжалы — то бишь писательские, отточенные на христиан перья. Получается *еврейская гвардия янычар*, готовых растерзать отечество за одно подозрение в чем-то дурном еврея, тащившего ребенка в обжигательную печь...

ТРАГИКОМИЧЕСКОЕ ПЛЕМЯ

12 октября

Еврейский народ принято считать самым трагическим из всех, ибо он растерял в своей истории все, что делает нацию величественной: утратил территорию, государственность, язык, независимость и даже кровь свою (ибо, по уверению ученых, чистых семитов среди евреев не более 5 процентов, остальные — помесь с сирийцами, неграми, туранцами и арийцами). Чего трагичнее — потерять десять из двенадцати колен? Чего трагичнее — считать себя избранным народом Божиим и одновременно — отверженным Богом? Чего трагичнее — иметь историю, состоящую из «исходов», то есть из изгнаний отовсюду, куда бы это племя ни проникло и где бы ни укоренилось? Чего трагичнее — перебывать в плену у всех соседей и всем внушить презрение и ненависть, доходившую не раз до попыток окончательного истребления этого племени еще в дохристианские времена? Чего трагичнее — иметь национальное имя, которое на всех языках является ругательным словом? Но, пересчитывая свои беды, сами евреи не замечают очень сильного и неразрывного с их трагедией комического оттенка — и в древней их истории, и в современной. Не забавна ли, в самом деле, их претензия быть на первом месте, когда, по их же учению, Бог лишил их всякого определенного места на земле? Не смешна ли эта трехтысячелетняя история с постоянным пролезанием евреев куда их не просят, с постоянным захватом ими хозяйских прав и с неизменным изгнанием нахального гостя за порог дома? Вся еврейская история — трагикомический водевиль, с переодеваниями и всевозможными фальсификациями, которые рано или поздно всегда раскрываются. Трагедией историю евреев нельзя назвать потому, что трагедия вещь благородная — это страдание высокого духа, гонимого слепым роком. У евреев же страдает очень низкий и преступный дух, гонимый не роком, а чувством самосохранения у всех народов, имевших несчастие довериться этому вкрадчивому и с виду невинному паразиту. Именно паразитизм этот, стремление жить на теле чуждых народов, и придает комический характер еврейской драме. Насекомые, желающие жить непременно на теле человека и в волосах его, могут горько жаловаться на гонения против них, — но не комичны ли были бы эти жалобы по самому существу их? Не забавны ли были бы их воззвания к благородству человеческому, к чувству сострадания и т. п.? Самый простоватый и близкий к свято-

сти человек ответил бы на стон, например, блошиной нации: «Да ведь не мы же, люди, скачем на вас, а вы на нас. Оставьте нас в покое — и будьте уверены, что мы за вами не погонимся».

Трагикомический оттенок имеет не только история евреев, но и самый тип их: сколько в нем, с одной стороны, трусости и с другой — наглого самомнения! Раскройте любую написанную евреем историю еврейского народа (например, двухтомную историю профессора Греца в издании Хашкеса) — разве это не клиническая картина mania grandiosa, явного помешательства на идее своего народного величия? Даже ученые из евреев (впрочем, ученые в особенности) до такой степени лишены чувства самокритики, что не замечают, насколько их напыщенность наивна и смехотворна.

Мне не раз уже приходилось отмечать курьезные резолюции разных жидовских сборищ за границей, наполненные угрозами по адресу России.

<...> А на днях в связи с делом Бейлиса венские иудеи разразились прямо площадной бранью против русского Государя и русского народа. Из вороха смрадных ругательств, неудобных для печати, могут быть приведены лишь те умозаключения еврейских журналистов, которые свидетельствуют о явно ненормальном состоянии их мозгов. «Брошен вызов *царственному* еврейскому народу, — кричат (печатно) евреи. — С чувством омерзения, скрежеща от боли и стыда зубами, поднимаем мы запятнанную нашей святой кровью перчатку». Вызов, брошенный евреям, заключается, видите ли, в том, что русское правительство «осмелилось» привлечь киевского еврея Бейлиса к суду. Но почему же еврейский народ «царственный»? Не отдает ли это царственностью гоголевского Поприщина, вообразившего себя Фердинандом VII? И почему кровь еврейская — «святая», в отличие от всякой другой человеческой крови? Читатель может улыбнуться жидовскому самохвальству, но улыбка в данном случае неуместна: перед нами *больной* народ, не в отдельных своих представителях, а чуть ли не всей массой свихнувшийся на мысли, что он царь между народами и свят, как Бог. «В Киеве, — голосят газетные еврейчики, — русское правительство решило дать генеральное сражение еврейскому народу. От исхода этой титанической борьбы зависит судьба... вы думаете, еврейского народа? О нет! Еврейский народ неуязвим. На карту поставлена судьба русского государства: быть ли ему или не быть? Победа русского правительства будет началом его конца. *Тут ему выхода нет*... В Киеве перед лицом всего мира мы покажем, что с евреями шутить нельзя. Если до сих пор еврейство по тактическим соображениям скрывало тот факт, что оно являлось руководителем русской революции, то теперь,

после инсценировки русским правительством киевского процесса, маскараду этому должен быть положен конец. *Каков бы ни был исход киевского процесса, русскому правительству нет спасения.* Так еврейство решило, и так будет...»

Скажите, разве при всей змеиной злости этих угроз они не отдают глупейшим шутовством? Мне показалось странным, что национальная русская печать отметила этот вздорный выпад венских жидов как нечто очень серьезное. *Тут ни капли нет здравого смысла*, а один лишь озлобленный бред. Подумаешь, какую новость открыли венские жидки, заявив, что именно их сородичи руководили недавней русской революцией. Но разве это неизвестно русскому правительству, имеющему в руках точные цифры еврейского участия и в рабочей, и в студенческой, и в печатной, и в простонародной смутах? Этот секрет полишинеля еврейчики могли бы преспокойно хранить для себя, но раз они его так «ужасно» раскрыли, русское правительство могло бы ответить: глупенькие! Да что же вам пользы-то афишировать вашу роль в русской революции? Ведь одно ваше прикосновение к революции в состоянии было убить ее в глазах русского народа. Пока народ не догадывался, кто именно дергал его за нервы, кто возбуждал его против Престола и веры, — народ еще волновался и бунтовал, но стоило еврейским руководителям высунуть свои черные головы наружу — народ очнулся и отхлынул от них. В тех городах, где еврейские руководители революции выдвинулись из толпы особенно заметно, результатом было возмущение народа... не против русского правительства, а против евреев. Припомните-ка, какой кровавой полосой прошли погромы евреев в 1905 году именно в тех городах, где еврейских руководителей революции было особенно много. Хорошо вышло «руководство», не правда ли? Несомненно, и впредь оно будет встречено в России столь же трагикомически для евреев. Ведь и тогда, восемь лет назад, жиды всего мира и всей России проявляли достаточную степень ярости. И тогда они вопили, раздирая рот до ушей, что «русскому правительству нет спасения». Ведь и тогда они выносили смертные приговоры русской государственности. Но Бог помиловал, и еврейская свинья не только не съела, но сама едва живой выскочила из переделки, потеряв изрядное количество своей щетины. Результатом оборудованной евреями первой нашей «революции» был не только разгром этой революции, но и такое «беспокойство» для г-д евреев, что около миллиона их сочли полезным для себя эмигрировать в Америку. Остались на своем прежнем месте и русский трон, и русский народ, и даже русское правительство нисколько не потерпело в своих правах.

Никакой революции (в смысле государственного *переворота*) на

самом деле у нас не было; если было введено народное представительство, то ведь оно не новость ни в древней, ни в новой нашей истории. Государство наше началось с народного представительства (вече) и продолжалось им (земскими соборами). Прерывавшееся временами, оно возобновлялось в учреждениях Екатерины II, Александра I, Александра II, не раз обсуждалось при Александре III, и если не вводилось, то лишь вследствие бесконечной волокиты, обычной у нас и в малых, и в больших вопросах. Несчастная война, а вовсе не еврейская бунтовка заставила поспешить с коренной реформой. Если бы евреи обладали хотя бы скромной дозой здравомыслия, они увидали бы, что торжествовать им и хвастаться революцией не приходится. Государственная Дума, на которую они возлагали все надежды, вовсе не оказалась ни жидовской, ни даже жидофильской. Проскочившие в нее еврейчики не имели даже среднего успеха в ней, и единственная их роль ограничилась тем, что они скомпрометировали одну из русских партий, имевшую малодушие поступить к евреям на содержание. Пока русское общество еще не видело воочию всех этих Герценштейнов, Иоллосов, Нисселовичей, Винаверов, Пергаментов, Гессенов и прочих, оно считало кадетов искренними и стойкими представителями русского либерализма; но когда из-под овечьей шкуры показались еврейский хвост и характерные клыки — огромная жидорусская партия пошла на убыль. Все порядочные, верные народным интересам русские люди ушли из нее, и остались люди или очень корыстные, или очень придурковатые, то есть или шабесгои, или янычары, о которых я говорил недавно. То же проделали евреи и с русской радикальной печатью: они наложили на нее точно масляное пятно специфически еврейской бесчестности, фальсификации, подлога, клеветничества и наглой лжи, что не могло не уронить этой печати в глазах добропорядочных русских людей.

Я не скажу, чтобы русские политические движения, партии и газеты сами по себе были безгрешными, но грехи христианские г-да евреи как бы фиксируют и проявляют, чудовищно усиливая своей особенно едкой, отстоявшейся в веках бессовестностью. С этой точки зрения русскому правительству не только нет причин страшиться евреев, угрожающих еще раз взять руководство революцией, но есть основания счесть их участие даже желательным в этом деле. Если шайкой воров берется руководить сумасшедший, то мешать этому до времени не следует. Один еврей — Азеф, задумавший перехитрить самого дьявола в руководстве русской революцией, нанес ей такое поражение, какого не могла нанести ей коалиция всех наших охран и полиций.

Из сказанного, конечно, не следует, что угрозы евреев ровно ничего не значат. Как змеиный шип или волчий вой, угрозы вообще безвредны, но они обнаруживают присутствие озлобленных и всегда вредоносных творений. Можно поручиться, что и без всяких угроз евреи наносят России, как и всему христианству, всю сумму зла, на какое они способны. Для этого евреям даже не надо быть озлобленными, а только евреями. Разве саранча озлоблена на поле, на которое она садится? Она может глядеть на него даже с нежностью — отчего, впрочем, полю нисколько не легче. Русское правительство, которое «осмелилось» (буквальное выражение еврейских газет) тронуть одного подозрительного еврея в Киеве, хорошо сделает, если встретит всесветные угрозы этого племени пренебрежительной улыбкой, но еще лучше сделает, если, памятуя долг свой перед русским народом, примет более строгие и методические меры к освобождению России от отверженного племени. Не нужно контрпредупреждений, не нужно, по возможности, крутых насилий, но необходим очень стойкий нажим в ответ на наглое нашествие врагов России, не стесняющихся уже более кричать о своей вражде перед целым светом. Если нельзя мечтать о такой роскоши, как новый поголовный *исход* евреев под предводительством Винавера и Гессена, то необходим все-таки железный отпор им на всех позициях, государственных и народных. Дело Бейлиса ярко показывает, как ошибочно и опасно было либеральное простодушие нашей бюрократии при Александре II. Чиновники тогда не разглядели, что такое еврей, они не поняли, как быстро это племя из ничтожного паразита делается паразитом угрожающим и смертоносным. У нас ждут, чтобы непременно все ткани народного тела были пропитаны ростовщической и мошеннической еврейской культурой, — ждут, когда лечиться от заразы будет уже поздно... Если сами евреи не замечают комизма своего положения, то христиане, наоборот, за комической стороной не разглядывают глубокой и органической опасности, сопряженной с еврейским внедрением. Трихины и стрептококки могут быть невиннейшими с их точки зрения существами и глядеть на ваше тело как на священный Ханаан свой, но лучше подальше держаться от такой невинности. Не будь евреев в Киеве, не было бы и процесса, который лежит одинаково на христианской и еврейской совести.

Трагикомедия еврейского племени сказалась и в данном процессе во всем блеске. Возьмите хотя бы эту черту: евреи клянутся и божатся, что не употребляют человеческой крови для ритуальных целей, они заставляют в этом клясться сотни и тысячи раввинов и еврейских ученых — и все-таки им не верят. Чем объяснить это доходящее до смешного недоверие к оглушительному, доведенному до трагизма еврейскому гвалту? Мне кажется, ничем иным нельзя

объяснить его, кроме исторического, накопленного в тысячелетиях предубеждения против этого племени. В столь темном вопросе, как подпольное убийство христианских детей с целью мести или жертвоприношения Иегове, конечно, мы, христианская публика, ничего вполне определенного не знаем. «Говорят», что евреи режут детей, но своими глазами никто из нас этого не видел. В таких условиях, казалось бы, как не поверить шумной клятве всего еврейского духовенства и ученого их класса? Однако доверия нет как нет. Дело в том, что если возможны отдельные честные евреи, то как народ, во всей массе, это племя далеко не имеет репутации честного. Отдельному еврею (по достаточном испытании) вы еще можете поверить, но можно ли дать веру еврейской толпе, хотя бы она подтверждала свои слова самыми торжественными клятвами? Увы, нельзя. Христиане за две тысячи лет привыкли видеть себя систематически обманутыми со стороны евреев. И у нас, при известных стеснениях, и в Америке, при широчайшей свободе, евреи ухитряются быть вдвое, втрое, вчетверо более преступным племенем, чем все другие вместе с ними живущие народности. Притом преступность еврейская по преимуществу ютится в области обмана. Если не ошибаюсь, такие преступники, как убийцы, воры, грабители, представители грубого насилия, среди евреев встречаются реже, чем среди христиан. Но зато в необъятной области мошенничества, связанного с обманом, они главенствуют. Притворяясь честными и скромными людьми, евреи удивительно умеют втянуть христианина в сделку, по видимости совершенно безукоризненную, — и она чаще всего оказывается для него роковой петлей. Даст, например, еврей деньги в долг — всего по пяти процентов, но затем окажется, что пять процентов насчитывается за месяц, а в год это составит шестьдесят процентов. При заключении сделки она представляется крайне выгодной для обеих сторон, а на деле она крайне выгодна только для еврея, для христианина же разорительна. Что бы ни купил христианин у еврея, непременно обнаружится какая-нибудь незамеченная фальшь, и дешевое выходит дорогим. Евреи фальсифицируют все решительно на свете, начиная с монеты и кредитного знака. Они подделывают векселя, документы, всякую пищу, вина, лекарства, материи, утварь, золото, серебро. Огромные промыслы еврейские возникли на подделке одних аптекарских товаров. А засорение зернового хлеба евреями чего стоит! Оно прямо убивает нашу внешнюю торговлю. Евреи подделывают и женскую невинность, и многоэтажные каменные дома, стены которых оказываются набитыми мусором и рушатся часто недостроенными. Подделывают и всякого рода идейный товар — литературный, научный, художе-

ственный, юридический, политический. Не все случаи обмана разоблачаются. В громадном большинстве они остаются безнаказанными, но в конце концов у народов, пораженных этой язвой, — у христиан, как и у магометан, — складывается стихийное в отношении евреев недоверие. Даже в средневековых арабских сказках, рассказанных Шахразадой, евреи неизменно фигурируют как обманщики.

Заработав тысячелетиями столь прочную и столь нелестную репутацию, евреи трагически требуют, чтобы мы им поверили на слово относительно ритуальных убийств. Не комично ли это с их стороны? Чем труднее доказуема область еврейских преступлений, тем более строгого требует над ней надзора.

ЕВРЕЙСКАЯ ПОБЕДА

31 октября

Будем иметь мужество сознаться, что в деле Бейлиса Россия понесла *поражение*. Без долгих доказательств — попробуйте прислушаться к вашему сердцу, к вашему внутреннему чувству, — разве не тяжело ему? Очень тяжело. Вопрос не в Бейлисе, а в том, что *не нашли виновного*, или если почти нашли, то *испугались назвать* его и в самую критическую минуту отступили. Растерялись, опустили руки и безнадежно отпихнулись от решения, в котором замешан державный долг России — долг правосудия, связанный с национальной честью. Да, как ни грустно признать, подобно Франции, понесшей тяжкое поражение в деле Дрейфуса, и Россия склонилась перед тем же внутренним врагом, торжествующим теперь победу. О, как они торжествуют! О, как они визжат и горланят теперь в обоих полушариях и как сатанински издеваются над несчастным народом русским!

Что особенно трагично — это состав оправдательного приговора. Через минуту (по вынесении приговора), говорит «Свет», «стало известно, что *по вопросу о виновности Бейлиса голоса присяжных разделились шесть против шести*». Но что же в таком случае это за приговор? Может ли Россия и все христианство быть обеспечены, что суд присяжных в данном случае вынес твердую *уверенность* в невиновности Бейлиса? Напротив, суд в приговоре, сложившемся шесть против шести, вынес абсолютную неуверенность в истине своего решения. «Либо да, либо нет» — вот ведь что означают собою

эти 6 = 6. Очевидно, только сомнение, толкуемое в пользу подсудимого, позволило выйти правосудию из этого состояния равновесия, равносильного параличу суда. И вот это нечто случайное, нечто невесомое — каково сомнение при одинаковой вероятности утверждения и отрицания — и склонило чашу весов в пользу евреев. Но по чистой совести, может ли подобный приговор удовлетворить Россию? Мне кажется, что, как мы ни устали с этим проклятым делом, при обилии кассационных поводов его следовало бы вести дальше, следовало бы, как японскую войну, продолжать до вполне благоприятного результата, удовлетворяющего нравственное чувство народное. Нужен не Бейлис, нужен *виновный*, ибо жертва налицо, и если на Бейлисе сходятся все невидимые и видимые лучи как на единственном вероятном соучастнике преступления, то следовало бы не спешить с его освобождением от судебного преследования. Если бы завтра открылись другие убийцы и оказалось, что Бейлис ни при чем, он, конечно, должен быть отпущен, но ведь в данном состоянии вопроса только один Бейлис и составляет определенно подозрительное лицо. Так неужели ради одной лишь причины, что он еврей, отказываться от обязанности окончательного расследования этого черного дела?

Первой частью приговора того же суда присяжных безусловно установлено, что убийство христианского мальчика произошло на еврейском заводе, где управляющим служил Бейлис, и при обстоятельствах, раскрытых на суде, то есть указывающих на обстановку ритуала и прикосновенность к нему Бейлиса. Как же согласить первую часть приговора со второй? Как понять, что еврей, в час убийства тащивший христианского мальчика к обжигательной печи завода (по показанию детей-очевидцев) и бывший последним из тех, кто был замечен вблизи мальчика, совсем-таки невиновен, не только в убийстве, но даже в соучастии? Шесть из двенадцати присяжных признали Бейлиса виновным, как признали его виновным очень опытные представители коронной и профессиональной юстиции: прокурор, председатель суда (по отзывам еврейских газет, председательское напутственное слово присяжным носило явно обвинительный оттенок), а также такие знаменитые адвокаты, как Замысловский[1] (бывший прокурор) и Шмаков[2]. Вы скажете, что другие представители юстиции — адвокаты Бейлиса — отрицают его виновность. Да — но ведь беспристрастие этих адвокатов и экспертов со стороны защиты кое-чем скомпрометировано, — например, тем, что они получили слишком внушительные гонорары. О, конечно, они получили их *только за свой труд* — но если бы они выступили против Бейлиса, то позволительно усомниться, получили ли бы они «за свой труд» хоть медный грош...

Тут мы подходим к основному центру судебной драмы. Что же значит, что, несмотря на доказанность зверского убийства христианского мальчика на еврейском заводе, в дни еврейского мстительного праздника, в тайной еврейской молельне, в которой присутствовали хасиды, пекари и развозители мацы, — евреи все-таки остались в стороне? Что же значит, что глубокое убеждение русской государственной юстиции в наличии в данном случае ритуала, как и убеждение в том же следственных властей и независимых экспертов, сведено к нулю? Что же значит, что против шестерых присяжных, *убежденных* в виновности Бейлиса, выступили шесть будто бы не убежденных в этом?

Эту страшную загадку нужно пытаться сколько-нибудь распутать и осветить. Еще в Древнем Риме была отмечена поразительная сила еврейского террора, когда дело касалось суда над евреями. Даже такие судебные ораторы, как Цицерон, старались говорить чуть слышно, обвиняя кого-нибудь из этого «презреннейшего», по мнению римлян, племени. Невероятный шум и гвалт, поднимавшийся еврейской толпой на площади вокруг суда, на ближайших улицах, смущал римлян, заставлял их иногда теряться, поддаваясь софизмам подкупленных адвокатов и, может быть, подкупленных судей. В истории многих арийских царств отмечены эпохи глубокого нравственного упадка, когда подкуп со стороны мошенников поражает шаткую совесть не только мелких стражников и низших агентов власти, но и весьма значительную часть аристократического класса. Если не деньгами, то красивым телом своих дочерей и жен евреи проникали до таких грозных престолов, как Нерона и Ксеркса. За пятьсот лет до эпохи Цицерона и за двадцать четыре столетия до дела Бейлиса евреям удалось через Есфирь, воспитанницу Мардохея, изменить более чем судебный приговор — торжественный манифест царя-деспота, причем ближайший к царю сановник, имевший «вторую честь по царе», был погублен, а с ним множество невинного народа было зарезано иудеями. Ведь доходило до того, что царь арийского племени позволял иудеям, находившимся во всяком городе, «истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен и имение их разграбить» (Есфирь, 8, 11), что евреи и сделали. Список с этого добытого через Есфирь указа был послан «как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим», и в результате «многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями» (Есфирь, 8, 17).

Вот какие победы одерживало это племя, враждебное (по словам

манифеста Артаксеркса) всякому народу и «совершавшее величайшие злодеяния». Умалять эти еврейские победы, совершавшиеся всегда подкупом, подлогом и террором, никак не следует. Империя великого Кира просуществовала очень недолго после того, как сородичи Мардохея забрали над простодушным арийским народом указанную чудовищную власть. Недолго просуществовал и железный Рим, не остерегшийся впустить в Италию паразитный иудейский народ. Засилье евреев, как засилье туберкулезных бацилл в теле, всегда было предвестием падения царств.

Если мы хоть сколько-нибудь дорожим будущностью своего народа, изучим как следует дело Бейлиса: в нем, как в зеркале, отражается все довольно жалкое состояние нашей теперешней государственности. Разве вы не видите, что евреи действительно захватывают Россию, как во времена Ксеркса захватили Персию? От времен Изяслава I, князя киевского (считавшего недостойным «пачкать мечи» еврейской кровью), идут погромы евреев; другими словами, восемьсот лет кряду простой народ выражает нежелание жить с евреями — и этот хищный народец все-таки живет в России, внедряется все глубже и глубже, презирая все официальные ограничения. «Черта оседлости» существует теперь уже не для евреев, а для самих русских, вытесняемых из всех первых мест на своей родине, из промышленности и торговли, из науки и искусства, из всякой области сколько-нибудь выгодного труда. Нас, потомство строителей государства, тысячу лет сражавшихся за его честь и свободу, кочевое племя, ненавидящее Христа, отгоняет от наших колыбелей и очагов и порабощает как низшую расу. Несмотря на категорический запрет еврейскому вселению всех монархов наших до самого XIX столетия, несмотря на решительные повеления Петра Великого и Елизаветы не пускать жидов в Россию, жиды уже наводняют ее и делаются господствующей кастой. Приспособив к своим операциям наш Государственный банк, евреи чрезвычайно быстро переводят наши национальные богатства в свои карманы. Овладев командующей силой интеллигенции — печатью, евреи совсем вытеснили авторитет правительства из сознания общественного и поставили свою волю выше государственной. <...> Еще не вполне удалось евреям сломить упорство национальной, хотя и сильно разреженной инородцами и обеспложенной бюрократии, но многое уже удалось... Если не вполне еще разгромлен евреями и государственный суд наш, то именно в деле Бейлиса вы видите, до какого края пропасти он уже доведен.

Скажите, что в этом кошмарном деле не подделано? Что не подкуплено? Что не оболгано? Что не терроризовано евреями? Ведь

единственно, что не подделано, не подкуплено и не поддалось террору, — это русская государственная юстиция да гражданские истцы. Исторической по нашему времени заслугой следует признать решимость И. Г. Щегловитова, несмотря на всевозможные давления, все-таки поставить это возмутительное дело. *Никто не может сказать, что русская юстиция подкуплена*, а казалось бы, для евреев это был редкий случай испытать свою силу. И прокурор, и судьи, с достойным председателем своим, вели себя так, как должны вести себя граждане великой страны, не отрекшиеся от отечества. Той же похвалы заслуживают и бескорыстные страдатели этого процесса — гражданские истцы и эксперты, кроме нанятых защитой. Но вот и все здоровые, еще не сгнившие клетки суда. Подсчитайте, сколько лжесвидетельства широкою волною впущено евреями в этот процесс! Сколько следственного подлога, добровольческого усердия затушевать, замазать всякие следы преступления, направить следствие совсем в другую сторону! Несомненно, кроме лжесвидетелей, в этом «умученном жидами» деле есть и лжеадвокаты, и лжеэксперты, и лжеполиция, и громадная еврейская лжепечать. Мудрено ли, что за тридцать три дня тяжелых до мучительности заседаний непривычные к ним крестьяне-присяжные дошли до душевного состояния, близкого к помрачению ума. Не только крестьяне, но и люди с какой угодно интеллигентностью не могли бы безнаказанно вынести четырехнедельного выслушивания изворотливой, лживой, фальсификаторской, явно недобросовестной человеческой речи. Евреи и били на то, чтобы «запорошить глаза» присяжным, заговорить их до одури, привести в полусознательное состояние, когда начинает действовать любой гипноз. Скажите, возможен ли серьезный суд в подобных условиях?

Поговорите с любым судебным деятелем черты оседлости — все они утверждают, что юстиция, основанная на свидетельских показаниях и на документах, становится благодаря евреям уже почти невозможной. Лжесвидетельство и подделка документов доходят до такой цинической простоты, что правосудие прямо терпит крушение. Обвиняемому еврейчику ничего не стоит выставить любую толпу «свидетелей» и представить любую подпись на документе. Но этого мало: еврейское золото, выжатое гешефтами из христианских кошельков, несомненно, парализует добросовестность полицейских агентов, как и было в деле Бейлиса, где сыскные агенты сразу взяли неверный курс. Еврейское золото пробует влиять и на менее твердых представителей следственной власти, и даже на присяжных заседателей. Не далее как вчера в «Новом времени» сообщалось из Кременчуга о попытке одного обвиняемого еврея подкупить при-

сяжных заседателей. Покушение это было разоблачено одним из присяжных, не согласившихся взять взятку, но при наших нравах, при крайней бедности и неразвитости присяжных заседателей на иных процессах можем ли мы быть вполне уверены в том, что еврейский подкуп совершенно не влияет и на суд присяжных? Во множестве случаев удостоверено, что за бутылку водки православные крестьяне, свидетели и волостные судьи охотно «берут грех» на свою совесть, вообще не слишком требовательную. Но еврейские преступления обслуживаются в нужных случаях не несколькими рублями, достаточными для ведра водки. На выручку попавшемуся иудею кроме собственного награбленного золота является весь кагальный фонд, а иногда, как в деле Дрейфуса, Ферреро или Бейлиса, — всемирно-еврейский капитал. Это — сила. Тут уже не «ведеркой» водки пахнет, а целыми состояниями, щедро рассыпаемыми направо и налево. Вера Чеберяк показывает, что ей Марголин предлагал 40 тысяч за принятие убийства на себя. Есть указания и на другие попытки подделать подсудимого за известный гонорар. Существует в публике и такая версия: почему бы евреям не нанять вполне невинного своего соотечественника, который за хорошую плату согласится выступить в качестве обвиняемого и будет оправдан, дав возможность действительным преступникам скрыться? Еще лучше в этой роли мог бы служить не вполне невинный, а явно замешанный в деле соучастник, уличить которого, однако, нельзя. Наконец, если не в данном деле Бейлиса, то во многих подобных делах разве не возможен и такой случай, классически простой: юстиции предоставляют сажать на скамью подсудимых кого она пожелает, но еврейский кагал входит в соглашение с известной частью присяжных и остается совершенно спокойным. Нет нужды оплачивать всех присяжных — достаточно половины их или даже одной трети. Ах, это невозможно! — воскликнет читатель, пребывающий на лучезарном Олимпе русской жизни. Но то, что невозможно на Олимпе, весьма обыкновенно у его подножия. Еврейский софист, смущающий совесть какого-нибудь землероба или жалкого писарька, вечно голодного, окруженного голодной семьей, будет говорить: «Да вы вовсе не покривите душой. Вы скажете только то, в чем *безусловно* убеждены, и не скажете, если есть хоть малейшая тень сомнения. А посмотрите, сколько тут сомнительно. Лучше десять виновных оправдать, чем обвинить одного невинного, говорит сам закон. Ведь вы лично не видали, как наш обвиняемый убивал мальчика? Если не видали, так и не утверждайте, что именно он убил. А вдруг не он? Не судите, да не судимы будете, сказал Христос, — прощайте и вам простится. В награду же за труд ваш и нежелание

вредить евреям мы предлагаем вам маленькую сумму: двадцать-тридцать тысяч рублей. Подумайте немножко. Навсегда будете обеспечены и вы, и семья ваша. В купцы выйдете».

Вот приблизительно какой разговор возможен между евреями и неевреями в процессах, где еврейское преступление очевидно. Как вы думаете, все ли полунищие конторщики и бывшие лакеи останутся непреклонными перед такими позолоченными софизмами? А еврейский кагал может пообещать и не двадцать, не тридцать тысяч. Вместо того чтобы раздать целый миллион жадным адвокатам, экспертам, лжесвидетелям и русским прихвостням из журналистов, подбирающим крохи, падающие с еврейского стола, не проще ли поговорить кое с кем из господ присяжных заседателей с глазу на глаз? С ними, скажете вы, нельзя разговаривать, они изолированы. Ну что там нельзя: ничего нет невозможного на этой планете...

Возможно и такое еврейское давление. В тех местностях, где чаще всего встречаются еврейские преступления, обыкновенно вся русская беднота опутана еврейским ростовщическим кредитом, и не одна беднота, а и мелкие торговцы, чиновники, домовладельцы. Вместо соблазна «дать» может быть употреблен соблазн «не взять» — не взыскать по векселю или разорвать его. Ведь известно же, что все христианское население еврейским кагалом расписано на участки и сдано в аренду отдельным еврейским эксплуататорам. Маневрируя всевозможными соблазнами и нажимами, обморочивая лжесвидетельствами и подлогами, не является ли еврейство хозяином нашего бедного правосудия и не смеется ли оно над совестью великого народа?

Председательствующий Государственной Думы князь Волконский имел вчера мужество сказать важную мысль о процессе Бейлиса: «Дело еще не кончено: могут быть еще другие инстанции». Да! «Могут быть» — и ради ответственности перед Богом за кровь невинно замученного ребенка, мне кажется, государственная юстиция обязана довести свое благородное дело *до конца*.<...>

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

26 ноября

Сегодня день решительный у Национальной партии. Думская фракция националистов бросает жребий: быть ли ей независимой и, так сказать, суверенной в черте своих парламентских прав или

объявить себя еще раз покорным вассалом октябризма. Мне приходилось не раз писать, что октябристы — весьма неустойчивая порода двуногих. По убеждениям своим они вовсе не настолько далеки от националистов, чтобы союз с ними был принципиально невозможен, но едва ли возможен союз искренний и достойный, с соблюдением своих, то есть национальных, интересов. Собственно *союзных* отношений октябристы, как партия, родившаяся под коварным созвездием Скорпиона, по-видимому, и не желают и даже органически не способны к добросовестному союзу. Впрочем, в некоторое оправдание их достаточно спросить: допустим ли вообще тесный союз между различными партиями? Ведь такой союз делает само существование отдельных партий бессмысленным. Искренний союз должен оканчиваться слиянием; если же таковое нежелательно, то и союз сколько-нибудь прочный невозможен. Временные соглашения, конечно, неизбежны, но плоха та партия, которая все время ищет соглашений. Тем самым она обрекает себя на роль просительную и в конце концов — служебную. Но из всех партийных принципов национальный наименее подходящ для *службы* чему-нибудь, ибо нация есть *господство*. Нация по природе своей государственна, и партия, отстаивающая национальность, может только подчинять, а не подчиняться.

С политическими настроениями бывает то же, что с отдельными профессиями. Как часто у нас генералы забывают свое призвание и занимаются штатскими делами, священники — коммерческими, коммерсанты — искусством и т. п. Забвение своих призваний — верный признак общего упадка. Наоборот, достаточно вспомнить человеку, кто он, или партии, что́ она, и достаточно отдаться своей идее всецело, чтобы тотчас же получился крупный результат. Относительная слабость национальной фракции в том, что она все время изменяла себе, впадала в политическое многобожие, больше думала о посторонних интересах и о соглашении с ними, нежели о своем собственном. Отграничиться, сосредоточиться, вернуться к своим заветам — вот в чем спасение и отдельных людей, и партий, и народов.

В чем коренное различие между октябристской партией и Национальной, мешающее им при общей умеренности программ слиться или войти в союз? Мне кажется, у октябристов, как и у их ближайших соседей слева, — *буржуазный* идеал, тогда как националисты с их правыми соседями имеют идеал героический. Вероятно, излишними были бы слишком долгие объяснения, что такое буржуазность и героизм. Под буржуазностью я разумеваю то узкое и слишком материальное миросозерцание, которое вмещается в го-

ризонте текущего дня, в черте будничных задач, решаемых компромиссом, причем люди довольствуются полууспехом, полудостижением, коротенькой формулой: «кое-как». Буржуазное миросозерцание не дает одной великой культуры, а множество мелких и нестойких. В государственной жизни буржуазия выдвигает как свой орган бюрократию, канцелярски-полицейский способ править народом — способ, при всей черствости и бездушии его очень слабый. Буржуазно-бюрократический строй есть пышно декорированное бессилие. Гений жизни, гений удачи, таланта, счастья отлетает от такой государственности, и она на глазах народов делается «больным человеком». Пример — все отставшие страны Востока начиная с Турции, Персии, Китая, Индии и кончая иными. А ведь все эти заболевшие государства были когда-то великими и сильными. Когда? — вы спросите. Когда они были героическими, отвечу я.

В чем же состоит героический идеал и почему он у нас настолько утрачен, что его приходится отстаивать и за него бороться?

Мне кажется, объяснение всех понятий следует искать в их источнике. Припомните век героев, когда зачинались древние государства, или век наших богатырей, стоявших на страже нашей слагавшейся национальности. *И Геркулес, и Илья Муромец не знали компромиссов,* они вели не словесную, а реальную борьбу с чудовищами, угрожавшими их родине, они отстаивали высочайшие народные святыни. Героический идеал религиозен, он аристократичен — в смысле торжества лучшего над дурным. Героизм самоотвержен, то есть не боится ни трудов, ни лишений, ни самой смерти. Наконец, героизм национален, ибо он движется общим благом, а не личным или узкопартийным. Героизм — тот солнечный фокус, в котором соединяются все лучи народной души, весь ее жар и свет. Всякая нация, *чтобы быть нацией,* непременно должна быть героичной и вне, и внутри себя, иначе она делается растленной, впадает в старческие грехи и делается добычей более благородных соседей.

Еще отличие буржуазных партий от героических: первые отстаивают главным образом *права* свои перед властью, вторые — главным образом *обязанности* свои перед народом. Казалось бы, нужно ли отстаивать обязанности? Достаточно исполнять их. Но при буржуазно-бюрократическом засилье героические партии, как и весь народ, бывают сильно стеснены в исполнении своих священных обязанностей. Мы обязаны служить Богу и народу в лице его державной власти, а нас тянут служить всевозможным идолам, всевозможному мелковластию разных личных и партийных эгоизмов. Бог и народ в высоком их понимании вовсе не враждебны. «Аз и Отец — едино есьмы», — может сказать всякая нация, чувствующая себя

благородной. Но эту основную координату жизни, выражающуюся словом «religio», отстаивать вовсе не так легко. Необходимы постоянные и героические усилия, чтобы не смешать благочестие с обрядностью и не подменить божественные интересы жреческими. Точно так же необходимо постоянное и зоркое напряжение, чтобы идеалы национальные не смешать с вожделениями черни народной, которая вовсе не есть нация. Нацией называется не народная протоплазма, не сырая человеческая стихия, а некое *организованное*, высокое существо, именуемое культурным народом. Вне цивилизации нет и национальности, ибо нет атрибутов последней — героического единодушия и свободной гражданственности.

Что делать русской национальной партии в теперешние смутные дни? Мне кажется, ей следует быть тем, чем она называется, и ничем иным. Националистам следует представительствовать величайшую из русских политических идей — национально-русскую идею. Пусть иные партии преследуют, если позволяет им совесть, иные, партийные цели, пусть революционное крыло мечтает о насильственном ниспровержении осужденного им общественного строя, пусть буржуазный центр мечтает о бескровном перевороте путем более или менее легальной борьбы, пусть оптиматы наши и феодалы составляют фронду для восстановления старого политического рабства. *Национальной* партии следует мужественно и твердо держать свое собственное знамя и ни на малое время не становиться под чужое. На священном знамени этом должна быть написана *независимость народа* русского как от внешних, так и от внутренних врагов. Националисты должны поддерживать всякое правительство, умеющее защищать народную честь и безопасность — и вне, и внутри страны. Напрасно думают, что русский национализм сложился без всякой нужды и есть политический каприз, не более. В действительности нужда в нем исторически неотложная: он есть необходимое *пробуждение* народного сознания от политического наркоза. Слишком долго мы верили в подмененные начала — в чиновную буржуазию как в аристократию и в полицию как в героизм. Нужны были великие унижения и бедствия, чтобы наиболее сознательная часть общества проснулась от спячки. И вне Империи, и внутри нее отечество наше находится в осаде. Нужна снова великая энергия, как в первые века истории, и великое мужество, чтобы отстоять от крушения самый предмет русского национализма — русскую нацию.

Не будем заглядывать в прошлое: возьмем последний *момент* нашей истории, последние политические впечатления. Разве только что закончившийся процесс в Киеве не доказал бессилия нашей государственности перед осаждающим Россию жидовством? Чего

стоило юстиции нашей решиться поднять это возмутительное дело! Но и поднятое, оно при всех стараниях власти окончилось ничем. Правда, судебным приговором подтверждено, что несчастный христианский мальчик был замучен на еврейском заводе с изуверски-ритуальными целями, — но ведь это и без суда было ясно, и вовсе не в этом состояла задача суда. Задачи всякого суда — нахождение виновных и государственное возмездие — в данном случае остались невыполненными. Злодеи скрылись, и единственный их захваченный сообщник остался неуличенным, ибо, сбитый с толку еврейскими фальсификаторами и подкупленными элементами на самом судбище, суд присяжных разделился надвое: шестеро высказались за оправдание, шестеро — за обвинение*.

Как часто бывает, у нашей государственности и слишком добродушного общества не хватило упорства вести это судебное расследование до конца. И русское, и всесветское еврейство отпраздновало еще раз обидную для нашего национального достоинства победу. Пусть еще раз доказано, что еврейские фанатики приносят в жертву своему талмудическому богу похищенных христианских детей. Но ведь доказано и то, что подлейшее преступление это остается, как обыкновенно, безнаказанным.

Нужно ли придавать серьезное значение тому взрыву негодования в русском независимом обществе, который вызвал процесс Бейлиса? «Взрывы негодования» против евреев бывали не раз, и еще более грозные — стоит вспомнить 1905 год, — и, однако, еврейство всегда оставалось на своих позициях, укрепляло их и продвигалось все глубже в наше народное тело. На днях в Петербурге чествовались в Дворянском и Русском собраниях мужественные борцы за Россию — Г. Г. Замысловский и А. С. Шмаков. Вполне разделяя общее почтительное призвание их энергии и таланта, я очень боюсь, как бы эти громкие манифестации не остались бесплодными. Забросать политических героев цветами, оглушить их рукоплесканиями, выпить с ними много шампанского, прочесть блестящую, в стиле В. М. Пуришкевича, эпиграмму и затем опять вложить христианскую голову в еврейское ярмо — на это мы большие мастера...

Еврейство — зло очень древнее на Руси, мы не раз гибли в борьбе с ним и одолевали его. После того как сын великой Ольги

---

* Кстати, считаю своим долгом исправить ошибку, допущенную мною в статье «Еврейская победа». В ней я предположил, что оправдание Бейлиса могло сложиться как результат преобладания в составе присяжных мнения старшины их, г-на Мельникова. Мне сообщают из вполне достоверных источников, что коллежский секретарь Мельников примыкал к той половине присяжных, которая стояла за обвинение Бейлиса.

сокрушил еврейскую монархию, угнетающую тогда пол-России, евреи как будто исчезли на Руси (хотя погромы их, а стало быть, и засилье отмечаются в Киеве и при Изяславе I). За 736 лет до мученической смерти мальчика Андрея Ющинского был варварски замучен при участии двух жидов другой Андрей — Андрей Боголюбский, «первый великорусский государь», как его называет Костомаров. Именно еврей спрятал меч — единственную защиту князя. Цареубийцы выбросили тело великого князя на огород и хотели отдать собакам. Когда преданный слуга Андрея нашел это тело на огороде, один из евреев стал отгонять его: «Ступай прочь, мы хотим бросить его собакам». «Ах ты еретик, — сказал ему на это Кузьма, — собакам выбросить? Да помнишь ли ты, жид, в каком платье пришел ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь нагой лежит...» (Соловьев С. М. История России. Т. 2)

Эту многознаменательную сцену следует хорошо помнить всем, кто думает, что еврейское племя — несчастное и везде гонимое. На деле оно всегда приходит в рубище, а уходит в бархате, да еще с претензией бросить убитую им христианскую власть собакам. Запомните, господа, этот символ! Может быть, если бы не было цареубийства в 1174 году, совершенного жидами и русскими их сообщниками, и если бы не погиб могучий духом и телом государь, боровшийся с тогдашней анархией, совсем иначе мы встретили бы через пятьдесят лет надвигавшуюся татарщину. Может быть, замученный на еврейском заводе христианский мальчик Андрей нарочно послан теперь судьбой, чтобы напомнить беспечному русскому народу о роковой и гложущей его болезни, о той *хазарской* язве, что снова одолевает Россию...

Мой совет национальной фракции в Государственной Думе и всей национальной партии в России: *не увлекаться мелкой политикой*, игрой в соглашения и в борьбу с октябристами, игрой в оппозицию и т. п. Есть постоянная, огромная, глубоко важная историческая задача — задача освобождения России от всяких засилий и нашествий, и над нею именно надо работать. Что еврейство не довольствуется детской кровью, а ведет систематическую осаду национальной власти — тому доказательство убийство евреями Столыпина<...>

ТЕНЬ УБИТОГО

7 декабря

Как убежавший вор уносит иногда с собой тяжелую рану, при которой и свобода не в радость, так и еврейство, выигравшее дело Бейлиса. Оно вышло как будто благополучным и даже в первые дни торжествовало «великую победу», но затем, когда восторги прошли, начал чувствоваться ужас: а ведь победа-то далась недаром! А ведь проклятый процесс все-таки сделал свое страшное дело! Бейлис оправдан государственным судом, но чудовищное преступление ведь осталось, и тем же приговором суда вся вина в нем переведена, как зловещая тень, на все еврейство. Ведь что такое приговор суда присяжных, если достоверно известно, что шестеро из них признали виновность Бейлиса и шестеро не вполне в этом были убеждены? Это вовсе не значит, что Бейлис *нравственно* оправдан. Он оправдан только юридически, и то лишь в силу безвыходности уголовной задачи при столкновении двух одинаково сильных, но противоположных мнений. В подобном случае принято (и может быть, очень неосторожно) сомнение толковать в пользу подсудимого. Такое оправдание, в сущности, не есть оправдание, а только засвидетельствование недостаточности улик. При разделении голосов присяжные как бы говорят: улики виновности есть, для некоторых они убедительны, но не для всех, и потому только мы вынуждены сказать «невиновен». Вместо «невиновен» было бы вернее сказать *не уличен* или, еще точнее, *недостаточно уличен*. Старое, более гибкое судопроизводство оставило бы подобного подсудимого в подозрении, но нынешнее, перестроенное в интересах преступности, не признает оттенков последней, и если обвиняемый не вполне уличен, его объявляют «невиновным» и даже «оправданным», не замечая глубокой пропасти между этими на вид родственными понятиями. Можно иногда *не винить* человека, решившегося на преступление под давлением толкающих на него обстоятельств, но *оправдать* совершившего преступление нельзя. На родине суда присяжных — в Англии — от этой судебной коллегии требуется единогласное решение, притом относящееся более к факту преступления, чем к суду над ним. Если бы киевский суд присяжных вынес *единогласный* приговор о невиновности Бейлиса — это в глазах всего христианства имело бы, конечно, большое нравственное значение. Но так как приговор был не единогласный и даже расколовший суд на два равных лагеря, то он вынес не нравственное оправдание

Бейлиса, а скорее нравственное осуждение его. Пусть ты, голубчик, не вполне уличен и тебя выпустили, однако при гениальном искусстве у евреев скрывать улики, при сатанинском напряжении их замести следы, при всем могуществе легального и нелегального подкупа — все-таки улик набралось достаточно, чтобы убедить в твоей виновности половину судей. Стало быть, о полном *нравственном* оправдании в данном случае не может быть и речи. Как половина христианского суда, так, по крайней мере, половина христианского общества не может быть убеждена в невиновности Бейлиса, а остается убежденной в его виновности.

Это одна часть приговора, победоносная для евреев. Если она не решает вопроса, а как бы переносит его на апелляцию истории, то другая часть приговора еще убийственнее для еврейства. Уже гораздо более единодушно и чуть ли не единогласно присяжные признали, что несчастный христианский мальчик был замучен на еврейском заводе с изуверскими, то есть извращенно-религиозными, целями. По способу обескровления этого малютки-мученика для всего света бесспорно, как и для суда присяжных, что это дело еврейское, и ничье иное. Всесветный кагал довольно быстро понял, какую глубокую занозу вогнал процесс Бейлиса в и без того отвратительную репутацию международного паразита. Занозу, способную нарывать и вызывать очень длительные и небезопасные состояния. Есть, правда, способ вырвать эту занозу — найти убийц Ющинского, и киевские хохлы-присяжные так и объяснили свой приговор: «Желаем правду открыть. Пускай жиды ищут виноватых». Но в этом-то и состоит трагическое положение еврейства. Как найти виновных, если они прячутся в самом еврействе? Подделать виновных из христиан гораздо труднее, чем подделать христиан-лжесвидетелей, лжезащитников и лжеэкспертов, — это даже труднее, чем подделать лжесудей. Во-первых, найти желающих без вины идти на каторгу не так-то легко. Во-вторых, даже если бы за хорошие деньги нашлись такие, им бы пришлось создать в глазах суда обстановку, доказывающую, что убили мальчика именно они. Евреи чувствуют, что их победа выходит хуже пирровой, — они понимают, что дело Бейлиса нравственно не решено, и в качестве такового пойдет в глубь будущего как постоянное обвинение, постоянная угроза. <...>

Хотя г-н Валишевский (вместе с многими независимыми мыслителями) вполне правильно называет евреев низшей расой, но они все-таки настолько умны, чтобы оценивать опасный для них поворот событий. Если не все они, то кагальные вожаки прекрасно понимают, какая буря завязалась около обескровленного отрока Ющинского. Евреи чувствуют, что на этот раз им совсем *не удалось*

обморочить христианство. Как бы ни раздували они неистовый иерихонский гвалт, сколько бы ни писали оглушительных статей в захваченной у христиан печати, сколько бы ни собирали подписей и митинговых резолюций, все же переубедить независимое христианство им не доведется. Напротив, именно этот скандальный гвалт, именно бессчетные способы замять дело, засыпать кровавую лужу золотом подкупа и грязью клеветы — именно все ухищрения евреев на этот раз произвели обратное действие. Они-то и убедили бесповоротно, что виновато все еврейство, иначе оно не заметало бы следов. А если еврейство виновато, если действительно кровь христианских младенцев нужна для изуверских жертвоприношений этого темного выходца из Азии, ненавидящего в лице Христа все христианство, то совершенно невероятно, чтобы христианское общество совсем-таки не очнулось и не приняло вовсе никаких мер. Евреи с ужасом видят, что сделали ошибку: если бы они хранили глубокое молчание о деле Бейлиса, то оно прошло бы, может быть, совершенно незаметно. Мало ли, сколько тысяч евреев ежегодно судятся в христианских судах за всевозможные мерзости и мало ли их выходят неуличенными. Но своим режущим уши галдежом евреи разбудили сонное христианство, заставили его протереть глаза, принудили вглядеться в дело — и стоило в него вглядеться, чтобы заволноваться, вспыхнуть острой жалостью к замученному мальчику и негодованием к его палачам. Что еще хуже, внимание к полузабытому изуверству евреев повело к исследованию этого изуверства, к собиранию ритуальных процессов в прошлом и восстановлению их в памяти. Совсем было уничтоженная евреями убийственная для них брошюра Даля[1] вновь была переиздана и, кажется, широко распространяется в обществе. Не менее широко расходится трактат Урануса о Каббале, брошюра Пранайтиса и многие другие. Христианское читающее общество с удивлением узнало, что даже на русском языке имеется целая литература научно обоснованного изучения еврейского вопроса и что, например, А. С. Шмаков не только мужественный защитник замученного мальчика, но не менее мужественный автор обстоятельнейших трактатов о еврействе.

Некоторые ученые, например профессор Бронзов[2], начали изучать вопрос о ритуальных убийствах «для себя» и приходят к убеждению, что это преступление в еврействе действительно существует. До киевского процесса и Шмаков, и Замысловский, и Никаноров считались известными ораторами и адвокатами. После процесса они — в особенности первые два — приобрели и всероссийскую знаменитость, и даже всесветную; между тем те русские знаменитости, что прикоснулись к еврейскому золоту в этом процессе, быстро заржавели в общем к ним презрении. Все это для еврейства, обволакива-

ющего Россию, как хищный паук, своей паутиной, вовсе не с руки. Паутина еще в силах захватывать кое-каких христианских мошек да букашек — но взволнованный черным киевским злодейством арийский мир легко может порвать еврейскую сеть, и колоссальная добыча еще раз угрожает выскользнуть... Евреи и рады были бы теперь погасить как-нибудь дело Бейлиса, водворить молчание о нем, но как это сделать?

Отголоском жестокой еврейской тревоги звучит растерянная и бессвязная статья в «Русской мысли» одного из «бейлисаров» — г-на Василия Маклакова, того, кто вместе с г-ном Карабчевским и г-ном Зарудным сражался с тенью замученного мальчика на киевском суде. Им и до сих пор приходится сражаться с этой тенью, и, очевидно, борьба эта потянется до их гроба. Они умрут, весь этот «тушинский лагерь», как их характеризует С. И. Смирнова, — все эти В. Маклаковы, Набоковы, Шульгины и пр., повымрут и еврейские внушители их, а зловещая тень замученного христианского мальчика все будет стоять перед еврейством, грозная и живая, как бы целящаяся в него сорока семью ранами... Естественна растерянность самоуверенного жидокадетского лидера, но все-таки он что-то еще лепечет в свое и еврейское оправдание. «Я, — говорит г-н Маклаков, — готов сделать уступку, готов признать, что присяжные хотели признать ритуал...» Но «если сошлись люди, принципиально признающие ритуал, и *они* нашли Бейлиса невиновным, значит, действительно против него нет *подозрения*». Оборот мысли ловкий, и он был бы, пожалуй, убедителен, если бы присяжные *единогласно* оправдали Бейлиса. Но так как половина их обвинили его, то как же против него «нет подозрения»? Оно есть, и в степени подавляющей, именно в пятидесяти процентах вероятия. Именно это обстоятельство и заставляет евреев и их прихвостней извиваться от какой-то невидимой огромной раны, корчиться от ее боли, залечить которую никакими софизмами невозможно. Казалось бы, процесс уже окончился, г-да евреи и их христианские янычары могли бы успокоиться, так нет — они устами г-д Маклаковых и Маклаковеров все еще пронзительно воют: как смело русское правительство поставить процесс Бейлиса? Ответ присяжных, по мнению г-на Маклакова, еще раз подтверждает, «как неосновательно, как недопустимо было предание суду невинного Бейлиса, как справедливо этот процесс взволновал всю Россию!». А в действительности наоборот: именно приговор присяжных, которому недоставало лишь одного голоса для обвинения, еще раз подтвердил, как основательно, как необходимо было предание Бейлиса суду — не «невинного», а заподозренного пятьюдесятью процентами вероятной винов-

ности. Если бы юстиция русская пренебрегала такой заподозренностью, то половина преступников ускользала бы от ее преследования. Хотя евреи подняли все силы ада, чтобы сорвать процесс, смешать сознание судей, уничтожить улики, и хотя им удалось отстоять маленького агента своей расы, но тем с большей выпуклостью вырисовался главный виновный — мрачный и зловещий народ-антихрист, внедрившийся в христианство, чтобы его разрушить. Андрюша Ющинский своей детской рукой открывает христианству еще раз глаза: не золото только ваше нужно врагу Христа, но и совесть ваша и кровь детей ваших...

Как известно, все усилия евреев поднять в России революционные беспорядки в связи с делом Бейлиса потерпели решительную неудачу. Кое-какие забастовки на фабриках и быстро потушенные студенческие скандалы только подчеркнули бессилие евреев взбунтовать Россию. Тем яростнее теперь разочарование г-д жидов и жидохвостов. Ограничиваясь по понятным причинам лишь змеиным шипом в России, за границей они продолжают свой несусветный лай и вопль, выходя из всех границ даже элементарного приличия. Идет неслыханная еще травля русского правительства в обоих полушариях, где жиды захватили печать и с ней общественное мнение в кабалу. Травля идет именно за *допущение* суда над евреем Бейлисом и за поставленный суду вопрос о ритуальной подкладке дела. Евреев бесит то обстоятельство, что даже такое либеральное учреждение, как суд присяжных, пришло к признанию ритуала. Понимая, что скомпрометировать судебный приговор в глазах всего света очень трудно, евреи приняли новую тактику, заслуживающую быть отмеченной. Наряду с травлей против русского правительства идет оглушительная клевета против Верховной власти в России. Характерным образчиком этого нового течения в еврействе служит статья известного эмигранта Бурцева в издающейся в Париже революционной газете «Будущее». Как и всегда, сей бездарнейший зоил

Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки,

почему его измышления не подлежат цитации, но их следует все-таки отметить как новый еврейский mot d'ordre, новую директиву в осаде русской власти. Что эта перестройка фронта принадлежит еврейству, об этом свидетельствует состоявшееся недавно обращение центрального комитета пойалей-ционистских организаций в Лондоне с согласия конгресса Пойалей-Цион в Кракове. Во все подведомственные ему организации дан приказ вести агитацию по поводу процесса Бейлиса. Для этого разосланы подлежащие к при-

нятию на собраниях, уже готовые резолюции, в коих процесс этот именуется «новым звеном в длинной цепи отвратительнейших злодеяний, которыми кровожадный царизм поддерживает свое существование, стараясь посредством палачей изобразить евреев стоящими вне человеческих законов существами». Резолюция заканчивается призывом к борьбе с царизмом. Вместе с евреями бушуют и те христианские партии, которые пропахли еврейством, как евреи чесноком. На что, казалось бы, далека от России Швейцария, вскормленная и облагодетельствованная, между прочим, и русскими туристами, но даже в этой стране собираются многолюдные митинги для облаивания России. Кто именно ораторы на этих митингах, показывает их список на недавнем цюрихском сборище (22 октября): латыш Таурин, евреи Форбштейн и Липник и какой-то «священник» Вейхер. Все они громят Верховную власть в России, обвиняя ее в том, что процессом Бейлиса она хотела будто бы дискредитировать евреев, чтобы в лице их опорочить революцию, главными деятелями которой, по словам ораторов, являются евреи. Иерихонский гвалт подобных митингов заканчивается обыкновенно сбором пожертвований на революционную работу в России, причем особую щедрость проявляют богачи евреи.

Таковы пока положительные и отрицательные следствия процесса Бейлиса. Что касается отрицательных — именно еврейской злобы во всех ее преступных ухищрениях, — то в ней нет *ничего нового:* она была и до процесса Бейлиса и творила все, что было в ее силах. Разве не было и раньше нападок на ужасный для евреев и их политических приживалок «царизм»? Мне помнится, что задолго до процесса Бейлиса, задолго до еврейской революции 1905 года мне пришлось читать где-то за границей — не то в Швейцарии, не то в Германии — крайне безмозглую брошюру того же г-на Бурцева с апологией цареубийства. Может быть, на прирожденных психопатов такие брошюры и действуют, но большинству здоровых читателей они внушают совершенное отвращение. Не более убедительны и сравнительно сдержанные завывания доморощенных шабесгоев, пытающихся переложить черную вину убийства Ющинского на голову русского правительства. Читая иеремиады перекинувшихся в еврейский лагерь журналистов, в самом деле можно подумать, что не возбуди русская юстиция преследования против Бейлиса, то ровно «ничего» и не было бы — ибо замученная душа бедного мальчика, его обескровленное полсотней ран тело (конечно, в глазах антихристова племени) — чистейшее «ничего».

Положительным результатом дела Бейлиса следует считать яркую картину еврейского засилья у нас и во всем свете и выяснив-

шуюся более остро потребность борьбы с этим засильем. Пусть мы во власти злого демона, но есть же Крест Господень, есть же могущество Божие, сильнейшее всякого зла. Если арийские народы прочувствуют гибельную опасность от внедрения в их ткани этого ханаанейского паразита, если они внимательно вглядятся в скверное настоящее — может быть, они не захотят делать потомство свое рабами совершенно чуждого, закоренелого в преступлениях племени. В разных христианских странах — и, между прочим, в католической Польше — начинается всеобщий бойкот против евреев, то есть безмолвный уговор не иметь с ними *никаких* отношений. Поляки решили не покупать ничего в еврейских магазинах, складах, аптеках и лавках, не лечиться у еврейских докторов, не нанимать еврейских адвокатов, не выписывать газет еврейского направления, не прибегать к еврейскому кредиту — словом, отгородиться начисто от преступного племени, хвастающегося богоубийством. Бойкот этот, кажется, возымел действие, и многие евреи уже выселяются из Польши. Если верить газетам, такой же бойкот объявлен евреям в христианском Киеве. Движение это, вероятно, передастся и на Петербург, и на Москву, и на другие захваченные евреями русские центры. Это будет достойным возмездием за кровь замученного ребенка.

1914 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД

23 января

...Главное призвание русской национальной партии есть *защита русского племени* как господствующего в России. Нас думают уязвить, называя иногда наш принцип зоологическим, — но зоология, господа, великая наука, и пренебрегать ее выводами могут лишь невежды. Нет сомнения, что народность русская отвратительно устроена и в сверхзоологической жизни, почему национализм включает в свою область и всю гражданственность, и всю культуру народную. Но он включает в круг своего особенного внимания также и натуральные, чисто зоологические условия нашего племени на земле. Перестанемте, господа, обманывать себя и хитрить с действительностью! Неужели такие чисто зоологические обстоятельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры у русского простонародья, ничего не значат? Но они отражаются крайне выразительно на *захудании* человеческого типа в Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Именно зоологическая единица — русский человек во множестве мест охвачен измельчанием и вырождением, которое заставило на нашей памяти дважды понижать норму при приеме новобранцев на службу. Еще сто с небольшим лет назад самая высокорослая армия в Европе (суворовские «чудо-богатыри»), теперешняя русская армия уже самая низкорослая, и ужасающий процент рекрутов приходится браковать для службы. Неужели этот «зоологический» факт ничего не значит? Неужели ничего не значит наша постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность, при которой огромное большинство живой народной массы не доживает даже до трети человеческого века? Что бы ни кричали о нашем зоологическом национализме такие наследственные «друзья» нашего племени, как евреи, поляки, финны, армяне и т. п., мне кажется, пора русским людям самим немножко подумать о себе. За последнее полустолетие вполне сложилось начав-

шееся уже давно физическое изнеможение нашей когда-то могучей расы. Плохо обдуманная реформа раскрепощения крестьянства выпустила «на волю» десятки миллионов народа, предварительно обобранного, невежественного, нищего, не вооруженного культурой, и вот все кривые народного благосостояния резко пошли книзу. Малоземелье, ростовщический кредит у кулаков и мироедов, разливанное море пьянства, организованное одним оптимистическим ведомством под предлогом сокращения его, стремительный рост налогов, еще более стремительная распродажа национальных богатств в руки иностранцев и инородцев — все это повело к упадку и духа народного, и физических сил его. Стоило народу лишь немного пошатнуться, как давление всех готовых обрушиться бедствий подтолкнуло падающего. Потянулся длинный ряд голодных лет и холерных и тифозных эпидемий. Они объясняются не только физическими причинами, но и психическим упадком расы, пониженной способностью бороться с бедствиями и одолевать их. Чем объяснить также дерзкое выступление инородцев в 1905 году? Вы скажете — культурным расцветом их. Но и самый-то расцвет, и разрастание на теле русского народа враждебного ему инородчества говорит о захудалости русской расы. Паразиты заводятся охотнее всего на больном организме, потерявшем силу сопротивления им.

Я не хочу пугать читателей слишком мрачными пророчествами, но в самом деле положение русской народности *даже в зоологическом отношении* сделалось чрезвычайно неблагоприятным. Можем ли мы, скажите, стать на ту оптимистическую точку зрения, которая принадлежит некоторым известным государственным людям: «Не все ль равно, какое население в России — русское, немецкое, польское или жидовское? Лишь бы платили подати и давали возможность накоплять золотую наличность!» Мне кажется, для чиновников, запамятовавших долг свой перед родиной, это, может быть, и все равно, но самому-то русскому народу это далеко не все равно, и разница тут такая же, как между жизнью и смертью. Вот главное призвание Национальной партии: *оборона нации* — не только от внешних врагов, но и от внутренних условий, слагающихся крайне неблагоприятно для державного племени. Национальная партия, конечно, есть политическая партия, ибо она пользуется участием в законодательстве для осуществления своих национальных целей. Но Национальная партия сделала бы преступную и самоубийственную ошибку, если бы позволила увлечь себя в мелкое парламентское политиканство, во фракционную борьбу ради борьбы. Все силы нашей партии должны быть посвящены выработке общенационального органа — правительства, посредством которого

народ вообще осуществляет то, что он может осуществить. Бесполезно тратить время на ничтожные и бесчисленные чисто хозяйственные распоряжения, выдаваемые у нас за законы, когда не обеспечена даже зоологическая жизнь народная и ее бытие в будущем. И старый, и новый режим одинаково пренебрегают этим основным национальным вопросом: как выйти из положения, при котором государственное племя делается добычей когда-то покоренных им стихий? Исстари угнетаемый в пользу окраин великорусский центр являет признаки запустения и одичания. Навалив на свою спину «более культурных» инородцев и иностранцев, русский мужик потерял свое древнее богатырство, выродился, зачах. Как восстановить потерянное равновесие? Как создать в России для русского племени положение, действительно отвечающее его великим историческим трудам и жертвам?

Будем надеяться, что национальный съезд в кунсткамере всевозможных мелких политических вопросов не обойдет вниманием и этого исторического «слона».

ДЕЛО НАЦИИ

2 февраля

Весь народ национален, и даже все русское общество, если выкинуть из него озлобленную часть инородцев. Говорю об *озлобленной* части, ибо другая, не озлобленная, а добродушная часть инородцев уже охвачена русской стихией, пропитана ею, как сардинки маслом, и входит в состав русской нации. О немцах нечего и говорить: между ними столько «кровавых» русских патриотов, что это просится даже в пословицу. Но разве вам не случалось встречать даже поляков, настолько обрусевших, что им тяжело носить польскую фамилию? А что вы скажете о г-не Гольтисоне? Это чистокровнейший еврей — и тем не менее страстный композитор русского *церковного* пения и, как говорят, большой русский патриот.

Что такое Россия, что такое наша национальная идея — об этом многие имеют смутное понятие. Неясно это и почтенному барону Розену, превосходную речь которого на днях в Государственном совете следовало бы прочесть всем, кто любит Россию.

Одно лишь в этой речи показалось мне загадочным: о каком «воинствующем национализме» в России говорит он, и с таким негодованием? По-видимому, о русском национализме, но если так, это *совершенно неверно.* Есть у нас воинствующие национализмы, но они не русские, а инородческие. Я говорю о евреях, поляках, финнах, латышах, армянах, татарах и пр., и пр., которые, вообще говоря, живут и трудятся довольно мирно, но уже выделили из себя весьма заметные и очень вредные, вроде мазепинцев, сословия, ненавидящие Россию. *Они* воинствуют против России, а не *мы* против них. Наш русский национализм, как я понимаю его, вовсе не *воинствующий*, а только *оборонительный*, и путать это никак не следует. Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, — но вот ударил один гром небесный за другим, и мы проснулись и увидели себя в осаде — и извне, и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причем наградой за подчинение наше служит их презрение и злоба против всего русского. Откройте глаза, почтенный барон, и вы увидите, что это явление существует и, стало быть, с ним нужно считаться.

Я имею право говорить о русском чувстве, наблюдая собственное сердце. Мне лично всегда было противным угнетение инородцев, насильственная их русификация, подавление их национальности и т. п. Я уже много раз писал, что считаю вполне справедливым, чтобы каждый вполне определившийся народ, как, например, финны, поляки, армяне и т. д., имели *на своих исторических территориях* все права, какие сами пожелают, вплоть хотя бы до полного их отделения. Но совсем другое дело, если они захватывают хозяйские права на *нашей исторической территории.* Тут я кричу, сколько у меня есть сил: долой пришельцев! Если они хотят оставаться евреями, поляками, латышами и т. д. на *нашем* народном теле, то долой их, и чем скорее, тем лучше. Никакой живой организм не терпит инородных тел: последние должны быть или переварены, или выброшены. Это, уважаемый барон, называется не нападением, а обороной, спросите кого хотите. А раз решена оборона, она должна вестись с несокрушимой энергией — до полного изгнания «двунадесяти языц» из России.

С тех пор как свет стоит, держится такое понятие о государстве: оно может быть или чистого, или смешанного состава, но в одном государстве должна жить одна нация. Так, имеются смешанные нации — швейцарская, американская и др. Государства, резко отступающие от этого начала, или постепенно рушатся, как рухнуло

множество «пестрых» царств, или близки к государственному крушению, как Турция и Австрия. Нам, националистам, вовсе нежелательно, чтобы Империя Русская охвачена была племенным раздором, свирепствующим в Австро-Венгрии, и чтобы в итоге векового национального разлада был государственный развал. Вот почему, допуская иноплеменников как *иностранцев*, с правами иностранцев, пока они не будут достаточно натурализованы, мы вовсе не хотим быть подстилкою для целого рода маленьких национальностей, желающих на нашем теле размножаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, но наша — русская — земля должна быть нашей. Иначе инородное вселение является инфекцией; размножение микроплемен ведет и гигантское племя к государственной смерти. Это вовсе не воинственность, а инстинкт самосохранения.

Конечно, нам, русским, нелегко живется под облепившей нас иноземщиной, но ведь и им не так уж сладко отстаивать свою расовую индивидуальность. Тело, пораженное инфекцией, бессознательно борется с ней, поедает враждебные микробы, переваривает их без остатка. Мучители обречены одновременно и на мученичество, и единственное, в чем они находят спасение, это в своей национальной смерти. Драма ассимиляции оканчивается в тот момент, когда инородец совсем уже чувствует себя русским, и таких очень много. Вчера мне довелось быть на концерте Н. Н. Собиновой-Вирязовой, которую я уже как-то видел на одном концерте М. И. Долиной. Тогда я восхищен был ею в необычайной степени. Мало сказать «восхищен» — я просто ослеплен был этой как бы хлынувшей со сцены красотой русской женщины, поэзией русской песни, русской грацией, русской душой во всех ее тончайших, родных мне переживаниях. Нечто новое и чудесное, что хотелось бы видеть и слышать без конца. Притом заметьте, и голос не то чтобы большой у г-жи Собиновой, и красота ее вовсе не волшебная, если вглядеться в нее, и песни, и танцы ее — самые общеизвестные, но что захватывает неотразимо (меня по крайней мере) — это что-то *родное*, русское, свое, заветное, для чего жить хочется. К сожалению, концерт вышел непомерно длинный и Н. Н. Собиновой приходилось слишком уж много раз выходить на сцену, а хорошенького непременно должно быть понемножку, иначе количество профанирует качество. Тем не менее в начале вечера я просто млел от наслаждения и даже записал на афише следующее: «Конечно, Собинова-Вирязова сделала для национальной идеи больше, чем вся наша национальная партия, ибо она заставила тысячи и тысячи людей *полюбить* Россию. И своих, и чужих она заставила почув-

ствовать душу русскую и ту особенную высокую красоту ее, которая таится в каждой *законченной* национальности». Да, вот все эти скромные артисты — Андреев со своею балалайкой, несравненная Плевицкая и эта новая чаровница Собинова, — они без всяких программ, без съездов и докладов, «без заранее обдуманного намерения» довершают культуру русскую, доводят национальность нашу до предела поэтической законченности, до *красоты*. А в красоте и истина, и добро, и все божественное, что нам доступно. О, эти девичьи песни с их упоением, со стыдливой молодой страстью, о, эти нежные и томные движения, в которых дышит все здоровое и чистое, что нажил наш народ за тысячелетия под родным солнцем!.. Все это так чудесно, что даже жаль видеть это на сцене. Кто хочет почувствовать, что такое Россия в ее мировом призвании, как особая душа народная, пусть посмотрит две-три песни Собиновой (этот новый жанр — соединение песни с танцами — нужно *смотреть*). Айседора Дункан не прошла в России бесследно. В лице босоножки Собиновой, резво поющей и кокетливо пляшущей, мы имеем нашу древнюю, еще языческую «дивью красоту», которую напрасно разгадывают ученые.

Но к чему я веду речь? Не для рецензии же концертной. А веду я речь к изумительному для меня открытию. Эта чудесная русская артистка, вобравшая в себя все чары и тайны русской души народной, оказывается... датчанкой! Да-с, полукровной датчанкой, родною внучкой великого Андерсена, сказками которого мы упивались в детстве. Как вам это нравится? Всего в одно лишь поколение так переродиться в России, сразу принять и тело русское, типическое для средней Великороссии, и вместе с телом все инстинкты, все предчувствия души, все повадки, чисто стихийные, доведенные до высшей грации... Это просто чудо какое-то. Впрочем, я знаю одного англичанина до такой степени ярославской наружности, страстного балалаечника и любителя русской песни, что английская фамилия так же идет к нему, как если бы Василия Блаженного назвать кирхой. Вот вам иллюстрация нашей национальной *силы*. И вне политики мы боремся за свое существование, и даже вне политики одолеваем, пожалуй, больше, чем всей ослабевшей донельзя государственностью. На том же концерте играл очень хороший великорусский оркестр балалаечников под управлением... *Е. Р. фон Левена*. Пел арию мельника из «Русалки» артист русской оперы *Н. А. Ленц*... Эти, очевидно, тоже переварены русской поэзией начисто. А те, не переваренные еще или полупереваренные, что поминутно мелькали в публике и на сцене, — их было жаль. Должно быть, больно терять свою расовую индивидуальность, но когда превращение кончилось, с чужой душой делается то же, что с душою Руси. «Твой дом будет моим домом, твой Бог — моим Богом».

СРОКИ БЛИЗЯТСЯ

22 февраля

О громком угро-русском процессе, обратившем на себя внимание всего света, я до сих пор не в состоянии был написать ни слова. Скажу откровенно: *стыдно было*. Судили наших несчастных заграничных братьев, людей нашего племени, нашего языка и веры, судили таких же русских, как псковичи или киевляне, потомков тех предков, которые еще при Владимире Святом составляли неотъемлемую часть Руси. Как это ни странно, отторгнутые от России шесть столетий назад все эти Кабалюки, Воробчуки, Полканцы, Недзбайло, Поповичи, Думницкие и пр. — они до сих пор остались верными тому великому племени, к которому принадлежат, и за этот именно племенной идеализм свой терпят мученичество от мадьяр и австрийцев. Мне стыдно было и больно следить за подробностями процесса, как человеку, стоящему на берегу, тяжело видеть утопающих, которым не в силах помочь. Чувство стыда усиливалось сознанием, что часть вины за это несчастье, и, может быть, подавляющая часть, падает на нас, Россию... Будем откровенны: бессильные помочь страдающим землякам, не станем же скрывать правды, которую хорошо чувствуем все мы. «Слезы их — на нас и на чадах наших...»

Никаких этих мармарош-сигетских и львовских процессов не было бы, если бы были выполнены два условия: если бы подъяремная Русь изменила своей национальности и совсем забыла свое происхождение или если бы мы, державная Русь, не изменили этой национальности и в свое время освободили Галицию из-под польско-австрийско-венгерского ига. Потерявшие свою независимость, оторванные от Руси и порабощенные червоннорусы тем не менее до сих пор остаются верными и своей тысячелетней крови, и своему языку, и своей вере. Наоборот, давно восстановившие свое могущество восточные россияне как бы совсем забыли о нескольких миллионах своих родных братьев, томящихся в плену. По крайней мере, мы, державная Русь, не воспользовались ни одним из очень многих случаев освободить несчастное царство короля Даниила. Уже в XVI веке в Московском государстве было достаточно сил, чтобы оторвать от Польши все древнерусские княжества, насильственно захваченные Литвою и Казимиром III. Совершенно бесцельно Иван Грозный вел многолетнюю и сокрушительную войну с двумя державами за теперешний Прибалтийский край, который и теперь —

через 350 лет — еще не сделался русским. Прав Карамзин, осуждая малодушие Ивана IV: «Воевав 24 года непрерывно, чтобы медленно, шаг за шагом двигаться к цели, изгубив столько людей и достояния, повелевая воинством отечественным, едва не равносильным Ксерксову, вдруг все отдал, и славу, и пользу изнуренным остаткам разноплеменного скопища Баториева! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва ли не бесчестный, с Литвою...» Если бы все эти «Ксерксовы» наши полчища мы устремили тогда на одну Польшу, то в союзе со шведами уже тогда могли бы восстановить все племя русское в черте империи святого Владимира. Ничего несбыточного в этом не было, ибо федерация литовско-польская уже и тогда трещала по всем швам и ждала лишь решительного толчка.

Сама стихия народная подсказывала Москве наиболее важный путь политики — путь национальный. Восстания малороссийских казаков заставили наконец царя Алексея присоединиться к народному движению, и в конце концов получился самый блестящий из трофеев нашей истории — присоединение Малороссии. Оно было скорее *воссоединением*, нежели присоединением: Малая Русь сама потянулась к Великой Руси и срослась с нею, как родное с родным.

Великую Смуту, завершившую тираническое царствование Ивана IV, следует счесть двойным несчастьем: если бы не Смута, Москва имела бы в XVII веке превосходный случай использовать катастрофу, разразившуюся тогда над Европой в виде тридцатилетней войны. К глубокому сожалению, даже Петр Великий не унаследовал от предков и сам не оценил главнейшей политической задачи России — задачи племенного восстановления. Подобно Ивану Грозному, Петр Великий вел более чем двадцатилетнюю войну за пустынный и бедный край, населенный чуждыми нам народностями, тогда как под ослабевшей Польшей томились громадные и благословленные Богом области, населенные коренным русским племенем. Неисчислимые силы были потрачены на бесполезные тогда войны с Турцией и Персией и слишком дорого стоившую шведскую войну. Если бы они были употреблены на отнятие русских земель у Польши — задача, еще и теперь не решенная, была бы закончена двести лет назад. А разрешив этот основной вопрос истории — объединение Руси, раздробленной татарами и литвой, — Петр поднял бы могущество России на несравненно более грозную высоту, чем присоединением разоренного еще Иваном IV Прибалтийского побережья. Это побережье от нас не ушло бы.

Если чистокровный русский царь и москвич по рождению, каким был Петр I, оказал столько равнодушия к национальной идее,

то от его преемников можно бы было не ожидать внимания к ней; но чистокровная немка по рождению Екатерина II оказала России величайшую из услуг. Она сделала то, что упустили московские цари и Петр Великий. Она «отторженная возвратих», то есть русские земли, когда-то отнятые Литвою, вернула под родную государственную кровлю. Не тронув чисто польской этнографической территории, то есть не взяв *чужого*, великая Императрица взяла *свое*. К несчастью (и это единственный возможный упрек Екатерине), она взяла не *все* свое, уступив Австрии Червонную Русь (еще по первому разделу в 1772 году). Особенно фатален был третий раздел, решивший участь Галиции. Кто знает, проживи великая Государыня еще одно десятилетие, может быть, временная ошибка ее не сделалась бы окончательной. И после Екатерины, господствовавшей в Европе, в течение XIX столетия для нас представлялся не один прекрасный случай решить национальный вопрос: при Александре I, Николае I и Александре II. В непостижимом затмении мы вели с Наполеоном I ряд разорительнейших войн, отстаивая своею грудью Пруссию и Австрию. Если бы, наоборот, мы помнили только свои, национально-русские интересы, то, уж конечно, Наполеон I, искавший настойчиво союза с Россией и родства с нашим царствующим Домом, охотно уступил бы нам Червонную Русь за одно лишь невмешательство наше в его борьбу с австрийцами. Мы могли бы утвердиться на Карпатах еще в 1809 году, в особенности если бы не препятствовали восстановлению Польши в ее этнографических границах. При изгнании Наполеона I сто лет назад мы имели полную возможность наказать союзницу его Австрию отобранием Галиции (для чего следовало, как советовал Кутузов, не гнаться за Наполеоном до Парижа, а предоставить ему занятия в Пруссии и Австрии, восставших на своего завоевателя). Вместо строгого наказания Австрии за ее вероломство мы были так великодушны, что вернули ей даже тот клочок (Тернопольский округ), который нам достался в 1809 году. Клочок этот в 9 тысяч квадратных километров (то есть величиной все-таки с Черногорию), может быть, не слишком заметен для России, но добровольная уступка его вчерашнему врагу, уступка коренного русского населения австрийцам еще раз показала, до какой степени слабо чувствовался национальный принцип в нашем правительстве сто лет назад. Не народ, а земля считалась государственным имуществом. Подобно лесу, растущему на земле, народ не имел права претензий, если его уступали вместе с землей соседнему государству... Правда, правительство русское той эпохи было переполнено иноземцами, для которых интересы русского племени были так же чужды, как интересы китайского

племени. Русская дипломатия именно тогда потеряла и русский облик, и инстинкты народные. Да и что могли чувствовать к России, говоря словами Великого князя Николая Михайловича, все эти «кондотьери», понаехавшие к нам, как Армфельд, Штейн, Пфуль, Паулуччи, Винценгероде, Жомини, Поццоди Борго, Мишо и пр.

К глубокому сожалению, даже такой русский в душе Император, как рыцарственный Николай I, не мог выйти из традиции покровительства немецким интересам. Особенно была облагодетельствована им та страна, на которую здравый национальный инстинкт обязывал глядеть как на первого врага, содержащего в плену миллионы русских людей. Облагодетельствована была Австрия, скоро «удивившая мир неблагодарностью» и доказавшая, что она действительно наш враг, ближайший и коварнейший. Нынешний престарелый монарх Австро-Венгрии, конечно, знает то, что теперь уже все забыли, — именно то, что самим престолом своим он трижды обязан Императору Николаю I. Последний еще в 1835 году, после исторического свидания трех Императоров в Теплице, настоял на семейном совете, чтобы престолонаследником Австрии был назначен малолетний Франц Иосиф. Тот же русский Государь могущественно содействовал восшествию Франца Иосифа на австрийский престол в 1848 году, после отречения его больного дяди Фердинанда. Тот же, говоря словами Н. П. Глебовицкого, «великодушный опекун», русский царь Николай I, отдал ему (Францу Иосифу) покоренную русскими войсками в 1849 году Венгрию, несмотря на то, что победивший мадьярских повстанцев фельдмаршал Паскевич[1] красноречиво телеграфировал в Петербург: «Вся Венгрия лежит у ног Вашего Императорского Величества». Как вы думаете — взамен Венгрии и ради других компенсаций (на турецкой границе) — разве Россия не имела прекрасный случай возвратить себе русскую часть Галиции и Буковины? Только плачевным забвением собственных интересов и излишним вниманием к благополучию врагов можно объяснить то, что, спасши Австрию в 1849 году, мы в 1853 году уже видим ее в негласной коалиции с четверным, объявившим нам войну союзом. Фельдмаршал Паскевич в свое время советовал Императору Николаю I произвести с Австрией обмен Галиции на Польшу, но и этот благой совет был не принят.

Уже на нашей памяти — в 1867 и 1870 годах — было еще два случая вернуть от Австрии Червонную Русь. Если решено было наказать Австрию и Францию (за Крымскую войну), предоставив Пруссии carte blanche в Средней Европе, то следовало извлечь из унижения Австрии какую-нибудь реальную пользу. Следовало в со-

юзе с Пруссией или без этого союза вести войну с Австрией, когда шансы этой войны были всецело на нашей стороне.

За последние сорок лет я уже более не помню удобного случая для национального восстановления русских границ. Столетнее накопление ошибок нашей дипломатии принесло свои плоды. Защищая Австрию и Пруссию, опекая их национальные интересы, способствуя объединению немцев, мы наконец добились, что немцы и в самом деле сложились в мощную империю. Мы добились того, что Германия, подчинив своей гегемонии Австро-Венгрию и Италию, в самом деле составила угрожающий Европе лагерь. Мы добились того, что огромные силы Тройственного союза ищут боевого выхода по линии наименьшего сопротивления и уже вполне открыто, бесцеремонно устами своих государственных людей объявляют ближайшую борьбу с славянством. Когда чего-нибудь настойчиво добиваешься, то и добьешься. Вот почему мне лично было стыдно читать о мармарошском процессе. Искренно было жаль несчастных земляков, томившихся в тюрьмах, подвергавшихся всем унижениям «государственных преступников» венгерской короны. Но писать по поводу этого горячие статьи рука не поднималась... Что такое наши «статьи», что значили пылкие речи графа Бобринского[2] и даже такие благородные демонстрации, как его бесстрашная поездка в Мармарош-Сигет? Я аплодировал, как и все, его мужеству и чувству долга, но ведь все это ни в малейшей степени не облегчило участи страдальцев и не может повлиять на судьбу подъяремных братьев. Все это *слова,* и даже *жалкие слова*...

Пора понять, что червоннорусский вопрос не есть австрийский вопрос, а есть вопрос российский, ибо для Австрии Галиция есть чужое добро, хотя давно захваченное, а для нас — свое родное, с потерей которого русское племя никогда добровольно не согласится. Как это ни странно, австрийское правительство понимает это гораздо отчетливее, нежели наше. Австро-венгерское правительство, преследуя галицийских и угрорусских патриотов в самых невинных проявлениях их национальности, доказывает лишь то, что оно придает очень серьезное значение единоплеменности червоннорусов с Россией. Даже трагическое значение — иначе австро-венгерский суд не доходил бы до попрания основных конституционных законов, предоставляющих населению свободу языка и веры. Австро-Венгрия знает, что такой громадный политический факт, как четырехмиллионный народ русский в черте Дунайской империи, не может быть безразличным в судьбе этого пестрого государства. Червонная Русь — это как бы подводный риф, имеющий бесконечное продолжение в виде русского материка. В мирные времена, обеспеченные

русской нежной опекой, этот подводный риф не вызывал опасности, но в случае войны — при известных условиях — он может сыграть роль тарана против довольно хрупкого габсбургского разносоставного корабля. Вот почему уже с давних пор Австрией принимались меры к обезвреженью галицко-русской опасности. Излюбленнейшей мерой было подавление русской народности как таковой. Так как название «русины» столь же древнее, как русское племя, и гораздо древнее Габсбургов, то приходится мириться с ним. Но всякое проявление мысли, что русины и русские одно и то же, принимается точно государственная измена. На несчастных наших сородичей давит гнет одновременно немецкого, польского, мадьярского и еврейского засилья, и, наконец, в виде отчаянной, но страшной меры австрийская власть создала раскол среди русин. Весьма значительный слой (особенно интеллигенции) австрийцам удалось вовлечь в изменническое против России движение — мазепинское. Оно является со стороны Австрии уже не оборонительным, а дерзко-наступательным. Как читателям хорошо известно, цель мазепинского движения — разрыв России опять наподобие того, как это было в эпоху татарского и литовского нашествий. Малую Русь хотят отколоть от Великой Руси, причем весь юг России — до Волги и Кавказа — должен отойти к габсбургской короне.

Так как большую половину своей тысячелетней истории русское племя пережило в раздробленном состоянии (и до сих пор ведь оно не окончательно объединено), то было бы гибельным недомыслием относиться к австрийской интриге беспечно. На мазепинское движение пора смотреть как на самый тяжкий вид государственной измены, если оно идет в России, и как на самое злодейское покушение, если оно идет из-за границы. Будучи народом христианским, мы обязаны исчерпать все средства, чтобы соблюсти мир с соседями, но в отношении Австрии кажется, что все средства мира исчерпаны. Последние сведения более чем тревожны. Правительства среднеевропейских империй, видимо, охватываются тем «продромальным», как говорят врачи, состоянием, которое обыкновенно предшествует войне, — состоянием воинственного психоза. Россия проявила бы непостижимое безумие, если бы в ответ на военные, доведенные до крайности приготовления соседей проявила обычную дремоту. Нет сомнения, что некоторая подготовка у нас идет. Но пусть наше военное ведомство помнит, что на нем лежит теперь ответственность за будущую судьбу России. Необходимо теперь всем забыть, что такое личная радость жизни, что такое развлечение, досуг, приятельская беседа. Необходимо работать сверху до глубин армии дни и ночи...

МОГИЛЬЩИКАМ РОССИИ

27 февраля

Итак, дождались мы и этого позора: в Киеве выкинуто красное знамя отделения Малороссии от России. Пусть это знамя, выброшенное жидами и мальчишками, тотчас же было сорвано и преступные скандалисты были избиты толпой. Революционные толпы бродили от политехникума до таких центральных пунктов, как Владимирский собор и площадь Богдана Хмельницкого. Такие же толпы двигались по киевскому Невскому проспекту — по Крещатику. «Да здравствует самостийна Украина! Да здравствует Австрия! Долой Россию!» — вот что кричали и ревели жиды и мазепинцы пред австрийским консульством, причем, как гласит телеграмма, «*протестовавших из публики демонстранты избивали*». Если бы не вмешательство казаков и солдат, мятежники, несомненно, взяли бы верх: «Среди демонстрантов более половины было евреев. Руководил студент-еврей, разъезжавший верхом по городу и делавший свои распоряжения...»

Вот до какого позора додремались мы: в Киеве, на лоне «матери городов русских», раздались крики «Долой Россию!». В Киеве, где народ русский принял крещение и откуда, вместе с Новгородом, пошла наша государственность, сложилась змеиная измена, преступной низости которой нет меры и нет предела. Есть, впрочем, нечто еще более возмутительное и бессовестное, чем этот подлый бунт, — *сентиментальное* с разных сторон *потворство ему*. Микробы яда были бы совершенно безвредны, если бы не невинная и кроткая питающая их жидкость. Для множества ядовитых зараз у нас давно сложился общественный и даже государственный «бульон» вроде того, на котором врачи разводят культуры чумы и холеры. Вот в чем истинный ужас нашей современности. «Невозможно не прийти соблазнам», — сказал Христос. Невозможно не возникать заразам — всяким заразам, и физическим, и психическим, но горе народу, если он потерял способность давать отпор ядам, отпор мгновенный и решительный, не допускающий никаких компромиссов. Горе народу, если разлагающаяся его общественность создает среду, благоприятную для всяких соблазнов. Вот на что должно обратить внимание наше правительство, если оно действительно стоит на исторической страже. Ведь кто же нибудь должен спасать Россию, нельзя же оставить ее на произвол подлейших предательских стихий. Мы-то все думали, что во главе народа русского едет святой

Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона. Но дождались до жида-студента, который разъезжает на коне по Киеву, «дает свои распоряжения» и объявляет всему миру: «Долой Россию!» Чудесно!

Мне много раз доводилось разъяснять крайнюю опасность мазепинского движения. Прямо оскорбительно становится проповедовать азбучные истины, очевидные для детей и спорные лишь для тех, кто дремлет. Ровно три года назад в статье «Быть ли России великой?» я изложил значение этого разгорающегося бунта в связи с культом будто бы «великого» украинского поэта. Совсем нетрудно было доказать, что *ничего великого* в этом талантливом провинциальном поэте не было и не могло быть на уровне слишком зачаточной деревенской культуры. Переведите Шевченко на английский или французский язык, и он не найдет и дюжины читателей, тогда как Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин читаются в переводах на все языки с неостывающим интересом. Впрочем, и малороссийские бунтари превозносят Шевченко как поэта лишь для отвода глаз: не в скромной поэзии этого полуграмотного крестьянина тут дело, а в очень нескромных его политических идеях. У нас, конечно, давно забыт «Кобзарь» *без пропусков*, да и едва ли он когда-либо был известен широкой великорусской публике. И просто «Кобзарь», даже «с пропусками», отлично переведенный, никем у нас не читается, ибо устарел и неинтересен. Поэтому у нас сложилось общее представление, раздуваемое сверх меры малорусскими патриотами, будто Шевченко был совершенно невинный поэт, певец украинского неба и широкой степи, и больше ровнехонько ничего. Подчиняясь этой подтасовке мнений, правительство наше очень долгое время смотрело благосклонно на то, что Шевченко сделался национальным героем малороссийской интеллигенции, ее пророком, учителем и загробным вождем.

Правительство разрешило не только сочинения Шевченко с пропусками и без пропусков, но и целые кружки, общества и учреждения его имени и, наконец, даже всероссийский памятник ему в «столице Украины» — в Киеве. Но то, чего не ведало или не хотело ведать правительство, прекрасно ведали подпольные бунтари. Правительство забыло, что Шевченко был наказан ссылкой и солдатской службой не за милые стишки о любви и женской красоте, а за *государственное преступление*, вполне точно установленное. Это преступление заключалось в возбуждении ненависти южнорусского народа к северорусскому и в воззваниях к бунту против нашей государственности. Все это имелось и до сих пор значится, как и кощунства религиозные, в общеизвестных «пропусках» Шевченко-

вой будто бы лирической поэзии. Хотя Шевченко вытянут из деревенской грязи великороссами (начиная с помещика Энгельгардта, пославшего его учиться живописи в Варшаву и Петербург), хотя не киевские хохлы, а петербургские москали (Брюллов, Григорович, Венецианов, Жуковский) обласкали его и возлелеяли, хотя не украинская знать, а великорусская (графиня Баранова, княгиня Репнина, графиня Толстая, князь Васильчиков, граф Толстой и др.) превознесла этого милого деревенского поэта и создала ему имя, тем не менее он, хорошо распропагандированный поляками, воспевал ненависть к единой и нераздельной Руси, как она представлялась Богдану Хмельницкому. Правда, скончавшийся от болезненного пьянства Шевченко умер рано (47 лет), умер уже значительно отрезвленный от бунтовских настроений молодости. Возможно, проживи дольше, он и совсем стряхнул бы с себя польские внушения и осудил бы, как Пушкин и Достоевский, свои «ошибки молодости». Это бывало с многими малороссами не меньшего, чем у Шевченко, таланта. Но смерть закрыла эту возможность, и потому Шевченко надо брать, каков он есть: как политического агитатора, ибо — если говорить правду — именно этим он только и дорог озлобленному мазепинскому сепаратизму.

Правительство русское достаточно медлило в мазепинском вопросе и слишком много упустило драгоценного времени. Хотя украинофильство разных оттенков существует уже более полувека, но *мазепинство* сложилось на глазах наших. Глубокой ошибкой власти было разрешать будто бы невинные формы украинской особой культуры — особый украинский театр, особую печать, особый язык в литературе и даже науке. Наша имперская власть этим путем благословляла опаснейший из раздирающих Россию сепаратизмов. Дошло до того, что Императорская Академия наук сделалась одним из центров яростной украинской пропаганды. Вообще плохо справляющаяся с своими задачами, эта академия увенчивала труды самых воспаленных ненавистников Империи русской, где проповедовалась «самостийна Украина вид Карпатив до Кавказа». Мало того, Академия наук пыталась узаконить искусственный, нарочно сочиненный Грушевским язык будущего украинского государства под короной Габсбурга... Что же после того негодовать на каких-то поляков и жидов, сеющих из всех сил междоусобие между тремя разновидностями великого племени русского?

Мы взываем к историческому долгу русской власти. Пора привести в действие государственный закон, оберегающий целость Империи от государственной измены. Самое черное из возможных государственных преступлений налицо. В крике: «Долой Россию, да

здравствует Австрия!» — заключается не только призыв к восстанию против Престола и законной власти, но и призыв к нашествию врага на родную землю, покушение на державную независимость Всероссийского государства. Это квалифицированная измена, и она заслуживает самой беспощадной строгости. Нет сомнения, правительству и теперь, как издавна, нашептывают в уши самые оптимистические речи: «Помилуйте, что же тут такого? Самая "обыкновенная" политическая демонстрация. Южане — впечатлительные люди, они просто пошумели в солнечный день на улице, и ничего из этого не вышло. Нужно простить это, нужно пренебречь. Само собой все уляжется. Демонстранты разбежались — вот и все. Не следует раздувать события, делать из мухи слона» и пр., и пр. Такими советами змеиной мудрости криводушные люди завораживают простодушных. Но да не будет же и на этот раз непростительного малодушия, вследствие которого правительство терпит, как на его глазах разгорается государственный пожар! *Необходимо наверстывать упущенное время*, необходимо спешить! Прежде всего надо положить конец преступнейшей жидовско-польской инспирации мазепинского вопроса. Еврейские газеты с «Речью» во главе ежедневно и в статьях, и в заметках, и в сообщениях, и в телеграммах поддерживают и идею отторжения Малороссии, и все проявления этой идеи. Глупой подлости этой пора положить конец. Жиды, растратившие свое собственное государство и погубившие целый ряд других своею заразой, не годятся в учители нам, русским, по части государственности. Поляки, растратившие свое государство и чуть не замучившие при помощи жидов всю Малую, Белую и Червонную Русь, тоже не годятся в учители для нашей государственности. Угрызаемые ненавистью к могуществу единого православного народа русского, пусть эти предатели предлагают свои услуги кому угодно, только не нам!

Российское государство не есть великорусское, оно в той же степени малорусское и белорусское государство. И правительство русское состоит, как и парламент наш и суд, не только из великороссов, но из малороссов и белорусов. Уже целые века спаянные в одном стволе, родные друг другу ветви Святой Руси — не отдельные земли, а одна земля. Во имя государственного единства мы, народ русский, умоляем государственную власть вспомнить о *статье первой* раздела *первого* основных государственных законов: «Государство Российское едино и нераздельно». Это нужно вспомнить, как о первом и верховном долге, ради которого все можно отложить и всем на время пренебречь. Как в первой заповеди Моисея, как в первом члене Символа веры, в первой статье основных зако-

нов заложена величайшая из идей, составляющих душу государственности. В забвении единого Бога тщетно было бы достигать второстепенные истины и добродетели. В забвении единства государственного тщетно было бы достигать осуществления второстепенных прав народных и обязанностей. Единство русское есть основная формула нашего политического бытия. Отказаться от нее или довести ее до унижения вроде киевского — это значит умышленно стать на край пропасти и ждать, что из этого может выйти. Элементарная честность требует, чтобы преступление называлось преступлением, и мы не видим нынче этой элементарной честности. Как денной грабеж называется почти официально уже не разбоем, а «экспроприацией», так попытка к бунту — «демонстрацией». Пора вернуться к честному и трезвому языку предков, к их здравым политическим понятиям, купленным великими страданиями и трудовым потом народным и благородной кровью. Пора сказать государственным изменникам в глаза то проклятие, которое они заслужили. Пора дать им почувствовать на шкуре их священный гнев народный. Подлецы и негодяи! Вы забыли, как предки ваши, еще задолго до Мазепы, служили то в татарском, то в польском, то в жидовском рабстве. Вы забыли бесконечные унижения и бесчестья, захваты земли вашей и имущества, попрание свободы вашей и веры. Вы забыли, как «рассобачий жид» (выражение Гоголя) держал в аренде ваши церкви, а ксендзы запрягали православных в оглобли. Вам надоела народная независимость, которую вы получили лишь в союзе с великорусским племенем. Вас опять тянет под чью-то чужеземную пяту, вы тоскуете по старому холопству. Нет татар и Польши — вы скулите об австрийском иге, именно в те дни, когда ваши же родные братья, мученики Угорской Руси, испытывают всю горечь этого ига! Жиды, нашептывающие вам ваш гнусный выкрик: да здравствует Австрия! — хорошо знали, как больно ужалит этот голос из Киевской Руси сердца подъяремных ваших земляков...

И до свободного воссоединения Малой России с Великой Россией, и после него, в течение веков пролито общими предками нашими безмерное количество крови за общую нашу державу. В этом море крови, может быть, половина малороссийской. И все это должно пойти теперь насмарку, во славу и честь жидов, тянущих русское добро под австрийскую корону!.. Придумано не худо. Но, оставляя жидов и мазепинцев государственной расправе, что мы, великороссы, могли бы сказать нашим южным братьям, колеблющимся в соблазне? Слушайте, братья, змея-искусителя, да остерегайтесь от того, чтобы поверить ему! На что толкает Малороссию партия проклятого Церковью Мазепы? На «самостийность», то есть

отдельное государственное существование. Но оглянитесь в историю: по силам ли оно было когда-нибудь Южной России? Как только татарский удар расколол Россию, ни один из осколков не мог вернуть свое державное существование, и даже самому крупному из русских племен — великорусскому — потребовались века, чтобы выбиться из-под власти какой-то степной орды. А вы, малороссы и белорусы, без нашей помощи никогда не выскочили бы из польско-жидовской петли. Поглядите, как крепко держит совсем обветшавший габсбургский обруч народы, когда-то имевшие крупную государственность. Допустим, что вы доведете до кровавого бунта и *превращенная в развалины* Малороссия добьется призрачной «самостийности». Но ведь Господь не уберет же врагов ваших, многочисленных соседей, с которыми придется воевать, истощая силы. И тот исполинский щит, который охраняет вас от всех давлений, — Русская Империя, превратится в ваш могильный камень. Ибо отказаться от наследия Рюрика, от святой киевской земли, отказаться от завоеванных нами Бессарабии, Новороссии, Крыма, Донской области, Прикавказья и Черного моря, вы сами понимаете, России *нельзя*. Стало быть, вечный мир с Россией вы хотите променять на вечную войну? Не себе ли, предатели, вы роете этим яму?

СЕЯТЕЛИ ВЕТРА

3 марта

Что такое «Заповіт» Шевченко, этот своего рода малороссийский гимн, который, судя по телеграммам, распевают теперь по всей Русской Империи «с дозволения» или без дозволения начальства? «Заповіт» — значит *заповедь*, предсмертное завещание поэта, и, чтобы судить вполне ясно, что такое был «батько Тарас» и связанное с ним теперешнее мазепинство, достаточно знать «заповіт» весь, не как он печатается в дозволенных изданиях, а как всеми поется.

Начинается «Заповіт» общеизвестными трогательными стихами:

Як умру, то поховайте
Мене на могили,
Серед степу широкого,
На Вкраіні милій.
Щоб ланы широкополи

І Дніпро, і кручи
Були видні, було чути
Як реве ревучій...

Тут все невинно и жалобно и, как видит читатель, понятно для всякого великоросса без перевода. Единственное здесь нерусское слово «ланы» (поля) — слово польское. На этом месте и обрывается русский перевод, вероятно, известный большинству наших сановников. Но ведь в подлиннике он не обрывается. В подлиннике следует добавление, которое я советовал бы крепко усвоить и правительству, и всему русскому обществу. Вот что говорится о Днепре ревучем:

«Яко понесе у сине море кровь ворожу, от тоді я встану і полину (полечу) до самого Бога молитися; а до того я не знаю Бога».

Далее заповедуется:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвите
И ворожью злою кровью
Волю окропите.
И мене в семьи великій,
В семьи вильній, тихій
Не забудьте памянути
Не злим ширым словом.

Как видите, раньше, чем Днепр не понесет кровь врагов Украйны в синее море, Шевченко не хочет знать Бога, а вот когда случится это желанное событие, когда польются реки человеческой крови, широкие, как Днепр, «батько Тарас» согласен встать из могилы, полететь на небо и признать Господа. «Похороните меня, — говорит он, — да поднимайте восстание, порвите кандалы и свободу свою окропите злою кровью врагов». Вот что гласит подлинный «Заповіт», распеваемый повсюду, где собирается кучка охваченных мазепинским движением малороссов.

Спрашивается, какие же такие «вороги» были у Украйны при Шевченко пятьдесят лет назад? Не поляки же и не татары. Не заглядывая в другие политические выпады батьки Тараса, ясно, что единственные вороги, которые стояли тогда в его воображении, были «москали», которые будто бы держат Украйну в плену, а украинцев — в кайданах, то есть в кандалах. Но правда ли это? Было ли это правдой тогда или вообще когда-нибудь в истории? *Никогда* это не было правдой и составляет самую обыкновенную ложь. Батько Тарас, помяни его Бог, в данном случае сознательно лгал, как лгут сознательно слишком озлобленные и не слишком умные люди, чересчур огорченные личным неудачничеством. Вос-

соединение Малой России с Великороссией в XVII веке было, может быть, несколько вынужденное, но вынужденное не москалями, а поляками, жидами, турками, татарами. Православному народу русскому на Украйне стало невтерпеж выносить хищничество и гнет всех народностей, какие тогда окружали Русь. Кое-как на время отбившись от поляков, без надежды совсем от них отбиться, Богдан Хмельницкий, вероятно, лучше нынешних мазепинцев оценивал тогдашние обстоятельства. Само собой, идеалом каждой области служит самостоятельная государственность, почему древний арийский мир делился на столько же государств, сколько было городов. И старинная Греция, и средневековая Европа, и наша удельная Русь дробились более чем на автономные — прямо-таки на державные микрогосударства. Однако почему же нибудь ведь случилось, что этот уклад общества оказался не по силам ни одному из государственных эмбрионов. Вечная война и вечная анархия дробления повели к тому, что, как отдельные клетки тела, отдельные города и области начали группироваться в более крупные республики и монархии. Не одной Украйне в век Богдана Хмельницкого не по силам было отстоять свою «самостийность». Еще раньше ее к Москве подтянулись многие уделы, республики и монархии, и даже такого могучего склада, как Великий Новгород. Богдан Хмельницкий ясно видел, что на другой же день после освобождения от Польши у разоренной и слабой Украйны, никогда не имевшей собственной государственности, явится уже не один наследственный враг — Польша, а и Турция, и Крым, и, наконец, Москва. Ведь в политике, как в гидростатике, давление надо выдерживать *со всех сторон*, иначе явится прорыв и разгром, иногда даже с той стороны, о которой вы и не думали (тяжкий пример — наша маньчжурская война). Поэтому Богдан Хмельницкий, посоветовавшись со старшиной казацкой и народом, поступил наиболее мудро, вступив в государственную кооперацию с Великороссией. Ведь эта страна была искони для малороссов *своя* же, православная, русская, а не какая-либо чужая. С малороссийским наречием, как теперь, так и тогда украинец мог дойти до Белого моря, до Урала и за Урал. И всюду его встречали те же православные монастыри, храмы с золотыми крестами, тот же родной колокольный звон, то же церковнославянское Евангелие, те же молитвы, ладан, восковые свечки, мощи угодников. Почему же Великороссия — «чужая» для малоросса сторона, если за две тысячи верст от Киева, в Соловках, он встречал те же самые народные святыни, что и у себя в Киеве? Тот же был Бог, та же вера, тот же язык Церкви, то же благочестивое миросозерцание, почти тот же или, точнее, почти те же деревенские наречия (ибо великорусских наречий, как и малорусских, не одно, а много), встречал общую надежду на жизнь вечную и общее на земле национальное имя (ибо как

великоросс никогда не называет себя «великоросс», а просто — русский, так и малоросс, и белорус называют себя русскими). Ясное дело, что если уже сливаться с каким-либо государственным племенем, то для Украйны всего выгоднее было сливаться с Москвою. В склянке, где намешаны вода и масло, вода тянет к воде, масло — к маслу. Так естественно произошло воссоединение русских племен. Оно было добровольным, что гласит известная формула этого присоединения: «Волим под царя московского, православного». Откуда же, спрашивается, Тарас Григорьевич взял «ворогов» Украйны, «кайданы» и необходимость поднимать кровавое восстание через четверть тысячелетия мирной жизни?

Он взял все это, мне кажется, из разных источников, как многие талантливые люди, лично обиженные судьбой. Очень часто талантливый человек принадлежит к невежественной и бездарной породе, и совершенно независимо от него его личный талант окрашивается расовой ограниченностью. Каждый из нас несет на себе все благословения и все проклятия предков, и у иных они причудливо перемешаны. Лично жизнерадостный человек, из которого брызжет смех и счастье веселых предков, в то же время бывает временами отравлен настроениями тех несчастных родичей, которые были так глупы, что умели только страдать. Как мне уже доводилось доказывать, вовсе не москали отравили воображение молодого Тараса Шевченко ужасами жизни. Что такое «неволя» — это впервые поэт наш почувствовал от руки родного дяди, коренного хохла, который чуть не засек племянника до смерти. Не москали же, а хохлы окружили детство даровитого мальчика глубоким невежеством, и грязью, и пьянством, и всею отравою необузданных страстей человеческих, созерцание которых так ранит впечатлительное сердце. Говорят: Тарас Шевченко был крепостной и, именно служа у своего барина, понял весь ужас рабства. Полноте, господа! Похоже ли это на правду? У бар того времени, конечно, возможны были и пинки, и подзатыльники, и розги на конюшне, но неужели те же самые побои и еще хуже любой крестьянский ребенок не встречал в родной семье? А у г-на Энгельгардта, как и у всякого помещика, деревенский мальчик кроме наказаний видел и нечто такое, чего дома не мог видеть: картину более опрятной, более красивой, более сдержанной и гуманной жизни. Видел *культуру* все же высшую, чем у родных чабанов.

Побольше бы поэзии, поменьше злобы...

Итак, где же *неволя*? Где *кайданы*? Присоединив Малороссию, Москва не тронула ни веры, ни языка, ни законов, ни обычаев

этого русского края и, может быть, единственно, в чем погрешила (уже при Екатерине II), — обратила многих лично свободных крестьян в крепостное состояние. Но было ли это порабощением, специально направленным на Украйну? Ничуть. Великорусские и малорусские крестьяне тоже были розданы помещикам, и это вовсе не казалось тогда унижением или угнетением народным, а естественным состоянием простонародья. Крепостное право существовало тогда и во всей культурной и свободолюбивой Европе, за редкими лишь исключениями. Для блага самого простонародья, экономически слабого, затянувшегося в неоплатные долги, не имеющего ни земли, ни инвентаря, считалось наилучшим прикрепить его к культурным и богатым хозяевам, способным окультурить одичавший в нужде класс. Так решался вечный вопрос о пролетариате и об устройстве анархического элемента на земле.

Обращаюсь к тени «батька Тараса»: скажите-ка по совести, кто были малороссийские помещики, «угнетавшие» Украину, — москали или малороссы? В подавляющем большинстве чистокровные малороссы — Довгочхуны, Перерепенки, Петухи, Коробочки etc. Так ведь это же ваша собственная плоть и кровь! Ведь эти помещики выходили из того же немножко выслужившегося на государственной службе малороссийского простонародья. А кто были ваши священники, епископы (вроде Феофана Прокоповича), фавориты (вроде братьев Разумовских), которые не случайно и не единолично, а всею массою тяготели к общей государственной власти? То были ваши же чистокровные малороссы. А кто были поставляемые Малороссией лихие офицеры, чудные солдаты, несравненные герои? Казаки, как львы боровшиеся за всю великую нашу Империю, единственную, какую Бог создал славянскому племени? Это были хохлы же. Наконец, какой народ в Малороссии, памятуя Бога и заветы предков, самым чистосердечным образом чтит престол Царский и несет насколько можно исправно все государственные тяготы? Народ малороссийский. Так где же ваша *неволя*, где *кайданы*, где воспаленная необходимость пролить целый Днепр великорусской *крови*? Что вы сказали бы, если бы какой-нибудь москаль-поэт оставил завещание своему народу пролить целую Волгу малорусской крови? Вы, пожалуй, назвали бы его недоумком и были бы совершенно правы.

В личной жизни Тарас Шевченко был кругом облагодетельствован москалями и водил со многими из них большую дружбу. Откуда же у него явилась нелепая и преступная идея подбивать своих земляков к чудовищному мятежу? Я думаю, эта безотчетная идея у него сложилась так: талантливый от природы мальчик жадно хватал всякую необходимую для таланта культуру, и не его вина, что он

встретил среди тогдашних крестьян-малороссов крайне зачаточную, кустарную, лубочную умственную культуру в виде народных песен и старинных легенд. Один из несчастнейших в свете (как поселившийся на проходной дороге из Азии в Европу) народ малорусский настрадался за века своего подневольного существования, как редко кто. Особенно тяжкие остались воспоминания о литовско-польском иге и жидовском засилье. Особенно ярко в народе жили предания о гайдаматчине, о свирепых походах запорожцев, мстивших аз поругание святынь народных, отвечавших на насилия чисто гуннским погромом Польши.

Маленький Тарас собственными ушами слышал то, чего теперь уже не услышишь в Малороссии, — древних кобзарей, которые от отцов своих и дедов передавали эпопею освобождения Украины от польского ига. Понятно, что маленький Тарас впитал в себя весь пафос этой ненависти к врагу, проникся им до костного, так сказать, мозга. Врагов в его время уже не было, а ненависть осталась. Гениальный и просвещенный Гоголь из того же материала создал малороссийскую «Илиаду» — «Тараса Бульбу». Менее одаренный и мало просвещенный Шевченко создал «Кобзаря», не более. Застарелую народную ненависть к полякам, иезуитам и жидам (вспомните первый проект памятника Богдану Хмельницкому, предложенный Микешиным) — эту ненависть Шевченко безотчетно перенес на «москалей», смешав старые условия с новыми. Конечно, тут способствовали и личные обстоятельства жизни Шевченко, и крепостная его зависимость, и ссылка, и солдатчина, а главное — ненавистнические к России внушения того польского кружка, в котором Шевченко вращался в Варшаве. Эти внушения просто сбили с толку хоть и даровитого, но очень темного малоросса. Незаметно, может быть, для него самого поляки перевели стрелки его мышления, и весь тяжелый поезд озлобленности хохлацкой против Польши покатился в глазах Тараса по направлению к России. Это в истории человеческих настроений бывает очень часто: обида от одного срывается на другом. Работа многих великих людей, если не всех их, вдохновлялась и искажалась пристрастиями, навеянными личной судьбой. Тем более это относится к средним талантам, лишенным культурного воспитания.

Как поэт народный, как поэт фольклора, Шевченко был в очень затруднительном положении: он унаследовал от деревенских кобзарей старое народное горе, источник которого уже сошел со сцены. Чтобы вместить это волнующее народ древнее чувство в *современную* поэзию, потребовалось дать ему *современный* источник. Где искать последний, Тарасу Шевченко подсказали поляки и возмущенные против России революционеры того времени. Вспомните, что Шевченко начал политически рассуждать в эпоху, когда Россия

считалась палачом европейской свободы (наши контрреволюционные в Европе экспедиции), а последние годы жизни Тараса совпадают с расцветом русского нигилизма. Отсюда, мне кажется, пошло восстание малороссийского поэта из крестьян одновременно и на Бога, и на государство, и — в особенности — на родное государство. Шевченко, конечно, нельзя сравнивать со Львом Толстым, но у них общая черта — пристрастие к мужику и ненависть к старой человеческой культуре, особенно к формам религиозным и государственным. Возможно, что поэтический талант обоих писателей, исчерпывая всю натуру, не давал достаточно дарования для иных проникновений. Революционной озлобленностью им приходилось возмещать просто недостаток ясного понимания. О, эта озлобленность, политическая озлобленность!.. Какое это, в общем, дурное и жалкое чувство! Если оно суммируется в целом народе и переходит в инстинкт — плохое это предсказание для народа! Если ваши речи циничны, а песни унылы, если вам хочется вечно ныть и жаловаться, если вы что-то оплакиваете и на кого-то призываете месть, смотрите, не к глупой ли принадлежите вы породе? И не сидит ли в вас наследственный бес праздности, уныния, любоначалия и празднословия? Люди умные не любят ни страдать, ни вспоминать о страданиях. Люди умные борются и побеждают, они непременно достигают счастья и умеют беречь его. Вот почему люди умные добрее глупых. Владеть благодатною Украйной, «где все обильем дышит, где реки льются чище серебра», жить под горячим солнцем и голубым небом вблизи морей и гор, жить народом исторически огромным и независимым и желать раздробления своей земли, пролития по ней кровавых рек — согласитесь, это как будто не совсем умно. Еще в Библии сказано, что сеющий ветер пожинает бурю. Батько Тарас порядочно-таки посеял ветра в пустых головах кое-каких своих сородичей, и если когда-нибудь над мирной Украйной заревет ураган повстания, может быть, купель крещения народа русского, старый Днепр, и в самом деле окрасится братской кровью...

СЕКРЕТ НЕМЕЦКИХ УСПЕХОВ

6 марта

«Россия, — писал вчера А. А. Столыпин, — платит Германии такую громадную дань, которая *несравнима ни с какой военной контрибуцией побежденного и обращенного в рабство народа*». Речь идет

о чрезвычайно невыгодном для нас и столь же выгодном для немцев нашем торговом договоре.

Вот «сильное выражение» г-на Столыпина, которое всего лучше для читателя не заметить, перебежав глазами к театральным известиям, к маленькому фельетону и к тому подобным легким вещам. Иначе, если остановиться на «сильном выражении» и вникнуть в него серьезно, начнешь чувствовать тяжелую растерянность. Как же это так случилось, что мы, не воюя с Германией, ухитрились привести себя в положение данника ее, гораздо худшее, чем разбитого на войне? А. А. Столыпин, по-видимому, хорошо изучил этот вопрос, и интересно было бы, если бы кроме общих выводов он познакомил нас, какими чарами заворожили немцы наших чиновников министерства финансов, договаривавшихся в Берлине, чтобы околпачить их столь плачевным образом. За двадцатилетие существования торгового договора, говорит г-н Столыпин, Германия добилась того, что немецкий земледелец получает дохода с земли в четыре раза более, чем русский, за орудия же и машины платит вдвое дешевле. Германская казна *возвращает* своему земледельцу 37,9 копейки пошлины за рожь, а русская мука *обложена* в 55,3 копейки пошлины с пуда. Благодаря этому мы не можем вывозить муку, а вынуждены вывозить дешевое зерно, которое сейчас же за чертой границы перемалывается немцами на множестве специально построенных мельниц, причем наш же обработанный хлеб часто возвращается к нам по дорогой цене. Торговый договор так устроен, что немцы почти даром ввозят к себе более 211 миллионов пудов в год драгоценного корма для скота — отрубей, жмыхов и кормового ячменя. Этим сырьем они откармливают свой скот, а от скота имеют мясо и навоз. Такой политикой одновременно подорваны и наше скотоводство, и наше земледелие, а германцы подняли эти отрасли хозяйства до небывалого еще процветания. Не кто другой, как Россия, — и именно в последнее двадцатилетие — утучнила тощие немецкие поля и подняла урожайность их вдвое и втрое... Подорвав собственного земледельца — и барина, и мужика, — наш торговый договор бесконечно облагодетельствовал Германию и создал прочную базу для ее промышленности и общей культуры.

Все это не ново, все это было довольно быстро замечено в России и встретило бессильные протесты в русской печати. И помещики, и хлеботорговцы, и мукомолы, и все люди, причастные к экономической политике, с ужасом увидели, что Россия попала в ловушку к сильному соседу. Случилось нечто такое, что символически предсказано самим географическим очертанием Германии. Последняя на карте похожа на чудовищно разинутую пасть какого-то

зверя, глаз которого находится в Берлине, а две челюсти — Восточная Пруссия и Силезия — впились в территорию России. В истекающее двадцатилетие наша западная соседка действительно держала крепко в своих зубах самый жизненный источник нашего благосостояния и, как вампир, сосала кровь и трудовой пот русского земледельца. Что ж, с этим Германию остается только поздравить. Она была бы глупа и бездарна, если бы не пользовалась крайне счастливым случаем, выпавшим на ее долю. Немецким чиновникам, заключавшим договор с Россией, германский народ имеет основание поставить заживо мраморные и даже золотые монументы. Но как же так вышло, что у нас нашлись двадцать лет назад опрометчивые финансисты, у которых рука поднялась подписать столь убийственный для нас договор? Кто они были, эти чиновники? Не прикосновенны ли к этому национальному для нас несчастью некоторые нынешние сановники, именно на злосчастнейшем договоре сделавшие себе потом министерскую карьеру? Вот эту сторону нашей государственности следовало бы осветить какому-либо вполне осведомленному перу. Иногда говорят, что десять лет назад возобновление разорительного для нас договора было вынужденным крутыми обстоятельствами: терпя разгром на Востоке, нам трудно было отстоять свои интересы на Западе. Пусть так, но *двадцать лет* назад? Ведь тогда разгром наш даже не предвиделся. Престиж России, унаследованный после твердой политики Императора Александра III, стоял еще очень высоко. Чем же объяснить, что именно тогда мы продали Германии за грош наше земледельческое могущество?

Я думаю, что ответ на эти вопросы вы встретите в разнообразном, куда ни взгляни, поразительном неудачничестве нашей эпохи. В области государственной, где предполагаются наибольшая обдуманность, талант, сосредоточенное знание, — тут-то вы и встречаетесь с самыми странными, ничем не объяснимыми промахами, и часто в ведомствах, руководимых на вид очень даровитыми людьми. Не только видите промахи незнания и неумения, но чаще всего изъяны безволия, ужасающей какой-то «бледной немочи» духа, при которой даже умные люди поступают глупо, отлично сознавая это. Внешняя бездарность при внутренней талантливости напоминает отравленное состояние здорового организма. От угара и очень сильные люди дуреют и иногда дело кончается плохо. Чем объяснить болезненную психику нашего образованного общества, которое как будто не в силах организовать даже небольшой правящий класс из людей вполне сознательных и энергичных?

Увы, задавая этот вопрос, чаще всего возвращаешься к обычному ответу: плохая у нас культура. Плохое у нас воспитание, плохая

школа. Один из достойнейших русских профессоров недавно писал мне: «Я вижу лишь один путь, который может вывести нас из настоящего жалкого состояния, — путь, по которому шла наша соседка Германия, достигшая в сравнительно короткое время и колоссальных накоплений материальных богатств, при бедности страны природными богатствами, и удивительного объединения отдельных враждовавших между собою народностей Германии». Какой же это путь? Об этом будет ниже, но в самом деле нелишне вспомнить, что тот же государственный маразм, что переживаем мы, то же общее поглупение и неудачничество переживала некогда, всего сто с небольшим лет назад, и наша торжествующая во всем соседка. Если Россия раздирается теперь инородческим сепаратизмом, то нелишне вспомнить, что и Германия раздиралась не только враждою между отдельными немецкими народностями, но даже каждый город, каждая местность старались обособиться от окружающих и тщательно оберегала свои мелочные интересы. Общая грызня немцев дошла до апогея к началу XIX столетия и много способствовала занятию Германии наполеоновскими войсками. Немцы до того пали духом, что серьезно усомнились в возможности поднять свою культуру. Как у нас теперь, и у немцев все родное тогда презиралось, часто до проклятия, а превозносилось чужое, особенно французское. Но пробудил Германию гнев Господень. В 1807—1808 годах прогремели мужественные «Речи к немецкому народу» Фихте[1]. Это был простой профессор философии, но, вопреки многим философам, не лишенный ясности практического понимания. Фихте напомнил немецкому народу элементарную истину, что как всякая вещь носит на себе печать дарования или бездарности сделавшего ее мастера, так и современный человек есть продукт семьи и школы. Невозможно иметь сильных и здравомыслящих людей, если приготовлять их в прежней варварской и схоластической школе. Фихте решительно призвал немецкий народ к *реформе школы* как к *единственному средству спасения несчастной родины.* Какою должна быть школа, это к тому времени уже достаточно было выяснено Песталоцци[2]. Огромный ли талант Фихте, или трагическое положение отечества, или исключительное счастье философа встретить внимание прусского двора, но правительство Пруссии откликнулось на горячий призыв и предприняло реформу школы. Появился кантианец Гербарт[3], отец научной педагогики, затем Фрёбель, применивший систему Гербарта для детей дошкольного возраста. *Вот что спасло разлагавшуюся тогда Германию.*

Системы Гербарта и Фрёбеля[4] легли в основу обучения как *воспитания* немецкого юношества. Особенно система Гербарта одно время

— и довольно продолжительное — применялась с большою, может быть, даже излишнею строгостью. Формальные ступени в преподавании урока распределялись даже в народных школах по минутам, и горе было тому учителю, которого окружной инспектор заставал не на той ступени в объяснениях, как выходило по времени. Это отдает педантизмом, но в педантизме кроется и хорошая сторона — добросовестность и точность. Ставя целью воспитания добродетель и беря средствами для него надзор, выправку и обучение, Гербарт продолжал идеи Песталоцци относительно наглядного преподавания. Опираясь на то, что человек знает хорошо лишь то, что умеет, этот метод преподает науку как искусство, через непосредственную практику каждого ученика. Благодетельные результаты переустройства самой колыбели народной культуры не преминули скоро же обнаружиться. Над Германией точно промчалось дыхание жизни, освежающее и бодрящее. Тренированная на труд школьная молодежь вынесла в жизнь не ослабленную, как дотоле, энергию, не погашенную пытливость, а, напротив, — все эти силы, укрепленные и поддержанные умением трудиться. Довольно быстро германское отечество было изучено немцами во всех отношениях — и народные богатства, и залежи старой литературы были освещены и раскрыты. Новое преподавание истории и литературы не схоластическим путем, а путем *переживания* (Mitgefühl, Mitleid) учениками в душе как бы оплодотворило гений немецкой расы. Найдя естественный выход для творческой работы, немецкое общество заметно облагородилось: стала исчезать сепаратистская вражда между отдельными немецкими народностями, смягчилась грубость обхождения и сам собою выдвинулся величайший лозунг, возвеличивший Германию, — лозунг объединения. Когда одичавший дух тевтонов, раздробленных и враждующих между собою, был обработан культурной школой, вновь как бы проснулся древний Барбаросса, спавший в пещере горы Кифгойзер, и он выехал на эту гору в образе уже нового германского императора Вильгельма I[5]. Таков смысл величественного памятника, к которому со всех сторон Германии стекаются теперь экскурсии учеников.

Мы плохо знаем и Германию, и Россию. Твердя, что Францию победил под Седаном школьный немецкий учитель, мы не догадываемся, что Россию разбил под Мукденом... русский школьный учитель. Именно своей отвратительной школе сверху донизу Россия обязана и военными, и мирными своими поражениями. «Когда попадешь в народную школу Германии, — пишет мне упомянутый почтенный ученый, — то наглядно убеждаешься, что иных результатов, кроме великих, она дать и не может. До такой степени там

поставлена просто и здравомысленно *фабрикация пригодных к жизни* молодых людей. В простоте и здравомыслии школьных приемов вы, однако, различите великие начала, высказанные когда-то плеядой гениальных педагогов начиная с Коменского. Например, концентрация преподавания различных предметов кроме знаний вводит в душу ребенка одни и те же положения нравственного порядка — любовь к семье, к родине, к отечеству, религиозность, мужество, верность, правдивость и т. д. Немецкая школа воспитывает нравственных людей, наша же, схоластическая, развращает их. «Du, Deutsches Kind, sei tapfer, treu und wahr!» («Немецкий ребенок, будь храбрым, преданным, честным!») — вот моральный лейтмотив немецкой школы. Часто ли он слышится в русской? В то время как немецкая школа не стыдится открыто выставить *добродетель* как национальное преимущество немцев, у нас само слово «добродетель» иначе не произносится, как иронически. Благодаря способу *воспитательного* преподавания дети кроме знаний выносят из немецких школ нечто неизмеримо более драгоценное — чувство долга, твердые нравственные правила, вполне определенные, составляющие как бы кремль души. Кругозор немца, может быть, и замкнутый, но стойкий, дающий опору благородному характеру. Какое великое облегчение для большинства средних натур иметь уже заранее готовые директивы поведения и во многих жизненных случаях поступать не думая, не колеблясь, по привычке и в то же время правильно, без ошибки. Для свободы остается еще много места, но она рационально стеснена и не является беспочвенной, как у нас.

Мне кажется, никогда так ярко не сказалось отсутствие нравственного воспитания в России, как в эпоху несчастной войны. Очень выдающиеся и просвещенные люди потеряли тогда разум и не знали, что им делать — отступать или наступать, щадить врага или щадить самих себя. Ведь доходило до того, что перед началом решительной битвы один из наших полководцев *заплакал* от мысли, что будет столько пролито человеческой крови. Стало быть, какой это ужас — война! Немудрено, что полководец с таким настроением был даже с превосходными силами разбит неприятелем, не проливавшим подобных слез.

Совершенно таким же шатаньем плохо воспитанной души русской я объясняю и то, что за десять лет до японских пушек мы были разгромлены немецкими перьями, писавшими торговый договор. Я не хочу даже наводить справок, кто из наших теперешних звездоносцев рассуждал тогда с немцами в Берлине, — не хочу называть имен, ибо сановные имена, покрытые графской короной или непокрытые, непременно вступят в полемику. Сейчас же в редакцию полетят опровержения: что, мол, вы говорите! Да ведь я тут ни при чем! Моя хата была совсем с краю, меня двадцать лет

назад и на свете не было и т. п. Не в *именах* дело, а в *характерах* русских, постыдно уступающих нынче и приятелям, и врагам. Уступать и отступать — это сделалось как бы национальною нашею чертою. В предчувствии отступления нам лень и выбрать позиции, и отстоять их. Нехитрое, казалось бы, дело — изучить условия коммерческого договора. Не нужно монокля в глазу, чтобы рассмотреть гибельные последствия тех или иных параграфов, но если в душе уже заранее решено, безотчетно и бесповоротно, что прежде всего нужно понравиться немцам, заслужить благоволение немецкого правительства, добрый отзыв императора Вильгельма (а это уже ключ к карьере по возвращении домой), то даровитейший чиновник не слишком вникает в суть дела. После любезных, сделанных ради приличия кое-каких возражений он подписывает с легким сердцем прелиминарные соглашения. А в Петербурге думают, что «там», на аванпостах борьбы, сделано все, что возможно, и к роковой сдаче по всему фронту прикладывается штемпель. Немцы, затаившие дыхание, произносят наконец торжественное «abgemacht!»

А было время, когда мы не отступали, а наступали. Это было в золотой XVIII век, когда у нас водились сильные характеры — и на поле брани, и на дипломатическом поприще. Откуда же брались эти характеры? Ведь у нас никогда не было школы, основанной на идеях Коменского, Песталоцци, Гербарта, Фрёбеля. Правда, но у нас все-таки была кое-какая школа, *более родственная германской, чем нынешняя* наша школа. Русское характеры воспитывались в старой религиозной и патриотической семье, и если не от учителей, то от родителей дети слышали внушения долга, верности, чести, любви к отечеству и презрения ко всему дурному. Домашние и школьные учителя того времени были настолько религиозными, что невольно передавали эту черту и воспитанникам своим. Вот почему Суворовы, Кутузовы, Багратионы, Румянцевы не знали, что такое поражение. Вот почему екатерининские дипломаты находили в своей душе гордое чувство уважения к своему народу и потребность постоять за его интересы. Чтобы понять, почему мы двадцать лет назад сдались немцам в Берлине, а десять лет назад сдались японцам в Портсмуте, достаточно вспомнить, что под конец прошлого века и к началу нынешнего к верхам чиновной власти подобралось поколение, воспитанное в 1850-е и 1860-е годы. То была эпоха писаревщины и базаровщины, когда евангелием русской жизни служило «Что делать?» Чернышевского. Я не ставлю знаменитый роман ниже современных «Ключей счастья» г-жи Вербицкой, но позволю себе спросить: что же будет с Россией, когда посеянные в наше время «ключи счастья» через несколько десятилетий взойдут?

ДОЛГ ВЕЛИКОРОССИИ

I

11 марта

Безобразные выходки киевских и львовских мазепинцев не останутся бесследными. Волна предательства, прокатившаяся по России в виде более или менее наглых украиноманских манифестаций, всколыхнула русское общественное сознание и возбудила вполне уместную тревогу. Опровержения г-на Суковкина, киевского губернатора, едва ли в состоянии рассеять эту тревогу, ибо наперекор опровержениям нашлись десятки киевлян, готовых удостоверить факт преступной демонстрации. Г-н Суковкин как губернатор лицо столь же ответственное, сколь заинтересованное в том, чтобы в его городе не произошло названного чудовищного происшествия. При всей служебной добросовестности он едва ли в состоянии отнестись к данному событию вполне объективно. Г-н Суковкин со слов подчиненных ему полицейских властей официально утверждает, что сообщения «Нового времени» неправильны, между тем другое официальное лицо — член Государственной Думы Лелявский категорически заявляет, что эти сообщения совершенно правильны. Он в разгар происшедшего был в Киеве, он «от лиц весьма уравновешенных и спокойных» слышал сообщения, что они были очевидцами безобразий и слышали позорные крики: «Долой Россию! Да здравствует Австрия!» Телеграммы «Нового времени» г-н Лелявский прочитал позднее и увидел, как они совпадали со всем слышанным им в Киеве. При таком серьезном разноречии официальных данных с неофициальными, безусловно, требуется официальная же проверка каким-нибудь третьим способом, и эта проверка, по слухам, уже ведется.

Как бы ни были нравственно ничтожны негодяи, дерзнувшие оскорбить великое свое отечество в публично-мятежном бесчинстве, они должны быть разысканы и наказаны. Закон не должен бездействовать, ибо если оскорбление государства есть государственное преступление, то безнаказанность его явилась бы преступлением самого государства. У нас, лояльных русских граждан, нет иного правительства, кроме существующего, и потому мы на него именно возлагаем все наши надежды и всю ответственность перед родиной. Нельзя смотреть сквозь пальцы на мазепинские выступления — их

нужно беспощадно наказывать, истребляя ядовитое семя в его всходах и самых корнях. Это относится не к одной лишь преступной выходке киевских мазепинцев, поддерживаемых жидами, поляками и кавказцами. Перуны вооруженной законом власти должны поражать государственную измену на всем пространстве ее досягаемости...

Бесспорно, *одна* ласточка не делает весны, и если бы в России действовала *одна* шайка предателей, она не могла бы возбуждать большой тревоги, но в последнее десятилетие выяснилось весьма широкое распространение мазепинства, опирающегося на две базы — на денежную поддержку Германии и на самую разнообразную поддержку Австро-Венгрии. При таком положении дел безумно было бы не придавать значения величайшей из опасностей, теоретически возможной для России и *уже готовящейся*. Если речь серьезно зайдет о разрушении единства русского народа, то это такая беда, ради предотвращения которой выгоднее вести ряд кровопролитнейших войн, нежели примириться с ней. Я хочу сказать, что если бы план немецких империй использовать мазепинский сепаратизм был поставлен как практическая задача, то, *не дожидаясь ее решения*, мы должны были бы воевать и с Германией, и с Австрией как с врагами, ведущими минный подкоп под наше государственное здание. Пока до этого дело не дошло, все-таки следует начать самую деятельную и непримиримую борьбу со сравнительно бессильными проявлениями мазепинства в самой России. Не дожидаться же, господа, когда бессильное сделается могучим и уже неодолимым. Мы во всем убийственно опаздываем, зевая да почесывая в затылке, но есть несчастья, присутствие которых должно сдувать самую мертвую дремоту. И маленький поджог, и маленькая течь на корабле, и маленькая груда камней поперек рельсов, и маленькая доза яда — все это не такие явления, чтобы ждать разгара их последствий...

Кроме правительства, на котором лежит священный долг организации народной обороны, пора, мне кажется, вникнуть в мазепинскую измену и русскому обществу, в особенности великорусскому. Я вполне искренне верю общерусскому патриотизму многих образованных малороссов и большинства малороссийского простонародья. Между теми и другими я встречал таких одушевленных и стойких носителей имперской нашей идеи, что дай Бог очень и очень многим великороссам подняться до этого высокого уровня. Но *исключения* все-таки не составляют *правила* — общее же правило таково, что большинство «хохлов», считая себя русскими, недолюбливают «москалей» и довольно равнодушны к всероссийской идее, представительствуемой главным образом великороссами. К чему неравнодушны хохлы, и часто до пламенного обожания, так это к

своей Украине — ее одну они называют «Украйна-маты». Хотя через тридцать девять лет минет уже три века объединения Великой и Малой Руси, но так как и московское, и петербургское правительство не отличалось широкими историческими горизонтами и не заглядывало в даль веков, то вместо быстрого слияния областей в одной великой культуре (что почти удалось первым Рюриковичам) получилось скорее закрепление бытовых различий и расхождение народных культур. Только со времен Екатерины II началось заметное влияние великорусской государственной культуры на Малороссию. В век Гоголя оно достигло своего апогея, но при Императоре Николае I уже зародилось украиноманство в ряду других инородческих сепаратизмов и революционных течений. У нас проделали с украиноманством весь, так сказать, бюрократический ритуал борьбы со злом. Ритуал таков. Заметив зло, если оно совсем незначительное, его так или иначе подавляют. Но если зло оказывается сложное и страшное по своим последствиям, то у нас делают вид, что ничего не заметили. В упорном игнорировании зла проходят десятилетия, но наступает время, когда зло начинает выпирать из почвы, теснить и наступать. Тогда чаще всего теряют голову и идут на уступки. Все эти этапы были пройдены и мазепинским движением, не раз возобновляясь.

Обыкновенно игнорирование вещей близко к игнорации в отношении их. Говорят: «Какие пустяки! Что такое мазепинцы? Все это вздор, политическое мелкое сектантство, не более. Малороссы все лояльны, целый ряд их торжественно заявляет о своей лояльности». На это можно заметить, что ведь и сам Мазепа очень долгое время считался лояльным. Даже более того: он долго и был лояльным, но вот подите же, в конце концов оказался предателем. Мазепа был, подобно мазепинцам, польского воспитания, но православный. Еще до Петра Великого он вошел в доверие московских бояр. Именно лояльностью своей он обворожил фаворита Софьи — князя В. В. Голицына[1] и добился гетманской булавы. Мазепа вполне добросовестно участвовал в Крымском походе Голицына, умел понравиться молодому Петру, усмирил даже одно восстание на Украине (Петрика), принимал деятельное участие в походах Петра к Азову. В начале шведской войны он воюет со шведами, строит Печерскую крепость и пр. Уже в возрасте за шестьдесят лет Мазепа вдруг сбрасывает свою лояльность и совершает сразу *двойную* измену: не только Петру, но и самой Малороссии. Немногим малороссам известно, что по тайному договору с королем Станиславом и Карлом XII Малороссия, восставшая на Петра, предназначалась целиком Польше, а Мазепа награждался княжеством полоцким и витебским. Стало

быть, не о самостийности Украины мечтал он, а о новом подчинении народа ненавистным ляхам. Вот вам психология предателя, всю долгую жизнь казавшегося верноподданным. Нынешние мазепинцы в огромном большинстве усвоили всю душу своего патрона, проклятого Церковью. Они притворяются безусловно верными России, они даже служат ей на всевозможных поприщах, иногда служат недурно, но в душе у них всю жизнь таится измена, и, может быть, двойная измена. Вместо «самостийности» Украины они охотно подведут свою родину под ярмо австрийцев, а сами не получат, конечно, вассального княжества, о котором мечтал Мазепа, но все-таки получат какую-нибудь подачку, хотя бы частичку «фон», которую получил за свое мазепинство г-н Василько, галицкий украиноман. Вот почему видимая лояльность еще ровно ничего не говорит; надо помнить, что под нею очень часто затаены застарелые ненависть и измена.

Как ни больно признать это, довольно широкие слои малорусского общества (особенно интеллигенции и буржуазии) охвачены острым сепаратистским настроением и в национально-государственном смысле ненадежны. Подобно всем народностям, под властью чужой культуры малороссы имеют как бы две политические души вместо одной, и одна из них — чужая, великорусская. Натурализуясь, как немцы и поляки, переходя невольно на наш язык и сливаясь с нами в общеевропейском быте, обруселые малороссы с болью в сердце чувствуют, что они изменяют Украине и что второе их поколение едва ли даже вспомнит, откуда оно родом. Измена вполне естественная и неизбежная, но все же чувствуется как некий грех, а за грехом следует нередко внутреннее раскаяние, оплакивание прошлой верности, идеализация невозвратной «чистоты». Несомненно, в украинском, как и во всяком сепаратизме, только 50 процентов обдуманного краевого сепаратизма, остальные же 50 процентов приходятся на романтику — особенное чувство жалости к тому, что уже брошено не без основания. В эпоху рыцарства последнее окружалось далеко не таким обаянием, как в века последующие, когда оно исчезло. «Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает». Этот гаснущий огонь, этот рыдающий аккорд прошлого составляет то прекрасное, что чувствуется сепаратистами в своем сердце.

Представьте на миг, что все малороссы позабыли свою историю, — они тотчас же позабыли бы и о своем сепаратизме, ибо современность как она есть всегда кажется прозаичной, слишком обыкновенной, чтобы о ней думать или говорить. Малороссы тщательно собирают остатки своей гетмановщины и считают национальным то, чего уже

нет. Они рядятся под Дорошенко, под Шевченко, хотя те их земляки, которые не знают или забыли прошлое, всего охотнее надевают современный пиджак и даже смокинг. Но даже наряженный во фрак хохол иногда горько вздыхает о свитке деда, будто бы более прелестной и более национальной. «Все мгновенно, все пройдет, — *что пройдет, то будет мило*». Если бы это естественное явление исчерпывалось свитками, гопаком, гречаниками и т. п., включая родную «мову», никому не пришло бы в голову мешать этому. Но романтика захватывает и круг великих основ народности — идею расы и государства, и вот тут начинается страшная государственная опасность. *В одной империи не может быть нескольких национальностей, или такая империя обречена на довольно быструю гибель.* Вовсе не прихоть заставляет западные народы отстаивать национальное единство в черте одного государства. История показывает, что только строго национальные государства бессмертны или отличаются удивительным долголетием; таковы были Древний Египет, республиканский Рим, современная Англия или Франция, Китай, Япония. Наоборот, как только строго национальное царство расширялось в империю народов, начинался внутренний, ничем не погасимый раздор и подобные кооперации разных племен быстро рушились. Вспомните, как недолго просуществовали древняя Персия, Ассиро-Вавилония, империя Александра Македонского, императорский Рим. Как быстро расползались по швам империи гуннов, монголов, арабов, испанцев. В ближайшее к нам время разлезлась по швам польская империя (ибо по конструкции своей это была империя, то есть семья народов, друг другу чуждых). На наших же глазах это происходит с Турцией. Та же участь, несомненно, грозит и Австрии, и другим плохо склеенным монархиям имперского типа. И это независимо от внутреннего режима. Рассеялись деспотическая империя Карла V и анархическая республика Речи Посполитой. Величайшая из когда-либо бывших империй — Великобритания с каждым десятилетием становится все более призрачной. Такая непрочность пестрых государств заставляет и русское общество глубоко задуматься о судьбе своего отечества.

Надолго ли хватит России, если инородный элемент дошел до 33 процентов и если к центробежному стремлению врозь присоединяются десятки миллионов населения, считавшегося коренным русским, каковы малороссы и белорусы? Известно, что у нас имеются идиотические партии, проповедующие свой захолустный национализм, белорусский и даже сибирский... Пусть эти партии главным образом пополняются жидами, поляками, кавказцами и другою озлобленною против России инородчиной,

но факт тот, что средь бела дня составляются заговоры на развал и раздел нашей Империи между ее составными элементами. Можем ли мы, великороссы, оставаться беспечными? И не на нас ли лежит первый долг бороться с этого рода сверхгосударственной изменой? Ведь Империя Российская есть по преимуществу *наша*, великороссийская Империя, и это настолько очевидно, что не требует доказательств. Но мы едва ли правильно поступаем, когда делаем вид, что отказываемся от этого преимущества и готовы совсем опустить державный скипетр среди русских братьев. Не от нас зависит, признать малороссов и белорусов русскими или нерусскими: это сложилось еще до Империи и до начала русской государственности. Даже вне России есть четырехмиллионное население, называющее себя русскими. Не смея отрицать ни общего племенного происхождения, ни народного имени, ни их братских прав в родной семье, мы, великороссы, обязаны отстаивать с величайшей энергией все преимущества своего численного преобладания и исторического первенства. Не за *ними*, а за *нами* стоит право побед, подвиг великого освобождения из-под татар и Литвы, громозвучная слава отражения целого ряда нашествий. Не малороссийские и белорусские, а великорусские монархи явились собирателями общей земли предков и приобретателями ближайших пустынь. Еще до присоединения Малороссии и Белоруссии мы завоевали татарские царства и Сибирь и дали отпор таким завоевателям, как Мамай, Стефан Баторий, Густав Адольф, Карл XII. Мазепинцы кричат, будто Малороссия присоединилась к Москве лишь как автономная держава. Но велик ли был клочок Малороссии, попросившейся при Богдане Хмельницком в наше подданство, и велика ли была допущенная без всяких обязательств «автономия» этого клочка?

Пора великорусскому обществу вспомнить свою царственную роль в истории русских племен, пора возродить в себе дух великой расы, строившей Империю. На нас лежала *постройка*, на нас же лежит и *ремонт* обветшавшего здания...

II

13 марта

Заграничные мазепинцы устроили публичный скандал членам нашего парламента, прибывшим в столицу Галицкой Руси. От более культурных людей можно бы ожидать большей вежливости, но хамы остаются хамами, обличая глубокое варварство своей породы. Говоря

о породе, я убежден, что мазепинцы вполне справедливо отрекаются от имени русских: по духу и темпераменту это обруселое потомство половцев и печенегов, поднимающее вновь войну со Святой Русью. Сказалась чуждая благородным обычаям гостеприимства низшая раса, только и способная что на насилие, если оно безнаказанно. Надо заметить, что стертые с лица земли степные тюркские народцы оттого и исчезли, что кроме мелкого разбойничества они ни на что не были способны. Этот низкий уровень умственных способностей передался через ряд столетий и их мазепинскому отродью. Кроме дерзости самого дурного тона, выступления будто бы украинской расы во Львове с камнями против мирных гостей отдают феноменальной глупостью. Что же это, в самом деле, за аргумент — камень, брошенный в члена русской Государственной Думы, православного протоиерея, выходившего из собора? Вполне идиотический аргумент, как и крики: «Долой кацапов, долой изменников!»

Впрочем, что касается слова «изменники», брошенного в лицо членам нашего парламента, — в нем, пожалуй, кроется некоторый смысл. Слишком уже долго мы, «кацапы», потворствовали государственному преступлению украйноманства. Если оно представляет гнусную измену русской Империи и народности, то ведь и наше потворство отдает той же изменой, хотя менее сознательной. Что давно пора и русскому правительству и народу проснуться и наказать крамолу, свившую себе бесчисленные змеиные гнезда у нас же дома, показывает напечатанная в «Голосе Руси» телеграмма киевского отдела Всероссийского национального союза. На общем собрании отдела А. В. Стороженко[2] сделал очень ценный доклад о мазепинской опасности. Из доклада и оживленных прений выяснилась вся преступная, предательская подкладка мазепинской пропаганды. Это подземная война с нами, уже начатая двумя немецкими империями в виде подготовки к войне надземной. Не о «самостийной» Украйне идет речь, а об отторжении двадцати пяти миллионов малороссов под австрийско-польское иго. Г-н Стороженко сам малоросс, как и большинство киевских националистов, — следует прислушаться к тревожному голосу этих сведущих людей. «Правительственные власти и национально-русские общественные силы, — говорит телеграмма, — обязаны неусыпно бороться с *повсеместным развитием мазепинских политических организаций в виде клубов, газет, журналов, обществ содействия начальному образованию, кооперативов, книгарен, музыкальных гуртков и других*, которые под предлогом этнографически-культурных задач на самом деле работают над уничтожением в широких народных слоях русского

национального чувства и постепенно приучают народные массы к мысли о необходимости отделения Южной России от Империи. *Киевский отдел с прискорбием должен признать, что столь большая государственная опасность мало сознается.* По мнению русских киевлян, необходимо немедленно принять целый ряд мер к прекращению вредной деятельности упомянутых организаций». Телеграмма подписана товарищем председателя отдела почтенным профессором Армашевским[3], который, если не ошибаюсь, сам малоросс и давно живет в Киеве. Когда читаешь эти глубоко тревожные напоминания петербургским властям из глубины России, с самого места крамольного движения, то в самом деле чувствуешь, что тут мы имеем не одну измену, а две: предательство мазепинцев и беспечную снисходительность нашу к этому предательству.

Россия гибнет от слишком заметного возобладания в ней типа *самодовольной*, оптимистической бюрократии. Сидит себе в Северной Пальмире раззолоченный сановник, принимает доклады на слоновой бумаге, наслаждается раболепием толпы подведомственных чинов и в самом деле думает, что он маленький «царь и бог», как любят величать себя даже захолустные исправники. Никакой политики, кроме благополучной, он не признает, никаких глубоких и сложных процессов народного быта, а главное — никакой драмы. В тиши роскошного казенного кабинета его превосходительству искренне кажется, что ни в природе нет никаких океанов и ураганов, ни в государстве никакой политики дальше тридцати верст от городов. Так как ведь над каждым изнеженным сановником есть другой, еще более престарелый и нуждающийся в покое сановник, то каждая ступень табели о рангах старается дополнить собой лестницу общего благополучия, по крайней мере — «отчетного». Именно отсюда идет пагубная привычка петербургских сфер никак не реагировать на острые явления жизни и прятать их под сукно, как страусы в пустыне при виде неприятеля прячут голову под крыло. Именно этой пагубной привычке мы обязаны чудовищным разрастанием таких явлений, которые своевременно могли бы быть погашены легко и быстро. У нас многими десятилетиями не хотели признавать финляндское брожение — и дожили до поголовного обращения Финляндии в вооруженный против России лагерь, в авангард для шведо-германского десанта. Долгими десятилетиями игнорировали сепаратизм прибалтийских народностей — и дожили до «латышской революции», которую пришлось усмирять уже карательными отрядами. Долгими десятилетиями смотрели сквозь пальцы на «какой-то» бунд еврейский, на «какую-то» социал-демократию среди петербургских рабочих, на «какие-то бредни о земле среди крестьян», на «какой-

то» задор кавказских инородцев — и дожили до еврейского мятежа, до крестьянской пугачевщины, до столичных выступлений двухсоттысячной рабочей армии забастовщиков, до московских баррикад, до кавказских свирепых бунтов. На моей памяти десятки лет все хорошо знали о революционной пропаганде во флоте — и благополучно дождались до «Потемкина», до севастопольского, кронштадтского, свеаборгского, владивостокского восстаний. И так далее, и так далее. Скажите, где петербургские оптимисты не промедлили, где они не опоздали? Nous arrivons toujours trop tard, как поет полиция в одной оперетке. *То же самое гибельное промедление, то же опоздание замечается и в громадном мазепинском движении, значение которого давно и превосходно замечено не в Петербурге... а в Вене и Берлине.*

Последние телеграммы говорят о борьбе киевского губернатора г-на Суковкина с местной патриотической организацией, только что удостоившейся Всемилостивейшей телеграммы Государя Императора. Я совершенно незнаком с партией «Двуглавого Орла», не видал ни одного номера этой газеты, совсем не знаю г-на Голубева и потому не имею определенного суждения о действиях этого кружка. Знаю только по газетам, что это нечто ультрапатриотическое, вроде «Тройного» одеколона, близкого к чистому спирту. A priori признаю, что г-н Суковкин имеет право и долг подавлять во вверенной ему губернии всякие беспорядки, и даже патриотические, если бы они возникли. Меня только озадачивает повышенное рвение наших провинциальных господ Суковкиных преимущественно в одну сторону — в сторону патриотических выступлений. Жиды, поляки, кавказцы, мазепинцы устраивают бесконечно более злокачественные и преступные, хоть и несколько более прикровенные демонстрации. Жиды и их прихвостни поют «Заповіт», говорят зажигательные речи на банкетах, кричат кое-где: «Долой Россию и да здравствует Австрия!» — и им это сходит с рук без больших потерь и убытков. Такая повадка отнюдь не у одного г-на Суковкина, а почти сплошь у нашей либеральной бюрократии, особенно кадетствующей. Помните, еврей убил главу правительства в Киеве. Первым чисто рефлективным движением сердца следующего по власти министра В. Н. Коковцова было вызвать по телеграфу войска для защиты евреев. *Никто не нападал на них,* и даже проекта никакого погрома не было, а русская власть уже манифестировала своей предусмотрительностью к соплеменникам Мордки Богрова. Манифестация оказалась не только напрасной, но вдвойне обидной, ибо одновременно всякое проявление справедливого возмущения чувств народных против государственного злодейства евреев было

запрещено, как якобы провокация к погрому. Но позвольте же, наконец: в каком государстве мы обитаем — в чужом или в собственном? Ведь даже в чужом государстве были бы допущены те митинги негодования, те лекции и доклады, которыми пытались реагировать киевские националисты на еврейский террор. Ах, заявляет администрация, против евреев этого нельзя: это возбуждает страсти! Ах, против мазепинцев — нельзя: это вносит раздор между двумя частями населения!

На это хочется сказать со всею почтительностью: неправда, не «это» вносит раздор, а, может быть, отсутствие «этого». Раздор уже *давно* существует, как вы проглядели его — это удивительно! Но раздор, подобно поджогу, существует, может быть, потому, что его не гасят и *не дают* гасить. Революция 1905 года всем памятна. Жиды очень долго творили невообразимые бесчинства, рвали портреты Государя и публично пускали по улице собак с короной на голове, пока не лопнуло терпение *простого народа*. Не местных властей, которые, увы, только и сумели, что оказаться бессильными предотвратить беспорядки, а уличного простонародья. Даже уличное простонародье в памятную осень 1905 года оказалось по государственным и национальным своим инстинктам несравненно более надежным, нежели иные губернаторы, шествовавшие в процессиях с красными знаменами. Разве этого не было? Или разве это было сто лет назад?

Мне кажется, русское патриотическое общество вправе умолять власть и даже настаивать на том, *что необходимо проснуться в отношении разгорающегося мазепинского бунта* и принять неотложные и крайне решительные меры. Эти меры должны быть двоякого рода: государственные и общественные. Государство само должно бороться доступными ему средствами, парализуя измену в ее зачатии, и не должно мешать обществу вести ту же борьбу всеми культурными способами. Слишком утонченные и выхоленные, наши бюрократы напоминают ту французскую аристократию, которая до такой степени изнежила себя, что в эпоху великой революции не сумела отстоять ни короля, ни трона, ни наследственных замков, ни прав. Плачевная растерянность чиновной знати в эпоху попа Гапона и лейтенанта Шмита дает грустное предсказание для будущего. «Неделание и непротивление» — вот что повергает нашу государственность в паралич. До того дошли, что и правительство, и общество боятся наказывать преступников, если они чуть покрупнее. «Ах, зачем создавать мучеников! Зачем тяжелой карой делать ореол вокруг имени какого-нибудь ничтожного негодяя!» — вот, между прочим, какою фразой прикрывается иногда бездействие прокуратуры и суда. Но позвольте,

господа: едва ли вы вправе рассуждать, нужно или не нужно привлекать преступников к суду. *Вы обязаны* это сделать, если преступление обозначилось, и никто не давал вам разрешения миловать злодеев. Священный долг судебной власти — преследовать зло и карать его — заложен в самом основании государства. Отказываясь бороться со столь тяжкими видами преступлений, какова государственная и национальная измена, вы обрекаете народ на беспомощное состояние. Какая же выгода иметь государственность недействующую? Это хуже, чем иметь в Москве Царь-колокол, который не звонит, и Царь-пушку, которая не стреляет. Ведь если не наказывать преступников из опасения, что банда их товарищей сочтет их мучениками, то пришлось бы отказаться от борьбы и с мазуриками и хулиганами. Покойный профессор Сергеевский, пламенный патриот, так охарактеризовал скрытый лозунг ослабевшей демократии: «Ешь меня, собака!» Грустно то, что этот лозунг проводится от лица России и за народный счет.

Народ вовсе не так сентиментален, как изнеженные канцеляристы. Народ довольно здраво судит о преступлениях: «Дурная трава — из поля вон», «Паршивая овца все стадо портит». В качестве неорганизованной массы народ не может иначе расправляться с лиходеями, как путем стихийного самосуда, но даже эта варварская форма суда все-таки представляет какой ни на есть суд, а не отсутствие суда. Неужели для кого-нибудь полезно доводить народ до отчаяния, до гражданской войны? А между тем взгляните объективно: что же такое эти уличные драки монархистов с жидами и мазепинцами, как не вспышки гражданской войны? Если уже теперь по нескольку раз в год приходится и в столице, и в крупных городах высылать на улицы усиленные наряды полиции и казаков, дабы сдерживать инородческие и революционные выступления и оберегать одну часть населения от разгрома со стороны другой, то не ясно ли, что эпохе оптимистического бездействия следует положить конец? Что значат ваши общего характера циркуляры местным властям и бумажные внушения азбучных истин? Необходимы действия, а не слова.

III

15 марта

Кроме государственной борьбы с мазепинской изменой необходима общественная борьба, и во главе ее должны стоять мы,

великороссы. Не мы одни, ибо, повторяю, Российская империя есть общее достояние русского племени во всех его областных подразделениях. Это общий дом и для малороссов, и для белорусов, и для сибиряков, из которых многие так ограниченны, что тоже воображают себя «особой» национальностью. Если захотеть, то из стомиллионного народа можно, как и в эпоху Нестора, накроить десятки будто бы отдельных племен, но отдельность их будет чисто мнимая. «Се бо токмо Словенеск язык в Руси: Поляне, Древляне, Ноугородьцы, Полочане, Дреговичи, Север, Бужане, зане седоша по Бугу, после же Волыняне», — говорит летописец. Правда, «имяху бо обычаи свои и закон отец своих и преданья, кождо свой нрав». Но ведь и теперь обычаи и нравы у нас встречаешь чуть не в каждом уезде разные. Национальность выше своих вариаций, как целое выше части. Мы, великороссы, должны отстоять сложившееся в истории наше первенство среди малороссов и белорусов и, я уверен, отстоим его, но величайшая из наших побед должна состоять в том, чтобы доказать, что самая борьба этих русских племен с нами, русскими, в корне своем нелепа. Мы должны устами ученейших историков и талантливейших публицистов доказать, что теперешнее русское государство — до сих пор единственная возможная форма державной самостоятельности и белорусов, и малороссов. Их сепаратизм кроме жидовско-польских внушений и немецких грошей поддерживается еще отчаянным их историческим невежеством, и это невежество надо рассеять. К сожалению, у нас нет ни одного классического, пригодного для школ учебника русской истории. На совести покойного (ибо, в сущности, он умер как ученый) Иловайского лежит то, что скучнейшим и бесцветнейшим своим учебником он отвадил от интереса к русской истории длинный ряд поколений, прошедших школу, и этим способствовал упрочению в России космополитических идей. Правительство охотно бросает сотни тысяч рублей на покупку племенных жеребцов и целые миллиарды на создание флота. Но, может быть, неизмеримо полезнее было бы отпустить несколько высоких премий на создание основного учебника русской истории, увлекательного и правдивого, способного втянуть окончившего школу образованного гражданина в многотомную драму тысячелетней нашей истории. Даже из не вполне совершенных творений Карамзина и Соловьева и белорусы, и малороссы могли бы вынести сознание глубокой необходимости нашего национального единства, то есть крайней полезности для них самих держаться Великороссии, как утопающие держатся за гранитный утес. Ведь уже был в истории великий ураган, как бы смывший с материка России и белорусов,

и малороссов. Сколько столетий они, несчастные, томились в чужой неволе! И несомненно, томились бы и до сих пор, если бы не окрепшая в XVII веке Москва. Может быть, не случись этого, под боком Москвы уже давно не было бы самого имени Малой и Белой России, а были бы десятки миллионов ополяченных холопов под пятой у ксендза и еврея.

С фанатиками ввиду их досадного недостатка — глупости — неприятно спорить, но если есть среди малорусских и белорусских сепаратистов люди рассудительные и дорожащие правдой, то давайте спорить. Великороссы в состоянии выдержать не только бунт, но и мирный спор со своими западными и южными собратьями и доказать чисто объективную бессмыслицу их претензий. «Мы не хотим быть русскими!» — кричат с мозгами набекрень самые озлобленные из сепаратистов. На это есть резонный ответ. Не хотите, так и Господь с вами. Что касается вас, кучки народных отщепенцев, то кому какое дело до того, чего вы хотите или не хотите. Записывайтесь хоть в патагонцы, не только что в австрийцы. Но что касается ваших народностей, то тут уместны два вопроса: 1) точно ли малороссы и белорусы не хотят быть русскими? и 2) могут ли они осуществить свое нехотение? Я думаю, на оба вопроса серьезный ответ может быть только отрицательным. Великороссия еще не провалилась сквозь землю, а пока этого не случится, наше государственное племя будет сопротивляться отсечению от себя живых частей. Уж это как вам угодно — нравится ли вам это или нет, — но рубить себя заживо мы не дадим. Но если бы Великороссия сегодня и провалилась бы сквозь землю, едва ли не завтра то же самое случилось бы и с Малой Россией, и с Белой: их голыми руками забрали бы, как стадо без пастуха, более организованные и более сильные соседи.

Рассудительные люди должны признать, что даже великие державы нынче с большим напряжением отстаивают свое существование. Даже величайшие державы не находят возможным жить более в одиночку, а собираются артелями, по трое и больше. Мазепинцы скажут: да ведь существуют же небольшие державы, вроде Румынии или балканских монархий, держится же даже такая мелочь, как Голландия, Бельгия, Дания, Люксембург. Держатся они, это точно, но разве не ясно, что их существование политически ничтожное, отравленное постоянной опасностью захвата со стороны больших соседей? Как глыбы снега весной по оврагам, эти маленькие народности еще доживают свое средневековое бытие, *дотаивают*, так сказать, пока не дотают вовсе. Всем понятно, что в ближайшую же великую войну, как было в эпоху Наполеона, многие из этих самостоятельных лилипутов исчезнут сразу и без следа.

В какой панике живут маленькие народы, видно по недавним народным демонстрациям в Швеции: и королю, и крестьянству вдруг почудилось, что Швеции угрожает русское завоевание, — и произошел трогательный обмен клятвами защищать отечество до последней капли крови. Хотя в России не найдется даже сумасшедших людей, которых бы интересовала Швеция в качестве добычи, но маленькая страна чувствует грозное присутствие около себя великих народов, из которых если не один, то другой может просто неосторожным движением причинить Швеции катастрофу. Дания и Голландия чувствуют себя еще беззащитнее, а Бельгию, кажется, хоть голыми руками бери, она даже и не подумает защищаться. Румыния, правда, существует довольно спокойно, но лишь благодаря тайному соучастию с одним из тройственных трестов. Но насколько дорого обходится Румынии призрачная ее самостоятельность, показывает необходимость держать при семимиллионном населении армию в пять корпусов. Если бы мы вооружались в той же пропорции, то нам пришлось бы при 180-миллионном населении держать сто тридцать корпусов вместо сорока (беру круглые цифры). Даже при тройном и четверном напряжении обороны, крайне истощающем маленькие страны, все же слишком ясно, что погибни Россия в борьбе с немецкими империями, и вся коллекция маленьких балканских корон очутится в австрийском Гофбурге. Страшась этой участи, даже такие лютые враги, как сербы и греки, заключают коалицию с Румынией, и весьма возможно, что даже ограбленная с головы до ног Болгария попросится в кооператив со своими грабителями. Но ведь такой кооператив очень смахивает на федерацию небольших народностей вроде германских или австрийских. Раз и наши сепаратисты не мечтают дальше чем о федерации, то во что же обратится их «самостийность»? Сладость подобной федерации к тому же весьма сомнительна. Даже такая крупная величина, как Венгрия, вполне независимая внутри своих границ, спит и видит, как бы выйти из федерации.

Лично я очень симпатизирую тому племенному строю, который дал столь пышное процветание Северной Америке и англосаксонским колониям вообще. Но кроме отдельных конституций Штатов в Америке имеется общая конституция, причем в неделимом государстве признан и один национальный язык. Соединенные Штаты, отгородившиеся от остальной планеты величайшими из океанов, до сих пор могли позволять себе maximum внутренней свободы, но уже и теперь широко допущенное соревнование с коренным племенем переселенцев из Европы и Азии приходится ограничивать. При свободном состязании англосаксов с немцами,

ирландцами, неграми, итальянцами и славянами получается такое впечатление, что «через столетие в Америке не останется ни одного англосакса». Это пророчество Густава Лебона, мыслителя слишком вдумчивого, чтобы бросать пустые фразы. В результате неслыханного американского прогресса выйдет то, что наследие господствующего народа достанется евреям, которые будут управлять слегка обангличаненными неграми и славянами.

Россия не исключение в природе; в гигантской черте ее, включающей множество племен, идут кипучие расовые, социальные и культурные процессы, и коренному *русскому племени вовсе не все равно, остаться ли наверху или очутиться внизу.* Некоторые азиатские племена (евреи, татары) размножаются быстрее русских и кое-где начинают уже численностью своей теснить державный народ. Те же белорусы и малороссы уже давно вопят, что их задавили жиды и поляки. Судя по письмам с юга, одним из способов, какими евреи разжигают мазепинскую ненависть к Великороссии, служит такой довод: русское правительство насильно держит евреев в черте оседлости и еврейство, естественно, теснит несчастных белорусов и малороссов. Справедливость требует, чтобы черта оседлости была снята и чтобы тяжесть еврейского вселения была распределена по всей площади Империи. «Кацапы, — пишут мне хохлы, — напустили на нас жидов и хотят, чтобы мы погибли от этого». На это странное рассуждение я отвечаю так: не кацапы напустили жидов на вашу русскую землю, а поляки. Если жиды составляют заразу в черте оседлости, то было бы бессмысленно разносить эту заразу по всей стране. Если разгружать Россию от жидов, то нужно это делать постепенным вытеснением вредного племени за границу. Где же это видано, чтобы болезнь лечить перенесением ее на здоровое тело? Евреи в личиночном состоянии — паразиты, в полном развитии — хищники и составляют одинаково грозную опасность для всей России. Но и кроме евреев найдутся могущественные инородческие внедрения, с которыми нашим потомкам придется бороться не на жизнь, а на смерть. Для этой великой, хоть и бескровной борьбы нам, русским племенам, потребуются союзники, и малороссам не меньше, чем великороссам. Не выгоднее ли нам держаться друг друга, пока мы еще не сплошь заполонены нашествием всевозможных иноплеменных?

С давних времен, и особенно с Петра Великого, Малороссия вносила свой вклад в национальную русскую культуру. Вклад этот был не всегда положительным, и мы, например, вовсе не благодарны за наплыв в XVIII веке южнорусских латинизированных монахов вроде Феофана Прокоповича и фаворитов. Но в лице Гоголя

Полтавская Украйна подарила Святой Руси большой национальный талант. Гоголь многое дал России, но Россия еще больше дала Гоголю, точнее говоря, дала все, ибо на простонародном наречии он не поднялся бы выше Котляревского или Шевченко. И помимо Гоголя Малороссия высылает к верхам общества много даровитых людей, однако если быть вполне справедливым, то нельзя не признать, что Великороссия за эти двести шестьдесят лет не нуждалась в культурной поддержке юга. Великороссы сами выдвинули из своей среды подвижников и иерархов, более замечательных, нежели Феофан, и государственных людей — чем Трощинский, и великих писателей, более всеобъемлющих, чем Гоголь, и великих поэтов, более гениальных, чем просто даровитый «Тарас Григорьич». Если пересмотреть современные таланты в области науки, искусства, техники, печати, сцены, свободных профессий, то попадаются, конечно, и малороссийские имена, но значительно в меньшем количестве, нежели великороссы. Это совершенно естественно и говорится не для хвастовства (великороссов ведь вдвое больше, чем малороссов), а для того лишь, чтобы оправдать наиболее выгодную для всех великорусскую культуру как единую национальную. Она во многом уступает более древним европейским культурам, но в черте своей Империи не уступает никакой. Если сколько-нибудь допустимо говорить о русской цивилизации, то она в лице своих великих людей все же более великорусская цивилизация, нежели какая иная. Следует оговориться, что эта цивилизация не замкнутая: она обильно питается всем — отечественным и всесветным, что ей посылает Бог, и в том числе дает самое широкое гостеприимство малорусским, белорусским и... к сожалению, даже еврейским талантам. Но ведь так поступает всякая великая цивилизация. Англичане, например, натаскали в век Возрождения три четверти греческих корней в свой язык, а мы теперь обворовываем англичан, французов, немцев. Надо раз навсегда признать, что этого рода воровство — святое воровство. Всякий народ имеет не только право, но и *долг* брать у соседей все лучшее, что бы там ни появилось в области ума и вкуса. Несомненно, мы обворовываем и ненавистников наших — малороссов, заимствуя у них все прелестное, что создает их природа и народный гений. Ясно, что в завершении такого процесса должна получиться не теперешняя русская культура, а какая-то другая, более роскошная, где все провинциальные стихии найдут нечто свое, родное. Мазепинцы не способны к усвоению великодержавной культуры, и это жаль. На гопаке да галушках далеко не уедете, господа предатели, как ваш Мазепа далеко не уехал, отстаивая и по тому времени уже слишком зачаточный идеал подъяремной Украины.

Чуть же вы поднимете претензии ваши над уровнем галушек и гопака, они оказываются довольно жалкими. Все своеобразное, из чего бы могла развиться большая культура, в Малороссии уже исчезло, какие бы таланты среди вас ни явились, они вынуждены идти если не в Великороссию, то в Австрию и выражать себя если не на «кацапском» языке, то на немецком.

Наряду с государственной борьбой против мазепинской измены мы, великороссы, обязаны оглядеть свое культурное вооружение, обязаны выдвинуть к верхам власти, науки, искусства и труда народного новые ряды талантов. Раз завязалась культурная борьба — а она завязалась! — ответим на камни дикарей новыми внушениями ума и знания, новым могуществом сильной расы. Россию строили не одни лишь великие полководцы-великороссы, но и великие писатели, великие художники, великие артисты и ученые. В нашем имени «великороссы» есть указание, в чем секрет нашей силы — в сравнительном *величии*.

ТРУДОВОЕ ОДИЧАНИЕ

10 июня

Нынешний министр народного просвещения не лишен кое-каких человеческих и, может быть, даже профессиональных слабостей, но он оказал, как думают, серьезные услуги государству, замирив студенческие беспорядки. Поверив пословице, что рыба с головы воняет, Л. А. Кассо[1] начал с головы студенчества, с профессуры, и студенческие беспорядки на поверку оказались профессорскими. Не вдаваясь в разбор того, названному ли министру или общему отливу революции мы обязаны сравнительным успокоением школы, я позволю себе коснуться главной задачи народного просвещения. Правильно ли она поставлена у нас и можно ли быть уверенным, что народ просвещается, а не дичает?

В сороковых годах, когда шел знаменитый спор между западниками и славянофилами, один из последних высказал гениальную мысль, которая, как метеор, прочертила свой блистательный след в сознании довольно темного общества и погасла. «Вы стремитесь, — заявил Хомяков западникам, — просвещать русский народ, но не видите, что он *уже просвещен*. В христианском православии своем, в смиренной кротости духа, в незлобии, снисхождении, терпении и

вере народ русский несет в сердце своем истинный свет Христов, и в сравнении с ним всякое иное книжное просвещение жалко и ничтожно». Такова мысль, которую передаю своими словами за неимением под рукой источников. Мысль старого славянофила очень глубокая и плодотворная. Прежде чем говорить о просвещении, непременно следует выяснить, что вы разумеете под просвещением — знание ли кое-каких отрывков из классических писателей, усвоение ли ходячих теорий, преимущественно политических, поверхностные ли сведения энциклопедического характера или нечто совсем другое. Древняя цивилизация, создавшая христианство, остановилась на том, что просвещает человека лишь истинная религия, связь души с Богом и человеческими душами. Если правильно установить эту связь, то исчезнут всякая неясность, всякая нечистота и мрак и дух человеческий получит особое внутреннее озарение. Вот то народное *просвещение*, которое нельзя не считать наиболее облагороженной из форм человеческой образованности. Великой школой этой образованности следует считать Церковь. Если в течение веков эта школа постепенно утратила свое влияние, это не значит, что нравственное просвещение перестало быть просвещением. Если бы мы разучились математике или музыке, это не значило бы, что математика и музыка перестали быть самими собой.

Но кроме религиозно-нравственного просвещения есть и другие виды образованности, которых совершенно не дает наша школа. Она не дает, например, ни эстетического, ни трудового развития. Кончая школу, ученик выходит из нее глубоким варваром во всем, что касается умения жить нравственно, красиво и производительно. Специальных школ у нас поразительно мало, что же касается «общего» образования, то оно на верхах и в низах приготовляет белоручек, не умеющих заработать и фунта хлеба. Сто лет тому назад народ наш в большинстве был безграмотен, но он сравнительно с теперешним действительно был просвещен, и не только в религиозном отношении, но и в трудовом. Как ни оценивать низко крестьянское православие, все же это было не пустое место, а некая умственная система, некая философия, разрешавшая, худо ли, хорошо ли, основные вопросы бытия человеческого в прошлом, настоящем и будущем. Вера есть *объяснение*, и в качестве объяснения — некое *познание*, удовлетворявшее душу в самом тревожном и основном. Нынче школьно-просвещенный крестьянин, то есть грамотный и «опиджаченный» до культурного облика, на самом деле не имеет именно первоначальной основы культуры — религиозного культа. Утратив веру или уронив ее до поверья, нигилизированный мужичок достаточно грамотен. Он в состоянии написать на заборе или вырезать на

скамье неприличное слово, он в состоянии прочесть уличный листок (при обысках у хулиганов находят этого рода прессу), но разве можно сравнить его с веровавшим предком периода Святой Руси, тех столетий подвижников и святых, когда мысль народная философствовала и мечтала? Можно ли сравнить нынешние «частушки» с древними песнями или похабные фабричные рассказы — с былинами о богатырях? Так же точно нельзя сравнивать умственное, религиозное и нравственное просвещение нынешнего грамотного парня с таковыми же его прадедов.

Коснувшись лишь мимоходом необыкновенно важного религиозного, эстетического и нравственного одичания, я хочу остановиться несколько подробнее на *трудовом* одичании, к сожалению, все чаще замечаемом среди народа. Если просвещение есть сумма знаний, то поразительно, как мало современный молодой крестьянин знает в сравнении со своими предками. Старинный мужик, крепостной или вольный, вырастал в таких условиях, что умел обслуживать себя и свою семью в самых разнообразных отношениях. Чуть не с трехлетнего возраста он пас гусей, свиней, коров, ездил с лошадьми в ночное, умел отбиться от волка, построить шалаш, развести огонь, испечь картофель, сварить кашу. Чуть постарше парнишка ездил с отцом в лес, на сенокос, на пашню. Он уже сгребал и ворошил сено, боронил, подавал снопы. Еще постарше он ходил с сохой, рубил дрова, шел в обозе. Совершенно немыслимо было прежде, чтобы крестьянин не мог срубить себе избы, сложить печи, сколотить стола. Заброшенным вдаль от города крестьянам, помещичьим и государственным, приходилось *все делать самим* — и кормить себя, и обувать, и одевать, и обшивать. Изба была одновременно маленькой фабрикой, где стоял и ткацкий станок, и прялка, и верстак, и всякий член семьи — до слепого деда, плетшего лапти, — что-нибудь мастерил.

У нас не оценивают глубоко просветительского значения ручного, черного труда, а между тем оно громадно. Работая физически, вы ежеминутно имеете дело с *материалом*, то есть с материей природы и со всеми силами, заложенными в материю, со всеми ее законами, не перестающими действовать ни на одно мгновение. Не сводя глаз с материала и со своих инструментов, ощупывая собственными руками и взвешивая все изменения собственным мозгом, крестьянин проходил серьезнейшую школу природоведения. О свойствах материи и природы вообще он имел более живое представление, чем иной профессор, знакомящийся с материей из книжных формул. Я не говорю, что это просвещение было законченным, но что оно в зачаточности своей было непоколебимо твердо постав-

лено — это для меня бесспорно. Крестьяне обладали не только бездной практических сведений, но по некоторым мастерствам им известны были кое-какие и теоретические научные познания, добытые на ощупь. Я помню в детстве: по дороге на каникулы в одной деревне я был поражен, как один бочар определил радиус круга стороной вписанного в него шестиугольника. Он не знал ни слова «радиус», ни теории шестиугольника, но равенство названных линий ему было известно. Знаменитый профессор А. Н. Энгельгардт, автор классических «Писем из деревни», называл мужика профессором земледелия — до такой степени изумителен был для него, ученого человека, объем мелких, но важных знаний, которыми обладали безграмотные смоленские мужики. Не было в старину ни министерских, ни земских, ни церковных школ, но была великая школа тысячелетнего труда, практических научений, опытных сведений, приобретаемых от колыбели до гробовой доски. Как печать на воске, эти навыки и наблюдения врезывались отчетливо в мозговую ткань и преобразовывали ее совершенно так же, как и работа ученого, но с более органической глубиной. Практические знания, подобно благородным черенкам, врезывались, так сказать, в дичок души, первобытно свежей, и срастались с ней до неотделимости, чего нельзя сказать о студенческих курсах, «накаливаемых» к экзаменам и поразительно быстро выпадающих из головы. Что непрерывный *труд* старинного крестьянина был одновременно и *школой*, что он действительно *просвещал* крестьянина и непрерывной гимнастикой ума *развивал* его, доказывает общий умственный уровень русского народа, достигнутый к середине прошлого века. И русские, и иностранные наблюдатели той эпохи расхваливают смышленость простого русского крестьянина, его здравый смысл, его умение найтись в трудных положениях, удивительную способность усвоить всякую науку и всякое искусство, лишь бы ему их показали. Это доказывает, что и вне грамотности, одной школой жизни и разнообразного труда народ наш просвещен был до уровня общеевропейской интеллигентности. Попадались и среди народа олухи, но в среднем мужик был настолько умен и развит, что едва ли много отличался от дворянства, пока последнее не выкрестили в чужую культуру, чужой язык (французский) и чужие предрассудки.

Просвещение народное когда-то *было*; но вот вопрос: есть ли оно теперь? В мере труда народного трудовое просвещение держится и теперь, но крайнее расстройство труда внесло погром и в названное просвещение. Теперь не только помещики, но и сам народ начинает жаловаться, что деревенская *молодежь ничего не знает*. Ни топором, ни сохой, ни косой, ни граблями, ни на верстаке, ни в поле, ни на

крыше, ни в огороде. Парень дюжий, а что в нем толку, если он ничего не умеет. На вопрос, что же он знает, нанимающемуся рабочему приходится отвечать, что он знает... грамоту. А нанимателю нужно потолки выбелить, стены оштукатурить, плиту поправить, хлеба вымолотить — все вещи, для которых грамота ни к чему.

«Ступай, — уныло говорит наниматель, — я сам, братец, грамотный, да вот беда: не умею навоз вывезти». Нет ни малейшего сомнения, что с расстройством древнего непрерывного и разнообразного труда народного понизилось и трудовое просвещение, и та умственная сила, что созревала в связи с ним. Обленившись и отстав от правильного и постоянного труда, крестьянин быстро теряет признаки культурного человека и опускается в варварство. Ахают и охают, наблюдая широчайший рост деревенского и городского хулиганства. Но ведь это только название новое, а явление древнее. Прежде таких людей, выпавших из трудовой культуры, называли варварами и дикарями.

Вот основной упрек, какой я лично сделал бы Л. А. Кассо как министру народного просвещения. Он придерживается слишком рутинной формы просвещения — книжной и схоластической. Вместе со всей нетрудовой интеллигенцией новый министр (впрочем, уже не особенно новый в своей должности) Л. А. Кассо, по-видимому, считает, что народное просвещение есть усвоение грамматики, немножко Закона Божия, немножко арифметики, географии, истории. Нельзя отрицать известной полезности всего этого (при наличии хороших учебников и хороших учителей), но нельзя же не видеть и бесполезности всего этого, если только *этим* ограничиться. Нельзя не видеть, что общечеловеческое просвещение имеет и другие органические задачи — духовно-нравственную и трудовую. Допустим, что религиозная сторона просвещения принадлежит не школе, а Церкви; но если Церковь не спешит или не может выполнить своих просветительских обязанностей, то может ли министр народного просвещения оставаться спокойным? И если народная молодежь выходит из школ ничего не знающей, кроме грамматики, если она выходит не приспособленной к честному труду, то может ли министр просвещения умыть руки? Мне кажется, в обоих случаях пора что-то предпринимать, вводить серьезные поправки в школу, а не оставаться равнодушным зрителем. Возможно, что подъем просвещения не сразу наладился бы, но если пугаться трудностей и ничего не делать, то он не наладится никогда. Мне кажется, над школой, как над колыбелью духа народного, необходимо бодрствовать с трагическим вниманием и не жалеть усилий, чтобы отстоять ее задачи.

Если бы мне довелось устраивать крестьянскую нормальную школу, я ввел бы два нововведения. Совершенно бесполезное, как оно поставлено ныне, «преподавание» Закона Божия я заменил бы ежедневным и непрерывным чтением в школе Евангелия и заучиванием наизусть слов Христа и апостолов. <...> Внедрить великое учение христианское *в его первоисточнике* в ум и чувство детей — это было бы долгом христианской государственности перед народом. <...>

Второе нововведение, необходимое для крестьянской школы, — это то, чтоб она хоть немного приучала детей к труду. Нужно не забывать, что кроме школьных лет крестьянину остается вся долгая его жизнь для чтения хрестоматий, историй и географий, и если он от природы любознателен, то непременно пополнит общее образование. Иначе зачем же и грамотность? Заведите народные библиотеки с интересным подбором образовательных книг. Издавайте интересные журналы для способной к самообразованию молодежи. Но не тратьте слишком много драгоценного времени в школах для того, чтобы выпускать мальчишку или девчонку непременно с интеллигентским развитием. Гораздо важнее, гораздо нужнее и, в конце концов, даже просветительнее, если школьник научится в школе какому-нибудь ремеслу или хотя бы зачаткам его. По провинции стон стоит от недостатка плотников, столяров, маляров, кузнецов, слесарей, кровельщиков, швецов, бондарей, гончаров, сапожников и вообще всякой мастеровщины. Нет умелых работников, способных вспахать поле, скосить луг и т. п. За деревенскими нуждами крестьянам приходится ездить в города и там разыскивать умелых людей. Подковать лошадь — и то нужно ехать десятки верст. На что же это похоже?

Несомненно, главным народным промыслом еще надолго и, может быть, навсегда останется земледелие. С завершением великой реформы землеустройства Россия должна превратиться в несколько десятков миллионов хуторов, возможных лишь при культурном землепользовании. Необходимо, чтобы молодежь народная, входящая в жизнь через школу, еще в школе усваивала уважение к высокой культуре земледелия и хотя бы начальное знакомство с ее методами. Всероссийский съезд народных учителей в Петербурге этой зимой показал, чем живет современный народный учитель. Он такой же теоретик, как и вся наша разносословная интеллигенция, такой же беспочвенный мечтатель, и непременно почему-то политический. Очевидно, министерство народного просвещения не овладело этим огромным и важным сословием, не втянуло его в профессиональное настроение сообразно с интересами государства. Немножко грамотности учителя наши еще в состоянии дать народу, но остановить духовно-нравственное и трудовое одичание народа они не могут.

КАК РАБОТАТЬ

17 июля

В словах Государя Императора, обращенных к произведенным из юнкеров офицерам, высказан ряд заветов, какими всякий отец мог бы благословить детей своих, отпуская на служение Отечеству и Престолу. В лице молодого поколения офицеров те же заветы могла бы выслушать с глубоким вниманием и вся русская молодежь.

В числе вечных и великих истин, высказанных в напутствии офицерам, есть одна сравнительно скромная, но значение которой громадно, — это необходимость трудиться «изо всех сил». В нашей беспорядочно трудящейся и, сказать правду, ленивой стране, в стране Тентетниковых и Обломовых, напоминание с высоты Престола о необходимости трудиться, трудиться даже офицерам, трудиться *изо всех сил* имеет особый смысл, более глубокий, чем на Западе. Может быть, излишне было бы ставить героический лозунг труда у англичан, у немцев, у французов, которых более высокая культура и более напряженная борьба за жизнь научили работать методически, не теряя даром ни сил, ни времени. Кроме отбросов общества или чересчур изнеженных богачей и аристократов западное человечество уже работает изо всех сил, что и дает ему первенство на земле. Работают вдвое и втрое производительнее наших рабочих простые тамошние рабочие, работают не покладая рук зажиточные буржуа, работают капиталисты и государственные люди, и даже такой престарелый монарх, как Франц Иосиф, на девятом десятке лет еще дает изумительный пример строгого использования времени и *всех* своих сил на ежедневной государственной работе. Железной работоспособностью отличается и император Вильгельм II, и многие другие монархи.

Это явление, мне кажется, новое в истории или, точнее сказать, недавно обновленное. Еще на памяти наших отцов и дедов труд вообще считался уделом рабского и, как говорили тогда, «подлого» состояния. Благородное сословие считалось свободным от всякой принудительной работы, даже от обязательного служения государству. Слишком широко обеспеченное даровым трудом народным, дворянство по плачевной ошибке Петра III освобождено было от древней обязанности служить, и это внесло в сознание общества гибельный предрассудок о благородстве праздности. Менее ста лет отделяют нас от эпохи Онегина, Чацкого, Печорина, Рудина и Райского, между тем тогда с величайшей искренностью считалось,

что ничего не делать для дворянина — естественно и отнюдь не зазорно. Присвоив себе благородство далеких предков и забыв о том, что это благородство когда-то было заработано, а не далось даром, наши дворяне своим призванием считают растрачивать труд народный. Они путешествовали за границей, мечтали, ухаживали за женщинами, а если поступали на государственную службу, то обращали ее в средство тщеславия, причем работа часто заменялась канцелярской декорацией и производительность ее сводилась к нулю. «Числиться», быть «причисленным», «являться» на службу и не служить — это считалось правилом. На рабочие и добросовестные характеры смотрели косо: чуть человек оказывался поэнергичнее, его обвиняли в том, что он выслуживается.

Особенно поражено было предрассудком праздности офицерство. Конечно, они воевали храбро, они вели солдат к победе и, когда нужно было, гибли с честью, но в мирное время они плохо занимались с солдатами, сбросив всю деловую часть на фельдфебелей или субалтернов, выслужившихся из нижних чинов. Только люди с военной страстью — а таких было немного — увлекались экзерцициями, муштровкой и т. п. Служба остальных напоминала сплошной досуг, а досуг тратился на товарищеские кутежи, картежную игру, ухаживание за дамами, то есть на те же занятия, которые наполняли жизнь и поместного дворянства.

Не чем иным, как именно этою причиною можно объяснить сравнительную отсталость России от западных стран. Обленившееся после великих войн офицерство наше позволило лучшей армии в свете, армии Суворова и Румянцева, заметно опуститься, одичать, потерять свою высокую боевую культуру. Обленившееся военное барство выдвинуло плохих полководцев в Крымскую войну, а результаты министерской лени сказались в страшных недочетах вооружения, снабжения, путей сообщения, артиллерии, флота и крепостей. Непобедимая со времен Петра Великого военная наша мощь дрогнула впервые. Милютинскую реформу я считаю дальнейшим приложением к армии дворянской лени. Вместо того чтобы заставить армию, начиная с офицеров, *трудиться изо всех сил*, как было при Суворове, либеральные генералы с Милютиным во главе начали наводить книжную ученость, стали заботиться о том, чтобы офицеры непременно были интеллигентами, «развитыми», «сознательными» личностями, чтобы они, Боже сохрани, не уступали студентам в литературной начитанности и т. п. Все это было одною из метаморфоз барской лени и барской спеси. Хорошо «образованные» в военных «гимназиях» г-да офицеры начали презирать свое героическое призвание и бежать со службы. Из любопытных запи-

сок г-на Фирсова в последних книжках «Исторического вестника» вы увидите, что еще до Крымской войны, в суровую эпоху Императора Николая I, кадетские корпуса и военные училища распропагандировались такими революционерами того времени, как Благосветлов, друг и учитель Писарева. Именно из тогдашней военной среды и школы вышли отцы нашего анархизма — Бакунин, Лавров и Кропоткин. Анархизм этот, подобно милютинскому либерализму, был тоже перерождением барской праздности. Я глубоко уверен, хорошо зная покойного Л. Н. Толстого, что, родись он не графом, а бедняком, принужденным с детства работать, совсем иного склада вышла бы его великая душа и до многих забавных несообразностей она не дофантазировалась бы.

Гибельный предрассудок, будто труд подл, а праздность благородна, остановил прогресс нашего труда народного на целое пятидесятилетие, если не больше. Подобно тому как офицерство сбросило свое инструкторское дело в армии на фельдфебелей, так помещики сбросили свое и народное хозяйство на приказчиков и бурмистров. От земледелия и скотоводства, от всяких производительных промыслов брезгливо отвернулось хоть и напудренное, но все же более талантливое и образованное сословие. Себе оно предоставило удовольствия и развлечения, а полудикому простонародью — труд. Мудрено ли, что труд одичал, понизился и в качестве, и в количестве, даже в сравнении с Елизаветинской эпохой, какою она рисуется у Болотова. Мудрено ли, что дворянская жизнь в деревне потеряла свое серьезное содержание, а вместе с ним и всякий интерес. Отвыкшие от труда, обленившиеся дворяне, как это было и во Франции при последних Людовиках, потянулись целыми полчищами из деревни и рассеялись кто куда — по городам и заграничным эмпиреям. Дворянская праздность лишила Россию в прошлом столетии образованного сословия. Народ наш, потерявший культурное руководство, естественно, не мог ни догнать народы Запада, ни идти с ними нога в ногу. Только в самые последние десятилетия, благодаря нарастанию образованной демократии и работе земства, народ наш приступает к азбуке культурной промышленности и хозяйства.

Суеверие праздности как прерогативы благородства нельзя назвать у нас национальным. Мне кажется, оно занесено к нам с Запада, от древнекультурных и ранее нас изнеженных стран. Столетием или двумя раньше нашего дворянского абсентеизма французские феодалы начали покидать свою деревенскую службу королю и народу и выселяться в Париж. Что бы ни говорили о средневековом феодальном гнете, он имел огромное воспитательное и дисципли-

нирующее значение. Старинные бароны недешево обходились закрепощенному простонародью, но последнее имело в лице господ ближайшую защиту от всех бед и весьма полезное культурное руководство. Бароны поддерживали порядок, творили суд и расправу, отстаивали законность в населении, снабжали его в случае нужды или даровою помощью, или кредитом. Баронское хозяйство служило образцом для вассалов. Баронские замки, как наши помещичьи усадьбы, были опорными пунктами и военной обороны, и мирной культуры. Но когда деревенская знать, соблазненная блеском королевского двора, потянулась в Париж и в своей изнеженности дошла до полного бездействия, час тысячелетней монархии Капетингов пробил. Стихия народная стала органически вытеснять из себя праздный, как бы омертвевший класс. Развилась удивительная, малопонятная ненависть к аристократии, ближайшие предки которой, по свидетельству Тэна, пользовались сердечною любовью крестьянства и его уважением. Изнеженность дворянства тотчас заставила почувствовать ненужность его, ненужность повела к отчужденности, а отчужденность — к ненависти. Средневековые феодалы, не выезжавшие из поместий и неотступно следившие за населением, никогда не вызывали к себе и тени той вражды, какая сложилась в революционной эпохе. Действовавших своих начальников в лице дворян народ любил и уважал, бездействовавших начал презирать. Великая революция родилась не из головы Руссо, а из инстинктов расы, почувствовавшей, что важный и необходимый орган народный — культурное сословие — атрофировался от праздности.

Взамен переставшего трудиться духовенства и дворянства народ выдвинул новый работающий культурный слой — «третье сословие». А когда «третье сословие» в изнеженности пошло по стопам старой знати, народ стал мечтать о просвещении, которое дало бы ему возможность не нуждаться в высшем сословии как носителе культуры. Отсюда новое политическое миросозерцание, из трех основ которого — свободы, равенства и братства — явилась модная теперь идея социализма и кооперации. Хотя в эту идею вложен капитал главным образом философской рассудительности, но нельзя не видеть и религиозной природы нового лозунга. Этот лозунг раздробился на ереси и секты, в которых затерялся первоначальный идеализм нового учения до такой степени, что нелегко иногда усвоить, чем же, собственно, держится обаяние анархических систем в широких рабочих слоях. Христианство, основанное на вере в чудеса, тоже не выдерживало когда-то критики, ни психологической, ни философской. Языческие философы доказывали, что христианство возможно лишь при условии, если не исполнять учения Хрис-

та. Попробуйте, говорили они, не противиться врагам, раздать свое имение нищим — и вся человеческая цивилизация распадется в прах. Но христианство — с верой в искупление и бессмертие — пленительно идеалом, отодвигаемым в загробную жизнь. Идеал же социализма — в теперешней жизни, устроенной на началах принудительного труда и общей собственности. В скрытом виде это то же крепостное право, только без господ. Здесь нет ничего чудесного, никаких иллюзий и очарований, есть лишь ясно выраженная мания равенства с отвращением к свободе и братству. Равенство труда и равенство достатка. Зависть и жадность не позволят выделиться никакому человеческому величию и сделают ненужным героизм.

Если социалистическая мечта справедливо внушает сомнения, если живой и талантливой части человечества не улыбается участь хорошо содержимого скотного двора или муравейника, то, мне кажется, единственное средство разбить новую религию, охватывающую массы, — это возродить старую религию, пришедшую в упадок. Старая религия в земной ее части опиралась на первозданный закон труда и на его свободу. Обленившиеся классы теперь ничего не могут возразить апостолам социализма, ибо праздное бездельничество есть грех со всякой точки зрения, и языческой, и христианской. Другое дело, если бы аристократия вернулась к древнему своему принципу, трудовому. Ведь основатели знатных родов были всегда великие труженики, помимо их таланта. Чтобы быть выбранным в вожди хотя бы разбойничьей шайки, нельзя было быть лентяем и рохлей, нужно было оказать исключительные заслуги, то есть проявить исключительно высокий труд — и по количеству, и по качеству. Древнее дворянство зарабатывалось подвигом, то есть одолением каких-нибудь чрезмерных препятствий, а для этого нужна была незаурядная затрата сил, и физических, и моральных. Родоначальниками аристократии были не худшие и не средние, а действительно выдающиеся люди, работавшие лучше других. Если бы изнеженное потомство вернулось к этому источнику благородства, если бы оно научилось работать *изо всех сил*, то оно могло бы смело смотреть в глаза пророкам социализма. Оно могло бы сказать этим пророкам: не мы лентяи, а вы. Не мы тянем в обеспеченную праздность, а вы. Не нас пленяет полупаразитное существование, а вас. Научитесь работать не как все, а как лучшие работники, и вы увидите, что повышенный индивидуальный труд гораздо лучше пониженного стадного труда. Вы прячетесь за общую спину, вы пугаетесь свободного соревнования, вы хотели бы на всех надеть одинаковое рабочее ярмо, но нам, аристократам труда, такое ярмо не кажется ни красивым, ни удобным, ни достойным человека. Вы,

социалисты, отстаиваете исчезновение личности в массовой бездушной работе, мы же отстаиваем свободу гения и развитие всякой личности до доступного ей совершенства. Работайте *изо всех сил* и вы увидите, что только этим путем природа в состоянии раскрыть все свои возможности. Работать без соперничества, без одушевления, в общей запряжке с толпой людей — это значит ослаблять человеческую энергию, а не поднимать ее.

Великое в простоте своей правило работы «изо всех сил» облагородило бы любое сословие, ему преданное, оно облагородило бы и простонародье, которое в последние десятилетия начинает утрачивать религиозные основы жизни. Безобразные беспорядки последних дней в Петербурге показывают, до чего среди рабочих извращено понятие о труде. Чтобы выразить протест против бакинских событий, сотни тысяч петербуржцев, зарабатывающих честный кусок хлеба, вдруг перестают его зарабатывать. Сотни тысяч граждан, уважаемых, пока они честно трудятся, вдруг становятся в положение праздных бездельников и думают, что уважение к ним от этого повысится. Прекратив производство всех нужных предметов, полагают, что этим они внесли какой-то вклад в общественное благополучие. Забастовки длятся иногда месяцами, но уже пять дней безделья ста тысяч рабочих вынудили из их собственных карманов капиталов свыше полумиллиона рублей да столько же из кармана капиталистов. Общество, беднеющее трудом, сразу же обогащается бездельем и всеми продуктами праздности — скукою, пустословием, ссорами, пьянством и т. д. Продуктов труда делается все меньше, и они становятся все дороже. Усиливаются общая нужда и нищета. Петербургская забастовка, дошедшая до баррикад и кровавых стычек, окончена, но понаблюдайте, что делается на улицах столицы. Кучками по трое, по четверо бродят оборванные голодные малые с озлобленными лицами. В глазах их светятся забота и отчаяние, а рты изрыгают проклятия на весь свет, а в особенности на тех пророков социализма, которые сорвали их с трудового пути...

И для них пригодится родительский совет власти: каков бы ни был честный труд, раз вы имеете его, дорожите им и работайте изо всех сил. Всем от этого лучше будет, и вам первым.

1915 год

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ

1 января

Первая мысль в новом году, первый порыв сердца — да здравствует наша великая армия, завоевывающая народу жизнь и честь! Да ниспошлет Господь благословение на мученический подвиг наших сыновей и братьев! На долю их выпало перевернуть еще одну тяжкую страницу истории и вписать на ней новые бессмертные слова. Новые и вечно старые, пока народ растет под солнцем. И в 1914 году — уж не знаю, каком от сотворения мира, — народ русский боролся и побеждал. Страшную борьбу эту он перенес и на следующий год с надеждой победить. Мало сказать: с надеждой — с глубочайшей уверенностью победить, если, конечно, нас не оставит милость Божия и не случится чего-нибудь нежданного-негаданного, вроде татарского обвала семьсот лет назад. Но теперь таких слишком крупных неожиданностей ждать уже трудно. Человечество довольно плотно связано паром и электричеством, все основные процессы в нем наперечет известны, все действующие силы учтены, и, собственно, ничего трагического врасплох произойти не может.

Последняя, чисто разбойничья попытка использовать неожиданное, схватив соседей за горло, обнаруживает довольно жалкий неуспех. Конечно, ни одна из держав, обороняющихся от тевтонов, венгров и турок, не может сказать, что она вполне подготовилась к наглому нападению, но курьезно, что и сама нападающая сторона к нему оказалась не совсем готовой. Разве немцы думали, что война затянется на полгода и долее? Разве они воображали, что война потребует сверхсильного от них напряжения и столь непомерных вообще жертв? Истощение снарядов и необходимость вытаскивать из арсеналов старый чугунный хлам не говорит ли о неожиданности, наказавшей самих немцев? И если приходится отбирать у обывателей дверные ручки из меди, задвижки и т. п., то не свидетельствует ли это о жестоком промахе зачинщиков теперешней войны?

Менее роковые недочеты допустимы во всех армиях, однако

нельзя же не видеть, что недочеты эти — исключение; правило же таково, что гигантские армии движутся и сражаются с поразительною для таких человеческих масс обдуманностью. В общем, практика войны не посрамила ее теории, что касается мобилизации, сосредоточения, развертывания «вооруженных народов», их снабжения и управления, их связи и основных стратегических начал.

Кое-что новое выяснилось со стороны артиллерии, авиации, броневых автомобилей и т. п., но войска всех народов необычайно быстро привыкают к условиям нового оружия и легко приспособляются к новому бою. Согласно гегелевской кривой прогресса, война в своих новшествах начинает возвращаться как будто к древним приемам — к осаде защищенных позиций, к броневой обороне, к штыковому бою и т. п. Сражение иногда оканчивается теперь, как в глубокой древности, faute de combattants, за истощением бойцов и оружия. При всей новизне средств и способов борьбы остается вечно незыблемым основной двигатель войны — военное одушевление, *желание* воевать, героический почин. При наличии этого условия победа является вопросом времени.

Побывавшие на передовых позициях говорят, что похожая на ад кромешный война идет правильно, все равно как летняя страда. При всех случайностях летней погоды, при зной и грозах, при крайней необходимости спешить необъятная вначале задача постепенно суживается, день за днем отрабатывается определенное количество работы, и, глядишь, в должный срок поля убраны. То же и на войне. Великая косьба и жатва жизней идут, и в конце концов одна воюющая сторона должна будет признать себя разбитой. Если вдали от полей битв, в вечно философствующем столичном обществе могут являться сомнения и колебания, то все возвращающиеся с передовых окопов в один голос утверждают, что дух нашей благородной армии превосходен и уверенность ее в победе — полная. Встретим же новый год горячим приветом армии, в которую переселилась как бы вся душа нации, вся ее исполинская сила.

Может быть, впервые за долгие годы отрезвленный и тем облагороженный народ с наступлением нового года чувствует действительное обновление — и в своей крови, и в своей судьбе. Не иначе как предчувствием великого будущего объясняется этот чудесный подъем духа и неукротимое стремление сломить врага. Для России начинается как бы новая молодость народная, новый героический период истории, новый век побед и одолений. Не стыдно было бы, конечно, мечтать и о военных победах, которые в нашей истории правило, а не исключение, но при всей отваге смиренный народ русский, народ-богоносец, мне кажется, искренно не мечтает о

завоеваниях, довольствуясь, как океан, лишь желанием определить свои берега. Взять лишь свое или ничье и не трогать чужого — вот наш народный идеал, и только крайняя необходимость самозащиты заставляла нас нападать, только явное тяготение к нам соседних территорий побуждало присоединить их. Как было не присоединять Петру Великому устьев Невы, бывших издревле русскими и оставав-шихся русскими даже под шведским владычеством? Как было Екатерине не присоединить Западной Руси, Белой и Малой? Как теперь не присоединить Червонной Руси? Разве все это «завоевание»? Это лишь возвращение своего. Можно ли было не присоединить Южной России, если еще до основания Русского государства Черное море называлось Русским морем? Можно ли было не присоединить грузинских царств, в течение столетий взывавших о защите и подчинении их нам, совершенно как теперь взывают о том же Армения и изнуренные анархией ближайшие персидские провинции?

Необыкновенно легкое завоевание Заволжья, Приуралья, Сибири и Средней Азии разве не объясняется тем, что погибавшие от разбойной смуты варварские племена этих пустынь сами стремились пожить под какой ни на есть государственностью, хотя бы и чуждой им, но обеспечивающей жизнь, имущество и право. Еще при Алексее Михайловиче монгольский царь Алтын-хан присягал Русскому царству от всей необъятной Монголии, и до чего Россия была равнодушна к захватам, доказывает то, что у нас даже позабыли об этом присоединении, запамятовали в буквальном смысле этого слова, причем уже проведенная граница с Китаем в Урянхайском крае затерялась, затерялись и едва были отысканы в копиях самые документы о присоединении царя Алтына. Не жаждой завоеваний, а стихийной необходимостью остановиться наконец на определенном рубеже вызвано было наше движение до Тихого океана. Когда это движение в лице отважных казаков перекинулось в Новый Свет, то обнаружилось просто болезненное нежелание России расширяться. Оно разрешилось отдачей Соединенным Штатам колоссальных богатств Аляски за медный грош. А ведь при малейшей настойчивости своего правительства Россия могла бы в свое время захватить всю Канаду и весь западный берег Америки просто как res nullius (ничью вещь. — *Ред.*). Испания нам даже предлагала Калифорнию с ее неисчислимыми богатствами, и мы отказались, как отказались от приобретения Сандвичевых островов, просивших протектората Кореи и Тибета. Отказались даже от тех архипелагов, которые были открыты нашими моряками. Даже в самой Европе издревле открытый нашими поморами Шпицберген мы почему-то бросили, «забыли» о нем. Уже завоеванный русской кровью роскош-

ный персидский берег с провинциями, которые теперь для нас были бы необыкновенно важны, мы вернули назад, как вернули Австрии Тарнопольский округ, Пруссии — Восточную Пруссию и Торн и т. п. Проводя после победоносных войн границы с Швецией и Турцией, мы охотно поддавались великодушным ошибкам, благодаря которым потеряли незамерзающий Варангер-Фиорд на севере и дивный зачорохский край у Батума.

В числе искренних пожеланий на Новый год должно стоять вместе с окончанием победоносной войны то, чтобы Россия хотя бы на этот раз преодолела свое отвращение к военным приобретениям и сумела добыть жизненно необходимые для себя границы. Если вспомнить, что Карпаты еще князь Владимир считал своими, а к царьградским воротам еще Олег прибивал свой щит, то какие же это будут «завоевания»? Или можно ли назвать завоеванием «спасение погибающего» армянского народа, единственного христианского народа, томящегося в плену у магометан? Весьма возможно, что, спасая Червонную Русь, Польшу и Армению, придется не слишком церемониться с кривизной этнографической границы. И в политике, как в частном быту, принудительное отчуждение допускается высшими интересами государственного существования. Нам совершенно не нужны Дарданеллы как турецко-греческий угол земли, но они для нас безусловно необходимы как выход из нашей империи на незамерзающий океан.

Нужно ли подсказывать России, чего она еще может пожелать в наступающем году? О, как мы все это чувствуем без лишних слов! Мир на земле, конечно, не напрасно сопоставляется со славою Божией в небесах. «Благоволение в человецех» — это и цель, и средство земного счастья. Но ради этой священной цели *нужно беречь войну*, дабы закончить ее блистательно, со всею полнотою результатов. Наступающий год для России должен быть великим, даже величайшим в ее истории, но это требует продолжения богатырских жертв и усилий. Многое говорит за то, что большинство великой работы уже сделано и осталось, в сущности, лишь добить врага. Но эта часть операции должна быть сделана с хирургической тщательностью. Война, выражаясь шахматным языком, уже вступила в период Endspiel. Идет, в сущности, конец партии. В каком бы углу доски ни был сделан мат, под Берлином или под Варшавой, — это не меняет дела. Важно, чтобы неприятельская армия оказалась непоправимо разбитой, не выдерживающей дальнейшего преследования. Нашествие, *остановленное* eo ipso (в силу этого.— *Ред.*), ожидает участь быть *отброшенным*, как это уже и совершается на нашем австрийском и турецком фронтах. Первое и, так сказать, со-

борное, вселенское пожелание России — это чтобы Господь послал силы докончить великий подвиг нашему Верховному Главнокомандующему, которому отечество уже и теперь обязано глубокой и горячей благодарностью.

Не хочется даже желать чего-нибудь, кроме победы. Не хочется загадывать о будущем. «Там видно будет», а пока необходимо *это*, зато в безмерной степени. Впрочем, при условии победы даже и мирное наше будущее представляется не иначе как рядом побед. Со всякими затруднениями справимся, все одолеем, если вынесем из пламени войны то высокое одушевление, при котором все доступно. Победоносная война упрочит наше мировое положение и заставит уважать благожелательную волю России при меньших ее жертвах. Ведь и этой войны не было бы, если бы нас достаточно боялись. Нужно — и при наших средствах возможно — довести свое могущество до степени авторитета, покоряющего одним желанием: Roma locuta, causa finita. (Рим высказался, дело закончено. — *Ред.*) Укрощение тевтонов и османов, равносильное разгрому двух разбойных гнезд, угнетавших преимущественно славянство, позволит сократить вооружения, а это сразу вольет в труд народный тот капитал, который так необходим для молодой культуры. Вполне справедливо будет, если побежденные враги возместят хоть часть великих жертв, предпринятых для борьбы с ними. Это не будет грабеж чужого, а лишь возвращение своего. Успокоенная за свои границы, великая славянская держава рассчитывает, сколько от нее зависит, жить в глубоком мире со всеми народами, кроме желающих промышлять разбоем. С такими соседями мир и впредь не будет возможен, и Россия, как одна из крупнейших представительниц человечества, не откажется от долга защищать цивилизацию. В сердечном согласии с другими племенами-старейшинами в человеческой семье Россия будет осуществлять давнюю свою мечту о всеобщем мире.

Таков, мне кажется, желанный лозунг внешней политики. Что касается внутренней, то, несомненно, победоносная война внесет и в эту область жизни самое благодатное воздействие. Война пробудила душу народную, примирила распри, объединила разнородные элементы и еще раз показала народу, какое это великое благо — государственность, если она достигает своих задач. В годину тяжких бедствий хороши мы были бы, если бы у нас не было непререкаемой и священной Верховной власти или если бы она была ослаблена до тени своего значения, как мечтают наши демократы обеих партий этого имени (конституционные демократы и социал-демократы). Хороши мы были бы, если бы у нас не было хоть и далеко не совершенной, но все же *организованной* исполнительной власти.

Хороши мы были бы без многовековой армии и совсем без флота, а главное, без воспитывающей народ государственной дисциплины, заставляющей радостно идти на подвиг и восторженно — как этот юноша Боткин — умирать за родину. Сколько погибло этих милых юношей-героев, которых мы еще недавно видели детьми! И кто мог предполагать, что в наше «растленное время», когда национальная школа действительно поколеблена, поколеблена даже семья, все-таки действует какая-то сверхчувственная, мало замечаемая государственная дисциплина, которая восстановляет дух народный и внушает, как и встарь, высокое благородство?

Победоносная война создаст те моральные ценности, которые растрачиваются в мирное время слишком нерасчетливо. Она еще раз укрепит устои государственности: «Во искушеньях долгой кары, перетерпев судьбы удары, окрепнет Русь». *И уже крепнет*, и это прекрасное приобретение войдет в жизнь как неожиданный результат войны, но благодатный. Победа создаст наилучшую базу для всех внутренних преобразований — не столько для идей, в которых нет недостатка, сколько для осуществления их. Будем откровенны и сознаемся, что главный наш внутренний враг — это общественная вялость, недостаток того темперамента, который побуждает англичанина или американца от слов переходить тотчас же к делу. Мы же от прекрасных слов переходим к другим хорошим словам, к третьим, к бесчисленному их количеству, которое никак нельзя назвать прекрасным. В трясине слов, обсуждений и пререканий самые живые, неотложные вопросы пребывают десятки лет, часто погибают в ней или выходят полузадушенными. Неужели это свойство нашего национального характера? Однако в глубине своей народ более работает, нежели рассуждает, и работает иногда превосходно. Я думаю, вялость реформ, какая-то сковывающая дух робость в решениях — они значительно зависят от несчастных войн за последнее полстолетие. Военные неудачи как тень продолжаются на десятилетия мира. Поколения, воспитанные в бесславные годы, не могут быть столь же решительными, как поколения в века побед. Не будь Полтавы и Гангута, может быть, не было бы петровских реформ. Не будь блистательных суворовских и кутузовских побед, не было бы и «золотого века» нашей дворянской культуры. Не из пустого тщеславия мы «должны победить», а ради последующего величия России и расцвета гения народного на всех его путях. Поэтому и первая, и последняя наша мысль при встрече Нового года — да ниспошлет нам Господь победу. Тогда молодая победоносная Россия под овеянными славою знаменами великой армии непременно вступит на новую дорогу счастья, еще не слыханного у нас и небывалого.

НЕМЕЦКАЯ ДУША

1 января

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen... *
Фауст. Ч. I

Немцы прокричали на весь мир о бесчисленных своих совершенствах, и простодушные соседи им поверили. В числе совершенств особенно воспеваются немцами их Treue (верность), их Treueherzigkeit (прямодушие) и т. д. Но великая нынешняя война сделала настоящее вскрытие немецкой души, и там оказались такие извращения, перед которыми всему свету приходится руками развести. Один путешественник, прибывший в Яффы, рассказывает, например, что германские офицеры, состоящие на службе у турок, носят в настоящее время на левом рукаве перевязь с надписью на арабском языке: «Нет Бога, кроме Бога, и Магомет — пророк Его». Надо знать, что весь обряд принятия магометанства заключается в публичном произнесении этой формулы. Благодаря этому в Турции укореняется мнение, что все немцы приняли ислам. Конечно, турки ошибаются. Немецкие офицеры делают только вид, что приняли ислам, как в России немецкие подданные делают только вид, что признают и русское подданство. Если немцы вообще допускают двойное подданство, то есть двойную присягу, двойную верность власти, то почему не допустить двойной веры в Бога и двойной морали? Вы скажете, что это психологически невозможно. Ведь душа-то у человека одна, и она должна же знать, чтó она действительно любит и чему поклоняется. Казалось бы, так, но природа, как видно, выше логики. Что душевное раздвоение, в основе которого лежит измена, весьма свойственно натуре немцев, это показывают и их история, и их народная поэзия. У меня нет ни места, ни времени, чтобы проследить с читателями почти двухтысячелетнюю историю немцев и их поэзию, но напомню некоторые основные факты.

Первый факт: покорившись Риму, древние тевтоны не остались верными ему, как галлы или иберийцы, — они при первом же удобном случае изменили ему. Наводнившие Рим германские выходцы в стенах Вечного города явились такими же предателями,

---

* Две души живут, ах! в моей груди, одна хочет отделиться от другой... (*нем.*)

как Арминий в Тевтобургском лесу. Этот народный герой, от которого немцы ведут свою историю, втерся в доверие римлян, служил на римской службе, выслужил не только гражданство, но и дворянство (звание всадника) и затем самым гнусным образом изменил Риму. Насколько измена была в нравах германцев, показывает то, что сам Арминий погиб от измены.

Второй факт: приняв римское католичество, северные тевтоны почти через тысячу лет изменили ему. Лютеранство с его отрицанием церковной иерархии и Священного Предания есть, конечно, грубая измена древней апостольской Церкви. Признав право произвольного толкования Священного Писания и оправдание одной верой, без добрых дел, немцы разрешили себе анархию сект и ересей и навсегда уволили себя от религиозно-обязательной нравственности. Отвергнув папские индульгенции, Лютер в принципе justificatio sola fide дал общую индульгенцию всем лютеранам: зачем быть добродетельными, если крестными страданиями Христа и Его смертью человечество искуплено от всех грехов? Если прибавить к этому отрицание пяти таинств из семи, отрицание пресуществления хлеба и вина, отрицание святых, мощей, икон, обрядов и пр., то, конечно, у лютеранства ничего общего с католичеством не осталось. Но религиозная измена пошла дальше: тюбингенская школа дошла до отрицания божественности Христа, а целый ряд немецких богословов дошли до отрицания Христа даже как исторической личности. По их мнению, Христос — миф, не более. Разве не прав немецкий философ Гартман[1], доказывающий, что христианство «саморазлагается» в Германии? Он прибавляет к этому, что христианство вытесняется высшей религией — «германством» (Germanenthum).

Третий факт в истории — непрерывная измена немцами государственности. Что такое была средневековая Германия, как не постоянной изменой то одному государственному принципу, то другому? Феодализм германский был как бы двойным подданством; вассал преклонял колено и целовал ногу сюзерену, но очень часто поднимал против него оружие, и это не казалось нарушением права. Имперский принцип в Германии все время боролся с партикуляризмом, и, несмотря на немецкую «Treue», вся династическая и народная история Германии наполнена сплошной изменой. Если набирать фактов из этой области, то их хватило бы на целый том. Выборный германский император очень напоминал выборного польского короля, а немецкая феодальная анархия с «кулачным правом» очень напоминала республиканскую тиранию над народом польских панов. Если же говорить о *настоящем* отношении немцев к государственности, то не забудьте, что самая многочисленная

партия в теперешнем немецком парламенте и в стране — социалисты. Нужно ли добавлять, что социализм мало похож на «верность» государственности и общественности, а больше похож на коренную измену им? Необходимость заставляет социалистов сражаться в армии, но историки увидят, что как Наполеон, осаждаемый двунадесятью языками, повел их на Россию, так, может быть, и Вильгельм, осаждаемый социалистами, повел их на все четыре стороны света, лишь бы не оставлять в Германии. Ведь хваленая германская государственность перед этой войной действительно очутилась накануне саморазгрома.

Перейдем к германской поэзии. Что такое национальная «Илиада» германцев — «Песнь о нибелунгах», как не сплошное предательство и душегубство?

Обманом король бургундский Гунтер женится на Брунгильде, но и обманщик Зигфрид падает жертвой предательства Гагена. Задумав погубить Зигфрида Нидерландского, вассал бургундский Гаген распускает ложный слух о войне с датчанами, идет к жене Зигфрида Кримгильде проститься. Та просит оберегать Зигфрида в сражении. Зигфрид, правда, неуязвим, он когда-то выкупался в крови дракона, но лист дерева упал ему между плеч и туда можно было поразить его. Гаген просит Кримгильду нашить мужу шелковый крестик на уязвимое место, и затем, когда Зигфрид однажды наклонился к источнику, чтобы напиться, взявшийся оберегать его Гаген нанес ему смертельную рану именно в то место, которое было обозначено крестиком. Не правда ли, ловкий, чисто немецкий удар? Хотя Зигфрид воевал именно за бургундов, но Гаген, вассал бургундский, гордился убийством Зигфрида. Почему? Да просто потому, что Зигфрид, видите ли, владел золотом карликов-нибелунгов. Не ради каких-либо высоких целей, а лишь из-за золота, которое хотелось добыть бургундам, и возникла эта полная невероятных злодейств борьба. Что-то не человеческое, а прямо звериное представляет собою массовое избиение бургундов, завлеченных Кримгильдой в засаду во дворце Аттилы. Здесь вместе с кровожадной яростью намешано столько невероятной подлости, сколько, наверное, не найдется ни в одном арийском эпосе. Кримгильда и Гаген, германская женщина и германский мужчина, соперничают в предательстве, жадности и жестокости. Великолепная поэма немецких побоищ из-за чужого добра оканчивается так: Кримгильда велит отрубить голову Гунтеру (своему родному брату, заметьте) и, держа ее за волосы, приносит заключенному в тюрьме Гагену, обещая ему жизнь, если он укажет, где он спрятал клад нибелунгов на дне Рейна. Но Гагену чужое золото дороже жизни. «Никто не знает, —

говорит он, — кроме меня и Бога, где спрятано сокровище, и ты, чертовка жадная, никогда его не получишь». Кримгильда собственноручно отрубает Гагену голову, а Гильдебранд за то, что она обманула Дидриха, убивает ее на месте.

Немецкие поэты и философы старались, конечно, разукрасить елико возможно цикл песен, или «авантюр», нибелунгов. Они старались облагородить его, придать ему глубочайший смысл, а Вагнер своей стихийной «древнегерманской» музыкой навязал немецкую поэму всему свету. Но сколько ни фальсифицируйте разбойный смысл поэмы, он останется чисто разбойным. Этот смысл глубоко символичен и для нашего времени, лучше всего характеризуя подлинную душу немецкого народа, душу предательскую и жадную до чужого добра. Ведь и нынешняя война ведется все из-за того же золота нибелунгов, из-за достатка мирных земледельческих соседей, который не дает покоя немецкой алчности. Надо заметить, что, несмотря на примесь волшебства, немецкая «Илиада» сложилась уже в XII веке, когда немцы были давно христианами. Герои поэмы в промежутках между злодействами исправно ходят к обедне и т. п.

Вы скажете: мало ли что в древности было, да прошло! Нельзя же по старинным мифам, по народному варварскому эпосу судить о теперешнем немецком народном характере. Что вышло бы, если о русском народном характере мы стали бы судить по подвигам Ильи Муромца, Микулы Селяниновича, Святогора или по «Слову о полку Игореве»? Я ответил бы на это: да ничего худого для нас из этого не вышло бы. Обнаружилось бы только то, что наши богатыри, созданные народным воображением, были истинные джентльмены в сравнении с немецкими героями «Нибелунгов». Из всех русских богатырей плутоват был несколько один Алеша Попович, за что и подвергся порицанию своих товарищей. Русские богатыри проливали кровь свою не за чужое золото, неведомо где зарытое, а за свободу родной земли, за честь родной веры, за славу родного престола — буквально за то же самое, за что сражаются наши чудные бойцы и теперь на высотах армянских и карпатских гор, за Вислой и в прусских лесах и болотах. И русская древняя женщина, например Ярославна, кажется светлым ангелом в сравнении с Кримгильдой. Народный наш характер каким был в эпоху Ильи и Микулы, таким и остался. Таким точно остался и характер немцев со времен нибелунгов. Но если вам угодно свидетельство поновее, чем немецкая «Илиада», обратимся к новой германской литературе.

Немецкий сверхчеловек

Возьмем самый яркий немецкий тип, зарисованный гениальнейшей немецкой кистью. Согласитесь, что таким типом является Фауст из трагедии Гёте. Если бы Гёте сочинил своего доктора Фауста вполне самостоятельно, можно бы еще подумать, что его герой не вполне характерен для немца. Но Гёте не сочинял своей темы, а только разработал ее. Фауст, по-видимому, историческое лицо, это ученый-колдун, о котором легенды слагаются в самом начале XVI века и записаны многими писателями, включая Лютера. Некий Фауст, по-видимому, действительно учился в Краковском университете. Он заключил договор с чертом, дал ему расписку, написанную своей кровью, вел веселую, разгульную жизнь в сопровождении черта, сопутствовавшего ему в виде собаки, а затем, через двадцать четыре года кутежей и распутства, провалился в ад. Немецкие писатели разукрасили и эту фабулу всевозможным глубокомыслием, но везде у них остается одна черта: ученый немец, много лет изучавший теологию, изменил ей, продал душу дьяволу за золото, за молодость, за возможность «пожить в свое удовольствие». Следует думать, что Гёте, вложивший весь свой гений и свыше полстолетия труда в обработку своей трагедии, вернее других понял характер Фауста и вместил в него наиболее немецкой жизненности. Рассмотрите же беспристрастно эту ультрагерманскую душу — много ли в ней действительно благородства? В ней, прежде всего, нет и тени основной черты благородства — благодарности к Создателю, а вместо нее вечное всем недовольство, почти сатанинское. Вот как характеризует Фауста Мефистофель (в разговоре с Господом): «Не веселы ему все радости земные. Как сумасшедший, он рассудком слаб. Всегда куда-то вдаль стремится, всегда в желанья погружен: то с неба звезд желает он, то хочет высшим счастьем насладиться и все не может удовлетвориться».

Характеристика дьявольская, но очень верная. Что же означает собой это вечное недовольство? На простом языке это называется жадностью, ненасытной алчностью ко всему. Нынешним немцам, казалось бы, все Бог дал — и независимость, и могущество, и ученость, и глупых соседей, оседлав которых можно было ездить на них целые столетия, и возможность при скромных силах задавать тон всей подсолнечной. Так нет, хотя бы запродав душу черту, немцы потребовали мирового господства, чужих империй, чужих богатств. Казалось бы, чем же несчастен Фауст? «Я, — говорит он, — философию постиг, я стал юристом, стал врачом! Увы! С усердьем и трудом — и в богословие проник, и не умней я под конец, чем

прежде: жалкий я глупец! Магистр и доктор я — уж вот тому пошел десятый год... И вижу все ж, что не дано нам знанья». Вы думаете, в этом-то и состоит его трагедия? Вовсе нет. Его мучает сознание — чисто мещанское, — что труда убито было на науку много, а выгоды получилось мало. Учился до старости, говорит Фауст, но «зато я радостей не знаю... Я благ земных не испытал, я почестей людских не знал» (привожу эти строки в переводе Холодковского — в самом же подлиннике Фауст выражается гораздо грубее: «Auch hab' ich weder Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt»). Ученая жизнь Фаусту, уже старику, вдруг кажется «собачьей жизнью», ибо не дает богатства, денег, почета, власти. И с чисто немецкой «верностью» Фауст сразу изменяет и философии, и богословию, и юриспруденции, и медицине. Он обращается к магии и вызывает дьявола.

Читая великолепные монологи Фауста, вы, конечно, должны помнить, что автор их не заурядный немец, а «олимпиец» Гёте, которому ничего не стоило чисто свиную психологию молодящегося старичка прикрыть гирляндами самого тонкого ума и чувства. В пошлой же немецкой обыденщине такая измена всему великому в пользу чувственного циинического счастья совершается гораздо проще. «Ах, — вздыхает красиво Фауст, — *две души живут в больной груди моей*, друг другу чуждые, и жаждут разделенья». Две души, двойное подданство, двойная вера... Но какая же душа одолевает? Неизменно *низкая* — вот в чем центр немецкой трагедии. Поломавшись немного перед Мефистофелем, Фауст быстро подписывает условие и, видимо, страшно рад. «Порвалась, — говорит он, — нить мышленья, к науке я исполнен отвращенья. Пойдем потушим жар страстей в восторгах чувственных телесных». Мефистофель намекает, что Фаусту доступны не только телесные радости, но и всякие другие: «Преград вам нет тогда ни в чем». Но благородный Фауст повторяет, что он хочет «броситься в вихрь гибельных страстей», пережить любовь и ненависть, радость и горе.

Куда же прежде всего направляется пытливость преображенного Фауста? В винный погреб Ауэрбаха, в толпу гуляк. Затем начинается обольщение Маргариты и целый ряд злодейств, связанных с величайшей низостью. История гётевского Фауста слишком общеизвестна, чтобы о ней говорить, но посмотрите, как беспечен, сделав гнусное дело, обольститель: «Мне весело, береза зеленеет, позеленела даже и сосна» (см. «Вальпургиеву ночь»). Фауст, видите ли, философствует, поэтизирует, наслаждается горной природой Граца в то время, как бедная Гретхен доведена до сумасшедшего отчаяния всем, что случилось. О, конечно, когда Фауст узнает о том, что

Маргарита уже в тюрьме, он красиво горюет, он пытается даже при помощи черта спасти ее, но только «пытается». Проникнув в тюрьму, он все-таки не имеет храбрости остаться с Маргаритой. Он бежит вместе с Мефистофелем, чтобы не запутаться в грязную историю, и его провожает голос безумной, погубленной им девушки: «Генрих! Генрих!»

Вот, мне кажется, истинно немецкий герой, самый крупный из героев германской литературы. Правда, чувствуя отвратительный эгоизм своего Фауста, Гёте написал вторую часть трагедии, которая может быть названа «оправданием Фауста». Оправдание вышло очень слабое, неудобочитаемое. Попытка в конце концов надуть черта, не выполнить договор с ним очень характерна для немецкого гения. Пресытившись эгоизмом, любовью к прекрасным женщинам и красоте, Фауст будто бы познал наконец, в чем цель жизни: сделаться инженером, осушать болота, проводить плотины и т. п. Дожив до глубокой старости и ослепнув, Фауст будто бы страшно счастлив тем, что целый край благодаря его постройкам возродился и народ находит применение силам своим в честном труде. Не говоря о психологической фальши, оцените это чисто немецкое филистерское культуртрегерское благочестие. Оно свойственно, между прочим, и бобрам. Те ведь тоже строят, как возрожденный Фауст, плотины и устраивают для себя и детишек всевозможный комфорт, но они не объясняют это сверхфилософскими соображениями. Как видите, даже гётевского таланта не хватило, чтобы оправдать нравственно мелкий и жестокий характер немецкого сверхчеловека.

Сравните Фауста с Гамлетом или Дон Кихотом. Вы сразу почувствуете различие в национальных характерах этих типов. Сомневающийся и безвольный датский принц — насколько он все-таки благороднее немецкого доктора! Вы чувствуете у Гамлета действительно страдающую человеческую душу, ищущую высшей опоры. Вы видите, что над сердцем Гамлета тяготеет нравственная власть, власть долга, и что этот долг рано или поздно будет выполнен. Как ни карикатурен образ испанского гидальго, помешанного на рыцарских идеалах, до чего, однако, и этот образ выше Фауста, до чего он трогателен и величав! Дон Кихот не только хочет быть рыцарем, он уже есть рыцарь с головы до ног, благороднейший и честнейший. Сервантес едва ли со злой целью осмеял великий характер Дон Кихота, но последний остается великим, тогда как Гёте старался оправдать и возвеличить низкий характер Фауста, и он остался низким. Захваченные в культурный плен немцами, мы слишком привыкли глядеть их глазами и повторять их слова. Они твердят о немецкой честности, о немецкой верности, о немецкой рыцарствен-

ности — и мы им простодушно верим. Но вот что говорит о немецкой рыцарственности весьма популярный немецкий рыцарь — миннезингер Тангейзер: «Проел и перезаложил свое имение, так как дорого стоили красивые женщины, хорошее вино, вкусные закуски и два раза в неделю баня». Разве через семь столетий это не точный портрет нынешних немецких офицеров, дорвавшихся до богатых бельгийских замков или польских помещичьих усадеб?

Как в древности нашествие германских варваров на Италию было вызвано слухами о хорошем вине, виноградниках, садах, виллах и богатствах римлян, которые можно было разграбить, так и нынешнее нашествие тех же варваров объясняется буквально той же причиной. Им хочется обворовать культурную часть света и пожить, что называется, «вовсю» на чужие миллиарды. Для нас это трудно понятно, ибо у нас одна душа, одна совесть, одна вера в Бога — у немцев же во всех отношениях «двойное подданство». Сегодня, отрицая Богородицу и святых, немец немножко еще молится Христу, а завтра он пришпиливает к рукаву надпись: «Нет Бога, кроме Бога, и Магомет — пророк Его». Послезавтра же вместе с Фаустом подумает о дьяволе и о том, нельзя ли при его помощи ограбить мир.

ДУШИ НАРОДОВ

18 января

Высокий одноглазый старик с длинной бородой, в широкополой шляпе и в полосатом плаще. В руках у него копье. На обоих плечах у него сидит по ворону, а у ног лежат два волка. Фигура зловещая, не правда ли? Таково классическое изображение «альфёдра» («всеотца». — *Ред.*), отца немецких богов, самого светлого из асов — Одина.

Давно сказано, что человек создает богов своих по своему образу и подобию. Каков истинный образ древнего, беспримесного тевтона, вы видите на этом, так сказать, фамильном портрете. Древнее echt* немецкое воображение вместило в идею своего божества все лучшее, что могло придумать, и вот что оно придумало. Два ворона, Хугин и Мунин, ежедневно облетающие мир и докладывающие Одину обо всем, — прообраз наброшенного на весь мир будущего

* Echt — подлинный, настоящий, чистый (*нем.*).

германского шпионажа. Два волка, Гери и Фреки (то есть Алчный и Жадный), поедают всю пищу, которая приносится Одину в жертву, — прообраз ненасытимой ничем и свирепой жадности этой волкоподобной расы. Копье Гунгнир, всегда попадающее в цель и наводящее неодолимый страх на всех, на кого оно направлено, — прообраз того милого отношения к соседям, которого так усиленно добивается потомство тевтонов. На пальце Одина волшебное кольцо Драупнир, каждую девятую ночь отделяющее от себя восемь таких же колец, — прообраз богатства, которое не требует труда, а само накапливается, как проценты ростовщика. Единственной пищей Одина служит вино, хотя старик, по-видимому, и не страдает от последствий алкоголизма. Вы спросите: а в чем же заключается прообраз немецкой быстро прогрессирующей культуры? Если хотите — в восьминогом коне Слейпнире, на котором летает Один. Конь не только грамотен, но даже на зубах у него начертаны руны. Запомните: руны, начертанные *на зубах*.

О древнерусском Перуне не осталось определенных указаний. Из шести (или семи) наших богов, перечисленных у Нестора, о Перуне сказано немного: «Постави кумиры... Перуна древяна, а главу его сребряну, а ус злат». Это достаточно для паспортных примет, но не для характеристики божественного духа, приписываемого кумиру. <...>

По народному преданию, записанному в летописях, Перун был вооружен луком, стрелами, палицей и даже плетью. Не надо забывать, что Перун был, подобно Юпитеру Громовержцу, божеством грозным, «попирающим». Светлым же и благодетельным богом считался Дажбог. Как символизировали наши предки это светлое божество — к глубокому сожалению, не осталось преданий. Известно только, что Дажбог был сыном Неба (Сварога) и олицетворял собою Солнце и что русские люди были внуками его, то есть прямым потомством Солнца (см. «Слово о полку Игореве»). Следовательно, если противопоставлять кого-либо из наших богов Одину, то не Перуна, а скорее Дажбога.

«Разве это серьезно? — спросит читатель. — Какой-то древний бред, какие-то воображаемые боги. Можно ли извлечь какой-нибудь толк из сравнения одной нелепости с другой?» Простите, отвечу я, древние религии вовсе не нелепость, а нечто такое, во что вложена была вся душа древних, все их познания, все нравственные идеалы. Правда, древние религии дошли до нас в крайне одичавшем состоянии, так что даже распознать трудно, какая мысль скрывается в том или ином, иногда нелепом, часто глубоко поэтическом мифе. Древние религии только потому уступили место новым, что сильно обветшали, выродились, и мы имеем перед собою

лишь искаженные временем иероглифы, ключ к которым часто затерян. Но даже если счесть древние верования бессмысленным бредом, то спросите-ка психиатра, вздор это или не вздор. Он скажет вам, что бред — драгоценный материал, заслуживающий изучения, что существуют разные типы и разновидности бредовых состояний, и по ним не меньше чем по поступкам можно доискаться, какой именно душевной болезнью пациент страдает. А это, в свою очередь, даст руководство к пониманию его характера в здоровом виде. Я напомнил читателю древнегерманского Одина, чтобы еще раз отметить некоторые вечные черты германской расы, черты, не смытые христианской культурой и в последнее время как будто даже прорезавшиеся с древней силой.

Ничто не умирает. Не умирают души людей и явлений. Не думайте, что умерли древние боги... они живут гораздо ближе к нам, чем мы думаем, они живут *в нас самих*. Это наши страсти, это племенные свойства, созданные вместе с нашей природой. Идолы богов разрушены, имена их исчезли или послужили материалом для поэтического творчества, самое же существо богов осталось. Тот же попирающий Гнев, та же Жадность, то же Великодушие, та же Красота, та же Любовь. Не где-то в Греции, а под черепом вашим помещается Олимп, управляющий судьбою вашей, и хотите вы этого или нет, сознательно или бессознательно вы до сих пор служите древним богам — мрачным или светлым, смотря по преобладанию в вас темного или светозарного начала. Если бы мы могли расшифровать древние мифологии, как пытались многие ученые начиная с Бэкона[1] («О мудрости древних»), то, может быть, подошли бы к тем величественным представлениям, полным высокого благородства, какие запечатлены в системах Платона, Пифагора, Сенеки, Марка Аврелия и которые служат достойными Пропилеями для христианских истин. Мы, к сожалению, живем в эпоху, когда разрушен не только храм веры, но и прекрасные преддверия к нему. Следует согласиться с Гартманом: христианство действительно разлагается в Германии, да и не в одной Германии. В последней оно заменяется высшей будто бы религией — «германством», но если присмотреться к этому германству, то в нем невольно почувствуешь силуэт одноглазого бога с двумя воронами на плечах и двумя волками у ног...

Вот что пишет мне один петербургский родитель, по-видимому, мне известный, но подписи которого я решительно разобрать не в силах. Так как эта варварская черта — писать и даже подписываться неразборчиво — заслуживает наказания, то я выбрасываю из письма имена и фамилии, оставляя общую суть дела. «Сын мой, —

пишет родитель, — сейчас еще в немецком училище... И с каждым днем я прихожу в бóльший и бóльший ужас от того, что там происходит. Сын мой и я лично много раз говорили с инспектором... Что он себе позволяет, не поддается описанию. Сын мой получает в ответ: "Русский дурак", я получаю в ответ: "Не ваше дело". Чье же, однако, дело, как не родителей, реагировать на такие, например, фразы инспектора: "Здесь Германия; русских идиотов, которые не желают смириться, выгоняют". В последний раз я получил такой ответ (по-немецки): "Ваш сын должен дать честное слово... ну да впрочем, ведь русское честное слово ничего не значит, это не немецкое Ehrenwort". Русских учеников этот инспектор ругает: "русский дурак", "тупой варвар", не позволяет им говорить по-русски, а его помощник... заявляет, что, "пока *нас* бьют, он не может быть в хорошем настроении, но когда будет *нами* взят Петербург, то есть будущий Вильгельмсбург, тогда я несколько успокоюсь". Тот же помощник инспектора ругает французских учителей перед учениками: "Luder" (сволочь). Когда англичане потопили «Блюхера», он придрался к двум англичанам из класса моего сына и оставил их ни за что ни про что на два воскресенья. А директор... заявляет, что он не допустит, чтобы в стенах германского училища раздавался "грубый русский язык в разговоре с немецкими учителями". Инспектор ругается площадными словами, чуть не бьет русских мальчиков, а ему говори "das ruhmvolle Deutschland" (славная Германия. — *Ред.*) на уроках географии...»

Надо укрепляться

Мне жаль, что неразборчивость подписи моего корреспондента не дает мне права довериться его письму и, возложив на него законную ответственность, напечатать имена действующих лиц. Что психологически такое немецкое училище в Петрограде допустимо, об этом и говорить нечего. Психология чисто тевтонская, и возмутительна не столько она, сколько дряблость того Перуна, который оказывает гостеприимство Одину. К чему в Петрограде немецкая колония с целым рядом школ? Еще возмутительнее, однако, сам папенька, пишущий мне приведенные строки. Как же это так: его сына педагоги-немцы ругают «русским дураком», «русским идиотом», при его сыне оскорбляют Россию, а папенька только тем и ограничивается, что пишет в газеты. Да зачем же вы, русский человек, держите вашего сына в немецкой школе? Разве в Петрограде, который пока еще не Вильгельмсбург, не существует русских учи-

лищ и гимназий? И почему вы не привлечете оскорбителей вашего сына к судебной ответственности? Это было бы куда внушительнее, чем обращаться к печати, да еще подписываясь так, что разобрать нельзя.

Ах этот славянский Перун с железными будто бы ногами, деревянным телом, серебряной головой и золотыми усами! Должно быть, это существо было и в старые времена очень добродушное и бесхарактерное, похожее на того идола, которого видел во сне вавилонский царь. Правда, у того ноги были отчасти железные, отчасти глиняные, а у нашего Перуна — сплошь железные, символ неодолимой мощи народной. Может быть, это и спасет нас от участи, предсказанной Даниилом Вавилону. Но все-таки какая опасная идея сочетать в божестве своем золото, серебро, железо и... дерево! Не предрешило ли это историческую слабость наших средних классов, их легкую воспламеняемость и податливость ко всем стихиям и в то же время деревянную инертность в отстаивании своего национального «я»? Благодаря невольной измене средних своих классов все славянские племена уступали давлению чужих культур, в особенности немецкой. Жестокий и хищный Один со своими воронами и волками сделал много захватов в царстве Перуна, и немножко бы побольше твердости последнему не повредило.

Вы скажете: каждое время имеет своих богов, и превыше всякого язычества сияет свет откровения, принесенного Христом. Я же думаю, что во всякое время остаются те же боги, то есть те же племенные характеры, те же основные страсти, но над всеми ними действительно должен торжествовать свет Христов. И Один, и Перун, и весь пандемониум, заложенный в наших нервах, неистребимы, пока живо человечество, но... народные страсти должны быть обузданы. Они должны быть воспитаны в ином, единочеловеческом идеале. В силу разных причин на Западе, и особенно в Германии, идет открытое восстановление язычества. Укрощенный древний зверь разнуздывается, и находится наука, находится философия, восторженно приветствующая этот процесс. Ницше, откровенно признававший себя врагом христианства и антихристом, не начинает, а заканчивает этот процесс. Вполне планомерно, и в теории совести, и в практике ее в самом сердце Европы идет восстановление древних демонов. Как же мы, независимое христианство, должны отвечать на это?

Наши забытые боги, как и немецкие, не умерли, но они слишком скромны, чтобы мечтать о древней власти. Наши низменные страсти, наш народный характер, кажется, искренно подчинились Христу и вовсе не намерены выходить из возможного для них по-

виновения. Мало того, мы искренно верим, что дисциплинирующее и воспитывающее влияние христианской морали должно продолжаться и впредь. Зверь не только должен быть укрощен в человеке, но и очеловечен, и не только очеловечен, но и обожествлен, насколько это допустимо в земных условиях. Сказано: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Дан закон непрестанного совершенствования, облагорожения, восхождения из греховности в праведность, из праведности в святость. Мы, русские, не забываем этого вселенского идеала и признаем всевысочайшую власть единого мирового Бога. Против немецкого одичания мы должны и можем выставить свою нравственную культуру. Если титанический взрыв дьяволизма, проявляемый германской расой, действительно угрожает всей будущности человеческого рода, то мы и наши союзники от лица именно человеческого рода должны противостать этому дьяволизму и обуздать его. Очень много писалось и у нас, и за границей о сравнительной мягкости славянской расы, о незлобивости ее и простодушии.

Все это сделалось уже общим мнением; вежливые немцы, вроде Бисмарка, объясняют это «женственностью» славянской расы, а грубые немцы — первобытностью ее. Мне же кажется, что это не женственность и не первобытность, а просто более высокая *человечность*, более высокий уровень духа человеческого в сравнении с германским. Как Перун или, во всяком случае, Дажбог были гораздо выше одноглазого старика с его воронами и волками, так и славяно-русская душа народная гораздо выше германской, ибо она мягче и человечнее. Отстаивать эту высоту, поднимать ее всемерно мы будем и впредь, предоставив немцам развивать свое «германство» в каком им угодно направлении. Они тянут к дьяволу, мы — к Христову терпению и милосердию, и посмотрим, кто победит.

ОБГЛОДАННЫЕ ГУСЕНИЦЕЙ

15 февраля

Разгар войны, разгар нашей героической поэмы. Само собой, не всем великая эпоха по плечу. Чувствительная m-me N. *утомлена* этой «бойней». Бесчувственный философ Z., аккуратно проживающий свою огромную пенсию и ухитряющийся еще «отложить» кое-что — зачем? Бог весть, этот погасший в своем эгоизме мудрец

возмущен войной как взрывом человеческого зверства. Чуть плохие вести — маленькая поэтесса Х. с глазами, похожими на маринованные сливы, говорит томно: «А не я ли говорила, что войны не надо? Ах, меня не слушали...»

Оставим в стороне слишком чувствительных господ и дам. Они и в мирное время ныли, изнемогали, страдали за все на свете — за ближних, за народ, за человечество, за природу, наконец, за Самого Создателя, Который будто бы пропустил случай создать мир более совершенный, посоветовавшись с этими господами. Оставим их в стороне. Кроме них есть еще, слава Богу, в России люди здоровые и сильные, которые точно воскресли за эту войну. Столько она пробудила в них энергии и желания жить! Столько вдохнула молодости в их нервы. Мне вчера передавали факт, опровергающий решительно все теории баронессы Суттнер и графа Толстого. Блестящий офицер в одном из полков Сибири вдруг с ужасом увидел, что война проходит, а он так и не попадет на войну. Как? С его фамилией — не воевать? Невозможно! Он просит, настаивает, умоляет — все напрасно. Не отпускает начальство, да и все тут: офицер в каждой части теперь ценится на вес золота. Молодой герой решается наконец на дурной поступок. Разрезает себе руку и подает рапорт о том, что его укусила бешеная собака. Ближе Иркутска нет медицинской помощи. Пришлось отпустить его в Иркутск. Там он умоляет отпустить его в Петроград посоветоваться с профессорами. Отпустили. Добравшись до столицы, он пускает в ход все связи и попадает-таки в действующую армию. И в первом же бою убит.

Что же, зато все-таки пожил человек, удовлетворил некую высокую страсть, очевидно, его мучившую. «Мгновение жизни молнии драгоценнее тысячелетия жизни слизняка», — говорил Нена-Сагиб. Не думайте, что молодая жизнь, скошенная ранней смертью, пропала. Куда же она могла вывалиться из объемлющего ее бесконечного мира? Очевидно, она осталась в нем, перейдя в загадочное нечто, из которого когда-то вышла. Была она некогда невидимой и неощутимой — и вновь сделалась таковой, чтобы когда-нибудь проявиться в новой материальной оболочке. Мы совершенно не знаем ни начала вещей, ни начала нас самих, и слишком определенно толковать о вечном уничтожении своем не имеем права. Я думаю, какой-то подсознательной глубиной духа мы твердо верим в свое бессмертие, иначе не решились бы тысячи раз в жизни на безумный риск, и не только на войне и на дуэли.

Один помещик передавал мне, до какой степени спокоен простой народ в эту войну. Необыкновенно интересуются войной и следят за ней не хуже, чем мы в Петрограде. Следят превосходно по

дешевой газете и дешевой карте, где лежит Козювка, Могелы, Прасныш, до какого-нибудь Маргрaбова включительно. То и дело приходят в деревню вести о раненых и убитых, и народ остается спокоен. У одного старика убили 23-летнего сына, чудного парня, единственную опору отцу. Потемнел старик и, может быть, поплакал в сторонке, но с виду совершенно спокоен.

— Жалко небось парня? — спрашивает помещик.

— Вестимо, жалко, да что ж поделаешь. Надо держать державу...

Вот каким великим словом обмолвился простой крестьянин. «Надо держать державу». Вот на какой глубине народной залегает государственный инстинкт. Я не знаю, приходило ли это великое слово в голову тем г-дам социал-демократам, которые на днях осуждены на поселение за попытку поднять мятеж и превратить в Россию в республику соединенных штатов. Не оторвись они от своего народа так далеко, не прилепись они непременно к заграничной, американской моде, может быть, они почувствовали бы, что от какой-нибудь «державы» все равно не уйдешь. Соединенные Штаты ведь тоже держава, и более «буржуазного» правительства, конечно, нет на свете, как именно в отечестве янки. Нигде на свете «кружок четырехсот», осевший на лучших улицах столицы, не имел бы более громадного, подавляющего влияния на жизнь народную, как в Нью-Йорке. Правда, тамошние миллиардеры почти сплошь выходят из подонков общества, и это утешает демократию. «Сегодня ты на вершине золотой пирамиды, завтра я». Формула ясная, но обманчивая в неизмеримо большей степени, чем лотерейный выигрыш. В действительности выходит так: «Сегодня ты на вершине сверкающей горы алмазов, а завтра я буду сидеть в темном подвале, как сидел вчера, как буду сидеть долгие годы до гробовой доски».

Нигде нет большей свободы труда и таланта, как в великой заатлантической республике, но это ничуть не обеспечивает там лентяев и бездарностей. Скорее напротив. «Державы» иного, более древнего, более близкого к природе типа, именно монархические, в состоянии гораздо легче, чем «республиканские штаты», регулировать бедность и богатство, защищая слабое и отставшее большинство подданных от слишком уж прогрессирующих по части кармана. Поглядите, как, воспользовавшись священной формулой свободы, распустились пышно алчные американские тресты! Без всяких заклинаний и талисманов, а лишь простой игрой на повышение и понижение кучка американских банкиров захватывает все материальное богатство нации. В течение двадцати каких-нибудь лет молодой еврейчик, приехавший в занятых у приятеля штанах, «нажива-

ет» миллиард долларов, ни более ни менее, то есть нередко даже более миллиарда, ибо есть богатства буквально несметные, неопределимые по величине. Несколько таких господ, всего с полдюжины, держат в руках всю золотую знать Америки, а те — весь гордый своим республиканским равенством и свободой народ. Пробовали некоторые президенты бороться с могущественной олигархией капитала, но ничего не вышло. Америка, конечно, от нас далеко, и мы в точности не знаем, что делается под ногами, по ту сторону земного шара, а между тем такие внимательные и вдумчивые наблюдатели, как Густав Ле-Бон, предсказывают Соединенным Штатам в ближайшем будущем невероятные потрясения (см. «Психологию социализма» этого блестяще талантливого мыслителя).

Правда, борьба с синдикатами и в монархической Европе налаживается очень плохо. При двух наших финансовых графах, С. Ю. Витте и В. Н. Коковцове, синдикаты успели опутать и русскую экономическую жизнь густой и хищной паутиной. Но, я думаю, не может быть той паутины, которая, наброшенная на народы, устояла бы от малейшего прикосновения скипетра царского. Вспомните отмену крепостного права у нас — и страшно кровопролитную войну за освобождение негров в Америке. События эти одновременные, и именно на почве уравнения прав между оптиматами и пролетариями. Задолго до рождения на свет осужденных господ эсдеков русская монархия справилась с великим демократическим вопросом, которого не могла разрешить без кровавого бунта заокеанская республика. Сопоставьте также борьбу с пьянством в Америке и в России: там она началась чуть не полвека назад, и все-таки пьяницы без труда путешествуют из трезвого штата в пьяный, как в соседний ресторан, — в России же одного Царского слова было достаточно, чтобы совершилось одно из величайших отрезвлений в человечестве. Я отнюдь не спорю, что многое у нас в России плохо и очень многое в Америке превосходно. Я желал бы многих хороших оттуда заимствований, но что касается «державы» как скинии народной силы, то позвольте усомниться в заграничной моде. Вы утверждаете, г-н Петровский, что «с точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск» (обвинительный акт). Отсюда пропаганда среди войск социалистической революции и военного мятежа. Но есть ли в этой затасканной до рубища затее хоть столько логики, сколько необходимо для элементарного приличия?

Тянут в рабство

Поражение царской монархии имело бы сейчас лишь единственный мыслимый результат — подчинение кайзеровской монархии, ни более ни менее. Да какое подчинение! Ведь царская наша монархия нас не завоевала, она добровольно избрана нашими предками, она выросла вместе с народом и срослась с ним так, как нервная система срастается с мускульной. Царская монархия одной с нами колыбели, одного стародавнего языка, одной тысячелетней веры, одной судьбы народной, и потому в глазах царской монархии народ не есть какое-то чуждое существо, а свое родное. Что же было бы «для всех народов России», если бы восторжествовала *кайзеровская* монархия? Кроме абонентов газеты «Речь», которым все равно — кочевать ли в России, или в Америке, или среди любого чужого народа, — «для всех народов России» Германия явилась бы одинаковым *завоевателем*. Поймите, г-да эсдеки, это ужасное слово! Вникните во всю глубину его трагического значения. «Горе побежденным!» Это не фраза, это вечный стон, повторенный недавно в сумасшедшем манифесте германского императора. Еще не победив никого и находясь даже за сто верст от победы, он уже потрясает перунами, он уже угрожает будущим покоренным народам всеми скорпионами, какие в состоянии придумать воображение дегенерата. Vae victis! (Горе побежденным! — *Ред.*) О да! После истребления миллионов русских солдат разрывными пулями, ядовитым дымом, серной кислотой, холерными разводками и т. п. предполагается оставить в живых большинство населения завоеванной Российской империи. Правда, был заявлен в немецкой печати проект одного почтенного немца — обесплодить славянскую расу, то есть оскопить мужчин, но, кажется, проекту этому не было дано дальнейшего движения. Был заявлен проект о поголовном выселении русских народов «куда-нибудь» — за Урал, что ли, или, еще лучше, в немецкие колонии Африки, дабы освободить территорию нашу для широкой немецкой колонизации. Но и этот проект пока остается под сукном. Всего вероятнее, покоренное немцами население даже не будет изгнано, а (по третьему проекту) будет только обращено в крепостное рабство, как было с населением Римской империи, завоеванной полторы тысячи лет назад предками тех же немцев. Славяне — недурная подстилка для высшей расы, это Dungervolk, живое удобрение вроде домашнего скота. По отобрании «у всех народов России» земель, капиталов и всякого лишнего имущества немецкие культуртрегеры получат сто восемьдесят миллионов двуногих батраков и батрачек, рабочую силу, которая будет стоить только хле-

ба, который съест. Вот и все. Конечно, при малейшем сопротивлении, при малейшем протесте покоренных ждет то же самое, что негров в немецких колониях Камеруна и Занзибара. Плети, плети, плети, пытки, привязывание к деревьям и сожжение заживо.

Вы знаете, как «милостиво» старые немецкие феодалы обращались с покоренными крестьянами Римской империи. Если крестьянин позволял себе убить дикую птицу на земле своего господина, то в наказание крестьянину вскрывали живот, вытаскивали кишку, при выходе ее из желудка прибивали ее гвоздем к дереву и затем гоняли крестьянина кругом дерева, пока тот не выматывал себе все внутренности. Это не было обычаем — это входило в уголовный кодекс.

Вот, если говорить правду, какая монархия призывается на смену «царской». Вот для какого строя проповедуется социалистами война не против немцев, а против нашего правительства, воюющего с немцами. О, конечно, г-да немцы в качестве сверхчеловеков не стали бы пачкаться, подобно предкам, вытаскивать кишки у покоренных рабов, но что они спокойно пристреливали бы их или прирезывали бы, как делают даже их сестры милосердия с нашими ранеными, в этом сомневаться нельзя ни на одну минуту.

Конечно, устройство черепной коробки у г-д эсдеков не зависит от них самих и они не виновны в том, что она узковата, однако есть же предел всякой узости, допустимой в отделе человекообразных. Если наше правительство «буржуазно», то неужели немецкое явится менее буржуазным? Неужели наши помещики и чиновники стоят дальше от простого народа, чем немецкие бароны, аграрии и «юнкера»? Мне скажут: эсдеки вовсе не добиваются завоевания России немцами; они желали бы в первую голову «поражения царской монархии и ее войск», но вторым пунктом идет образование свободных республик — немецкой, польской, русской и пр., и третьим их пунктом является слияние всех европейских республик в республиканские соединенные штаты.

Прекрасно. Допустим это. Бумага все терпит, но сама действительность?.. Начав с поражения царской монархии и ее войск, к чему же вы, г-да эсдеки, подвели бы Россию и Германию? Россию сделали бы покоренной страной, Германию — страной покорившей. Так неужели вы думаете, что, разгромив Россию, а стало быть, и Францию, и Англию, Германия вдруг сказала бы им: знаете что, давайте-ка сделаемся все свободными республиками! Мы своего императора-победителя низложим за то, что он вознес Германию на высоту всемирного господства, а вы низлагайте своих монархов за то, что они бились за вашу независимость. Перебив миллионы своих

и чужих солдат, истратив миллиарды марок на войну и наконец завоевав Европу, мы, немцы, знаете, что сделаем? Вдруг, к общему изумлению, откажемся от наших завоеваний, ибо этого желают петроградские эсдеки: г-да Петровский, Муранов, Бадаев и компания. Откажемся от всяких приобретений в Польше, в России и во Франции. Пусть каждый народ владеет своим! И хотя история показала, что европейские народы живут как кошка, еж, собака и обезьяна, завязанные в один мешок, и хотя самой волчьей жадностью ко всему чужому отличаемся именно мы, немцы, но... Да здравствует национальное бескорыстие! Долой тысячелетние троны, и сольемтесь вместе в одни «республиканские соединенные штаты»!

Как вы думаете, похоже это на немецкий характер, на психологию завоевателей вообще, а тевтонов в особенности?

Социалисты в числе тяжких доводов против монархии выставляют и этот: помилуйте, можно ли длить такой государственный строй, где народы, управляемые монархами, ведут столь истребительную войну, какова нынешняя? Только республика может обеспечить всесветный мир.

Правда ли? А давно ли те же Соединенные Штаты вели ожесточенную войну с испанцами, по совести говоря, без всякого уважительного повода со стороны испанской монархии, если не считать ее сравнительной слабости? А давно ли лились потоки крови в Мексиканской республике, которая за отсутствием внешнего врага, с которым бы можно было подраться, разделилась на два лагеря, заведших самую жестокую междоусобицу? И кто всего чаще воевал за последнее столетие — монархия ли Европы или республики Южной Америки, которые охотятся друг за другом, как за простой дичью?

Мне кажется, корни народные у нас неизмеримо умнее и государственнее тех отдаленных и уродливых веточек народного ствола, которые именуются эсдеками и эсерами. Обглоданные чужими внушениями, как прожорливой гусеницей, эти веточки имеют голый и довольно жалкий вид.

ВЕЧНО ЖЕНСТВЕННОЕ

26 июля

Тот Grosskandal, каким вышла эта мировая война, раскрыл замечательное извращение немецкой расы — ее душевное уродство. Не весь двухтысячелетний народ немецкий страдает этим безобрази-

ем — бывали и у немцев поколения прекрасные, выдававшиеся именно духовной красотой. Таким было поколение Гердера, Шеллинга, Гёте, Шиллера, Канта. Не одни лишь названные великие люди, а все их поколение отличалось благородством духа, человечностью и тем, что, пожалуй, выше человечности, — *женственностью* в хорошем смысле этого слова. Я говорю о той женственности, о которой писал Гёте:

Das ewig Weibliche
Ziegt uns hinan...

Вечно женственное начало души — это та нежность ее, чистота, стыдливость, страх пред всем грубым и вульгарным и то тяготение к любви, которое женщине указано Творцом в известной библейской беседе. «И к мужу твоему влечение твое», — сказал Господь. Нужды нет, что в закон женской природы вложена влюбленность плотская. Все-таки это любовь, а не ненависть, и, будучи плотской, все-таки это высокое душевное состояние. Как отделить плоть от духа? По-моему, плоть есть оплотневший до ощутимости дух, как дух — простая эманация плоти. Не отвлекаясь в глубь этого вопроса, подумайте, до чего такие плотские состояния любви, как любовь к мужу и детям, в то же время глубоко нравственны и до чего женщина этими своими очаровательными и нежными состояниями облагораживает близких к ней людей.

Имея досуг и немножко воображения, ничего не стоит создать теорию (если она уже не создана), что все хорошее и святое вытекает из женской любви, из женственности или, идя дальше, — из девственности, которая древним народам недаром представлялась как состояние божественное. Слово *Дева* буквально значит *богиня*, если взять санскритские и латинские корни. Отсюда широко распространенный в древности культ Девы, отсюда почитание весталок и многое самое поэтическое и возвышенное, что перешло в христианство.

В переломе средних веков на новые созрела феодальная аристократия, одним из рыцарских культов которой было почитание женщин. Рыцари в разные века относились к своим дамам разно. Женщины ранних веков терпели и суровый гнет, и побои, и истязания, но в XVII—XVIII веках, благодаря главным образом испанскому и французскому дворянству, сложился тип аристократа как кавалера, которого вежливости и нежности в отношении дам не было границ. Этот тип привился более или менее всюду на Западе, но легко видеть, что вошедшее в обычай преклонение пред женщинами не ограничилось последними. Вежливость перешла и на отношения к

мужчинам и к рабам. Мужчины сделались сами женственными, утратив — вместе с грубостью — часть своего мужественного героизма. Когда поднялся мятеж более суровых классов, то он встретил не столько мужественный, сколько женственный отпор аристократии, и она была побеждена. Читатели, помнящие героинь французских трагедий (например, «Сида»), заметят, может быть, что тогдашние женщины тоже заимствовали нечто от мужчин, а именно их мужественность. Да, это правда. Влюбленные в благородных рыцарей в течение столетий поколения женщин не могли не вобрать в свою душу элементов чести и бесстрашия тогдашних мужчин. Оба пола обменялись благороднейшими влияниями, и создался тот гуманный аристократизм, дух которого вдохновлял не одно дворянство, но и тогдашнюю интеллигенцию, высшую буржуазию и народ. И Шиллер, и Гёте, и Кант были воспитаны в этом мужественно-женственном настроении той эпохи. Отсюда их человечность и идеализм, до которого нынешним немцам как до звезды небесной.

Чего недостает немцам теперь, это, конечно, не мужественности, а женственности. Первым из этих качеств за всех немцев гордился Бисмарк, противополагая мужественной тевтонской расе женственную славянскую. Но и сам Бисмарк, и его поколение слишком уж утрировали в себе предполагаемую добродетель мужества и довели ее до грубого шаржа. Стараясь быть для чего-то как можно более мужественными и как можно менее женственными, немцы последних поколений постепенно сбрасывали с себя драгоценнейшую из культур духа, именно ту кротость, нежность, любвеспособность, которые составляют цель развития. Сбрасывая все это, они дичали. Они стали и в самом деле походить на своих предков — варваров, описанных Цезарем и Тацитом. Может быть, подобная жестокость нужна, чтобы разрушить цивилизацию, как это удалось тогдашним германцам, но, чтобы возродить и поддержать цивилизацию, жестокости, конечно, мало.

Иным покажется странным, что женственность с этой точки зрения как будто выходит выше мужественности. Вместе с Шопенгауэром, в эпоху которого немцы начали нравственно дичать, множество людей искренно считают женщину «вторым сортом человека», существом несколько низшей организации, нежели мужчина. Мужчина не только физически сильнее, но умнее, талантливее, гениальнее женщин, которые во многих областях деятельности не могут при лучших условиях даже сравняться с наиболее одаренными мужчинами, а не только превзойти их. На это истинные поклонники женщин отвечают, что талант и гений не составляют вершины человеческого духа. Под человечностью мы разумеем скорее доб-

роту души, чем умственную силу. Еще Сократ раскрыл ту высшую мудрость, то интуитивное познание, которое скрыто в доброте. Если правда, что христианство завершает собой возможную эволюцию духа, то позволительно спросить: к женскому началу клонит это возвышенное учение или к мужскому? Очевидно, к женскому. Любовь к ближнему, снисходительность, нежность, кротость, уступчивость, терпение, смирение — все христианские добродетели вмещаются в образ высшей женственности и плохо вяжутся с представлением высшего мужества. К последнему подходит храбрость в нападении и обороне, сила, непременно пускаемая в ход, настойчивость, суровость, гордость, наклонность повелевать, а не покоряться. Таков в чистом виде характер самых лютых хищников, львов и тигров, вошедших в рыцарские гербы, или орлов и соколов. Таков в чистом виде характер дикаря или воинственного варвара. Таким же рисовал себе мужчину последний из пророков немецких — Ницше, назвавший христианство «религией рабов» и воспевший сверхчеловека как «смеющегося белокурого льва». Вот что такое мужественность, доведенная до полноты своего принципа. Ясно, что такая мужественность не вяжется с христианством, и Ницше был совершенно прав, называя себя антихристом. До момента, пока он не сошел с ума, он был наиболее сознательным из философов, отвергавших христианство. Но отрицание последнего, по-видимому, естественно граничит с безумием. Врачи-психиатры вам скажут, что всякое сумасшествие начинается упадком нравственности в человеке. Прежде всего спадает последняя и драгоценнейшая из культур духа — моральная. Безнравственные люди, вроде Наполеона и Бисмарка, как бы они ни были талантливы, уже в силу потери нравственного чувства были близки к помешательству, что отчасти и повело Ломброзо к его теории тождества гениальности и сумасшествия. Я не поклонник этой теории. Мне более по сердцу определение гения Пушкиным, вложенное им в уста Моцарта: «Гений и злодейство — вещи несовместные». Может быть, ни Наполеон, ни Бисмарк, ни другие талантливые злодеи вовсе и не были гениальны, а умственной их даровитости хватило лишь на позолоту их необычайной наглости. Позолота постепенно сходит, а под нею мы видим лишь дешевое железо, обагренное человеческой кровью.

Вечно мужественное

Что не в мужественной силе, а в женственной кротости кроется тайная мудрость, заложенная в христианстве, это видно по плодам войны и мира. В течение не слишком многих мирных десятилетий

последнего века Европа отдохнула от наполеоновских нашествий, разобралась в развалинах, залечила раны, и мирный труд, не расстраиваемый пушечным громом, создал весь блеск, всю свободу, весь комфорт и роскошь, которыми гордится цивилизованное человечество. Но в уголке этого женственного периода завязывалась уже почка мужественного. Едва сломив Наполеона, благодаря могучей поддержке России Пруссия начала наливаться в новую Наполеонию под скромным именем Германия. И вот эта звериная мужественность созрела и вышла в прошлом году на сцену. Всего один год войны — и мы видим уже миллионы самых сильных и красивых юношей превращенными в гниющие трупы. Бесконечное количество могил, наполненных человеческими и лошадиными костями. Десятки и сотни тысяч жилищ превращены в дымящиеся развалины. На протяжении многих тысяч квадратных верст поля опустошены и земля изуродована окопами и снарядами. Разрушены многие древние цветущие города с их храмами, театрами, музеями, дворцами, роскошными магазинами, фабриками и мастерскими. Стихийный ураган, зарождающийся под экваториальным солнцем в котле Мексиканского залива, взлетающий над океаном и мчащийся к Европе, не в состоянии наделать и тысячной доли тех бед, что наделало ницшеанство, практически созревшее под каской кайзера Вильгельма. Вот плоды мужественности, на некоторое время возобладавшей в мире. Будем надеяться, что это время не долгое, ибо неужели в вечной природе, созданной Богом и видавшей всякие виды, не найдется достаточного противовеса разрушению? Германский furor разбудил и продолжает будить в человечестве такой же ответный furor. Сгущенная упругость сопротивления остановит наконец дикий напор, и над развалинами мира, полуразрушенного мужчинами, начнет свою возрождающую работу «вечно женственное» начало, прекрасное, несущее любовь и мир.

На днях кто-то напомнил в Государственной Думе изречение Ницше: «Мужчины созданы для борьбы, а женщины — для отдохновения воинов». В цинизме этого изречения кроется доля правды. Женщины созданы для ремонта жизни, как свидетельствует значение слова «Ева». Беспрерывно рвущаяся ткань человечества должна восстановляться. Истощение сил должно пополняться накоплением их. Из самых нежных и интимных сближений является новая смена человечества, новые центры энергии, новые работники и борцы. Я не знаю, возможен ли вечный мир, то есть возможно ли окончательное торжество женственности в человечестве. Пророческая песня херувимов над колыбелью Христа-Младенца до сих пор ожидает исполнения. Мне кажется, при современном состоянии человечества до вечного мира еще очень далеко. Мы знаем, до чего доводит торжество мужества, но ведь и преобладание женственности в иных

странах ведет к гибели. Излишняя изнеженность и кротость ведут к беспечности, к забвению всех опасностей. Избалованное долгим миром общество даже забывает, что есть война. Оно постепенно перестает интересоваться защитой жизни и все внимание устремляет на комфорт, на развлечение, на ту мирную бескровную борьбу, которая под названием *жизненной карьеры* составляет драму личного существования. В этой борьбе действуют тоже не святые страсти. В овечьей шкуре тут истощаются в усилиях тоже волчьи инстинкты, орлиные и львиные энергии. И очень часто слишком долгий мир накапливает собою тяжкую социальную несправедливость, из которой нет выхода. Одной женственности и кротости не справиться с мирными организациями зла. Мирное хищничество растаскивает национальную оборону. Силы нации, вооруженные для отпора, приходят в упадок, и в плохо закрытые двери стучится закованный в броню кулак разбойника.

Как все великие бедствия, война подкрадывается издалека и исподтишка. Подобно горному обвалу, война обыкновенно застает мирное население врасплох. Вот тут-то на поддержку ослабевшей женственности должно выступить — и обыкновенно выступает — задремавшее мужество народное. Просыпается храбрость, самоотвержение, сила, героизм, и в ответ на дерзкий натиск врага иной миролюбивый народ мечет самые сокрушительные громы. Вы видите, что недаром природа двойственна и в этом, как во всем. Нам хотелось бы торжества одного начала, которое мы считаем благим. Но природа достигает равновесия жизни сочетанием двух стихий, а иногда и многих. Будем покорны Богу. Теперь требуется все мужество, на какое способно великое наше племя, — и дадим его. Требуется вся энергия на чудовищный по напряжению труд — и дадим ее. Требуются суровые и твердые характеры, непреклонная воля — и выдвинем их. Иначе всему священному и дорогому, что только есть для нас, угрожает смерть.

О ЛУЧШЕМ БУДУЩЕМ

23 августа

Я начинаю себя помнить в глубине средних веков, в деревенской глуши, где миросозерцание полагалось пирамидальное. На вершине пирамиды — Бог, всемогущая сила, к которой было принято обращаться по всякому, хотя бы ничтожному, поводу. Все зависело

от милости этого Миродержца и от достаточно настойчивой, хотя и смиренной мольбы к Нему. Одна деревня, успевшая скосить сено, молила послать вёдро. Другая, соседняя, еще не успевшая скосить сена, молила послать дождь. Сразу после Царя Небесного на вершине пирамиды представлялся царь земной, существо тоже всемогущее. Все искренно удивлялись, почему царь не велит напечатать сколько угодно денег. Все старались, минуя инстанции, подать прошение на Высочайшее имя, хотя бы речь шла о том, что Гаврила Петров запахал часть поля у Никиты Макарова, когда всем известно, что межа их шла еще в стародавние годы, при дедах и прадедах так: от Кривой березы на Козлином рогу бери вправо на большой Орешник, потом загибай на Свиной ручей и т. д. Все это, по представлению средних веков, когда я родился, обязан был рассмотреть самолично царь-государь, а приказным и судьям народ систематически не верил. Далее вниз, под царем, предполагалась какая-то «вся палата и воинство их», «господа сенаторы», которых не следует смешивать с санитарами. Начинали тогда, правда, проникать слухи, что существуют какие-то министры, но простой народ пятьдесят лет назад еще плохо представлял себе, что это за чин. Под «сенаторами» шли разные большие господа, под ними — господа поменьше, дворяне, а под ними — народ. О народе народ имел наиболее реальное представление и, только что освобожденный от крепостного права, все еще по инерции думал, что он ничто. «Мы люди темные, мы люди бедные, вы наши отцы, а мы что ж? Что вашей милости будет угодно».

Лет одиннадцати, уже в уездном городе я попал уже в восемнадцатый век, хотя календарь показывал девятнадцатый. Все еще почти все обыватели сверху донизу веровали в Бога, в царя, родину, ходили в церковь, постились. Но тут уже я встретил и богатеньких дворян, зараженных вольтеровским вольномыслием, и даже мещан, читавших социалистические трактаты. Старый смотритель уездного училища немец Акерман еще посекал провинившихся школяров, но молодые либеральные учителя делали из этого историю на весь город, на весь учебный округ. Местный радикал, сын николаевского фельдфебеля, воспитан был уже на Белинском, Чернышевском, Писареве. Он посылал величественному протопопу книгу Дарвина о происхождении человека, но получил ее обратно с таким отзывом, что и автора сей книги, сущего буесловца и праздномысла, и читателей его следовало бы выдрать на съезжей. Шло брожение умов. Помещики из молодых ходили в красных шелковых рубахах, читали с особенным чувством Некрасова. Ходило по рукам «Что делать?»...

В девятнадцатый век я попал уже в средней школе, и тут на меня сразу пахнуло двумя великими, как бы воздушными течениями. Они создавали уже не брожение, а вихрь умов. Одно течение было революционное, другое — естественно-научное. «В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия», казалось большой, неслыханной, сногсшибательной новостью, что «Бога нет, — сам Иван Иванович сказывал», что везде должна быть республика, что все должно быть общее и т. д. Я со всею страстностью подростка вбирал в себя все идеи, все кружившиеся в вихре начала и лозунги и чувствовал почти сумасшедшее ощущение Колумба, открывавшего новый мир.

Подробности для читателя неинтересны, я хочу сказать только, что нынешнее действующее на сцене поколение нельзя винить в некоторой растерянности перед колоссальным ростом мировой драмы, которая наконец захватила и нас в жерло своего пятого акта. В своей наследственности, в крови и нервах мы еще средневековые люди, завороженные поэзией старых столетий, религией, чувством чести, моралью... всеми ароматами и эфирами, подобными тем, которые развиваются в старом вине. Но к старому вину сознания в каждом из нас подлито столько трезвой воды и столько новых, острых до жестокости специй, что получается напиток... как бы это выразиться? Из тех, о котором сказано: «Если можно, да минет меня чаша сия».

Мы пьем новые элементы сознания безотчетно, не замечая, в какую отраву они сложатся в глубинах нашей психики и как подействуют они на сердце и мозг. Что же делать, «случается то, что должно случиться», как верно говорит припев арабских сказок. С чувством глубокого нравственного страдания я должен сказать, что *наше поколение* не справилось с своими задачами. И не только в России, а и в Германии, и во Франции, и в Англии, и в Америке. Разве нынешняя всесветная катастрофа не свидетельствует о банкротстве людей, родившихся в средние десятилетия девятнадцатого века? Разве, в самом деле, этого результата ожидали мечтатели в эпоху нашей молодости, поэты, ученые и ясновидцы? Мечтали все мы, кажется, о свободе — и дождались попытки к неслыханнейшей тирании, какие помнит мир. Мечтали о равенстве — и дождались всесветного грабежа. Мечтали о братстве, об «алюминиевых дворцах» — и дождались ураганного огня и удушающих все живое газов...

Все это очень грустно, но не ошибаемся ли мы еще раз, покачивая седыми и плешивыми головами с беспомощностью младенцев? Не ошибаемся ли мы в том, что получилось нечто неожиданное для наших идеалов и нечто даже противоположное им? Не случилось

ли, наоборот, как раз именно то, что должно было случиться, то есть вполне естественное, логическое, закономерное развитие начал, заложенных в революции и естествознании?

Попробуем разобраться. Что касается более легкой области, именно естествознания, то тут затруднений особенных нет: что обещало нам естествознание пятьдесят лет назад, то и дало. Оно обещало нам дальнейшее раскрытие сил, заложенных в природе, причем подозревались неограниченные в динамическом смысле источники энергии. Как видим, естествознание не обмануло нас. За последние пятьдесят лет к силе пара прибавилось не только движущее электричество, но и почти безмерная энергия неуравновешенной материи, все эти динамиты, робуриты и т. п. Открыта, хоть и плохо использована, энергия расширения замороженных газов, энергия радиоактивных тел и пр. Кроме ископаемого угля остается в запасе еще белый уголь — вечное движение воды. Остается в запасе столь огромный двигатель, как солнце, если уловить энергию тепловых лучей. Что естествознание обещало, то оно, повторяю, и дало, и дало гораздо больше, чем мы мечтали. Никто в нашей молодости, когда мы увлекались Жюль Верном, и не думал, что его мечты так близки к осуществлению, что мы все доживем до электрического света, до подводных и воздушных кораблей. Никто не думал, что мы доживем до осуществления самой пророческой из сказок этого удивительного романиста — сказки о немце, который в глубине Германии устроил завод для выработки самых чудовищных орудий, каких человечество еще не знало, — с целью покорить мир. Никто из нас достаточно серьезно не думал, что мечты наши в таком тесном родстве с реальностью и что эти мечты перегонят нас, осуществятся раньше, чем мы будем готовы к их осуществлению.

Как ни простительно было для молодежи многое недодумывать до конца, однако мы лет тридцать-сорок тому назад хорошо понимали, что одних сил природы недостаточно для счастья. В силах природы, собственно говоря, не было крайнего недостатка: за тысячи лет до электричества и динамита люди употребляли с успехом такие аккумуляторы энергии, как лошадь, осел, верблюд, слон. Еще совершеннее была сила, называемая человеком-рабом. Уже аргонавты для мореплавания использовали силу ветра и т. д. Для счастья человеческого рода нужны не столько мертвые силы, сколько *благая воля,* ими руководящая. Естествознание уже в самом начале своем открывало рог изобилия, но он оказался сделанным из того же материала, что ящик Пандоры. Из тайников природы знание выпустило полчище слишком темных сил. Многие мечтатели вместе с нашим Герценом встревожили: а что, если этими силами вос-

пользуются злые начала? Тревога, как видит читатель, была не напрасной. Так ведь оно и вышло: титаническими силами овладела прежде всего злая воля народов.

Источник революции

В предчувствии этого, мне кажется, лежит отдаленнейший источник того явления, которое зародилось под именем Реформации пятьсот лет тому назад, в эпоху Иоанна Гуса и Тамерлана. Тогда еще не думали, что пробуждение европейской мысли под влиянием античной литературы потребует свободы веры, свободы слова, свободы труда, свободы личности и вообще свободы жизни. Реформация когда-то естественно перешла в революцию, а окончилась ли теперь всемирная революция или она перешла в новые освобождения под разными иными именами — пусть читатель сам решает. Мне кажется, последнее десятилетие было последней гастролью революции политической в строгом смысле этого слова. Дальнейший процесс будет идти для большинства стран уже вне политики, но в более глубоких недрах общественного строения. Спрашивается, обещала ли нам политическая революция больше, чем дала? Пожалуй, что и нет. Прочтите либеральнейшую из конституций, хотя бы бельгийскую. Она не обещала больше, чем сказано в ней, и все обещанное осуществила. Наши Основные Законы, приспособленные девять лет тому назад, подобно Таврическому дворцу, под новое назначение, может быть, не отличаются совершенством, но что обещают, то и дают. Если недовольные люди кричат: «Помилуйте, что ж это за парламент? Это еще одна новая сверхкомиссия, где заседают те же более или менее казенные люди, ибо в старом казенном государстве, где давно нет общества и граждан, все обыватели пропитаны казенщиной». Может быть, отвечу я, это и так, но тогда что же вы хотите? Из железных инстинктов, сказал мудрец, не создашь золотых нравов. Если в самом народе, в его крови и нервах, сидит существо инертное, склонное подчиняться и слепо доверять, то что ж говорить о дальнейшем развитии политической свободы? В *этом* направлении политическая эволюция не налаживается ни у нас, ни на Западе. Представители народные всюду являются, в сущности, весьма консервативным элементом, в котором лишь изредка вкраплены настоящие революционеры. С того момента, как социалисты вошли в парламент и сделались партией, то есть согласились сделаться ею, стало ясным, что социальной революции не будет, ибо истинные революционеры никогда не входят в состав отрицаемой

ими власти. Раз социалисты согласились разделить с буржуазией власть, они тем доказали свою кровную принадлежность к буржуазии. Псевдоним ведь не меняет творчества, и развитие демократии остановилось там, где по природе своей должно было остановиться. Что также демократ в своей сущности? Это неудавшийся буржуа. Немножко разбогатеть, «выйти в люди», заняться выгодным дельцем, не иметь препятствий для своей предприимчивости — дальше этого его мечты о свободе не идут. Для демократии действительно нужны свобода и равенство. Что касается братства, основного элемента Царства Божия, то это роскошь духа, доступная лишь аристократии, и то на последних ее идейных вершинах. Истинное братство, насколько оно осуществимо, проблестело в рыцарских и монашеских орденах и погасло. Нельзя же назвать осуществлением братства нынешние товарищества на вере и акционерные компании.

В каком же положении находится мир в данное время? В положении очень большой опасности. Раскрытие сил природы далеко опередило собой организацию человеческого братства. Человечество не успело выработать достаточно сильной благой воли, как к его услугам явилась мертвая сверхсила. Этой сверхсилой, стихийной и слепой, овладевает злая воля народов, которая творит... вы знаете, что она творит. Охватив какой-то жестокой страстью целые народы, злая воля добивается всемирной власти, и что ж вы думаете? Может быть, она достигнет более ужасного результата, чем тот, о каком мечтает. Овладеть миром злая воля, может быть, будет не в силах, но превратить себя и мир в развалины — на это у нее, пожалуй, хватит сил. Мы все поминутно повторяем лозунг, не знаю кем впервые высказанный: «Эта война — война на истощение». Но подумайте-ка серьезно, что это значит. Если из двадцати вычесть семнадцать, то останется лишь одна седьмая прежней суммы, а шесть седьмых куда-то исчезнут. Подумайте о том, если европейская цивилизация иссякнет до уровня одной седьмой части своих теперешних средств и сил. Какие из этого могут развернуться последствия для человечества — об этом и говорить не хочется. Но что же делать? Да ничего. В том-то и драматизм положения, что ничего не придумаешь лучше того ужасного, что есть. Если где-нибудь за околицей на вас напала бешеная собака, то наилучшее, что вы можете придумать, это убить ее. Бежать бесполезно. Убеждать собаку, хотя бы сократовскими или евангельскими доводами, бесполезно. Остается изощряться в способах не давать искусать себя и каким-нибудь счастливым ударом положить врага на месте. Как бы по натуре своей вы ни были мало расположены драться вообще с собакой, а особенно с бешеной, но вы обязаны с ней драться до последнего конца...

Опять возвращаюсь к горестному вопросу в начале статьи: как это мы, молодое поколение 1870-х и 1880-х годов, не предвидели и не предупредили возможности столь чудовищной катастрофы? На это я себе же отвечу. Да что ж было бы толку, если бы мы эту катастрофу даже и предвидели? Может быть, наиболее вдумчивые и проницательные из нас и предчувствовали беду, но что же они могли сделать? Ничего. Рыбаки довольно точно предсказывают грозу, но разве они в силах остановить ее? Террористы закричат: надо было идти в террор! Надо было на весь мир распространить разгром, совершенный великой революцией во Франции. Я на это замечу: какой же вышел бы толк из террора? Революция во Франции привела к теперешней республике, которая не в силах бороться один на один с немецкой империей и не в состоянии была даже подготовиться к такой борьбе. Если бы Германия была окружена сплошь такими республиками и даже сама была бы республиканской, это не изменило бы, может быть, дела ни на йоту. Ведь завоевательная со стороны немцев война — создание не одного императора Вильгельма II и даже не кучки его единомышленников. К несчастью, это психоз всенемецкий, охвативший всю эту нацию сверху донизу. Протесты против завоевательной войны были в Германии и продолжаются, но какие они слабые в сравнении с массовым, стихийным помешательством этого народа. Напрасно думать, что всемирная республика обеспечила бы всесветный мир. Республики, начиная с древнеримской, бывали не менее воинственными, чем империи. Древнегреческая цивилизация погибла от борьбы республик, как хиреет от войн и вооружений Южная Америка, сплошь республиканская. Что касается террора в его наиболее преступной форме, то посчитайте-ка, сколько террористами перебито за последние пятьдесят лет монархов и президентов республик! Нельзя забыть, что и нынешняя война источником своим имеет террористический акт — убийство эрцгерцога Фердинанда и его супруги. Нет, террором лечить человечество от войн — это все равно что от болезней лечить отравой.

Что делать? Да то, что делаем. Бороться за жизнь, и если природа пощадит нас, то после общего замирения будем мечтать, как мечтали наши предки, о вечном мире. Только мечтать, а не действовать? — спросить возмущенный читатель. Отвечу: и действовать, если можете. Мечта вовсе не праздное занятие. Она есть тоже действие, она — сверхъестественное в обществе начало всех действий. Многое и многое, о чем мы искренно мечтали, осуществилось. О многом хорошем, к сожалению, мы мечтали не искренно и не сильно — и не получили его. Немцы со страстью мечтали о своем злодействе — вот простая причина их успеха. Но успех этот заставит

человечество со страстью мечтать о подавлении немецкого злодейства — и это осуществится. Когда захочет человечество божественного устройства общества, но захочет искренно и нелицемерно, — оно настанет. Не праздно сказано: «Царство Божие — внутри вас». Пока его нет у нас внутри, а есть какое-то другое царство, мы должны всецело наслаждаться тем, что есть...

В ПРЕДРАССВЕТНЫХ СУМЕРКАХ

17 октября

Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Ис. 21, 11—12).

Первое десятилетие нашей новой государственности закончено. Оно похоже на звено истории, выходящее из ее горна, раскаленное до цвета крови, охваченное пламенем, поражаемое тяжкими ударами, цель которых, может быть, сварить какой-то разрыв, вновь отковать железную связь жизни, подтачиваемую временем. Мы, живые поколения, не можем быть свидетелями тысячелетий и даже веков, нам доступны только десятилетия, и вот даже на границах десятилетий мы чувствуем тяжкую работу исторического процесса, именуемую войнами и возмущениями. В этой работе стихийно участвуем и мы. Молот истории колотит по нашему собственному телу и по нашим нервам, и в огне войн и бунтов гибнут наши же сыновья и братья...

Трудно припомнить десятилетие более драматическое, более насыщенное ужасами, нежели то, что мы пережили. Оглядываясь на прошлое, не приходится, конечно, ни радоваться, ни ликовать. При крайне дурных предвестиях зародился наш бедный парламентаризм, и проклятие этих предвестий он несет до сих пор. Ведь в самом деле припоминается пророчество Исайи о какой-то библейской «Думе»: «Сторож! сколько ночи? — Приближается утро, но еще ночь». И десять лет тому назад в потемках нашей государственности приближалось утро, но стояла ночь, и теперь в отношении общих судеб нашего народно-общественного представительства мы переживаем

то же самое. Единственная разница лишь в том, что тогда мы искренно верили в близкий восход иного, солнечного дня истории, теперь же вера обратилась в хмурое терпение. Что предстоит нам впереди — не знаем, знаем только, что десять лет тому назад катастрофа войны стояла уже в прошлом, теперь же она в настоящем и как разовьется дальше — неизвестно. Исполнился уже год войны с Турцией и почти пятнадцать месяцев войны с двумя немецкими империями, но общие результаты пока неутешительны. Этот внешний факт, как для всех ясно, находится в теснейшей связи с внутренним состоянием нашего отечества, с государственной неорганизованностью нашей, которой более популярное имя — «неготовность». Десять лет тому назад вся ответственность за эту неготовность падала на тогдашний приказный строй, исторически одряхлевший. Само общество и народ, лишенные участия в политической жизни, могли утешать себя иллюзией своей невиновности. И народ, и общество несли все жертвы, необходимые для победоносной обороны, и если японская война окончилась бесславно, ответственность за это ложилась не на нацию, а на ее чиновников. Ныне даже этой иллюзии мы питать не можем, ибо новое испытание войны, вовсе не неожиданной, свалилось на нас через восемь лет после действия какого ни на есть, хотя бы зачаточного, парламента. Тяжесть ответственности за всякий неуспех, и внутренний, и внешний, ложится теперь как на старого виновника — бюрократию, так и на нового члена в правящем организме — народное представительство, а через него — на весь народ. Нетрудно видеть, что с более глубокой, философской точки зрения народ и теперь, как и во все времена, был главным виновником и главным ответственным лицом за все происходящее. Изменяя латинскую пословицу, поистине можно сказать, что сам народ — кузнец своего счастья и что, в сущности, он всегда заслуживает ту политическую организацию, какую имеет. Довольны мы или недовольны порядком вещей, мы обязаны благодарностью за благо не кому иному, как только себе и своим предкам. Что посеяли в прошлом, то и жнем, и если урожайность наших побед, как и урожайность полей, далеко не те, какие допускают природа и культура, то мы этим обязаны собственной неспособности довести развитие политической культуры до возможной полноты. В чем же, спрашивается, лежат корни этой неспособности?

Мне кажется, низкая культура наша, и земледельческая, и политическая, объясняется одной главной причиной: нам мешали. С незапамятных времен в народное творчество наше вмешивается постороннее насилие и спутывает работу, держит ее в зародышевом состоянии. Как говорил Владимир Мономах на совете князей в 1103

году, «начнет орати смерд, и приехав половчин ударит и стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его и дети его и все именье». Плохо защищенная страна на перепутье материков привлекала отовсюду завоевателей и мирных засильников, и вместо мирного, органического строя, дающего накопление сил, устанавливался военный, механический строй, с растратой народных средств. Особенно тягостно было вмешательство в судьбу русского народа двух стихий — германской и монгольской, то есть тех самых, от которых мы отбиваемся и сейчас. В незапамятные для истории времена Россия была уже захвачена готами, и хотя немецкие историки утверждают, что именно готам русские племена обязаны начатками государственности, однако факт тот, что готы не сумели организовать для нас государственность, достаточную для отпора внешнему врагу. Напротив, в течение нескольких столетий владычества своего готы создали государственность весьма дряблую, неспособную защищать страну, и дело закончилось гуннским завоеванием. Вторая германская волна: варяги тоже не сумели сплотить славяно-русские племена в одно великое целое; напротив, введенный варягами удельный строй подготовил Россию ко второму азиатскому завоеванию в лице татар. Нужно было совершенно истлеть варяжским корням, чтобы Русь внутренним органическим процессом сложилась в сильную государственность. Но как только это совершилось, надвигается третья германская волна, залившая Россию при Петре I и его преемниках.

Завоевание это было мирное, но если рассмотреть его пристально, то оно, по существу, почти ничем не отличалось от военного. Подобно готам и варягам, немцы после Петра Великого внесли свои начала в нашу национальную государственность, вовсе не способствовавшие ее силе. Ни тирания Бирона, ни голштинско-прусская муштра Петра III и Павла I не могли дать России того, чего ждал от немцев последний московский царь, довольно подчинившийся немецкой культуре. Он ждал и надеялся, что немцы помогут России догнать Европу в том немногом, в чем мы тогда отставали, и главным образом в технике, в технической организованности народного труда. Если бы немцы сделали это, то Россия была бы богатейшим и могущественнейшим государством в мире, но немцы обманули надежды Петра. Ни в какой области техники Россия, как оказывается, не догнала Запада, а наоборот — даже в области военной обороны немцы довели нас до крайне опасной отсталости. Артиллерия, например, появилась в России за триста лет до Петра: при Иване Грозном она отличалась обилием, удивлявшим иностранцев. Уже за целое столетие до Петра у нас имелся собственный

Крупп — литейный мастер Андрей Чохов, который способен был отливать такие титанические орудия, как знаменитая Царь-пушка. Стоящая доныне, уже четвертое столетие, в Кремле Московском, она служит немым свидетелем богатырских возможностей нашей старины, задушенных немецким вторжением. Любопытно, что еще за целое столетие до этой Царь-пушки, в 1488 году, была в Москве же отлита тоже Царь-пушка, до нас не дошедшая. Если с этими фактами сопоставить то обстоятельство, что в 1915 году, при всем героизме армии, мы были вынуждены отступить перед 42-сантиметровыми орудиями Круппа, то вы убедитесь, что в области наиважнейшей в культуре, там, где решается жизнь и смерть народа, немецкое владычество не утвердило могущества нашего племени, а, напротив, в опасной степени расшатало его. В течение последнего столетия немецкое внутреннее засилье делает самые глубокие и тяжкие захваты, и как естественное следствие их начинается целый ряд бесславных войн, из которых каждая не доведена до победоносного конца по отсталости вооружения и военной организации армии. Так было в деле внешней безопасности, и то же самое шло в области и внутренней политики.

Несмотря на то что патриаршество, земский собор и боярская дума только что спасли Россию от польско-шведского нашествия и вручили корону родному деду Петра, этот государь до такой степени поддался внушениям московской немецкой колонии, что отменил и патриаршество, и земский собор, и боярскую думу, и саму Москву как столицу царства. Весь органически-национальный строй наш принесен в жертву основной мечте: сделать Россию похожей на Германию. Что же мы получили взамен неслыханных в истории жертв? Получили несколько сот тысяч немцев на разные начальственные должности и с ними вместе ту бюрократическую и полицейскую психику, от которой до сих пор отделаться никак не можем. Хотя немцы не завоевывали нас силой оружия (напротив, сами были чувствительно побиты при Елизавете), тем не менее, внедрившись в Россию и захватив преобладание в правящих классах (вспомните генерала Ермолова, просившего о производстве его в немцы), эти новые наши готы и варяги в опасной степени задержали эволюцию нашей государственности. Равнодушные к России, презирающие ее в глубине сердца, немцы ни за что не хотели дать русскому народу даже тех прав, которыми пользовался немецкий народ в Германии. Император Александр I, искренний поклонник конституционализма, давал конституционное устройство покоренным Россией народам — полякам и даже финнам, Россия же, после всех потуг Сперанского, так и осталась при крепостном праве.

Оглядываясь назад, следует признать величайшим несчастием то обстоятельство, что вспоминаемое сегодня «17 октября» произошло в 1905 году, а не в 1805-м и даже не в 1705 году, когда Петру Великому не было нужды сочинять новую конституцию, а достаточно было остаться верным той, которую он унаследовал от предков. То, что было с тяжкими страданиями рождено десять лет тому назад, просилось к жизни и сто, и двести лет тому назад и совершенно напрасно было задушено в угоду нашей немецкой колонии. Как ни зачаточны были учреждения земского собора и боярской думы, но они ничуть не ниже даже по конструкции своей теперешних наших законодательных палат. А по жизненности своей и практическому влиянию на жизнь, пожалуй, старое наше представительство было повыше нового. Петру Первому, которого в данном отношении не хочется назвать Великим, не следовало производить государственного переворота, не следовало разрушать родной национальный стиль государственности, более совершенный, чем у современных ему немцев. В том стиле и при великолепном представительстве Церкви (патриарх), аристократии (боярство) и народа (земский собор) самою жизнью было нащупано и осуществлено «единение царя с народом», о котором через двести лет все еще толкуют и толкуют. В том старом стиле все огромное тело нации было признано государственным существом, которому подобало известное уважение, свобода голоса, право участия в своей судьбе. С неслыханной, заимствованной у тогдашних немцев грубостью Петр Первый вывел весь русский народ за черту политического бытия, лишил его политического сознания и погрузил в двухвековую «ночь».

Подслуживающиеся к онемеченной нашей бюрократии историки клеветали и продолжают клеветать на допетровский быт, и в том числе на наш старый допетровский парламент. Конечно, это было учреждение, далекое от теперешних понятий о совершенстве, но оно казалось удовлетворительным для наших предков, как казались удовлетворительными приземистые тогдашние хоромы с крохотными окнами и низкими сводами. Я лично не рекомендую возвращаться ни к этим сводам, ни к неуклюжим формам земского собора. Но я считаю роковой ошибкой, чтобы не сказать историческим преступлением, ту революционную грубость, с которою Петр, под внушением немецкой колонии, взял да и срыл родную государственность. Следовало развивать ее, а не уничтожать. Сохранись у нас патриаршество, боярская дума, земский собор, через двести истекшие лет они были бы уже вполне сформированными, отстоявшимися, прочными учреждениями, сообразованными с жизнью, и драгоценнейший плод политической культуры — гражданская свобода — не пребывала бы в кислой завязи, как теперь. Все-то мы,

злосчастные, «начинаем» жить, все-то «готовимся», все чего-то ждем, негодуем на настоящее и мечтаем о будущем. Но эта трагикомическая картина получилась только оттого, что мы с легкой (точнее, с тяжелой) руки Петра вступили на путь хронической государственной революции, хронического разрушения того, что создает живая общественность, пытающаяся залечить свои бесчисленные раны. Немецкая колония, сложившаяся в Москве еще до Петра, сообразила тогда, что нет нужды завоевывать весь народ — достаточно покорить себе нравственно одного властителя, и вся земля будет лежать у их ног. Замысел почти удавшийся... Может быть, все ужасное, что мы переживали за эти двести лет и переживаем сейчас, могло бы быть объяснено этой старой немецкой интригой.

Что сказать о нынешней Государственной Думе? Конечно, она не то, чего мы жаждали и ждали десять лет назад. Если бы тогда сложилась решимость взять культурную государственность с теми же требованиями, какие мы предъявляем к автомобилю и аэроплану, то есть с тем условием, чтобы введены были все усовершенствования в них до последнего дня, то, конечно, парламент наш дал бы и результаты далеко не те, что он дает теперь. Представьте, что в автомобиле вы требуете непременно устарелой системы, непременно зачаточного мотора, первобытных шин и рессор. Ясно, что на такой машине далеко не уедешь и комфорта от нее ждать напрасно. А наш парламент представляет именно зачаточный автомобиль, причем все внимание устремлено на то, чтобы отстоять его зачаточность. О последствиях такого отношения к парламенту говорить не будем: учесть, насколько страна страдает от крайне замедленного и качественно несовершенного законодательства, очень трудно. Но кроме мирного законодательного изнурения Империя переживает и военную катастрофу, которая в сильнейшей степени связана со слепотой у нас народного представительства в той области, где зрение его должно быть особенно зорким. После японской войны, которая явилась грозным предостережением, великий народ должен был бы понять, что он плохо вооружен и что это плохое вооружение является неодолимым соблазном для хищных соседей. Наш парламент — будь он построен по иным чертежам — мог бы отвести грозовую тучу от своего отечества или системой хороших громоотводов поглотить энергию этой тучи сравнительно безвредно. Но новая постройка явилась лишь слегка измененной копией старых хоромин, и на судьбу России присутствие его влияет слабо. Еще во времена Герцена Россия казалась страной бездействующих возможностей. Вспомните про Царь-колокол, который не звонит, и про Царь-пушку, которая не стреляет. Если к бюрократии, которая ставит вопросы и не решает их, прибавить парламент, который занимается тем же, то ясным станет настроение, с которым мы вступаем во второе десятилетие парламентской эры. Оно не розовое и не голубое.

1916 год

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

8 мая

«Золотое славянское сердце соединится с разумом Запада и образует ценный сплав; из него будет отлит колокол, который возвестит рождение новой цивилизации, когда справедливость будет возвышать свой голос с той же силой, как и любовь».

Эти слова знаменитого поэта Жана Решпена, обращенные как привет к членам нашей Государственной Думы, гостящим во Франции, меня несколько царапнули по сердцу. Приветствие изысканного поэта изысканной нации написано в стиле тех священных изречений арабской вязью, которыми украшены фронтоны восточных храмов. Тут глубина и красота мысли и пышная узорность ее, предназначенная вместе с фресками нежить взоры веков. Но если перевести эту утонченность на простой язык, то получается несколько обидный (по крайней мере для меня лично) смысл. Желая сделать России наилучший из комплиментов, французский поэт ничего не нашел отметить, кроме «золотого славянского сердца». Оно противоставляется будто бы равносильному достоинству Запада, именно разуму его, простому или бриллиантовому, к сожалению, не прибавлено. Итак, у нас только хорошее, золотое сердце, у них — разум.

Признаюсь, мне лично такая национальная характеристика славянства, помимо вопроса о ее справедливости, не кажется лестной. Она напоминает характеристику славянской расы, данную когда-то Бисмарком. По мнению последнего, славяне — племя женственное по характеру, тогда как немцы — племя мужское. Немец будто бы как тип мужчина, славянин всегда немножко женщина. Не кажется обидным, когда говорят о золотом *женском* сердце; превозносить же золотое сердце мужчины значит в каком-то важном отношении компрометировать его. Так, по крайней мере, среди народов арийской расы установилось понимание мужественности и женственности. «Мужчина должен быть свиреп, гласит испанская пословица», — говорит один тургеневский герой. Есть ли такая пословица, я не

знаю, но и на нашем языке, когда говорят человеку: «Не будь бабой», хотят выразить, что мужчине неприличны слабость сердца, мягкосердечие, чувствительность и излишняя нежность. Я боюсь, что прославленный французский поэт, говоря о «золотом славянском сердце», совсем нечаянно для себя расписался под бисмарковской характеристикой славянской расы.

Что славянам недостает твердости характера, то есть ясно выраженного стиля души, об этом чуть не в один голос говорят все европейские наблюдатели, которые серьезно интересовались этим вопросом. Если не все, то многие говорят о славянском добродушии, о славянской мягкости, простоте, безыскусности, возможности без особенных церемоний сойтись с человеком и сдружиться с ним. Сдружившись же с русским человеком, очень нетрудно и поэксплуатировать его, приспособить к тому, чтобы он обслуживал вас без большой, а иногда и без всякой требовательности относительно вознаграждения. Это дорогое и прямо-таки золотое свойство русского сердца из европейцев прежде всего открыли немцы и давным-давно, лет триста тому назад, начали использовать этот источник дохода. Судя по множеству выходцев из Ливонии, «из Прусс», из Швеции, из земли Цесарской, немцы потянулись в Россию еще в великокняжеские времена Москвы. В середине XVII века в Москве была уже очень крупная немецкая колония. Судя по отзывам немцев о России, они и тогда презирали ее, как только может грубый мужчина презирать женщину. А в какой степени даже гениальный немец может презирать женщину, об этом прочтите у Шопенгауэра в его убийственных отзывах о слабом поле. Для Шопенгауэра женщина — это «второй сорт» человека, существо на целую ступень ниже мужчины.

Поразительно, с какой настойчивостью из века в век от подавляющего большинства немцев повторяются презрительные отзывы о русских. Если немалое количество немцев сливались с русскими и делались даже горячими русскими патриотами, то это, может быть, объясняется славянской кровью, принесенной еще из Германии: немецкий Drang nach Osten, стерший с лица земли множество славянских племен Средней Европы, сделал немцев — особенно восточных — полуславянами. Но несмотря на это или, вернее, вследствие этого антипатия немцев к России и русским установилась прочная и незыблемая, антипатия не ненависти, а именно презрения. «Русская свинья» — это сделалось даже не бранным словом, а ходячей формулой в устах немцев. Русский человек представляется немцу существом грязным, глупым, но очень выгодным для эксплуатации. Неприхотливый корм для свиньи, какое угодно поме-

щение — и сколько вкусной ветчины, сала, щетины! Отсюда неудержимое тяготение немецкой стихии в Россию. Наша родина сделалась Hinterland Германии, страной колонизации для западных культуртрегеров среди «низшей расы». Пользуясь нашим «золотым славянским сердцем» и доходящим до глупости гостеприимством, забирая наши земли, капиталы и власть, немцы укрепились в мысли, что славянство вообще и Россия в частности есть только «подстилка» для германской народности, вроде соломенной подстилки в хлевах для породистого немецкого скота...

Мне кажется, слишком строго винить немцев за это обидное к нам отношение нельзя. Ведь мы же сами подаем для него серьезнейший повод и основание. Немцы триста лет твердят о русской глупости, но ведь и в самом деле есть налицо по крайней мере одна колоссальная и непростительная глупость — это терпеть на своей земле присутствие столь наглого, внедрившегося к нам паразита. Не только хитрый немец, но даже известное насекомое в голове неопрятного крестьянина имеет право кричать на весь свет: поглядите, до чего глуп этот добродушный народ! Ему лень взять гребень и вычесаться! На самом священном месте своей особы, на голове, где должна бы помещаться корона этого царя природы, он тысячу лет терпит присутствие таких маленьких с виду, но очень расчетливых и рассудительных насекомых, от которых ему одно беспокойство. Но ясно ли, что этот царь природы глуп в сравнении с ними? Не ясно ли, что он служит естественной и вечной подстилкой для их расы?

Хотя каждый крестьянин только усмехнется, когда услышит об уме колонизующих его голову насекомых и о его крестьянской глупости, и хотя в самом деле какой же ум можно предполагать у такой противной дряни, что гнездится в волосах, но тем не менее попробуйте-ка выкрутиться из этой логической ловушки. Что паразит поступает умно, размножаясь там, где находит себе пищу, это ведь, кажется, бесспорно. Что крестьянин поступает глупо, терпя этого паразита, столь доступного и уловимого, это тоже бесспорно. А стало быть, при некоторой склонности к софистике и в самом деле можно утверждать, что насекомое умнее человека. В немецком презрении к России, несомненно, кроется этот софизм, но столь же несомненно, что мы сами подаем для него очень серьезнейший повод. Золотое ли у нас сердце, как утверждают европейцы из вежливости, или не совсем золотое, но что касается *разума*, то его действительно во множестве случаев у нас заметно недостает — и в мелочах жизни, и даже в трагических решениях. Ведь сколько ни оправдывайтесь, в самом деле неумно жить в грязи, если можно не

жить в ней. Неумно хворать от коросты, если можно не хворать от нее. Неумно терпеть около себя мышей, крыс, тараканов, клопов, блох и пр., до заразных бацилл включительно, если чрезвычайно легко и просто избавиться от подобной нечисти. Не подыскивайте извинений этой и всякой другой неряшливости. Извинения, конечно, найдутся, но они все сводятся к некоторому душевному дефекту. Кроме грязи и насекомых есть множество всяких иных условий, угнетающих жизнь, от которых при достаточном желании было бы легко избавиться. Нетрудно было бы избавиться, например, от сквернословия, загрязняющего язык и душу, или избавиться от пьянства, или от обычая колотить под пьяную (а иногда и под трезвую) руку своих жен и ребятишек, от обычая работать кое-как да как-нибудь вместо того, чтобы хорошо работать, и пр., и пр. Следует признаться, что при всем простодушии и добродушии, при всем здравом смысле, в остроте которого русский человек никому не уступит, все же на обширном пространстве русской жизни в самом деле недостает разумности. Ум есть, но он каким-то образом остается в головах людей и не вкладывается в жизнь, по крайней мере в степени достаточной. Ум есть, но нет накопления его, нет того напряжения, при котором он сам, так сказать, автоматически насыщает пространство. Мало вложить в какое-нибудь предприятие «капитал». Нужно, чтобы этот капитал был достаточный, иначе и дело пропадет, и капитал пропадет. Беда наша в том, может быть, что мы влагаем в нашу жизнь не весь необходимый для нее разум, а лишь некоторую часть его. Обдумываем жизнь, но не до конца, и оттого она часто принимает характер как бы полоумный.

Накопление разума

Сохраним наше сокровище — «золотое славянское сердце», но будем стараться о накоплении и другого великого человеческого свойства — именно разумности. Не забудем, что в смысле сердечной мягкости есть множество кротких животных, за которыми нам не угнаться, — агнцы, голуби, бабочки, червячки... Весь травоядный мир отличается большой кротостью, а растения — те совсем вялые, кроме некоторых хищных и паразитных пород. Не забудем, что единственное свойство, высоко поднимающее человека над природой, — это разумность. Не забудем, что в человеческой семье многие дикие племена отличались удивительной кротостью, что не избавило их от истребления. Не «золотое сердце», а именно разум выдвигает высшие человеческие расы над низшими и дает власть под небом. Если имеется какая-нибудь возможность усиливать в

себе это высшее свойство — разумность, то, мне кажется, всякий народ должен использовать все способы к тому. Спрашивается, есть ли способы для целых наций сделаться разумнее? Мне кажется, есть. У западных европейцев, может быть, эти способы уже в значительной степени использованы, и они ближе к возможному пределу развития, у нас же, позднее выступивших на арену всемирной цивилизации, в этом отношении есть еще большой простор.

Почему западный человек представляется г-ну Ришпену (и не только ему) более разумным, чем восточный? Потому что разум его из отвлеченной силы вследствие накопления сделался силой действующей, idée force, по определению Гюйо. А это произошло просто вследствие более долговременной умственной гимнастики тех европейских рас, которые случайно, как ближайшие соседи, сделались наследницами древних, умственно богатых цивилизаций. Разумность есть функция мозговой ткани. Эта ткань, подобно мускульной, подчиняется законам подбора и упражнения. Примесь более культурных, более воспитанных рас, несомненно, поднимает умственную силу, как примесь диких и грубых народностей понижает эту силу. Но *развивает* умственную силу до границ возможного только долговременное, многовековое упражнение. Когда вы бываете в европейской толпе, вы сразу замечаете, что англичане, французы, итальянцы и пр. имеют несколько более широкий череп, нежели малокультурные, например экзотические, народности. Есть и между европейцами малоголовые и плоскоголовые обладатели первобытных черепов, но процент таковых меньше, чем у варваров. Даже на простой глаз, без измерительных приборов, вы видите у культурных европейцев более могучий мозг. *Он ими нажит*, он усовершенствован ими в ряду поколений, и средством для этого служило так называемое просвещение. На много столетий раньше нас новая Европа усвоила от древней зачатки наук и искусства, а через грамотность — зачатки идей и представлений, свойственных гениальной стадии цивилизации. Если нынешние ученые говорят о материальном количестве электричества, то, может быть, допустимо говорить и о материальном объеме мысли, рассеиваемой в пространстве. Если в душе самоеда, скажем, живет и действует *n* мыслительных единиц, то в душе киргиза — *2 n*, в душе англичанина — *3 n*. Естественно, что для тройного объема идей нужно и повышенное число мозговых клеток и волокон, что требует более просторной черепной коробки. И самоедам, и киргизам для того, чтобы поднять умственную силу своих народностей, нужно постепенно втянуть себя в оживленный процесс европейской мысли. Если славянская раса с ее золотым сердцем несколько отстала от запад-

ных собратьев в напряжении разумности, то есть простое (притом единственное) средство: втягивать народную массу в жизнь Европы, в блистательное одушевление тамошней интеллигенции, в общее наследие человеческого рода, захваченное пока лишь немногими более счастливыми сонаследниками. Мы не самоеды и не киргизы, мы — арийцы и с каким ни на есть, но все же тысячелетним прикосновением к Западу. Более или менее общее у нас с Западом христианство само по себе обладает такой массой идей и представлений, что не могло не быть помимо нравственности и хорошей умственной школой. Наконец, свыше двух столетий мы живем с Европой общей политической, промышленной и культурной жизнью. Для России требуется очень немногое, чтобы поднять разумность народной мысли до ее западного потенциала. Об этом свидетельствует развитие отдельных русских даровитых людей. Не говоря о гениальных наших людях, даже просто талантливые, вроде проф. Мечникова, Ковалевского, Виноградова и пр., пройдя европейскую школу, считаются уже *своими* на Западе. Их охотно приглашают на университетские кафедры, удостаивают высших ученых степеней. Нет сомнения, что и общей массе народа русского нужно очень немного подвинуться в просвещении, чтобы догнать французов и англичан. Но это *немногое непременно должно быть сделано.*

Если судьба пошлет нам победу в этой страшной войне, мне кажется, печать должна обратиться с горячим призывом к обществу во что бы то ни стало просвещать народ, развивать в нем высшую разумность. Даже победоносная война обнаружит крайнюю опасность нашей культурной отсталости. Теперь-то мы ясно видим, что владычество немцев у нас было недобросовестным в высшей степени. У себя в Германии немцы за эти двести лет из всех сил старались просвещать народ, ибо для них это был родной народ, который они любили. У нас же они не любили русского народа, который кормил их, а глядели на него с презрением. Оттого у нас запоздало с своей отменой и крепостное право. Оттого запоздало и всеобщее школьное обучение. Оттого в начале XX века мы наименее образованная страна в Европе, особенно в отношении технического труда. Влиятельные немцы умышленно старались держать нас в черном теле и навсегда приурочить к наиболее грубым, чернорабочим формам труда. Немудрено, что при несомненной талантливости русского человека он в массе своей умственно связан, и не только элементарным невежеством, но и общим пониженным запасом идей. Печати следует настаивать на усиленном развитии прежде всего технического образования, ибо только организованный культурный труд в состоянии спасти нас от общего надвигающегося разорения.

Но вместе с техническим образованием необходимо и гуманитарное, и общефилософское (в английском смысле этого слова). Необходимо, чтобы народные массы получали в школах известное развитие ума и вкуса, соответствующее нашему веку, а не какому-нибудь каменному или бронзовому. За все прошлое человеческого рода слишком много приходило в мир великих людей, но народ наш в своих толщах даже не знает об их пришествии. Нужно положить этому конец, нужно соединить дух народный с гениальным сознанием, накопленным в человечестве, как это уже делается в школах Америки и Европы. Попробуйте весь народ сделать грамотным — это не так уж трудно. Попробуйте сделать его хоть немножко образованным. Это тоже нетрудно при настойчивых усилиях. Если весь народ никогда не будет талантлив и никогда — высокоразвит, зато доступное народу хотя бы маленькое образование откроет множество скрытых теперь талантов и блестящих способностей к образованию. Раскопки земли никогда не сделают ее сплошь золотой, но откроют огромные сокровища самородков и золотоносных жил. Наш разум народный, признаем это скромно, далек от завершения, но он *может* и, следовательно, *должен* получить всемерное развитие. В несколько десятилетий мы в состоянии догнать Запад, и это очередной долг наших ближайших потомков. Он, к сожалению, не выполнен нашими прадедами, дедами и отцами. Он не выполнен и нами. Но он должен быть наконец исполнен!

СЛУЖБА ГЕРОЕВ

2 июля

Завтра — праздник героев. Это еще не тот триумф, которым благодарная родина сочтет долгом встретить их после победоносной войны, если Господь пошлет победу. Это лишь та минутная передышка в разгар великого зрелища, когда оно невольно прерывается взрывом неудержимых рукоплесканий, чтобы смолкнуть снова и дать возможность вновь со страстным биением сердца следить за развивающейся трагедией. Чудовищная война еще далеко не кончена, но, видимо, вступила в период окончательных и крайне ожесточенных битв, причем инициатива нападения уже потеряна разбойным гнездом народов и им самим приходится отбиваться от тяжкого возмездия оскорбленных наций. По самой природе нынешней войны — войны вооруженных народов — слишком стремительные успехи не могут быть продолжительными. После блистательных

обвалов на разных фронтах следует ожидать вновь некоторого периода установившегося равновесия сил, пока новое их накопление не вызовет нового шумного разгрома.

В дни праздника в честь храбрых хочется еще раз вспомнить, чем обязаны мы их героизму и теперь, и в прежние века. Без большого преувеличения можно сказать, что народ не чем-нибудь, а *всем* или почти всем обязан этому благородному своему качеству. Не было бы героев, не было бы и завивающихся около них государств. Не было бы государств — ни один народ не поднялся бы даже на низшие ступени цивилизации. Мы до сих пор пребывали бы в состоянии бродячих дикарей каменного периода, общество которых рассыпалось подобно тучам, по мере накопления. Несомненно, и тогда происходили постоянные драки и кровавые битвы между дикарями, но необходимо было появление каждый раз исключительной отваги, чтобы одержать широкие победы, объединившие постепенно все родственные племена. Материал для наций дается природой, но сами нации слагаются как продукт лишь государственной культуры, дающей возможность под охраной героев развиваться мирному труду. Наша народность вышла на поприще истории благодаря блестящим завоеваниям Олега и Святослава, сына Ольги. Но как бы ни были обширны и блистательны завоевания, история свидетельствует о крайней их непрочности, если первая дружина храбрых не сменяется второй такой же дружиной, третьей и т. д. Великое дело первых варяго-русов (уже Святослав был по матери русский) поддержано было сословием богатырей. Хотя известия о них мы черпаем главным образом из народного эпоса, но здесь уместно выражение Аристотеля о том, что поэзия выше истории. Героический эпос объясняет в высшей степени точно, какую государственную задачу выполняли святорусские богатыри. Они стояли на страже земли Русской, на границах ее и проезжих заставах, давая сверхчеловеческий по силе и доблести отпор всякому разбойному соседу, всякому «вору-нахвальщине», которому казалось тесно в своих границах.

Богатырское сословие было нашим национальным рыцарством, питавшимся не одной родовой знатью, а благородным мужеством всех слоев, причем украшением этого рыцарства являлись титаны-пахари — Илья и Микула. Вероятно, под тяжким впечатлением удельных смут, наказанных татарским игом, сложилась былина о том, как перевелись герои, но в действительности они вовсе не перевелись. Возможно, что все великое сословие богатырей было истреблено в непосильных битвах, но племя русское отродило их вновь — в тех героических полках, что сражались под знаменами Мстиславов Храбрых и Удалых, Александра Невского и Дмитрия

Донского. Органически сложившееся на окраинах наших казачество нужно считать побегами богатырских корней, и, как известно, эти побеги до самых последних дней обладают чудотворной отвагой своих полумифических предков. Не перевелись витязи на Руси, и не далее как только что пережитые недели с блистательными победами свидетельствуют, что все великое в народе бессмертно, в том числе и заложенная в крови народная отвага.

Не робкая осторожность и уж никак не низкая трусость позволила нашим предкам сбросить страшное иго, иго тех варваров, под ярмом которых еще до сих пор стонут некоторые несчастные народы. Официально удостоверенное (то есть признанное турками) истребление миллиона армян в Турции за период только этой войны доказывает красноречиво (будем надеяться, что в последний раз) всю бедственность монгольского завоевания. Наши предки нашли в себе мужество не только сбросить эти жестокие цепи, но в дальнейшие века и освободить от них целый ряд христианских народностей, из которых не все настолько подлы, как Болгария, чтобы забыть об этом нашем подвиге. Для ведения в течение трех столетий одиннадцати войн с Турцией, расшатавших ее могущество, нужно было немало отваги. Ведь еще в эпоху Ивана Грозного Турция считалась сильнейшею державой в свете и заставляла дрожать Западную Европу. Только Польше (в лице героя Собесского) и России (в лице Суворова) Европа обязана тем, что не пережила ига, которое в течение нескольких веков переживала Испания. Ян Собесский удостоился от лица человечества редкого памятника — целого созвездия в небесах, названного его именем («Щит Собесского»). Когда-нибудь оценены будут и тяжкие жертвы России, служившей щитом для нашего материка от набегов разных варваров.

Не добротой славянского характера и не только здравым народным смыслом, но по преимуществу беззаветной храбростью своих героев Россия давала отпор и западным завоевателям, из которых иные были великими полководцами. Приходилось воевать с отважнейшими из соседей, руководимых такими вождями, как Ярл Биргер, Витовт, Стефан Баторий, Густав Адольф, Карл XII, Фридрих Великий, Наполеон. **Не раз великая Империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия.**

Было бы непониманием истинной природы мужества ограничить ее роль только внешней безопасностью. Все понимают, что не менее важна и внутренняя безопасность, требующая большого бесстрашия перед всеми разрушительными силами внутри. Осознав яв-

ную опасность, всегда бестрепетно нападать на нее и непременно одерживать верх над ней — в этом вся формула внутренней политики. Если мы и не можем похвастаться здесь слишком прочными успехами, то все же самый факт существования русского государства доказывает победу положительных начал его над отрицательными. Но где особенно необходим героизм, так это в той вечной внутренней войне за жизнь, которая называется трудом народным. Каждый день с раннего утра подавляющее большинство народное работает, то есть одолевает известные препятствия. Каждый хорошо законченный труд есть победа, каждая производительная затрата сил есть успех, и вот здесь приходится всякому трудящемуся человеку рассчитывать далеко не на одни мускульные или умственные силы. Решает успех работы чаще всего *характер*, настойчивость, способность заставить себя, если нужно, исчерпать всю энергию без остатка, лишь бы добиться цели. Это героизм. Когда во время летней страды вы видите крестьянина, исхудавшего и почерневшего от напряжения под палящим зноем, то он похож на побывавшего в огне, в окопах. Походить в глубоких бороздах земли за тяжелой сохой до смертельной усталости — для этого нужна стойкость, особенно если это требуется изо дня в день, с переходом от одной тяжелой работы к другой тяжелой. Необходима стойкость и для фабричного рабочего, и для того, кто выламывает руду или уголь в глубине земли, и для того, кто по шестнадцать часов не встает со своего канцелярского кресла, если он работает сознательно и добросовестно.

Всякий тяжелый и честный труд, достигающий успеха, есть героический труд; и это не только роднит наших доблестных воинов с мирными тружениками, это отождествляет их. В самом деле, кто же эти герои, взявшие за полтора месяца четверть миллиона пленных? Ведь это вчерашние чернорабочие, крестьяне и мещане, с примесью рабочей интеллигенции, которая в лице офицерской молодежи идет не сзади, а впереди героев. Если спросить, откуда берется военный героизм, то философы едва ли найдут другой источник его, кроме труда народного. Именно труд, ежедневный и тяжелый, тренирует народную энергию, воспитывает ее в настойчивости, в привычке и, наконец, в страсти преодолевать препятствия. Ежедневный интеграл всех трудовых одолений составляет ежедневное завоевание жизни, ежедневную победу народную. На войне эта привычная победа развертывается в одном направлении вместо многих — вот источник военного героизма. На войне работают те же мускулы, те же нервы и та же воспитанная трудом настойчивость воли, что и в мирном быту. Мы, русские, далеки от того, чтобы

приписывать только себе способность отваги. Наоборот, заканчивая второй год войны, мы нравственно обязаны признать, что в лице немцев мы имеем изумительно стойких врагов, как в лице французов и англичан — изумительно героических союзников. Для множества маловдумчивых людей этот факт поразительной стойкости и отваги у армий образованных и, казалось бы, изнеженных народов представляется неразрешимой загадкой. Ожидали, что высококультурные народы Запада разучились драться, разучились любить свое отечество и что, превратившись в зажиточных буржуа, они перестали быть героями. Действительность опровергла это предубеждение. И немцы, и французы, и англичане, и итальянцы соперничают друг с другом и с нами в подвигах легендарного бесстрашия. Чем же объяснить это?

Только тем, мне кажется, что и западные народы, как русский народ, *очень трудовые народы,* и в человечестве даже сверхтрудовые. Они воюют и в мирное время, то есть трудятся с величайшим напряжением. Они и в мирное время ежедневно побеждают, и эта страсть заканчивать, достигать желаемого результата вошла целиком в их теперешнее военное одушевление. Кроме благородного идеализма, воспитанного пятнадцатью столетиями христианства, кроме идеализма, требующего отдать жизнь за отечество, в замечательной храбрости европейских народов сказывается их железный характер, воспитанный повышенным трудом. Умирают с особенной радостью те, кто и в мирном труде не щадили жизни. Разве европейское общество, в том числе и наше, дает мало примеров так называемых заработавшихся людей, уморивших себя на лично не нужном сверхсильном труде? Пожалуй, теперь что ни выдающийся человек — то именно герой труда, и что ни преждевременная кончина — то героическая жертва обществу.

Но если военный героизм растет на корне и стебле мирной трудовой энергии, то по всей справедливости его можно назвать *цветом* ее. Это истинный расцвет души народной во всей красоте и роскоши, на какую она способна. Dulce et decorum est pro patria mori* — это было известно и древним народам, и до сих пор, наперекор пацифистам, является органическим для всех много работающих народов. Я не знаю, есть ли на свете совсем не работающие племена, кроме дикарей, питающихся кокосовыми орехами. Но если есть расы ленивые и действительно обессиленные своей ленью, то это, наверное, наименее стойкие, наименее храбрые племена. Если некоторые воинственные варвары, вроде древних гер-

* Сладостно и почетно умереть за родину (*лат.*).

манцев, презирали труд, возлагая его на женщин и рабов, то не надо забывать, что эти же варвары весь досуг свой посвящали тяжелой охоте, военным состязаниям и поединкам, что стоит всякого повышенного труда. То же следует сказать о героических веках Древней Греции и Рима: свобода не освобождала граждан от труда и войны, а обязывала к ним. Военный героизм, питаясь мирной энергией, давал не только пышный цвет, но и плод ее.

Что можно назвать *плодом* национальной энергии, высшей целью, для которой народу стоит жить? Мне кажется, это *достойное* положение среди народов, не постыдное ни вне, ни внутри страны. Как и отдельному человеку, всему народу стоит жить для независимости — внешней и внутренней. Кто же заканчивает для народа приобретение этой независимости, если не герои? Чьей священной крови мы обязаны тем, что до сих пор сохранили свое державное место на земле и если подчиняемся, то лишь родной власти, а не чужой? Подумайте же над этим со всею серьезностью, до трагизма, подсказываемого ходом времени! Герои нам в самой повелительной степени нужны. Они необходимы не только на войне, где самые страшные машины истребления являются предателями, отнимите от них героев. Люди бесстрашные, люди, способные не медлить, люди, побуждаемые долгом к великим решениям, безусловно, нужны и в мирное время; и нет ни малейшего сомнения, что по окончании войны истинные герои явятся и в мирной нашей жизни облагораживающей ее силой. Карлейль в своем «Heroworshi p» доказывает с гениальной убедительностью, что героизм — источник *всякого* человеческого величия и что все основные типы вождей общества — пророк, законодатель, полководец, поэт, ученый и пр. — могут быть великими лишь в меру своего героизма. Поэтому если цивилизованный народ хочет отстаивать свою высоту, на которую он вознесен подвигами предков, ему необходимо всемерно поддерживать культ героев. Только в этом культе нация аристократизируется, только в нем принимает облик, наиболее величественный из возможных для нее.

Все эти мысли не покажутся излишними в те дни, когда столица русская и ее окрестности будут иметь счастье чествовать наиболее заслуженных своих воинов, выбывших из строя: невыбывшие будут и в эти дни сражаться за народ свой. Нам, трудовой части нации, не стыдно глядеть в глаза этим избранным, ибо они плоть от плоти нашей и характер от нашего характера. Русский народ может гордиться, что родил этих героев, и воспитал их, и выслал против чудовищных врагов в количестве, для тех неожиданном. Но гордость считать этих богатырей своими не должна уменьшать на-

шего неоплатного чувства долга перед ними и горячей, неостывающей благодарности. Война скоро вступит в третий год беспощадного человекоистребления. Не забудем прежде всего мужественно погибших на поле брани, не забудем их священных могил! Не забудем сирот их, для которых кормильцем и родителем должен сделаться весь народ русский. Не забудем героев, изувеченных в бою и потерявших способность поддерживать свое существование. Повторяю: когда по милости Божией война окончится полной победой над врагом, гражданам-героям мы воздадим величайшую славу, какая на нашей земле доступна, но и не дожидаясь окончания войны, дадим понять, что их страдания замечены и подвиги оценены.

Примечания

Сословный строй

1. Токвиль Алексис (1805—1859) — французский государственный деятель и историк. Лидер консервативной Партии порядка. Министр иностранных дел (1849). Автор книг «О демократии в Америке» (1835) и «Старый порядок и революция» (1856).
2. Тэн Ипполит (1828—1893) — французский историк, литературовед. Автор книг «Критические опыты» (1858), «Философия искусства» (1865—1869).
3. Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — русский агроном и публицист. В 1866—1870 — профессор Земледельческого института в Петербурге. В 1871 за участие в революционных действиях сослан в Смоленскую губернию. Автор писем «Из деревни» (1882).

Власть как право

1. Столыпин Александр Аркадьевич — русский публицист, октябрист. Сотрудник газеты «Новое время». Брат П. А. Столыпина.

Свиньи и бесы

1. Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833) — русский писатель, естествоиспытатель, агроном. Автор книг «О разделении полей» (1771) и «Жизнь и приключения Андрея Болотова...» (1870—1873).

Почти иностранное ведомство

1. Горчаков Михаил Дмитриевич (1798—1883) — князь, русский государственный деятель, дипломат. Канцлер Российской империи с 1867. В 1856—1882 — министр иностранных дел.
2. Скорее всего, имеется в виду Шувалов Павел Андреевич (1830—1908) — граф, русский государственный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. В 1885—1894 — посол в Берлине. Сторонник сближения с Германией, поклонник Бисмарка.
3. Кавур Камилло Бенсо (1810—1861) — сардинский и итальянский государственный деятель. В 1852—1861 (исключая 1859) был премьер-министром Сардинского Королевства. Стремился к объединению Италии. В 1861 — глава правительства объединенной Италии.
4. Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — граф, государственный деятель Российской империи, дипломат. Канцлер с 1845. Министр иностранных дел в 1816—1856.

Остановите бегство

1. Зарубаев Николай Платонович (1843—1912) — русский воен-

ный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Командующий 4-м Сибирским армейским корпусом. Участник русско-японской войны. С 1905 — помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Член Совета государственной обороны. В 1906—1909 — генерал-инспектор пехоты. С 1909 — командующий Одесским военным округом.

2. Гершельман Сергей Константинович (1853—1910) — русский военный деятель, генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 и русско-японской войны. С 1906 — командующий войсками Московского военного округа, а с 1909 — командующий войсками Виленского военного округа. Автор книг «Нравственный элемент под Севастополем» (1897), «Нравственный элемент в руках Суворова» (1900), «Нравственный элемент в руках М. Д. Скобелева» (1902).
3. Мищенко Павел Иванович (1853—после 1917) — русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от артиллерии. Участник русско-турецкой войны 1877—1878, кампаний в Средней Азии в 1880—1881, в Китае в 1900—1901, русско-японской войны. В 1908—1909 — командующий войсками Туркестанского военного округа и наказной атаман Донского войска. Во время Первой мировой войны командовал 2-м Кавказским корпусом (1914), 31-м армейским корпусом (1915—1917).
4. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1898—1904 военный министр. Неудачно командовал русскими войсками в русско-японскую войну. В Первую мировую войну командовал армией и Северным фронтом (1916). В 1916—1917 — туркестанский генерал-губернатор. Автор книг «Отчет генерал-адъютанта Куропаткина (о деятельности русской армии во время русско-японской войны)» (1906. Т. 1—4), «Задачи русской армии» (1910. Т. 1—3).
5. Редигер Александр Федорович (1853/54—1918) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 1877—1878. В 1882—1883 — военный министр Болгарии. С 1890 — профессор академии Генштаба. В 1898—1905 — начальник канцелярии военного министра. В 1905—1909 — военный министр. С 1909 в отставке.
6. Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — граф (с 1730), русский государственный деятель, дипломат. Выходец из Вестфалии, на русской службе с 1703. Член Верховного тайного совета. В 1741 сослан Императрицей Елизаветой Петровной в Березов.
7. Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) — граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Выходец из Ольденбурга, на русской службе с 1721. При Императрице Анне Иоанновне был президентом Военной коллегии. Командовал русскими войсками в русско-турецкой войне в 1735—1739. В 1741 сослан в ссылку Императрицей Елизаветой Петровной. Возвращен Императором Петром III в 1762.

Всероссийский национальный союз

1. Коновницын Александр Иванович (1855—1919) — граф, русский общественный деятель, крайне правый. В 1875—1880 служил во флоте. В 1881—1891 — васильковский уездный предводитель дворянства. В 1905 организовал и был председателем (до 1911) Одесского отдела Союза русского народа. Редактор газеты «За Царя и Родину». Организовывал в артели портовых рабочих из членов Союза русского народа. Автор книги «1812—1912 гг. Подвиги славных предков в годину Отечественной войны» (1912). Расстрелян в родовом имении Кярово Гдовского уезда Петроградской губернии.
2. Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — русский политический деятель, поэт и публицист. Один из основателей Союза русского народа, затем лидер созданного им Русского народного союза имени Михаила Архангела. Во II—IV Государственных Думах был одним из лидеров крайне правых. Под его редакцией выходило многотомное издание о жертвах революции «Книга русской скорби». В годы Первой мировой войны вышел из фракции крайне правых и вошел в Прогрессивный блок. Участник Белого движения. Автор книги «Перед грозой».
3. Дубровин Александр Иванович (1855—1921) — русский политический деятель, крайне правый, врач, статский советник. Один из основателей и лидеров Союза русского народа. Редактор-издатель газеты «Русское знамя». Вышел из состава Главного совета Союза русского народа в 1910 и в 1911 организовал Всероссийский дубровинский союз русского народа. После октябрьской революции арестован (в декабре 1920) и вскоре расстрелян за антисоветскую деятельность.
4. Восторгов Иоанн Иоаннович (1864—1918) — известнейший церковный и политический деятель, протоиерей, синодальный миссионер, духовный писатель. В 1883 окончил Ставропольскую духовную семинарию. Как миссионер объездил всю страну, проповедуя и на Кавказе, и в Сибири, и в Туркестане, и даже в Иране. С 1905 активный член Русской монархической партии, а в 1907—1913 возглавлял ее, переименовав в Русский монархический союз. С 1908 по середину 1915 — член Главной палаты Русского народного союза имени Михаила Архангела. С мая 1917 — настоятель Покровского собора в Москве. Расстрелян большевиками. Новомученик.

Пророчество Даниила

1. Винавер Михаил Моисеевич (1863—1926) — еврейский общественный деятель, адвокат. Один из организаторов и лидеров партии кадетов. Ведущий деятель Союза для достижения равноправия евреев. После февральской революции — сенатор. В 1919 — министр внешних сношений кадетского Краевого правительства в Крыму. Затем эмигрировал.

2. Дмовский Роман Валентинович (1864 — после 1917) — польский политический деятель и публицист. Окончил Императорский Варшавский университет. В 1892—1893 сидел в варшавской тюрьме по политическому делу. В 1895 переселился в Австрию. Вернувшись в русскую часть Польши, стал лидером народно-демократической партии. В 1907 был избран во II, а затем и в III Государственную Думу, где был председателем польского коло. В 1909 снял с себя депутатские полномочия. Автор книги «Германия, Россия и польский вопрос» (1909).

Национальный союз

1. Кареев Николай Иванович (1850—1931) — русский историк. Профессор Императорского Варшавского, а затем Императорского Петербургского университетов. Автор книг «Основные вопросы философии истории» и «История Западной Европы в новое время» (1892—1917. Т. 1—7).

Толстой и власть

1. Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк, публицист. Автор книг «История Французской революции» (1837), «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841).
2. Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — русский издатель, секретарь Л. Н. Толстого. Организатор издательства «Посредник». В 1897—1907 жил за границей, издавал газету «Свободное слово».

Императорская сцена

1. Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер, актер. На сцене с 1898. В 1920—1938 — глава театра в Москве (Театр имени Мейерхольда).
2. Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917) — русский драматург, театральный критик, прозаик. Автор книг «В. Ф. Комиссаржевская», «Актеры и пьесы», «Мельпомена».
3. Теляковский Владимир Аркадьевич (1861—1924) — директор Императорских театров в 1901—1917.
4. Давыдов Владимир Николаевич (настоящие имя и фамилия — Иван Николаевич Горелов) (1849—1925) — известнейший русский актер, педагог. На сцене с 1867. В 1880—1924 — актер в Александринском театре.
5. Варламов Константин Александрович (1849—1915) — известнейший русский актер. На сцене с 1867. В 1875—1915 — актер в Александринском театре.
6. Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — известнейшая русская актриса. На сцене с 1869. В 1874—1915 — актриса в Александринском театре. Одна из организаторов и председатель Русского театрального общества.

Еврей о евреях

1. Вейнингер Отто (1880—1904) — еврейский немецкоязычный писатель, психолог. Автор книги «Пол и характер. Принципиальное исследование». Самоубийца.
2. Чемберлен Хаустон Стюарт (1855—1926) — английский писатель, историк. Писал преимущественно по-немецки. Автор книг о Рихарде Вагнере (1895), «Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts» (1899).

Публицистика как искусство

1. Монтень Мишель де (1533—1592) — французский общественный деятель и философ-гуманист. Был мэром Бордо. Автор книги «Опыты» (1580—1588).
2. Лабрюйер Жан (1645—1696) — французский писатель-моралист. Был воспитателем герцога Бурбонского, внука Кондэ. Автор книги «Характеры» (1687).

Он — не ваш

1. Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — русский общественный деятель, юрист, публицист. Один из лидеров кадетской партии. Профессор Императорского Московского университета в 1877—1884. Председатель I Государственной Думы.
2. Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — князь, русский общественный деятель и ученый, философ, правовед. Профессор Императорских Киевского и Московского университетов. Автор книги «Миросозерцание В. С. Соловьева» (1913. Т. 1—2).

Правительство и евреи

1. Морлей Джон (1838—после 1914) — английский государственный деятель, писатель, журналист. В 1880—1890-х неоднократно входил в различные кабинеты в качестве министра. Автор книги «О компромиссе».
2. Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, русский государственный деятель, историк. В 1865—1880 — обер-прокурор Святейшего Синода. В 1866—1880 — министр народного просвещения. В 1882—1889 — министр внутренних дел.
3. Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828—1901) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Один из главных действующих лиц русско-турецкой войны 1877—1878. В 1879 назначен помощником главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербурского военного округа. В 1879—1880 был временным санкт-петербургским генерал-губернатором, а в 1882—1883 — временным одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа. Далее был варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. В 1894 ушел в отставку.

4. Пален Константин Иванович (1833—1912) — граф, русский государственный деятель. В 1867—1878 — министр юстиции.
5. Делянов Иван Давыдович (1818—1897) — граф, русский государственный деятель. В 1866—1874 — товарищ министра народного просвещения. В 1882—1897 — министр народного просвещения.
6. Боголепов Николай Павлович (1847—1901) — русский государственный деятель, юрист. Профессор римского права в Императорском Московском университете в 1884—1886, ректор в 1891—1895. В 1898—1901 — министр народного просвещения. Смертельно ранен студентом Карповичем.
7. Ванновский Петр Семенович (1822—1904) — русский военный и государственный деятель. Участник русско-турецкой войны 1853—1856, русско-турецкой войны 1877—1878. В 1881—1898 — военный министр. В 1901—1902 — министр народного просвещения.
8. Зенгер Григорий Эдуардович (1853 — после 1913) — русский государственный деятель и ученый, доктор римской словесности. С 1877 назначен на должность профессора в Нежинском историко-филологическом институте. С 1885 — доцент Императорского Варшавского университета, с 1896 — декан историко-филологического факультета, в 1897—1899 — ректор. С 1901 — товарищ министра народного просвещения, а в 1902—1904 — министр народного просвещения. Автор книг «Еврейский вопрос в Древнем Риме» (1889) и «Критические заметки» (1913).
9. Лукьянов Сергей Михайлович (1855—1935) — русский государственный деятель, врач. С 1886 — профессор в Императорском Варшавском университете. В 1894—1902 — директор Императорского института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. В 1902 — товарищ министра народного просвещения, а в 1905 — временно управляющий министерством народного просвещения. В 1909—1911 — обер-прокурор Святейшего Синода. После революции читал лекции в советских вузах. Автор книги «О Вл. С.Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии» (1915—1921. Кн. 1—3).

Памяти Ф. М. Достоевского

1. Гауптман Герхарт (1862—1946) — немецкий драматург. Нобелевский лауреат 1912. Автор драм «Перед восходом солнца» (1889), «Роза Бернд» (1903), «Перед заходом солнца» (1932).
2. Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский писатель, драматург. Писал на польском и немецком языках. Жил в Берлине и издавал газету «Рабочий». Затем редактировал журнал «Жизнь в Кракове». Автор пьес «Ради счастья», «Снег», «Золотое руно», «Гости», «Мать», «Обеды».

Еврейское нашествие

1. Жорес Жан (1859—1914) — французский социалист. Убит французским шовинистом.
2. Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — один из лидеров партии кадетов, публицист. Редактор газеты «Речь». Эмигрант. Издатель с 1921 «Архива русской революции».

Быть ли России великой?

1. Мицкевич Адам Бернард (1798—1855) — польский поэт. Активный участник польских тайных обществ. Жил в России до 1829. Автор поэм «Дзяды» (1824—1832), «Конрад Валленрод» (1828), «Пан Тадеуш» (1834) и других.
2. Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) — главный идеолог украинского сепаратизма, историк. С 1894 занимал кафедру всеобщей истории Львовского университета. В 1899 организовал национально-демократическую партию в Галиции. В 1917 возглавил Центральную Раду Украины. В начале 1919 эмигрировал в Австрию. В дальнейшем после неоднократных обращений к советскому правительству ему разрешили в 1924 вернуться на Украину. В том же году стал академиком АН УССР, заведуя сектором истории Украины исторического отделения АН. В 1929 стал академиком АН СССР. Автор тенденциозных исторических трудов «История Украины-Руси» (1898—1936. Т. 1—10) и «Истории украинской литературы» (1923—1927. Т. 1—5.).
3. Духинский Франциск (1817—1880) — писатель, из ополяченной малороссийской семьи. После польского восстания 1830—1831 эмигрировал во Францию. Был профессором польской школы в Париже. Автор псевдонаучной теории, утверждающей, что «москали» не арийского происхождения, а туранского. Исходя из этого, предлагал Западной Европе создать буфер от «москалей» из польского государства, в которое бы входили малорусы и белорусы.
4. Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (настоящая фамилия Квитка) (1778—1843) — малорусский писатель. В 1817—1828 был уездным предводителем дворянства, далее — председателем харьковской палаты уголовного суда. Автор двухтомных «Малороссийских рассказов» (1834—1837) и романа «Пан Халявский» (1840).

Народоубийство

1. Марков Николай Евгеньевич (1866—1945) — русский общественный деятель. Председатель Главного совета Союза русского народа. После революции — в эмиграции. Автор книги «Войны темных сил» (Париж, 1928—1930. Т. 1—2).
2. Глинский Борис Борисович (1860 — после 1917) — русский историк. С 1888 работал в «Историческом вестнике». С 1906 — помощник редактора. В 1900—1911 был редактором-издателем «Северного вестника». Автор книг «Царские дети и их воспи-

татели» (1899), «Очерки по истории русского прогресса» (1900), «Революционный период русской истории» (1912).

3. Гольденберг-Гетройтман Лазарь Борисович (ок. 1846—1916) — революционный народник. Участник студенческих волнений 1868—1869 в Санкт-Петербурге. С 1872 находился в эмиграции, в Швейцарии, где заведовал типографией чайковцев.
4. Зунделевич Аарон Исаакович (ок. 1853—1923) — революционный народник. Был членом «Земли и воли», членом исполкома «Народной воли». Организатор подпольных типографий. Был ответственным за связи с заграницей. С 1907 в эмиграции.

Сверхнарод

1. Вирхов Рудольф (1821—1902) — немецкий естествоиспытатель, патолог, общественный деятель. Один из основателей и лидеров немецкой прогрессистской партии, с 1884 — партии свободомыслящих.

Для кого воевала Россия

1. Сергеевский Николай Дмитриевич (1849—1908) — русский общественный деятель и юрист. Профессор уголовного права Императорского Санкт-Петербургского университета. Автор книг «Наказание в русском уголовном праве XVII века» (1887), «Запросы по финляндскому управлению в Государственной Думе 1908 года» (1908).

Размышления

1. Саблер (с 1915 г. — Десятовский) Владимир Карлович (1845—1929) — русский государственный деятель, статс-секретарь. С 1883 — управляющий канцелярией Святейшего Синода. С 1887 — личный секретарь Великой княгини Екатерины Михайловны. В 1892—1905 — товарищ обер-прокурора Святейшего Синода. В 1912—1915 — обер-прокурор Святейшего Синода.

Драма Белинского

1. Венгеров Семен Африканович (1855—1920) — историк литературы, библиограф. Составитель многотомных словарей по русской литературе, не доведенных до конца.
2. Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — русский литературовед, историк литературы. Профессор Императорского Санкт-Петербургского университета в 1860—1862. Основные труды: «История русской литературы» (1902—1903. Т. 1—4) и «История русской этнографии» (1890—1892. Т. 1—4).
3. Панаев Иван Иванович (1812—1862) — русский писатель, журналист. Заведовал критическим отделом в журнале «Отечественные записки». В 1847 вместе с Некрасовым начал издавать журнал «Современник». Автор романа «Львы в провинции» (1852) и нескольких повестей.

Нужен сильный

1. Дурново Петр Николаевич (1845—1915) — русский государственный деятель. В 1900 — товарищ министра внутренних дел. В 1903 — главноуправляющий почт и телеграфа. С 23 октября 1905 по 22 апреля 1906 — министр внутренних дел. С 1905 — член Государственного совета, где являлся одним из лидеров правой группы.
2. Трепов Владимир Федорович (1860—1918) — русский государственный деятель. В 1899—1902 — вице-директор и директор департамента общих дел Министерства внутренних дел. В 1902—1905 — таврический губернатор. С 1908 — член Государственного совета, где являлся одним из лидеров правой группы. В 1911 уволен в отставку.
3. Шванебах Петр Христианович (1846—1908) — русский государственный деятель. Служил в Министерстве финансов. Был товарищем управляющего Государственным банком. В 1903—1905 — товарищ министра земледелия и государственных имуществ. В 1905 — главноуправляющий земледелием и землеустройством. В 1906—1907 — государственный контролер. Автор книг «Денежное преобразование и народное хозяйство» (1901), «Наше податное дело» (1903), «О народном представительстве» (1909).
4. Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский военный деятель, генерал. Участник Крымской и кавказских войн, туркестанских походов (взял в 1865 Ташкент). Был военным губернатором Туркестана. Оказался в отставке, не приняв военной реформы Милютина. В 1873—1878 издавал газету «Русский мир». С 1876 — в Белграде, где стал главнокомандующим главной сербской армией в войне против Турции. В 1882—1884 — туркестанский генерал-губернатор.
5. Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — русский государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1857—1861 министр государственных имуществ. В 1863—1865 был назначен генерал-губернатором Северо-Западного края, где подавлял польский мятеж и проводил реформы местного управления.

Защита веры

1. Николай (Зиоров) (1850 — после 1917) — митрополит Варшавский и Привисленский. Автор книг «Из моего дневника», вып. I — «Путевые заметки и впечатления во время путешествия по Аляске и Алеутским островам» и вып. II — «Впечатления и заметки во время пребывания на всемирной выставке в городе Чикаго и путешествия по Американским Соединенным Штатам». Член Государственного совета от монашествующего духовенства (с 1906).

Национальная трещина

1. Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, этнограф, писатель, критик. Профессор Императорского Киевского, а затем Императорского Санкт-Петербургского университетов. Его труды изданы в собрании сочинений (СПб., 1903—1906. Т. 1—21).
2. Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — один из идеологов украинского литературного сепаратизма, историк, писатель.
3. Антонович Владимир Бонифатьевич (1834—1908) — малорусский историк украинофильского направления. С 1878 — профессор русской истории Императорского Киевского университета. Автор книг «Исследования о казачестве» (1863) и «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России» (Т. 1. 1885).
4. Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — активный деятель украинского сепаратизма, публицист, историк. С 1864 — приват-доцент, а с 1870 — доцент Императорского Киевского университета. За антиправительственную деятельность уволен из университета в 1875. В 1876 эмигрировал за границу. Основал в Женеве свободную украинскую типографию. С 1889 — профессор кафедры всеобщей истории Софийского университета.

Кого хоронит Россия

1. Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский журналист, издатель. Издавал в Санкт-Петербурге с 1876 газету «Новое время» и с 1880 журнал «Исторический вестник».

Ни творчества, ни подражания

1. Лебон Густав (1841—1931) — французский писатель, социолог, естествоиспытатель. Автор книг «Арабская цивилизация» (1884), «Индийская цивилизация» (1887), «Психология толпы» (1895), «Эволюция силы» (1905—1907), «Массовая психология» (1912).
2. Андреев Василий Васильевич (1861—1918) — русский музыкант, балалаечник. Националист. Организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов (с 1896 — Великорусский оркестр).
3. Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — русский государственный деятель. В 1906—1915 — министр юстиции. Расстрелян большевиками.

Великороссийская идея

1. Долгорукий Яков Федорович (1639—1720) — князь, русский государственный деятель. Один из ближайших соратников Петра I. Участник Азовского похода. Попал в плен к шведам, где находился с 1700 по 1711. С 1712 сенатор, а с 1717 — президент Ревизионной коллегии.

2. Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — русский государственный деятель, адмирал. В 1802 — министр морских сил.
3. Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — граф, русский государственный и военный деятель. С 1835 — член Секретного комитета по крестьянскому вопросу. В 1837—1856 — министр государственного имущества. Провел реформу управления государственными крестьянами.

Еврейские претензии

1. Герцль Теодор (1860—1904) — еврейский писатель. Основоположник политического сионизма. Организатор I Сионистского конгресса в Базеле в 1897. Автор книги «Еврейское государство».

Маленький Золя

1. Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — русский политический деятель, публицист. Сотрудничал в газете «Киевлянин», будучи националистом. В 1917 — член Временного комитета Государственной Думы. 2 марта 1917 ездил требовать отречения у Императора Николая II. Участвовал в создании Добровольческой армии. Белоэмигрант. В 1944 арестован в Югославии и приговорен в СССР к тюремному заключению. В 1956 освобожден. Автор книг «Дни» (1925), «1920-й год» (1927), «Три столицы» (1927), «Что нам в них не нравится...» (1928).
2. Пихно Дмитрий Иванович (1853—1913) — русский экономист. В 1870—1874 учился в Императорском Киевском университете. С 1877 — приват-доцент Императорского Киевского университета. В 1888—1902 — профессор кафедры экономических наук того же университета. Будучи с 1885 чиновником особых поручений Министерства финансов, подготавливал материалы о выкупе частных железных дорог в казну. В 1907—1913 — член Государственного совета. Возглавлял Киевский отдел Союза русского народа. Автор книг «Основания политической экономии» (1890), «Закон спроса и предложения» (1886), «Политическая экономия» (1887).

Еврейская победа

1. Замысловский Георгий Георгиевич (1872—1920) — русский общественный деятель, крайне правый. Был мировым судьей в Прибалтийском крае, товарищем прокурора Гродненского окружного суда, далее и. д. товарища прокурора Виленской судебной палаты. Один из лидеров Союза русского народа, с 1908 — член Союза Михаила Архангела. Член III—IV Государственных Дум. Автор книг «Правые в III Государственной Думе» (под псевдонимом Юрский) (1912) и «Убийство Андрюши Ющинского» (1917).
2. Шмаков Алексей Семенович (1852—1916) — русский общественный деятель, крайне правый, публицист. Присяжный пове-

ренный Московской судебной палаты. Участвовал в защите православных христиан в судебных процессах по делам о еврейских погромах. Автор книг «Свобода и евреи» (1906), «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории» (1912), «Международное тайное правительство» (1912).

Тень убитого

1. Даль Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, лексикограф, этнограф. Писал прозаические очерки под псевдонимом Казак Луганский. Составил сборник «Пословицы русского народа» (1861—1862) и «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863—1866. Т. 1—4). Речь идет о брошюре «Записка о ритуальных убийствах».
2. Бронзов Александр Александрович (1858 — после 1917) — русский богослов, публицист. Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии по кафедре нравственного богословия с 1894. Автор книг «Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их учению о нравственности» (1884), «Преподобный Макарий Египетский. Его жизнь, творения и нравственное мировоззрение» (1899), «Нравственное богословие в России в течение XIX столетия» (1901).

Сроки близятся

1. Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — князь, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Участник русско-турецкой войны 1806—1812, Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813—1815. С 1827 управлял Кавказским краем и был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе во время русско-персидской (1826—1828) и русско-турецкой (1828—1829) войн. В 1831 назначен командовать русскими войсками по подавлению польского восстания 1830—1831. Затем был наместником Царства Польского. Командовал русской армией в Венгерском походе 1848 и в начале Крымской войны 1853—1856.
2. Бобринский Владимир Александрович (1867—1927) — граф, русский общественный деятель. Член II—IV Государственных Дум. Во время Первой мировой войны возглавлял группу «прогрессивных националистов», входивших в Прогрессивный блок.

Секрет немецких успехов

1. Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ. Профессор Йенского университета в 1794—1799. Профессор с 1810 и первый выборный ректор Берлинского университета. Автор «Речей к немецкой нации» (1808).
2. Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог. Основоположник научной системы начального образования. Автор книг «Лингард и Гертруда» (1781—1787), «Как Гертруда учит своих детей» (1801), «Лебединая песня» (1826).

3. Гербарт Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ, психолог и педагог. Основатель знаменитой педагогической школы.
4. Фрёбель Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания. Автор идеи и методики работы детского сада.
5. Вильгельм I (1798—1888) — прусский король в 1861—1888 и германский император в 1871—1888.

Долг Великороссии

1. Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, русский государственный деятель, фаворит правительницы Софьи. В 1676—1689 возглавлял Посольский и ряд других приказов. Заключил с Польшей «Вечный мир» в 1686. Участник Чигиринских (1677—1678) и руководитель Крымских (1687, 1689) походов. В 1689 сослан Петром I в Архангельский край.
2. Стороженко Андрей Владимирович (1857 — после 1918) — русский историк, публицист. В 1882 был редактором Славянского ежегодника, где помещались научные статьи по славяноведению. Был главой переяславского земства в 1886—1892, а с образованием в Киеве Клуба русских националистов вступил в его члены. С 1902 по 1910 А. В. Стороженко издавал «Фамильный архив». Автор книг «Стефан Баторий и днепровские козаки» (1904) и «Происхождение и сущность украинофильства (Доклад Собранию членов Клуба русских националистов в Киеве, 17 ноября 1911 г.)» (1912).
3. Армашевский Петр Яковлевич (1850—1919) — русский геолог, общественный деятель, националист. Профессор по кафедре геологии и геогнозии Императорского университета св. Владимира в Киеве. Был одно время директором Высших женских курсов в Киеве. Один из лидеров киевского Клуба русских националистов. Один из организаторов газеты «Киев». Был расстрелян киевской ЧК в 1919.

Трудовое одичание

1. Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — русский государственный деятель, ученый. Министр народного просвещения в 1910—1914.

Немецкая душа

1. Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ. Наиболее известное сочинение — «Философия бессознательного» (1869).

Души народов

1. Бэкон Фрэнсис Веруламский (1561—1626) — барон, английский мыслитель, лорд-канцлер при короле Якобе I. Автор сочинений «Новый органон» (1620) и «О мудрости древних».

Содержание

Михаил Смолин. Имперское мышление и имперский национализм М. О. Меньшикова 5

1907 год

Сословный строй 27
Власть как право 34
Подъем власти 40
Свиньи и бесы 45

1908 год

Почти иностранное ведомство 53
Остановите бегство 57
Всероссийский национальный союз 64
Пророчество Даниила 68
Чье государство Россия? 73
Мученики за Россию 78
Национальный союз 84
Толстой и власть 89
Императорская сцена 98

1909 год

Еврей о евреях 104
Публицистика как искусство 117
Он — не ваш 124
Правительство и евреи 131
Наша сила 150
Хозяева и работники 157

1910 год

Закон обновления 167
Русское пробуждение 173
Нецарственный империализм 180
Рекорд веротерпимости 186

1911 год

Единение церквей 192
Памяти Ф. М. Достоевского 198
Пушкин и крепостное право 204
Смысл свободы 212
Еврейское нашествие 219
Быть ли России великой? 224
Тайны Талмуда 232
Народоубийство 239
Сверхнарод 246
Для кого воевала Россия 254
Размышления 258
Драма Белинского 265
Расовая борьба 271
Нужен сильный 274
Разбитый крест 281
Защита веры 287
Национальная трещина 294
Еврейский натиск 299

1912 год

Народное возрождение 306
Из заброшенных бумаг 318
Коленопреклоненная Россия 324
Кого выбирать в парламент 330
Кого хоронит Россия 349
Фальшь толстовщины 355

1913 год

Заветы веков 362
Задачи будущего 367
Ни творчества, ни подражания 373
Воспитание энергии 379
Великороссийская идея 386
Еврейские претензии 392
Маленький Золя 398
Трагикомическое племя 405
Еврейская победа 411
Национальная борьба 417
Тень убитого 423

1914 год

Национальный съезд 430
Дело нации 432
Сроки близятся 436
Могильщикам России 442
Сеятели ветра 447
Секрет немецких успехов 453
Долг Великороссии 460
Трудовое одичание 476
Как работать 482

1915 год

Должны победить 488
Немецкая душа 494
Души народов 501
Обглоданные гусеницей 506
Вечно женственное 512
О лучшем будущем 517
В предрассветных сумерках 524

1916 год

Золотое сердце 530
Служба героев 536

Примечания 543

В серии «ПУТИ РУССКОГО ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ» вышли в свет:

Н. И. Черняев
МИСТИКА, ИДЕАЛЫ И ПОЭЗИЯ РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Оригинальнейший консервативный писатель Российской империи Николай Иванович Черняев (1853—1910) писал: «Только те русские могут не быть монархистами, которые не умеют думать самостоятельно, плохо знают историю своей родины и принимают на веру политические доктрины Запада». В своих работах Н. И. Черняев писал не только о русском самодержавии, но и о монархизме Древнего Востока, и о византийском империализме. Его внимание привлекали все виды монархии, он считал важнейшей задачей сравнительное изучение русских монархических начал и оснований иноземных монархий.

Л. А. Тихомиров
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ (2-е издание)

Книга выдающегося русского мыслителя Льва Александровича Тихомирова (1852—1923) уникальна по своему содержанию. Впервые человеческая история проанализирована в полном объеме и с религиозной точки зрения. В книге показано возникновение и логическое развитие в человеческих обществах религиозных движений, взаимная связь и преемственность религиозных идей разных времен, которые то исчезают с исторической сцены, то появляются вновь, надевая новые личины. Написанная в 1913—1918 годах книга Л. А. Тихомирова значительно дополняет наше знание о нем как философе и историке религии.

В. Ф. Иванов
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МАСОНСТВО: ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ (2-е издание)

Книга крупнейшего русского исследователя масонства Василия Федоровича Иванова — это книга «борьбы и гнева». Она охватывает весь исторический период деятельности масонской организации в России.

Исследуя идейное и политическое влияние масонства на русское общество, В. Ф. Иванов на огромном историческом материале показывает разрушительную деятельность в России этого тайного ордена.

Нигде в Европе общество не последовало за этим течением с той безусловной верой, как это сделала русская интеллигенция: «История русской интеллигенции за 200 последних лет стала историей масонства».

Изданная в Харбине в 1934 году тиражом несколько сотен экземпляров, книга никогда более не переиздавалась и стала библиографической редкостью.

В серии «ПУТИ РУССКОГО ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ»
в 1998 году выйдет:

Л. А. Тихомиров
АПОЛОГИЯ ВЕРЫ И МОНАРХИИ

В изданной нами книге Л. А. Тихомирова «Критика демократии» помещены работы, опровергающие расхожие мнения о естественности демократического принципа, о его якобы незаменимости в современном обществе. В настоящей книге — «Апология Веры и Монархии», — продолжающей ранее изданные труды этого автора, печатается интереснейшая положительная программа для России, которую он разрабатывал, будучи советником П. А. Столыпина и редактором старейшей монархической газеты «Московские ведомости».

Если об общих основаниях русского Самодержавия говорили многие публицисты и до Льва Тихомирова, то о политической философии Самодержавия и его монархической политике серьезно начал говорить лишь он. Современность государственно-правовых воззрений Льва Тихомирова тесно связана с возможностью восстановления монархического принципа власти в России. Сам Л. А. Тихомиров утверждал, что всякий принцип власти всегда возможен и никогда не устаревает. Принципы власти неизменны с момента их возникновения, меняться может лишь форма их реализации в государственной системе. О форме реализации этого принципа и идет речь в данной книге.

Михаил Осипович Меньшиков

ПИСЬМА К РУССКОЙ НАЦИИ

Редактор М. Б. Смолин
Корректоры: О. И. Иванова, Г. А. Островская
Компьютерная верстка Е. Л. Кудиновой

Сдано в набор 15.09.98. Подписано в печать 02.11.98.
Гарнитура «Таймс ЕТ». Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 35,0. Тираж 5000 экз.
Заказ 340.

Лицензия ЛР № 0407000 от 05.01.95
Издательство журнала «Москва». 121918, Москва, ГСП-2, ул. Арбат, 20
Тел. (095) 291-83-91, 291-71-10. Факс (095) 291-07-32.

Отпечатано с готовых диапозитивов
АО „Астра семь"
121019, Москва, Филипповский пер., 13.